

Г.Х. АНДРОНИ

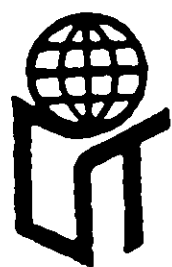
Г.Х. АНДРОНИ

Ганс-Христиан
Андерсен

Собрание сочинений
в четырех томах

Ганс-Христиан Андерсен

Собрание сочинений
в четырех томах



МОСКВА
«ТЕРРА» — «TERRA»
1995

Ганс-Христиан Андерсен

Собрание сочинений том 4

СКАЗКА МОЕЙ ЖИЗНИ. ПРИБАВЛЕНИЕ
К СКАЗКЕ МОЕЙ ЖИЗНИ (1855—1867).
ИЗ ПЕРЕПИСКИ АНДЕРСЕНА
С ЕГО ДРУЗЬЯМИ
И ВЫДАЮЩИМИСЯ СОВРЕМЕННОКАМИ.
АНДЕРСЕН И СЕМЬЯ КОЛЛИН. ЗАМЕТКИ
ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНДЕРСЕНА.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ.
К ЧИТАТЕЛЯМ



МОСКВА
«ТЕРРА» — «TERRA»
1995

ББК 84.4Д
А65

Иллюстрации художника
М. ПЕТРОВА

Оформление художника
Ю. БАЖАНОВА

Андерсен Ганс-Христиан
А65 Собрание сочинений: В 4 т. Т. 4: Сказка моей жизни; Прибавление к «Сказке моей жизни»; Из переписки Андерсена с его друзьями и выдающимися современниками; Письма к Андерсену; «Г.-Х. Андерсен и семья Коллин»; Заметки для характеристики Г.-Х. Андерсена / Пер. с дат. — М.: ТЕРРА, 1995. — 520 с.: ил.
ISBN 5-300-00093-0 (т. 4)
ISBN 5-85255-750-1

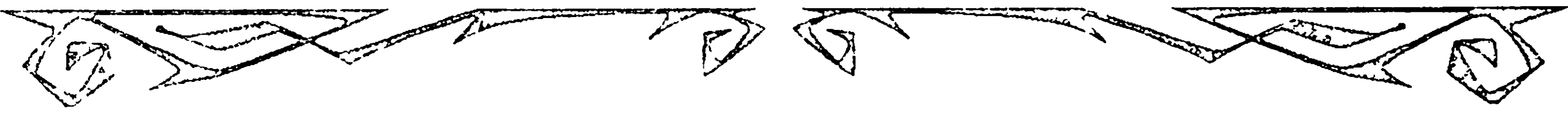
В том 4 включены автобиография датского писателя «Сказка моей жизни», продолжение ее — «Прибавление к «Сказке моей жизни», его переписка с друзьями и выдающимися современниками, а также воспоминания о нем и статья П. Ганзена «К читателям».

А 4703010000-132 Подписное
А30(03)-95

ISBN 5-300-00093-0 (т. 4)
ISBN 5-85255-750-1

ББК 84.4Д

© Издательский центр «ТЕРРА», 1995



СКАЗКА МОЕЙ ЖИЗНИ

«Вот сказка моей жизни. Рассказал я ее откровенно и чистосердечно, как бы в кружке близких друзей»¹.

I

Жизнь моя настоящая сказка, богатая событиями, прекрасная! Если бы в ту пору, когда я бедным, беспомощным ребенком пустился по белу свету, меня встретила на пути могущественная фея и сказала мне: «Избери себе путь и цель жизни, и я, согласно с твоими дарованиями и по мере разумной возможности, буду охранять и направлять тебя!» — и тогда жизнь моя не сложилась бы лучше, счастливее, разумнее. История моей жизни скажет всем людям то же, что говорит мне: Господь Бог все направляет к лучшему.

В 1805 году в городе Оденсе, в бедной каморке проживала молодая чета — муж и жена, бесконечно любившие друг друга. Это был молодой двадцатидвухлетний башмачник, богато одаренная поэтическая натура, и его жена, несколькими годами старше, не знавшая ни жизни, ни света, но с редким сердцем. Муж только недавно вышел в мастера и собственными руками сколотил всю обстановку своей мастерской и брачную кровать. На эту кровать пошел деревянный помост, на котором незадолго перед тем стоял во время печальной церемонии гроб с останками графа Трампе. Уцелевшие на досках кровати полосы черного сукна еще напоминали о прежнем их назначении, но вместо графского тела, окутанного крепом и окруженного горящими свечами в подсвечниках, на этой постели лежал 2 апреля 1805 года живой, плачущий ребенок, я — Ганс Христиан Андерсен.

Отец мой просиживал первое время возле постели матери целые дни и читал ей вслух комедии Гольберга, а я в это время кричал благим

¹ Этими словами, поставленными в эпиграф, Андерсен заканчивает свою автобиографию. — *Примеч. перев.*

матом. «Да усни же или хоть полежи смирно, да послушай!» — в шутку обращался ко мне отец, но я и ухом не вел и долго оставался таким неугомонным крикуном. Таким же заявил я себя и в церкви во время крещения, так что священник, вообще аттестуемый моею матерью пресердитым господином, сказал: «Мальчишка орет, как кот!» Этих слов матушка не забыла ему всю жизнь! Бедняк, французский эмигрант Гомар, бывший моим крестным отцом, утешал матушку, говоря, что чем громче я кричу ребенком, тем лучше буду петь, когда вырасту.

Детство мое протекало в маленькой каморке, заставленной разными верстаками, инструментами и приспособлениями для башмачного ремесла, кроватью и раздвижной скамьей, служившей мне кроватью. Да, тесно у нас было! Зато все стены были увешаны картинками, на сундуке стояли расписные фарфоровые чашки, стаканы и разные безделушки, а над верстаком у окна висела полка с книгами. В крошечной кухонке стоял шкаф, а над ним находилась полка, на которой красовалась оловянная посуда. И это-то тесное помещение казалось мне тогда большим и роскошным, а дверь с намалеванным на ней ландшафтом имела в моих глазах такое же значение, как теперь целая картинная галерея.

Из кухни был ход на чердак; под окном чердака на водосточном желобе, проходившем между нашим и соседним домом, стоял ящик набитый землей, в нем росли лук и петрушка; это был огород моей матери. Он и теперь еще цветет в моей сказке *«Снежная королева»*.

Я рос единственным, а потому балованным ребенком. Зато мне часто и приходилось выслушивать от моей матери напоминания о том, какой я счастливый ребенок: мне жилось куда лучше, чем жилось в детстве ей самой; мне-то жилось, что твоему графчику, а ее, когда она была маленькой, родители выгоняли из дому просить милостыню; она не могла решиться на это и целые дни просиживала в слезах под мостом у реки. Я живо рисовал себе эту картину и заливался горькими слезами. Старая Доменика в *«Импровизаторе»* и мать скрипача в романе *«Только скрипач»* — два типа, в которых я старался изобразить свою мать.

Отец мой, Ганс Андерсен, предоставлял мне во всем полную свободу; я был для него всем в жизни, он жил только для меня! Все свое свободное время он посвящал мне — делал мне игрушки, рисовал картинки, а по вечерам часто читал нам с матерью басни Лафонтена, комедии Гольберга и *«Тысячу и одну ночь»*. И только во время чтения я замечал на его лице улыбку, — в жизни вообще и в ремесле ему не везло.

Родители его были зажиточными крестьянами, но вдруг на них посыпались несчастья одно за другим: начал падать скот, сгорел дом, а потом сам отец помешался. Тогда мать переехала с ним в Оденсе и поместила сына в учение к башмачнику — нужда заставила, а между тем способный мальчик сгорал желанием поступить в гимназию. Несколько доброжелательных граждан Оденсе собирались было сделать складчину

и помочь ему пойти желанным путем, но дело так на одних разговорах и остановилось; бедному моему отцу пришлось отказаться от своей заветной мечты, и он не мог примириться с этим всю свою жизнь. Помню, ребенком я раз увидел на его глазах слезы: к нам зашел, чтобы заказать сапоги, один гимназист и, разговорившись, показал отцу свои книги и сказал, чему он учится. «И мне бы следовало пойти по этой дороге!» — сказал мне отец по уходе гимназиста, горячо поцеловал меня и весь вечер был как-то особенно задумчив и тих.

Он редко сходил с товарищами по ремеслу; все его родственники и знакомые приходили к нам, а сам он больше сидел дома. Зимними вечерами он, как сказано, читал нам вслух или мастерил для меня какую-нибудь игрушку, летом же почти каждое воскресенье отправлялся со мною в лес; во время прогулки он не бывал особенно разговорчив, мечтательно сидел себе где-нибудь под кустиком, я же бегал вокруг, собирал землянику и нанизывал ее на соломинки или плел венки. Матушка сопровождала нас в лес всего раз в год, в мае, когда лес одевался первой зеленью. Это была ее ежегодная и единственная увеселительная прогулка, и она всегда для такого случая надевала свое парадное коричневое с цветочками ситцевое платье. Только в этот день, да еще идя к причастию, она и надевала его, и я видел его на ней в эти дни в продолжение многих лет. Матушка всегда приносила с собою с прогулки массу свежих березовых ветвей и затыкала их за печку. Весело смотрела наша комнатка, убранная зеленью, украшенная картинками; матушка держала ее в безукоризненной чистоте, белые, как снег, простыни и коротенькие оконные занавеси были ее гордостью.

Одним из первых моих воспоминаний, само по себе не важное, но имеющее для меня значение, благодаря той силе, с какой оно запечатлелось в моей детской душе, является воспоминание о пирушке и, как бы вы думали — где? В Оденсе есть здание, на которое я всегда взирал с такою же жуткою боязнью, с какою, полагаю, смотрели парижские мальчики на Бастилию, — смиренный дом. Родители мои вели знакомство с привратником этого дома, вот он раз и пригласил их на какой-то семейный праздник. Меня тоже взяли в гости, а я тогда был еще так мал, что домой меня, как увидите после, пришлось нести на руках. Смиренный дом был для меня в те времена обиталищем сказочных воров и разбойников, и я частенько стоял перед ним на почтительном, конечно, расстоянии, прислушиваясь к пению мужчин и женщин и стуку ткацких станков.

Вот мы и стояли перед этим домом: огромные железные ворота открылись и закрылись опять, с визгом повернулся ржавый ключ в замке, — и мы стали подниматься вверх по крутой лестнице. Угощали нас в гостях на славу, но за столом прислуживали два арестанта, и я не мог притронуться ни к чему, даже лакомства отталкивал прочь. Матушка сказала, что я, верно, болен, и меня уложили в постель. В ушах у меня все продолжали раздаваться песни арестантов и стук

челноков. Было ли это в действительности или только чудилось мне, я не знаю, но знаю, что мне было и жутко, и приятно; я как будто попал в сказочный разбойничий замок. Поздно вечером отправились мы домой, меня несли на руках. Погода была холодная, дождь так и хлестал мне в лицо.

Сам город Оденсе был в пору моего раннего детства совсем не похож на нынешний, опередивший Копенгаген газовым освещением, водопроводами и еще Бог весть чем. В то время жители Оденсе отставали от столичных во всем чуть ли не на сто лет. У нас еще держалась масса разных обычаев, которые давным-давно повывелись в столице. Когда цеховые учреждения перемещали свои вывески, все мастера и подмастерья шли в процессии с развевающимися знаменами, с лимонами, вздетыми на мечи, украшенные лентами и проч. Впереди бежал, выкидывая разные штуки, увешанный бубенчиками арлекин. Один из этих забавников, Ганс Стру, пользовался особенным успехом за свои выходки и лицо, все вымазанное сажей за исключением носа, сохранявшего свой обыкновенный красно-багровый цвет. Матушка была от Ганса Стру в таком восторге, что пыталась даже откопать какие-то родственные связи с ним, хотя бы и самые дальние. Я же, как теперь помню, горячо восставал против родственника «шута».

В понедельник на масленице мясники водили по улицам жирного разубранного цветами быка, на котором восседал верхом мальчик в белой рубашке и с крылышками за плечами. Всю масленицу гуляли также по улицам матросы с музыкой и флагами, гулянье заканчивалось обыкновенно борьбой двух забубенных молодцов на доске, перекинутой с одной лодки на другую, кому удавалось удержаться на доске, тот и считался победителем. Особенно же ярко запечатлелось у меня в памяти пребывание в 1808 году в Оденсе испанских солдат. Дания заключила союз с Наполеоном, Швеция же объявила ему войну, и прежде чем кто-либо успел опомниться, французские и вспомогательные испанские войска наводнили всю Фионию, откуда намеревались под начальством маршала Бернадота переправиться в Швецию. Мне тогда было всего три года, но я так живо помню этих смуглых людей, шумевших на улицах, пушки, расставленные на площади и перед домом епископа. Я видел, как эти чужеземные солдаты валялись по тротуарам улиц и на разостланной соломе внутри полуразрушенного монастыря «Серых братьев». Замок Кольдинг сгорел, и маршал Бернадот прибыл в Оденсе, где находились его супруга и сын Оскар. По всей стране школы были превращены в сторожевые пикеты, под сенью деревьев на поле и у дорог служились обедни. О французских солдатах все отзывались нехорошо: заносчивые, грубые; испанских, напротив, называли людьми добродушными и ласковыми; те и другие относились друг к другу враждебно; наши симпатии были на стороне бедных испанцев. Однажды

один солдат-испанец взял меня на руки и дал мне поцеловать серебряный образок, висевший у него на шее. Я помню, как рассердилась на него матушка за такую «католическую штуку», — как она выразилась. Мне же и образок, и сам солдат очень понравились. Он плясал со мной, целовал меня и плакал, — верно, у него самого остались на родине дети. Потом я видел, как одного из его товарищей вели на казнь: он убил солдата-француза. Много лет спустя, я вспомнил об этом и написал стихотворение «Солдат». Шамиссо перевел его на немецкий язык, и оно сделалось весьма популярной песней, которая даже вошла в сборник солдатских песен как оригинальная немецкая.

Так же живо, как испанцев, помню я событие, случившееся, когда мне минуло шесть лет, — появление кометы в 1811 году. Матушка сказала мне, что комета столкнется с землей и разобьет ее вдребезги или что случится какая-нибудь другая ужасная вещь, о каких говорится в пророчествах Сивиллы. Я прислушивался ко всем суеверным разговорам вокруг, и суеверие пустило в моей душе такие же крепкие корни, как и настоящая вера. Смотреть комету мы с матушкой и несколькими соседками вышли на площадь перед кладбищем Св. Кнуда. На небе сияло страшное огненное ядро кометы с большим сияющим хвостом, и все говорили о дурном предзнаменовании и о светопреставлении. К нам присоединился отец, он оказался совсем иного мнения о комете и, вероятно, дал какое-нибудь разумное истолкование ее появления, но матушка завздыхала, а соседки принялись качать головами, отец засмеялся и ушел. Мне стало страшно за него: он не разделял наших верований! Вечером матушка разговаривала о комете со старухой-бабушкой, не знаю, как истолковывала появление кометы бабушка, но знаю, что я, сидя у нее на коленях и глядя в ее ласковые глаза, с минуты на минуту ждал, что вот-вот комета ударится об землю, и наступит светопреставление.

Бабушка забегала к нам каждый день хоть на минутку, чтобы поглядеть на своего любимца-внучка Ганса Христиана. Она была худощавая тихая и кроткая старушка с голубыми глазами. Тяжелая выпала ей в жизни доля. Когда-то она была женой богатого крестьянина, жила в довольстве, а теперь еле перебивалась, живя со своим слабым мужем в крошечном домике, купленном на последние остатки их состояния. И все же я никогда не видел, чтобы бабушка плакала, зато тем тяжелее отзывались у меня в сердце ее тихие скорбные вздохи и рассказы о ее бабушке с материнской стороны. Та была уроженкой большого немецкого города Касселя и принадлежала к богатому благородному семейству, да вышла замуж за «комедианта» и бросила ради него и родных, и родину. Я никогда не слышал от бабушки фамилии этой дамы, но сама-то бабушка носила в девицах фамилию Номмесен. Старушке был поручен уход за садиком при городском госпитале, и



она всегда приносила мне оттуда по субботам букетик цветов; цветы украшали наш сундук и считались моими, мне позволялось самому ставить их в стакан с водой — то-то была радость! Бабушка вообще часто приносила мне что-нибудь, баловала меня, любила без памяти, — я знал это, чувствовал.

Два раза в год бабушка жгла сухие листья и другой сор из сада, жгла она их в большой госпитальной печи. Эти дни я почти всегда проводил подле бабушки, валялся в кучах сухой зелени и гороховых стеблей, играл с цветами и — чему придавал наибольшую цену — получал обед куда, как мне казалось, вкуснее домашнего. Тихие слабоумные, содержащиеся в госпитале, разгуливали на свободе по двору и по саду, и я с трепетным любопытством прислушивался к их речам и пению, а часто даже отваживался пойти за ними в сад. Случалось, что я забирался в сопровождении сторожей и во внутрь здания, где содержались буйные помешанные. Двери отдельных келий выходили в длинный коридор, вот в коридоре-то я раз и сидел на корточках, подглядывая в дверную щелочку одной из келий. В ней на куче соломы сидела голая женщина с длинными распущенными волосами и пела. Голос был чудный! Вдруг она вскочила и с визгом кинулась к двери, перед которой я сидел. Сторож куда-то ушел, я был один. Она с такой силой ударяла в дверь, что маленькая форточка в двери, через которую безумной подавали обед, распахнулась, женщина выглянула в нее, увидела меня и протянула руки, чтобы схватить меня. Я в ужасе закричал и прижался к полу. Никогда не изгладилось из моей души воспоминание о том ужасе, который я испытал, чувствуя прикосновение ее пальцев к моей одежде. Когда вернулся сторож, он нашел меня полумертвым от страха.

Недалеко от пивоварни, где в печке жгли сухие листья и прочий сор, была мастерская для бедных старух, занимавшихся пряжей. Я часто заходил туда и скоро сделался любимцем старух за свое красноречие, служившее, однако, по их мнению, верной приметой моей недолговечности. «Такой умный ребенок не заживется на свете!» — говорили они, и это мне очень льстило. Я как-то случайно слышал о том, как точно знают доктора внутреннее устройство человека, слышал, что у нас внутри есть сердце, легкие, кишки, и мне было довольно, чтобы немедленно прочесть по этому поводу моим старухам целую лекцию. Я смело начертил мелом на двери какие-то вавилоны, которые должны были изображать внутренности, и стал нести что-то о сердце и о почках. Все, что я говорил, производило на почтенное собрание глубочайшее впечатление. Я прослыл необыкновенно умным ребенком, и наградой за мою болтовню служили мне со стороны старух сказки. Передо мною развернулся целый сказочный мир, не уступавший по богатству тому, что рисуется нам в *«Тысяче и одной ночи»*. Эти сказки

и частые столкновения с умалишенными до такой степени повлияли на меня, и без того уже зараженного суеверием, что я в сумерках едва осмеливался высунуть нос за порог дома. Обыкновенно мне и позволяли ложиться в постель, как только садилось солнышко, конечно, не на мою собственную кровать, на раскладной скамье-сундуке — тогда нельзя было бы повернуться в комнате, — а на кровать родителей. Я лежал там за ситцевым пологом, сквозь который просвечивал огонь свечки, слышал все, что творилось в комнате, и в то же время так уходил в собственный внутренний мир грез и фантазий, что внешний как будто совсем переставал существовать для меня. «Чудесный мальчуган! Лежит себе смирнехонько! — говаривала матушка. — Никому-то не мешает, да и сам беды там не натворит».

Слабоумного дедушки я страх как боялся; он говорил со мною всего один раз и очень удивил меня своим обращением ко мне на «вы». Он вырезывал из дерева разные причудливые фигурки: людей со звериными головами, животных с крыльями и диковинных птиц, укладывал их в корзинку и ходил по окрестностям, раздаривая игрушки деревенским детям и женщинам. Эти в свою очередь угощали его и отдаривали крупой, ветчиной и прочим. Раз, когда он только что вернулся с такой прогулки в город, я услышал, как глумились над ним бежавшие за ним толпою уличные мальчишки. Я в ужасе забился под лестницу и сидел там пока они не пробежали мимо. Я знал, что был плотью от плоти и кровью от крови этого слабоумного.

Я почти никогда не сходил с своими сверстниками и даже не принимал участия в играх школьников во время перемен, оставаясь в классной. Дома у меня в игрушках недостатка не было. Чего-чего ни делал мне отец! Были у меня и картинки с превращениями, и двигающиеся мельницы, и панорамы, и кивающие головами куклы. Любимейшей игрой было шить моим куклам наряды или сидеть во дворе под единственным кустом крыжовника, который с помощью передника матушки, повешенного на метлу, изображал мою палатку, убежище в солнце и в дождь. Там я сидел и смотрел на листья крыжовника, которые росли и развивались день за днем на моих глазах — маленькие зелененькие почки становились под конец большими сухими желтыми листьями и опадали. Вообще я был большим мечтателем и, гуляя, часто даже закрывал глаза. Под конец все стали думать, что у меня слабое зрение, а как раз, наоборот, оно всегда было у меня очень острое.

Азбуке, слогам и чтению я учился в школе, которую содержала одна «ученая» старуха. Она обыкновенно сидела на кресле под часами, которые во время боя показывали разные фигуры и кунштюки. Под руками у нее всегда лежали розги, частенько-таки разгуливавшие по плечам детей, между которыми преобладали маленькие девочки. Обучение велось по-старинному: все мы зараз громко и нараспев твердили

слоги. Меня учительница сечь не смела — с таким уговором отдала меня в школу матушка, и когда раз мне все-таки попало, я сейчас же собрал свои книги и, не говоря ни слова, ушел домой к матери. Пожаловавшись ей, я потребовал, чтобы меня отдали в другую школу, что и было исполнено. Матушка поместила меня в «школу для мальчиков» господина Карстенса, в которой, однако, находилась и одна девочка, совсем маленькая, хотя все-таки постарше меня. Мы с ней живо сдружились. Она постоянно говорила о полезном и необходимом, о том, что надо поступить на хорошее место и что ходит в школу она главным образом для того, чтобы научиться хорошенько считать. Мать сказала ей, что тогда она может попасть в экономки на большую ферму. «Я возьму тебя к себе в свой замок, когда сделаюсь вельможей!» — сказал ей в ответ на это я, но она засмеялась и напомнила мне, что я бедный мальчик. Раз я нарисовал что-то вроде замка, назвал его своим замком и стал уверять свою подругу, что меня подменили малюткой, что я знатный ребенок, и что ко мне часто являются даже сами ангелы Божии и разговаривают со мной. Я хотел поразить и ее, как поражал старух в госпитале, но на нее мои рассказы подействовали совсем иначе. Она вытаращилась на меня, а потом сказала другим мальчикам, стоявшим возле: «И у него голова не в порядке, как у его дедушки!» У меня даже мурашки по спине забегали. Я-то старался, рассказывал, желая прослыть в их мнении чем-то необыкновенным, а вышло, что меня сочли за помешанного, как мой дед! С тех пор я и не заговаривал с девочкой ни о чем подобном, впрочем, мы с тех пор и перестали быть такими друзьями, как прежде. Я был в школе самым младшим, поэтому, когда другие мальчики играли, учитель, господин Карстенс, водил меня по двору за руку, чтобы меня не сбили с ног. Он очень любил меня, часто угощал пирожными, ласкал, дарил мне цветы и раз даже простил ради меня провинившегося ученика. Один из больших мальчиков не знал урока и был за это поставлен с книгой на стол, вокруг которого сидели мы все; я был неутешен, мне было жаль наказанного, и учитель помиловал его. Милый, добрый мой учитель сделался впоследствии начальником телеграфной станции в Торсенге. Он был еще жив несколько лет тому назад, и мне рассказывали, что старик часто говаривал посетителям: «Да, да, вы, пожалуй, не поверите, что я, бедный старик, был первым учителем одного из наших популярнейших писателей! У меня в школе учился Ганс Христиан Андерсен!»

Осенью матушка иногда ходила по полям и, как библейская Руфь, собирала оставшиеся после жатвы колосья. Я обыкновенно сопровождал ее. Раз мы забрели в поле барского имения, где был очень злой и жестокий управляющий. Вдруг мы увидали его с огромным кнутом в руках! Матушка и все другие бросились бежать, я тоже, но скоро

потерял с голых ног деревянные башмаки, сухие жесткие ожинки стали колоть мне ноги, и я отстал от других. Управляющий уже замахнулся на меня кнутом, но я взглянул ему прямо в глаза и невольно сказал: «Как же ты смеешь бить меня — ведь Господь видит тебя!» И суровый человек сразу смягчился, потрепал меня по щеке, спросил, как меня зовут, и дал мне денег. Я показал их матушке, и она сказала другим: «Что за ребенок мой Ганс Христиан! Все-то его любят, даже злой управляющий дал ему денег!»

Я рос благочестивым и суеверным ребенком. О нужде я не имел и понятия, хотя мои родители и перебивались, как говорится, с хлеба на квас, мне же казалось, что мы живем в полном достатке. Даже одевали меня хорошо. Какая-то старуха постоянно перешивала для меня старое платье моего отца, три-четыре шелковых лоскутка, хранившихся у матери, служили мне жилетами — их скрещивали на груди и закалывали булавкой, на шею надевался еще большой шарф, завязывавшийся огромным бантом, голова, лицо и руки всегда были чисто вымыты с мылом, а волосы расчесаны с пробором — щеголь да и только! Таким щеголем пошел я с родителями и в театр — в первый раз в жизни. В Оденсе тогда уже был благоустроенный театр. Первые представления, которые удалось мне видеть, давались на немецком языке. Директор, по фамилии Франк, ставил оперы и комедии. Любимой пьесой местной публики была *«Дева Дуная»*. Первая же виденная мною пьеса — была комедия Гольберга *«Медник-политик»*, переделанная в оперу. Судя по первому впечатлению, которое произвел на меня переполненный зрительный зал, трудно было угадать, что во мне сидит поэт. Родители рассказывали мне впоследствии, что я как вошел, так и воскликнул: «Ну! Будь у нас столько бочонков масла, сколько тут людей — то-то я поел бы!» Тем не менее театр скоро сделался моим излюбленным местом, но так как попадать туда мне удавалось всего раз-другой в зиму, то я и свел дружбу с разносчиком афиш Петром Юнкером, и он ежедневно дарил мне по афише с тем, чтобы я разнес за него по нашему кварталу часть остальных; я выполнял условие добросовестно. И вот за невозможностью попасть в театр, я сидел дома в углу с афишей в руках и, читая заглавие пьесы и имена действующих лиц, придумывал сам целые комедии. Это были мои первые еще бессознательные попытки творчества.

Отец читал нам вслух не только комедии и рассказы, но и исторические книги, и Библию. Он глубоко вдумывался в то, что читал, но когда заговаривал об этом с матушкой, оказывалось, что она не понимала его, оттого он с годами все больше и больше замыкался в себе. Однажды он раскрыл Библию и сказал: «Да, Иисус Христос был тоже человек, как и мы, но человек необыкновенный!» Мать пришла от его слов в ужас и залилась слезами. Я тоже перепугался и стал просить у Бога прощения моему отцу за такое богохульство.

«Нет никакого дьявола, кроме того, которого мы носим в своем сердце!» — говаривал также мой отец, и меня всякий раз охватывал страх за его душу. Однажды утром на руке у отца оказались три глубокие царапины — он, вероятно, задел во сне рукой за какой-нибудь гвоздик в кровати, но я вполне разделял мнение матери и соседок, уверявших, что это царапнул отца ночью дьявол, чтобы убедить его в своем существовании. Отец вообще мало с кем знался и почти все свободное время проводил или один, или со мною в лесу. Заветной мечтой его было жить за городом, и вот мечта эта чуть было не сбылась. В одно барское поместье потребовался башмачник; для житья ему отводился в ближней деревеньке домик с садиком и небольшим пастбищем для коровы. Даровое помещение и постоянный верный заработок — да можно ли желать большего счастья! И мать, и отец только о нем и мечтали! Отцу в виде пробной работы заказали пару бальных башмаков; помещица прислала ему шелковой материи, а кожу он должен был поставить сам. Только этими башмаками мы все трое и были заняты несколько дней кряду. Я несказанно радовался, мечтая о будущем садике с цветами, с кустиками, под которыми я буду сидеть и слушать кукушку, и горячо молил Бога исполнить это наше заветное желание. Наконец, башмачки были готовы, мы смотрели на них с каким-то благоговением — от них ведь зависело все наше будущее. Отец завернул их в платок и ушел. Мы все сидели и ждали, что вот-вот он придет сияющий, вне себя от радости, и дождались — бледного, вне себя от гнева! Барыня даже не примерила башмаков, только взглянула на них и объявила, что отец испортил шелковую материю и что его нельзя принять на место. «Ну, если пропала ваша материя, то пусть пропадет и моя кожа!» — сказал отец, вынул ножик и тут же отрезал подошвы! Так ничего и не вышло из наших надежд поселиться в деревне. Все мы горько плакали, а между тем — казалось мне, — что бы стоило Богу исполнить наше желание! Но исполни Он его, я сделался бы крестьянином, и вся моя жизнь сложилась бы иначе. Часто впоследствии задавал я себе вопрос: неужели Бог именно ради меня и не дал сбыться заветному желанию моих родителей?

Отец стал еще чаще прежнего ходить в лес — он, видимо, не находил себе места. Военные события в Германии поглощали все его внимание, и он жадно следил за ними по газетам. В Наполеоне он видел своего героя — его быстрое возвышение казалось ему прекраснейшим примером для подражания. Дания заключила союз с Францией, всюду только и речи было, что о войне, и мой отец решился сделаться солдатом, в надежде вернуться домой уже офицером. Мать плакала, соседи пожимали плечами и твердили, что просто безумие идти на смерть, когда в этом нет никакой нужды. Солдат в то время был какой-то парией, только впоследствии, во время войны с восставшими герцогствами, взгляд на

него стал более правильным: люди поняли, что солдат — правая рука страны, держащая меч.

В то утро, когда партия солдат, к которой принадлежал мой отец, выступала из города, я увидал отца веселым и разговорчивым, как никогда, он даже громко пел, но был сильно взволнован, недаром он так порывисто поцеловал меня на прощание. Я лежал в кори, лежал один-одинешенек; грохотали барабаны, и матушка вся в слезах провожала отца за городские ворота. Когда войска совсем ушли, ко мне пришла бабушка, и, глядя на меня своими кроткими глазами, сказала, что я бы хорошо сделал, если бы умер теперь, но что, конечно, Бог все направляет к лучшему. Да, это был первый скорбный день в моей жизни.

Полк, в который поступил отец, между тем не пошел дальше Голштинии; был заключен мир, все добровольцы вернулись к своим прежним занятиям, и все как будто опять пошло по-старому.

Я продолжал играть со своими куклами и детским театром, разыгрывая целые комедии — всегда на немецком языке, я ведь только немецкие комедии и видел. Конечно, мой немецкий язык был какой-то тарабарщиной моего собственного изобретения, в которой встречалось в сущности только одно немецкое слово: «Besen» (метла), одно из немногих немецких слов, вынесенных отцом из похода в Голштинию. «И тебе мой поход пошел впрок! — говаривал он в шутку. — Доведется ли тебе побывать когда-нибудь так далеко?! А следовало бы! Помни это, Ганс Христиан!» Но матушка сказала на это, что пока ее воля, она меня никуда от себя не отпустит, а то, пожалуй, и я сгублю свое здоровье, как отец.

Действительно, здоровье отца было совсем расшатано непривычной походной жизнью. Однажды утром у него начался бред, он говорил о походе, о Наполеоне, выслушивал приказания, командовал. Мать сейчас отправила меня за помощью, только не к доктору, а к одной знахарке, жившей в полумиле от города. Она задала мне несколько вопросов, потом взяла шерстинку, смерила ей мои руки, сотворила надо мной какие-то знаки и, наконец, положила мне на грудь зеленую веточку, взятую, по ее словам, от такого же дерева, как то, из которого был сделан крест Христа. На прощание она сказала мне: «Ступай вдоль реки! Если твоему отцу суждено умереть в этот раз, ты встретишь его привидение». Можно представить себе, какой я должен был испытывать страх! «И тебе ничего не привиделось?» — спросила мать, когда я вернулся и рассказал обо всем. «Нет!» — ответил я, а сердце мое так и колотилось. На третий день вечером отец умер. Тело его оставили лежать в постели, а мы с матерью улеглись на полу. Всю ночь пел сверчок. «Он уж умер! — говорила ему мать. — Нечего тебе звать его, его взяла ледяная дева!» И я понял, что мать хотела этим сказать. Я помнил еще, как прошлой зимой, когда окна все позамерзли, отец

показал нам в ледяных узорах на окне что-то, похожее на женщину, простиравшую вперед обе руки. «За мной что ли пришла?» — сказал он тогда в шутку. Теперь мать вспомнила об этом, и слова ее глубоко запали мне в душу.

Схоронили отца на кладбище Св. Кнуда. Бабушка посадила на его могиле розы. Впоследствии на этом месте похоронили других покойников; теперь и их могилы заросли травой.

По смерти моего отца, я был почти совершенно предоставлен самому себе. Мать ходила по стиркам, а я сидел в это время дома один, играл со своим маленьким театром, который сделал мне отец, шил куклам платья и читал разные комедии. Я в то время, как мне рассказывали, был долговязым мальчиком с длинными светлыми волосами, ходил по большей части без шляпы и в деревянных башмаках.

По соседству с нами жила вдова священника Бункефлода с сестрой своего покойного мужа. Они полюбили меня, часто зазывали к себе, и я стал проводить у них большую часть дня. Эта была первая образованная семья, в которой мне пришлось бывать. Покойный священник пользовался немалой известностью за свои песенки в народном духе. В этом доме я впервые услышал слово «поэт», произносимое с благоговением, как нечто священное. Я был уже знаком из чтения отца с комедиями Гольберга, но тут разговор шел не о них, а о стихах, о поэзии.

«Брат мой — поэт»... — говаривала старуха, сестра Бункефлода, и глаза ее так и светились. От нее же узнал я, что поэты принадлежат к счастливейшим избранникам Божиим, в этом же доме я впервые познакомился и с Шекспиром, разумеется, в переводе, и очень плохом. Тем не менее смело нарисованные картины, кровавые события, ведьмы и привидения — все это было как раз в моем вкусе. Я не замедлил разыграть шекспировские трагедии на своем маленьком кукольном театре, я ведь живо представлял себе и духа отца Гамлета, и безумного Лира в степи. Чем большее число действующих лиц умирало в данной пьесе, тем она казалась мне интереснее. Вскоре я сам сочинил пьесу, конечно, я начал прямо с трагедии, и, конечно, в ней все умирали. Содержание я заимствовал из старинной песни о Пираме и Фисби, но прибавил от себя еще два лица, отшельника с сыном, которые оба были влюблены в Фисби и оба убивали себя после ее смерти. Чуть ли не вся роль отшельника была составлена из библейских изречений, касавшихся главным образом обязанностей человека к ближним и выписанных из учебника Закона Божия; называлась пьеса: «Карас и Эльвира». «Уж лучше бы «Карась и корюшка», — сострила соседка, когда я прочел ей свою пьесу с большим воодушевлением и самодовольством. Слова ее совсем обескуражили меня, я чувствовал, что она смеется и надо мной, и над моей пьесой, которую так восхваляли все другие. Пришел я со своим горем к матери. «Это она говорит потому, что не ее сын написал такую пье-

су», — сказала мне мать; я утешился и взялся за новую пьесу. В ней я хотел вывести короля с принцессой, а потому и писать намеревался высоким слогом. Положим, у Шекспира короли и принцессы говорили точно так же, как и прочие смертные, но мне это показалось не совсем верным. Я стал расспрашивать у матери и у соседей о том, как же на самом деле говорит король, но никто из них не мог хорошенько ответить мне. Еще бы! Король посетил Оденсе уж столько лет тому назад! Насколько им, однако, помнилось, он говорил по-иностранному. Я живо достал какой-то датско-немецко-французско-английский словарь, и все у меня пошло, как по маслу. Реплики короля и принцессы были составлены из слов разных языков, например: «Guten Morgen, mon père! Хорошо ли вы sleeping?» Вышло настоящее вавилонское смешение языков — по моему же, единственное наречие, на котором могли объясняться столь высокие лица. Я читал свою пьесу всем и каждому. Мне самому это чтение доставляло величайшее наслаждение, так я думал, что и всем другим оно доставляет такое же.

Сын соседки работал на суконной фабрике и уже кое-что зарабатывал. Я же все болтался без всякого дела, как говорили соседи, вот мать и решила тоже отправить меня на фабрику. «Не ради заработка, — говорила она, — но тогда я по крайней мере буду знать, где он и чем занят». Бабушка с сокрушенным сердцем повела меня туда. Не думала она дожить до того, что увидит меня среди всех этих несчастных мальчиков! На фабрике работало много немецких подмастерьев, они громко пели и весело разговаривали. Плоские шутки вызывали бурный восторг. Я слушал их, но не понимал, и вижу теперь, что невинный ребенок может слышать подобные вещи без всякого вреда — они не доходят до его сердца.

Я обладал тогда прекрасным высоким сопрано, которое сохранил до пятнадцати лет. Я знал, что всем приятно слушать мое пение, и когда меня на фабрике спросили, не знаю ли я каких-нибудь песенок, я сейчас же начал петь и привел всех в восторг. Я пел, а работу мою справляли за меня другие мальчики. Покончив с пением, я рассказал, что умею также представлять комедии. Я знал наизусть целые сцены из комедий Гольберга и трагедий Шекспира и бойко декламировал их. Подмастерья и работницы дружески кивали мне, смеялись и хлопали в ладоши. Так прошли первые дни моего пребывания на фабрике, и такое времяпрепровождение казалось мне очень веселым. Но вот однажды, когда я по обыкновению тешил компанию пением, и все дивились нежности и высоте моего голоса, один из подмастерьев вскричал: «Наверное, это не мальчик, а девочка». С этими словами он грубо схватил меня. Я дико закричал; другим подмастерьям эта грубая шутка понравилась, они присоединились к товарищу, схватили меня за руки и за ноги, я завизжал благим матом, вырвался из их рук и опрометью бросился бежать домой к матери. Я

был стыдлив, как девочка. Узнав в чем дело, мать сейчас же дала мне слово не посылать меня больше на фабрику.

Я опять стал бывать у вдовы Бункефлод, слушал ее чтение, сам читал вслух и, кроме того, учился у нее шить, мне это было крайне необходимо для моего кукольного театра. Я сшил также в виде подарка к дню рождения вдовы белую шелковую подушку для иголок. Много лет спустя я еще видел ее в целости и сохранности. Познакомился я также с другой вдовой священника. Она брала из частной библиотеки романы, которые я читал ей вслух. Помню, один из них начинался приблизительно так: «Стояла бурная ночь; дождь так и хлестал в окна». «Вот прекрасная книга!» — сказала вдова. В простоте душевной я спросил: «Почему вы знаете?» «Сразу видно по началу!» — сказала она, и я с особым почтением посмотрел на нее, — какая умная!

Однажды осенью мать отправилась со мною в поместье близ ее родного города Богенсе. Она служила когда-то у родителей помещицы, и та давно уже звала ее к себе в гости. Целые года я радовался в ожидании этого посещения, и наконец оно должно было состояться. Мать и я провели в дороге два дня — пришлось идти пешочком. Поместье было прекрасное, приняли и накормили нас отлично, да и сама деревня произвела на меня такое впечатление, что я ничего лучшего и не желал, как остаться там навсегда. Были мы там как раз во время сбора хмеля. Я сидел с матерью в овине в кругу целой толпы деревенских баб и парней. Все мы были заняты чисткой хмеля. Работа шла под рассказы и разговоры о всевозможных удивительных приключениях. Черт с копытами, привидения и прочее — все это было известно здесь всем. Один старый крестьянин сказал, между прочим, что Бог знает все, что совершается и должно совершиться. Слова эти произвели на меня глубокое впечатление, и я не мог отделаться от них. Под вечер мне случилось несколько отойти от дома. Я очутился у глубокого пруда и, взобравшись на один из больших камней, лежавших в воде, подумал: «Неужели Бог может знать все, что должно случиться! Ну вот, положим, Он назначил мне дожить до глубокой старости, а я вот возьму да и брошусь в воду и утоплюсь! И не выйдет так, как Он хочет!» И я твердо решил утопиться. Я уже подошел к самому глубокому месту, и вдруг новая мысль озарила мою душу: «Это дьявол хочет взять власть над тобою!» Я громко вскрикнул и бросился оттуда со всех ног, отыскал мать и с плачем кинулся к ней на шею. Но ни она, ни кто-либо из других не могли допытаться, что со мною. «Он, верно, увидел нечистую силу!» — сказала одна из женщин. И я сам готов был поверить этому.

Вскоре мать моя вышла замуж вторично за одного молодого башмачника. Семья его, хотя также из ремесленного сословия, была этим очень недовольна, находя, что он мог сделать гораздо лучшую партию,

и не желала знаться ни с матерью моей, ни со мною. Отчим мой был человек молодой, с живыми карими глазами и очень тихого, уживчивого нрава. Он совсем не хотел вмешиваться в дело моего воспитания и вполне предоставил меня самому себе. И я весь отдался своей панораме да кукольному театру. То-то была радость, когда мне удавалось набрать кучу пестрых лоскутьев, из которых я мог выкраивать и шить костюмы для своих кукол. Мать одобряла мои занятия, они могли пригодиться мне, как будущему портному, каковым я, по ее мнению, родился. Я же твердил, что хочу «играть в комедиях», но против этого мать решительно восставала: слово «комедия» вызывало у нее представление только о канатных плясунах да о странствующим актерам, что, по ее мнению, было одно и то же. «Вот когда попробуешь колотушек! — говаривала она. — Заставят тебя голодать, чтобы ты был полегче, станут пичкать тебя деревянным маслом, чтобы ты был гибче! Нет, ты пойдешь в портные! Посмотри только, как живет портному Стегману! Не житье, а масленица! (Это был самый первый портной в городе.) Он живет на главной улице, окна у него зеркальные и все столы полны подмастерьями. Вот бы тебе попасть к нему!»

Единственное, что скрашивало в моих глазах это мое будущее занятие — возможность постоянно пополнять свои запасы пестрых тряпок и лоскутков для костюмов моим куклам-актерам.

Родители мои переехали на новую квартиру около городских ворот. Тут у нас был садик, маленький, узенький. Он и состоял-то в сущности из одной длинной грядки, усаженной кустами красной смородины и крыжовника, да дорожки, занимавшей почти столько же места сколько и самая грядка, зато дорожка эта спускалась прямо к реке Оденсе возле самой монастырской мельницы. Три огромных колеса вертелись в пенящейся воде и вдруг останавливались, когда шлюзы запирали. Скоро вся вода стекала вниз, речка мелела, и обнажалось дно с лужицами воды, в которых барахтались рыбки, — я мог брать их простыми руками. Из-под большого колеса выбегали на водопой жирные крысы. Вдруг шлюзы опять отворяли, вода с пеной и шумом низвергалась вниз, крысы исчезали, русло реки снова наполнялось водою, и я, давай Бог ноги, на берег, точно собиратель янтаря на берегу Немецкого моря при наступлении прилива.

На берегу лежали большие камни, и на одном из них, на котором мать моя обыкновенно полоскала белье, я любил стоять и петь во весь голос разные песенки, а часто и попросту все, что мне приходило в голову, без всякого смысла или связи. Соседний сад принадлежал советнику Фальбе, жена которого когда-то была актрисой. Я знал, что когда у них в саду бывали гости, все слушали мое пение. Часто мне говорили также, что у меня чудесный голос, и что он, наверное, принесет мне счастье, и я раздумывал о том, как это случится. Фан-

тазия была для меня действительностью, и немудрено, что я ожидал самых невероятных вещей. От одной старухи, полоскавшей белье на речке, я узнал, что Китайская империя находится как раз под рекой Оденсе, так, по-моему, не было ничего невозможного в том, что в один прекрасный лунный вечер какой-нибудь китайский принц прокопается к нам сквозь землю, услышит мое пение и увезет меня с собой в свое королевство. Там он сделает меня богатым и важным господином, а потом позволит опять вернуться в Оденсе, где я построю себе дворец. И я до такой степени увлекался этой мечтой, что по целым вечерам сидел и чертил планы дворца. Я был еще совсем ребенком, да и не скоро вышел из ребячества. Когда я впоследствии в Копенгагене выступал в каком-нибудь кружке в качестве декламатора, я все еще ждал, что среди слушателей тоже находится какой-нибудь принц, что он услышит, поймет меня и поможет мне выбиться в люди. Помощь-то и явилась, да иным путем.

Моя любовь к чтению, богатая память, хранившая множество отрывков из драматических произведений, которые я знал наизусть, и, наконец, прекрасный голос — все это вызывало некоторый интерес ко мне со стороны многих из лучших семейств в Оденсе. Меня зазывали к себе, интересовались моею странной персоною. Особенно много искреннего участия оказал мне полковник Гёг-Гульберг со своей семьей. Он даже упомянул обо мне однажды в беседе с принцем Христианом (впоследствии королем Христианом VIII), который жил тогда во дворце в Оденсе, и наконец взял меня туда с собою.

«Если принц спросит вас, чего бы вам больше всего хотелось, — сказал он мне, — отвечайте, что ваше заветное желание поступить в гимназию». Я так и ответил, когда принц действительно задал мне этот вопрос, но он на это сказал, что способность петь и декламировать чужие стихотворения не есть еще признак гения, что надо помнить о том, как труден и долг путь учения, и что он не прочь помочь мне, если я желаю изучить какую-нибудь приличную профессию, сделаться, например, токарем. Мне этого вовсе не хотелось, и я ушел из дворца не ахти каким веселым, хотя принц и говорил в сущности вполне разумно и основательно. Впоследствии же, когда способности мои развились, он, как увидите, до самой смерти своей был ко мне добр и ласков, и я всегда вспоминаю о нем с чувством искренней признательности.

Я так и остался дома, но наконец стал таким уж долговязым мальчиком, что мать нашла невозможным позволять мне дольше болтаться без дела и отдала меня в школу для бедных. Там преподавали Закон Божий, письмо и арифметику, да и то довольно плохо. Я едва ли умел правильно написать хоть одно слово. Уроков я дома никогда не готовил, а выучивал их кое-как по дороге из дома в школу. Мать вследствие

этого очень хвалилась моими способностями в укор сыну соседки. «Тот зубрит с утра до вечера, мой же Ганс Христиан и не заглядывает в книжку, а все-таки знает свой урок».

Ежегодно в день рождения учителя я подносил ему венок и собственное стихотворение. Обыкновенно он принимал эти подношения с улыбкой, но случалось мне получать за них и выговоры. Учитель, по фамилии Вельгавен, был норвежец родом и, насколько я мог судить, человек хороший, но горячего нрава и неудачник. Беседуя с нами о религии, он говорил всегда очень горячо, а проходя священную историю, умел изобразить нам события так живо, что все стенные картины, изображавшие сцены из Ветхого Завета, точно оживали для меня и проникались такой красотой, правдивостью и свежестью, какими впоследствии я восхищался в картинах Рафаэля и Тициана. Часто уносился я мечтами Бог весть куда, бессознательно глядя на увешанную картинами стену, и мне порядком доставалось за это от учителя. Я также очень любил рассказывать другим мальчикам удивительные истории, в которых главным лицом являлся, конечно, я сам. Меня часто поднимали за это на смех. Уличные мальчишки тоже слышали от своих родителей о моих странностях и о том, что я бываю в «важных домах», и вот однажды они погнались за мною по улице целой толпой с криками: «Вон бежит сочинитель комедий!» Добравшись до дому, я забился в угол, плакал и молился Богу.

Мне шел уже четырнадцатый год, и мать решила подтвердить меня, чтобы потом отдать в учение к портному. Она любила меня всем сердцем, но не понимала, к чему я стремлюсь, да я и сам-то этого не понимал тогда. Со стороны же окружающих она слышала обо мне одни неодобрительные отзывы, и это печалило и мучило ее.

Мы жили в приходе церкви Св. Кнуда, и желавшие подготовиться к конфирмации должны были записываться или у самого пробста, или у капеллана. К первому ходили учиться дети так называемых важных семейств и городские гимназисты, к последнему — более бедные. Я, однако, явился к пробсту, и ему волей-неволей пришлось записать меня у себя. Он, пожалуй, видел в моем желании подготовиться у него одно тщеславие: его конфирманты занимали в церкви ведь первое место, но это было не совсем так — побудило меня к этому кое-что другое. Я смерть боялся бедных мальчиков, которые глумились надо мною, и, напротив, всегда испытывал невольное влечение к гимназистам, в моих глазах они должны были быть куда лучше всех других мальчиков. Часто в то время как они резвились на кладбище, я стоял за деревянной решеткой и глядел на них, от души желая быть на месте одного из этих счастливцев — не ради их игр, а ради множества книг, что были у них, и ради того, чем каждый из них мог сделаться на свете. Записавшись у пробста, я имел возможность попасть в их компанию,

но мне не вспоминается теперь ни один из них, так, видно, мало обращали они на меня внимания. Я постоянно чувствовал, что втерся туда, где мне не место, и сам пробст не раз давал мне это почувствовать. Раз после того как я в доме одних его знакомых декламировал сцены из какой-то комедии, он призвал меня к себе, сказал, что непристойно заниматься такими делами в то время как я готовлюсь к конфирмации, и прибавил, что если услышит обо мне еще что-либо подобное, то сейчас же запретит мне ходить к нему. Я оробел и стал дичиться еще больше, как залетевшая в чужую для нее обстановку птичка. Между готовившимися к конфирмации была все-таки одна девушка по фамилии Тёндер-Лунд, которая была ко мне и добра и ласкова, даром что считалась важнее всех. Я еще буду говорить о ней позже. Она всегда встречала меня дружеским взглядом, любезно здоровалась со мною, а раз даже подарила мне розу. Я пошел домой в полном восторге: нашлась-таки хоть одна душа, не смотревшая на меня свысока, не отталкивавшая меня от себя!

К конфирмации старушка-портниха сшила для меня из пальто отца целый костюм. Мне казалось, что я еще никогда не был одет таким щеголем. Кроме того, мне в первый раз в жизни подарили сапоги. Я был от них в несказанном восторге и, опасаясь, что они не всем будут видны, заправил брюки в голенища и в таком виде зашагал по самой середине церкви. Сапоги скрипели, и я от души радовался этому — слышно по крайней мере, что новые! Зато благочестивое настроение мое было нарушено, я чувствовал это и испытывал страшные угрызения совести: шутка ли, мысли мои столько же были заняты сапогами, сколько Господом Богом! Я искренно молился Ему, прося прощения, и — опять думал о своих новых сапогах.

В последние годы я копил мелочь, которую дарили мне при разных случаях, после конфирмации я раз сосчитал ее, и оказалось, что у меня составила сумма в тринадцать далеров. Такой капитал совсем ошеломил меня, и когда мать начала серьезно настаивать на том, чтобы я поступал в учение к портному, я принялся умолять ее позволить мне лучше попытаться счастья, отправиться в Копенгаген, который в моих глазах был столицей мира.

«А чего ты там добьешься?» — сказала мать. «Я прославлю себя!» — ответил я и рассказал ей о том, что читал о замечательных людях, родившихся в бедности. «Сначала приходится много-много перетерпеть, а потом и прославишься!» — сказал я. Меня охватило какое-то непостижимое увлечение, я плакал, просил, и мать наконец уступила моим просьбам; прежде чем решиться, она, однако, послала за знахаркой и заставила ее погадать мне на картах и на кофейной гуще.

«Сын твой будет великим человеком! — сказала старуха. — Настанет день, и родной город его Оденсе зажжет в честь его иллюминацию». Ус-

лышав это, мать заплакала и больше не противилась моему отъезду. Соседи наши и вообще все, кому приходилось узнать об этом, старались отговорить мать, разъясняя ей, какое безумие отпускать меня, четырнадцатилетнего подростка и сущего ребенка, одного в Копенгаген, за столько миль от родины, в такой огромный город, где я не знал ни души. «Да что ж, он покоя мне не дает! — отвечала она. — Пришлось наконец отпустить его, но беда тут невелика: я знаю, дальше Ньюборга он не поедет, увидит там сердитое море, испугается и повернет назад, а тогда уж я отдам его в учение к портному!» «Удалось бы нам поместить его здесь где-нибудь в конторе! — говорила бабушка. — Вот важное-то занятие, да и по душе Гансу Христиану!» «Сделался бы он таким портным, как Стегман, так я лучшего бы и не желала! — сказала мать, — А пока пусть себе прокатится в Ньюборг!»

Летом, еще до моей конфирмации, в Оденсе приезжала часть труппы копенгагенского королевского театра и поставила здесь несколько опер и трагедий. Благодаря своей дружбе с разносчиком афиш я не только видел все представления из-за боковых кулис, но и сам участвовал в них то в качестве пажа, то пастуха, более того — даже сказал несколько слов в «Сандрильоне». Я проявлял такое рвение, что артисты, участвовавшие в представлении, всегда при своем приходе в театр находили меня уже вполне одетым. Это обратило на меня их внимание; моя детская наивность и восторженность забавляла их, и некоторые из них ласково заговаривали со мною. Я же смотрел на них, как на земных богов. Все, что мне говорили по поводу моего голоса и умения декламировать, убедило меня в том, что я рожден для сцены, что именно на сцене ждет меня слава, и королевский театр в Копенгагене сделался поэтому заветною целью моих стремлений. Пребывание в Оденсе актеров королевского театра было для многих и особенно для меня настоящим событием. Все восхищались их игрою, и почти все разговоры кончались обыкновенно одним и тем же пожеланием: «Вот бы поехать в Копенгаген и побывать в королевском театре!» Некоторым это и удавалось, и они рассказывали о чем-то таком, что, по их словам, было еще лучше оперы и комедии — о «балете». Особенно восторгались все танцовщицей Шаль, звездой первой величины; в моих глазах она являлась какой-то королевой, и я постоянно носился с мыслью, что именно она-то, если мне удастся обеспечить себе ее расположение, и поможет мне достигнуть славы и счастья.

Увлеченный этой мыслью я зашел к старому типографщику Иверсену, одному из наиболее уважаемых граждан Оденсе. Я знал, что актеры в бытность свою в городе ежедневно бывали у него, он был знаком со всеми ими и уж, вероятно, знал и знаменитую танцовщицу. Я решил попросить у него рекомендательное письмо к ней, а там Бог довершит остальное.

Старик, видевший меня в первый раз в жизни, ласково выслушал мою просьбу, но затем стал настоятельно отговаривать меня от поездки, советуя мне лучше поступить в учение к какому-нибудь ремесленнику. «Это было бы великим грехом!» — ответил я, и тон мой до того поразил его, что он сразу заинтересовался мною, как я узнал впоследствии от его семьи. Он, хоть лично и не знал танцовщицы, все-таки согласился дать мне письмо к ней. Я получил письмо и был вполне убежден, что теперь двери счастья для меня уже открыты.

Мать связала все мои пожитки в маленький узелок, уговорилась с почтальоном, и тот обещал провезти меня в Копенгаген в качестве «слепого» (то есть безбилетного) пассажира всего за три далера. День отъезда наконец настал. Мать печально проводила меня за городские ворота, тут дожидалась нас бабушка, волосы ее в последнее время все поседели. Она молча обняла меня и заплакала, я сам готов был заплакать... Затем мы расстались, и я так больше и не свиделся с нею на этом свете. Через год она умерла, и я даже не знаю, где ее могила, ее похоронили на кладбище для бедных.

Почтальон затрубил в свой рожок; стоял прекрасный солнечный день; скоро и в моей детской душе засияло солнышко: вокруг меня было столько нового, да и к тому же я ведь направлялся к цели всех моих стремлений. Тем не менее, когда мы в Нюборге пересели на корабль и стали удаляться от родного острова, я живо почувствовал все свое одиночество и беспомощность, у меня не было никого, на кого бы я мог положиться, никого, кроме Господа Бога. Как только я вышел на берег Зеландии, я зашел за какой-то сарай, стоявший на берегу, бросился на колени и обратился к Богу с горячей мольбой помочь мне и направить меня на путь. Молитва успокоила меня, вера в Бога и в свою счастливую звезду вновь окрепла во мне. Затем поездка продолжалась. Мы ехали весь день и всю следующую ночь через разные города и деревни. Во время остановок я стоял один около дилижанса и утолял свой голод куском хлеба. Все здесь было мне чуждо, мне казалось, что я забрался, Бог весть, как далеко, чуть не на край света.

II

Утром в понедельник 6 сентября 1819 года я увидел с Фредериксбергского холма Копенгаген. Я прошел через сад по большой аллее, миновал предместье и вступил в город. Как раз накануне в городе разразился еврейский погром, которые в то время то и дело повторялись в разных европейских городах. Весь город был на ногах, толпы людей сновали по улицам, но весь этот шум и сумятица меня нисколько

не удивили: все это вполне соответствовало тому оживлению, которое я заранее рисовал себе в Копенгагене, бывшем для меня городом из городов. Весь мой капитал равнялся десяти далерам, и я нашел себе пристанище в скромных номерах для приезжих около Западных ворот, через которые вошел в город.

Первым долгом я отыскал королевский театр и обошел его кругом несколько раз, пристально разглядывая стены. Я смотрел на здание, как на свой родной дом, только еще не открытый для меня; на углу остановил меня какой-то барышник и спросил, не желаю ли я получить билет на сегодняшнее представление. Я был до того несведущ и неопытен, что вообразил, будто он желает подарить мне билет, и горячо стал благодарить его. Тот, полагая, что я издеваюсь над ним, рассердился так, что я перепугался и убежал прочь от того места, которое было мне милее всего. Да, не думал я тогда, что десять лет спустя здесь поставят мое первое драматическое произведение, и я таким образом выступлю перед датской публикой.

На другой день я нарядился в свой конфирмационный костюм, причем, конечно, не забыл надеть сапоги так, чтобы были видны голенища, надел шляпу, которая все съезжала мне на глаза, и отправился к танцовщице Шаль, чтобы передать ей мое рекомендательное письмо. Прежде чем позвонить у ее дверей, я упал перед ними на колени и стал молиться Богу. Как раз в это время поднималась по лестнице какая-то служанка с корзинкой в руках, она увидела меня, ласково улыбнулась, сунула мне в руку мелкую серебряную монету и быстро поднялась выше. Я поглядел ей вслед, поглядел на монету... Я ведь был в своем конфирмационном наряде, одет почти щеголем... как же она могла принять меня за нищего? Я окликнул ее. «Ничего, оставьте себе!» — ответила она и скрылась.

Наконец, меня пустили к танцовщице. Та смотрела на меня с величайшим изумлением — она совсем не знала рекомендовавшего меня старика Иверсена; вся моя персона и манеры поразили ее своей странностью. Я сейчас же высказал ей свою горячую любовь к театру, и на вопрос ее, какие же роли мог бы я исполнять, ответил: «Сандрильону! Я ее ужасно люблю!» Пьеса эта была разыграна в Оденсе королевской труппой, и главная роль ее до такой степени увлекла меня, что я запомнил ее слово в слово. Я пожелал немедленно дать госпоже Шаль образчик своего таланта и, помня, что она танцовщица, счел самую интересною для нее сценой ту именно, в которой Сандрильона пляшет. Я попросил предварительно позволения снять сапоги — иначе я не был достаточно воздушен, — затем взял свою широкополую шляпу вместо тамбурина и, ударяя в нее, принялся плясать и петь:

На что же нам богатства,
На что весь блеск земной!



Мои удивительные жесты, все мое поведение до такой степени поразили ее, что она, как я узнал от нее самой много лет спустя, приняла меня за сумасшедшего и постаралась поскорее выпроводить.

От нее я пошел к директору театра, камергеру Гольштейну, и попросил его принять меня в труппу. Он посмотрел на меня и сказал, что я слишком худощав для сцены. «О! — сказал я, — только бы меня приняли да назначили хоть сто далеров жалованья, так я живо растолстел бы!» Камергер серьезно отклонил мою просьбу и прибавил, что на сцену принимают только людей подготовленных, образованных.

С тем я и ушел от него глубоко опечаленный. У кого мне было теперь искать утешения и совета?.. И смерть уже представлялась мне лучшим исходом, но затем мысли мои опять невольно устремились к Богу, я льнул к Нему всем сердцем, со всем доверием ребенка к доброму отцу. Я выплакал все свое горе и сказал самому себе: «Когда придется уж очень круто, тогда-то Он и ниспошлет свою помощь, я сам читал об этом. Надо много страдать, зато потом и выйдет из тебя что-нибудь!» У меня отлегло от сердца, и я отправился купить себе билет в галерею на оперу «Павел и Виргиния». Разлука влюбленных до того растрогала меня, что я заплакал горькими слезами. Две пожилые женщины, соседки мои по галерее, стали утешать меня, уверяя, что все это одно представление, и что незачем принимать это так близко к сердцу, при этом одна из них даже угостила меня большим бутербродом. Тут у нас и пошли разговоры по душам, я питал бесконечное доверие ко всем и каждому и чистосердечно рассказал своим соседкам, что плакал я в сущности не из-за Павла и Виргинии, а из-за того, что сцена была для меня Виргинией, с которой мне приходилось расстаться, и эта-то разлука делала меня таким же несчастным, как Павла. Они посмотрели на меня, видно, не понимая, и я, не долго думая, рассказал им всю свою историю, рассказал, как приехал в Копенгаген, и как я теперь одинок. Добрая женщина дала мне еще бутерброд, фруктов и пирожное.

На другое утро я заплатил в номерах по счету и, оказалось, что у меня оставался всего один далер. Надо было выбирать одно из двух: или тотчас же искать случая вернуться в Оденсе с каким-нибудь судном, или поступить в учение к одному из копенгагенских ремесленников. Последнее казалось мне всего разумнее: если я теперь вернусь в Оденсе, меня все равно отдадут в учение, да кроме того еще все будут смеяться над моей неудачной поездкой. Выбор ремесла меня не затруднял, мне было совершенно безразлично чему учиться, я ведь брался за ремесло только ради того, чтобы иметь возможность оставаться в Копенгагене, не умирая с голоду.

Одна старуха, жительница Копенгагена, которая вернулась сюда вместе со мной тоже «слепой пассажиркой», накормила и приютила

меня у себя, она купила для меня газету, чтобы посмотреть в ней объявления. Мы и нашли в ней объявление одного столяра, который хотел взять мальчика в ученики. Я отправился к нему, столяр принял меня очень ласково, но прежде чем решиться взять меня к себе совсем, ему нужно было получить из Оденсе отзыв о моем поведении и мое метрическое свидетельство. В ожидании же бумаг он предложил мне за неимением другого пристанища переехать к нему и сейчас же пристаться за дело, чтобы убедиться в том, насколько мне по душе его профессия.

На другое утро в шесть часов я уже явился в мастерскую. Там я застал нескольких подмастерьев и учеников; хозяин еще не вставал, и разговор у них шел превеселый и довольно скабресный. Заметив мою чисто девичью стыдливость, они стали меня дразнить, и чем дальше тем хуже. Наконец их шутки приняли, как мне показалось, опасный оборот, и я, вспомнив случай на фабрике, сильно перепугался, заплакал и решился отказаться от учения. Я спустился вниз к хозяину и сказал ему, что не в силах слушать таких разговоров и шуток, что ремесло его мне не по сердцу и что я пришел поблагодарить его и попрощаться с ним. Он удивленно выслушал меня, стал утешать и ободрять, но все было напрасно. Я был так расстроен, так взволнован, и поспешно ушел.

И вот я побрел по улицам. Никто меня не знал, я чувствовал себя таким одиноким, покинутым всеми. Вдруг я вспомнил, что когда-то в Оденсе читал в газетах об итальянце Сиббони и о его назначении директором королевской консерватории в Копенгагене. Все ведь хвалили мой голос, может быть, этот человек и поможет мне? Если же нет, надо сегодня же искать шкипера, который возьмет меня с собой назад в Фионию. Мысль об обратной поездке еще более взволновала меня, и вот в таком-то угнетенном настроении я отправился разыскивать Сиббони. У него как раз был званый обед, на котором присутствовали знаменитый наш композитор Вейзе, поэт Баггесен и другие. Отворившей мне двери экономке я рассказал не только зачем пришел, но и всю свою биографию. Она слушала меня с большим участием и, верно, тотчас же пересказала кое-что из слышанного своим господам, по крайней мере мне долго пришлось ждать ее возвращения и когда она наконец вернулась, за нею вышли и хозяева со всеми гостями. Все смотрели на меня. Сиббони повел меня в зал, где стояло фортепьяно, и заставил меня петь. Затем я декламировал несколько сцен из комедии Гольберга и два-три чувствительных стихотворения, при этом сознание моего собственного несчастного положения до того охватило меня, что я заплакал неподдельными слезами, и все общество начало аплодировать мне.

«Я предсказываю, — сказал Баггесен, — что из него со временем выйдет толк! Только не возгордись, когда вся публика начнет руко-

плескать тебе!» Затем он заговорил о том, как человек вообще мало-помалу теряет с годами и при общении с людьми свою непосредственность и естественность. Я не понял всего, но, вероятно, вся эта речь была вызвана тем, что я тогда являл собою своеобразное дитя природы, своего рода «явление». Я безусловно верил словам каждого человека, верил и тому, что все желают мне только добра, и не мог скрыть в себе ни единой мысли, тотчас же высказывал все, что приходило мне на ум. Сиббони пообещал заняться обработкой моего голоса и высказал надежду, что я, наверное, со временем выступлю в качестве певца на сцене королевского театра. Вот счастье-то! Я и плакал, и смеялся, так что экономка, которая провожала меня и видела мое волнение, ласково потрепал меня по щеке и посоветовала на другой же день пойти к профессору Вейзе. Он был так расположен ко мне, сказала она, и я мог на него положиться.

Я не замедлил явиться к Вейзе, который сам когда-то был бедным мальчиком и с трудом выбился в люди. Оказалось, что он понял мое несчастное положение, отнесся ко мне с глубоким участием и, пользуясь удобной минутой и настроением собравшихся у Сиббони лиц, собрал для меня 70 далеров — целое богатство! — из которых и обещал мне в ожидании будущих благ ежемесячно выдавать по десяти далеров. Я тотчас же написал первое письмо домой, восторженное письмо! Все блага мира так и сыпались на меня, писал я матери. Мать, не помня себя от радости, показывала мое письмо всем и каждому. Кто слушал и удивлялся, кто посмеивался: что-то, дескать, выйдет из всего этого!

Сиббони не говорил по-датски, и чтобы как-нибудь объясняться с ним, мне необходимо было хоть немножко подучиться по-немецки. Спутница моя из Оденсе в Копенгаген готова была помочь мне, чем могла, и попросила одного знакомого преподавателя немецкого языка, Бруна, дать мне бесплатно несколько уроков. У него-то я и выучился кое-как объясняться по-немецки. Сиббони, со своей стороны, предложил мне столоваться у него, и время от времени занимался со мной пением. Он держал повара-итальянца и двух бойких служанок, одна из них говорила по-итальянски. В их-то компании я и проводил большую часть дня, слушая их рассказы и с удовольствием исполняя за них разные мелкие поручения. Когда же они раз во время обеда послали меня отнести в столовую кушанье, Сиббони встал из-за стола, вышел в кухню и объявил им, что я не «самегіеге».¹ С этого времени меня стали чаще пускать в комнаты. Племянница Сиббони Мариетта занималась рисованием и задумала изобразить Сиббони в роли Ахиллеса из оперы Пэра. Моделью служил я, облаченный в широкую тунику и плащ, бывшие по плечу толстому Сиббони, а никак не такому длинному худощавому парню, каким

¹ Слуга.

был тогда я, но именно это-то несоответствие и забавляло веселую итальянку — она рисовала и смеялась до упаду.

Оперные артисты и артистки ежедневно приходили к Сиббони репетировать свои партии, иногда и мне разрешалось присутствовать при этом. Маэстро был очень вспыльчив, и чуть кто-нибудь пел не по его, горячая итальянская кровь закипала в нем ключом, и он начинал браниться, презабавно мешая немецкие слова с ломаными датскими. Меня это вовсе не касалось, и тем не менее я весь дрожал от страха. Чем дальше, тем больше я боялся Сиббони, от которого, как мне казалось, зависело все мое будущее, и когда мне приходилось петь гаммы, стоило ему взглянуть на меня серьезно, чтобы голос мой начал дрожать, а на глазах выступили слезы. «Hikke banke, du!»¹ — говаривал он в таких случаях и, отпустив меня, обыкновенно звал обратно и совал мне в руку мелочь. «Wenig amusiren!» (то есть на удовольствия) — прибавлял он, добродушно улыбаясь,

Все дни с раннего утра до позднего вечера я проводил в доме Сиббони, ночи же в таком месте, куда завело меня полное мое незнание света. То есть самый-то дом, в котором я жил, был из порядочных, а только находился на неподходящей улице. Ежемесячно выдаваемые мне через Вейзе десять далеров не позволяли мне жить в номерах для приезжих, пришлось сыскать себе комнату подешевле, и вот я нашел подходящую у одной женщины в Holmensgade (Портовая улица). Как это ни может показаться странным, но я и в самом деле не подозревал о том, какие люди живут у меня под боком, я был еще так детски чист душою, что ни одна порочная мысль не приходила мне в голову.

Почти девять месяцев я таким образом ходил к Сиббони; вдруг голос мой пропал: он как раз начинал ломаться, а я всю зиму и весну ходил в рваной обуви, и ежедневно промачивал себе ноги. Голос пропал, а с ним и надежда на мое будущее как певца. Сиббони позвал меня к себе, откровенно высказал мне это и посоветовал вернуться в Оденсе и поступить в учение к какому-нибудь мастеру. Мне, описавшему в письме к матери в таких восторженных выражениях свое счастье, вернуться на родину, чтобы сделаться посмешищем! Я ведь знал, что это так будет, я чувствовал это и был совсем уничтожен. Но именно это-то кажущееся несчастье и повело к лучшему.

Очутившись снова в беспомощном положении и ломая себе голову, как бы найти выход из него, куда идти, к кому обратиться, я вдруг вспомнил, что тут же в Копенгагене живет поэт Гульберг, брат того полковника из Оденсе, который всегда относился ко мне с таким

¹ Сиббони хотел сказать: «Ikke bange, du!», т. е. «не бойся», а у него выходило «Hikke banke, du!», т. е. «икать, колотить, ты!». — Примеч. перев.

участием. Скоро я разузнал, что он живет возле того самого кладбища, которое так красиво воспел в одном из своих стихотворений. Я уже стеснялся лично рассказывать о своей нужде и поэтому написал ему письмо, а когда мог рассчитывать, что оно дошло до него, отправился к нему сам. Я застал его среди книг и табачных трубок. Он принял меня очень ласково и, видя из моего письма, насколько хромает у меня правописание, обещал заняться со мною родным языком. Проэкзаменовав меня по-немецки — я сказал, что говорил на этом языке с Сиббони, — Гюльберг справедливо нашел, что я и тут нуждаюсь в помощи, и обещал заниматься со мною и по-немецки. На мои нужды он назначил весь доход с одной из своих брошюр. Об этом узнали, и собралось что-то около ста далеров. Вейзе также продолжал принимать во мне участие и устроил в мою пользу подписку; в ней участвовали даже две служанки Сиббони. Они сами изъявили желание внести по третям девять марок из своего жалованья. Правда, они остановились на первом же взносе, но все-таки успели выказать свое доброе сердце, и за то им спасибо! Впоследствии я потерял их из виду. В числе лиц, давших Гюльбергу обещание вносить свою лепту в течение года, был также композитор Кулау. Он тоже вырос в бедности, мне рассказывали даже, что его зимою во время морозов посылали с разными поручениями, и он раз поскользнулся и упал с бутылкою пива, осколки от нее попали ему в глаз, и глаз вытек.

Когда хозяйка, у которой я жил в упомянутой улице, узнала о деньгах, собранных для меня Гюльбергом и Вейзе, она охотно согласилась взять меня в нахлебники. Она подробно пояснила мне, как хорошо мне будет у нее и сколько есть в городе дурных людей, и я проникся убеждением, что только у нее я могу найти себе вполне надежное убежище. Отведенная мне комната была в сущности пустым чуланом без окон, свет проникал в нее только через открытую дверь из кухни, но хозяйка разрешила сидеть у нее в комнате, сколько мне угодно. Мне было предложено попробовать, как хорошо она станет поить и кормить меня, а затем через два дня дать решительный ответ. При этом она предупредила, что возьмет с меня за все двадцать далеров в месяц — ни на грош меньше! Вот тебе и раз! А и все-то мои ресурсы вместе взятые составляли не больше шестнадцати далеров в месяц, и их должно было хватать мне не только на пищу, но и на все прочие нужды.

«Да, подавайте мне двадцать далеров!» — твердила хозяйка; на другой день после обеда она сказала то же, да еще опять завела речь о гадких и злых людях, к которым я легко мог попасть! Она собиралась уходить из дома и просила меня за время ее отсутствия окончательно обдумать все и дать ей решительный ответ, в случае же, если я не соглашусь на ее условия, я могу сейчас же отправляться восвояси!



В то время я быстро привязывался к людям, и в течение двух дней, проведенных у нее в доме, успел полюбить ее, как мать, я чувствовал себя у нее, совсем как дома, и уйти от нее было для меня истинным горем, да и куда, к кому? Я с удовольствием отдал бы ей все шестнадцать далеров, но ей все было мало! И вот я в грустном раздумье стоял один посреди комнаты; хозяйка ушла; слезы так и текли у меня по щекам. Над диваном висел портрет ее покойного мужа, и я был в то время таким еще ребенком, что подошел к портрету и смазал глаза покойного своими слезами, воображая, что он тогда почувствует, в каком я горе, и, может быть, как-нибудь смягчит сердце своей вдовы, так что она согласится оставить меня у себя за шестнадцать далеров. Она, впрочем, верно, и так сообразила, что больше денег выжать из меня нельзя и, вернувшись, сказала, что оставляет меня за шестнадцать далеров. Как я был рад! Я благодарил и Бога, и покойного. На другой день я принес ей все деньги и был бесконечно счастлив, что у меня теперь есть свой угол; зато у меня не осталось ни гроша на самые неотложные нужды.

Я находился посреди самых «тайн» Копенгагена, но не умел еще читать их. У хозяйки была, кроме меня, еще одна жиличка, молодая ласковая дама. Она занимала комнату во двор, жила уединенно и по временам плакала. К ней никто не ходил, кроме ее старого папаша. Он всегда приходил по вечерам. Я обыкновенно отворял ему дверь и впускал через кухню. Он был одет в старое пальто, с завязанной платком шеей и в шляпе, надвинутой на брови. Говорили, что он приходил к дочке пить вечерний чай, и тогда уж к ней никого не впускали, — он был нелюдим. Ко времени его прихода она всегда становилась как-то особенно грустна.

Много лет спустя, когда я жил уже в иных, более счастливых условиях, когда так называемый высший свет отворил мне двери, я увидел однажды вечером среди освещенного зала важного пожилого господина, увешанного орденами: это-то и был старый папаша-нелюдим, которому я открывал кухонную дверь, когда он бывало являлся в своем старом пальто к дочери. Мы не узнали друг друга, по крайней мере вряд ли ему пришло в голову, что я когда-то бедным мальчиком отворял ему дверь в том доме, где он выступал в качестве гастролера. Я же видел в нем тогда лишь почтенного папашу и думал только о собственной своей сцене и театре. Да, несмотря на свои шестнадцать лет я все еще, как и в Оденсе, продолжал играть в куклы и в кукольный театр собственного изготовления. Ежедневно я шил куклам новые наряды, а чтобы добыть для этого пестрых тряпок, ходил по магазинам и выпрашивал образчики материи и шелковых лент. Фантазия моя была до того поглощена этими кукольными нарядами, что я часто останавливался на улице и рассматривал богатых разряженных в

шелк и бархат барынь, представляя себе, сколько королевских мантий, шейфов и рыцарских костюмов мог бы я выкроить из их одежд. Мысленно я уже видел все эти наряды у себя под ножницами! И в таких-то мечтах я мог проводить целые часы.

В карманах у меня, как сказано, не было ни гроша, все мои деньги шли хозяйке, когда же мне случалось исполнить для нее какое-нибудь поручение в отдаленной части города, она всегда давала мне за это серебряную монету в восемь скиллингов. Я заработал эти деньги, говорила она; она не хотела никого обижать! На эти деньги я покупал себе писчую бумагу или разные комедии. В книгах беллетристического содержания у меня недостатка не было: я доставал их сколько угодно из университетской библиотеки. От вдовы Бункефлод я узнал, что старый ректор университета Расмус Нюроп — сын простого крестьянина и учился в гимназии в Оденсе, вот я в один прекрасный день и пошел к нему, как к земляку. Моя оригинальная особа понравилась старику, он полюбил меня и позволил мне приходить в библиотеку на «Круглой башне» и читать, сколько хочу, с условием ставить книги на место. Я исполнял условие добросовестно и тщательно берег книжки с иллюстрациями, которые мне позволялось брать на дом. Я был так рад этому! Вскоре у меня явилась еще новая радость: Гульберг упросил Линдгрена¹ готовить меня в актеры. Линдгрэн стал задавать мне учить роли разных Генриков из комедий Гольберга и простаков, считая их моим амплуа. Мне же хотелось играть «Корреджио»!² Линдгрэн позволил мне выучить и эту роль. Я продекламировал ему монолог Корреджио в картинной галерее, и хотя Линдгрэн до начала моей декламации и спросил меня с некоторой насмешкой: неужели я воображаю, что мне удастся походить на великого художника, тем не менее выслушал меня с все возрастающим вниманием. Когда же я кончил, он потрепал меня по щеке и сказал: «Да, чувство в вас есть, но актером вам не быть. Что же именно выйдет из вас — сказать трудно! Поговорите с Гульбергом: нельзя ли вам учиться по-латыни? Это все-таки проложит вам путь к университету!»

Мне попасть в университет! Об этом я уже давно перестал мечтать. Сцена казалась мне куда ближе и милее. Но не мешало, конечно, учиться и по-латыни. Чего стоила одна возможность гордо сказать: «Я учусь по-латыни!» Прежде всего я посоветовался с доброй женщиной, которая нашла мне однажды бесплатные уроки немецкого языка, но она сказала, что уроки латинского языка самые дорогие уроки в свете, и что тут на дарового учителя рассчитывать нечего. Гульберг, однако, упросил одного из своих друзей, покойного пробста Бенцина, заниматься со мной по-латыни два раза в неделю без всякой платы.

¹ Знаменитый комик датского королевского театра. — *Примеч. перев.*

² Главная роль в известной трагедии Эленшлегера. — *Примеч. перев.*

Балетный солист Далэн с женой, выдающейся артисткой, гостеприимно открыли мне двери своего уютного дома, в то время единственного, в котором я бывал. Большинство вечеров я проводил у них, и ласковая, сердечная хозяйка была для меня почти матерью. Далэн стал брать меня с собою в балетную школу — все-таки ближе к сцене! Там я проводил все утро у длинной палки, вытягивал ноги и учился делать battement, но несмотря на все усердие и доброе желание я подавал мало надежд. Далэн объявил, что из меня вряд ли выйдет что-нибудь больше фигуранта. Но спасибо и за то, что я хоть мог бывать за кулисами. В то время порядки были не особенно строгие, и за кулисами всегда толклось множество посторонних лиц. Даже на галереях за кулисами собирались зрители, — стоило заплатить плотнику или машинисту несколько скиллингов. Тут зачастую бывали и «представители лучшего общества». Всех ведь тянуло заглянуть в тайники театра! И я знавал многих барынь и барышень аристократок, которые являлись сюда инкогнито, не брезгуя близким соседством с разными кумушками из простых. За кулисы я, следовательно, уже пробрался, потом мне позволили и сидеть на самой последней скамейке в ложе фигурантов. Невзирая на мою долговязую фигуру, на меня все еще смотрели как на ребенка. И как я был счастлив! Мне казалось, что я уже переступил за порог сцены и принадлежу к составу труппы, на самом же деле я еще ни разу не выступал на сцене. Но и эта давно желанная минута наконец настала. Однажды шла оперетта «Два маленьких савояра». Ида Вульф (теперь камергерша Гольштейн) была тогда ученицей Сиббони, и я часто встречал ее у него. Она всегда обходилась со мной мило и ласково, и вот как раз перед началом оперетты мы столкнулись с ней за кулисами, и она сообщила мне, что во время сцены на рынке всякий, даже театральные плотники, может выйти на сцену, чтобы изображать народ. Следовало только предварительно подрумянить себе щеки. Я живо нарумянился и вне себя от счастья вышел на сцену вместе с другими. Я увидел перед собою рампу, будку с суфлером и темный зрительный зал. Я был одет в свое обычное платье, если не ошибаюсь, все в то же конфирмационное. Оно еще держалось, но сколько я ни чистил его щеткой, сколько ни зашивал, оно выглядело уж очень плохо. Шляпа моя была слишком велика и то и дело съезжала мне на глаза. Я сознавал все эти недостатки и, чтобы скрыть их, прибегал к различным — увы! — довольно неуклюжим уловкам. Я боялся выпрямиться — тогда бы сейчас обнаружилось, что куртка чересчур коротка, каблуки у сапог были стоптаны, и это, конечно, тоже мало содействовало ловкости моих движений. Кроме всего этого, одной моей худой, долговязой фигуры было достаточно, чтобы рассмешить всякого, я знал это по опыту. Но в данную минуту я все-таки чувствовал себя вполне счастливым: я впервые выступил на театральных подмостках! Тем не менее сердце мое так и колотилось. Один из певцов, игравший тогда важную

роль, а теперь забытый, вдруг взял меня за руку и насмешливо поздравил с первым дебютом. «Позвольте мне представить вас датской публике!» — сказал он и поволок меня к рампе. Ему хотелось, чтобы надо мною посмеялись, я это понял, слезы выступили у меня на глазах, я вырвался от него и убежал со сцены.

В то время Далэн ставил свой балет «Армида». В нем должен был участвовать и я, в качестве тролля, в страшной маске на лице. Г-жа Гейберг, тогда еще маленькая девочка, также участвовала в этом балете, и в нем-то я и увидел ее в первый раз. Наши имена появились на афише впервые в один и тот же день. Для меня это было настоящим событием: имя мое появилось в печати! Я уже видел в этом залог моего бессмертия! Дома я весь день любовался этими печатными буквами, а вечером, ложась спать, взял афишу с собой в постель, зажег свечу и все упивался своим напечатанным именем, прятал афишу под подушку и опять вынимал ее... Да, вот было счастье!

Я проживал в Копенгагене уже второй год. Деньги, собранные для меня по подписке Гульберга и Вейзе, иссякли. Я стал годом старше, перестал уже быть таким ребенком, по крайней мере стеснялся уже откровенно говорить со всеми и каждым о своей нужде. Я переехал к одной вдове шкипера, но у нее получал только чашку кофе по утрам. Настали тяжелые, мрачные дни. В обеденное время я обыкновенно уходил из дома, хозяйка предполагала, что я обедаю у знакомых, а я сидел в это время на какой-нибудь скамейке в королевском саду и ел грошовую булку. Редкий раз решался я зайти в какую-нибудь столовую низшего сорта и отыскать там себе местечко где-нибудь в углу. Сапоги мои совсем разорвались, и в сырую погоду я постоянно ходил с мокрыми ногами, теплой одежды у меня тоже не было. Я был в сущности почти совсем заброшен, но как-то не сознавал всей тяжести своего положения. В каждом человеке, заговаривавшем со мной ласково, я видел истинного друга, в бедной каморке своей я чувствовал присутствие Бога и часто по вечерам, прочитав вечернюю молитву, я, как ребенок, обращался к Нему со словами: «Ну, ничего; скоро ведь все уладится!» Да, я твердо верил, что Господь Бог не оставит меня.

Еще с самого раннего детства во мне жило такое представление, что как проведешь первый день нового года, так проведешь и весь год. Я больше всего желал в наступающем году быть принятым в труппу — тогда ведь и жалованье не заставило бы себя ждать. В день Нового года театр был закрыт, но пробраться на сцену было можно. Я прокрался мимо старого полуслепого сторожа и скоро очутился среди кулис и декораций. Сердце у меня так и колотилось, но я прямо прошел через всю сцену к оркестру, стал на колени и хотел декламировать отрывок из какой-нибудь роли, но... ничего не приходило мне на ум. Что-нибудь, однако, да надо же было декламировать, если я хотел в наступающем

году играть на сцене, и вот я прочел громким голосом «Отче наш». После того я ушел вполне убежденный, что мне в течение года удастся выступить в какой-нибудь роли.

Но проходили месяцы, а мне все не давали никакой роли; настала весна, и пошел уже третий год моему житию в Копенгагене. За все это время я только раз побывал в лесу. Однажды я пешком отправился в «Dyrehaven»¹ и здесь забыл всех и вся, созерцая зрелище народного веселья. Наездники, зверинцы, качели, фокусники, вафельные пекарни с разряженными голландками, евреи и толпы народа, режущие ухо звуки скрипок, пение, шум и гам, все это увлекло меня тогда куда больше, чем самая природа прекрасной лесистой местности.

Весною я вышел также раз погулять в Фредериксбергский сад. Деревья были покрыты свежей, только что распустившейся зеленью, солнце просвечивало сквозь листья, трава была такая высокая, свежая, птички так чудно пели, и вся моя душа исполнилась ликования... Я обхватил руками ствол ближайшего дерева и стал покрывать кору поцелуями. Я был в эту минуту настоящее дитя природы. «Да он спятил, что ли!» — сказал какой-то прохожий, оказалось, что это был один из зрителей сада; я испугался, убежал оттуда и тихо, степенно поплелся обратно в город.

Голос мой между тем снова вернулся. Он был теперь очень звучен и силен, и тогдашний хормейстер при театре, Кроссинг, услышав раз мое пение, предложил мне учиться у него в школе. Он полагал, что, участвуя в хорах, я лучше мог развить свой голос и освоиться со сценой, так что со временем мне, пожалуй, могли бы поручить исполнение маленьких партий. Итак, мне, казалось, открылся новый путь к цели всех моих стремлений, к сцене. Из балетной школы я перешел в школу хорового пения, участвовал в хорах, то в качестве пастушка, то воина, то матроса и т. п. Теперь мне был открыт даровой вход в партер, и я никогда не пропускал случая воспользоваться этим правом, когда в партере оставались свободные места. Я всей душой отдался театру, и немудрено, что я позабывал о латинской грамматике, к тому же при мне часто говорили, что ни актеру, ни хористу латынь вовсе не нужна — и без нее можно сделаться знаменитостью. Я находил это вполне справедливым, латинская грамматика мне надоела, и я стал уклоняться от даровых вечерних уроков, иногда по причинам уважительным, а иногда и без всяких, предпочитая сидеть в партере. Гульберг узнал об этом, рассердился не на шутку и задал мне головомойку. Это был первый серьезный выговор, которому я подвергся в жизни, и он почти уничтожил меня. Вряд ли даже преступник, выслушивающий смертный приговор, мог быть так потрясен, как я тогда. Вероятно, это отразилось у меня на лице, потому что Гуль-

¹ Большой буковый лес в 14 верстах от Копенгагена. — *Примеч. перев.*

берг прибавил: «Не представляйтесь, пожалуйста!» Но я и не думал представляться. Так и прекратились мои латинские уроки.

Никогда еще я не чувствовал себя таким зависимым от расположения ко мне добрых людей. Я испытывал недостаток в самом необходимом, и бывали минуты, когда на меня находило уныние, будущее представлялось мне в самом мрачном свете, но потом моя детская беспечность опять брала верх.

Вдова нашего знаменитого государственного деятеля Христиана Кольбьёрнсена и дочь ее, г-жа Фан дер Мазе, бывшая тогда фрейлиной крон-принцессы Каролины, были первыми из лиц высшего сословия, которые обласкали бедного мальчика, с участием выслушали меня и стали время от времени приглашать к себе. Г-жа Кольбьёрнсен жила летом в «Bakkehuset» (дом на холме), принадлежавшем поэту Ра́беку и его жене — Филемону и Бавкиде, как их прозвали. Я стал бывать у них и там. Сам Рабек никогда не заговаривал со мною, раз только в саду он направился ко мне, точно желая сказать мне что-то, но, дойдя до меня вплотную и поглядев на меня, он вдруг круто повернулся и отошел прочь. Жена его, Ка́мма, живая и ласковая женщина, охотно беседовала со мной. Я тогда начал писать что-то вроде комедии и прочел ей начало, но она, прослушав несколько сцен, прервала меня возгласом: «Да тут ведь целые места выписаны из Эленшлегера и Ингемана!» «Да, но они такие чудные!» — ответил я наивно и продолжал свое чтение. Однажды, когда я собирался идти от нее к г-же Кольбьёрнсен, она подала мне букет роз и сказала: «Не снесете ли вы их г-же Кольбьёрнсен. Она, наверное, будет очень рада получить их из рук поэта!» Г-жа Рабек, конечно, шутила, но все же это было в первый раз, что мое имя связали с именем «поэт», и это произвело на меня сильное впечатление. Я готов был заплакать, и с этой-то минуты во мне и пробудилось серьезное желание писать, сочинять. До того времени это было для меня такой же игрой, как и игра в кукольный театр, с тех же пор это стало для меня целью жизни.

Раз я пришел к г-же Кольбьёрнсен в прекрасном, как мне казалось, наряде. Сын ее подарил мне свой хороший синий сюртук, у меня еще никогда не бывало такого, но он был слишком широк для меня, особенно в груди. Следовало бы отдать его перешить, да где взять денег? Я застегнул его наглухо, сукно смотрелось совсем новым, пуговицы так и блестели, только на груди образовался целый мешок. Чтобы помочь горю, я набил пустое пространство старыми театральными афишами, которых у меня хранилось множество. Теперь сюртук сидел в обтяжку, зато на груди образовался настоящий горб! В таком-то виде я и предстал перед господами Кольбьёрнсен и Рабек. Они сейчас же спросили, что у меня такое на груди, и посоветовали расстегнуть сюртук — погода ведь стояла жаркая, но я был себе на уме и не расстегивался, а то бы все афиши повысыпались.

Кроме семейств Рабек и Кольбьёрнсен, жил в «Bakkehuset» еще молодой Тилэ. Он был в то время студентом, но уже успел приобрести известность как отгадчик заданной Баггесеном в одном журнале загадки, как автор прекрасных сонетов и собиратель «Датских народных сказаний». Он был человек тихий, скромный, но весьма отзывчивый, и внимательно следил за моим развитием. Впоследствии мы стали близкими друзьями. Тогда же он был одним из немногих лиц, относившихся ко мне с искренним и серьезным участием, другие только забавлялись мной, видели одни мои смешные стороны. Любимица Рабека, актриса Андерсен, которая также жила тогда в «Bakkehuset», дала мне в шутку кличку «Der kleine Declamator» (маленький декламатор), так меня и звали там все. Словом, на меня смотрели как на какое-то курьезное явление, забавлялись мною, а я-то видел в каждой улыбке улыбку одобрения. Один из моих друзей позднейшего времени рассказывал мне, что он в ту пору увидел меня впервые в доме одного богатого коммерсанта, куда меня зазвали и ради забавы попросили продеklamировать одно из собственных стихотворений. Я не замедлил исполнить просьбу, но продеklamировал стихотворение с таким чувством и неподдельной искренностью, что глумление перешло в участие.

Другое пристанище, если можно так выразиться, нашел я в уютном доме почтенной старушки, матери нашего известного часовщика Юргенсена. Она обладала светлым умом и была очень образована, но всецело принадлежала прошлому, жила одними воспоминаниями. В доме ее отца часто бывал Гольберг, а у нее самой — Вессель. Любимым ее чтением были трагедии Корнеля и Расина, она часто беседовала со мной о них, и нелегко было увлечь ее произведениями новой романтической школы. Она, впрочем, внимательно слушала мои первые стихотворения и трагедию «Лесная часовня», и даже сказала однажды самым серьезным тоном: «Вы — поэт, может быть, второй Эленшлегер. Пройдет лет десять — меня уже не будет на свете, — вспомните тогда мои слова!» Я помню, что слезы так и брызнули у меня из глаз, слова ее прозвучали для меня торжественным пророчеством, но все-таки я был далек от того, чтобы поверить в него. Нет, я прямо считал невозможным, чтобы из меня вышел настоящий, признанный поэт, а уж тем более такой, которого бы можно было сравнивать с Эленшлегером.

«Вам бы надо поступить в университет! — прибавила старушка. — Да, в Рим ведет много дорог! И вы, наверное, доберетесь туда своею».

«Вам бы надо поступить в университет!» Да, мне часто повторяли это, разъясняя, насколько это для меня важно, даже необходимо, находились и такие люди, которые прямо упрекали меня за то, что я не готовлюсь к поступлению в университет, говорили, что это долг мой, и прибавляли, что иначе из меня ничего не выйдет. Но, конечно, мне приятнее было болтаться без дела! Они говорили все это вполне серьезно,

а между тем помочь мне никто из них и не думал. Положение мое было в сущности бедственное, я едва перебивался. Тогда я решил написать трагедию, представить ее в дирекцию королевского театра и, обеспечив себя полученным за нее гонораром, начать готовиться к университету. Еще в то время когда я ходил к Гульбергу, я написал трагедию в белых стихах «Лесная часовня», заимствовав сюжет для нее из немецкого рассказа того же названия. Гульберг смотрел на нее, как на простое ученическое упражнение, и положительно запретил мне представлять ее в дирекцию. Пришлось написать новую трагедию. Никто не должен был узнать имени автора. Сюжет я придумал сам, и вышла народная трагедия под названием «Разбойники в Виссенберге». Я написал ее в две недели и переписал набело, но орфография хромала чуть не в каждом слове — никто ведь не помогал мне. Пьеса была отправлена в дирекцию без имени автора, но я все-таки посвятил в свою тайну одно лицо, девицу Тёндер-Лунд, молодую аристократку, которая в Оденсе одновременно со мной готовилась к конфирмации и одна из всех относилась ко мне тогда сочувственно. Я разыскал ее в Копенгагене, она с участием говорила обо мне в семье Кольбьёрнсена, и одно знакомство повело к другому. Она заказала копию с моей рукописи — моя была неразборчива, да и нельзя же было допустить, чтобы меня узнали по почерку, — и трагедия была отправлена по назначению.

Через шесть недель, в течение которых я предавался самым смелым ожиданиям, пьесу вернули забракованной, а в приложенном к ней письме говорилось, что ввиду полнейшей безграмотности автора дирекция просит его впредь таковых пьес не присылать.

Случилось это как раз в конце сезона 1822 года. Почти одновременно с этим письмом я получил от дирекции и другое, из него я узнал, что меня уволили из хоровой и балетной школ, так как дальнейшее пребывание мое в них было признано бесполезным. В письме, впрочем, было выражено желание, чтобы доброжелатели мои поддержали меня и помогли мне приобрести необходимое образование, без чего всякие дарования ни к чему.

Я снова почувствовал себя выброшенным за борт. Тем не менее я порешил во что бы то ни стало написать такую пьесу для театра, которую бы приняли, и написал трагедию «Альфсоль», заимствовав сюжет из рассказа Самсё. Я был в восторге от первых действий и, не долго думая, отправился показать их совершенно незнакомому мне тогда переводчику Шекспира, покойному теперь адмиралу Петру Вульффу, в доме и семье которого я впоследствии стал своим человеком. Много лет спустя, он описывал мне наше первое знакомство в преувеличенно забавном виде. Он рассказывал, что я будто бы как только вошел к нему в кабинет, так сразу и начал: «Вы перевели Шекспира, я его ужасно люблю и сам написал трагедию — вот послушайте!» Вульфф предложил мне сперва по-

завтракать с ним, но я отказался, быстро-быстро прочел свое произведение и затем сказал: «Не выйдет ли из меня чего-нибудь? Мне бы этого так хотелось!» Затем я сунул рукопись в карман и на приглашение Вульфа побывать у него опять ответил: «Хорошо, когда я окончу новую трагедию, я опять приду!» «Ну, этого долго ждать!» — сказал он. «Нет, — возразил я, — недельки через две, я думаю, у меня будет готова другая!» И затем меня и след простыл.

Рассказ этот, вероятно, несколько утрирован, но все-таки характеризует мою тогдашнюю личность. К Г. Х. Эрстеду я точно также явился без всякой рекомендации и, право, вижу как бы перст Божий в том, что постоянно обращался к лучшим из людей, не зная и даже не имея возможности судить об их общественном значении. Эрстед с первой же минуты нашего знакомства и вплоть до самой смерти своей оказывал мне всевозраставшее участие, которое впоследствии перешло в истинную дружбу. На мое умственное развитие он имел большое влияние, а в трудные минуты моей авторской деятельности всегда поддерживал во мне бодрость духа, отдавал должное моим трудам и предсказывал мне, что когда-нибудь да я дождусь такого же отношения к ним и со стороны всех остальных моих земляков. Дом его скоро стал для меня родным: я играл с его детьми, они выросли у меня на глазах и навсегда сохранили ко мне добрые чувства, в его же доме я нашел своих старейших и вернейших друзей. Такое же доброе участие оказывал мне пробст Гутфельд. Он в числе немногих лиц возлагал тогда на меня самые светлые надежды. Познакомившись с моей юношеской трагедией «Альфсоль», он представил и рекомендовал ее театральной дирекции. Надежды сменялись во мне опасениями. «Если забракуют и этот труд, я уж не знаю, за что и взяться!» — думал я.

В течение лета мне пришлось терпеть горькую нужду, но я молчал о ней, не то среди множества лиц, знавших меня тогда, нашлись бы, верно, такие, которые бы облегчили мое положение. Какой-то ложный стыд удерживал меня откровенно признаться в своем тяжелом положении. Стоило ласково заговорить со мною, и лицо мое сияло радостью. Впрочем, в одном отношении я чувствовал себя тогда бесконечно счастливым: я впервые познакомился с романами Вальтера Скотта, и для меня открылся как бы новый мир, за чтением я забывал всю окружающую меня горькую действительность и тратил на плату за чтение деньги, на которые следовало бы обедать.

С того же времени началось мое знакомство с человеком, который потом в течение многих лет был для меня любящим отцом и дети которого стали для меня братьями и сестрами. Я стал как бы членом его семьи, и стоит мне назвать имя этого человека, чтобы вызвать во всех моих соотечественниках сознание тех великих заслуг, которые он оказал как государству, так и многим отдельным лицам. Человек этот,

столь же выдающийся своей деловитостью, сколько своим бесконечно добрым сердцем и твердой волей, был — Ионас Коллин. Кроме различных других должностей, он занимал тогда и должность директора королевского театра. Мне со всех сторон говорили, что если бы мне посчастливилось заинтересовать собой этого человека, он, наверное, сделал бы для меня что-нибудь. И вот пробст Гутфельд рекомендовал меня ему, и я впервые переступил порог того дома, который впоследствии стал для меня роднее родного. Из первого разговора с Коллином я вынес только впечатление о нем, как о человеке деловом. Говорил он со мной немного и, как мне показалось, чересчур строгим, почти суровым тоном. Я ушел, не ожидая встретить в этом человеке никакого участия ко мне, а между тем именно он-то тогда больше всех и позаботился обо мне, но по своему обыкновению втихомолку, незаметно для других. Тогда я еще не знал, что скрывалось за его наружным спокойствием в то время как он выслушивал просьбы нуждающихся, не знал, что сердце его при этом обливало кровью, а по уходе просителя глаза наполнялись слезами, после же того он энергично и успешно принимался действовать в пользу просителя. Представленной мной пьесы, за которую я уже выслушал столько похвал, он коснулся в разговоре лишь слегка, так что я стал видеть в нем скорее недоброжелателя, чем покровителя. Не прошло, однако, и недели, как меня позвали в театральную дирекцию. Рабек возвратил мне рукопись «Альфсоля» и сказал, что пьеса не годится для сцены, но прибавил, что ввиду «блещущих в ней искорок истинного таланта», дирекция надеется, что при основательной подготовке в каком-нибудь училище, где бы мне дали возможность пройти полный курс с самого начала, от меня со временем и можно было бы, пожалуй, дожидаться произведений, достойных постановки на сцене королевского театра.

И вот чтобы доставить мне эту возможность, Коллин имел обо мне разговор с королем Фредериком VI. Король назначил мне ежегодную стипендию и, кроме того, разрешил бесплатно принять меня в гимназию, находившуюся в городе Слагельсэ. Я почти онемел от изумления — ни о чем таком я и не мечтал. Изумление помешало мне даже как следует сообразить, что мне следовало теперь делать. Отъезд мой в Слагельсэ назначен был с первым же отходящим почтовым дилижансом. Деньги на прожитие я должен был получать от Коллина каждые три месяца, ему же я обязан был отдавать отчет о своем житье-бытье и учении.

Я пошел к Коллину вторично, чтобы поблагодарить его. На этот раз он разговорился со мной, был очень сердечен и ласков и, наконец, сказал мне: «Пишите мне откровенно о своих нуждах и о том, как пойдет учение!» С этих пор он взял меня под свое покровительство и стал для меня настоящим отцом. Никто больше и искреннее его не

радовался моим позднейшим успехам, никто не принимал большего участия в моих горестях, словом, он относился ко мне, как к родному сыну. И при всем этом он ни разу ни словом, ни взглядом не дал мне почувствовать, что он мой благодетель. Не все так поступали. Другие часто давали мне понять, какое безмерное счастье выпало на долю мне, бедняку, и строго-настрого требовали от меня за все это усердия и прилежания.

Отъезд мой был решен так быстро, а между тем мне предстояло еще уладить одно дело. Я встретился в Копенгагене с одним знакомым из Оденсе, управляющим типографией какой-то вдовы, говорил с ним о своих литературных опытах, и он обещал мне напечатать мою трагедию *«Альфсоль»* и небольшой рассказ *«Привидение на могиле Пальнатока»*. Он принял от меня рукопись с тем условием, что она поступит в набор не раньше, чем мне удастся набрать достаточное число подписчиков на мою книжку. Перед самым отъездом я и побежал в типографию — увы! — она была заперта, и я махнул рукой на это дело. Втайне-то я, впрочем, все-таки льстил себя надеждой, что произведения мои все-таки как-нибудь напечатают и выпустят в свет. К сожалению, это и случилось несколько лет спустя, когда знакомый мой уже умер и когда я считал свою рукопись окончательно похороненной. Книжка явилась в свет без моего ведома и желания, явилась в своем первоначальном необработанном виде и под вымышленным именем. Выбранный мной тогда псевдоним может, с первого взгляда, показаться доказательством колоссальнейшего тщеславия автора, а между тем я в этом случае просто поступил, как ребенок, дающий своим куклам имена наиболее любимых им лиц. Я любил Вильяма Шекспира, любил Вальтера Скотта, любил, конечно, и самого себя, и вот я взял их имена, прибавил к ним свое собственное имя Христиан, и получился псевдоним *«Вильям Христиан Вальтер»*. Книжка эта еще существует, в ней напечатаны трагедия *«Альфсоль»* и рассказ *«Привидение на могиле Пальнатока»*, в котором ни привидение, ни Пальнаток не играют никакой роли. Рассказ этот просто грубое подражание Вальтеру Скотту и, как и трагедия, произведение крайне не зрелое.

В прекрасный осенний день я уехал из Копенгагена в Слагельсэ, где учились в свое время и наши знаменитые поэты Баггесен и Ингеман. В дилижансе я познакомился с одним молодым студентом, он всего месяц тому назад сдал свой экзамен и ехал теперь к родным в Ютландию, чтобы показаться им студентом. Он был в восторге от открывавшейся перед ним новой жизни и уверял меня, что был бы несчастнейшим человеком в мире, если бы вдруг очутился на моем месте и принужден был начать учение сначала! По его словам, это было нечто ужасное, но я не терял мужества. Матери я отправил

восторженное письмо и искренно жалел об одном, что ни отец мой, ни бабушка не дожили до этой счастливой минуты, а то как бы они обрадовались, узнав, что я-таки поступил в гимназию!

III

В Слагельсэ я приехал поздно вечером, остановился в номерах для приезжих и первым делом спросил хозяйку, что есть в городе достопримечательного.

«Новый английский пожарный насос и библиотека пастора Бастгольма!» — ответила она. Этим и, действительно, почти ограничивались все достопримечательности Слагельсэ. Несколько гарнизонных офицеров играли здесь роль высшей мужской аристократии. В каждом доме было известно, поднялся ли за последний месяц какой-нибудь гимназист или опустился. Гимназия да драматический кружок служили для горожан неистощимыми темами для разговоров, на генеральные репетиции в театре был открыт вход всем городским гимназистам и служанкам — актеры-любители привыкали таким образом играть перед полным залом. В *«Картинках-невидимках»* я описал этот театр.

Я поступил нахлебником к одной почтенной, образованной вдове; у меня была отдельная маленькая комнатка окнами в сад и в поле, окна с выжженными солнцем стеклами были обвиты диким виноградом.

В гимназии меня посадили с маленькими мальчиками во второй класс; я ведь в сущности ровно ничего не знал. Я был похож теперь на вольную птичку, засаженную в клетку. Охота к учению у меня была большая, но давалось оно мне трудно. Положение мое можно было сравнить с положением человека, не умеющего плавать и брошенного в море. Дело шло о жизни и смерти, и я изо всех сил боролся с волнами, грозившими утопить меня: одна волна называлась математикой, другая грамматикой, третья географией и т. д. Я захлебывался и боялся, что мне никогда не удастся выплыть. То я перевирал имена, то что-нибудь перепутывал, то задавал самые невозможные вопросы, каких не полагается задавать мало-мальски развитому школьнику. Директор наш, вообще большой насмешек, конечно, нашел во мне самую подходящую мишень для своих насмешек и наконец совсем запугал меня. Я благоразумно решился оставить пока всякое стихотворение, но обстоятельства заставили меня на первых же порах выступить в качестве поэта. Предстояло утверждение нашего директора приезжавшим к нам епископом, и учитель пения поручил мне написать текст приветственной песни. Я написал, и она была пропета. В прежнее время я был бы в восторге от сознания, что являюсь одним из действующих лиц в таком торжестве, но тут я впервые испытал чувство болезненной грусти, которое потом давило меня много лет кряду. Во время празднества

я ушел из церкви на маленькое кладбище и остановился у запущенной могилки поэта Франкенау. Я был в самом грустном настроении и стал молить Бога, чтобы Он или сделал из меня поэта, как Франкенау, или поскорее послал мне смерть. Директор не сказал мне о моей песне ни слова, напротив, мне казалось, что он смотрит на меня как-то особенно строго. Вообще он в моих глазах являлся олицетворением какой-то высшей силы и власти, я верил безусловно каждому его слову, даже его насмешкам, так что выслушав от него однажды за какой-то неудачный ответ «дурака», я предобрисовестно сообщил это Коллину и прибавил при этом, что очень опасаюсь оказаться недостойным всего того, что для меня делают. Коллин ответил мне небольшим, но очень сердечным письмом, в котором успокаивал и ободрял меня. Скоро я действительно стал понемножку успевать в науках и получать хорошие отметки. Тем не менее я все более и более падал духом и терял веру в самого себя. На одном из первых же экзаменов я, однако, заслужил похвалу самого директора, и мне был дан на несколько дней отпуск в Копенгаген. Как я был счастлив! Гюльберг, убедившись в моем серьезном желании учиться и в моих успехах, принял меня очень ласково и похвалил меня за мое усердие. «Только не пишите стихов!» — сказал он. То же твердили мне и все остальные, но я и не писал никаких стихов, весь отдавшись своим занятиям и лелея в душе одну, правда, слабую надежду когда-нибудь сделаться студентом.

В Слагельсэ проживал пастор Бастгольм, известный ученый и редактор «Восточнозеландских ведомостей», жил он очень уединенно, вдали от общества, погрузившись в свои ученые занятия. Я не преминул посетить его и показал ему кое-какие из моих первых литературных попыток. Они заинтересовали его, но он вполне разумно посоветовал мне пока оставить всякое писание и думать только о своих учебных занятиях. Письмо, которое он написал мне по этому поводу, дышит таким доброжелательством и благоразумием, что его не худо «сложить в своем сердце» всякому юноше. Вот оно:

«Я прочел ваш пролог, мой юный друг, и могу сказать, что Господь одарил вас живым воображением и отзывчивым сердцем. Вам недостает только образования. Но за этим дело, конечно, не станет, раз вам даны теперь средства приобрести его. Вашей первой и неизменной задачей должно быть пополнение ваших познаний, все же остальное пока в сторону. Я бы желал, чтобы ваши юношеские попытки не появлялись в печати — зачем обременять публику незрелыми плодами творчества? Их и без того довольно! Тем не менее ваши попытки могут сослужить вам службу, оправдывая участие, которое принимают в вас. Всякому молодому поэту пуще всего надо беречься заразы тщеславия и стараться сохранить душевные чистоту и силу. Пока вы учитесь, пишите стихи лишь изредка и только ради того, чтобы дать исход волнующим вас чувствам. Не пишите, если вам приходится подыскивать мысли и слова, пишите только



тогда, когда душа оживлена идеей, а сердце согрето чувствами. Внимательно изучайте природу, жизнь человеческую и самого себя, и у вас всегда будет собственный материал для описаний. Берите предметами наблюдения окружающие вас мелкие явления и рассмотрите их со всех сторон, прежде чем взяться за перо. Сделайтесь таким поэтом, как будто до вас не было ни одного поэта, как будто вам не у кого было учиться, и берегите в себе благородство и высоту помыслов и чистоту душевную. Без этого поэту не стяжать себе венца бессмертия!

Слагельсэ. 1 февраля 1823 года.

Ваш преданный Бастгольм».

С таким же сочувствием следил за мною вышеупомянутый полковник, ныне генерал Гульберг из Оденсе. Он от души радовался, узнав о моих успехах и о поступлении в гимназию, и время от времени писал мне ласковые, одобряющие письма. Перед наступлением же первых моих летних каникул он написал мне письмо, в котором приглашал меня к себе и даже приложил денег на дорогу.

Я не был в своем родном городе с того самого дня, как пустился по белу свету. За это время успели умереть и моя бабушка, и мой слабоумный дедушка. Мать прежде часто говаривала мне, что меня ждет счастье, что я единственный наследник дедушки, а у него ведь был собственный дом! Домик этот, маленький, полудеревянный-полукаменный, как только дедушка умер, был немедленно продан и срыт. Большая часть вырученных за него денег пошла на погашение числившихся за дедушкой разных недоимок. За недоимки же была взята из дома и большая печка с «медным пузом»; ее-то стоило унаследовать, говорили все, не даром ее поставили в ратуше. Нашли после дедушки и много денег, но все старых, кассированных уже ассигнаций. Правительство объявило их недействительными еще в 1813 году, но когда слабоумному дедушке сказали об этом, он ответил: «Никто не смеет кассировать королевских ассигнаций, а сам король не станет их кассировать!» Вот и все. Таким образом все полученное мной «огромное наследство» состояло из двадцати с чем-то риксдалеров, но, откровенно говоря, я никогда и не мечтал об этом наследстве, поэтому и не был разочарован. Мысль о посещении родного города просто сводила меня с ума от радости, освещала солнышком все мое прошедшее и будущее, и я дожидаться не мог этой счастливой минуты.

Переправившись через Бельт, я всю остальную часть пути от Нью-борга до Оденсе сделал пешком; все мои пожитки заключались в небольшом узелке. По мере того как я приближался к городу, и колокольня кладбищенской церкви вырисовывалась передо мною все яснее и яснее, сердце мое все больше и больше переполнялось чувством глубокой признательности за все заботы Господа обо мне, и я наконец

заплакал. Мать при свидании не помнила себя от радости и сказала мне, что я непременно должен побывать в многих «важных» домах, между прочим, и у одного купца, и у одного писаря. В домах Иверсена и Гульберга меня встретили с распростертыми объятиями. Проходя по узеньким переулкам, я замечал, что во многих домах отворяются окна, и оттуда выглядывают на меня любопытные; все ведь знали, как удивительно мне повезло в столице, знали, что я учусь теперь на деньги самого короля. «Да, сынишка-то Марии-башмачницы не плох!» — говорили они. Книгопродавец, советник Сёрен Гемпель, у которого на дворе была построена башня для астрономических наблюдений, повел меня на нее, и я смотрел оттуда на город и окрестности, а внизу на площади стояли бедные старухи из богадельни и указывали на меня пальцами. Они ведь знали меня еще маленьким мальчиком, а теперь я, вишь, как высоко, забрался! Я и в самом деле стоял теперь как будто на высшей ступени счастья. Однажды после обеда я с семействами Гульберга и епископа поехал кататься на лодке по реке, и мать моя плакала от умиления, что меня теперь «чествуют, точно графчика какого-то!» Увы! Всему этому веселью и блеску настал конец, когда я опять вернулся в Слагельсэ.

Я без преувеличения могу сказать, что был очень прилежен, за это меня каждый год и переводили в следующий класс, но так как я всякий раз оказывался все-таки недостаточно подготовленным, то и учиться мне становилось все труднее и труднее, почти не под силу. Сколько раз бывало по ночам вставал я из-за своих учебников и обливал себе голову холодной водой или выходил освежиться в сад, чтобы прогнать дремоту и продолжать занятия. Директор наш, человек очень ученый и даровитый, совсем не был, однако, как это показало время, хорошим педагогом. Преподавание было для него наказанием; наказанием оно было и для нас. Большинство учеников боялись его, я же пуще всех, и не столько за его строгость, сколько за его страсть насмехаться над нами и давать нам разные обидные клички. Случалось, что мимо окон класса гнали стадо, и кто-нибудь из учеников засматривался на него, тогда директор приказывал нам всем встать с мест и идти к окну «смотреть на своих братьев». Если ему не отвечали достаточно бойко, он вставал с кафедры и продолжал урок, обращаясь к печке. Быть осмеянным казалось мне страшнее всего; поэтому стоило директору войти в класс, и я уже весь трепетал, едва дышал от страха, от чего, разумеется, и отвечал зачастую совсем невпопад. Как же ему было не говорить, что от меня не добьешься разумного слова! Я стал отчаиваться в самом себе и однажды вечером, находясь в особенно мрачном, угнетенном настроении, написал письмо нашему инспектору Квистгору, в котором просил его совета и помощи, жаловался на свою неспособность к учению и высказывал опасение, что в Копенгагене

жестoko ошиблись во мне, и что деньги, потраченные на меня, брошены задаром! Мне казалось, что я должен сообщить обо всем этом Коллину, и вот я и просил у Квистгора совета, как поступить, что делать? Добрейший человек ответил мне длинным ласковым письмом, он советовал мне не падать духом и уверял, что директор желал мне добра, что это просто у него манера такая — насмехаться. Затем он писал, что я вообще заметно подвигаюсь вперед, так что мне нечего отчаиваться в своих способностях, и рассказывал, что сам начал учиться двадцатитрехлетним парнем — еще старше меня, значит. Вся беда, по его мнению, была в том, что со мною нужно было заниматься совсем иначе, нежели с прочими учениками, но школьные условия этого не позволяли. И в самом деле в некоторых предметах я преуспевал очень быстро, за Закон Божий и сочинения на родном языке у меня всегда бывали прекрасные отметки, и товарищи, даже из высших классов, часто обращались ко мне с просьбами написать для них сочинения, «только уж не чересчур хорошие, а то заметят!» Мне же они помогали в латинском языке. За поведение я всякий месяц у всех учителей получал отметку «превосходно», но один раз случилось получить только «очень хорошо», и я был так огорчен этим, что тотчас же написал Коллину трагикомическое письмо, в котором уверял его в полнейшей своей невинности по этому поводу.

Позже я убедился в том, что директор действительно был обо мне совершенно иного мнения, нежели какое высказывал мне в глаза; впрочем, время от времени благосклонность его ко мне все-таки прорывалась наружу, так, например, я постоянно бывал в числе учеников, которых он приглашал к себе домой по воскресеньям. Тут он являлся совсем иным человеком, нежели в гимназии, был весел, шутил с нами, острил, расставлял для нас оловянных солдатиков, в играх этих принимали участие и его собственные дети. Каждый праздник один из классов, очередной, должен был присутствовать у обедни, мне, как великовозрастному ученику, директор с самого начала велел ходить в церковь со старшим классом. Все ученики пользовались обыкновенно временем, проводимым в церкви, для приготовления уроков по истории или по математике, старика-священника никто не слушал; пример заразителен, и я тоже стал в это время учить уроки, но по Закону Божию — это казалось мне все-таки менее грешным.

Светлыми минутами в нашей школьной жизни являлись наши посещения генеральных репетиций в драматическом кружке. Театр был переделан из конюшни, находился на заднем дворе, и до зрителей доносилось мычание коров с поля. Декорация улицы изображала городскую площадь, от чего все пьесы становились как-то знакомее — действие всегда происходило ведь в Слагельсэ, и публику тешило отыскивать на декорации свои собственные дома и дома соседей. По

субботам, вечером, я обыкновенно прогуливался к полуразрушившемуся замку Антворсков, который воспет поэтом Франкенау.

С большим интересом следил я за раскопками в старых подвалах замка, здесь для меня открывалась целая Помпея. В маленьком домике в саду жила тогда одна молодая чета. И муж, и жена принадлежали к знатым семействам, и по всей вероятности поженились без их согласия. Жили они, видно, бедно, но счастливо. Низенькая комнатка с белыми оштукатуренными стенами дышала своеобразным комфортом и красотой, на столе всегда красовались букеты свежих цветов, лежали книги в богатых переплетах, часто звучала арфа... Я случайно познакомился с молодыми новобрачными, и они всегда встречали меня у себя с неизменным радушием. Да, этот маленький уединенный домик заключал в своих стенах чисто идиллическое счастье.

От замка я обыкновенно шел к кресту Св. Андерса, уцелевшему тут еще со времен господства католицизма. Предание гласило, что Св. Андерс был священником в Слагельсэ и отправился на поклонение Гробу Господню, в день отъезда оттуда он забылся в молитве у Св. Гроба, и корабль отплыл без него. Печально бродил он по берегу, вдруг перед ним предстал человек на осле и пригласил Андерса сесть на осла позади него. Он принял предложение и тотчас же впал в глубокий сон, проснулся он от звона колоколов в Слагельсэ и увидел, что лежит на холме близ города, на котором впоследствии в память этого события и был водружен крест с распятием. Св. Андерс прибыл домой целым годом раньше корабля, который отплыл, не дождавшись его; человек на осле был ангелом Господним. Я очень любил это предание и самое место, и много вечеров провел, сидя на холме и глядя на луга и хлебные поля, расстилавшиеся кругом вплоть до самого Корсёра, родного города поэта Баггесена. И он, верно, тоже, в бытность свою учеником гимназии в Слагельсэ, часто сиживал на этом холме, глядя на Бельт и Фионию. На холме Св. Андерса я предавался своим мечтам, и сколько воспоминаний пробуждало во мне это место всякий раз, как мне впоследствии приходилось проезжать мимо него в дилижансе.

Больше же всего радовался я, когда по воскресеньям выдавалась возможность отправиться в Сорё и посетить там поэта Ингемана. Он в то время читал лекции в академии и только что женился на девице Мандикс. Он ласково принимал меня у себя еще в Копенгагене, здесь же стал относиться ко мне еще сердечнее. Молодая, добрая и умная жена его обходилась со мной, как с младшим братом. Ах, как я любил бывать у них! В доме у них на всем лежал отпечаток истинной поэзии. Самый дом стоял в уединенном уютном местечке близ озера и леса, виноградные лозы обвивали окна, все стены в комнатах были увешаны картинами и портретами выдающихся датских и вообще европейских писателей, в саду красовались чудесные цветы, полевые и лесные рас-

тения. Мы катались по озеру в лодке; к мачте была прикреплена эолова арфа; Ингеман при этом что-нибудь рассказывал, и так живо, занимательно! И он, и жена его были образцами живой естественности во всем; я привязывался к ним все больше и больше, и наша взаимная дружба все росла с годами. Летом я гостил у них по целым неделям и чувствовал, что есть на свете люди, в обществе которых сам становишься как-то лучше, все горькое испаряется из сердца и весь свет кажется залитым солнцем, на самом-то деле исходящим от приютившего нас прекрасного семейного очага.

В числе учеников академии в Сорё были двое юношей, писавших стихи. Они узнали во мне собрата и подружились со мною. Фамилия одного была Petit; впоследствии он перевел на немецкий язык несколько моих произведений, перевод был сделан с любовью, но довольно не точно, кроме того, он написал мою биографию — увы! совершенно фантастическую. Дом моих родителей очевидно был списан им с избушки старухи в *«Безобразном утенке»*; мать моя была изображена в виде Мадонны, а меня самого он заставил бегать «при свете вечернего солнца с босыми розовыми ножками» и т. п. Вообще Petit был не без таланта и обладал теплым, благородным сердцем. Несладкая выпала ему в жизни доля; теперь его уже нет в живых.

Другой юноша-поэт был Карл Баггер, богато одаренная, истинно поэтическая натура. Критика относилась к его произведениям крайне сурово и несправедливо. Стихи его полны свежести и оригинальности, а рассказ *«Жизнь моего брата»* — вещь прямо гениальная, но критика беспощадно отнеслась и к ней. Я знаю, какое тяжелое впечатление произвело это тогда на молодого писателя. Оба поименованные юноши во всем резко отличались от меня, оба были полны юношеской свежести, отваги, веры в будущее, я же, напротив, был робким ребенком, хотя ростом-то и перегнал обоих своих друзей. Итак, тихое Сорё было для меня приютом поэзии и дружбы.

В то же время произошло событие, взволновавшее весь наш маленький городок — казнь трех преступников близ Скъэльскёра. Дочь богатого однодворца подговорила своего возлюбленного убить ее отца, противившегося их браку, соучастником в убийстве был работник убитого, рассчитывавший затем жениться на его вдове. Всем хотелось посмотреть на казнь, словно на какое-то празднество. Директор освободил старший класс от занятий, и мы все тоже должны были отправиться смотреть казнь, — он находил это зрелище полезным для нас в смысле назидательности.

Целую ночь провели мы в дороге и к восходу солнца прибыли к заставе Скъэльскёра. Вид осужденных произвел на меня потрясающее впечатление, которого я не забуду никогда. Их везли на телеге: смертельно бледная молодая девушка ехала, склонившись го-

ловой на широкую грудь своего возлюбленного, позади их сидел изжелта-бледный косоглазый и черноволосый растрепанный работник, кивавший головой своим знакомым, которые прощались с ним. Прибыв на место казни, где уже стояли приготовленные для них гробы, осужденные пропели вместе со священником последний псалом, высокое сопрано девушки покрывало все остальные голоса. Я едва стоял на ногах, право, кажется, эти минуты были для меня тягостнее самого момента казни. Я увидел затем, как подвели к месту казни какого-то эпилептика и заставили его напиться крови казненных, — суеверные родители воображали этим исцелить его. После того они бросились бежать с ним прочь и бежали до тех пор, пока он, выбившись из сил, не свалился на землю. Какой-то стихокропатель продавал тут же «Скорбную арию». В ней автор говорил от лица самих осужденных, а самая «ария» пелась на мотив «Я невзначай попал сюда», что звучало довольно комично.

Долго преследовали меня и во сне, и наяву воспоминания об этом ужасном зрелище, оно и теперь еще стоит передо мною так живо, как будто все случилось только вчера.

Зато больше никаких сколько-нибудь значительных событий в нашей жизни и не происходило. Один день проходил, как другой, но чем меньше переживаешь внешних событий, чем тише и однообразнее течет жизнь, тем скорее приходит на ум заносить все переживаемое на бумагу, вести дневник. И я вел в то время дневник, из которого еще сохранилось несколько листков. Из них ясно видно, каким я был тогда ребенком. Привожу оттуда несколько выписок. Я был тогда уже в предпоследнем классе, и все мои желания и мечты сосредоточивались на одном — желании выдержать экзамены и перейти в последний класс.

Вот что я писал в дневнике.

Среда. Печально взял я Библию и решился погадать на ней, я открыл ее наугад, и глаза мои упали на следующие слова: «Погубил ты себя Израиль; ибо только во мне твоя опора». — Да, Отец мой, я слаб, но ты видишь мою душу и поможешь мне перейти в четвертый класс. — Выдержал из еврейского.

Четверг. Нечаянно оторвал ножку у паука. — Выдержал из математики. Господи, благодарю тебя!

Пятница. Господи, помоги мне! — Сегодня такой ясный зимний вечер. Экзамены, наконец, сошли. Завтра узнаю результат. Месяц! Завтра ты осветишь или бледного, уничтоженного, или счастливейшего из смертных! Читал «Коварство и любовь».

Суббота. Господи! Теперь судьба моя решена, но мне еще не известна. Что-то ждет меня? Господи! Господи! Не оставь меня! Кровь так и приливает к сердцу, все нервы натянуты... О, Господи! Всемогущий Творец! Помоги мне! Я не стою твоей помощи, но будь милостив ко

мне! (Позже.) Я перешел. Странно, я думал, что куда больше буду радоваться этому. В 11 часов написал матушке и Гульбергу».

В это же время я дал Богу обещание, что если перейду в старший класс, пойду в следующее воскресенье к причастию. Я так и сделал. Из этого можно видеть, как плохо я несмотря на все свое благочестие разумел отношения человека к Богу, а ведь мне было тогда уже двадцать лет. Ну какой же другой двадцатилетний юноша станет вести подобный дневник!

Директору надоело жить в Слагельсэ, он стал хлопотать о переводе на открывшееся место директора гимназии в Гельсингёре и получил его. Он сообщил мне это и, к удивлению моему, предложил мне ехать с ним, обещая заниматься со мной еще отдельно и подготовить таким образом года в полтора к университету, чего мне не удастся, если я останусь в здешней гимназии. Перебраться к нему мне следовало тотчас же, он принимал меня на полное содержание за ту же плату, которую брали с меня в другом месте. Я должен был немедленно отписать обо всем Коллину и спросить его согласия. Скоро оно было получено, и я перебрался к директору.

Итак, мне предстояло уехать из Слагельсэ! Я успел уже сблизиться с некоторыми товарищами и семействами в городе и очень сожалел о разлуке с ними.

Я уехал с директором в Гельсингёр. Поездка туда, вид Зунда, покрытого кораблями, Кулленские горы и красивая, живописная местность — все это произвело на меня сильное впечатление, которое я и описал в письме к Расмусу Нюропу. Я остался так доволен этим своим письмом, что разослал копии с него и многим другим знакомым. К несчастью, и Нюропу оно так понравилось, что он напечатал его в *«Копенгагенской галерее»*, таким образом всякий, кто получил копию с этого письма, мог думать, что именно им-то полученное письмо и напечатано.

Перемена места и обстановки благоприятно повлияли на расположение духа нашего директора, но — увы! — влияние это продолжалось недолго. Скоро я опять почувствовал себя по-прежнему одиноким, загнанным и несчастным. А в то же время директор давал обо мне Коллину совсем иные отзывы, нежели те, что приходилось выслушивать от него мне. Мне даже и в голову не приходило, чтобы он мог отзываться обо мне так хорошо, а то как бы это ободрило меня, подняло мой дух, благотельно подействовало на все мое существо! Увы! — я слышал от директора одни порицания, он прямо отрицал во мне какие бы то ни было способности, величал идиотом. Коллин, получая, с одной стороны, его похвальные отзывы обо мне, а с другой — мои жалобные сообщения о том, как недоволен мною директор, наконец потребовал от него объяснения. Вот какой отзыв прислал ему директор:

«Г. Х. Андерсен, поступивший в гимназию в Слагельсэ в конце 1822 года, был определен, вследствие крайнего недостатка необходимейших познаний и несмотря на свой возраст, во второй класс. Одаренный от природы живым воображением и горячим чувствительным сердцем, он стал усваивать себе различные предметы с большим или меньшим успехом, смотря по тому, насколько они были ему симпатичны, в общем же, все-таки успевал настолько, что его вполне справедливо ежегодно переводили в старшие классы. В настоящее время он достиг уже последнего, высшего класса и только переменял, согласно желанию нижеподписавшегося, Слагельсэ на Гельсингёр.

Берусь утверждать, что он вполне достоин той поддержки, которая обеспечивает ему возможность продолжать свое образование. Способности у него вообще хорошие, а к некоторым предметам даже превосходные, по прилежанию и особенно по поведению, основанному на добрых сердечных свойствах его натуры, он может послужить образцом для каждого ученика. Продолжая заниматься с тем же похвальным усердием, он может надеяться поступить в университет в октябре 1828 года.

Г. Х. Андерсен обладает тремя самыми желательными для каждого ученика, но крайне редко соединяющимися в одном лице качествами, а именно — способностями, прилежанием и примерным поведением. Я поэтому и не могу аттестовать его иначе как вполне достойного всякой поддержки, которая бы обеспечила ему возможность продолжать раз начатое учение, тем более что и годы его уже не позволяют ему свернуть теперь на иной путь. Не только его честность, но также усердие и несомненные дарования служат залогом, что делаемое ему добро не пропадет даром.

Гельсингёр, 18 июля 1826 года.

С. Мейслинг».

Об этом аттестате, дышащем таким доброжелательством ко мне, я, как сказано, не мог даже и подозревать, я был окончательно подавлен, я уже не верил в себя. Коллин после того написал мне пару дружеских строк.

«Не падайте духом, дорогой Андерсен! Успокойтесь и будьте благоразумны, тогда и все пойдет на лад. Директор желает вам добра. Его способ воспитания, может быть, несколько и своеобразен, но, наверное, все-таки доведет до цели. В другой раз, может быть, поговорю об этом подробнее, теперь же недосуг. Помогите вам Бог!

Ваш Коллин».

Окружавшая меня чудная природа производила на меня глубокое, живое впечатление, но — увы! — я не смел заглядываться на нее. Я почти совсем не гулял. Как только классные занятия кончались, ворота здания запирались, и я оставался сидеть взаперти в душной классной, где должен был зубрить свои уроки, благо, что там было тепло. Покончив

с уроками, я играл с детьми директора или сидел в своей каморке. Долгое время моей классной и спальней служила гимназическая библиотека, здесь я дышал спертым воздухом, окруженный старыми фолиантами и кипами гимназических программ. Никто не заходил ко мне — товарищи не смели, боясь натолкнуться на директора. Эта жизнь вспоминается мне теперь, как тягостный кошмар. Я опять вижу себя трясущимся, как в лихорадке, на школьной скамье, ответы замирают у меня на губах, я вижу устремленные на себя сердитые глаза, слышу насмешки и глумления... Да, тяжелое, горькое то было для меня время. Я прожил в доме директора год с четвертью, и суровое, часто слишком даже суровое обращение его почти доконало меня. Я ежедневно молил Бога или облегчить мое положение, или уж не дать мне дожить до следующего дня. Директору просто как будто доставляло удовольствие насмеяться надо мной в классе, осмеивать мою личность и выставять на вид полную мою неспособность. Ужаснее же всего было то, что классы кончались, а я и после того оставался на глазах у директора.

Узнай о моем житье-бытье Чарльз Диккенс, давший нам такое живое описание житья-бытья бедных мальчиков, он, наверное, бы извлек из этого обильный материал для трагикомических описаний. Но жизнь каждого человека так сплетена с жизнью окружающих его, что не имеешь даже права быть вполне откровенным, поэтому я и не стану говорить здесь о том, что пришлось мне пережить, как не говорил этого никому и в то время. Я не жаловался и не обвинял никого, кроме себя самого, и был вполне уверен, что я попал совсем не на свою дорогу, так как, по-видимому, служу лишь посмешищем для всех. Письма мои к Коллину были проникнуты таким мрачным отчаянием, что, как это видно из его писем, глубоко трогали его, но делать было нечего, тем более что он приписывал мое отчаяние расстроенным нервам, умственному переутомлению, а не постороннему влиянию, как это было на самом деле. Я, действительно, слишком легко поддавался настроению, душа моя была так восприимчива к каждому солнечному лучу, да беда — их мало тогда выпадало мне на долю, разве только в те редкие дни, которые я во время каникул проводил в Копенгагене.

Да, резок, почти сказочен был контраст между моей школьной жизнью и жизнью в семейном кружке, открывавшемся для меня в Копенгагене в доме адмирала Вульфа. Его супруга относилась ко мне с истинно материнской добротой, а дети сердечно привязались ко мне. Это было первое семейство, приютившее меня, как родного. Жили они в одном из нынешних Амалиенбургских дворцов, в котором тогда помещался Морской корпус. Вульф был начальником корпуса. Мне отвели комнатку с окнами на площадь, и я еще помню, как я смотрел из них вниз на площадь, повторяя слова Аладина, смотревшего на городскую

площадь из своего богатого дворца: «Вон там мальчишкой бедным я бродил!»

Я чувствовал всю милость Божию ко мне, и душа моя исполнилась искренней благодарности.

За все время, проведенное в Слагельсэ, я едва написал три-четыре небольших стихотворения, в Гельсингёре же и того меньше, всего два: «*Ночь под Новый год*» и «*Умиращее дитя*» — первое стихотворение, обратившее на себя особое внимание и получившее широкую известность в переводах. Я привез его с собою в Копенгаген и здесь прочел своим знакомым. Некоторые выслушивали его ради того, чтобы доставить мне удовольствие, другие ради того, чтобы позабавиться над моим провинциальным выговором, вообще же мне пришлось выслушать за это стихотворение много похвал, но еще больше увещеваний не зазнаваться. Одна из покровительниц моих даже сказала и повторила это в письме ко мне: «Ради Бога не воображайте, что вы поэт, хоть вы и можете писать стишки! Смотрите, чтобы это не сделалось у вас *idée fixe*. Ну, что бы вы сказали, если бы я вдруг вообразила себя будущей императрицей бразильской? Это было бы безумием, нелепостью, но так же нелепо и с вашей стороны воображать себя поэтом!» А я и не думал воображать этого, если же бы и воображал, то эта мысль только послужила бы мне утешением, внесла бы просвет в мою мрачную жизнь. Больше же всего доставалось мне от копенгагенских знакомых за мои неуклюжие манеры и привычку говорить все, что думаю. И все же дни, проведенные в Копенгагене, как бы возрождали меня к жизни — здесь ведь я мог встречаться с тем, кого просто боготворил тогда — с Адамом Эленшлегером. Его имя было тогда на устах у всех, все превозносили его, немудрено, что и я ставил его выше всех людей. Какова же была моя радость, когда на одном вечере в богатом, залитом огнями салоне, где я чувствовал себя и свое одеяние такими жалкими и поэтому спрятался в оконной нише за тяжелыми гардинами, он подошел ко мне и пожал мне руку! Я готов был упасть перед ним на колени. Мы часто встречались в доме Вульфа, где бывал и композитор Вейзе, всегда относившийся ко мне в высшей степени дружелюбно, и здесь я часто слышал его импровизации на фортепьяно. Сам Вульф читал нам вслух свои переводы из Байрона. Изящный и образованный светский человек Адлер, друг короля Христиана VIII, был также членом этого кружка, а душою его была живая, остроумная молоденькая дочь Эленшлегера — Шарлотта. Чудные то были дни и вечера!

И вот от такой-то жизни во время каникул я опять переходил к жизни в доме директора. Даже и при более благоприятных условиях ее переход был бы довольно резок, теперь же я как будто прямо попадал на каторгу. Однажды директор пришел ко мне в комнату: он слышал в

Копенгагене, что я читал у Эленшлегера написанное мною недавно стихотворение «Умиращее дитя», и я уже видел теперь по его лицу, что меня ожидало. Он испытующе посмотрел на меня и потребовал, чтобы я показал ему стихотворение, прибавив, что простит меня, если найдет в нем хоть искорку поэзии. Весь трепеща, подал я ему стихотворение. Он прочел, рассмеялся, назвал мои стихи чепухой и жестоко разбил меня. И добро бы еще он поступил так, думая, что я трачу на стихоплетство свое учебное время или что мой характер требует такого строгого обращения! Но нет, он сам же писал Коллину о мягкости и кротости моего нрава; значит, в данном случае я был просто жертвой его дурного расположения духа! День ото дня положение мое становилось нестерпимее, и, если бы в нем скоро не произошло перемены, я бы просто погиб. Я страдал, как загнанная, забитая птичка, не только во время классов, но и постоянно даже в домашней жизни. Я вспоминаю этот период времени как самый горький, тяжелый во всей моей жизни. Один из наших учителей, Верлин, преподававший нам тогда еврейский язык, наконец понял мое положение, поехал в Копенгаген, явился к Коллину и рассказал ему все. Коллин тотчас же решил перевести меня в Копенгаген и устроить мне частные уроки. Такое решение сильно покорило директора, и он на прощание, когда я благодарил его за все хорошее, чем был ему обязан, объявил мне, что мне никогда не бывать студентом, что все стихи мои, хоть бы их и печатали, останутся макулатурой, предназначенной гнить на полках букинистов, и что я кончу жизнь в сумасшедшем доме. Я был потрясен до глубины души.

Много лет спустя, когда мои произведения завоевали себе читателей, когда уже вышел «Импровизатор», я встретился в Копенгагене с бывшим своим директором. Он протянул мне руку в знак примирения и откровенно признался, что ошибался во мне и обращался со мной не так, как бы следовало. Но теперь я уже твердо стоял на ногах и мог махнуть рукой на прошлое, прибавил он. Ну вот мы и помирились. Что ж ведь и эти тяжелые, горькие испытания послужили мне на благо!

Руководителем моих занятий стал ныне уже покойный пастор Людвиг Мюллер, известный поборник северных языков и истории, бывший тогда еще студентом. Я занимал каморку на чердаке в Vingaardsstraede. Эта каморка описана мною в романе «Только скрипач» и в «Картинках-невидимках»; там навещал меня месяц. Я продолжал получать от короля небольшую стипендию, но теперь приходилось платить за учение, так что на всем остальном нужно было возможно экономить. Несколько знакомых семейств предложили мне столоваться у них, и я таким образом почти во все дни недели был обеспечен обедом, сделавшись общим нахлебником, как многие бедные копенгагенские студенты и в наше время. Обедая по очереди то в том, то в другом доме, я получил возможность ознакомиться с семейной жизнью в различных кругах общества, что было для меня

не бесполезно. Учился я прилежно. По многим предметам, например, по математике и геометрии, я был уже настолько силен, что мог заниматься ими самостоятельно, в помощи я нуждался главным образом по части языков латинского и греческого, и на них-то и было теперь обращено особое внимание. И вот еще какая странность: даже в Оденсе, в школе для бедных, затем в гимназиях в Слагельсэ и в Гельсингёре я всегда отличался по Закону Божию, всегда получал высшие отметки, так что меня даже ставили в пример другим, а мой теперешний учитель нашел мои познания крайне слабыми. Он был проникнут библейским учением, строго держался буквы закона; я же, хоть и был знаком с Библией с раннего детства, понимал ее все-таки больше сердцем, чем умом, был проникнут убеждением, что Бог есть любовь, ни ада, ни вечной муки не признавал и, не стесняясь, высказывал это. Я только что освободился тогда от школьной опеки, чувствовал себя самостоятельным, свободным и высказывал свои верования, как истое дитя природы, так что учитель мой, человек в высшей степени благородный и добродушный, но, как сказано, строгий законник, державшийся буквы, часто приходил в ужас. У нас возникали горячие споры, но они не мешали мне искренно радоваться общению с этим неиспорченным, богато одаренным молодым человеком. Он был такой же своеобразной натурой, как и я. Я в то время, впрочем, уже несколько утратил свою непосредственность: у меня появилась потребность не то чтобы насмехаться, но как бы шутить над своими лучшим чувствами и ставить выше всего разум. В гимназии я столько натерпелся от директора за свою чувствительность и мягкосердечие, что теперь, освободившись от этого гнета, вдруг ударился в противоположную крайность. Моя робость сменилась если не бойкой развязностью, то по крайней мере напускной смелостью, желанием казаться не тем, что я есть. Я стал смеяться над чувствами и хотел внушить себе, что я совершенно отбросил в сторону всякую чувствительность. А между тем я по-прежнему был способен огорчиться на целый день, встретив вместо ожидаемой приветливой улыбки кислую гримасу. Всем написанным мной раньше трогательным стихотворениям, вылившимся у меня прямо из души в самые скорбные минуты, я дал теперь разные комические заглавия. Одно из таких стихотворений, слегка измененное и озаглавленное «Жалоба кота», я поместил в «Прогулке на Амагер», другое, проникнутое искренней, неподдельной грустью, назвал «Чахлый поэт». Вновь же я писал только юмористические вещи, словом, со мной произошла коренная перемена: чахлое растение было пересажено на новую почву и начинало пускать свежие побеги.

Старшая дочь Вульфа, Генриетта, одаренная бойкая молодая девушка, до конца оставшаяся моим верным другом, одна понимала меня тогда, одна поощряла юмор, начинавший проглядывать в моих стихотворениях. Она приобрела полное мое доверие и храбро защи-

щала меня от постоянных мелочных придирок окружающих, словом, была для меня доброй сестрой. Она имела большое влияние на развитие моего юмора.

В то время в датской литературе обозначилось новое течение, живо интересовавшее общество. Политика не играла никакой роли, злобою дня служили только литература да театр. Иоган Людвиг Гейберг, уже завоевавший себе тогда среди датских литераторов почетное место, только что ввел на датскую сцену водевиль. Ему удалось это лишь благодаря покровительству Коллина, так как остальные члены дирекции были против допущения на сцену *«Царя Соломона и Юргена Шляпочника»*. Водевиль, чисто датский, национальный водевиль, был принят всеми восторженно и скоро занял почти первое место среди всех остальных родов драматического творчества. Талия справляла на датской сцене веселый карнавал, и Гейберг был ее избранником. Я познакомился с ним впервые на обеде у Эрстеда; изящный красноречивый баловень минуты очень понравился мне. Он ко мне отнесся тоже очень приветливо, потом я стал бывать у него, и он нашел мои юмористические стихотворения достойными занять место в его известном еженедельном журнале *«Летучая почта»*. Я дебютировал в нем двумя стихотворениями: *«Вечер»* и *«Ужасный час»*, подписанными h — —. Публика подумала, что под этою буквою скрывается сам Гейберг (Heiberg), и это пошло моим стихотворениям в пользу — они имели большой успех. Я отлично помню тот вечер, когда вышел номер журнала с моими стихотворениями. Я был в одном знакомом семействе, где меня очень любили, но смотрели на все мои стихи как на пустяки, что и высказывали мне — конечно, ради моей же пользы. Отец семейства вошел в комнату с номером *«Летучей почты»* и, весь сияя от удовольствия, сказал: «Сегодня здесь помещены два превосходных стихотворения! Молодец этот Гейберг!» И он прочел мои стихотворения. Сердце мое забилося сильнее, но я не сказал ни слова. Зато одна молодая девушка, присутствовавшая при этом и посвященная в секрет, не могла удержаться и радостно объявила: «Да ведь это стихи Андерсена!» Воцарилось молчание. Отец семейства не сказал ни слова, только поглядел на меня и вышел из комнаты. Никто больше не возвращался к моим стихотворениям, и я повесил нос.

До этого же было напечатано только одно мое стихотворение, написанное еще в гимназии, *«Умиращее дитя»*, да и то лишь благодаря протекции директора театра Ольсена. Никто не желал помещать стихотворения, написанного «школьником»; Себорг, автор песни *«Пройдет сто лет, и будет позабыто все!»*, взял было его от меня, когда я еще учился в гимназии, и обещал пристроить в ютландский журнал *«Усладительное чтение»*, но и редактор этого журнала отказался принять стихи школьника. Наконец стихотворение нашло себе место в *«Копенгагенской почте»*, а вскоре его перепечатал в *«Летучей почте»* сам Гей-

берг, да еще с примечанием, что «охотно» печатает его у себя несмотря на то, что оно уже появилось раньше в другом журнале. Это было первое признание моего таланта; окружающие же меня по-прежнему продолжали считать мой поэтический талант очень не значительным. Один из наших мелких поэтов, но крупных сановников, пригласил меня однажды обедать к себе и за обедом рассказал, что его просили участвовать в каком-то альманахе. Я сказал, что просили и меня, и что я обещал дать небольшое стихотвореньице. «Так в этом альманахе будут участвовать все и каждый! — сердито сказал хозяин. — В таком случае могут обойтись и без меня! Я вряд ли дам что-нибудь!»

Об этом факте, пожалуй, и не стоило бы упоминать, настолько он сам по себе незначителен, но в свое время он подействовал на меня удручающе, расстроил меня на несколько дней.

Учитель мой жил в Христиановой гавани, и я ежедневно путешествовал туда по два раза; направляясь к учителю, я обыкновенно был погружен в размышления о своих уроках, на обратном же пути давал мыслям полную свободу, и в уме у меня возникали всевозможные поэтические картины, настоящий калейдоскоп. Но ни одна из этих картин не была занесена на бумагу, во весь год я написал только несколько юмористических стихотворений и то ради того лишь, чтобы, по совету Бастгольма, «дать исход чувствам». Идеи и образы меньше тревожили меня, покоясь на бумаге, нежели шевелясь у меня в голове.

В сентябре 1828 года я сдал экзамен и стал студентом. В тот год деканом был Эленшлегер, он дружески протянул мне руку, приветствуя меня, как нового члена студенческой корпорации. Это обстоятельство, которому я придавал глубокое значение, сильно взволновало и растрогало меня. Мне было уже двадцать три года, но я еще во многих отношениях оставался сущим ребенком. Вот маленький эпизод, который может дать некоторое понятие об этом. Незадолго до начала экзаменов мне случилось обедать у Эрстеда, и соседом моим за столом оказался один молодой человек, очень скромный и тихий. Я до сих пор ни разу не встречал его в доме Эрстеда, вообразил, что это какой-нибудь провинциал, недавно приехавший в Копенгаген, и пренаивно спросил его: «А вы тоже на днях пойдете на экзамен?» «Да! — ответил он с легкой улыбкой. — Пойду». «Вот и я тоже!» — подхватил я и с увлечением принялся распространяться об этом важном для меня событии. Я болтал с молодым человеком так же непринужденно, как с товарищем, а между тем это был профессор, у которого мне предстояло экзаменоваться по математике, наш известный милейший фон Шмидтен, поразительно похожий лицом и фигурой на Наполеона. Очутись он в Париже, их, наверное, стали бы путать. Встретившись лицом к лицу у экзаменационного стола, мы оба были смущены. Мой профессор был, однако, так же добр, как и даровит, и от души желал ободрить меня.

Не зная как бы это лучше сделать, он наконец близко пригнулся ко мне и прошептал: «Ну, каким же поэтическим произведением подарите вы нас по окончании экзаменов?» Я удивленно поглядел на него и боязливо ответил: «Не знаю еще!.. А вот не проэкзаменуете ли вы меня по математике? Только не очень строго!» «Вы, конечно, хорошо подготовлены?» — продолжал он по-прежнему тихо. «Да, в математике я довольно силен. В гимназии в Гельсингёре мне приходилось даже репетировать со слабейшими учениками, и мне всегда ставили «превосходно», но теперь мне страшно!» Так вот как беседовали профессор с учеником! Во время самого экзамена я от волнения ломал одно за другим перья (гусиные) моего профессора, он не сказал ничего и только осторожно отодвинул в сторону одно, а то бы ему нечем было поставить мне отметку.

Экзамены были благополучно сданы, и тогда-то вылетели на свет Божий пестрым роем все те фантазии и мечты, которые преследовали меня во время моих ежедневных прогулок в Христианову гавань; вылетели они в первом моем прозаическом произведении: «*Прогулка на остров Амагер*». Это юмористическое произведение, что-то вроде фантастических арабесок, довольно ярко характеризует мою тогдашнюю личность, мое развитие и мою страсть шутить надо всем, смеяться сквозь слезы над собственными чувствами. Но несмотря на яркость и разнообразие красок этой поэтической импровизации, ни один издатель не решался печатать ее. Я рискнул сам, книжка вышла, и через несколько дней издатель Рейцель купил у меня право на второе издание, за которым последовало и третье. Затем в Швеции появилась перепечатка датского издания, что случилось лишь с лучшими из произведений Эленшлегера. В последние годы «*Прогулка*» переведена на немецкий язык и вышла в Гамбурге. Весь Копенгаген читал мою книжку, со всех сторон раздавались похвалы, но я все-таки подвергся строгому выговору одного из знатных моих покровителей. Вышло ужасно комично! Он нашел, что я в этом произведении вышучиваю королевский театр, а это, по его мнению, было с моей стороны не только неприлично, но еще и неблагодарно; неприлично потому, что дело шло о королевском театре, а неблагодарно потому, что мне был открыт туда даровой вход. Но этот комичный выговор со стороны во всех других отношениях умного человека был совершенно заглушен восторженными похвалами других. Я теперь несея на всех парусах, сделался студентом и признанным поэтом, — моя заветная мечта сбылась.

Гейберг отозвался в «*Литературном ежемесячнике*» о моей книге очень благосклонно. Отрывки из «*Прогулки*» были еще раньше напечатаны в «*Летучей почте*».

В тот год в университет поступили почти двести новичков, между ними было немало занимавшихся стихотворством и даже печатавших свои

стихи. В шутку говорили, что нынешний год в студенты поступили четверо больших поэтов и двенадцать маленьких, и с некоторой натяжкой можно было согласиться с этим. К четверым «большим» причисляли: Арнезена, Ф. И. Гансена, Голларда Нильсена и, наконец, Г. Х. Андерсена. Между двенадцатью же маленькими находился один, ставший впоследствии звездой первой величины, творец «Адама Гомо» Паллудан-Мюллер. Но в то время он еще ничего не печатал, и только товарищи его знали, что он пишет стихи. Я среди своих товарищей пользовался большой славой и ходил, как в чаду, от нее, беззаботно смеялся и во всем старался отыскать изнанку. Плодом этого веселого настроения явился водевиль, пародия на ложно классические трагедии, в которых главную роль играл рок: «Любовь на башне Св. Николая, или Что скажет партер», написанный рифмованными стихами. «Литературный ежемесячник» справедливо отметил главный недостаток водевиля — я осмеивал в нем то, что уже отжило в Дании свой век. Тем не менее водевиль поставили на королевской сцене, а товарищи мои, студенты, встретили его восторженно и устроили мне настоящую овацию. Я был вне себя от радости, не разбирая строго — было ли тут чему особенно радоваться, и придавая успеху водевиля значение, которого он вовсе не имел в сущности; наплыв чувств был так силен, что я не выдержал, выбежал из театра, перебежал площадь и ворвался в квартиру Коллина. Дома оставалась лишь одна хозяйка; я почти без чувств опустился на первый попавшийся стул и зарыдал. Добрая женщина не поняла, что со мною и принялась утешать меня: «Ну не принимайте этого так близко к сердцу, ведь и Эленшлегера раз освистали и многих других великих поэтов тоже!» «Да меня вовсе не освистали! — прервал я ее, рыдая. — Мне хлопали и... кричали «ура!» Ах, как я был тогда счастлив! Я любил всех, думал обо всех хорошо, был полон поэтической отваги и юношеской свежести. Передо мной открывались двери одного дома за другим, я порхал из кружка в кружок, был вполне доволен собой. Эта рассеянная, полная сильных внутренних и внешних волнений и событий жизнь не мешала, однако, моим занятиям, я учился прилежно и уже без посторонней помощи приготовился ко второму экзамену, так называемому «philologicum и philosophicum», который и выдержал отлично. Оригинальная сцена произошла у экзаменационного стола, когда меня экзаменовал Г. Х. Эрстед. Я хорошо отвечал на все его вопросы, он радовался этому и, когда я уже готов был отойти от стола, остановил меня следующими словами: «Ну, вот еще один вопросик! — при этом все лицо его так и сияло ласковой улыбкой. — Скажите мне, что вы знаете об электромагнетизме?» «Даже слова этого не слыхал!» — ответил я. «Ну, припомните! Вы на все отвечали так чудесно, должны же вы знать что-нибудь и об электромагнетизме!» «Да в вашей «Химии» не сказано об этом ни слова!» — уверенно сказал я. «Это правда! — ответил Эрстед, — но я говорил

об этом на лекциях!» «Я был на всех, кроме одной, а вы, верно, тогда-то как раз и говорили об этом, потому что я ровно ничего не знаю об электромагнетизме и даже названия этого не слышал». Эрстед необыкновенно добродушно улыбнулся, кивнул головой и сказал: «Жаль, что вы этого не знали! Я бы вам выставил ргае, а теперь выставлю только laud!»

В следующий же раз, как мне случилось быть у Эрстеда, я попросил его рассказать мне про электромагнетизм и впервые услышал как об этом предмете, так и о том, какую роль играл по отношению к нему сам Эрстед¹. Десять лет спустя, я писал по просьбе Эрстеда (если не ошибаюсь в «Копенгагенской почте») заметку о первом телеграфе, устройством им в политехнической школе; провода шли из заднего флигеля в передний. Экзамены, как сказано, были благополучно сданы, я получил лучшие отметки, а к Рождеству вышел и первый сборник моих стихотворений, принятый, насколько мне было известно, и публикой, и критикой очень благосклонно. Я вообще охотнее прислушивался к звонким бубенчикам похвал, я был так молод, так счастлив, все впереди было залито солнцем!

IV

До сих пор мне удалось видеть лишь самую малую часть моего отечества, мне пришлось побывать только кое-где в Фиионии да в Зеландии. Летом же 1830 года мне предстояло совершить несколько большее путешествие: я намеревался проехать по Ютландии до самого Западного моря, а также объехать и весь мой родной остров Фиионию. Но и не подозревал я, как отзовется это путешествие на всей моей жизни. Больше всего радовался я, представляя себе, что увижу ютландские степи и, может быть, даже встречу там семью кочующих цыган. Рассказы о них очевидцев и блихеровские новеллы пробудили во мне сильнейший интерес. В то время страна еще не была так изъезжена вдоль и поперек, как теперь. В то время только еще появились первые пароходы — плохой, неповоротливый пароход «Дания» делал рейс в одни сутки, что по требованиям того времени считалось невероятной быстротой. Год тому назад я совершил поездку на подобном же пароходе «Каледония», первом появившемся в наших водах. И как же ненавистны были эти пароходы владельцам парусных судов, не знавшим, как и бранить их! Сам Эрстед, конечно, был в восторге от этого мирового изобретения; тем забавнее было слушать негодующие речи одного его родственника, старого моряка, с которым я встретился раз

¹ Эрстед первый открыл электромагнитную силу. — Примеч. перев.

у него за обедом. Старик ужасно сердился на «проклятые дымовики». «С сотворения мира пользовались разумными судами! — говорил он. — Судами, которые двигались ветром, так нет — подавай новые! Я не могу пропустить мимо себя ни одного из этих дымовиков, чтобы не ругать их в рупор по-всячески, пока они не скроются из вида!»

В то время поездка на пароходе являлась целым событием, а в наши дни такой взгляд кажется почти невероятным, до того мы уже освоились с этим изобретением. Оно кажется нам таким давним, и мы слушаем рассказ о том, что первый пароход был показан Наполеону перед его войной с Англией, как какую-то сказку.

Я заранее рисовал себе предстоящую ночь переезда по Каттегату на этом новомодном судне самыми яркими красками, но — увы! — погода насолила мне! У меня сделалась морская болезнь. Только на следующий день к вечеру добрались мы до Оргуса. Там, как и во всех ютландских городах, знали «Прогулку на Амагер» и мои юмористические стихи, и я встретил всюду самый радушный прием. Я отправился в степь, все здесь было для меня ново и производило на меня сильнейшее впечатление. Но погода не благоприятствовала моей поездке: дул сырой, резкий ветер с моря, а у меня был с собой самый незначительный запас одежды. И вот пришлось покончить свое путешествие в Виборге, где я провел несколько дней, а затем повернул обратно. Неудача эта не помешала мне, впрочем, написать «Фантазию на берегу Западного моря» и «По Западному берегу Ютландии», тогда как я ни того, ни другого не видал, а знал о них лишь по рассказам. Я осмотрел окрестности Скандерборга, Вейлэ и Кольдинга и направился в Фионию, тут я провел несколько недель желанным гостем в одном поместье близ Оденсе и поближе ознакомился с помещичьим бытом. Гостил я у вдовы типографщика Иверсена, на ее усадьбу я еще с детства смотрел, как на рай земной. Небольшой садик был весь изукрашен разными надписями в стихах и в прозе, подсказывавшими, что следовало думать и чувствовать в таких-то и таких-то местах. На берегу канала, по которому проплывали корабли, была воздвигнута крошечная батарея с деревянными пушками и сторожевая будка, возле которой стоял чудесный деревянный солдат. Тут-то я и жил у этой умной, радушной старушки, окруженной целой толпой милых, даровитых молоденьких внучек. Старшая из них, Генриетта, выступила впоследствии на литературном поприще с двумя новеллами «Тетя Анна» и «Дочь писательницы». Недели летели в этом полном жизни и веселья обществе почти незаметно. Я написал за это время несколько юмористических стихотворений и начал роман «Карлик Христиана II». Было готово уже около шестнадцати листов рукописи, я прочел их Ингеману, и они ему очень понравились. Но скоро и роман, и писание юмористических стихов — все было отложено в сторону. В



моем сердце зазвучали новые, до сих пор еще ни разу не затронутые струны, мне пришлось изведать чувство, над которым я до сих пор столько смеялся. Теперь оно отомстило за себя!

В это лето я заехал в один из маленьких городков Фиионии и познакомился там с одним богатым семейством. Тут-то для меня внезапно и открылся новый мир, началась новая жизнь...

Темно-карих очей взгляд мне в душу запал;
Он умом и спокойствием детским сиял;
В нем зажглась для меня новой жизни звезда,
Не забыть мне его никогда, никогда!

Осенью мы встретились с ней в Копенгагене. В голове у меня роились тысячи новых планов, я хотел зажить совершенно новой жизнью, бросить писание стихов — что они дадут? — и готовиться в пасторы. Все мои мысли были заняты ей, но — увы! — она любила другого и вышла за него замуж. Только много лет спустя, я убедился, что и это все было к лучшему и для меня, и для нее. Она-то, может быть, и не подозревала даже, как глубоко было мое чувство и какое значение имело для меня. Она сделалась женой честного человека и счастливой матерью. Пошли им Бог всего хорошего!

В *«Прогулке на Амагере»* и во многих других тогдашних моих произведениях ярко выступил сатирический элемент, многим это не понравилось: они думали, что это направление до добра не доведет. Критика же догадалась пробрать меня по этому поводу лишь тогда, когда в моей душе зазвучали совсем иные струны, и порицаемый элемент совершенно исчез из моих произведений. Сборник новых стихотворений *«Фантазии и наброски»*, вышедший около нового года, говорил о новом моем настроении, оно же вылилось и в водевиле *«Разлука и встреча»* — вся разница была лишь в том, что в нем я изобразил любовь взаимную. Впоследствии водевиль этот был поставлен на сцене королевского театра.

Среди моих молодых друзей был один, Орла Леман, которому я особенно симпатизировал за бьющие в нем ключом жизнерадостность и красноречие. Он в свою очередь тоже относился ко мне очень сердечно, и я охотно посещал его. Отец его был родом из Голштинии, и в доме много говорили и читали по-немецки. Гейне тогда только что появился на горизонте литературы, и пылкая молодежь восхищалась его стихами. Однажды я явился к Леману, жившему с семьей на даче в Вальбю, и он встретил меня, восторженно декламируя из Гейне: *«Thalatta, Thalatta, du ewiges Meer!»* Мы стали вместе читать Гейне и засиделись далеко за полночь. Пришлось заночевать у друга, зато я познакомился с поэтом, который был мне так сродни, затрагивал самые чувствительные струны моей души.

Скоро влияние Гейне пересилило даже влияние Гофмана, которое еще так заметно в моей *«Прогулке на Амагер»*. Вообще я могу назвать только трех писателей, произведения которых я в юности воспринял в себя так, что они, так сказать, перешли в мою плоть и кровь: Вальтера Скотта, Гофмана и Гейне.

День за днем болезненно-чувствительное настроение овладевало мною все сильнее и сильнее, меня стало больше тянуть к печальным явлениям жизни, я засматривался на теневые ее стороны, сделался раздражительным и более чувствительным к порицаниям, нежели к похвалам. Зародыш такого настроения был посеян во мне моим поздним поступлением в гимназию, форсированным прохождением учебного курса и внутренним и внешним гнетом, заставлявшим меня выпускать в свет недостаточно зрелые произведения. Такая «тепличная выгонка» сильно повредила мне во многих отношениях. В моих познаниях были большие пробелы, особенно хромал я по части грамматики, то есть главным образом по части общепринятого правописания. *«Прогулка на Амагер»* пестрела не опечатками, но моими собственными погрешностями в правописании, шедшими в разрез с общепринятыми правилами. Я, конечно, мог бы избежать всех неприятностей, поручив держать корректуру кому-нибудь из товарищей-студентов. Я этого не сделал, и все ошибки, которые мог бы исправить любой студент-новичок, были поставлены мне на счет, подали повод к глумлениям и насмешкам. Увлекаясь ими, люди упоминали о всем хорошем, поэтическом в моих произведениях только вскользь. Я сам знавал людей, которые читали мои стихи только ради того, чтобы отыскивать в них грамматические ошибки и сосчитать сколько раз я употребил одно и то же выражение или слово, например, «красиво», что выходило, по их словам, уж совсем «не красиво». Один кандидат богословия (теперь он священником где-то в Ютландии), автор водевилей и критических статей, не постеснялся однажды в одном знакомом доме, в моем же присутствии, разобрать одно из моих стихотворений, что называется — по косточкам, когда он кончил и отложил книжку в сторону, шестилетняя малютка-девочка, бывшая тут же и с удивлением прислушивавшаяся к такой беспощадной критике каждого слова, взяла книжку и в простоте душевной указала на словечко *и*, говоря: «А вот тут есть еще одно словечко! Его ты не бранил!» Кандидат, должно быть, понял бессознательную иронию малютки, покраснел и поцеловал ее. Я сильно страдал от такого отношения ко мне, мне казалось, что время школьного гнета опять вернулось, и я все ниже и ниже склонял под этим гнетом свою голову с какой-то непостижимой покорностью, а ведь недаром гласит старинная пословица: «Где изгородь всего ниже, там через нее все и шагают». Да, я был слишком мягок, непростительно добродушен, все знали это, пользовались этим, и некоторые обращались со мною почти жестоко. Сдерживавшие

меня поводом зависимости или благодарности необдуманно или бессознательно натягивали иногда уж чересчур. Все поучали меня, почти все твердили, что меня захвалили и что меня надо вылечить, говоря мне в глаза правду. И вот я только и слышал, что о моих недостатках, о моих действительных или мнимых слабостях. Иногда сердце во мне так и вскипало от всех этих обид, особенно, когда приходилось терпеть их со стороны лиц, стоявших в умственном отношении ниже меня и все-таки не стеснявшихся подвергать меня в своих богатых гостиных уничтожающей критике; я выходил из себя, раздражался слезами и с жаром восклицал, что из меня все-таки выйдет известный, признанный поэт! Такие слова подхватывались и разносились по городу, в них видели зародыш, готовый принести недобрые плоды высокомерия и скудоумия. «Он олицетворенное тщеславие, — отзывались обо мне люди и тут же, однако, прибавляли. — И сущий ребенок!» А как раз в это время я часто наедине с собой отчаивался в самом себе. Я все больше и больше терял веру в себя и в свои дарования, я слагал в своем сердце все порицания и, как бывало в гимназии, готов был думать, что весь мой талант — одно самообольщение. Сам я был склонен поверить этому, но слышать об этом от других все-таки не мог, и тогда-то у меня и вырывались гордые необдуманные слова; их, как сказано, подхватывали и потом ими же бичевали меня. А в руках тех, кого зовешь своими близкими, дорогими друзьями, такие бичи становятся ведь скорпионами.

Коллин нашел, что небольшое путешествие будет мне очень полезно, что мне следует хоть на несколько недель окунуться в житейское море, побыть среди других людей, в иной обстановке и набраться новых впечатлений. У меня же, кстати, была скоплена небольшая сумма денег, вполне достаточная, чтобы совершить на нее поездку в Северную Германию.

Было это весной 1831 года, я в первый раз выехал за пределы Дании, увидел Любек и Гамбург. Все поражало, занимало меня. Железных дорог там тогда еще не существовало, широкий почтовый тракт шел по песчаному грунту, через Люнебургскую степь. Я добрался до Брауншвейга, в первый раз узрел горы (Гарц) и пешком совершил путь от Гослара через Брокен до Галле. Передо мною как будто открылся новый, диковинный мир. Ко мне вернулся мой юмор, он, словно перелетная птичка, вернулся в свое гнездо, которое в его отсутствие занимал воробей — тоска. На вершине Брокена я набросал в книгу для записей туристов следующее четверостишие:

Высот заоблачных достиг,
Но утаить, друзья, не смею,
Что к небу ближе был я в миг, —
В миг незабвенной встречи с нею!

Год спустя, один мой друг, также посетивший Брокен, рассказывал мне, что видел мои стихи и под ними приписку одного земляка: «Голубчик Андерсен, береги свои стишки для *«Усладительного чтения»*, а не надоедай нам ими за границей, куда им и не попасть, если ты сам не будешь таскать их с собой повсюду».

В Дрездене я познакомился с Тиком; Ингеман дал мне письмо к нему. Мне удалось на одном вечере слышать прекрасное чтение Тика, читал он «Генриха IV» Шекспира. На прощание он написал мне в альбом стихи, пожелал успехов на литературном поприще, горячо обнял и поцеловал меня; все это произвело на меня глубокое впечатление, и я никогда не забуду устремленного на меня кроткого взгляда его больших голубых глаз. Весь в слезах вышел я от него и обратился к Богу с пламенной мольбой поддержать меня на том пути, на который толкали меня мое сердце и душа, дать мне силу и умение высказывать волнующие мою грудь чувства и сделать меня достойным похвалы Тика к тому времени, когда мне опять доведется свидеться с ним. Это случилось лишь много лет спустя, когда мои позднейшие произведения были уже переведены на немецкий язык и прекрасно приняты в Германии. Тик крепко пожал мне руку, и это его пожатие было мне тем дороже, что он первый из иностранцев дал мне «напутственное благословение». В Берлине письмо Эрстеда доставило мне знакомство с Шамиссо. Высокий человек, с умным серьезным лицом, с кудрями по плечам, сам отворил на мой звонок двери, прочел письмо и, не знаю, каким образом, мы живо поняли друг друга; я почувствовал к нему доверие и вылил перед ним всю душу, — ничего, что на плохом немецком языке. Шамиссо читал по-датски; я подарил ему свои стихотворения, и он первый начал переводить мои произведения, первый познакомил со мною Германию и с первого же свидания стал для меня верным, сочувствующим другом. О том, как он радовался моим позднейшим успехам, свидетельствуют его письма ко мне, напечатанные в собрании его сочинений.

Эта небольшая поездка принесла мне, по общему мнению моих копенгагенских друзей, большую пользу. Путевые впечатления мои скоро появились в печати под общим заглавием *«Теневые картины. — Из путешествия по Гарцу и Саксонской Швейцарии»*. Эти наброски были впоследствии не раз переведены на немецкий и на английский языки. Окружающие меня говорили, что это произведение заметно указывает на прогресс в общем моем развитии. Обращение их со мною, однако, не показывало, чтобы они действительно признавали этот прогресс, — та же мелочная погоня за моими ошибками и недостатками, то же стремление вечно поучать, воспитывать меня, которое я и имел слабость сносить иногда от лиц даже совершенно посторонних. Однажды, вскоре после выхода в свет моих *«Теневых картин»*, я застал одного из таких само-

званных воспитателей моих за чтением моей книжки. На самом конце страницы он нашел слово *hup*, а следующая страница начиналась словом *den*, что вместе составляло слово *Hunden* (собака), напечатанное по недосмотру через маленькое *h*¹. Хозяин строго обратился ко мне: «Это что? Разве вы пишете «*Hunden*», через маленькое *h*?» Я был в шутливом настроении, к тому же мне стало досадно, что могли подозревать меня в такой безграмотности, и ответил: «Речь идет о маленькой собачке, так будет с нее и маленького *h*!» Мою невинную шутку приняли, однако, за проявление высокомерия, тщеславия, за нежелание слушать советы умных людей. Все это мелочи — скажут, может быть, мой читатели, но ведь капли долбят камень! И я привожу здесь все эти факты только в защиту от нареканий, упрекающих меня в тщеславии. В частной моей жизни вообще не было ничего такого, к чему бы можно было придраться, вот и пустили в ход басню о моем тщеславии.

Я охотно читал вслух свои произведения, особенно новые; они ведь так занимали меня самого, и я еще не был достаточно опытен, чтобы знать, как опасно автору самому читать свои произведения, особенно у нас. Любой господин или дама, бренчащие на фортепьяно или умеющие петь какие-нибудь романсы, беспрепятственно могут являться в общество со своими нотами и садиться за инструмент, не вызывая никаких замечаний; писатель также может читать вслух, но лишь чужие произведения, а не свои собственные, — это тщеславие, хвастовство. Так говорили даже об Эленшлегере, который вообще охотно и прекрасно читал свои произведения в кругу знакомых. Каких только замечаний не приходилось поэтому выслушивать мне от людей, думавших прослыть благодаря этому остроумными или интересными. Что ж, если позволяли себе так относиться к самому Эленшлегеру, то чего же было стесняться с каким-то Андерсеном!

Иногда юмор мой все-таки брал верх над досадой и огорчением, и слабости людские, в том числе и мои собственные, только смешили меня. Вот в одну из таких-то минут у меня и вылилось стихотворение «*Ta-tá-ta, ta-tá-ta, ta-tá!*»:

За чайным столом сидят дамы рядком;
Без умолку треплют они язычком —
 Та-та́-та, та-та́-та, та-та́!
Одна там про ленты, про бархат и шелк,
Другая хорошенькой ручкой кичится,
А третья в поэзии знает, вишь, толк,
Того и гляди в поднебесье умчится!..
 Та-та́-та, та-та́-та, та-та́!

¹ Слово *hup* само по себе означает личное местоимение *она*, а *den* местоимение указательное, и ошибка от того и произошла, что и первую часть слова *Hunden* — *hup*, заканчивавшую один лист, и вторую — *den*, начинавшую другой — приняли за местоимения. — Примеч. перев.

Потом о балах говорить принялись,
А там о политике, — только держись!

Та-та́-та, та-та́-та, та-та́!

Сидит между ними один кавалер;
Умеет вести разговор он занятный,
И шепчет соседка соседке: «Ma chere,
Какой наш сосед собеседник приятный!

Та-та́-та, та-та́-та, та-та́!

Вот дело теперь до театра дошло,
И тут-то у них уж пошло так пошло!

Та-та́-та, та-та́-та, та-та́!

Однако и поздно, пора на покой!
Мужчины соседок своих провожают,
А эти, шажком пробираясь домой,
Во всю-то дорогу болтают, болтают!

Та-та́-та, та-та́-та, та-та́!

Стихотворение это обозвали памфлетом, и мне таки досталось за него во многих газетах и журналах. Мало того, одна почтенная дама, у которой я бывал, призвала меня к себе и инквизиторски спросила меня: разве я бываю в таких домах, какой рисую в своем стихотворении? Разумеется, это не ее дом, но люди-то могут подумать, что я намекал именно на него, — я ведь бываю и у нее! За то и задала же она мне головоломку! А то еще в театре ко мне подошла прекрасно одетая совершенно не знакомая мне дама и, смерив меня негодующим взглядом, проговорила: «Та-та́-та, та-та́-та, та-та́!» Я снял шляпу и отвесил ей поклон — вежливость тоже ведь ответ.

С конца 1828 года по 1839 год я принужден был жить единственно своим пером; между тем писательские гонорары были в то время очень скромны, и мне приходилось весьма туго, тем более что я, вращаясь в известных кругах общества, должен был обращать особое внимание на свою одежду. Редакции газет вовсе не платили своим случайным сотрудникам, творить постоянно новое и новое было немыслимо, и я взялся за переводы пьес для королевского театра. Так я перевел «*La quarantaine*» и «*La reine de seize ans*» и написал несколько оперных либретто.

Еще произведения Гофмана заставили меня обратить внимание на комедии Гоцци; в «*il Corvo*» я нашел превосходный материал для оперного либретто; ознакомившись с переводом этой вещи, сделанным Мейслингом, я пришел в полный восторг и в несколько недель написал текст для оперы «Ворон», который и отдал одному молодому композитору. Это был нынешний профессор И. П. Э. Гартман, наша гордость и слава. Теперь, пожалуй, многие улыбнутся, узнав, что мне в письме к директору театров пришлось некоторым образом ручаться за талант Гартмана, рекомендовать его, как композитора! А ныне-то он является первым нашим композитором, гордостью Дании! Написанное мною либ-

ретто страдало сухостью и недостатком лиризма, я сам осознал это впоследствии и не включил его в собрание моих сочинений — лишь один хор да песня из этой оперы вошли в сборник стихотворений. Тем не менее Гартман написал на мое либретто чудную, истинно гениальную музыку, и со временем эта опера, наверное, опять займет в репертуаре датской королевской сцены почетное место, теперь же ее давно не давали, и большинство знакомо с ней лишь по отрывкам, исполняемым в концертах музыкального общества.

Для другого молодого композитора И. Бредаля я переработал в либретто роман Вальтера Скотта *«Ламмермурская невеста»*. Обе оперы были поставлены на королевской сцене, но меня за мои либретто критика осудила беспощадно, хотя последнее из них и нельзя было назвать неудачным в литературном отношении. От этого времени у меня сохранилось воспоминание об Эленшлегере, которое рисует его раздражительность, но в то же время и его искренность и сердечность. *«Ламмермурская невеста»* имела большой успех; я принес Эленшлегеру печатное либретто; он улыбнулся и поздравил меня с успехом пьесы, часть которого приходилась и на мою долю. Успех этот, по его словам, достался мне, впрочем, довольно дешево: я воспользовался трудом Вальтера Скотта, композитор поддержал меня — вот и все! Мне было так больно услышать это от него, что у меня выступили на глазах слезы. Едва он заметил это, бросился ко мне на шею, поцеловал меня и сказал: «Это другие натравили меня на вас!» И он точно весь переродился, обращение его со мною стало самым сердечным, и на прощание он подарил мне одну из своих книг с любезной надписью.

Вейзе, один из моих первых доброжелателей, с которым я часто встречался в доме адмирала Вульфа, был на первом представлении *«Ламмермурской невесты»* и остался в высшей степени доволен моим либретто. Вскоре он пришел ко мне и рассказал, что давно носит с мыслью написать оперу на сюжет *«Кенильворта»* Вальтера Скотта, и взял даже с Гейберга обещание написать ему либретто, но обещание это так и осталось одним обещанием. Теперь он думает, что либретто это мог бы написать я и таким образом стать его сотрудником. Я согласился, но, исполняя желание композитора, я и не предвидел, какие громы навлеку на свою голову. Я, как сказано, сильно нуждался тогда в деньгах, но взялся за упомянутую работу не из-за ожидаемого гонорара за нее, а главным образом потому, что мне было и приятно, и лестно стать сотрудником Вейзе, любимейшего нашего композитора и моего первого благодетеля. Я сейчас же взялся за работу, но не успел еще довести ее и до половины, как о ней заговорили в городе, и на меня посыпались самые обидные нарекания, две-три газетки даже обозвали меня «палачом чужих произведений». Я был так огорчен, что хотел отказаться от своего намерения, но

Вейзе принялся успокаивать меня, начало моего труда вполне его удовлетворяло, и он настаивал, чтобы я довел его до конца. Его желание было для меня выше всяких порицаний и попреков других людей, и я сдался. Сам Вейзе тоже немедленно принялся за дело и прежде всего написал музыку для небольшого романса: «*Пастушок пасет овец*». Скоро я кончил либретто, и так как написал его только ради самого Вейзе, да и кроме того готовился уехать, то и передал его в полное распоряжение композитора, которому предоставил право переделывать и изменять его, как хочет. Вейзе и, действительно, вставил несколько стихов, а некоторые изменил. Так, например, у меня было сказано:

Gjennem disse duple Gange
Snoer sig Dödens Slange!

(То есть «По этим темным переходам, извиваясь, ползет змея смерти!»)

А Вейзе изменил:

Fra denne sorte Krog
Snoer sig Dödens Snog!

(То есть «Из темного угла ползет уж смерти»).

Я впоследствии сделал ему по этому поводу какое-то возражение, а он шутливо отпарировал его: «В темных переходах всегда есть и темные углы, а уж ведь та же змея, только маленькая. Значит, я не изменил нарисованной вами картины, а только приспособил ее к музыке!» У этого замечательного человека была еще одна особенность: он никогда не дочитывал книги, если узнавал, что конец ее печальный. На том же основании он и в опере своей заставил Эми Робсар выйти замуж за Лейчестера. «Зачем же делать людей несчастными, если можно устроить их счастье одним взмахом пера?» — говорил он. «Да, ведь это противоречит истории! — возражал я. — И что же мы сделаем в таком случае с королевой Елизаветой?» «А она может сказать: «Великая Англия, я твоя!» — ответил он. Делать нечего, так и пришлось закончить либретто этими словами. «*Кенильвортский праздник*» был поставлен на сцене, но из моего либретто я напечатал отдельно только несколько песенок; две из них благодаря музыке Вейзе скоро сделались у нас в Дании весьма популярными, а именно: «*Пастушок пасет овец*» и «*Братья далеко отсюда*».

Этот период моей жизни отмечен анонимными нападками на меня в письмах, присылаемых мне от неизвестных личностей, которые насмеялись и ругали меня самым мальчишески-грубым образом. Тем не менее я в тот же год отважился издать новый сборник стихотворений «*Две-*

надцать месяцев года», который впоследствии был отмечен критикой, как содержащий много лучших, удачнейших моих стихотворений, тогда же к нему, по обыкновению, отнеслись беспощадно.

То был самый цветущий период издательства «Литературного ежемесячника», основателем которого, как мне помнится, был Эрстед. В числе сотрудников журнала находились многие из ученых знаменитостей Дании, слывших за непогрешимых судей, тем не менее, как замечал и сам Эрстед, литературно-критический отдел журнала сильно хромал. Приходилось довольствоваться критиками, какие попадались под руку. Большинство людей воображают, к сожалению, что в критики произведений изящной литературы годится всякий — это, дескать, не то что шить сапоги или стряпать обед, для чего нужны специалисты. А между тем на деле-то оказывается, что можно составлять прекрасные латинские учебники или словари и в то же время не годиться в судьи поэтических произведений.

Но отыскивать подходящих лиц становилось для редакции все труднее и труднее, поэтому готовый писать и судить о чем угодно историк Мольбек, тогдашний директор театра, был для нее прямо находкой. Он часто высказывал обо мне свое мнение, так выскажу же хоть раз и я о нем свое. Я признаю в нем неутомимого труженика и составителя словаря, которым он, как принято выражаться, «пополнил важный пробел в датской научной литературе», хотя этот значительнейший его труд и можно упрекнуть в некоторой неполноте и односторонности. Мольбек не столько показывает нам, какого правописания держатся наши лучшие писатели, как — какого считает нужным держаться он сам. В качестве же критика произведений изящной литературы он заявил себя крайне пристрастным и односторонним. Между тем собственного его творчества хватило только на два юношеских произведения: «По Дании», написанное цветистым языком того времени, и «Путешествие по Германии, Франции и Италии», причем все описываемое им, кажется, скорее почерпнуто из книг, нежели из действительности. Он все сидел в своем кабинете да в архиве королевской библиотеки и уж много лет не заглядывал в театр, как вдруг его сделали директором театра и цензором пьес, представляемых в дирекцию. Болезненный односторонний и брюзгливый директор театра — можно представить себе результаты! В начале моей авторской деятельности он оказывал мне особую благосклонность, но скоро моя звезда закатилась, и взошла звезда Паллудана-Мюллера, выступившего со своей «Танцовщицей», а затем с «Амуром и Психеей». А раз Мольбек перестал быть за меня, он стал против меня — вот и вся история.

Есть пословица: «Когда повозка начнет клониться на бок, все стараются свалить ее совсем», вот это-то я и испытал на себе. Всюду говорили только о моих недостатках, и так как вполне в натуре челове-

ческой охоть, если тебя уж чересчур донимают, то я и охал перед моими так называемыми друзьями, они же разносили мои охи по всему большому городу, который, впрочем, бывает иногда очень и очень маленьким. Случалось даже, что я встречал на улице вполне прилично одетых людей, которые, проходя мимо меня, скалили зубы и отпускали на мой счет злорадные шуточки. За нами, датчанами, вообще водится страстишка насмехаться, или, выражаясь изящнее, в нас есть комическая жилка; вот почему в репертуаре у нас преобладает комедия.

В то время на литературном горизонте показалась новая звезда, Генрик Герц, выступивший с *«Письмами с того света»*. Герц не выставил под этой сатирой своего имени, написана же она была от лица недавно умершего Баггесена, будто бы приславшего ее с того света. И, действительно, Герц сумел так подделаться под тон и даже дух Баггесена, что многие готовы были поручиться: «Да, это писал сам Баггесен!» В *«Письмах»* был восхвален Гейберг, больно задеты Эленшлегер и Гаух, и вытащена на свет Божий старая история о моих орфографических ошибках в *«Прогулке»*. Кроме того, к моему имени и обучению в гимназии в Слагельсэ было приплетено имя Св. Андерса, и явился «Св. Андерсен», взбирающийся на Парнас «верхом на однодневном жеребенке — Пегасе». Право, Гольберг придумал бы что-нибудь поостроумнее! Одним словом, меня пробрали так, что любо! *«Письма с того света»* произвели огромную сенсацию, по всей стране только и разговору было, что о них, все остальное отошло на второй план. На моей памяти другого такого сенсационного произведения не являлось. Никто не знал и не мог угадать автора его, и это-то еще более разжигало интерес. Все были в восторге и недаром: подобные произведения нечасто появляются! Гейберг все-таки заступился в *«Летучей почте»* за некоторых из своих друзей, пробранных в *«Письмах»*, для меня же у него не нашлось ни словечка.

Мне не оставалось ничего другого, как покорно принять на свою голову этот критический ливень, и все были уверены, что он окончательно потопит меня. Я глубоко чувствовал нанесенные мне раны, и сам был готов отчаяться в себе, как отчаивались во мне другие. В то время не было другого Аллаха, кроме автора *«Писем»*, а Гейберг был его пророком.

И вот как раз в такое-то время вышел сборник моих стихотворений *«Фантазии и наброски»*, вместо эпиграфа я выставил отрывок из *«Писем»*, это было единственным моим ответом на все нападки¹.

¹ Вот содержание этого отрывка: «Судьи нужны, но судья должен помнить, что плод творческого гения есть плод своего времени и плавает по его течению. Критик стоит на страже искусства, когда он хвалит какое-нибудь произведение, но пусть дважды взвесит все доводы за и против, прежде чем судить его. Хулить легко, разрушать чужие труды тоже, но трудно создать что-нибудь, могущее заменить разрушенное». — *Примеч. перев.*



Вслед за этой книжкой вышла и другая небольшая моя книжечка «Виньетки к именам датских поэтов». Я задался целью дать в коротеньких стихотворениях характеристики всех современных и умерших наших писателей. Мои «виньетки» вызвали много подражаний, но критика не обмолвилась о них ни одним добрым словом. Меня продолжали угощать переварками старых порицаний. Мне приходилось читать не критику на мои произведения, а прямые выговоры себе. Тянулось это долго, но в описываемое время дела мои были особенно плохи.

Герц наконец сбросил с себя шапку-невидимку, и в скором времени решено было выдать ему от казны субсидию на заграничную поездку. Я в это время тоже подал прошение о такой субсидии. Я чувствовал к королю Фредерику VI истинную благодарность за полученное мною по его милости образование и, желая как-нибудь выразить ему свои чувства, собирался поднести ему посвященную его имени книгу свою «Двенадцать месяцев». Тут-то один из моих доброжелателей, человек опытный, бывалый, и посоветовал мне самому постараться за себя: подавая королю книгу, я должен был коротко и ясно сообщить ему, кто я такой и как я сам пробил себе дорогу, и прибавить, что теперь я больше всего нуждаюсь в субсидии для поездки за границу, необходимой для завершения моего образования. На это король, наверное, скажет: «Подайте прошение!», а оно уже должно быть у меня наготове, чтобы я мог тотчас же вручить его королю. Я нашел все это ужасным. Как? Подарив королю книгу, я тотчас же буду просить его отдарить меня! «Так уж заведено! — ответили мне. — Король отлично знает, что, поднося ему книгу, вы ожидаете от него за это какой-нибудь награды!» Меня это просто приводило в отчаяние, сердце мое так и колотилось, и когда король, по своему обыкновению, быстро подошел ко мне с вопросом, что за книгу я ему принес, я ответил: «Цикл стихотворений». «Цикл! Цикл! Что вы хотите сказать?» Тут уж я совсем растерялся и сказал: «Это... это разные стихотворения о Дании!» Король улыбнулся: «А, так! Это очень кстати! Благодарю». И он кивнул мне в знак того, что аудиенция кончена. Но я ведь еще не успел и начать разговора о своем деле и поспешил сказать, что мне еще столько надо сообщить ему, а затем без дальнейших церемоний рассказал ему о своих занятиях и о том, как я пробил себе дорогу. «Все это очень похвально!» — заметил король, а когда я наконец изложил свою просьбу о субсидии на поездку, сказал, как меня и предупреждали: «Ну, подайте прошение!» «Да оно у меня с собою! — заявил я в простоте душевной. — По-моему, это просто ужасно, что приходится подавать его вместе с книжкой, но мне сказали, что так водится... А мне все-таки ужасно стыдно!» И слезы брызнули у меня из глаз. Добряк король громко рассмеялся, ласково кивнул мне головой и взял прошение. Я поклонился и поспешил убраться.

Все были того мнения, что талант мой достиг теперь полного своего расцвета, и что если я вообще рассчитываю на субсидию, то надо стараться получить ее именно теперь. Я же, со своей стороны, чувствовал, в чем убедились впоследствии и другие, что путешествие — лучшая школа для писателя. Мне сказали, однако, что если я хочу, чтобы на мою просьбу обратили внимание, то должен постараться добыть рекомендации некоторых из наших уважаемых писателей и почтенных деятелей. Пусть они рекомендуют меня, как поэта, а то ведь, прибавляли мне с особенным ударением, как раз в этот год «столько прекрасных молодых людей» ищут субсидии! Делать нечего, я принялся добывать себе аттестаты, которые, пожалуй, только одному мне из всех датских писателей и понадобились. Гольст, Паллудан-Мюллер, Тистед, Хр. Мольбек, все они, насколько мне известно, получили субсидии на заграничные поездки без всяких таких аттестатов, да вовсе и не нуждались в них. Замечательно то, что каждое лицо, из выдавших мне аттестаты, находило во мне свое; так Эленшлегер выставял на вид мой лирический талант, Ингеман — мое понимание народной жизни, а Гейберг — остроумие и юмор, которыми я будто бы напоминал нашего знаменитого Весселя. Эрстед в свою очередь обращал внимание на то, что несмотря на самые разнообразные мнения о моих трудах все, однако, единогласно признавали во мне поэта. Тилэ же тепло отозвался о силе моего духа, поддержавшего меня в тяжелой борьбе с житейскими невзгодами, и пожелал, чтобы просьба моя была удовлетворена не только ради самого поэта, но ради процветания поэзии в Дании!

Аттестаты произвели свое действие, и просьба моя была уважена. Герцу выдали субсидию покрупнее, мне поменьше.

«Радуйтесь теперь! — говорили мне друзья. — Чувствуйте свое безмерное счастье! Пользуйтесь минутой! Другой такой случай выбраться за границу вряд ли вам представится! Послушали бы вы, что говорят в городе по поводу вашей поездки. Знали бы вы, как нам приходится отстаивать вас! Часто, впрочем, приходится и пасовать, и соглашаться!» Такие речи больно уязвляли меня. Я рвался поскорее уехать, забывая слова Горация, что печаль садится на седло позади всадника. Перед самой разлукой друзья мои стали мне еще дороже; между ними были двое, которые имели в то время на меня и на все мое развитие особенно сильное влияние. О них-то я и должен упомянуть здесь.

Первым другом моим была г-жа Лэссё, мать героя, отличившегося при Идстеде. полковника Лэссё. Эта нежнейшая мать, образованная и даровитая женщина, открыла для меня свой уютный дом, делила со мной все мои горести, утешала, ободряла меня и направляла мой взор на красоты природы и поэтические мелочи жизни, учила искать красоту в так называемом «малом» и одна не теряла веры в мой талант, когда теряли ее почти все. Если на произведениях моих лежит отпечаток чистоты

и женственности, то г-жа Лэссё одна из тех, кому я особенно обязан этим.

Другой мой друг, также имевший на меня большое влияние — один из сыновей моего покровителя Коллина, Эдвард Коллин. Он вырос в самой счастливой семейной обстановке и отличался мужеством и решительностью характера, чего так недоставало мне. Я был уверен в его искренней привязанности ко мне, и так как до сих пор еще никогда не имел друга-товарища, то и привязался к нему всей душой. Он восставал против всего, что было в моей натуре девичьего, отличался рассудительностью, практичностью и несмотря на то, что был моложе меня годами, был старше умом, так что руководящая роль в нашем дружеском союзе принадлежала ему. Часто я не понимал его, обижался на него и огорчался; другие тоже часто неверно истолковывали его доброжелательную горячность. Мне, например, доставляло несказанное удовольствие читать в обществе свои собственные или чьи-нибудь чужие стихи, и вот однажды в одном семейном кружке меня попросили декламировать что-нибудь, я согласился, но мой товарищ, бывший тут же и лучше меня понимавший настроение общества и его ироническое отношение ко мне, резко объявил, что тотчас же уйдет, если я прочту хоть один стих! Я опешил, а хозяйка дома и другие дамы обрушились на него за такое поведение. Только позже я понял, что он в эту минуту вел себя, как истинный друг, тогда же я готов был заплакать, хотя и знал, как велика его дружба ко мне. Его горячим желанием было привить мне, гибкому и податливому, как тростник, хоть частицу своей самостоятельности и силы воли. В практической жизни он был для меня настоящим дядькой, помогал мне во всем, начиная с латинского языка, когда я еще готовился к экзамену, и кончая многолетней возней с издателями, типографиями и даже корректурами. Он был моим верным другом с тех пор еще, как мне приходилось покорно склоняться под ударами судьбы, перенося все, и остался им и тогда, когда я стал сам себе господином.

Как горы по мере удаления от них выступают все рельефнее, яснее, так и друзья наши: удалившись от них, начинаешь лучше понимать их.

Маленький альбом со стихами от многих друзей стал моим сокровищем, которое сопровождало меня повсюду и все увеличивалось с годами.

В понедельник 22 апреля 1833 года я уехал из Копенгагена. Я был глубоко растроган при прощании с родиной и искренно молил Бога, чтобы Он или помог мне извлечь пользу из моей поездки и создать какое-нибудь истинно поэтическое произведение, или послал мне смерть на чужбине!

Я смотрел, как исчезали с горизонта башни Копенгагена, мы приближались к утесу Мэну... Вдруг капитан подал мне письмо и шутливо сказал: «Сейчас только прилетело по воздуху!» Это была еще пара слов, последний дружеский привет от Эдварда Коллина. Близ Фальстера я

получил письмо от другого друга, вечером перед отходом ко сну от третьего, а утром близ Травемюнде от четвертого. «Все прилетели по воздуху!» — смеялся капитан. Друзья мои, из участия ко мне, набили ему письмами полный карман. «Noch ein Sträuschen! Und wieder noch ein Sträuschen!»

V

В наши дни добраться через Германию до Парижа — шутка; в 1833 году было не то; железных дорог еще не существовало, приходилось день и ночь тащиться на почтовых, сидя запакованным в тесном, неуклюжем дилижансе, беспрестанно останавливаясь и глотая пыль. Проза такой поездки была, впрочем, отчасти вознаграждена поэтическим впечатлением, полученным мною от Франкфурта, родины Гете и колыбели Ротшильдов. Там жила старуха-мать крезов, не желавшая покидать скромного домика на Еврейской улице, где родились ее счастливые сыновья. Затем я увидел Рейн! Но увидел его весною, когда берега его меньше всего живописны. Я был обманут в своих ожиданиях, как, вероятно, и многие приезжающие сюда туристы. Красивейшим пунктом бесспорно является утес Лорелеи. Главное же украшение Рейна — связанные с ним легенды и чудные песни. Эти зеленоватые волны воспеты ведь лучшими поэтами Германии!

От Рейна мы ехали, кажется, трое суток через Зарбрюк, через известковую долину Шампаньи, направляясь к Парижу. Я дожидаться не мог, когда мы доберемся до «столицы мира», какою был для меня Париж, все глаза проглядел в ожидании, когда она наконец покажется, спрашивал о ней беспрестанно, и под конец так умаялся, что вовсе перестал спрашивать и доехал до самого бульвара, не подозревая, что я уже в Париже.

Вот и все впечатления, вынесенные мною из этого безостановочного путешествия от Копенгагена до Парижа. Немного! А между тем на родине нашлись люди, которые и от такой поездки ожидали какого-то особенного воздействия на мое развитие. Они не думали о том, что взор может и не успеть охватить и усвоить себе представившуюся ему картину тотчас же, как подымется занавес. Итак, я был в Париже, но до того усталый, разбитый, сонный, что даже приискание помещения казалось мне непосильным трудом. Отыскав его в Hotel de Lille, на улице Thomas, близ Palais royal, я сейчас же завалился спать, — слаще отдыха и сна для меня в эту минуту, ничего не существовало. Недолго, однако, я поспал — меня разбудил страшный грохот, яркий свет ежеминутно озарял мою комнату. Я бросился к окну: напротив, в узеньком переулке находилось большое здание, и я увидел, что из дверей его валом валит народ... Шум, крики, грохот, вспышки какого-то необык-



новенного света — все это заставило меня со сна-то подумать, что в Париже восстание. Я позвонил слуге: «Что это такое?» «C'est le tonnerre!» — ответил он. «C'est le tonnerre!» — повторила и служанка. Замечая по моему удивленному лицу, что я все еще не понимаю, в чем дело, они произнесли слово tonnerre с раскатом: le tonnerre-re-rrr! — и показали мне на сверкавшую молнию, вслед за которой загрохотал опять и гром. Итак, это была гроза, а здание напротив оказалось театром Vaudeville; представление только что окончилось, и зрители расходились. Так вот каково было мое первое пробуждение в Париже.

Теперь предстояло ознакомиться со всеми его прелестями.

Итальянская опера была уже закрыта, зато Grande Opera блистала тогда такими звездами первой величины, как г-жа Даморо и Адольф Нурри. Последний был тогда в полном расцвете своего таланта и считался любимцем парижан. В Июльские дни он храбро сражался на баррикадах и воодушевлял других борцов вдохновенным пением патриотических песен. Каждое его появление на сцене вызывало шумные овации. Четыре года спустя, до меня дошло известие о его ужасной смерти. В 1837 году он поехал в Неаполь, но там его встретил совсем иной прием, кто-то даже свистнул ему. Избалованного певца это потрясло до глубины души, полубольной выступил он еще раз в «Норме», и опять раздался чей-то свист, прорвавшийся даже сквозь шумные аплодисменты остальной публики. Нурри не вынес и после бессонной ночи выбросился утром 8 марта из окна третьего этажа. После него остались жена и шестеро детей. Я же слышал его еще в то время, когда он пожинал лавры в опере «Густав III», имевшей огромный успех. Вдова настоящего Анкерстрёма, тогда уже пожилая женщина, проживала в Париже и напечатала в одном из наиболее распространенных журналов опровержение любовной истории между Густавом III и ей, вымышленной Скрибом. Оказывалось, что она и видела-то короля всего один раз в жизни.

В Theatre francais я видел в «*Les enfats d'Edoward*» престарелую m-lle Марс. Несмотря на то, что я очень мало понимал по-французски, ее игра растрогала меня до слез: более прекрасного женского голоса я не слыхивал ни прежде, ни после. Пожилая m-lle Марс являлась олицетворением юности и свежести и достигала этого не перетягиванием талии, не закидыванием головы, а легкими эластичными манерами и движениями и свежим звучным голосом, глядя на нее, я без всяких посторонних истолкований понял, что передо мною истинная артистка.

В это лето нас, датчан, собралось в Париже несколько человек, все мы жили в одном отеле, вместе ходили по ресторанам, по кафе, по театрам и постоянно говорили между собою на родном языке — охотнее всего о письмах с родины. Все это было очень мило, очень сердечно, но не для этого же стоило ехать за границу. Надо было осмотреть все

достопримечательности — для того ведь мы и оставили родину, — и мне до сих пор памятно, как один из моих милых друзей от души благодарил Бога, когда он однажды вечером притащился домой усталый, измученный, покончив с осмотрами разных музеев и дворцов. «Все это было смерть как скучно! Но, — прибавил он, — надо же все осмотреть, а то вдруг спросят дома о чем-нибудь и окажется, что я этого не видал, — срам! Теперь слава Богу осталось осмотреть самую безделицу, а потом уж можно будет и повеселиться!» Вот как рассуждал мой приятель, да и до сих пор еще, я думаю, многие так рассуждают!

Я тоже не отставал от других, ходил и осматривал все, но большая часть виденного живо испарилась у меня из памяти. Едва успел я осмотреть Версаль с его роскошными покоями и картинами, как его уже вытеснил из памяти дворец Трианон. С благоговением вступил я в опочивальню Наполеона; все там сохранялось в прежнем виде — стены были обиты желтыми обоями, занавеси у постели были тоже желтого цвета. К постели вели ступеньки. Я дотронулся рукою до одной из них, — на нее ступала его нога! Потрогал и подушку. Будь я один в комнате, я бы, кажется, преклонил колени: Наполеон был любимым героем и моего отца, и моим с самого раннего детства.

Из тогдашних парижских знаменитостей я видел или, вернее, говорил лишь с немногими. К одной из таких, автору многих водевилей Полю Дюпору, у меня было письмо от балетмейстера копенгагенского королевского театра Бурнонвилля. У нас в Дании был поставлен перевод драмы Дюпора «*Квакер и танцовщица*», пьеса имела большой успех; сообщение об этом и письмо Бурнонвилля очень порадовали старика, так что я явился для него желанным гостем. Самое наше свидание носило, однако, довольно комичный характер: я прескверно говорил по-французски, Дюпор же полагал, что может говорить по-немецки, но произносил все слова так, что я ровно ничего не понимал. Он подумал, что употребляет не те слова, достал французско-немецкий словарь и стал продолжать разговор, беспрестанно отыскивая слова в книге. Разумеется, беседа с помощью словаря не могла идти быстро, и это было не по вкусу ни мне, ни ему.

К другой знаменитости, Керубини, у меня было поручение от Вейзе. Как раз в это время на него было обращено особое внимание парижан: он после долгого отдыха и уже в преклонных летах подарил Grande Opera новым произведением, оперой «*Али-Баба, или Сорок разбойников*». Особенных восторгов она не вызвала, но так называемый succès d'estime имела.

Керубини был очень похож на свои портреты; я застал его за фортепьяно; на каждом плече у него сидело по кошке. Оказалось, что он даже не слыхивал имени Вейзе, так что мне пришлось предварительно дать ему некоторое понятие о привезенных мною произведениях нашего композитора. Керубини знал о существовании лишь одного датского композитора, Клауса Шалля, писавшего музыку к балетам Галеотти. Керу-

бини жил с Шаллем одно время вместе, потому и интересовался им; Вейзе же он не ответил ни строчкой. Это было мое первое и последнее свидание со стариком.

Однажды мне случилось быть в литературном кружке «Europe littéraire», куда ввел меня Поль Дюпор; тут подошел ко мне невысокий человек, с лицом еврейского типа и, приветливо здороваясь со мной, сказал: «Я слышал, что вы датчанин, а я немец! Датчане и немцы — братья, вот я и хочу пожать вам руку!» Я спросил об его имени, и он ответил: «Генрих Гейне!»

Итак, передо мною был тот самый поэт, который имел на меня в последнее время такое огромное влияние, пел как будто бы то же самое, что кипело и волновалось и у меня в груди. Встреча именно с ним была для меня всего желаннее. Все это я и высказал ему.

«Ну, это вы только говорите так! — сказал он, улыбаясь. — Если бы вы действительно интересовались мною, вы бы отыскиали меня!» «Нет, я этого не мог! — ответил я. — Вы так чутки ко всему комическому, и, наверное, нашли бы в высшей степени комичным, что я, совершенно не известный поэт, из такой маленькой страны, являюсь к вам и сам рекомендуюсь датским поэтом! Кроме того, я знаю, что держал бы себя при этом очень неловко, а если б вы засмеялись или насмеялись надо мною, мне это было бы в высшей степени больно... Да, именно потому, что я так высоко ценю вас! Вот я и предпочел лишиться себя свидания с вами!»

Мои слова произвели на него хорошее впечатление, и он был со мною очень ласков и приветлив. На другой же день он зашел ко мне в отель, потом мы стали видеться чаще, несколько раз гуляли вместе по бульвару, но я все еще не совсем доверял ему, да и он, со своей стороны, видимо, не чувствовал ко мне такой сердечной близости, как несколько лет спустя, когда мы свиделись с ним опять и когда он уже успел познакомиться с моим «Импровизатором» и некоторыми сказками. Прощаясь же со мною теперь, перед отъездом моим из Парижа в Италию, он писал мне:

«Ich möchte Ihnen gar, werthester Collega, einige Verse hier aufs Papier kritzeln, aber ich kann heute kaum leidlich in Prosa schreiben.

Leben Sie wohl und heiter. Amusiren Sie sich recht hübsch in Italien; lernen Sie recht gut Deutsch in Deutschland und schreiben Sie dann in Dänemark auf Deutsch, was Sie in Italien gefühlt haben. Das wäre mir das Erfreulichste¹.

Paris den 10 August 1833.

Н. Heine»

¹ Уважаемый коллега! Я бы с удовольствием нацарапал Вам здесь какие-нибудь стишки, но сегодня едва могу писать и мало-мальски сносной прозой. Будьте здоровы и веселы. Желаю Вам приятно провести время в Италии. Научитесь в Германии хорошенько по-немецки и напишите потом в Дании по-немецки о том, какое впечатление произвела на Вас Италия. Это было бы для меня приятнее всего.



Первой французской книгой, которую я попытался прочесть в оригинале, был роман Виктора Гюго «*Notre Dame*», и вот я начал каждый день бегать в эту церковь и осматривать место действия. Эффектные описания и полные драматизма картины, нарисованные поэтом, произвели на меня такое сильное впечатление, что я, вполне естественно, захотел отыскать самого писателя. Он жил на углу *Place royal*; меблировка в комнатах была старинная, по стенам повсюду висели гравюры и картины, изображавшие «*Notre Dame*». Сам хозяин принял меня, одетый в халат и обутый в шикарные туфли. На прощание я попросил его написать мне на листочке бумаги свое имя. Он исполнил мое желание, но написал свое имя на самом верхнем крае листка, и у меня сейчас же мелькнула в уме неприятная мысль: «Он не знает тебя и принимает меры, чтобы его имя не оказалось подписанным под какой-нибудь строчкой, которую могут приписать ему!» Только при вторичном моем пребывании в Париже я узнал Виктора Гюго ближе, но об этом после.

Во время всего пути в Париж и в продолжение целого месяца пребывания там, я не получил с родины ни строчки. Напрасно я справлялся на почте, на мое имя не приходило ни одного письма. Может быть, друзьям моим нечего было сообщить мне веселого и приятного, может быть, мне все еще завидовали за полученную мною субсидию на поездку?.. Тяжело было у меня на сердце. И вдруг пришло толстое, тяжелое нефранкированное письмо. Дорогонько пришлось заплатить за него, но я не жалел: оно было такое толстое! Сердце во мне так и прыгало от радости и от нетерпения поскорее ознакомиться с его содержанием — это ведь была первая весточка с родины. Я вскрыл его — ни одной писаной строчки, один печатный лист газеты «*Копенгагенская почта*» со стихотворным пасквилем на меня¹, присланным, вероятно, самим автором. Так вот каков был первый привет, полученный мной с родины. Я был потрясен до глубины

¹ «Прощальный привет Андерсену. Итак, ты уезжаешь из Дании, где тебя так баловали многие, уезжаешь прежде, нежели успел твердо стать на ноги, едва вылупившись из яйца. А нехорошо, если сын покидает отечество и уезжает в чужие страны, прежде нежели выучится, как следует, родному языку, — это ты и сам понимаешь. Да, это, право, нехорошо, что ты покидаешь маленькую Данию, где все-таки же мало-мальски знакомы с твоими стишками. Тебе доставляло такое удовольствие читать их всем и каждому, а кто же будет слушать тебя за границей! О, ты соскучишься там! Помнишь, сколько раз ты вытаскивал из кармана свои стихи и читал их на Старой площади, в Кузнечном переулке и на перекрестках, где дул ветер? Помнишь, сколько раз ты подбавлял в чай водицы, читал без передышки свои водянистые стихотворения! И вот ты уезжаешь из Дании; ничего подобного не слышано! Но быюсь об заклад — скоро ты вернешься оттуда недовольный. Ты ведь не знаешь ни по-немецки, ни по-датски, еще меньше по-английски, а начнешь говорить по-французски — парижанин подумает, что ты говоришь по-готтентотски!» И т. д.

души, мне нанесли рану прямо в сердце! Я никогда не узнал имени автора, но стихи обличали опытное перо, и, может быть, были написаны одним из тех лиц, которые впоследствии пожимали мне руку и называли другом. Что ж, у людей часто бывают дурные мысли, почему же не быть и у меня своим!

Настали Июльские празднества, и я был свидетелем открытия в первый день празднеств памятника Наполеону на Вандомской площади. Вечером, накануне, когда статуя еще находилась под полотном, и рабочие кончали последние приготовления, вокруг колонны собрался народ, я тоже замешался в толпу, тут ко мне подошла какая-то тщедушная старуха и, дико смеясь, сказала: «Вишь, куда посадили его! А завтра опять сбросят вниз! Ха, ха, ха! Знаю я французов!» Мне стало не по себе, и я поспешил домой.

Что же касается до моих успехов во французском языке в эти три месяца, то они были очень невелики, — я ведь, как упомянуто, слишком много возился со своими земляками. Я, впрочем, сознавал необходимость выучиться языку и решился было ради этой цели провести некоторое время в каком-нибудь пансионе в Швейцарии, но мне сказали, что это обойдется чересчур дорого. «Вот, если бы вы поехали в какой-нибудь маленький швейцарский городок куда-нибудь на Юру, где уже в августе выпадает снег, — это дело другое. Там жизнь дешева, и там вы скоро обзаведетесь друзьями!» — сказал мне один знакомый швейцарец. Отдых в тихом провинциальном городке — после жизни в шумном Париже — представлялся мне крайне желанным, к тому же я рассчитывал там без помехи окончить одно начатое произведение. И вот я проехал через Женеву и Лозанну в маленький городок Le Locle.

Опять несколько дней и ночей пришлось провести закупоренным в битком набитом дилижансе. Опять замелькали перед глазами причудливые арабески и маленькие картинки, составляющие всю прелесть путешествия. Некоторые из них остались у меня в памяти, и вот одну я хочу набросать здесь.

Мы уже оставили за собою плоскую, ровную Францию и ехали по гористой Швейцарии. Поздно вечером мы добрались до какой-то деревеньки, я остался в дилижансе единственным пассажиром, и кондуктор посадил ко мне двух молоденьких дочек фермеров. «Не то им придется в такое позднее время два часа тащиться до дому!» — сказал он. Началось хихиканье, перешептыванье и любопытничанье. Девушки знали, что в дилижансе сидит господин, но видеть меня в темноте не могли. Наконец они расхрабрились и спросили: француз ли я? Я сказал, что я из Дании, и им все стало ясно. Дания ведь это в Норвегии, как они учили из географии. Слова Copenhagen им выговорить никак не удавалось, у них все выходило Corporal. Затем последовали вопросы: молод я или стар, холост или женат, и каков собой? Я нарочно забился в самый

темный угол и описал им себя идеальным красавцем. Девушки догадались, что я подшучиваю над ними, и на мой вопрос о их наружности, тоже описали себя красавицами. Они, впрочем, сильно приставали ко мне с просьбой показаться им на следующей станции, я, однако, не поддался, а они в свою очередь, выходя из дилижанса, завесили лица носовыми платками, с звонким смехом пожали мне руку и убежали. Обе эти молоденькие, веселые незнакомки стоят передо мною, как живая картинка из моего путешествия.

Еще на пути за границу и во все время моего пребывания в Париже, меня занимала мысль написать одну поэму. Чем дальше, чем лучше я уяснял себе свою задачу, тем рельефнее вырисовывались у меня в уме разные частности поэмы, и я надеялся покорить ей всех своих недругов, заставить их признать во мне истинного поэта. Сюжет я заимствовал из старинной народной песни «Об Агнете и водяном». В Париже я окончил первую часть, а в Le Locle вторую, и затем отослал обе на родину вместе с маленьким предисловием. Теперь я бы, конечно, написал его совсем иначе, точно также, как иначе обработал бы и самую тему поэмы. Приведу здесь это предисловие, так как оно ярко характеризует меня, каким я был в то время.

«Еще ребенком увлекался я старинною песнью «Об Агнете и водяном» и противоположностью описанных в ней двух стихий: земли и моря. Сделавшись старше, я понял и рисуемые в ней безотчетную грусть и стремление к какому-то новому существованию. И мне давно уже хотелось высказать все это по-своему. Старая песня звенела у меня в ушах на бульварах шумного Парижа, где жизнь бьет ключом, среди сокровищ Лувра, и дитя зашевелилось у меня под сердцем, прежде чем я сам сознал, что ношу его.

Родилась же моя «Агнета» далеко от шумного Парижа, на высоте Юры, среди величавой горной природы и темных сосновых лесов. Но душа в ней чисто датская! И вот я посылаю свое возлюбленное дитя на мою родину, которой оно принадлежит. Примите же его ласково, с ним я посылаю всем вам свой привет. За границей каждый датчанин становится нам другом и братом, так на родине-то моя «Агнета», уж наверное, найдет и родных, и друзей.

Я гляжу сквозь стекла окна: за окном валит снег, на вершинах сосен нависли тяжелые облака, а внизу у подножия гор — лето, зреют виноград и маис. Завтра я полечу через Альпы в Италию, и там мне, может быть, приснится прекрасный сон... Я опишу его и тоже отошлю в Данию, — сын ведь должен верить свои сны матери! Прощайте!

Le Locle, 14 сентября 1833 года.

Г. Х. Андерсен».

Моя поэма достигла Копенгагена, была напечатана и вышла в свет. Предисловие осмеяли, особенно выражение: «И дитя зашевелилось у меня

под сердцем прежде, чем я сам сознал, что ношу его». Самая поэма была принята холодно, говорили, что я неудачно подражаю Эленшлегеру, который некогда присылал из-за границы свои шедевры. Кроме того, случилось как раз, что появление «Агнеты» совпало с появлением «Амура и Психеи» Паллудана-Мюллера, произведения, возбудившего восторг. Достоинства последнего еще резче оттеняли недостатки моей поэмы, и она не произвела ожидаемого мною впечатления даже на Эрстеда. В письме ко мне, полученном мною в Италии, он откровенно изложил мне причины этого, с которыми я согласился, однако, лишь несколько лет спустя.

Несмотря на все свои недостатки «Агнета» все-таки свидетельствовала, что я сделал шаг вперед: чисто субъективный лиризм уже уступал место творчеству объективному. Прошло несколько лет, и это было признано и критикой, которая высказала даже, что хотя «Агнета» и возбудила меньше внимания, нежели более ранние и менее совершенные мои произведения, она тем не менее куда глубже, сильнее и поэтичнее их. Позже «Агнета» в несколько измененном виде была поставлена на сцене: имелось в виду поднять сборы в летнее время, и ее дали несколько раз как приманку, но несмотря на то, что г-жа Гейберг дала истинно гениальный и трогательный образ Агнеты, несмотря на написанную Гаде чудесную музыку к отдельным песням, пьеса не удержалась в репертуаре.

Все это, впрочем, совершилось значительно позже. Теперь же, как сказано, я отослал «Агнету» домой, как изваянную мною драгоценную статую, известную только Богу да мне. Сколько надежд и мечтаний моих понеслись вслед за нею на север! Сам же я днем позже направился на юг, в Италию, где развернулась передо мной как бы новая страница моей жизни.

VI

Как раз в то же время года, когда я четырнадцать лет тому назад входил бедным мальчиком в Копенгаген, въезжал я теперь в Италию, страну, куда издавна неслись все мои мечты и грезы.

Первым чудом искусства, увиденным мною в Италии, был Миланский собор — эта мраморная глыба, обточенная и преображенная искусством архитектора в арки, башни и статуи, рельефно выступавшие при ярком свете луны. Я взобрался на самый купол и увидел вдали цепь Альпийских гор, глетчеры и роскошную зеленую Ломбардскую долину. Скоро я и покатил по ней с двумя моими земляками. Страна лонгобардов напоминала своей ровной плоскостью и сочной растительностью наши родимые зеленые острова. Новизну представляли лишь

плодоносные майсовые поля да прекрасные плакучие ивы. Горы, через которые пришлось перебираться, показались нам после Альп маленькими. Но вот, наконец, и Генуя, и море, которого я не видал с того самого времени, как покинул Данию.

Горные жители питают страстную привязанность к родным горам, а мы, датчане, к морю. С моего балкона открывался чудный вид на эту новую, незнакомую и в то же время такую родную мне водяную равнину, и я вволю насладился им за время моей остановки в Генуе.

Весь первый день по выезде из Генуи мы ехали по восхитительнейшей дороге вдоль морского берега. Сама Генуя лежит на горах, окруженная темно-зелеными оливковыми рощами. В садах повсюду золотились апельсины, померанцы и лимоны. Красивые картины так и мелькали одна за другой, все здесь было для меня ново и навсегда запечатлелось у меня в памяти. Я до сих пор еще вижу перед собою эти старинные мосты, обвитые плющом, капуцинов и толпы генуэзских рыбаков в красных шапочках на головах. И что за яркую светлую картину представляло побережье, застроенное прекрасными виллами, и море, по которому проносились суда с белыми парусами и дымящиеся пароходы! Затем вдали выросли голубые горы Корсики, родины Наполеона. У подножия древней башни, в тени мощного дерева сидели три старухи с прялками, длинные волосы старух падали на смугло-бронзовые плечи. Возле дороги росли огромные кусты алоэ. Читатели, может быть, упрекнут меня за то, что я отвожу столько места описаниям природы Италии, и у них, пожалуй, даже явится опасение, что описание моей жизни сойдет на описание впечатлений туриста¹. Дело, однако, в том, что в это первое мое путешествие главные впечатления я вынес именно из открывшихся передо мною новой природы и нового мира искусства, тогда как в последующие я уже имел более случаев набраться впечатлений от соприкосновения с людьми. На этот же раз я действительно всецело находился под обаянием здешней природы! И как не остановиться, например, хотя бы на картине солнечного заката, представившейся мне в Ливорно: пылающие огнем облака, пылающее море и пылающие горы образовали как бы рамку вокруг грязного города, оправу, придававшую ему блеск, присущий всей Италии. Скоро этот блеск достиг своего апогея, — мы были во Флоренции.

До сих пор я не знал толка в скульптуре и почти не знаком был с ее образцами на родине. В Париже я тоже проходил мимо как-то безучастно. Первое сильное впечатление произвели на меня и скульптура,

¹ Ввиду того, что Андерсен действительно увлекается описаниями различных своих поездок, и во избежание повторений — однородные описания находятся в «Путевых очерках» и главным образом в «Импровизаторе», — мы сокращаем эту часть биографии. — *Примеч. перев.*



и живопись во Флоренции. Тут при посещении ее великолепных галерей, музеев и церквей впервые проснулась во мне любовь к этим искусствам. Стоя перед Венерой Медицейской, я чувствовал, что мраморная богиня как будто глядит на меня, сам глядел на нее с благоговением и не мог наглядеться. Я ежедневно ходил любоваться на нее да на группу Ниобеи, поражавшую меня своей необыкновенной жизненностью, правдивостью и красотой.

А какой новый мир открылся для меня в живописи! Я увидел мадонн Рафаэля и другие шедевры. Я видел их и раньше — на гравюрах, но тогда они не производили на меня никакого особенного впечатления.

Из Флоренции мы направились в Рим через Терни, знаменитый своим водопадом. Ну и путешествие — одна мука! Днем — палящий зной, вечером и ночью — тучи ядовитых мух и комаров. В довершение всего нам попался плохой веттурино. Восторженные отзывы о прелестях Италии, начертанные на стенах и окнах гостиниц, казались нам поэтому просто насмешкою. В то время я еще и не подозревал, с какой силой привяжусь я сам к этой чудной, поэтической, богатой славными воспоминаниями стране.

Наконец, настал и день нашего прибытия в Рим. В сильнейший дождь и ветер проехали мы мимо воспетого Горацием холма Соракте и по римской Кампанье. Никто из нас и не подумал прийти в восторг от ее красоты или от ярких красок и волнующихся линий гор. Все мы были поглощены мыслью о цели нашей поездки и об ожидающем нас там отдыхе. Признаюсь, что, очутившись на холме, откуда путникам, прибывающим с Севера, впервые открывается вид на Рим и где паломники с благоговением преклоняют колена, а туристы, согласно их рассказам, приходят в неописуемый восторг, я тоже был очень доволен, но вырвавшееся у меня тут восклицание совсем не указывало во мне поэта. Завидев, наконец, Рим и купол собора Св. Петра, я воскликнул: «Слава Богу! Скоро можно будет добиться чего-нибудь поесть!»

РИМ!

Я прибыл в Рим 18 октября днем, и скоро этот город из городов стал для меня второй родиной. Я приехал туда как раз в день вторичного погребения Рафаэля. В академии S. Luca много лет хранился череп, который выдавали за череп Рафаэля. В последние годы, однако, возникли сомнения в его подлинности, и папа Григорий XVI разрешил разрыть могилу Рафаэля в Пантеоне, или, по нынешнему наименованию, в церкви Santa Maria della Rotunda. Это было сделано, и останки Рафаэля были найдены в целости. Теперь предстояло снова предать их земле.

Земляки наши, проживавшие в Риме, достали нам билеты на церемонию. На обтянутом черным сукном возвышении стоял гроб из красного дерева, обитый парчой. Священники пропели *Miserere*, гроб открыли, вложили в него прочитанные при церемонии документы, опять закрыли и понесли его по всей церкви под чудное пение невидимого хора певчих. В церемонии участвовали все выдающиеся представители искусства и знати. Тут, между прочими, увидел я и Торвальдсена, тоже шедшего в процессии с зажженной восковой свечой в руках. Торжественное впечатление было, к сожалению, нарушено весьма прозаическим эпизодом: отверстие могилы было узко и, чтобы втиснуть туда гроб, пришлось поставить его почти стоймя, — уложенные в порядке кости опять смешались в кучу. Слышно было, как они перекатились в гробу.

Итак, я находился в Риме и чувствовал себя здесь прекрасно. Все мои земляки встретили меня очень сердечно, особенно медальер Христенсен. Мы не были до сих пор знакомы лично, но он знал и любил меня по моим лирическим стихотворениям. Он свел меня к Торвальдсену, жившему на улице Феличе. Мы застали знаменитого нашего земляка за лепкой барельефа «Рафаэль». Торвальдсен изобразил художника сидящим среди развалин и рисующим с натуры. Доску перед ним держит любовь, протягивающая ему другой рукой цветок мака — символ его ранней смерти. *Гений* искусства с факелом в руках смотрит на своего любимца, а *слава* венчает его голову лаврами. Торвальдсен с воодушевлением объяснил нам идею своего барельефа, рассказывал о вчерашней церемонии, о Рафаэле, о Камуччини и Вернэ. Затем он показал мне большую коллекцию картин современных художников, которые он приобрел и собирался завещать по своей смерти родине. Простота, прямота и сердечность великого скульптора произвели на меня такое умиляющее впечатление, что я вышел от него со слезами на глазах, хотя мне и предстояло с этих пор, по его приглашению, видаться с ним ежедневно.

В Риме еще стояла прекрасная, чисто летняя погода, и пришлось воспользоваться ей для прогулок по окрестностям, хотя я еще не успел ознакомиться и с чудесами самого вечного города. Были предприняты экскурсии в горы. Кюхлер, Блунк, Фернлэй и Бётхер были здесь, как дома, и их основательное знакомство с итальянским народом, нравами и обычаями очень пригодились мне. Благодаря им я скоро освоился с Римом, почти акклиматизировался здесь и запасся впечатлениями, послужившими мне впоследствии для описания итальянской природы и народной жизни в «*Импровизаторе*». В то время, впрочем, я еще и не помышлял об этом романе и вообще не имел в виду воспользоваться своими впечатлениями для описаний, а просто наслаждался ими.

Скандинавы и немцы образовали в Риме свой кружок, французы — свой, и каждый кружок занимал в остерии «*Lerge*» свой стол. Шведы,

норвежцы, датчане и немцы проводили вечера превесело. Среди членов нашего кружка находились и такие маститые знаменитости, как престарелые живописцы Рейнгард и Кох и наш Торвальдсен. Рейнгард так сжился с Италией, что навсегда променял на нее свою Баварию. Старый, но все еще юный душой, со сверкающим взглядом и белыми, как снег, волосам, он смеялся звонким раскатистым смехом, как юноша. В одеянии его выделялись своей оригинальностью бархатная куртка и красный шерстяной колпак на голове. Торвальдсен носил старый сюртук с орденом Байоко в петлице. Орден этот получал каждый вновь поступавший в члены кружка. Он выставлял предварительно всей компании угощение — это называлось перекидывать «Понте Молле», — а затем ему вручался и орден Байоко, то есть медная итальянская монетка. Церемония сопровождалась забавными переодеваниями и сценами. Председатель или «генерал» общества — в ту пору один молодой немецкий художник — облакался во что-то похожее на военный мундир, прикалывал к груди золотую бумажную звезду и выступал в сопровождении палача. Этот нес топор и пук стрел, через плечо у него была перекинута тигровая шкура. За ними шел миннезингер с гитарой и часто пел при этом какую-нибудь импровизированную песню. Все усаживались, и затем раздавался стук в дверь, словно в «Дон-Жуане», в сцене появления командора. Стук возвещал о прибытии ожидаемого гостя, и вот начинался дуэт между генералом и новичком, которого поддерживал хор, тоже стоящий за дверями. Наконец незнакомцу разрешалось войти. Он был одет в блузу, в парик с длинными локонами, к пальцам у него были приклеены длинные бумажные когти, а лицо размаLEVано самым фантастическим образом. Члены общества окружали его, обрезали длинные волосы и когти, снимали с него блузу, чистили и охорашивали его, а затем читали ему 10 правил общества. Одно из них запрещало «желать вина соседа», другое приказывало «любить генерала и служить ему одному» и т. п. Над головой генерала развевалось в это время белое знамя с нарисованной на нем бутылкой и надписью «Vive la forgliette» (Да здравствует бутылка!). После того все участвующие двигались торжественной процессией вокруг столов, распевая обычную песню о путнике, а затем уж начинали раздаваться песни на всевозможных языках — настоящий вокальный винегрет. Иногда тот или другой из членов кружка выкидывал какую-нибудь забавную штуку, например, зазывал с улицы первого встречного крестьянина, ехавшего на осле, и тот въезжал прямо в комнату, производя переполох. Или же подговаривали дежурных жандармов нагрянуть в остерию во время пирушки якобы для ареста кого-нибудь из участников, что тоже вело к комическим сценам и положениям. Суматоха оканчивалась обыкновенно тем, что угощали и жандармов.

Веселее же всего праздновался здесь вечер сочельника. В этот святой вечер не разрешалось веселиться в самом городе, и мы нашли себе приют

в саду загородной виллы Боргезе, в домике, стоявшем возле самого амфитеатра. Художник Иенсен, медальер Христенсен и я забрались туда с раннего утра и, разгуливая по саду по случаю жары без сюртуков в одних жилетах, плели венки и гирлянды. Елку нам заменяло большое апельсинное дерево, отягченное плодами. Главным сюрпризом был серебряный кубок с надписью «Сочельник 1833 года». Счастливым, выигравшим его, оказался я. Все сюрпризы были пожертвованы членами кружка, каждому вменялось в обязанность выбрать что-нибудь забавное само по себе или благодаря упаковке или девизу. Я привез с собою из Парижа пару кричащих, ярко-желтых воротничков, годных только для карнавала. Их-то я и принес на елку, но мой сюрприз чуть было не подал повод к крупным неприятностям. Я был твердо уверен, что все считают Торвальдсена самым главным, почетнейшим членом кружка, и решил поэтому увенчать как царя пиршества именно его. Я еще не знал тогда о том, что теперь известно всем из жизнеописания Торвальдсена, составленного Тилэ, а именно о прежнем соперничестве между Торвальдсеном и Бюстрёмом. Последний признавал превосходство Торвальдсена в лепке барельефов, но не в лепке групп, и Торвальдсен раз сгоряча воскликнул: «Да свяжи мне руки — я зубами обработаю мрамор лучше, чем ты резцом!»

На нашей елке присутствовали и Торвальдсен, и Бюстрём. Для Торвальдсена я, как сказано, сплел венок и написал стихи, но рядом с венком положил желтые воротнички, которые должны были достаться кому-нибудь по жребию. Вышло так, что они достались Бюстрёму, надпись же на них гласила: «Желтые воротнички зависти оставь себе, а венок, что лежит рядом, преподнеси Торвальдсену!» В обществе произошло замешательство от такой бестактной или умышленно злой выходки. Скоро, однако, выяснилось, что все вышло совершенно случайно, а когда узнали, что сюрприз был приготовлен мною, кого уж никто не подозревал в ехидстве, то все успокоились, и веселье закипело по-прежнему.

Я написал для этого праздника песню — первую песню в скандинавском духе. В Риме наш праздник был, конечно, общим скандинавским праздником, хотя тогда еще не было и помину о нынешних «скандинавских симпатиях». Я так и озаглавил свою песню: «*Скандинавская рождественская песнь, Рим 1833 г.*»

Песню пропели, и наступила пауза, каждому хотелось первый тост провозгласить за своего короля, наконец оба тоста были соединены в один. Упомянув в своей песне имена обоих скандинавских королей — датского и шведско-норвежского, я полагал, что поступаю вполне естественно и тактично, совсем и не думая ни о какой политике, но меня еще тут же за столом упрекнули за «многоподданство», а впоследствии до меня дошли слухи, что и в Копенгагене некоторые высокопоставленные

лица очень удивлялись — как это я, разъезжая на датские деньги, воспеваю шведского короля! А мне казалось просто неприличным не упомянуть его имени в своей песне рядом с именем датского короля, раз самая песнь пелась в кружке родственников между собою датчан, шведов и норвежцев. Все мы были ведь братьями, и каждый гость на нашей пирушке являлся в то же время и хозяином. Но не все, видно, разделяли мое мнение; это случилось лишь впоследствии, тогда же я поплатился за то, что выступил со своими скандинавскими идеями слишком рано, хоть и вполне вовремя и уместно.

Возвращаясь с пирушки с Торвальдсеном и еще несколькими членами нашего кружка и подходя около полуночи к городским воротам, в которые пришлось стучать, я невольно вспомнил сцену из комедии Гольберга «Улисс с Итаки», где Килиан стучится в ворота Трои. «Chi é?» — спросили за воротами. «Amici!» — ответили мы, и в воротах открылась узенькая калитка, через которую едва можно было пролезть. Ночь была чудная, по-нашему, по-северному — чисто летняя. «Это не то, что у нас на родине! — сказал Торвальдсен. — Просто жарко в плаще!»

Письма с родины приходили ко мне редко, да и те, что я получал, почти все носили тот же отпечаток поучительности, мелочности и поверхностности. Они, конечно, только расстраивали меня, и иногда так сильно, что те из земляков, с которым я сошелся поближе, сейчас же говорили мне: «Видно, опять письмо из Дании получили? Я бы не стал и читать таких писем, порвал бы всякие связи с такими друзьями: одно мучение с ними!» Я, конечно, все еще нуждался в воспитании, вот меня и воспитывали, но грубо, безжалостно, не думая о том, какое тяжелое впечатление оставляют в сердце мертвые буквы таких писем.

Об «Агнете» не было еще ни слуха, ни духа. Первое известие о ней получил я наконец от одного из «добрых друзей» моих. Его взгляд на мое произведение рисует также общий взгляд на того Андерсена, каким я был тогда.

«Ты знаешь, что твои, я готов сказать — неестественные — чувствительность и ребячество составляют резкий контраст со складом моего характера... Признаюсь, я ожидал от тебя совсем другого, других идей, других картин и уж меньше всего изображения такого лица, как Геннинг. Одним словом, Агнета, по-моему, чересчур похожа на твои прежние стихи (NB — на лучшие), а я было надеялся, что в этом новом произведении уже скажется влияние путешествия. Я говорил об «Агнете» с Э. Коллином, и он одного мнения со мною. Он твой лучший друг и до некоторой степени ментор, и я знаю, что он тоже пишет тебе по этому же поводу, так я, со своей стороны, избавлю тебя от своих советов и нотаций... Дорогой друг, гони от себя все денежные заботы и наслаждайся путешествием вовсю! Побольше мужественности и силы, поменьше ребячества, выпренности и сентимен-

тальности, побольше основательных познаний, и — я поздравляю друзей Андерсена с его возвращением на родину, а последнюю с поэтом!»

Письмо это было от человека, которого я любил, от одного из моих истинных друзей, моложе меня годами, но дельного и поставленного в более счастливые условия. Он, принимая во внимание мою «ребяческую чувствительность», высказывал мне свое мнение еще мягче, деликатнее всех других. Странно, однако, что он и другие разумные люди могли ожидать особенных результатов от путешествия, состоявшего, как уже упомянуто раньше, лишь в том, что я доплыл на пароходе до Киля, а потом добрался в дилижансе до Парижа и до Швейцарии, откуда уже и послал «Агнету». Результаты моего заграничного путешествия могли сказаться лишь гораздо позже, и тогда я написал «Импровизатора».

Еще сильнее потрясло меня письмо от другого моего друга, на которого я более всех мог положиться¹. Он писал:

«Мало надежды, чтобы Вы имели успех с Вашей «Агнетой». Вы не знаете, как я и все другие Ваши друзья и доброжелатели, какие толки ходят про Вас в городе почти всюду. «Опять настрочил что-то! Он давно надоел мне! Все одно и то же пережевывает!» — вот что говорят о Вас. А в чем причина такого отношения к Вам? Вы слишком много пишете! Одно Ваше произведение еще печатается, а у Вас уже почти готово в рукописи другое. Такою ужасающею прискорбною плодовитостью Вы обесцениваете свои труды. В конце концов ни один издатель не захочет издавать их и даром. Ну, разве не собираетесь Вы теперь, судя по Вашему письму, опять описать свое путешествие? (Дело шло о начатом мною в Риме «Импровизаторе».) Да кто же, скажите мне, купит Ваш многотомный труд, трактующий о Вашем путешествии, путешествии, которое сделали до Вас тысячи людей? Неужели тысячи глаз могли пропустить столько нового и интересного, что рассказов об этом хватит Вам на два тома? В сущности это просто эгоистично с Вашей стороны — приписывать себе самому такой интерес в глазах публики. Публика, по крайней мере рецензенты, никогда не подавала Вам повода вообразить это. Насколько я знаю Вас, Андерсен, Вы преспокойно готовы ответить мне: «Да, вот когда люди познакомятся с моей «Агнетой», они переменят обо мне мнение, увидят, как переродило меня путешествие» и т. п. Таково приблизительно и есть содержание Вашего последнего письма. К сожалению, Вы ошибаетесь, Андерсен, прискорбно ошибаетесь. «Агнета» так напоминает прежнего Андерсена, что я просто готов был плакать от досады, встречая в ней все старых знакомых, которых бы мне не хотелось встречать больше».

¹ Эдварда Коллина. — Примеч. перев.

Затем он сообщал мне, что мне нечего рассчитывать на дальнейшую поддержку со стороны казны, а также и надеяться получить так называемую «Лассенскую» стипендию. Кончалось письмо так:

«А теперь довольно с Вас неприятностей. В следующем письме постараюсь выражаться ласковее и спокойнее, — здесь я немного расхожился. Не стану поэтому распространяться о рецензии на сборник Ваших стихотворений, помещенный в «Литературном ежемесячнике». Вас там третируют уж чересчур неприлично. Автор рецензии, вероятно, Мольбек, по обыкновению злой, раздражительный и — по-своему остроумный. Впрочем, в сущности-то Вы ничего не потеряете от подобной рецензии!»

Понятно, как больно было мне читать такое письмо. Теперь, спустя столько времени, я смотрю на все это спокойнее и понимаю, что приведенное письмо было продиктовано искренним участием ко мне. Да, и лучший мой друг, искренно любивший меня, поддался тогда общему настроению, заразился общим пренебрежением ко мне. Письмо до того меня расстроило, что я почти отказался и от Бога, и от людей, пришел в полное отчаяние и уже подумывал о смерти, чего не следует делать христианину. Но неужели же — спросят меня, быть может, мои читатели — не нашлось никого, кто бы отнесся к «Агнете», к моему возлюбленному детищу, благосклоннее, дружелюбнее? Это произведение ведь вылилось у меня прямо из души, а вовсе не было «настроено одним духом и как попало»! Да, так отнеслась к нему г-жа Лэссё. Я приведу отрывок из ее письма:

«Я понимаю, что «Агнета» не могла иметь особенного успеха, но то, что ее разнесли так, как Вам пишут о том, я приписываю одному недоброжелательству к Вам. В поэме много прекрасных мест, но я вообще нахожу ошибкой с Вашей стороны, что Вы выбрали именно этот сюжет. Кажется, я была этого мнения даже прежде, нежели Вы начали свой труд. Агнета для нас, датчан, является бабочкой, — на нее можно любоваться, но прикасаться к ней отнюдь нельзя. У Вас она тоже вышла воздушной, но Вы окружили ее слишком тяжелой обстановкой и включили ее в слишком тесные рамки, — ей негде порхать!»

И вот в довершение всего пришло известие о кончине моей старухи-матери. Получив от Коллина эту весть, я невольно воскликнул: «Слава, Богу! Окончились ее мытарства и нужда, которых я не в силах был облегчить!» Тем не менее я горько плакал при мысли, что теперь у меня уже нет никого в свете, кто бы любил меня несмотря ни на что, побуждаемый к тому самою природою. Выплакавшись, я опять осознал, что для нее-то смерть явилась все-таки благом: никогда бы не удалось мне обеспечить ей на старости лет полное довольство, так лучше, что она умерла с светлой верой в мое будущее, в то, что «из меня уже вышло нечто!» Вот что писала мне тогда же г-жа Лэссё:

«Тяжело Вам, верно, было получить на чужбине скорбную весть о смерти Вашей матушки! Но ведь Господь отозвал ее в лучшую обитель, где находят успокоение все честные, добрые души. Там она, конечно, займет, если не высшее (это нехорошее земное выражение), то хорошее, надежное место, какое она заслужила своею любовью. Мир ее праху! Неправда, однако, что теперь у Вас «нет никого, кто бы любил Вас». Я по крайней мере люблю Вас, как сына, придется уж Вам примириться с этим!»

Как благотворно действовали на меня эти ласковые, ободряющие строки, как подняли мой упавший дух! Земляки мои, проживавшие в Риме, тоже выказывали мне в это время неподдельное участие, но главным образом по поводу смерти моей матери — сыновнее горе было им понятнее отчаяния писателя. В числе последних встреченных мною в Риме земляков был и Генрик Герц, мой строгий судья в *«Письмах с того света»*. Коллин написал мне о приезде Герца в Рим и прибавил, что его очень порадует, если мы встретимся дружелюбно. Я сидел в Cafe Grесо, как вдруг вошел Герц и приветливо протянул мне руку. Увидев мой убитый вид и узнав причины, он стал утешать и успокаивать меня, говорил о моих трудах и о своих взглядах на них, коснулся *«Писем с того света»* и — вот диво! — просил меня не принимать к сердцу эту несправедливую критику. Он сказал также, что я слишком увлекся романтизмом, и это повредило мне, зато описания мои, взятые с натуры и дышащие истинным юмором, он находил прекрасными и они нравились ему больше всего. По его мнению, я должен был утешаться мыслью, что и всем почти истинным поэтам пришлось пережить подобный же кризис, и надеждой, что он и для меня послужит огненным крещением, благодаря которому я дойду до познания истинного в царстве искусства.

Несколько дней спустя, Герц вместе с Торвальдсеном был у меня и слушал *«Агнету»*. По окончании чтения, он объявил, что еще не может дать себе полного отчета о всем произведении, но находит, что лирические места мне очень удались. Упреки же копенгагенских критиков в слабости формы он объяснил тем, что песня вообще потеряла от переработки ее в драматическую поэму. Торвальдсен немного говорил, но умное лицо его во все время чтения выражало большое внимание, а встречаясь взглядом с моим, он ласково и весело кивал мне головой. Затем он пожал мне руку и похвалил музыкальность и звучность отдельных стихов и всей поэмы и прибавил: «К тому же от нее так и веет Данией, нашими родными лесами и озерами!»

Мне уж, верно, суждено было сблизиться с Торвальдсеном именно в Риме, хотя я и встречал его раньше в Копенгагене. В тот год, когда я пришел в Копенгаген бедным мальчиком, Торвальдсен как раз находился в городе. Это был его первый приезд на родину

из-за границы, куда он уехал еще бедным, неизвестным художником. Однажды я встретил его на улице; я уже знал его, как известного художника, и почтительно поклонился ему. Он прошел было мимо, потом вдруг вернулся и спросил: «Где мы с вами виделись прежде? Мы, кажется, знакомы!» Но я ответил: «Нет, мы совсем не знакомы!» Теперь в Риме я рассказал ему об этой встрече. Торвальдсен улыбнулся, пожал мне руку и сказал: «Да, мне что-то как будто сказало тогда, что мы со временем станем друзьями!» Всего более понравились мне в его отзыве об «Агнете» слова, что от поэмы моей «веет нашими родными лесами и озерами». Застав меня однажды особенно расстроенным и огорченным, он обнял меня, поцеловал и стал уговаривать не падать духом. Я рассказал ему о пасквиле, полученном мною в Париже и об отзывах о моей поэме, сообщаемых мне в письмах с родины. Он стиснул зубы и в порыве раздражения сказал: «Да, да, знаю я наших земляков! И со мной было бы то же, если бы я остался там! Меня, пожалуй, не считали бы достойным лепить даже модели! Слава Богу, что я не нуждаюсь в своих земляках! Не то они замучили бы меня!» И он опять принялся увещевать меня собрать все свое мужество, уверял, что все к лучшему, и рассказал мне о тяжелых испытаниях и обидах, которые пришлось в юные годы вынести на родине ему.

Скоро начался карнавал; уже три года не праздновался он с такою пышностью, оживлением и свободой. На этот раз опять был дозволен блестящий праздник «мокколи», который я и описал в «Импровизаторе». Сам я, однако, в общем веселье участия не принимал: мое хорошее расположение духа покинуло меня, юношеская беззаботная веселость была уничтожена, смыта тяжелыми ударами волн, несшихся на меня с родины.

Карнавал кончился, и я уехал вместе с Герцем из Рима в Неаполь. Его общество было мне очень полезно, и я мог теперь надеяться, что найду в нем в будущем более снисходительного судью. Прибыли мы в Неаполь как раз во время извержения Везувия. Словно огненные корни ползли с вершины горы потоки лавы, а столб дыма как будто образовывал мощную пинию. Я в компании с Герцем и еще с двумя земляками предпринял восхождение на Везувий. Дорога шла между виноградниками, кое-где попадались одинокие строения, пышная растительность скоро перешла в сухую тростникообразную траву. Вечер был дивно прекрасен, и перед нами открылась чудная картина:

Под защитой гор лиловых
Спит Неаполь. На волнах
Реет Искья в багровых
Угасающих лучах...

Когда мы спустились вниз, все дома и лавки в Портичи были уже закрыты, на улицах не было видно ни души, ни одного экипажа, и пришлось нам всей компанией направиться домой, в Неаполь, пешочком. Герц, зашибший ногу при подъеме, не мог идти быстро, и я остался с ним, а другие скоро исчезли из вида. Ярко выступали при ясном свете луны белые домики с плоскими кровлями, кругом было полное безлюдье, и Герц сказал, что ему наша прогулка представляется странствием по вымершему городу из *«Тысячи и одной ночи»*. Мы шли, беседуя о поэзии и о еде. Да, мы страсть как проголодались, а все остерии уже позакрылись, и нам предстояло терпеть, пока не доберемся до Неаполя. Волны моря сверкали в лучах месяца голубым огнем, Везувий выбрасывал из себя огненный столб, а лава отражалась в зеркальной глади моря темно-красною полосой. Много раз останавливались мы и восхищались этою картиною, но затем разговор опять переходил на хороший ужин, — его только и не хватало, чтобы блестяще завершить наслаждение чудесами природы.

Несколько дней спустя, мы посетили Помпею, Геркуланум и греческие храмы в Пэстуме. Здесь я увидел слепую нищую — почти девочку еще, одетую в лохмотья, но дивную красавицу. Это было живое изображение самой богини красоты, в черных волосах ее красовалось несколько голубых фиалок, служивших ей единственным убором. Она произвела на меня такое сильное впечатление, что я даже не посмел подать ей милостыню, а только стоял и смотрел на нее с каким-то благоговением, как на самую богиню того храма, у входа в который она сидела. Воспоминание о ней и создало Лару в *«Импровизаторе»*.

Погода стояла, как у нас летом, а между тем был только март. Море так и манило к себе, и наша компания отправилась из Салерно в лодке. Мы решились проплыть в Амальфи и побывать на Капри, где незадолго перед тем был открыт чудный Лазурный грот. Я один из первых описал его; с тех пор прошли года, я не раз еще посетил Италию и Капри, но буря и высокая вода постоянно мешали мне опять посетить эту волшебную пещеру. Впрочем, кто раз ее видел, не забудет никогда.

В Неаполе пела Малибран, я слышал ее в *«Норме»*, *«Севильском цирюльнике»* и в *«La prova»*. В Италии же суждено мне было познакомиться и с чудесами мира звуков. Я плакал и смеялся, чувствовал себя вознесенным, увлеченным этими звуками. Среди общего ликования и здесь, однако, раздался свист, один отдельный свист. Слышал я тогда же и Лаблаша, создавшего роль Цампы в опере того же названия, но неизгладимое впечатление произвел он на меня в партии Фигаро — это была сама жизнь, само веселье!

20 марта мы вернулись назад в Рим, чтобы присутствовать на пасхальных торжествах. В самую ночь на Светлое Воскресенье, во время иллюминации собора Св. Петра, толпа оттерла меня от моих товарищей



и увлекла на мост Св. Ангела. Стиснутый толпой я вдруг почувствовал, что силы оставляют меня, по всему телу пробежал судорожный трепет, ноги подкашивались, в глазах начинало темнеть... Я смутно сознавал, что, если я упаду, меня растопчут, и напярк последние силы, чтобы выбраться из толпы и очутиться за мостом; это были ужасные минуты, и они врезались в мою память сильнее блестящей картины иллюминации. Но вот мне удалось выбраться за мост и тут я вздохнул свободнее. К счастью, неподалеку находилось ателье Блунка, оттуда я уже и любовался величественной иллюминацией, превосходящей все, что я когда-либо видел в этом роде. Огненные солнца, украшающие Париж во время июльских празднеств, жалки в сравнении с огненными римскими каскадами. Скоро в оsterии состоялась прощальная пирушка, товарищи выпили за мое здоровье и пропели мне напутственную песнь. Торвальдсен крепко обнял меня и сказал, что мы еще увидимся или в Дании, или опять здесь, в Риме.

И вот я пустился в обратный путь. Весна провожала меня, возле Флоренции меня встретили лавровые деревья в цвету, да, весна царила во всей природе вокруг, но я не смел отдаться ее очарованию всею душою. Путь мой лежал к северу, через горы в Болонью. Здесь я опять услышал Малибран, увидел Св. Цецилию Рафаэля и затем снова пустился в путь, через Феррару в Венецию — этот отцветший лотос морской равнины. После Генуи с ее роскошными палаццо, Рима с его памятниками древности и смеющегося, залитого солнцем Неаполя, Венеция кажется падчерицей Италии. Она, впрочем, настолько оригинальна и не похожа на все остальные итальянские города, что ее стоит посетить, но прежде других, а не на прощание с Италией, когда и без того грустно.

В конце мая я приехал в Мюнхен. По мере пребывания моего в этом городе он становился мне все роднее и роднее, но время было подумать и о возвращении на настоящую родину, в Копенгаген. Я, впрочем, старался посредством величайшей экономии продлить свое пребывание за границей елико возможно. Я испытывал настоящий ужас при мысли, что вот скоро я уж прочно засяду дома, и на меня опять обрушатся тяжелые волны. Я знал из писем с родины, что я, как поэт, давно уже отпет и похоронен там. Мольбек уже оповестил об этом в *«Литературном ежемесячнике»*. Во время моего отсутствия, на родине вышло собрание моих стихотворений, тех самых, которые в отдельности имели такой большой успех. Так вот это-то новое собрание в связи с вышедшими раньше *«Двенадцатью месяцами года»* и подало Мольбеку повод окончательно похоронить меня. Один из друзей, встретивших меня на пути, услужил мне номером *«Ежемесячника»* с упомянутой статьей. Как же, мне ведь непременно надо было прочесть ее самому!

В статье давался обзор «новейшей датской поэзии». Я был поименован в ряду прочих современных молодых поэтов, но затем вырван с корнем, выброшен, как сорная трава, выросшая среди полезных злаков. Относительно «Двенадцати месяцев года» критик говорил, что он не постигает, какая польза искусству и поэзии от собрания таких бесформенных, бессмысленных и незрелых мараний? «Это винегрет из рифм, который скоро набивает оскомину!» — говорил он дальше и прибавлял, что нет никакого терпения из года в год возиться с той же трухой, сетовал на то, что меня избаловали похвалы друзей, и советовал мне побольше учиться и поменьше марать бумагу. А ведь тот же самый Мольбек всего каких-нибудь два-три года тому назад писал о моих стихотворениях, что «они свидетельствуют об истинном поэтическом таланте, дышат юношескою свежестью и неподдельным юмором, который тем больше указывает на незаурядность таланта автора, что вообще встречается у очень молодых поэтов весьма редко!»

Критик забыл высказанное им прежде мнение, все окружающие меня — тоже, и меня втоптали в грязь, исключили из числа датских поэтов. Каждое слово критики резало меня по сердцу, как ржавым, тупым ножом. Можно представить себе поэтому, с каким страхом я ожидал своего возвращения на родину. Я всеми силами старался отдалить эту минуту и развлечься путевыми впечатлениями, чтобы отвлечь мысли от будущего на родине, куда я должен был прибыть через какой-нибудь месяц. Из Мюнхена я хотел проехать через Зальцбург в Вену, а оттуда уже домой.

В Зальцбурге против самого отеля, где я остановился, стоял старинный дом с лепными украшениями и надписями, принадлежавший некогда доктору Теофрасту Бомбасту Парацельсу. Старуха-служанка в отеле рассказала мне, что она родилась в том доме и кое-что знала о Парацельсе. Он умел излечивать болезнь, которой страдают только богачи — подагру. Другие врачи озлобились на него за это и дали ему яду. Он, однако, заметил беду, и не ему было учиться, как выгнать из себя яд. Он затворился в своей комнате, приказав предварительно своему слуге не отворять дверей, пока его не позовут. Но слуга был страсть какой любопытный и отворил двери комнаты раньше, а господин-то его успел в это время выгнать яд из желудка только до горла, и тут же грохнулся мертвым. Вот какую народную легенду довелось мне услышать. Мне Парацельс всегда казался высокоромантичной личностью, годной в герои датской поэмы, он ведь побывал, между прочим, и в Дании. В хрониках говорится, что он был здесь в царствование Христиана II и дал матушке Сигбритте чертенка в бутылке, который с треском вылетел вон, когда бутылка разбилась.

Бедный Парацельс! Его называют шарлатаном, а он все-таки был гением, опередившим в сфере своего искусства свое время. Но всякий,

кто опередит колесницу времени, рискует, если не отделается здоровым ударом лошадиных копыт, быть затоптанным запряженными в нее лошадьми.

В Вене я чаще всего виделся с Кастелли. Вот тип истого венца со всеми его прекрасными отличительными свойствами: добродушием, юмором и преданностью и любовью к своему императору. «Наш добрый Франц!» — называл он императора и рассказывал, что подал ему когда-то просьбу в стихах о том, чтобы он, «отвечая на поклоны своих венцев, не снимал в холодную погоду с головы шляпы!» Кастелли показывал мне свои редкости и коллекцию табакерок. В числе их находилась табакерка в форме улитки, принадлежавшая Вольтеру. «Преклонитесь и поцелуйте!» — сказал Кастелли, подавая мне ее.

Пробыв около месяца в Вене, я направился домой через Прагу, Теплиц и Дрезден. И эта часть пути была полна так называемой «дорожной поэзии», которая, однако, ощущается сильнее всего на расстоянии, то есть уже при воспоминаниях о благополучно оконченном путешествии.

Я сошел с корабля на датский берег с каким-то странным, смешанным чувством: на глазах у меня были слезы, но не каждая из них была слезой радости. Господь Бог, однако, не покинул меня.

По Германии, собственно, я проехал как-то безучастно; все мои мысли принадлежали Италии, как потерянному для меня раю, которого мне уже не видать больше. Мысли об ожидающей меня жизни на родине наполняли меня ужасом. Меня несло в Копенгаген как будто против воли какое-то неотвратимое течение. Я всею душою принадлежал Италии, был полон воспоминаниями об итальянской природе и народной жизни, тосковал по Италии, как по настоящей родине. И вот в глубине моей души мгновенно распустился новый цветок поэзии. Он все рос и рос, и мне пришлось пересадить его на бумагу, хотя я и не сомневался в том, что он принесет мне на родине одно горе, если нужда заставит меня показать его свету. Первые главы этого нового произведения были написаны еще в Риме, в Мюнхене к ним прибавилось еще несколько. В одном письме, полученном мною в Риме, мне сообщали, что Гейберг смотрит на меня, как на своего рода импровизатора. Слово это заронило в мое воображение искру, и вот у меня уже готовы были и главное лицо, и название нового романа.

Первой пьесой, виденной мной в раннем детстве, была, как упомянуто раньше, опера *«Дева Дуная»*, данная в оденсейском театре немецкой труппой. Исполнительница главной роли имела шумный успех, ее вызывали без конца, и я смотрел на нее, как на счастливейшее существо в мире. Много лет спустя, когда я уже студентом посетил Оденсе, я зашел в городской госпиталь. Там в одной комнате, отведенной для бедных старух, где рядами стояли кровати, а у изголовий

их маленькие шкафчики, столики да стулья, составлявшие всю меблировку, я увидел над одной кроватью женский портрет, писанный масляными красками и вставленный в золотую раму. На портрете была изображена женщина в роли Эмилии Галотти, обрывающей лепестки розы. Портрет резко выделялся среди остальной жалкой обстановки, и я спросил: «Кто это?» Одна из старух ответила: «А это портрет нашей барыни-немки!» И передо мной очутилась худенькая, маленькая, изящная старушка с морщинистым лицом, одетая в шелковое, когда-то черное платье. Это-то и была блестящая певица, любимица публики, которую я слышал в «Деве Дуная». Встреча эта произвела на меня неизгладимое впечатление, и я часто вспоминал о ней. В Неаполе я впервые услышал Малибран, ее голос и игра были верхом совершенства, ничего подобного я не слыхивал, и все же, слушая ее, я не мог отделаться от воспоминания о бедной состарившейся певице в госпитале. Обе певицы и слились у меня в одно лицо Аннунциаты. Фоном же для разыгрывающегося в романе действия послужила Италия.

Мое путешествие было окончено, я вернулся в Данию в августе 1834 года и скоро, гостя в Сорё у Ингемана, который отвел мне в мезонине маленькую каморку с окнами в сад и с видом на озеро и лес, кончил первую часть «Импровизатора». Вторую я написал уже в Копенгагене.

Даже лучшие мои друзья готовы были махнуть на меня, как на поэта, рукою. «Мы ошиблись в нем!» — вот как стали теперь говорить обо мне. И мне едва удалось найти издателя для новой книги, наконец уж сжалился надо мной мой прежний издатель Рейцель и согласился издать «Импровизатора» с тем, однако, чтобы я сам обеспечил ему сбыт известного числа экземпляров, упросив своих друзей подписаться на издание. В объявлении о книге говорилось, что предлагаемое мной читателям произведение не есть прямое описание моего путешествия, но, так сказать, духовный результат последнего и т. п. Гонорар я получил, разумеется, самый ничтожный — не было ведь никаких видов на успех книги. Посвящение гласило: «Конференц-советнику Коллину и его дорогой супруге, заменившим мне родителей, и их детям, заменившим мне братьев и сестер, приношу я лучшее, что имею!»

Книга вышла, была распродана и вышла вторым изданием. Критика безмолвствовала, газеты тоже, но в обществе я слышал, что произведение мое заинтересовало и порадовало многих. Наконец, Карл Баггер, бывший тогда редактором «Воскресного листка», написал рецензию, начинавшуюся так:

«Андерсен пишет далеко не так хорошо, как прежде: он скоро исписался, я уже давно это предвидел!» — вот как стали отзываться о писателе в различных кружках столицы, в тех самых, может быть, в которых его так хвалили и почти боготворили на первых порах его литературной дея-

тельности. Он, однако, не исписался, напротив, теперь сн достиг небывалой высоты — это самым блестящим образом доказывает его новый роман *«Импровизатор»*.

Читатели, может быть, засмеются, если я скажу, что, читая эти строки, я плакал от радости и благодарил и Бога, и людей.

VII

Многие из моих бывших противников стали теперь относиться ко мне сочувственно. Я приобрел между ними даже одного друга, смею думать — на всю жизнь, поэта Гауха, одного из благороднейших людей, каких только знаю. Он, проведя несколько лет в Италии, вернулся в Копенгаген как раз в эпоху увлечения гейберговскими водевилями. В то же время вышла и моя *«Прогулка на Амагер»*. Гаух выступил со статьей против Гейберга и задел по пути и меня. Никто — как он объяснил мне впоследствии — не обратил его внимания на мои лучшие лирические вещи, зато все описали ему меня, как избалованного, своевольного счастливчика, и он взглянул на *«Прогулку»*, как на пустую и бесцельную шутку. Теперь он прочел *«Импровизатора»* и нашел в нем поэзию и глубину, каких не ожидал от меня. Он почувствовал, что во мне шевелятся лучшие, более высокие чувства, нежели какие он подозревал во мне, и, следуя естественному влечению своей натуры, тотчас же написал мне сердечное письмо. В нем он признавался, что был несправедлив ко мне, и протягивал мне руку в знак примирения. И вот мы сделались друзьями. Гаух стал горячо действовать в мою пользу и с искренним участием следил за каждым моим шагом вперед.

Такого же удовлетворения дождался я вскоре и от известного нашего профессора философии Сибберна, мнение которого ценилось тогда всеми так высоко, что его похвалы *«Амуру и Психее»* Паллудана-Мюллера приводились как несомненное доказательство высоких достоинств этой поэмы. Мне всегда говорили, что он строго осуждает мою литературную деятельность и даже не считает меня поэтом. Так можно представить себе, как я обрадовался, прочитав маленькую брошюрку Сибберна, написанную им в защиту Ингемана. Сибберн говорил в ней, между прочим, и о своем расположении ко мне и высказывал желание, чтобы и другой кто-нибудь поддержал меня дружеским отзывом. Кроме того, я получил от него письмо, единственный появившийся тогда (если не считать коротенькой рецензии Карла Баггера) похвальный отзыв об *«Импровизаторе»*. Читая его письмо, так и слышишь его самого.

«Я прочел Вашего *«Импровизатора»* с истинным удовольствием и радостью. Удовольствие было вызвано самим романом, а радость тем,

что написали его именно Вы. Еще одна сбывшаяся надежда, еще один вклад в литературу! Сравнивая его с известными мне прежними Вашими трудами, я нахожу между первыми и последним такую же разницу, как между Аладином — уличным мальчишкой и Аладином, вышедшим из купальни возродившимся и возмужавшим. Я прочел «Импровизатора» с начала до конца все с тем же восклицанием: «Хорошо! Очень хорошо!» А дочитав его, я уже не хотел после того читать что-нибудь другое. А это ведь бывает с нами лишь тогда, когда мы чувствуем полное удовлетворение!»

Итак, «Импровизатор» поднял меня из праха, вновь собрал вокруг меня моих друзей и даже увеличил число их. Впервые почувствовал я, что, наконец, завоевал себе успех. Роман вскоре был переведен профессором Крузе на немецкий язык и получил длинное заглавие: «Юность и мечты итальянского поэта». Я возражал против этого, но переводчик уверял — как я теперь знаю, ошибочно, — что такое заглавие необходимо, что оно скорее заинтересует публику, чем просто «Импровизатор». Карл Баггер, как упомянуто, приветствовал мою книгу, настоящая же критика безмолвствовала. Наконец, появилась одна рецензия, кажется, в «Литературном современнике». Критик отнесся ко мне вежливее, нежели обыкновенно, но, упомянув лишь вскользь о достоинствах романа — «они уже известны!» — подробно перечислил все недостатки и подчеркнул все неверно написанные итальянские слова и выражения. Как раз в это время вышло в Германии известное описание Николаи «Италия, как она есть», в котором Николаи отдает Германии полное предпочтение перед Италией, называет Капри «морским чудовищем», словом, отвергает все прекрасное в Италии — за исключением Венеры Медицейской, которую измерил по всем линиям тесемкой. Книга эта у нас в Дании возбудила большое внимание и громкие разговоры, сводившиеся к тому, что вот, дескать, теперь-то видно, что такое написал наш Андерсен; нет, вот у Николаи так описана настоящая Италия!

Я поднес свой роман королю Христиану VIII, тогда еще принцу. В приемной я столкнулся с одним из наших мелких поэтов, но крупных сановников. Он был так милостив, что удостоил меня разговором: мы ведь были товарищами по оружию, — оба поэты! И он тут же при мне прочел другому высокопоставленному лицу целую лекцию о слове Колизей, которое я писал иначе, чем Байрон. Ужасно! Я ведь опять проявлял в этом случае свою пресловутую слабость в правописании, из-за которой невольно забывалось все хорошее в моих произведениях. Лекция была прочитана в приемной во всеуслышание. Я пытался было доказать, что я-то как раз пишу это слово правильно, тогда как Байрон нет, но важный мой ментор только улыбнулся, пожал плечами и, возвращая мне книгу, пожалел, что «в такой изящно переплетенной книге встречаются такие

опечатки!» А в кружках, где «портили Андерсена чрезмерными похвалами», говорили по поводу «Импровизатора» вот что: «Он только о себе самом и говорит!» «Литературный ежемесячник», в котором вся интеллигенция видела высшего судью по вопросам эстетики, говорил о всевозможных комедийках, о мелких, ныне забытых брошюрках, «Импровизатора» же не удостаивал и словом, может быть, именно потому, что он приобрел себе обширный круг читателей и вышел вторым изданием. И только в 1837 году, когда я, ободренный успехом, написал свой второй роман «О. Т.», в «Литературном ежемесячнике» появилась рецензия о том и о другом романе. В ней меня, разумеется, опять пробрали, но об этом позже.

Первое громкое и, пожалуй, несколько преувеличенное признание достоинств «Импровизатора» донеслось до меня из Германии, я встретил его с глубокой признательностью, как больной согревающие лучи солнца. Нет, не прав был наш датский критик, не задумавшийся назвать меня неблагодарным человеком, обнаружившим своим романом большой недостаток признательности по отношению к своим благодетелям! Я, дескать, сам был тем бедным Антонио, что кряхтел под гнетом благодеяний, вместо того, чтобы молча и благодарно нести его!

В Швеции тоже вышел перевод «Импровизатора», и все шведские газеты, какие только мне пришлось видеть, отзывались о моем произведении с похвалами. На английский язык роман был переведен квакершей Мери Ховит.

«This book is in romance, what «Childe Harold» is in poetry!»¹ — говорила она в своем предисловии. Тринадцать лет спустя, когда я сам приехал в Лондон, мне сообщили о другом лестном отзыве в «Foreign review», который приписывали зятю Вальтера Скотта, серьезному и строгому критику Локгарту. Несмотря на то, что статья была помещена в одном из самых распространенных английских журналов, получаемом и у нас в Копенгагене, о ней не обмолвились в свое время ни в одной из датских газет, между тем как те же газеты отмечали малейшее упоминание в иностранной печати о всяком другом датском писателе. Вот что говорил, между прочим, английский критик: «Импровизатор», произведение датчанина, написанное на том самом языке, на котором жил и думал печальный датский принц Гамлет. Кто-то сказал, «Коринна» — бабушка «Импровизатора»; может быть, оба романа и имеют некоторые сходные черты, но «Импровизатор» — более симпатичный чичероне».

Немецкая критика отзывалась об «Импровизаторе» так: «Не безынтересно будет провести параллель между «Импровизатором» Андерсена и «Коринной» г-жи Сталь. И тот, и другая в лице своих героев, итальян-

¹ «Эта книга среди романов то же, что «Чайльд Гарольд» среди поэм!»

янских импровизаторов, изобразили самих себя, и оба же воспользовались как фоном для своих картин прекрасной Италией. Но разница в том, что датчанин наивен, француженка сентиментальна; Андерсен дает поэзию, Сталь — риторику».

Датский «Литературный ежемесячник» тоже упомянул о «Коринне», но иначе. «Конечно, роман г-жи Сталь послужил для А. образцом, но только сбившим его с толку» и т. д.

Позже вышли несколько переводов «Импровизатора» в Северной Америке, а в 1844 году появились переводы на русский и чешский языки, сделанные со шведского. Голландский перевод был встречен весьма похвальной статьей в журнале «*de Tijd*». Во Франции перевод «Импровизатора», сделанный m-lle Лебрен (1847 г.), также стяжал роману похвалы — особенно за его «чистоту». В Германии же вышло всего семь или восемь переводов «Импровизатора», и некоторые из них выдержали по несколько изданий. Кстати, могу указать на напечатанное в Собрании сочинений Шамиссо (изд. Hitzig'a) письмо ко мне, в котором он говорит, что предпочитает моего «Импровизатора» таким произведениям, как «*Notre Dame de Paris*», «*La Salamandra*» и др.¹

Итак, первые похвалы, поднявшие мой дух, раздались и продолжали раздаваться за границей, так что, если Дания и имеет во мне поэта, то нельзя сказать, чтобы взлелеянного ей. Родители вообще нежно пекутся о своих чадах, заботливо ухаживают за каждым проявившимся в них ростком таланта, моя же родина, в лице моих земляков, по мере сил старалась задушить во мне всякий талант. Но так видно угодно было Господу Богу, и Он, ради развития моего таланта, посылал мне благодатные лучи из-за границы. Он же устроил и то, что труды мои сами пробили себе дорогу. Публика ведь все-таки сильнее всех критиков и разных литературных партий. Итак, благодаря «Импровизатору» я завоевал себе прочное и почетное место в числе других писателей. Юмор мой вновь расправил крылья и, спустя несколько месяцев после выхода в свет «Импровизатора», я издал первый выпуск моих сказок. Но не подумайте, что они сейчас же завоевали себе успех. Люди, говорившие, что желают мне добра, сожалели, что я, подав недавно

¹ Особенно приятное впечатление производит на нас девственная чистота этого проникнутого глубоким религиозным чувством романа. Это достоинство я должен выдвинуть на первый план, так как благодаря ему роман представляет такой резкий контраст с другими современными литературными произведениями, которые несмотря на всю талантливость их авторов производят крайне удручающее впечатление. К последним я причисляю все французские романы, какие мне пришлось читать: «*Notre Dame de Paris*», «*La Salamandre*», «*La peau de chagrin*», «*Le père Goriot*», «*Un Secret*», «*L'âne mort et la femme guillotinée*» и др. Они рисуют нам ужасающие картины, обличающие испорченность человеческого сердца и пороки общества, и мы видим в них лишь безбожный мир, тьму без просвета. Вот на этом-то черном фоне так чудесно и выделяются Ваши прелестные картины. Мы любим их, любим и их творца!»

такие надежды своим романом, «опять впал в ребячество». «Литературный ежемесячник» так и не удостоивал упомянуть о моих сказках, а «Даннора», очень в то время распространенный журнал, советовал мне — не тратить времени на писание сказок. Меня упрекали также в отступлении от обычных форм этого рода творчества и рекомендовали мне изучить сначала известные образцы. Но, конечно, это было мне не по вкусу! — прибавлял критик. Ну вот я и перестал писать сказки и через некоторое время, в продолжении которого юмор мой не разменялся унынием, окончил роман «О. Т.».

Я испытывал непреодолимую потребность творить и полагал, что нашел самую подходящую для меня область творчества в романе, и через год после появления в свет «О. Т.» написал и издал третий свой роман «Только скрипач». «О. Т.» понравился многим, особенно же Эрстеду, который отличался особенной чуткостью ко всему юмористическому. Он-то и посоветовал мне держаться этого рода творчества; у него в доме я встречал сочувствие и черпал радостную уверенность в своих силах.

«О. Т.» был переведен на немецкий язык, потом на шведский, голландский и английский. Перед выходом «О. Т.» в свет, один из друзей моих, профессор университета, предложил мне свою помощь по части чтения корректуры. «Я-то опытный корректор!» — сказал он мне. — И меня постоянно хвалят за тщательность и корректность моих собственных изданий! Ну, и рецензенты, критикуя вас, не будут по крайней мере развлекаться такими мелочами, как корректурные погрешности!» И вот он проверил корректуру всего романа, просматривая лист за листом, кроме него, их тщательно проверяли еще два сведущих лица. Книга вышла, и первая же рецензия о ней заканчивалась так: «И в этой книге мы встретились с обычными грамматическими небрежностями А.» «Нет, это уж из рук вон! — сказал мой корректор-профессор. — Я положил на корректуру этой книги столько же трудов, сколько на корректуру своих собственных! К вам просто придираются!»

Роман стал известен в публике, и круг моих читателей все увеличивался, но газеты и журналы все еще не высказывали мне особенного поощрения. Критики как будто забыли, что мальчик с годами вырастает в мужа, что познания приобретаются не только обычным проторенным путем, и по-прежнему упирали на мои старые ошибки и промахи. Поэтому-то самыми строгими критиками моими оказывались зачастую люди, которые, пожалуй, вовсе и не заглядывали в мои последние произведения. Не все только были так честны и откровенны, как Гейберг, который на вопрос мой: читал ли он мои романы? Ответил с улыбкой: «Я никогда не читаю толстых книг!»

Год спустя, вышел, как уже сказано, роман «Только скрипач», вылившийся у меня под влиянием испытываемого мною духовного гнета. И этот роман свидетельствовал о том, что я сделал шаг вперед, лучше

понимал и людей, и самого себя. Я уже отказался от мечты получить за свои труды воздаяние здесь, на земле, и утешал себя мыслью найти утешение и примирение в ином мире. Если «Импровизатор» явился настоящей импровизацией, то «Только скрипач» — произведением, глубоко прочувствованным и продуманным, почти пережитым. В нем я выразил свой душевный протест против людской несправедливости, глупости житейской прозы и гнета.

И этот роман пробил себе дорогу, но и тут ни одного слова поощрения или признательности! Критика милостиво изрекла только, что мною часто счастливо руководит *инстинкт*. Ко мне применяли выражение, которое вообще принято употреблять, говоря о животных, тогда как в области поэзии, среди людей, это свойство носит название «творческого гения». Все хорошее во мне продолжали втоптывать в грязь. Отдельные лица, правда, говорили мне, что со мною поступают уж чересчур грубо и несправедливо, но заступиться за меня в печати никто не думал. Роман «Только скрипач» заинтересовал на короткое время одного из наших одаренных молодых писателей, Сёрена Киркегора. Встретясь со мною однажды на улице, он сказал мне, что собирается писать на этот роман критику, которой я, наверное, останусь доволен. По его мнению, ко мне вообще относились несправедливо. Прошло довольно много времени, К. перечел книгу, и первое хорошее впечатление испарилось; должно быть, чем серьезнее он вдумывался в произведение, тем несовершеннее оно ему казалось, и появившаяся наконец критика уж никак не могла порадовать меня. Критическая статья К. разрослась в целую книгу, кажется, первую изданную им. Для чтения она вышла тяжеловата, смахивала на философский трактат, и многие говорили в шутку, что только К. да А. и прочли ее до конца. Называлась книга «*Af en endnu Levendes Papirer, udgivet imod hans Villie af S. Kierkegaard*» (1838 г. Из записок еще живущего человека, изд. против его воли. — С. К.). Я вынес из нее одно сведение, что я не поэт, а лишь поэтическая фигура, соскочившая со своего места в каком-нибудь поэтическом произведении, и что какому-нибудь будущему поэту предстоит водворить меня на мое место или поместить меня в собственное произведение, создав для меня новую подходящую обстановку! Впоследствии я стал лучше понимать этого писателя, который тонко и сочувственно оценил мои позднейшие труды.

Пока же я не находил себе в датской печати заступника или хоть критика, который бы упоминал о них. А между тем мои романы еще более стусевывались благодаря тому, что как раз в то же время общий интерес заполонили издаваемые Гейбергом «Обыкновенные истории»¹. Язык этих произведений, содержание и главным образом рекомендация

¹ Соч. его матери, г-жи Гюллембург. — Примеч. перев.

Гейберга, восхищавшегося ими, все это выдвигало их тогда в датской литературе на первый план.

Тем не менее меня читали, и большинство уже не сомневалось в моем поэтическом таланте, который совсем было отрицали до моего путешествия в Италию. Но, как уже не раз упомянуто, открыто признала во мне этот талант прежде всего иностранная пресса, и только много лет спустя выступил с сочувственным отзывом обо мне, как о поэте, один из значительнейших наших писателей Гаух. Вот как вкратце характеризовал он мои романы.

«Героем лучших и наиболее обработанных произведений А., в которых так ярко выступают богатая фантазия и глубокая чувствительность души поэта — является талантливая или по крайней мере благородная натура, которая старается выбиться из окружающих ее узких, подавляющих условий жизни. Таковы герои трех романов А., а никто лучше его самого не может знать всех внутренних и внешних перипетий такой борьбы — ему самому ведь пришлось испытать чашу горечи до дна, изведать подобные же страдания, а воспоминание о них — как говорит старый глубокий миф — мать муз. Поэтому повествования А. стоит послушать со вниманием: если он и рисует нам внутреннюю жизнь единичного лица, то все же такую, которая является уделом почти каждого гениального или талантливого человека, поставленного судьбой в неблагоприятные условия. В романах *«Импровизатор»*, *«О. Т.»* и *«Только скрипач»* А. отнюдь не рисует только одного самого себя, но также ту знаменательную борьбу, на которую обречены многие, и которую он так хорошо знает по себе. Описания его не являются поэтому выдуманными, а дышат самою жизнью, самою правдою и в качестве таких сохраняют за собой глубокое и прочное значение. А. является в своих произведениях ратоборцем не только за поставленных в неблагоприятные условия талантливых людей, но и за всех униженных и оскорбленных, и горький личный опыт дает ему возможность рисовать нам такие захватывающе правдивые картины, которые не могут не оставить глубокого впечатления в душе каждого отзывчивого человека».

Вот как отзывался о моих произведениях девять-десять лет спустя благороднейший человек и писатель. С критикой на мои произведения произошло то же, что бывает с хорошим вином: чем дольше его держат, прежде чем пустить в употребление, тем оно становится лучше.

В том же году (1837), когда вышел *«Только скрипач»*, я посетил соседнюю страну, пробрался по каналам до самого Стокгольма. Тогда еще не было и намека о нынешних пресловутых скандинавских симпатиях. От прежних войн в обеих нациях осталось какое-то взаимное недоверие. Копенгагенские мальчишки не упускали случая всякий раз, как мороз соединял обе страны ледяным мостом, и к нам приезжали

на своих санях соседи-шведы, бежать за их санями с улюлюканьем. Шведская литература тогда была известна у нас очень мало, датчанам и на ум не приходило, что при небольшом навыке читать и понимать по-шведски очень легко. Тегнера у нас знали только по переводам. Да, времена переменчивы!

Известные мне произведения шведских писателей очень мне нравились, особенно поэзия несчастного, уже умершего Стагнелиуса. Он пришелся мне по сердцу даже больше Тегнера, который занимал тогда среди шведских поэтов первое место. Я до сих пор предпринимал путешествия только на юг от родины, причем тотчас же, как переступал границы Дании, прощался с датской речью, теперь же я во все время путешествия чувствовал себя наполовину у себя дома; я говорил по-датски, мне отвечали по-шведски, и этот язык казался мне одним из наших провинциальных наречий. Мне казалось, что Дания как будто расширилась — родственные черты обеих наций так и бросались мне в глаза, и я понял, как близки в сущности между собою шведы, норвежцы и датчане. Я встречал во время путешествия много хороших, сердечных людей и, по своему обыкновению, скоро привязывался к ним. Вообще это путешествие было одним из самых приятных для меня. Живописная страна, с ее обширными лесами, огромными озерами, величественным водопадом Трольгеттой, красивыми шхерами, на каждом шагу поражала меня новизною. Стокгольм, который красотой местоположения напоминает Константинополь и поспорит с Эдинбургом, просто поразил меня. Рассказ о поездке по каналам звучит для непосвященного в ее тайны новичка чем-то сказочным. Еще бы! Говорят, что пароход переплывает из озера в озеро через вершины гор, так что с палубы парохода видны внизу верхушки сосен и берез! Пароход переправляется через горные высоты, постепенно поднимаясь и затем спускаясь по шлюзам, а путешественник в это время бродит по ближайшим лесным тропинкам. С этим путешествием, именно с поездкою по озеру Венерн, связано у меня воспоминание об одном интересном и не оставшемся без влияния на меня знакомстве: я встретился на пароходе с известной шведской писательницей Фредерикой Бремер.

Проезжая по каналу между Трольгеттой и Венерсборгом, я разговаривался с капитаном. Между прочим, я спросил его, какие из современных шведских писателей проживают теперь в Стокгольме, и выразил желание встретиться там с г-жой Бремер. «Ну, ее-то вы не застанете! — сказал капитан. — Она теперь в Норвегии!» «Вернется, должна вернуться, пока я здесь! — пошутил я и прибавил. — Мне вообще везет во время путешествий; стоит мне пожелать чего-нибудь, так оно и будет!» «Ну, только не на этот раз!» — заметил капитан. Три часа спустя, перед отходом из Венерсборга, где мы останавливались принять товары и пассажиров, капитан, смеясь, подошел ко мне и, показывая

мне список новых пассажиров, громко воскликнул: «Счастливец! Вам и впрямь везёт! Г-жа Бремер на пароходе и поедет с нами до Стокгольма!» Я подумал, что он шутит, тогда он указал мне в списке ее имя, но я все еще не верил, что это была сама писательница. Рассматривая вновь прибывших пассажиров, я не нашел между ними женщины, в которой бы мог признать ее. Вечер прошел, и около полуночи мы были на огромном озере Венерн.

В три часа утра я встал и вышел на палубу полюбоваться восходом солнца. Кроме меня, вышла из каюты только одна дама, не молодая и не старая, закутанная в плащ и в шаль. Ей тоже, верно, хотелось посмотреть на восход солнца, и я подумал: «Если действительно Фредерика Бремер здесь на пароходе, то это она!» Я завязал с ней разговор. Она отвечала мне вежливо, но холодно. Наконец, я спросил ее, не она ли известная писательница Бремер, она дала уклончивый ответ и спросила о моем имени. Оказалось, что она слышала обо мне, с произведениями моими она, однако, не была знакома и спросила, нет ли у меня с собою какого-нибудь из них. Я как раз вез один экземпляр *«Импровизатора»* для Бескова и дал его ей. Она сошла в свою каюту и оставалась там все утро. Когда же мы встретились опять, она улыбнулась мне светлой, сердечной улыбкой, пожала руку и сказала, что прочла больше половины первой части книги и теперь знает меня.

Знакомство наше продолжалось в Стокгольме, а многолетняя переписка окончательно скрепила его. Фредерика Бремер — благороднейшая натура, проникнутая великими утешительными истинами религии и поэзией мелких частных житей, и обладает даром понять и истолковать их.

В то время ни один из моих романов еще не был переведен на шведский язык, меня знали лишь по моей *«Прогулке на Амагер»* и по стихотворениям, да и то немногие лица из литературных кружков, которые и оказали мне в Стокгольме самый радушный и сердечный, чисто шведский прием. Один из популярнейших поэтов-юмористов, пастор Дальгрэн, теперь давно умерший, посвятил мне стихотворение. Ласковый прием встретил я также у знаменитого Берцелиуса, к которому у меня было рекомендательное письмо от Эрстеда. В Упсале я пробыл несколько дней. Профессор Рудберг водил меня на Упсальский холм, и там мы пили в честь Севера шампанское из громадного серебряного рога, подарка короля Карла-Югана. И Швеция, и шведы очень полюбились мне; мне, как уже сказано, стало казаться, что границы моей родины отодвинулись; только теперь понял я, насколько родственны между собою шведская, норвежская и датская нации, и вскоре по возвращении на родину я написал песню: *«Один народ мы! Все мы скандинавы!»* Песня эта явилась плодом моих непосредственных впечатлений и была чужда какой-либо политической идеи: поэт не слуга политики, он только спокойно идет впереди разных политических дви-

жений, как провидец. И я создал скандинавскую песнь, когда еще и речи не было о скандинавах. Я написал ее, охваченный сознанием родственности всех трех народов, любовью к ним и желанием, чтобы и они, наконец, узнали и полюбили друг друга. А вот что сказали по поводу моей песни у нас на родине: «Ну, видно, и ухаживали же за ним там шведы!» Но прошло несколько лет, и соседи стали лучше понимать друг друга. Эленшлегер, Тегнер и г-жа Бремер пробудили в каждом народе желание ознакомиться с литературой соседей, и они почувствовали взаимное родство. Старое недоверие, проистекавшее от недостаточного знакомства друг с другом, исчезло, и между датчанами и шведами установились добрые, сердечные отношения. Скоро скандинавизм пустил такие корни в Копенгагене (в Швеции — тоже, в Норвегии же, насколько я знаю — нет), что у нас образовалось «Скандинавское общество». В обществе этом или кружке говорились речи о братском слиянии трех народов Севера, читались исторические лекции и давались «скандинавские» концерты, на которых исполнялись произведения Бельмана и Рунга, Линдблада и Гаде, — все это было прелесть как хорошо! Тут-то и моя песня вошла в честь. Мне сказали даже, что она переживет все, что я вообще написал! А один из наших крупных общественных деятелей пресерьезно уверял меня, что только эта песня и сделала меня *датским* поэтом. Да, вот как высоко ставили ее теперь, а еще год тому назад ее называли плодом польщенного самолюбия.

По возвращении из Швеции я стал усердно заниматься изучением истории, а также знакомился с иностранными литературами. Но усерднее всего читал я все-таки великую книгу природы, из которой всегда черпал самые лучшие впечатления. Лето я проводил, гостя в разных поместьях на Фионии, главным образом в романтически расположенном у самого леса «Люккесгольме», принадлежавшем некогда Каю Люкке, и в графском замке Глорупе, где жил некогда Валькендорф, могущественный враг Тихо Браге, а теперь проживал благородный старик граф Мольтке Витфельд. Здесь я нашел самый радушный прием, гостеприимный приют и, гуляя по окрестностям, учился у природы большему, нежели могла научить меня школа.

В Копенгагене же самым родным домом был для меня издавна дом Коллина, в нем, как я и написал в посвящении, предшествующем «*Импровизатору*», я нашел родителей и сестер с братьями. Весь юмор и жизнерадостность, которые находят в романе «*О. Т.*» и в некоторых написанных мною в эти года драматических произведениях, черпал я в доме Коллина. Здесь я возрождался духом, запасался душевным здоровьем и благодаря этому мог справляться с болезненными проявлениями своего духовного склада. Старшая дочь Коллина, Ингеборга, в замужестве г-жа Дреусен, отличалась замечательным остроумием, жизнерадостностью

и веселостью и имела на меня большое влияние. Мягкая, податливая, как гладь морская, душа, какою была моя, всегда ведь готова отражать в себе все окружающее.

Я был довольно плодовитым писателем, и произведения мои принадлежали к числу находивших себе постоянный сбыт и читателей. Гонорар мой повышался с каждым новым романом, но надо помнить общие условия датского книжного рынка и то, что я не имел патента на звание поэта ни от Гейберга, ни от «Литературного ежемесячника», поэтому и гонорар этот был очень скромнен. Но как бы то ни было, существовать было еще можно, хотя, разумеется, и не так, как должен был, по предположению англичан, существовать автор «Импровизатора». Я хорошо помню изумление Чарльза Диккенса, когда он на свой вопрос, много ли я получил за этот роман, услышал в ответ: «19 фунтов стерлингов!» «За лист?» — переспросил он. «Нет, за весь роман!» — сказал я. «Нет, мы, верно, не понимаем друг друга! — продолжал Диккенс. — Не могли же вы получить 19 фунтов за всю книгу! Вы получали столько за лист!» Пришлось мне пожалеть о том, что это было не так. За лист мне пришлось только около полуфунта стерлингов. «Боже мой! — воскликнул Диккенс. — Не поверил бы, если бы не услышал от вас самого!» Конечно, Диккенс не знал условий датского книжного рынка и сравнивал полученный мною гонорар с тем, что получал он сам в Англии. Да, вероятно, и переводчица моя получила больше, чем я — автор! Ну, как бы то ни было — я существовал, хотя и с грехом пополам.

Постоянно творить и творить было, как я чувствовал, губительно для всякого таланта, но все мои попытки заручиться какою-нибудь подходящей должностью терпели неудачу. Я искал места библиотекаря при королевской библиотеке, и Эрстед горячо ходатайствовал за меня перед директором библиотеки, обер-камергером Гаухом. Письмо Эрстеда к последнему заканчивалось так: «Кроме писательских заслуг, А. заслуживает еще внимания за свою добросовестность, аккуратность и любовь к порядку, которых вообще не ожидают от поэтов. Все, знающие А., должны отдать ему в этом отношении полную справедливость!» Но и эта лестная рекомендация не помогла мне: обер-камергер с изысканной вежливостью отклонил мою просьбу, мотивируя свой отказ тем, что я слишком талантлив для такой тривиальной должности, как библиотекарь. Делал я также попытку завести сношения с Обществом свободной печати и представил его заправилам план и конспект народного датского календаря, составленного мною по образцу столь распространенного в Германии календаря Губица. Ничего подобного на датском языке еще не существовало, к тому же я полагал, что в качестве автора «Импровизатора» имею за собою некоторую репутацию человека, способного рисовать картины природы, а в качестве автора изданных недавно

сказок — репутацию хорошего рассказчика. Эрстеду мой план очень понравился, и он и тут горячо поддерживал меня, но заправилы общества нашли, что издание такого календаря связано со слишком большими хлопотами и отказали мне в своем содействии. Попросту они не доверяли моим способностям, так как впоследствии такой календарь был издан другим лицом, сумевшим добиться поддержки того же общества.

И вот я постоянно был полон забот о завтрашнем дне, хорошо еще, что мне были открыты двери нескольких гостеприимных домов, в том числе и одного нового. Это был дом старушки-вдовы (ныне уже умершей) Бюгель, урожденной Адцет, известной более своею оригинальностью, нежели своими превосходными душевными качествами. Она очень любила мои произведения и оказывала мне самому истинно материнское участие. Вернейшее же прибежище, помощь и поддержку я находил по-прежнему у конференц-советника Коллина, но прибегать к нему я решался лишь в самых трудных случаях. Да, хватил таки я и горя, и нужды — всего, о чем теперь нет охоты рассказывать. Я, впрочем, как бывало и в детские годы, не переставал говорить себе: «Когда приходится уж очень плохо, тогда-то Господь и посылает свою помощь!» Я верил в свою счастливую звезду, а ей был Бог.

Однажды я сидел в своей каморке в «Новой гавани», вдруг в дверь постучали, и на пороге показался незнакомый мне господин. Черты лица его были очень тонки, выражение самое приветливое. Это был покойный граф Конрад Ранцау Брейтенбург, уроженец Голштинии и тогдашний первый министр. Он искренно любил литературу, восторгался Италией и захотел посетить автора «Импровизатора», которого читал по-датски и с живейшим интересом. В своем кругу граф пользовался большим уважением за свое истинно рыцарское благородство и репутацией человека литературно образованного и со вкусом. В молодости он много путешествовал, подолгу жил в Испании и в Италии, и на основании всего этого его суждениям придавалось большое значение. Не довольствуясь одними горячими похвалами мне, которые он высказывал и при дворе, и в обществе, он захотел лично навестить меня, поблагодарить меня за доставленное ему моей книгой удовольствие, пригласить к себе и спросить — не может ли он в чем быть мне полезным? Я не скрыл от него затруднительности своего положения, принуждавшего меня *творить* из-за куска хлеба и исключавшего всякую возможность самосовершенствования. Он ласково пожал мне руку, обещал свое содействие и дружбу, и сдержал свое слово. Думаю, впрочем, что дело не обошлось и без тайного участия Коллина и Эрстеда. Уже в течение многих лет царствования короля Фредерика VI из сумм министерства финансов ежегодно отчислялась известная сумма на временные пособия ученым, художникам и литераторам, отправляющимся за границу, а также на постоянные годовые стипендии тем из

них, кто еще не успел упрочить свое положение или не имел постоянной должности. Такими стипендиями пользовались, например, Эленшлегер, Ингеман, Гейберг и др., а в последнее время и Герц. Такая же стипендия была и моей мечтой и последняя сбылась: король Фредерик VI назначил мне ежегодную стипендию в 200 специй¹.

Как я был рад, как благодарен! Теперь мне уже не нужно было писать из-за куска хлеба, теперь у меня было верное обеспечение в случае болезни и пр., теперь я был менее зависим от окружающих людей! Для меня началась как бы новая эра жизни!

VIII

С этих пор в моей жизни стало чаще проглядывать солнышко; озираясь назад на свое прошлое, я яснее видел бодрствовавшее надо мною око Провидения, и все более убеждался, что Бог постоянно направлял все к лучшему для меня, а чем сильнее такое убеждение, тем спокойнее, увереннее чувствуешь себя.

«В английском флоте по всем снастям, и большим и малым, проходит красная нить, указывающая на принадлежность флота короне; по всем и большим и малым событиям и проявлениям человеческой жизни тоже проходит невидимая нить, указывающая, что мы принадлежим Богу». Вот в чем я успел убедиться в жизни и что высказал в своем романе «Две баронессы».

В моей жизни был период детства — оно давно минуло, отрочества у меня не было вовсе, а юность только началась теперь: предшествовавший ей период жизни был просто каким-то мыканьем по волнам, борьбой против течения. Только теперь, на тридцать четвертом году моей жизни, началась для меня настоящая весна, но весна еще не лето, и весной выдаются серые, ненастные дни, необходимые для того, чтобы развилось в нас то, что должно созреть летом.

Оглядываясь назад на эти «серые и ненастные дни» теперь, когда переживаешь тихую, благодатную пору жизни, невольно улыбаешься своей прежней чувствительности ко всякого рода тучкам. Но, к делу.

Отрывок из письма, полученного мною от лучшего моего друга во время одного из последующих моих заграничных путешествий, может послужить подходящим предисловием к тому, что я хочу здесь рассказать.

«Это все одно ваше изысканное воображение, что вас презирают в Дании! Ничего такого на самом деле нет. Вы с Данией отлично ладите и ладили бы еще лучше, не будь в Дании театра: hinc illoe lacrimae! Ах,

¹ Около 400 рублей. — Примеч. перев.

этот проклятый театр! Но разве театр — вся Дания, и разве вы — только поставщик театральных пьес?»

В этих словах была доля правды. Действительно, театр в течение целого ряда лет являлся для меня источником величайших огорчений. Всем ведь известно, что с театральным миром ладить — ох как трудно! Большинство артистов — от первого любовника до последнего статиста — склонны класть на одну чашу весов свою собственную персону, а на другую весь остальной свет. Партер является в их глазах границей мира, журнальные и газетные критические статьи — неподвижными звездами небосклона, ну, и если в этом пространстве они слышат себе одни похвалы и «браво», часто необдуманные, повторяемые лишь по инерции — немудрено, что голова у них идет кругом, и они утрачивают истинное представление о своем значении.

В то время политика не играла у нас никакой роли, интересы общества сосредоточивались на искусствах, театр был самой богатой и постоянной темой для разговоров. И то сказать — наша датская сцена принадлежала тогда к числу первых в Европе. Ее украшали такие таланты, как Нильсен, Рюге, Фрюдендаль, Стаге, Розенкильде, Фистер, г-жа Гейберг и г-жа Нильсен, в которых имели первоклассных исполнителей все роды драматического искусства — от трагедии до водевиля. Опера и балет также были представлены прекрасно.

Но если датская сцена и была тогда одною из первых в Европе, из этого еще не следовало, чтобы все представители ее были мировыми столпами, а такими-то они именно и воображали себя, по крайней мере в сравнении со мною: я ведь в их глазах был не Бог весть какой выдающийся писатель! Вообще, на мой взгляд, датская сцена страдала главным образом от недостатка дисциплины, которая так необходима там, где масса отдельных личностей должна составлять целое, да еще художественное целое. Я прожил на свете уже немало и знаю по опыту, что публика постоянно недовольна дирекцией театров — особенно за выбор пьес, а дирекция — артистами, и наоборот. Должно быть, уж иначе и быть не может, должно быть, уж всем молодым драматургам, не успевшим еще стать баловнями минуты, суждено подвергаться таким мытарствам, каким подвергался и я. Их не избежал даже сам Эленшлегер: не в диковинку было слышать в театре аплодисменты по адресу актеров-исполнителей и свист по его адресу. А каких отзывов об этом гениальном писателе наслушался я от моих земляков! Такова уж, верно, судьба всех талантов. Но как это грустно! Сам Эленшлегер в своих воспоминаниях рассказывает, что детям его часто приходилось выслушивать в школе злые насмешки других учеников, повторявших только то, что слышали об Эленшлегере от своих родителей.

Актеры в актрисы, занимающие в труппе, благодаря своему таланту, дружбе с газетными рецензентами или благоволению публики, первые

места, мнят себя выше самой дирекции, не говоря уже о драматургах; а этим необходимо ладить с актерами: они ведь могут и отказаться от роли и — что еще хуже — распространить в публике неблагоприятное мнение о пьесе прежде, чем она появится на сцене. Новые пьесы подвергаются строгой критике в разных «кофейнях» даже раньше, чем кто-либо из публики знает из них хоть словечко. У копенгагенцев есть вообще одна характерная черта: редко кто скажет в ожидании постановки новой пьесы: «Как я рад!» А скорее всегда: «Пьеса, кажется, дрянь! Должно быть, освищут!» Свистки вообще играют большую роль; вот забава, которая может обеспечить полный сбор. И ни разу еще не случилось, чтобы освистали плохого актера, нет, козлами отпущения постоянно являются драматург или композитор. Им свистят, а молодые и старые, красивые и безобразные дамочки с радостными улыбками прислушиваются к свисткам. Ни дать ни взять — кровожадные испанки на бое быков! И вот еще: в продолжении многих лет я наблюдал, что самая опасная пора для постановки новых пьес — ноябрь и декабрь; в октябре бывают ведь приемные экзамены в университете, и благополучно перепрыгнувшие через его порог бывшие гимназисты спешат заявить себя строгими ценителями искусства.

Наши известнейшие датские драматурги: и Эленшлегер, и Гейберг, и Герц и другие — все были освистаны; об иностранных классиках нечего и говорить — освистали даже Мольера.

А между тем сцена является для каждого писателя наиболее выгодным во всех отношениях полем деятельности. Вот почему я, находясь в крайности, брался и за составление оперных либретто, за которые меня так бранили, и за писательство водевилей. Впрочем, гонорар автора-драматурга был в то время еще до комизма незначителен. Довести его до приличных размеров удалось только Коллину в свое последнее управление делами театра. В ту же эпоху, о которой идет речь, директором датского королевского театра сделали одного известного и дельного бюрократа, ожидали, что он приведет дела в порядок, — недаром же он слыл хорошим счетоводом. Ожидали от него и поднятия оперного искусства, так как он любил музыку и сам не раз выступал в качестве певца в разных музыкальных кружках. Наконец, ожидали и различных энергичных преобразований. Последние и не заставили себя ждать. Первым долгом была преобразована система регулировки поспектакльной платы авторам. Руководствоваться одними достоинствами пьес ведь трудно, вот и решали сообразоваться с продолжительностью их. Во время первого представления режиссер стоял за кулисами и следил с часами в руках сколько «четвертей часа» займет такая-то пьеса: за каждую четверть часа полагалась известная сумма. Излишек времени, не составляющий полной четверти часа, шел в пользу самой дирекции — истинно по-канцелярски и практично! «Своя рубашка ближе к телу!» Ну да, и я думал то же, да к тому же

действительно нуждался в каждом лишнем гроше, так несладко мне было нести убытки благодаря тому, что дирекция разделила мой двухактный водевиль *«Разлука и встреча»* на два самостоятельных, которые можно было давать отдельно. Но «нельзя злословить свое начальство!», а ведь театральная дирекция — начальство автора-драматурга. Вернусь к артистам. Впрочем, пусть они сами говорят о себе!

«Нетрудно иметь успех со своими пьесами, когда их вывозят на себе первые силы труппы!» — сказал мне однажды один из первых актеров, недовольный назначенной ему ролью в моей пьесе. «Я не играю мужиков!» — заявила мне одна актриса, которой я осмелился предложить «слишком мужественную», по ее мнению, роль. «Ну, скажите, есть ли у меня хоть одна остроумная реплика?» — гремел на репетиции одной из моих первых пьес один из артистов. Увидав же меня после того, печально стоящим в углу, тот же Зевс-громовержец подошел ко мне и сказал: «А вы уж и приняли мои слова всерьез! Неужели вы думаете, что я считаю свою роль плохой? Да в таком случае я бы просто не стал играть ее! Но умаляя ваше участие в успехе, я тем более выступаю свое! Впрочем, если вы перескажете это кому-нибудь — я отпущусь!» Артист произнес эту реплику великолепно, нисколько не помышляя о публике, которая теперь не слышит его! Все это только смешно, забавно, скажут мне, пожалуй, мои читатели, но не так смотрит на дело молодой начинающий писатель. Правда, на корабле не следует понимать буквально иногда слишком энергичные выражения капитана, не следует этого и на театральном корабле, но я-то так поступал. Но зачем же я так настойчиво пробивал себе туда дорогу? Затем, что, во-первых, драматические вещи лучше всего оплачиваются, а без денег ведь не проживешь, а во-вторых — сцена могущественная кафедра, с которой, как говорит Карл Баггер, «провозглашают сотням людей то, что едва ли прочтут и десятки». Цензором поступавших в дирекцию пьес был, как уже сказано, Мольбек — цензором суровым и «широкописательным». Лучшую характеристику его могут дать исписанные им цензурные книги с отчетами об отвергнутых и поставленных пьесах. А прочитав его журнальные статьи, писанные им уже в то время, когда он перестал быть директором и цензором, и заменивший его Гейберг забраковал пьесу его сына, прочитав эти сетования и увещевания быть снисходительным к молодым талантам, невольно скажешь: да вот все это не худо было бы иметь в виду ему самому, когда власть была в его руках! Я уже примирился с тем, что Мольбек постоянно браковал мои пьесы; ну и пусть бы себе браковал, да держался бы при этом общепринятого и, пожалуй, единственно верного со стороны дирекции приема: кратко объявлять автору отвергнутой пьесы, что она «не подходит». А мне раз было прислано длинейшее письмо, разумеется, продиктованное никем иным

как Мольбеком, и чисто «из любви к искусству»; это он пользовался случаем наговорить мне неприятностей. И вот, чтобы видеть свои пьесы на сцене, мне не оставалось ничего другого, как отдавать их актерам для летних спектаклей. Имея в виду прекрасную декорацию, написанную для водевиля «Бегство в Спрогё», не имевшего успеха, я летом 1839 года написал водевиль «Невидимка в Спрогё». Веселая, шаловливая вещица понравилась актерам, сделалась излюбленной пьесой публики, и это заставило дирекцию включить ее в постоянный репертуар. Пьеска выдержала такое число представлений, о каком я и не мечтал, но такой успех ничуть не увеличил моих успехов у дирекции, она продолжала, к величайшей моей досаде, браковать мои пьесы одну за другой. В это время мое воображение было сильно поражено небольшим французским рассказом «Les éraques», и я задумал написать на его сюжет драму в стихах, я надеялся при этом доказать свою способность тщательно обрабатывать данный материал, способность, которую так часто отрицали во мне. Правда, сюжет, богатый драматическими положениями, был заимствован мною из чужого произведения, но я так перевил его зелеными гирляндами моей собственной лирики, что выходило, как будто бы он вырос в саду моего собственного воображения. Словом, чужой сюжет вошел, как говорится, в мою плоть и кровь, я пересоздал его в себе и тогда только выпустил его в свет. «Ну, уж теперь-то не скажут, как бывало, про мои переделки в либретто романов Вальтера Скотта, что я «только перекраиваю или «калечу» чужие произведения!» — думал я. Драма была написана, я прочел ее кое-кому из своих старейших друзей и компетентных лиц, и она им очень понравилась. Затем я познакомил с нею некоторых артистов королевского театра; эти также очень заинтересовались пьесой, особенно Гольст, которому я предназначал главную роль. Он вообще всегда относился ко мне и моим трудам в высшей степени внимательно и доброжелательно, за что я и считаю долгом принести ему здесь свою признательность.

Зато один из высших сановников, прибывший из Вест-Индии, высказался в приемной короля Фредерика VI против моей драмы. Он слышал о ее содержании и находил, что ее не следует ставить на королевской сцене — это может весьма пагубно отозваться на черных в наших вест-индских владениях! «Да ведь ее и не собираются давать в вест-индских владениях!» — возразили ему.

Драма была представлена дирекции и, конечно, забракована Мольбеком. Но публике уже хорошо было известно, что облюбленные им для сцены пьесы очень часто оказывались никуда не годными, а забракованные — наоборот. Таким образом его veto не могло принести особого вреда — и то утешение! За мою драму вступился вице-директор театра Адлер, человек справедливый и обладавший вкусом. Бла-

годаря ему, а также общему благоприятному мнению о моей пьесе, распространенному среди публики компетентными лицами, которые уже слышали ее в чтении, пьесу после многих разговоров решили принять. Но до окончательного решения дирекции, произошел еще один курьезный и характерный эпизод.

Одно высокопоставленное лицо — человек очень хороший, но плохой знаток искусств, голос которого имел, однако, решающее влияние, заявило мне, что обо мне вообще самого хорошего мнения, но самой пьесы не знает. «Конечно, за нее стоят многие, но Мольбек написал против нее целую статью. Да и, кроме того, сюжет пьесы почерпнут из чужого романа. А ведь вы сами пишете романы, почему же вы сами не придумали темы для своей драмы? Наконец, я должен вам сказать, что писать романы — одно, а писать комедии — другое! Тут нужны сценические эффекты. А в вашем *«Мулате»* есть хоть одна эффектная сцена, притом — не избитая?» Я постарался проникнуться взглядами и понятиями вопрошавшего и ответил: «Там есть сцена бала!» «Бал — это отлично, но бал имеется также в *«Ламмермурской невесте»*. Нет ли чего-нибудь новенького?» «Есть невольничий рынок!» — сказал я. «Ах, вот это ново! Невольничьего рынка у нас еще не было! Да, да это действительно «нечто»! Я буду справедлив к вам! Невольничий рынок мне очень нравится!» И я думаю, что невольничьему рынку пьеса и была обязана своей постановкой.

За два дня до первого представления пьесы я имел честь читать ее принцу, ныне королю Христиану, и его супруге, оказавшими мне самый милостивый прием.

Но вот настал и самый день представления, 3 декабря. Афиши были вывешены еще накануне; я не спал всю ночь от волнения. С раннего утра у дверей театра стоял целый хвост публики, явившейся за билетами. И вдруг по городу полетели эстафеты, на улицах стали скопляться толпы народа, лица у всех были грустно-серьезны — разнеслась весть о кончине короля Фредерика VI. С балкона Амалиенбургского дворца было провозглашено восшествие на престол Христиана VIII, на площади загремело «ура!» Городские ворота были закрыты; войска подводили к присяге.

Театр был открыт лишь два месяца спустя, и в первое представление шла моя драма. Она была прекрасно разыграна и имела шумный успех, но я еще не мог хорошенько радоваться этому, я чувствовал только, что с плеч моих свалилась гора и мне стало легче дышать. С таким же успехом пьеса выдержала и целый ряд представлений. Многие ставили эту драму выше всего написанного мною и полагали, что она знаменует начало эпохи моего истинного поэтического творчества. Все мои прежние произведения были признаны незначительными в сравнении с *«Мулатом»*, словом, на долю этой драмы выпало столько похвал, сколько не

выпадало еще ни одному из моих трудов, кроме первого — «Прогулки на Амагер». Драма скоро была переведена на шведский язык и с большим успехом поставлена на сцене Стокгольмского королевского театра; разъезжающие по провинциям труппы давали ее в разных городах и местечках страны, а товарищество датских артистов сыграло ее по-датски в городе Мальмё, и присутствовавшая на представлении масса студентов из Лунда приняла пьесу восторженно. С той стороны Зунда полетели ко мне дружеские приветствия в стихах и прозе.

Как раз за неделю до упомянутого представления в Мальмё, я находился в гостях у барона Врангеля в Сконии; наши соседи-шведы приняли меня так радушно, так сердечно, что воспоминание об этом никогда не изгладится из моей памяти. В Швеции же удостоился я и первого публичного чествования, которое также произвело на меня глубокое, неизгладимое впечатление. Лундские студенты пригласили меня в свой старый университетский город и дали мне обед. Было произнесено много речей, провозглашено много тостов, а вечером решено было чествовать меня серенадой. Узнав об этом в одном семействе, где я находился в гостях, я пришел в неопишное волнение, перешедшее затем в настоящую лихорадку, когда я увидал в окно густую толпу студентов в голубых шапочках, направлявшуюся к дому. Я чувствовал себя таким ничтожным, таким не достойным этого чествования, что оно просто подавляло, уничтожало меня! Пришлось затем выйти к ним; все обнажили головы. Я едва-едва удерживался от слез. Но продолжая сознавать насколько я был недостойн такой чести, я невольно искал на лицах окружающих иронической улыбки. Но, слава Богу, я видел вокруг себя одни приветливые, восторженные лица, а то подобная улыбка в такую минуту нанесла бы мне глубочайшую рану. Прогремело «ура!», и один из студентов обратился ко мне с речью; особенно живо запечатлелись у меня в памяти слова: «Когда вас станут чествовать на родине и в других странах Европы, вспомните, что первыми чествовали вас лундские студенты». В такие минуты не взвешиваешь своих слов, и я сказал им в ответ, что отныне всеми силами буду стараться прославить свое имя, чтобы оправдать это чествование. Затем я пожал руки ближайшим, поблагодарил их так горячо и сердечно, как только мог, и, вернувшись назад в комнату, забился в угол, чтобы выплакаться. «Ну, полно! Не думайте больше об этом! Давайте веселиться!» — уговаривали меня мои шведские друзья. Да, им-то было весело, но в моей душе это событие затронуло самые серьезные струны. Часто вспоминал я об этом вечере и, надеюсь, что ни одна честная душа не сочтет с моей стороны проявлением тщеславия то, что я так подробно рассказываю о нем, скорее это событие выжгло из моей души все зародыши высокомерия и тщеславия. Через неделю должно было состояться в Мальмё первое представление «Мулата»; лундские студенты

решили отправиться на это представление, а я, чтобы не присутствовать на нем, поспешил со своим отъездом из Швеции. С искренней признательностью и живейшим удовольствием всегда вспоминал я старый университетский город, но ни разу больше не заезжал туда. Молодые, восторженные чествователи мои разбрелись теперь по всей стране — пусть же дойдет до них мой привет и спасибо за эти незабвенные минуты!

Шведские газеты отозвались обо мне с похвалами, и датская газета «День» от 30 апреля 1840 года перепечатала отзыв шведской «*Malmö nya Allehanda*» об А., удостоившемся самого лестного для него и всей датской нации приема со стороны лундских студентов. Вот что говорилось в шведской газете:

«Мы хорошо знаем, сколько хриплых, завистливых и пристрастных голосов раздается в столице дружественной нам соседней страны против одного из ее достойнейших сынов. Но теперь пора им замолкнуть: вся Европа кладет на чашу весов свое мнение, а им никогда еще не пренебрегали. Андерсен как поэт принадлежит не одной Дании, но всей Европе, и мы надеемся, что чествование его шведской молодежью, поспособствует притуплению жал мелочности и завистливости, посредством которых на его собственной родине стараются превратить его лавровый венок в терновый. Посылаем нашему дорогому поэту сердечный привет и уверение, что он всегда встретит в нашем отечестве, старой Швеции, истинное признание его таланта и дружественную привязанность».

Вернувшись в Копенгаген, я был обрадован проявлениями искреннего участия и радости за меня со стороны некоторых из моих старейших, испытанных друзей, я видел даже слезы на их глазах. Особенно же радовало их, по их собственным словам, мое отношение к оказанным мне почестям. А как же я мог относиться к ним иначе? Я только радостно благодарил за них Бога и смиренно просил Его помочь мне сделаться воистину достойным их.

Некоторые, впрочем, посмеивались над энтузиазмом моих чествователей и не прочь были повернуть все в смешную сторону. Так, Гейберг раз иронически сказал мне: «Надо будет попросить вас сопровождать меня в Швецию, когда я соберусь туда! Авось тогда и на мою долю выпадет малая толика таких чествований!» Мне эта шутка не понравилась, и я ответил: «Пусть вас сопровождает ваша жена, тогда вы добьетесь их еще легче».

Из Швеции доносились только восторженные похвалы «*Мулату*», и у нас там и сям начинали уже раздаваться голоса против него. Сюжет был ведь заимствован мною; почему же я не указал на источник в печатном издании моей драмы? А вот почему. Я написал нужную заметку на последней странице рукописи, но в наборе оказалось, что

самая драма занимает как раз весь последний лист до последней страницы; из типографии и спросили меня: нельзя ли вовсе опустить эту заметку? Я посоветовался с одним из наших писателей, и он нашел, что заметка излишня, так как рассказ «*Les éraives*» достаточно известен. Кроме того, и сам Гейберг, обработав в драматическую поэму «Эльф» Тика, ни словом не упомянул о своем богатом источнике. Но вот теперь принялись за меня. Французский рассказ был внимательно перечитан, сличен с моей драмой, переведен на датский язык и доставлен издателю «*Портфеля*» с настоятельным требованием напечатать его. Редактор снесся сначала со мною, и я, конечно, сам попросил его напечатать рассказ. Драма моя шла все с тем же успехом, но теперь критика стала, ссылаясь на французский рассказ, умалять значение моего труда. Между тем те чересчур горячие похвалы, которые уже стяжала себе моя пьеса, сделали меня особенно чувствительным к такому несправедливому, по-моему, суду критики. И я тем менее мог примириться с ним, что, как я понимал, он был вызван скорее всего желанием насолить мне, опять втоптать меня в болото писательской посредственности, а вовсе не интересами искусства.

Впрочем, моя душевная упругость помогала мне скоро отделяться от неприятных впечатлений, и как раз в это время у меня явилась идея «*Картинок-невидимок*». Я привел ее в исполнение, и вышла маленькая книжка, которая, однако, из всех моих книг, включая сюда даже сказки, имела наибольший успех за границей и получила невероятно широкое распространение.

Один из критиков, первый высказавшийся о ней, писал: «Многие из этих картинок представляют материал для рассказов и новелл, а человек с богатой фантазией найдет в них материал даже для романов». И, действительно, впоследствии вышел роман талантливой г-жи Гёрен «*Die Adoptivtochter*» («Воспитанница»), сюжет которого она, по собственному признанию, почерпнула из третьего вечера моих «*Картинок-невидимок*».

В Швеции не замедлил появиться перевод этой книжки, в ней только был прибавлен один вечер, которым перевод посвящался мне. У нас же в Дании она не обратила на себя особенного внимания, и, насколько мне помнится, один Сисбю, редактор «*Утреннего копенгагенского листка*», посвятил ей несколько сочувственных строк.

В Англии появилось несколько переводов, и английская критика превозносила мою книжечку, называя ее «*Илиадой*» в ореховой скорлупе! Затем я получил из Англии пробный лист роскошного издания этой книжки; беда только, что ее, как позже и в Германии, издали с картинками!

А у нас зато все продолжали интересоваться «*Мулатом*», только с иной стороны, упирая главным образом на то, что сюжет его заимствован. Но ведь и Эленшлегер заимствовал сюжет для своего «*Аладина*» из

«Тысячи и одной ночи», и Гейберг сюжет для своих «Эльфов» из сказок Тика, но об этом не говорили: Тика мало кто знал, да и Гейберга критиковать тогда не полагалось.

Вечные напоминания о том, что я не способен сам придумать сюжет для своих произведений, заставили меня задаться этой задачей, и я написал трагедию «Мавританка». Ею я имел в виду заставить замолчать упомянутых недоброжелателей моих и, наконец, завоевать себе место среди писателей-драматургов. Кроме того, я надеялся, что доход с этой пьесы в соединении с скопленной мной небольшой суммой из гонорара за «Мулата» доставит мне возможность еще раз съездить за границу и побывать не только опять в Италии, но и в Греции, и в Турции. Мое первое путешествие имело ведь такие благие последствия для моего духовного развития — это было признано всеми, да я и сам признавал, что жизнь и природа — лучшая школа для меня. Я сгорал от желания путешествовать, жаждал побольше узнать из великой книги природы, узнать побольше людей. Душой и сердцем я был еще совсем юн.

Но Гейбергу, бывшему тогда директором-цензором, «Мавританка» не понравилась, он вообще не сочувствовал всей моей деятельности как драматурга. Жена же его, которой я предназначил главную роль, прямо отказалась участвовать в пьесе. Между тем я знал, что без ее участия пьеса не будет иметь успеха, публика не станет ходить смотреть ее, а тогда и прощай моя надежда на путешествие! Я и высказал все это г-же Гейберг, стараясь склонить ее переменить свое решение и не подозревая, что она поступала так из высших соображений; она отказала мне и не особенно деликатно. Я был глубоко уязвлен и не утерпел, чтобы не посетовать на нее в разговорах с разными лицами. Может быть, сетования эти были переданы иначе, а может быть, самый тот факт, что я осмелился сетовать на любимицу публики, показался Гейбергу таким преступлением, что он с тех пор в течение целого ряда лет (теперь, я надеюсь, дело обстоит иначе) оставался моим постоянным противником. Разумеется, он преследовал меня только в мелочах — настоящим, достойным противником себе он меня ведь не признавал. Свое неудовольствие он дал мне почувствовать весьма скоро. Г-жа Гейберг, напротив, — никогда. И если я здесь и высказал, что она однажды огорчила меня, то считаю своим долгом, во избежание каких-либо недоразумений, тут же высказать, что всегда относился к ней с живейшей симпатией, считал ее артисткой первой величины, которая могла бы стяжать себе европейскую известность, будь датский язык столь же распространен, как немецкий или французский. Впоследствии я научился ценить в ней и прекрасную, и благороднейшую женщину, относившуюся ко мне с сердечным участием. Но возвращусь к моему тогдашнему настроению. Несправедливое отношение ко мне и все пе-

редряги с пьесой так сильно подействовали на меня, что я чуть не захворал. Сил моих больше не было, я махнул рукой на свою пьесу и думал только об одном, как бы поскорее выбраться отсюда. Многие на моем месте действительно заболели бы или же разразились бы громами, — последнее было бы умнее. Самое же лучшее было убраться отсюда, и все мои друзья советовали мне это.

«Соберитесь с духом и поскорее уезжайте от всех этих передряг!» — писал мне из Нюсё Торвальдсен. «Уезжайте с Богом!» — говорил мне один добрый друг, чувствовавший, как я страдаю. Эрстед и Коллин тоже укрепляли меня в моем намерении уехать, а Эленшлегер даже прислал мне прощальное напутствие в стихах. Перед отъездом молодые студенты и кое-кто из старейших друзей моих, в том числе издатель мой Рейцель, Ионас Коллин, Эленшлегер и Эрстед, дали мне прощальный обед. В сочувствии и сердечном расположении ко мне этих друзей я и нашел себе некоторое утешение — мне не так уже грустно стало покидать родину. Уехал я в октябре 1840 года, намереваясь вторично посетить Италию, а оттуда проехать в Грецию и в Константинополь. Впечатления этого путешествия переданы мной в *«Базаре поэта»*.

Перед началом самого путешествия, я провел несколько дней в Голштинии, в имении графа Ранцау Брейтенбурга, впервые наслаждаясь богатой голштинской природой, ее степями и полями.

От Магдебурга до Лейпцига только что была проведена железная дорога, и мне предстояло в первый раз увидеть ее и испытать езду по ней. В *«Базаре поэта»* я попытался передать сильное впечатление, произведенное на меня этой поездкой-полетом.

В Лейпциге жил тогда Мендельсон-Бартольди, я должен был навестить его. За год перед тем дочь Коллина и муж ее Древсен привезли мне поклон от Мендельсона, с которым встретились на пароходе на Рейне. Узнав о присутствии на пароходе знаменитого и столь любимого ими композитора, они заговорили с ним, а он, услышав, что они датчане, первым делом спросил, не знают ли они поэта Андерсена. «Он все равно что брат мой!» — ответила г-жа Древсен, и найдена была общая тема для разговора. М. сказал, что ему во время его болезни читали вслух роман *«Только скрипач»*, который ему чрезвычайно понравился и пробудил в нем интерес к самому писателю. Вот он и попросил их передать мне его сердечный привет и приглашение непременно побывать у него, когда мне случится проезжать через Лейпциг. Теперь я приехал сюда, но лишь на один день, поэтому я немедленно пустился разыскивать Мендельсона. Он был на репетиции в *«Gewandhaus»*. Я не назвал своего имени, а просто велел сказать ему, что его непременно желает видеть один приезжий иностранец. Он вышел сердитый, так как его оторвали от занятий. «У меня очень мало времени, и я собственно совсем не могу здесь беседовать с иностран-

цами!» — сказал он мне. «Вы приглашали меня побывать у вас, и я не мог проехать через ваш город, не посетив вас!» — ответил я. «Андерсен! — воскликнул он. — Так это вы!» И лицо его все сияло. Он обнял меня, повел меня в зал и оставил слушать репетицию Седьмой сонаты Бетховена. Мендельсон непременно желал оставить меня у себя обедать, но я был уже приглашен к своему старому другу Брокгаузу, а сейчас же после обеда отходил дилижанс, с которым я должен был отправиться в Нюрнберг. Тогда Мендельсон взял с меня слово провести у него несколько дней на обратном пути, что я и сделал.

В Нюрнберге я в первый раз увидел дагеротипные снимки; говорили, что их снимают в десять минут, и это показалось мне настоящим чудом; в то время искусство это только что было открыто, и ему далеко еще было до того развития, какого оно достигло в наши дни. Дагеротип и железная дорога — вот с какими двумя важными изобретениями познакомился я в это путешествие. Из Нюрнберга я помчался по железной дороге в Мюнхен к старым друзьям и знакомым. Здесь я провел около двух недель, и если земляки мои не особенно интересовались мной, то я с лихвой вознагражден был здесь вниманием иностранцев. «Импровизатор» и «Только скрипач» были известны многим; знаменитый портретист Штилер отыскал меня, открыл мне двери своего дома, и я встретился у него с Корнелиусом, Лахнером и Шеллингом, которого уже знал. Скоро у меня образовался порядочный круг знакомств. Директор Мюнхенского театра, узнав о моем пребывании здесь, предоставил мне постоянное место в партере, рядом с Тальбергом. Познакомился я здесь также с знаменитым живописцем Каульбахом, которого другие художники ставили тогда так низко. Я видел у него картоны «Разрушения Иерусалима», эскизы для «Битвы гуннов» и чудные рисунки к «Рейнеке Лису» и «Фаусту».

2 декабря я уехал из Мюнхена и через Тироль направился в Италию, страну моих грез и пламенных желаний. Итак, мне суждено было увидеть ее опять, вопреки ожиданиям моих земляков, говоривших, что «другой такой случай мне вряд ли представится».

19 декабря я был в Риме и нашел себе хорошее помещение в улице Пурификациони. Опять начались мои странствия по церквям и картинным галереям, снова свиделся я со старыми друзьями и еще раз провел в Риме сочельник, но уже не такой веселый, как в первый раз. Настал и карнавал с праздником «мокколи», но на этот раз все было уже не то. И сам я чувствовал себя не совсем здоровым, и в воздухе висела какая-то тяжесть, не было той свежести, мягкости, какими я наслаждался в первый свой приезд. Земля дрожала, Тибр разлился по улицам, по которым плавали в лодках, лихорадка уносила множество жертв. Князь Боргезе в течение нескольких дней потерял жену и троих сыновей. Погода стояла отвратительная, и много вечеров провел я дома в своей огромной пустынной комнате,



где дуло из окон и из дверей. В камине шипели веточки, один мой бок поджаривался у огня, а другой мерз. Приходилось кутаться в плащ, надевать в комнате теплые сапоги, а ко всему этому меня целые недели донимала по ночам зубная боль. Все эти свои злоключения я и постарался описать в сказке-шутке «*Мои сапоги*».

Незадолго до карнавала приехал в Рим земляк мой, поэт Гольст. Приезд его был для меня истым счастьем, я нуждался в добром, участливом товарище, так как был болен и душой, и телом. Такое болезненное настроение часто заставляет всплывать со дна души старые, горькие воспоминания... Вот одно из стихотворений, которое вылилось у меня в подобную тяжелую минуту:

Ей сердце и душу я отдал на век, —
Она лишь сказала: «Добряк человек!»
Увы! Красотой я не вышел!

В минуту тяжелую друг мой собрал
Житейского яда все капли в бокал
И подал мне: «Пей на здоровье!»

Стихи мои прямо из сердца лились,
Но умные критики живо нашлись:
«Ах, все перепевы из Гейне!»

Потом стали приходить письма из Дании — почти в таком же роде, как и те, что я получал в первое свое пребывание в Риме. Вести были все невеселые. «*Мавританка*» шла несколько раз, но как я и предвидел, за отказом от главной роли г-жи Гейберг, не делала сборов и скоро была снята с репертуара. Одному из моих земляков даже писали, что «*Мавританку*» освистали, чего не было на самом деле. Но прежде чем я успел узнать правду, неприятное известие уже сделало свое дело — расстроило меня. Впоследствии оказалось, что пьеса была принята хорошо, но только, как уже упомянуто, не делала сборов. Г-жа Гольст, исполнявшая главную роль, играла прекрасно и тепло, музыка, написанная к пьесе Гартманом, была весьма характерна, но обставлена пьеса была из рук вон плохо.

Хуже же всего было дошедшее до меня от друзей известие, что Гейберг опять добрался до меня и в своем последнем произведении «*En Sjoel efter Döden*» (*Душа после смерти*), которое теперь занимало всю Данию, «поднял меня на смех». Известие это тем больше мучило меня, что мне не сообщили содержания и сущности направленной на меня сатиры. Я знал только, что меня «подняли на смех», а ведь вдвойне тяжело сознавать себя предметом насмешек и не знать даже, что именно в нас осмеивают.

Я прочел книгу Гейберга лишь по возвращении в Копенгаген, и оказалось, что в ней нет ровно ничего такого, из-за чего мне стоило бы

особенно огорчаться. Гейберг только подшучивал над тем, что моя слава гремит от «Сконии до Hundsrück'a», то есть почти на таком же пространстве, которым ограничивались собственные заграничные экскурсии Гейберга. Ему это не понравилось, он и отправил меня в ад! Самую поэму я нашел прекрасной и даже хотел было сейчас же высказать это в письме к Гейбергу. Но «утро вечера мудренее», и на другое утро я раздумал, опасаясь, что он поймет меня как-нибудь не так.

Благодаря такому позднему разъяснению дела мое вторичное пребывание в Риме, и без того вообще неудачное, было отравлено вконец, и я всей душой рвался поскорее уехать оттуда.

В Неаполе, куда я направился из Рима, было холодно, Везувий и все горы кругом были покрыты снегом; меня продолжала трепать лихорадка, зубная боль не унималась и довела меня до нервного состояния. Но я все-таки скрепился и поехал с земляками в Геркуланум; пока они бродили по отрытому городу, я, однако, сидел в гостинице, у меня опять был пароксизм лихорадки. Затем мы хотели отправиться в Помпею, да к счастью перепутали поезда и приехали назад в Неаполь. Я вернулся уже окончательно больным и только благодаря немедленной помощи в виде кровопускания, на котором настоял мой заботливый хозяин, я избежал смерти. Через неделю я оправился и отплыл на французском военном корабле «Леонид» в Грецию. С берега нас провожали криками «Evviva la gioia!» (Да здравствует радость!) Да, если бы только поймать ее, эту радость!

Я как-то чувствовал, что теперь для меня должна начаться новая жизнь, так оно и случилось. Если это путешествие и не отразилось целиком в каком-либо из позднейших моих произведений, то все же оно наложило отпечаток на все мое мировоззрение и духовное развитие. Я выехал из Неаполя 15 марта, и мне показалось, что теперь я как будто отрешился от всей моей европейской родины; на душе у меня было легко, между мною и всеми горькими воспоминаниями как будто легла полоса забвения; я опять был молод душой и телом, смело и уверенно глядел вперед.

Едва мы бросили якорь близ Пирея, где должны были выдержать карантин, как с берега приплыли к кораблю на лодке несколько моих земляков и немцев. Они узнали из «*Allgemeine Zeitung*» о моем прибытии на этом корабле и хотели сейчас же приветствовать меня хоть издали. Когда же карантин с нас был снят, мои новые друзья увезли меня в Пирей, а оттуда мы покатили по оливковой роше в самые Афины, где я и провел месяц.

Глазам моим открылась новая природа, напоминавшая швейцарскую; небо здесь было еще яснее, еще выше, чем в Италии; все производило на меня глубокое впечатление, будило серьезные мысли. Передо мною как будто раскинулась арена мировой борьбы. Впечатления были так

величественны и богаты, что передать их в каком-нибудь отдельном произведении было бы невозможно. Здесь ведь каждое высохшее русло реки, каждый холм, каждый камень говорят о великих событиях — какими мелкими, ничтожными кажутся здесь все обыденные житейские невзгоды! Голова моя была так переполнена идеями и образами, что я не мог написать ни строчки. Зато здесь мне пришел в голову сюжет, который я долго искал. Я давно хотел высказать в каком-нибудь произведении одну мысль: мысль, что все божественное также обречено на борьбу земную, но презиравшее и унижаемое веками оно в конце концов все-таки торжествует. Я возгорелся желанием высказать эту мысль и нашел подходящий сюжет в легенде о «Вечном Жиде». Благодаря вложенной в это мое произведение идее, оно должно было явиться совершенно не похожим на все остальные многочисленные обработки того же сюжета. Идея эта занимала меня уже в течение нескольких лет, но оформить ее мне все не удавалось. Со мной происходило то же, что, говорят, часто бывает с кладоискателями: вот-вот сейчас схватишь клад, — глядь, он ушел в землю еще глубже! Я стал наконец отчаиваться в том, что когда-нибудь справлюсь с этой задачей, требующей приобретения массы самых разнообразных познаний. И вот я как раз в то время, когда критика, по обыкновению, пела о моем невежестве и нежелании учиться, весьма прилежно учился. Но каждый ведь подразумевает под словом «учиться» свое. Так от одной поучавшей меня дамы я услышал однажды такой совет: «Ведь у вас никаких познаний по мифологии! Ни в одном из ваших стихотворений не является ни одного бога, ни одной богини. Вам непременно надо учиться мифологии! Читайте Корнеля и Расина!»

Наконец у меня накопилось довольно много подготовительного материала, и вот тут-то, в Афинах, я и разобрался в нем и начал своего «Агасфера». Скоро, впрочем, я отложил его в сторону, но охота писать его у меня не проходила, и я утешался мыслью, что и с детьми творческого гения бывает то же, что с обыкновенными человеческими детьми: они растут, пока спят.

21 апреля я отплыл из Пирея в Сиру, а оттуда на французском корабле «Рамзес» отправился в Константинополь. В Архипелаге мы выдержали страшную бурю, я уже подумывал о кораблекрушении и смерти, и, когда окончательно проникнулся убеждением в их неминуемости, мгновенно успокоился, лег в койку и заснул под стоны и вопли пассажиров, смешанные со скрипом и визгом снастей. Когда я проснулся, оказалось, что мы благополучно приплыли в Смирнскую бухту. Перед глазами моими лежала другая часть света. Готовясь ступить на ее почву, я ощущал в душе такое же благоговение, с каким переступал бывало ребенком за ограду Оденсейского кладбища. Я думал об Иисусе Христе, ходившем по этой земле, о Гомере, певшем здесь свои бессмертные песни.

Да, глядя на малоазийский берег, я как будто внимал проповеди, подобной которой мне не приходилось слышать в стенах церкви.

Смирна имела издали очень величавый вид благодаря островерхим красным крышам и минаретам, улицы же в ней были такие же узенькие, как в Венеции; когда по ним пробегал страус или верблюд, пешеходы должны были спасаться в отворенные двери домов.

Вечером мы оставили Смирну. Над могилой Ахилла стояла только что народившаяся луна. В шесть часов утра мы вошли в Дарданелльский пролив...

В Константинополе я прекрасно провел одиннадцать дней. Мое обычное счастье туриста не покинуло меня и тут, как раз во время моего пребывания здесь праздновалось рождение Магомета. Я видел шествие султана в мечеть, войсковой парад, пестрые, празднично разодетые толпы народа, наполнявшие улицы, и блестящую иллюминацию вечером. Все минареты были унизаны огоньками, над всем городом как будто повисла сеть из разноцветных фонариков, сиявших, как звездочки, все корабли и лодки резко выделялись во мраке огненными контурами. Вечер был чудный, звездный, гора Олимп на малоазийском берегу вся горела в лучах заходящего солнца — такой волшебной, фантастической картины я еще не видывал!

Вернуться домой мне хотелось через Черное море и Дунай, но часть Румынии и Болгарии была объята восстанием, и говорили, что христиан убивают тысячами.

Все другие туристы, товарищи мои по отелю, отказались от подобного плана путешествия и советовали мне последовать их примеру — вернуться опять через Грецию и Италию. Я колебался. Я не принадлежу к храбрецам, мне это часто говорили, да я и сам сознаю это, но должен все-таки оговориться, что трушу обыкновенно в пустяках. Когда же дело доходит до серьезного, во мне просыпается настойчивость, воля, которая преодолевает все и чем дальше, тем крепнет все больше. Я дрожу, боюсь и в то же время делаю то, что признаю в данную минуту должным. И я полагаю, что если человек, трусливый от природы, делает все от него зависящее, чтобы преодолеть свою слабость, ему уже нечего стыдиться ее.

Итак, я не знал на что решиться, фантазия рисовала мне всевозможные ужасы, я провел тяжелую, бессонную ночь, а утром пошел к австрийскому уполномоченному, барону Штюмеру, спросить его совета. Он полагал, что особенного риска нет, и я могу ехать, тем более что той же дорогой отправляются с депешами в Вену двое его земляков офицеров — я мог примкнуть к ним. С этой минуты решение мое было принято, и с этой же минуты всякий страх и тревоги оставили меня, я препоручил себя Всевышнему и успокоился.

4 мая вечером я сел на корабль, и мы поплыли по очаровательному Босфору. Во время пути видели мы и непогоду, и туманы, целый день

простояли у города Костендже, близ обвалившегося вала Траяна, а затем покатали в больших плетеных телегах, запряженных белыми волами, по пустынной равнине, которую и проехали в два дня. О беспорядках в стране мы слышали только приблизившись на пароходе к Рушуку. На другой день мы увидели с парохода покрытые снегом Балканы; все пространство страны, находящееся между ими и нами было тоже объято мятежом; мы узнали об этом следующей ночью. Вооруженный татарин, везший письмо из Виддина в Константинополь, был пойман и убит, с другим, кажется, было то же, а третьему как-то удалось спастись. Он спрятался в придунайских камышах и дождался нашего парохода. Вид этого человека, в одежде из шкур, вывороченных шерстью наружу, и обвешанного с головы до ног оружием, был просто страшен. Он ехал с нами почти целый день. В Виддине мы высадились, и нас подвергли сильному обкуриванию, опасаясь, чтобы мы не занесли в город чумной заразы из Константинополя. Губернатор Виддина, Гуссейн-паша, прислал нам все последние номера «Allgemeine Zeitung», и мы уже из европейского источника узнали, в каком положении находились дела страны.

Проехав по Сербии, Румынии, Венгрии и Австрии, я наконец добрался до Дрездена, а оттуда уже обычным путем направился на родину.

Прибытие мое в Гамбург как раз совпало с большим музыкальным фестивалем здесь, и я встретил за табльдотом много земляков. Я сидел рядом с кем-то из друзей и рассказывал ему о прекрасной Греции и роскошном востоке. Вдруг одна из соседок, пожилая дама из Копенгагена, обратилась ко мне с вопросом: «Ну, а видели ли вы, господин Андерсен, в своих далеких путешествиях что-нибудь красивее нашей маленькой Дании?» «Конечно! — ответил я. — И даже много красивее!» «Фи! — воскликнула она. — Вы не патриот!»

Через Оденсе мне случилось проезжать как раз во время ярмарки. «Как это мило с вашей стороны! — сказала мне одна почтенная тамошняя жительница. — Подогнать свою огромную поездку так, чтобы захватить здесь ярмарку! Да, я всегда говорила, что вы любите Оденсе!» Итак, здесь я оказывался патриотом.

Близ Слагельсэ же произошла одна встреча, которая произвела на меня особенное впечатление. Живя в Слагельсэ еще в годы учения моего, я каждый вечер видел, как почтенный пастор Бастгольм и его жена выходили из калитки своего сада на прогулку, шли по тропинке через поле, сворачивали на проезжую дорогу и возвращались домой. И вот теперь я возвращался назад на родину из путешествия по Греции и по Турции и, проезжая мимо Слагельсэ, увидел престарелую чету, совершающую ту же обычную прогулку. Меня охватило какое-то странное чувство: они-то по-прежнему из года в год совершают ежедневно все ту же коротенькую прогулку, а я облетел за это время пол-Европы! Какой контраст между моей и их жизнью!

В середине августа я прибыл в Копенгаген и на этот раз меня уже не мучили разные страхи, как в первое мое возвращение домой из Италии. Я от души радовался свиданию со всеми дорогими, близкими мне людьми, и у меня невольно вырвалось: «Первые минуты по возвращении — букет всего путешествия!»

Вскоре вышедший *«Базар поэта»* состоял из нескольких отдельных частей под заглавием: *«По Германии»*, *«По Италии»*, *«По Греции»* и т. д. Отдельные главы я посвятил лицам, имена которых упоминались в них и к которым я чувствовал искреннюю признательность и привязанность. Поэт, как птица, дает, — что у него есть — песню, и я хотел отдарить песнью каждого из дорогих моему сердцу людей.

На родине моего намерения, однако, не захотели понять и ухватились за эти посвящения, как за новое доказательство моего тщеславия. Мне, дескать, непременно хотелось связать свое имя с именами известных лиц, похвастаться дружбой с ними! Книга между тем шла отлично, но настоящей критики на нее не появлялось. Отозвались о ней лишь некоторые газеты. Общее мнение сводилось к тому, что книга «слишком богата содержанием». «Эту книгу следовало бы разбить на более мелкие главы, чтобы можно было усвоить ее себе постепенно! — сказал мне один умный, расчетливый писатель. — Тогда бы она выиграла!» Большинство же газетных статей были по своей глупости и мелочной придиристичности просто жалки. На таких критиков собственно не стоило даже сердиться, но как бы ни был миролюбив человек, ему невольно хочется отхлестать мокрых собак, забравшихся к нему в комнату и расположившихся в самых лучших уголках! Успеху книги критики, впрочем, не помешали.

Позже появилось несколько изданий ее в немецком переводе, так же, как и в шведском, особенно же изящно была издана она в английском переводе, и английская критика отзывалась о ней с большим сочувствием. Экземпляр этого издания (с моим портретом) в изящном переплете был послан издателем Ричардом Бентлэем королю Христиану VIII вместе с изданиями ранее появившихся переводов других моих произведений. Такие же издания были присланы ему и из Германии, и король порадовался тому успеху, каким я пользовался за границей. Высказывая свое удовольствие по этому поводу Эрстеду и другим, он выразил также свое удивление совершенно противоположному отношению ко мне родной печати. Мне было особенно отрадно услышать все это от Эрстеда, почти единственного человека из близких мне лиц, который постоянно признавал во мне поэтические дарования, ободрял меня и предсказывал, что рано или поздно талант мой признают не только за границей, но и на родине. Мы часто вообще обсуждали с ним вопрос: чем собственно приходится объяснить такое отношение ко мне со стороны моих земляков и сошлись на нескольких наиболее

бросающихся в глаза причинах. Одной из них приходилось признать мою прежнюю бедность и зависимое положение, земляки мои не могли забыть, как это верно подметили за границей, что видели меня бедным мальчишкой. Другой причиной было, как это высказал мой биограф в «Датском Пантеоне», мое неумение пользоваться теми средствами, которыми ловко пользуются иногда другие писатели, выезжающие на дружбе с нужными лицами. Затем причины следовало искать в личном неблаговолении ко мне такого влиятельного органа печати, как «Литературный ежемесячник» и глумлении надо мною в «Письмах с того света», положивших начало общей критической травле меня. Наконец, косвенной причиной являлось вообще свойственная датчанам чуткость ко всему смешному, а уж такова была судьба моя, что я благодаря неумелой услужливости некоторых доброжелательных журналистов часто являлся в смешном свете. Так, одно время оденсейская газета постоянно величала меня: «Дитя нашего города» и то и дело сообщала обо мне сведения, которые никоим образом не могли интересовать публику. Затем часто выхватывали клочки из моих писем к частным лицам и печатали их в газетах, что опять выходило смешно. Так, например, раз я написал кому-то на родину, что видел в Сикстинской капелле королеву Христину, которая очень напомнила мне наружностью жену нашего композитора Гартмана. Сообщение это сейчас же появилось в одной фионской газете, но редакция не пожелала называть имени частного лица, и вышло, что «королева Христина напомнила Андерсену известную особу из Копенгагена!» Ну, как было не посмеяться над этим! Да, мне не раз пришлось убедиться в том, что неловкая услуга только вредит.

С тех пор я боюсь вообще разговаривать с легкомысленными редакторами газет, но не всегда удается избежать этого. Вот, например, как я без всякой вины с моей стороны опять был поднят на смех.

Случилось мне на почтовой станции в Оденсе полчаса подождать дилижанса; там столкнулся со мной один редактор и спросил: «Опять за границу?» «Нет!» — ответил я. «И не подумываете?» — «Это зависит от того — будут ли у меня деньги. Теперь я пишу одну вещь для театра. Будет она иметь успех — тогда можно будет и подумать о путешествии». — «А куда вы тогда направитесь?» — «Еще не знаю! Или в Испанию, или в Грецию!» И в тот же вечер в газете было напечатано приблизительно следующее: «Г. Х. Андерсен работает над новой вещью для театра и, если она будет иметь успех, он поедет за границу в Испанию или в Грецию».

И эта заметка, разумеется, подала повод к смеху, и одна копенгагенская газета совершенно верно заметила, что о поездке этой еще вилами на воде писано: сначала надо, чтобы самая вещь была написана, принята и имела успех, а тогда... да и тогда еще неизвестно, куда я

поеду: в Испанию или в Грецию! Надо мною смеялись, а тот, над кем смеются, всегда в проигрыше. Я сделался очень чувствительным и щепетильным и имел неосторожность не скрывать этого. Бывает, что ребятишки бросают в бедную собачонку, борющуюся с течением, камнями, но вовсе не всегда из злобы, а скорее ради забавы; вот так же ради забавы потешались и надо мною. И никто не хотел заступиться за меня, я ведь не принадлежал ни к какому кружку, ни к какой партии. Ну вот и приходилось терпеть, а между тем и тогда уже говорили и писали, что я вращаюсь в кружках, состоящих из одних моих поклонников. Вот как бывают иногда сведущи люди! Я пишу все это вовсе не в виде жалобы, я отнюдь не желаю набросить малейшую тень на людей, которых искренно люблю, я ведь уверен, что случись со мною настоящее несчастье, они бы употребили все усилия, чтобы спасти меня. Повторяю, в их участии ко мне я не сомневался, но оно было иного рода нежели то, которое нужно поэту и в котором так нуждался именно я. И самые близкие из моих знакомых не меньше самых строгих моих критиков удивлялись необычайному успеху моих трудов за границей и громко высказывали свое удивление. Фредерика Бремер была очень поражена этим. В бытность ее в Копенгагене случилось нам встретиться с ней в гостях в одном доме, где меня, по общему мнению, чересчур баловали; рассчитывая сообщить обществу нечто приятное, она заговорила «о той необыкновенной любви, которой пользуется Андерсен в Швеции от Скони до самого севера! Почти в каждом доме вы найдете его сочинения!» — «Ну, пожалуйста, не вскружите ему головы!» — ответили ей на это и всерьез.

Много толкуют о том, что дворянство, благородное происхождение ныне не имеет уже значения — все это одни пустые разговоры. Даровитый студент, бедняк, из простых, редко встречает в так называемых хороших домах тот вежливый и радушный прием, который оказывают разодетому дворянчику или сынку важного бюрократа. Примеров я мог бы привести немало, но удовольствуюсь одним — из собственной жизни. Имен я называть не буду — это безразлично, довольно знать, что дело идет о лице, занимавшем весьма почетное положение.

Король Христиан VIII в первый раз по восшествии на престол посетил театр, шла как раз моя драма «*Мулат*». Я сидел в первых рядах партера рядом с Торвальдсеном, и он при закрытии занавеса шепнул мне: «Король вам кланяется!» «Нет, это, верно, вам! — ответил я. — Не может быть, чтобы мне!» Затем я поглядел на королевскую ложу, король опять кивнул — именно мне, но я чувствовал, что возможная ошибка с моей стороны страшно отозвалась бы потом на мне, и поэтому остался сидеть неподвижно. На другой день я отправился к его величеству поблагодарить его за такую необыкновенную милость, и он посмеялся тому, что я не сейчас же ответил на нее. Спустя несколько дней, в

Христиансборгском дворце предстоял бал для представителей всех классов общества. Был приглашен и я.

«Что вам там делать?» — спросил меня один из наших маститых представителей науки, когда я заговорил в его доме об этом празднестве. — «Что вам делать в подобном кругу?» — повторил он. Я и ответь в шутку: «В этом-то кругу я лучше всего и принят!» «Но вы не принадлежите к нему!» — сказал он сердито. Мне оставалось только и на это ответить шуткой, как будто я нисколько и не был задет: «Что ж, если сам король кланяется мне из своей ложи в театре, то отчего ж бы мне и не появиться на балу у него!» «Король кланялся вам из ложи! — воскликнул он. — Да, но и это еще не дает вам права лезть во дворец!» «Но на этом балу будут люди и из того сословия, к которому принадлежу я! — сказал я уже серьезнее. — Там будут студенты!» «Да, какие?» — спросил он. Я назвал одного молодого студента, родственника моего собеседника. «Еще бы! — подхватил он. — Он ведь сын статского советника! А ваш отец кем был?» Тут уж меня забрало за живое, и я ответил: «Мой отец был ремесленником! Своим теперешним положением я после Бога обязан себе самому, и, мне кажется, вам бы следовало уважать это!..» И почтенному ученому никогда не приходило на ум извиниться передо мной за сказанное.

Рассказывая о горьких минутах своей жизни, трудно вообще соблюсти должное беспристрастие, трудно и не задеть кого-нибудь из тех, кто в свое время больно задел нас, поэтому я и опускаю здесь большинство осушенных мною чаш горечи, а останавливаюсь лишь на нескольких отдельных капельках. Такие остановки нужны для освещения кое-чего в моих произведениях, и они особенно уместны здесь, так как после моего возвращения из второго большого путешествия и появления *«Базара поэта»* мне вообще зажилось легче. Критика, если и не совсем еще перестала поучать меня, то все же стала относиться ко мне лучше, если на челн мой и набегали еще иногда сердитые шквалы, то все же с этих пор он чаще нес меня по спокойной глади житейского моря, и я мало-помалу добивался того признания моих трудов, какого только вообще мог пожелать от своих земляков и какое предсказывал мне Эрстед.

IX

В то время политическая жизнь со всеми ее хорошими и дурными сторонами достигла в Дании уже довольно высокой степени развития. Красноречие, до сих пор полусознательно пробавлявшееся, по примеру известного древнего философа, маленькими камешками во рту, камешками повседневной жизни, теперь свободнее двинулось навстречу высшим интересам. Я, однако, не чувствовал ни способности, ни нужды вмешиваться

в политику, да и вообще считаю увлечение политикой пагубным для поэта. Госпожа политика, вот — Венера, заманивающая поэтов в свою гору на погибель их. С политическими песнями этих поэтов бывает то же, что с разными летучими листками, которые чуть появятся в свет, жадно разбираются, читаются и — бросаются. В наше время все хотят править, личность выступает на первый план, но большинство забывает, что многое, хорошее в теории, неприменимо на практике; забывают, что с вершины дерева многое кажется совсем иным, нежели снизу, тем, кто сидит у корней его. Я, впрочем, охотно преклоняюсь перед всяким, будь то князь или простой крестьянин, кто желает лишь блага и способен вести к нему. Политика же не мое дело; Бог определил мне иную задачу, я всегда чувствовал и буду чувствовать это!

Среди так называемых лучших фамилий страны я встретил немало сердечно расположенных ко мне людей, которые, приняв меня в свой интимный круг, предоставили мне возможность пользоваться летним отдыхом в их богатых имениях. Там я мог, наконец, вволю наслаждаться природой, лесным уединением и изучать помещичью и сельскую жизнь, там я и написал большинство моих сказок и роман *«Две баронессы»*. Там, у тихих озер, в глубине лесов, на зеленых лужайках, где из кустов то и дело взлетала и выпрыгивала дичь, где важно разгуливал красноногий аист, я не слышал ни о политике, ни о полемике, не слышал рассуждений по Гегелю. Я слышал там лишь голос природы, говорившей мне о моей миссии. Часто и подолгу гостил я, между прочим, в Нюсё, имении баронессы Стампе, и пользовался там обществом Торвальдсена, для которого было построено в саду имения прекрасное ателье. Здесь я сблизился с великим скульптором, узнал его и как художника, и как человека. Это была одна из интереснейших эпох в моей жизни. Вскоре я поговорю о ней подробнее.

Общение с представителями различных слоев общества имело для меня огромное значение. Я находил благородных людей и среди высшего дворянства, и среди беднейших простолюдинов; хорошими, лучшими своими свойствами все мы похожи друг на друга.

Большую же часть времени я проводил все-таки в Копенгагене в доме Ионаса Коллина и в семьях его замужних дочерей и женатых сыновей, окруженных детьми. Все теснее сближался я также с нашим гениальным композитором Гартманом, его полная жизни и задушевности супруга являлась настоящей волшебницей своего домашнего очага, разливавшей вокруг себя солнечный свет и теплоту. Сам Гартман был натурой пламенной, гениальной и удивительно наивной и задушевной. Старый мой покровитель Коллин был моим постоянным советчиком в практической жизни, Эрстед — в литературной деятельности, и мы сходились друг с другом все ближе и ближе. О его влиянии на меня буду еще иметь случай поговорить обстоятельнее.

Вечера я обыкновенно проводил в театре — театр был, так сказать, моим клубом. Как раз в этот год я получил постоянное место в так называемом «придворном паркете», отделявшемся от остальной части партера железной палкой. По существовавшим тогда правилам каждый драматург, поставивший на сцене королевского театра хоть одну пьесу, получал бесплатное место в партере; две пьесы давали ему право на место во «втором паркете», а три — в «первом придворном»¹. Дело шло, разумеется, о так называемых «вечерних» пьесах, то есть о таких, которые занимали весь вечер, маленьких же требовалось больше — столько, чтобы они в совокупности также могли занять три полных вечерних представления. Автору, удовлетворявшему таким условиям, открывался доступ в придворный паркет, где по повелению короля были отведены места его придворным кавалерам, дипломатам и первым сановникам государства. Рассказывают, что одному актеру-драматургу, получившему место в придворном паркете, сказали: «Ну вот, теперь вам открыт вход туда, но держите себя скромно — там сидит все знать!» Теперь и я удостоился этой чести, получил право сидеть рядом с Торвальдсеном, Вейзе, Эленшлегером и другими. Торвальдсен обыкновенно просил меня садиться рядом с ним, чтобы беседовать с ним и объяснять ему все непонятное; я и занимал соседнее с ним кресло во все последние годы его жизни. Эленшлегер также часто бывал моим соседом, и много раз (вряд ли кто и подозревал об этом!) душа моя исполнялась благочестивого смирения; я перебирал в уме разные периоды моей жизни с того времени, когда я еще сидел на самой последней скамейке в ложе фигуранток, в третьем ярусе, когда преклонял колена посреди пустой и темной сцены и читал «Отче наш», до настоящего, когда я сижу между первыми людьми страны! А земляки-то мои, пожалуй, думали: «Вот сидит себе рядом с двумя гениями и важничает!» Пусть увидят из этой моей исповеди, как неверно они судили обо мне! Я был полон смирения и воссылал Богу горячие молитвы, прося Его даровать мне силы заслужить свое счастье. И пошли мне Бог навсегда сохранить такие чувства! Я каждый вечер видел здесь Торвальдсена и Эленшлегера, оба дарили меня своей дружбой, оба сияли крупнейшими звездами на северном небосклоне и так как оба имели на меня такое сильное влияние, то я и поговорю о них поподробнее.

В Эленшлегере было что-то такое открытое, детски-привлекательное — разумеется, когда он бывал в дружеском кружке, а не в большом обществе — там он был тих и больше держался в стороне. Значение Эленшлегера для Дании, для всего Севера уже известно. Он

¹ Партер датского королевского театра делится на три части: заднюю — собственно партер, среднюю — второй паркет и ближайшую к сцене — придворный паркет. — *Примеч. перев.*

был истинный, природный и вечно юный поэт и даже в старости превосходил богатством своего творчества всех молодых. С истинно дружеским участием прислушивался он к первым звукам моей лиры и, если в течение долгого времени никогда и не высказывался в мою пользу с особенным жаром, то все же горячо возражал против несправедливых и безжалостных нападок на меня со стороны критики. Однажды он нашел меня сильно расстроенным от чересчур строгого и жесткого обращения со мной, крепко обнял меня и сказал: «Не обращайтесь внимания на этих крикунов! Говорю вам — вы истинный поэт!» Затем он высказал свое мнение о родной поэзии, ее представителях и критиках и, наконец, обо мне самом. Он сердечно и искренно оценил поэта-сказочника и, слушая однажды чей-то строгий отзыв обо мне по поводу моих «орфографических грешков», горячо воскликнул: «Ну и пусть их! Это присущие ему характерные мелочи! Не в них же суть! Экие грехи, подумаешь! Да Гете раз показали в одном из его произведений такую ошибочку, а он что сказал? — «Пусть ее останется, каналья!» — и не захотел даже исправить ее». Позже я еще вернусь к личности Эленшлегера и нашему знакомству в последние годы его жизни, когда мы сошлись еще ближе. Автор моей биографии, помещенной в *«Датском Пантеоне»*, нашел во мне и Эленшлегере одну родственную черту. Вот что он говорил в предисловии:

«В наши дни все реже и реже бывает, что художник или поэт выступает на свое поприще единственно в силу непреодолимого природного влечения, чаще их наталкивает на него судьба или обстоятельства. И в творчестве большинства наших поэтов сказывается скорее раннее знакомство со страстями, ранние душевные тревожнения или чисто внешние побуждения, нежели первобытное природное призвание. Представителями последнего можно с уверенностью назвать почти только двух: Эленшлегера и Андерсена. И только этим и можно объяснить себе тот факт, что первый так часто являлся у себя на родине предметом критических нападок, а последний был признан прежде всего за границей, где цивилизация старше, и у людей уже отбит вкус к школьной дрессировке и развито обратное стремление к первобытной естественной свежести, тогда как мы, датчане, все еще благочестиво преклоняемся перед унаследованным от предков ярмом школы и перед отжившей отвлеченной мудростью».

Я уже рассказал, что первое мое знакомство с Торвальдсеном произошло еще в 1833 году в Риме. Осенью же 1838 года его ждали в Данию и готовили ему торжественную встречу. На башне Св. Николая должны были выкинуть флаг, как только корабль, на котором находился Торвальдсен, покажется на рейде. Встреча должна была обратиться в национальный праздник. Лодки, украшенные цветами и флагами, занимали все водное пространство от Лангелинии до крепости. Художники,

скульпторы, писатели — все явились со своими знаменами. На знамени студентов красовалась Минерва, на нашем писательском — золотой Пегас. Всю эту картину можно видеть теперь на фреске, украшающей наружные стены музея Торвальдсена: на ней видны стоящие в лодке Эленшлегер, Гейберг, Герц и Грунтьиг, я изображен стоящим в лодке на скамье, одной рукой я обнимаю мачту, а другой машу в воздухе шляпой. В самый день торжества погода была туманная, и корабль заметили, только когда он подошел уже совсем близко. Раздались сигналы, народ бросился на набережную. Все писатели, созванные Гейбергом, который был распорядителем, уже стояли у своей лодки, лежавшей у набережной, но доставало еще Эленшлегера и самого Гейберга. Приходилось ждать, а между тем с корабля уже раздался пушечный выстрел, и самое судно бросило якорь. Я предвидел, что Торвальдсен высадится на берег, прежде чем мы подоспеем встретить его на рейде. Ветер уже донес до нас звуки приветственных песен, торжество началось; я непременно хотел участвовать в нем и предложил другим отправиться. «Без Эленшлегера, без Гейберга?» — воскликнули те. «Да ведь их еще нет, а скоро уж все и кончится!» Кто-то, указывая на Пегаса, сказал, что без Эленшлегера и Гейберга я, верно, не решусь плыть под этим знаменем. «А мы его бросим на дно лодки!» — сказал я и снял знамя с древка. Другие тоже уселись в лодку, мы поплыли и подоспели на место, как раз когда Торвальдсен отплывал к берегу. Там же встретили мы и Эленшлегера с Гейбергом, которые приплыли в другой лодке, а теперь пересели к нам. Все утро стояла пасмурная погода, но теперь солнце вдруг прорвалось сквозь облака, и над Зундом перекинулась чудная радуга, словно «триумфальная арка для Александра Македонского». Да, это поистине был въезд Александра! На берегу раздавались восторженные клики народа, теснившегося вокруг экипажа Торвальдсена; лошадей выпрягли, и толпа повезла его в академию художеств. Туда же хлынула и вся публика: в квартиру к нему входили все, кто только был с ним хоть мало-мальски знаком или имел такого знакомого, который мог ввести его туда. На площади целый день до позднего вечера стояли толпы, глазевшие на знакомые красные стены Шарлоттенбургского дворца¹, — за ними ведь находился Торвальдсен. Вечером представители искусств дали ему серенаду. Под высокими деревьями ботанического сада образовался целый костер из сброшенных в кучу смоляных факелов участников шествия. Стар и млад стремился в открытые двери академии, и чествуемый старец приветливо обнимал и целовал всех знакомых. В глазах всех он был окружен каким-то сиянием, и это-то и заставляло меня держаться в стороне. Сердце мое билось от радости при виде того, кто так сердечно относился ко мне

¹ В этом дворце помещается академия художеств. — *Примеч. перев.*

на чужбине, крепко обнимал меня и говорил: «Мы должны навсегда остаться друзьями». Но видя его теперь в таком ореоле славы, центром всех взглядов, следивших за каждым его движением, я благоразумно держался в тени, стараясь не попасться ему на глаза. Ведь если бы я подошел к нему, меня бы тотчас же заметили и осудили. Да, осудили, как тщеславного человека, желавшего показать, что «и я, дескать, тоже знаком с Торвальдсеном! И я пользуюсь его благосклонностью!» Только несколько дней спустя, рано утром, когда никто не видел этого, никого не было у него, я решился зайти к нему, и нашел в нем того же милого, сердечного, откровенного друга. Он радостно обнял меня и высказал свое удивление, что только теперь видит меня у себя.

В честь Торвальдсена было устроено что-то вроде торжественного музыкально-литературного вечера. Каждый из поэтов должен был написать и прочесть на нем свои стихи, посвященные великому скульптору. В моих стихах говорилось о Язоне, пустившемся на поиски за золотым руном, о Язоне-Торвальдсене, пустившемся на поиски за золотым искусством. Торжество окончилось танцами, было очень оживленно и многолюдно — сам Торвальдсен, весь сияя от удовольствия, выступал в полонезе об руку с молоденькой фрекен¹ Пуггор, впоследствии женой Орлы Лемана, теперь уже умершей. В эти праздничные дни впервые на моей памяти отразилось живое участие к искусству со стороны народа.

Студенты приняли Торвальдсена в свой кружок постоянным членом, и я по этому поводу написал стихи, принятые с восторгом и до сих пор еще, кажется, популярные:

Студентом стал ты и ей-Богу
Как раз октябрьским новичком!
Пробил себе ты путь-дорогу
Своим резцом да молотком!
«Вам о Гомере что известно?»
Ты рыться в памяти не стал —
Из глины гений твой чудесно
Всю «Илиаду» воссоздал!..

С этих пор я ежедневно видел Торвальдсена в обществе или у него в ателье. Много недель подряд провел я также вместе с ним, гостя в Нюсё, где он постоянно был дорогим, желанным гостем, за ним ухаживали там, как за самым близким родным человеком, забавляли его и побуждали к деятельности; большинство его чудных произведений, созданных на родине, и были созданы именно в Нюсё. Здоровая, прямая натура Торвальдсена не была лишена юмора, и он поэтому особенно любил Гольберга. «Мировой скорби» он знать не хотел, вследствие чего и не

¹ То есть барышней.

жаловал Байрона. Однажды, гостя в Нюсё, я вошел утром в его ателье, где он работал над собственной статуей. Я пожелал ему доброго утра, но он как будто и не заметил меня, продолжая усердно работать. Потом он отступил от статуи на шаг и стал смотреть на нее, крепко стиснув свои здоровые белые зубы, как делал всегда, когда внимательно рассматривал свою работу. Я тихонько удалился. За завтраком он был еще менее словоохотлив, чем обыкновенно, к нему начали приставать, и он отрывисто вымолвил: «Я говорил утром битый час, наговорился за несколько дней, а меня никто не слушал. Я знал, что сзади меня стоит Андерсен — он только что здоровался со мною, — и начал рассказывать ему длинную историю о Байроне. Рассказываю, рассказываю и жду в ответ хоть словечка... Оборачиваюсь — никого! Это я целый час разговаривал со стенами!» Мы стали просить его повторить нам эту историю, но он рассказал ее лишь вкратце. «Дело было в Риме! — начал он. — Я работал тогда над статуей Байрона. Он позировал передо мною, но как только уселся, сейчас же начал корчить совсем другое лицо. «Ну что же, будете сидеть смирно! — сказал я ему. — Не надо гримасничать!» «У меня всегда такое выражение!» — ответил он. «Вот как!» — сказал я и изобразил его по-своему. Все нашли, что статуя вышла похожа, только сам он говорил: «Это не я! Я смотрю гораздо несчастнее!» Ему, видите ли, непременно хотелось выглядеть несчастным!» — закончил Торвальдсен с иронической улыбкой.

Большое удовольствие доставляло великому скульптору дремать после обеда под звуки фортепьяно, а величайшей забавой была для него игра в лото. Баронесса обыкновенно каждый вечер и являлась в гостиную с мешочком костяшек, и начиналась игра. Все жители Нюсё выучились играть в лото, играли на костяшки, и поэтому мне нечего скрывать, что Торвальдсен был охотник выигрывать, ну, ему и давали выигрывать, и это доставляло великому человеку несказанную радость.

Торвальдсен всегда готов был горячо вступить за тех, к кому, по его мнению, относились несправедливо — несправедливости, насмешек, особенно, если в них проглядывало злое чувство, он не переносил и восставал против них, с кем бы ему ни приходилось иметь дело. В Нюсё, как сказано, за ним просто ухаживали. Баронесса Стампе любила его, как отца, и только и думала, как бы угодить ему.

В Нюсё я написал несколько моих сказок, между прочим, и «Оле-Закрой глазки». Торвальдсен слушал их с удовольствием и интересом, хотя вообще-то сказкам моим еще не придавали тогда на родине особого значения. Часто в сумерки, когда вся семья собиралась в комнате, выходящей в сад, Торвальдсен тихонько подходил ко мне, хлопал меня по плечу и говорил: «Ну, будет нам, деткам, сегодня сказочка?» Со своей обычной прямоотой и естественностью он высказывал мне самое лестное одобрение, хваля мои произведения, особенно

за их правдивость. Его забавляло слушать одни и те же сказки по несколько раз и часто, работая над самыми своими поэтическими произведениями, он с улыбкой прислушивался к сказкам «*Парочка*», «*Безобразный утенок*» и другим.

У меня был талант импровизировать маленькие стишки и песенки, что тоже очень забавляло Торвальдсена. Однажды, когда он только что окончил лепить из глины бюст Гольберга и любовался им, меня попросили сказать какой-нибудь экспромт по поводу этой работы. Я и сказал:

Лишь стоит глиняную форму мне разбить,
«Дух улетит, и Гольберг ваш умрет!» —
Сказала смерть. Но рек Торвальдсен: «Будет жить!»
И вновь вот в этой глине он живет!

Торвальдсен лепил свой большой барельеф «*Шествие на Голгофу*», который ныне украшает церковь Богоматери, и я раз как-то утром зашел посмотреть его работу. «Скажите мне, — спросил он, — верно ли я одел Пилата? Как по-вашему?» «Не смейте ничего говорить ему! Все верно, все превосходно!» — закричала баронесса Стампе, которая почти безотлучно находилась возле Торвальдсена. Но Торвальдсен повторил свой вопрос. «Ну, хорошо! — сказал я. — Если уж вы спрашиваете меня, то я скажу, что, по-моему, Пилат ваш одет скорее, как египтянин, нежели, как римлянин!» «Ну вот, не казалось ли этого и мне!» — сказал Торвальдсен, протянул руку и уничтожил фигуру. «Теперь вы причиной, что он уничтожил бессмертное творение!» — вскричала баронесса. «Создадим новое бессмертное творение!» — весело сказал Торвальдсен и вылепил нового Пилата, которого мы теперь видим на барельефе в церкви Богоматери.

Летом Торвальдсен ежедневно уходил купаться в купальню, находившуюся на взморье, довольно далеко от усадьбы. Раз я встретил его уже на обратном пути домой, и он весело закричал мне: «Ну, сегодня я чуть было совсем не остался там!» И он рассказал, что, вынырнув из воды, он попал головой под дверь купальни и так ударился об нее, что чуть не высадил ее из петель. «Потемнело маленько в глазах, да и прошло! А случись со мной обморок, пришлось бы вам искать меня там, в воде!»

Последний день его рождения был торжественно отпразднован в Нью-сё. Затеяли спектакль: были поставлены водевиль Гейберга «*Апрельские шутки*» и «*Сочельник*» Гольберга, а я написал застольную песню, которую и спели за обедом. Кроме того, я симпровизировал еще другую. Баронесса призвала меня к себе рано утром и сказала, что Торвальдсена, наверное, очень позабавит, если мы разбудим его утренней музыкой, ударяя в гонг, колотя по сковороде вилками, ножами, вода пробкой по стеклу и прочее. При этом надо было также петь что-нибудь, все равно что, лишь бы веселое. И вот она тут же заставила меня написать шутивную песенку, которую мы и исполнили перед комнатой Торвальдсена.

Я пел соло, а остальные хором подхватывали припев под оглушительный аккомпанемент наших музыкальных инструментов. Скоро Торвальдсен вышел из комнаты, еще в халате и в туфлях, и, размахивая своим рафаэлевским беретом, пустился вместе с нами в пляс, повторяя тот же припев:

Будем топать мы ногами,
Пусть с нас льется пот ручьями.

Сколько жизни и веселья кипело в этом бодром, крепком старике!

В самый день смерти его я еще сидел с ним рядом за столом. Мы обедали у барона и баронессы Стампе, которые зимой жили в Копенгагене на улице Кронпринцессы. Кроме нас обедали Эленшлегер, художники Сонне и Константин Гансен. Торвальдсен был необыкновенно весел, пересказывал разные остроты *«Корсара»*¹, которые его очень забавляли, и говорил о своей предполагаемой поездке в Италию. День был как раз воскресный, и вечером в королевском театре шла в первый раз трагедия Гальма *«Гризельда»*. Эленшлегер собирался в этот вечер что-то читать Стампе. Торвальдсена больше тянуло в театр, и он звал меня с собой, но в этот вечер мой авторский билет был недействителен и я, зная, что пьеса пойдет и завтра, решил подождать. Я простился с Торвальдсеном и пошел к дверям, а он остался подремать в кресле и уже закрыл глаза. В дверях я обернулся, а он как раз в эту минуту открыл глаза, улыбнулся мне и кивнул головой. Это было его последнее прости.

Весь этот вечер я просидел дома, а утром слуга отеля, где я жил, сказал мне: «Удивительно, что случилось с Торвальдсеном! Вдруг умер вчера!» «Торвальдсен! — воскликнул я, пораженный. — Он и не думал умирать! Я обедал с ним вчера!» «Говорят, он умер вчера в театре!» — сказал слуга. «Он, верно, заболел только!» — возразил я, вполне веря этому, но сердце мое как-то сжималось от страха. Я схватил шляпу и поспешил в квартиру Торвальдсена. Тело его лежало на постели. Комната была полна набравшимися сюда чужими людьми, на полу стояли лужи от снега, нанесенного ими в комнату, воздух был тяжелый, спертый, никто не говорил ни слова. Баронесса Стампе сидела у постели и горько плакала. Я был глубоко потрясен.

Похороны Торвальдсена были скорбным национальным торжеством.

Все тротуары, все окна домов были сплошь заняты мужчинами и женщинами в трауре, все невольно обнажали головы, когда печальная колесница проезжала мимо. Тишина и порядок были удивительные, даже буйные уличные мальчишки и дети последних бедняков стояли смирно, держась за руки и образуя цепи по обеим сторонам улиц, по которым везли гроб. У церкви Богоматери гроб был встречен самим королем Христианом VIII. Вот загудел церковный орган, раздались дивные могучие

¹ Датский сатирический журнал. — Примеч. перев.

звуки похоронного марша Гартмана, и, казалось, будто сами хоры ангелов присоединились к оплакивавшим Торвальдсена людям. Студенты пропели над гробом мою песнь, тоже положенную на музыку Гартманом.

Дорогу дайте к гробу беднякам —
Из их среды почивший вышел сам!
Страну родную он резцом прославил
И память по себе на век оставил.
Так гимном плач пускай звучит в устах:
Покойся с миром, славный прах!..

Х

Летом 1842 года я дал актерам королевской труппы для летних спектаклей маленькую вещицу *«Птица на грушевом дереве»*. Пьеска имела такой успех, что дирекция включила ее в репертуар королевского театра, а г-жа Гейберг даже настолько заинтересовалась ей, что взяла на себя исполнение роли героини. Публике пьеска казалась очень забавной, подбор мелодий находили в высшей степени удачным, и я был вполне спокоен за ее участь, как вдруг на одном из зимних представлений ее освистали. Свистели несколько молодых людей, разыгрывавших роль вожаков, когда же их спросили о причине, они отвечали: «Безделка эта пользуется уж чересчур большим успехом. Андерсен может зазнаться!» Сам я в этот вечер не был в театре и не подозревал ни о чем. На другой день мне случилось быть в гостях. У меня болела голова, и я смотрел несколько пасмурно, а хозяйка дома, думая, что мое настроение находится в связи со вчерашним инцидентом, с участием взяла меня за руку и сказала: «Ну, стоит ли горевать, и всего-то было свистка два, а вся остальная публика приняла вашу сторону!» «Свист! Мою сторону! — вскричал я. — Так меня освистали?» И хозяйка пришла в настоящий ужас, что она первая сообщила мне такую новость.

На следующем представлении я тоже не присутствовал, и по окончании спектакля у меня в квартире разыгралась комическая сцена. Ко мне зашли выразить свое сочувствие несколько добрых друзей. Первый явившийся заверял, что сегодняшнее представление было настоящим торжеством для меня: все шумно аплодировали, а свист был слышен всего-навсего один. Явился второй приятель. Я спросил — много ли раздавалось свистков? «Два!» — ответил он. Следующий сказал: «Всего три, никак не больше!» Затем явился один из моих лучших друзей, милейший наивно-откровенный Гартман. Он не знал о том, что сказали мне другие и, когда я попросил его по совести сказать мне, сколько было свистков, сказал, положив руку на сердце: «Самое большее пять!» «Нет, нет! — вскричал я. — Больше не буду спрашивать — коли-

чество все растет, точно в рассказе Фальстафа! Ведь вот еще один из этих господ уверял меня, что был всего один свисток!» Желая поправить дело, добрейший Гартман выпалил: «Да, пожалуй, что и один, только такой чертовский!..»

Десять лет спустя, Гейберг, бывший тогда директором королевского театра, отдал эту пьеску в распоряжение театра «Казино». К тому времени успело подрасти новое поколение более благосклонных ко мне зрителей, и пьеса имела большой и прочный успех.

8 октября 1842 года умер Вейзе, мой первый покровитель, с которым я потом часто встречался у адмирала Вульфа и даже работал вместе над *«Кенильвортом»*, но особенно близких, дружеских отношений между нами как-то не установилось. Он вел в сущности такую же одинокую жизнь, как и я, несмотря на то, что его — как смею думать и меня — многие любили и охотно принимали у себя. Но у меня уж натура такая: я перелетная птица, по всей Европе летаю, а его самый далекий полет был в Роскильде. Там жило одно знакомое ему семейство, там он чувствовал себя, как дома, мог фантазировать на соборном органе, там его и похоронили. Путешествовать ему и в голову никогда не приходило, и я еще помню добродушно-юмористичное замечание, с которым он обратился ко мне, когда я посетил его раз вскоре по возвращении из Греции и Турции. «Ну, вот и вы очутились не дальше, чем я! И вы теперь в улице Кронпринцессы, смотрите на королевский сад, как и я, а сколько вы денег-то пошвыряли! Нет, коли уж хотите путешествовать, поезжайте себе в Роскильде, довольно и этого, а нет — так погодите, пока можно будет путешествовать на луну и другие планеты!»

В спектакль, посвященный памяти Вейзе, предполагалось поставить *«Кенильвортский праздник»*. Это было его последнее и, может быть, именно поэтому любимейшее произведение. Он сам выбрал сюжет, вставил в текст много собственных стихов, и, я думаю, что, если его бессмертный дух сохранил и на том свете земную привязанность к своим творениям, то его больше всего порадовала бы постановка в этот день именно *«Кенильвортского праздника»*, произведения, не оцененного по достоинству при его жизни. Но дирекция передумала и поставила трагедию Шекспира *«Макбет»*, к которой Вейзе написал музыку, по моему мнению, наименее характеризующую его дарование.

Удивительно, что тело покойного долго не остывало, и в самый день погребения ощущалась еще некоторая теплота под ложечкой. Узнав об этом, я стал заклинять докторов хорошенько исследовать его и испробовать все средства, чтобы вернуть его к жизни. Те, после тщательного исследования, объявили, однако, что он действительно мертв, и что в подобной теплоте тела нет ничего необыкновенного. Тогда я стал просить докторов по крайней мере перерезать ему артерии раньше, чем гроб заколотят на-

глухо, но просьба моя осталась не исполненной. Эленшлегер, услышав о ней, подошел ко мне и со свойственной ему в некоторых случаях горячностью сказал: «С чего это вам вздумалось уродовать его!» — «Это, по-моему, лучше для него, чем проснуться в могиле! И вы, наверное, этого захотите, когда умрете!» — «Я!» — воскликнул он и даже отступил назад. — К сожалению, Вейзе действительно умер».

Из гонораров за последние труды я посредством экономии скопил небольшую сумму и решил съездить на эти деньги в Париж. В конце января 1843 года я и выехал из Копенгагена.

В Гамбурге я провел несколько приятных часов у гениального художника Шпектера. Он как раз принялся тогда за иллюстрации к моим сказкам. Эти превосходные, полные жизни и юмора рисунки помещены были потом в одном английском издании, а также в одном из наименее удачных немецких. Переводчик переделал, например, моего «Безобразного утенка» («*Grimme Aelling*») в «*Grüne Ente*», и заглавие это перешло и в один французский перевод, сделанный с этого немецкого: («*Le petit canard vert*»)!

Еще до моего посещения Парижа, Мармье поместил обо мне в «*Revue de Paris*» статью «*La vie d'un poète*», а Мартин перевел на французский язык некоторые из моих стихотворений и даже посвятил мне одно собственное стихотворение, также напечатанное в названном журнале. Итак, мое имя было уже известно здесь многим из представителей литературы, и я нашел у них на этот раз очень радушный прием. Мне даже удалось дружески сойтись с Виктором Гюго, чего не удалось в свое время Эленшлегеру, который и жаловался на это в своих «Воспоминаниях», так как же мне было не чувствовать себя польщенным! Виктор Гюго прислал мне билет на представление в «*Theatre français*» его последней трагедии «*Les Burgraves*»; каждое представление ее сопровождалось свистом; на маленьких же частных сценах то и дело давали пародии на нее. Жена Виктора Гюго была красивая женщина, отличавшаяся той свойственной француженкам любезностью, которая так очаровывает иностранцев.

Ламартин показался мне благодаря всей окружавшей его обстановке и манерам каким-то королем среди французских литераторов. Я извинился, что так плохо говорю на его родном языке, а он с изысканной французской вежливостью ответил, что это он заслуживает упрека за то, что не понимает северных языков, на которых, как он узнал, существует такая свежая и богатая литература. На севере и почва ведь так богата, что стоит только наклониться, чтобы поднять древний золотой рог!¹ Перед моим отъездом из Парижа Ламартин написал мне следующее маленькое стихотворение:

¹ Намек на первое знаменитое стихотворение Эленшлегера «Золотые рога». — Примеч. перев.

Cachez vous quelquefois dans les pages d'un livre
Une fleur du matin cueillie aux rameaux verts,
Quand vous rouvrez la page après de longs hyvers,
Aussi pur qu'au printemps son parfum vous enivre,
Après les jours bornés qu'ici mon nom doit vivre
Qu'un heureux souvenir sorte encore de ces vers!

Paris, 3 Mai 1843.

Lamartine».

Жизнерадостного Александра Дюма я заставлял обыкновенно в постели, хотя бы дело было и далеко за полдень. У постели всегда стоял столик с письменными принадлежностями — он как раз писал тогда новую драму. Однажды, когда я пришел к нему и застал его опять в таком же положении, он приветливо кивнул мне головой и сказал: «Посидите минутку — у меня как раз с визитом моя муза, но она сейчас уйдет!» И он продолжал писать, громко разговаривая с самим собою. Наконец, он воскликнул: «Vivat!», выпрыгнул из постели и сказал: «Третий акт готов!» Жил он в «Hotel de Prince» на улице Ришелье. Жена его находилась во Флоренции, а сын, пошедший впоследствии в литературе по стопам отца, жил отдельно. «Я живу холостяком! Не вздыхайте — каков есть!» — говаривал он мне. Однажды он целый вечер водил меня по разным театрам, чтобы познакомить с закулисным миром. Мы побывали в «Пале-Рояле», разговаривали с Дейазет и Анаис, а потом пошли под ручку по бульвару к театру St. Martin. «Теперь можно заглянуть в царство коротеньких юбочек! — сказал Дюма. — Зайти что ли туда?» Мы зашли и очутились среди кулис и декораций, прошли по морю из «Тысячи и одной ночи», словом, как будто попали в сказочное царство, где царили шум, гам, толкотня машинистов, хористов и танцовщиц. Дюма был моим путеводителем в этом закулисном лабиринте. На обратном пути домой нас остановил на бульваре какой-то юноша. «Это мой сын! — сказал Дюма. — Я обзавелся им когда мне было восемнадцать лет, теперь он в таких же летах, а у него еще нет никакого сына!» Юноша был никто иной как знаменитый впоследствии Александр Дюма-сын.

Дюма же обязан я знакомством с Рашелью. Я еще ни разу не видел ее на сцене, как вдруг он однажды спросил меня, не хочу ли я познакомиться с нею. Да это было моим заветнейшим желанием! И вот в один вечер, когда Рашель играла «Федру», Дюма повел меня в Théâtre français. Бывая со мною в других театрах, он обыкновенно без всяких церемоний прямо вел меня за кулисы, а тут попросил меня подождать немного и потом уже, вернувшись обратно, позвал меня к королеве французской сцены. Представление уже началось; мы прошли за одну из передних кулис, за которой было отгорожено ширмами что-то вроде отдельной комнатки, где стоял стол с прохладительными напитками и яствами и несколько табуретов. Здесь сидела молодая женщина, та самая, которая, по словам одного французского писателя, могла изваять из мра-



морных глыб Расина и Корнеля живые статуи. Она была очень худощава, нежного сложения и очень моложава на вид. На меня она и здесь, и позже у себя дома произвела впечатление статуи скорби. Она как будто только что выплакала все свое горе, и теперь мысли ее тихо витали в прошлом. Рашель приняла нас очень приветливо, голос у нее был низкий, грудной. Разговорившись с Дюма, она как будто забыла обо мне; он, должно быть, заметил это и, обернувшись ко мне, сказал ей: «Вот истинный поэт и ваш искренний почитатель! Знаете вы, что он сказал мне, когда мы подымались по лестнице? «Со мною, того и гляди, сделается дурно, так бьется у меня сердце при мысли, что я сейчас буду говорить с женщиной, говорящей по-французски прекраснее всех во Франции». Она улыбнулась, сказала мне несколько приветливых слов. Я ободрился, вмешался в разговор и сказал, что прибыл в Париж главным образом ради нее: я много путешествовал и много видел интересного и прекрасного, но еще не видал Рашели! Затем я извинился, что так плохо говорю по-французски. Она опять улыбнулась и ответила: «Ну, если вы будете обращаться к француженке с такими любезными речами, как сейчас ко мне, то она всегда найдет, что вы говорите прекрасно!» Я сообщил ей, что слава ее достигла и Севера. «Если я когда-нибудь попаду в Петербург и в Копенгаген, — сказала она, — то попрошу вас быть там моим покровителем. Кроме вас, я ведь никого там не знаю, И вот, если вы, по вашим словам, прибыли сюда отчасти ради меня, то надо нам познакомиться поближе — милости прошу побывать у меня. Я принимаю своих друзей по четвергам. А теперь... служба зовет!» — закончила она, протягивая нам руку, приветливо кивнула головой и, отойдя от нас на несколько шагов в глубину сцены, сразу как-то выросла, изменилась до неузнаваемости. Перед нами была сама муза трагедии. Из зрительного зала долетел к нам приветствовавший ее взрыв аплодисментов.

Я, как северянин, не могу привыкнуть к французской манере играть трагедию. Рашель играет, как и другие, но у нее все выходит естественно. Все же остальные только как будто копируют ее. Рашель — сама муза французской трагедии, другие актеры и актрисы только жалкие люди. Глядя на игру Рашели, трудно и представить себе иную манеру игры, ее игра — сама правда, сама естественность, но в ином их проявлении, нежели привыкли мы, северяне.

Обстановка в квартире Рашели была роскошна, может быть, чересчур рассчитана на эффект... В первой комнате, зеленовато-бирюзовой, висели лампы с матовыми абажурами и красовались статуи французских писателей. В гостиной — и в обоях, и в мебелировке преобладал пурпуровый цвет. Сама Рашель была в черном платье и очень напоминала свой портрет на известной английской гравюре. Общество состояло из мужчин, преимущественно представителей искусств и науки. Впрочем, я услышал и два-три титула; имена гостей громко докладывались ливрейными лакеями. Угощение

состояло из чая и прохладительных яств и напитков, скорее на немецкий, нежели на французский лад. При мне Рашель говорила и по-немецки; Виктор Гюго рассказывал, что он слышал, как она раз говорила по-немецки с Ротшильдом, и я спросил ее правда ли это. Она ответила мне по-немецки: «Да, я даже читаю на этом языке, я ведь уроженка Лотарингии. У меня есть и немецкие книги. Вот поглядите!» И она показала мне «Сафо» Грильпарцера, но затем опять перешла на французскую речь. Она высказала, между прочим, свое желание сыграть роль Сафо, потом заговорила о роли шиллеровской Марии Стюарт, которую она исполняла. Я видел ее в этой роли и никогда не забуду с каким истинным величием вела она сцену с Елизаветой. «Je suis la reine! Tu es... Tu es... Elisabeth!» И в это одно слово Elisabeth она вложила столько презрения, сколько не высказать другим и в целом монологе. Но особенно поразила меня Рашель в пятом действии, которое она вела с таким правдивым спокойствием, на какое только способна истинная северная или германская артистка, но именно в этом-то действии она менее всего и нравилась французам. «Мои соотечественники, — сказала она мне, — не привыкли к такой передаче этой сцены, а между тем никакая иная здесь неуместна. Нельзя неистовствовать, когда сердце готово разорваться от скорби, когда прощаешься навеки со всеми своими друзьями!»

Главнейшим украшением ее салона были книги в богатых переплетах, стоявшие в роскошных стеклянных шкафах. На стене висела картина, писанная масляными красками и представлявшая зрительный зал лондонского театра: на переднем плане стоит сама Рашель, к ногам ее сыплются букеты и венки. Под этой картиной висела небольшая хорошенькая полочка с творениями высших аристократов между поэтами: Гете, Шиллера, Кальдерона, Шекспира и других. Рашель много расспрашивала меня о Германии и Дании, об искусстве и театре, ободряя меня ласковой улыбкой или дружеским кивком, когда я, преодолевая трудности языка, приостанавливался, чтобы найти нужное выражение. «Продолжайте! — говорила она. — Вы не вполне владеете французским языком, я слышала иностранцев, говоривших куда лучше, но их речи не всегда так меня интересовали, как ваши. Я понимаю самую душу вашу, а это самое главное, она-то особенно и интересуется меня». На прощание она написала мне в альбом:

«L'art c'est le vrai».

J'espère que cet aphorisme ne semblera pas paradoxal à un écrivain aussi distingué, que monsieur Andersen¹.

Rachel».

Paris, le 28 Avril 1843 г.

¹ Искусство в правде. Надеюсь, что афоризм этот не покажется парадоксом такому выдающемуся писателю, как г-н Андерсен.

Очень милого знакомого приобрел я в лице Альфреда де Виньи. Он был женат на англичанке, и в их доме приятно поражало сочетание всего лучшего, что есть в обеих нациях. В последний вечер моего пребывания в Париже Альфред де Виньи явился ко мне в маленький номерок отеля Валуа, находившийся под самой крышей, в такое время — около полуночи, — когда его по общественному его положению и богатству можно было скорее всего искать в богатых салонах. Это он явился лично передать мне свои произведения и проститься со мною. В словах его слышалось столько искренности, а глаза выражали такое сердечное, теплое чувство ко мне, что я, прощаясь с ним, невольно прослезился.

Часто виделся я в последнее время и со скульптором Давидом; своей прямою и характером он несколько напоминал мне Торвальдсена и Биссепа. Познакомились мы с ним уже под конец моего пребывания в Париже, он сожалел, что это случилось так поздно и спрашивал, не могу ли я остаться здесь подольше — тогда бы он сделал мой бюст в медальоне. «Да ведь вы же совсем не знаете меня, как поэта! Может быть, я вовсе не стою такой чести!» — сказал я ему, но он посмотрел мне прямо в глаза, потрепал меня по плечу и ответил с улыбкой: «Я читал в вашей душе, прежде чем читать ваши произведения. Вы — поэт!»

В салоне графини Бокарме, где я познакомился также с Бальзаком, я увидел однажды пожилую даму, обратившую на себя мое особое внимание: лицо ее носило отпечаток высокого духовного развития и сердечности, что поразило меня еще на ее портрете, выставленном в тот сезон на художественной выставке в Лувре. Графonia представила нас друг другу, это оказалась госпожа Рейбо, автор рассказа «*Les érauves*», сюжетом которого я воспользовался для своей драмы «*Мулат*». Я рассказал ей об этом и о том, какое впечатление произвела у нас пьеса. Все это чрезвычайно заинтересовало ее, и она с того вечера взяла меня под свое особое покровительство. Однажды мы целый вечер проходили вместе, обмениваясь мыслями, она поправляла меня, когда я делал ошибки во французском языке, заставляла меня повторять, если я произносил фразы недостаточно правильно, словом, относилась ко мне с истинно материнской добротой. Во мне она оставила впечатление высокоодаренной женщины с ясным и верным взглядом на мир и жизнь.

Здесь же в салоне познакомился я, как сказано, и с Бальзаком; у него была очень элегантная наружность, одет он был щегольски. Улыбаясь, он обнаруживал блестящие белые зубы между пунцовыми губами, и вообще смотрел бонвиваном, но неразговорчивым, — по крайней мере в данном кружке. Какая-то дама, писавшая стихи, вцепилась в нас обоих, усадила нас на диван, сама уселась в середине и смиренно уверяла, что чувствует себя между нами такой маленькой, маленькой!.. Я повернул голову и встретил за ее спиной взгляд Бальзака, который оскалил зубы и скорчил мне сатирически-насмешливую гримасу. Это была наша первая встреча.

Через несколько дней я проходил по Лувру и встретил там человека — лицом, фигурой и походкой настоящего двойника Бальзака. Но этот человек одет был в плохое, поношенное и грязное платье, сапоги его были стоптаны, на панталонах висела грязная бахрома, шляпа была сплюснута... Я был поражен. Человек улыбнулся мне. Я прошел мимо, но такое сходство показалось мне невероятным, я вернулся, пустился за ним вдогонку и сказал: «Да вы не Бальзак?» Он засмеялся, показав мне свои белые блестящие зубы, и ответил только: «Завтра господин Бальзак уезжает в Петербург!» Потом он пожал мне руку своей мягкой, нежной рукой, кивнул мне и ушел. Положительно это был сам Бальзак! Он, пожалуй, бродил в таком одеянии по Парижу, открывая его мистерии, а может быть, это была и другая личность, сильно похожая на Бальзака и забавлявшаяся мистифицированием посторонних людей. Несколько дней спустя, я рассказал об этой встрече графине Бокарме, а она передала мне поклон от Бальзака, который уехал в Петербург.

Возобновил я знакомство и с Генрихом Гейне. Он успел за это время жениться здесь в Париже. Я нашел его несколько нездоровым, но полным энергии. На этот раз он был со мною так искренен, сердечен и прост, что я перестал бояться его и стесняться показаться ему таким, каков я есть. Однажды он пересказал своей жене по-французски мою сказку «*Стойкий оловянный солдатик*» и затем повел меня к ней, как автора. Предварительно он, впрочем, спросил меня: «Вы будете издавать описание этого путешествия?» Я сказал: «Нет!» «Ну тогда я покажу вам свою жену!» Она была очень живая, хорошенькая и молоденькая парижанка. Вокруг нее ревилась целая куча детей. «Мы заняли их у соседей! Своих у нас нет!» — сказал мне Гейне. Я принял участие в ее возне с детьми, а Гейне удалился в соседнюю комнату и написал мне в альбом:

Ein Lachen und Singen! Es blitzen und gaukeln
Die Sonnenlichter. Die Wellen schaukeln
Den lustigen Kahn. Ich saß darinn
Mit lieben Freunden und leichtem Sinn.

Der Kahn zerbrach in eitel Trümmer,
Die Freunde waren schlechte Schwimmer,
Sie gingen unter im Vaterland;
Mich warf der Sturm an den Seinstrand.

Ich hab' ein neues Schiff bestiegen,
Mit neuen Genossen; es wogen und wiegen
Die fremden Fluthen mich hin und her —
Wie fern die Heimath! Mein Herz wie schwer!

Und das ist wieder ein Singen und Lachen —
Es pfeift der Wind, die Planken krachen —
Am Himmel erlischt der letzte Stern —
Mein Herz wie schwer! Die Heimath wie fern!

Diese Verse, die ich hier, in das Album meines lieben Freundes Andersen, schreibe, babe ich den 4-ten Mai 1843 zu Paris gedichtet.

Heirich Heine.

На этих же днях получил я приятное ободряющее доказательство интереса ко мне и к моим произведениям в Германии. Одно немецкое семейство — одно из самых милых и интеллигентных, каких я только знавал, прочитав переводы моих произведений и мою краткую биографию, предшествовавшую роману *«Только скрипач»*, почувствовало такую сердечную симпатию ко мне, что написало мне письмо, в котором высказывало все свое удовольствие и приглашало меня на обратном пути на родину проехать через их городок и погостить у них в доме, если только мне там придется по душе. Письмо дышало самым искренним и теплым чувством, и это было первое письмо, полученное мною в Париже. Какая разница с первым письмом, пришедшим ко мне с родины в первое мое посещение Парижа! Об этом также упоминалось в письме из Германии, как видно, корреспонденты мои знали о том и писали мне: «Надеемся, что это наше искреннее послание из немецкой страны явится для вас более приятным приветом на чужбине!» Я принял приглашение, и меня встретили в этом доме, как родного. Я охотно наезжал туда и впоследствии, — я знаю, что меня полюбили там не только как писателя, но и как человека.

И сколько подобных доказательств интереса, возбужденного моими произведениями, получал я впоследствии! Одно из таких я и хочу здесь привести вследствие его оригинальности. В Саксонии проживало одно богатое, почтенное семейство; хозяйка дома прочла мой роман *«Только скрипач»*, и он произвел на нее такое впечатление, что она пообещала — в случае, если встретит бедного ребенка с большим музыкальным талантом, не дать ему погибнуть, как бедному скрипачу. Отец Клары Шуман, музыкант Вик, слышал ее обещание и вскоре привел ей не одного, а целых двух бедных мальчуганов-братьев, отличавшихся музыкальными дарованиями, и напомнил ей ее обещание. Она переговорила с мужем и сдержала слово. Оба мальчика были приняты в ее дом, получили хорошее воспитание и образование в консерватории. Я слышал игру младшего из них — у него было такое радостное, счастливое лицо. Теперь оба они, кажется, музыкантами в оркестре одного из лучших германских театров. Конечно, можно справедливо заметить, что то же самое могла бы сделать для бедных мальчиков эта добрая дама и не читая моего романа, но раз это случилось так, а не иначе, то я и привожу этот факт, явившийся для меня одним из звеньев цепи выпавших на мою долю радостей.

Да, один английский писатель называл меня *«The chaild of fortune»* (дитя счастья), и я с благодарностью должен признаться, что на мою долю действительно выпало в жизни много радостей. Главное мое счастье заключалось в том, что я все наталкивался на лучших, благороднейших

людей своего времени. Рассказываю же я о своих радостях так же, как рассказывал и о своих горестях и тяжелых испытаниях, а вовсе не из желания похвастаться, из тщеславия. Приписывать мне в этом случае подобные побуждения было бы крайне несправедливо.

Всеми этими радостями я по большей части обязан чужеземцам, и меня, пожалуй, спросят: неужели я так-таки ни разу и не был уязвлен заграничной критикой? Я должен ответить — нет! В родной печати ведь ни разу не появлялось сообщения о чем-либо подобном, значит — ничего такого и не было. Единственное исключение из общих благоприятных отзывов обо мне за границей явился отзыв одного немца, обязанный своим происхождением, однако, датской критике и появившийся как раз во время моего пребывания в Париже. Некто Боас, путешествовавший по Северу, описал свое путешествие и дал в своей книге, между прочим, и обзор современной датской литературы. Этот обзор был напечатан отдельно в «*Grenzboten*», и в нем говорилось обо мне и как о писателе, и как о человеке довольно много резкого. Я уже высказался по этому поводу в «*Das Märchen meines Lebens*» и повторяю то же самое и здесь: я уверен, что, явись г-н Боас к нам в Данию годом позже, он взглянул бы на меня совсем иначе. В год многое изменяется, и как раз через год в общественном мнении произошел крутой поворот в мою пользу. Я издал тогда мои «*Новые сказки*», которые и укрепили за мной почетное место в ряду отечественных писателей. С того времени мне, собственно, не на что пожаловаться, с того времени я и в отечестве своем начал мало-помалу приобретать такую благосклонность и такое признание, каких только вообще мог заслуживать, а пожалуй, даже и больше.

Сказки ставятся у нас в Дании безусловно выше всего, что я написал, поэтому я и нахожу нужным поподробнее поговорить здесь об этих моих произведениях, которые при первом своем появлении были приняты далеко не благосклонно.

Первая моя сказка находится в «*Теневых картинах*» в главе «*Браншвейг*»¹, где я иронизирую над драмой «*Три дня из жизни игрока*». В этой же книге можно найти и зародыш «*Русалочки*»; описание эльфов Люнебургской степи безусловно принадлежит к сказкам, что и заметил автор критической статьи, появившейся в «*Jahrbücher der Gegenwart*» 1846 года.

Первый выпуск «*Сказок*» вышел в 1835 году вскоре же после «*Импровизатора*» и, как упомянуто, не встретил особенного одобрения. Напротив, многие даже сожалели, что автор, только что, по-видимому, сделавший шаг вперед в «*Импровизаторе*», сейчас же опять подался назад, взявшись за такие пустяки, как сказки. Словом, меня упрекали именно за то, что заслуживало поощрения и похвалы, за старание выйти

¹ См. т. III, стр. 341.

на новый путь творчества. Многие из моих друзей, те именно, чье мнение я особенно ценил, тоже советовали мне бросить писание сказок; одни говорили, что у меня нет таланта к этому и что это вообще не в духе времени, другие полагали, что уж если я желал пробовать свои силы в этой области, следовало предварительно изучить французские образцы. «Литературный ежемесячник» совсем не говорил о моих сказках никогда. Отозвался о них в 1836 году один только журнал «Даннора», издаваемый и редактируемый Гёстом. Отзыв этот звучит теперь положительно забавно, но тогда он, разумеется, огорчил меня. В нем говорилось, что «сказки эти могут позабавить детей, но считать их мало-мальски назидательными или ручаться за их полную безвредность нельзя. Вряд ли кто найдет особенно полезным для детей читать о принцессе, разъезжающей по ночам на собаке к солдату, который целует ее и т. д.» Сказка о «Принцессе на горошине», была, по мнению критика, «лишена соли», и он находил «не только не деликатным, но даже прямо не позволительным со стороны автора внушать ребенку ложное представление, будто бы знатные особы всегда так ужасно чувствительны». Критик кончал статью пожеланием, чтобы автор «впредь не тратил времени на писание сказок для детей». А я между тем никак не мог преодолеть свое желание продолжать писать их.

В первом выпуске находились сказки, слышанные мною в детстве, я только пересказал их по примеру Музеуса, сохранив, однако, тот же самый язык и тон — простой, естественный и, по-моему, наиболее подходящий. Но я знал, что ученые критики будут порицать меня как раз за этот язык, и вот, чтобы поставить читателей на нужную мне точку зрения, я и назвал свои сказки «Сказками для детей». Сам же я всегда имел в виду, что пишу их не только для детей, но и для взрослых. Первый выпуск заканчивался одной оригинальной сказкой, «Идочкины цветы» — и ее-то как раз меньше всего и порицали, даром, что она была явной родней рассказам Гофмана, — зародыш ее находился еще в «Прогулке на Амагер».

Влечение к этому роду творчества все усиливалось во мне, и я не мог преодолеть его, встреченные же мною проблески одобрения именно названной оригинальной моей сказке заставили меня попытаться написать еще несколько оригинальных. Через год вышел второй небольшой выпуск, а скоро и третий, содержащий в себе самую большую из оригинальных моих сказок «Русалочку». Она-то главным образом и обратила внимание на это новое явление в литературе, и внимание это все возрастало по мере выхода в свет новых выпусков. Выходили они обыкновенно к Рождеству, и скоро как-то даже вошло в обычай украшать елку книжкой моих сказок. Г-н Фистер и г-жа Юргенс¹ сделали попытку читать некоторые мои сказки со сцены — это было нечто новое, вносящее не-

¹ Известные артисты датского королевского театра. — Примеч. перев.

которое разнообразие в набившую оскомину декламационную часть программ различных артистических вечеров. Нововведение привилось и стало пользоваться, особенно несколько позже, большим успехом.

Как уже сказано, я озаглавил первые выпуски сказок «Сказками для детей». Передавал я эти небольшие сказки тем же самым языком, теми же выражениями, как рассказывал их детям и устно, и наконец пришел к тому убеждению, что такая манера передачи их лучше всего соответствует всем возрастам. Детей более всего забавляла самая фабула сказок, взрослых интересовала вложенная в них идея. Сказки мои стали любимым чтением и для детей, и для взрослых, чего, по-моему, и должен в наше время добиваться всякий, кто хочет писать сказки. Убедившись в том, что они начинают открывать себе доступ всюду, ко всем сердцам, я откинул слова «для детей» и выпустил следующие выпуски уже под заглавием «Новые сказки». Все они были оригинальными, и их приняли так хорошо, как я только мог желать, и я боялся лишь одного, что мне не удастся поддержать такое благоприятное отношение к ним каждым новым выпуском.

Газета «Отечество» явилась первой из всех органов датской печати, которая по выходе выпуска с новыми сказками: «Безобразный утенок», «Соловей» и др., встретила их горячим сочувственным отзывом. Она же первая указала на благоприятные отзывы о них иностранной печати. Так, например, в 1846 году в ней появилась такая заметка: «В лондонской газете *«The Athenaeum»*, известной своей критической беспристрастностью, говорится о появившихся в английском переводе сказках А. следующее: «Хотя это, пожалуй, и покажется шуткой, мы все-таки берем на себя смелость утверждать, что наиболее подходящей рецензией на эти произведения явилась бы какая-нибудь волшебная мелодия вроде той, которую написал Вебер для русалок в «Обероне», или тех, что импровизирует в минуты нежного вдохновения Лист. Обыкновенная же рецензия слишком угловата, тяжела, неграциозна, чтобы приглашать тонко развитых читателей взяться за такие полные очарования страницы, как эти» и т. д.

Какая разница между первым отзывом о сказках, появившимся за границей, и первым же, появившимся у нас! У нас тепло и сердечно отозвался о них в свое время только даровитый П. Л. Мюллер, он был вообще чуть ли не единственным писателем, осмелившимся тогда отзываться обо мне, как о поэте, одобрительно. Но его суждениям мало придавали значения, его не любили за то, что он не плыл по общему течению, дерзал во многом расходиться с господствующим мнением. Но мне уже и то было важно, что за меня раздавался публично хоть один голос! Мои «Сказки» стяжали себе одобрительные отзывы и у нас, и за границей, и я мало-помалу набирался сил, чтобы противостоять могущим появиться неприятностям. В душу мне хлынули ободряющие лучи солнца, я ощущал в себе прилив радости, мужества и настойчивого желания все более и более совершенствоваться в избранном направлении,

проникнуть в самую сущность сказочных элементов, вернее уразуметь богатейший источник, из которого я мог черпать, — природу. И, надеюсь, что всякий, кто проследит мои сказки по порядку, в каком они написаны, заметит в них постепенное развитие и совершенствование как в смысле ясности и выпуклости идеи, умения пользоваться материалом, так и жизненной правдивости и свежести.

Как бывает вырубают себе ступеньку за ступенькой в отвесной скале, так и я отвоевывал себе шаг за шагом прочное место в датской литературе и, наконец, добился того признания и поощрения, которые могли способствовать дальнейшему развитию моего таланта куда больше, чем резкая, беспощадная критика. Внутри меня просветлело, я успокоился и проникся уверенностью, что все, даже и горькое, в моей жизни, было необходимо для моего же развития и блага.

Сказки были переведены почти на все европейские языки, на немецком, английском, французском и других языках появилось даже несколько различных переводов, выдержавших много изданий и продолжающих издаваться и теперь. Оказалось, таким образом, что я с помощью Божией сам нашел верную дорогу, вопреки указаниям критиков, советовавших мне «изучать французские образцы». Послушайся я их, меня навряд ли стали бы переводить на французский язык и сравнивать с Лафонтеном. В предисловии к одному из французских изданий моих сказок их действительно сравнивали с лафонтеновскими «*fables immortelles*» (бессмертные басни), а меня называли «*nouveau Lafontaine. Il fait parler les bêtes avec esprit, il s'associe à leurs peines, à leurs plaisirs, semble devenir leur confident, leur interprète, et sait leur créer un langage si naïf, si piquant et si naturel, qu'il ne semble que la reproduction fidèle de ce qu'il a véritablement entendu*»¹. Не удалось бы мне тогда и оказать известного влияния на датскую литературу, которого я, надеюсь, достиг теперь и которое признано даже за границей. Укажу здесь, например, на почтенного критика Юлиана Шмидта («*Geschichte der deutschen Nationalliteratur*», Leipzig 1853), ставившего мои «Сказки» и «*Картинки-невидимки*» очень высоко. Он находит вполне естественным, что поэзия, отвечая требованиям времени и желая дать яркое и правдивое изображение реального мира, бросается в мир фантазии, ища там природу, радующую сердце, и изучает в то же время все то, что составляет так называемые мелочи как в природе, так и в жизни человеческой.

С 1834 по 1852 годы «Сказки» все выходили отдельными выпусками, выдерживавшими каждый по несколько изданий, затем они вышли все

¹ «Новый Лафонтен; он заставляет говорить животных со смыслом, входит в их положение, в их горести и радости, становится как бы поверенным и истолкователем их; он умеет создать для них язык наивный, игривый и естественный, который кажется точным воспроизведением подслушанного им в действительности».

вместе в одном иллюстрированном сборнике. Следующие мои произведения того же рода стали появляться под названием «Историй»; это название было выбрано мною отнюдь не произвольно, но об этом, так же, как о «Сказках» и «Историях» вообще — позже.

Автор книги «Неаполь и неаполитанцы» D-г Майер высказался о моих сказках очень сочувственно еще в 1846 году. Обширная статья его «*Andersen und seine Werke*», помещенная в «*Jahrbücher der Gegenwart*» (сентябрь и октябрь), содержит вообще много лестного для датской литературы, но прошла, кажется, совсем не замеченной нашей печатью. Заканчивается упомянутая статья так: «Das Märchen Andersens in seiner vollsten Entfaltung füllt die Kluft zwieschen den Kunstmärchen der Romantiker und den Volksmärchen wie es die Brüder Grimm aufgezeichnet haben»¹.

XI

К этому периоду моей жизни относится сближение мое с личностью, имевшей на меня весьма большое влияние. Ранее я уже имел случай говорить о лицах, имевших на меня, как на писателя, известное влияние, но ничье влияние не было для меня благотворнее влияния той личности, о которой сейчас пойдет речь. У нее я научился еще полнее отрешаться от своего я, познавать святое в искусстве и ценить свое призвание.

Вернусь сначала к 1840 году. Я жил тогда в отеле и прочел однажды на доске с именами новоприезжих имя шведской певицы Дженни Линд. Я слышал о ней, как о первой певице Стокгольма, и, ввиду оказанных мне недавно в Швеции почестей, счел долгом вежливости сделать ей визит. В то время Дженни Линд еще не пользовалась известностью вне пределов своей родины, и, я думаю, что в Копенгагене мало кто о ней слышал. Она приняла меня вежливо, но довольно равнодушно, почти холодно. В Копенгаген она, по ее словам, приехала всего на несколько дней — посмотреть город. Визит мой был очень короток, расстались мы, едва познакомившись, и она оставила во мне впечатление совершенно заурядной личности, которую я скоро и позабыл. Осенью 1843 года Дженни Линд опять была в Копенгагене, и друг мой, балетмейстер Бурнонвиль, женатый на шведке, подруге певицы, сообщил мне о ее приезде и передал, что она с удовольствием вспоминает обо мне и будет рада опять увидеть меня. Оказалось, что теперь она успела познакомиться с моими произведениями. Бурнонвиль звал меня к ней сейчас же и просил меня помочь ему уговорить ее остаться здесь на гастроли в королевском театре. Он прибавил при этом, что я, наверное, приду в восторг от ее пения.

¹ Сказки Андерсена в их полном развитии наполняют пропасть между искусственными сказками романтиков и народными сказками, как они записаны братьями Гримм.

Мы явились к певице, и она приняла меня уже не как чужого, сердечно пожала мне руку, беседовала со мной о моих произведениях и о своем друге Фредерике Бремер. Скоро речь зашла о ее предполагаемых гастролях здесь в Копенгагене, и она призналась, что не решается выступить из боязни. «Я никогда не пела вне Швеции! — сказала она. — Дома меня все любят, а здесь, пожалуй, освищут. Нет, я не смею выступить здесь!» Я ответил, что не имею возможности судить ни о ее пении, ни о ее артистическом даровании, но ввиду господствующего ныне общего настроения уверен, что она будет иметь успех, если только мало-мальски обладает голосом и драматическим талантом.

Благодаря уговорам Бурнонвиля копенгагенцы испытали величайшее наслаждение. Дженни Линд выбрала для первого выхода партию Алисы в «Роберте». Молодой, свежий, прелестный голос ее прямо лился в душу! Исполнение ее дышало самою жизнью, самою правдой, все становилось ясным, получало должное значение.

В данном ей затем концерте, Дженни Линд исполнила, между прочим, несколько шведских песен, и народные мелодии в ее исполнении положительно увлекли всех своей оригинальной прелестью. Можно было забыть, что находишься в концертном зале, так сильно было очарование, производимое ее пением и чистой девственностью всей ее натуры, отмеченной печатью гения. Весь Копенгаген превозносил певицу, хотя, разумеется, нашлось и много знатных бар, которые не пожелали пропустить абонементного спектакля модной итальянской оперы из-за певицы, не успевшей еще снискать себе европейской известности. Но это вполне естественно. Зато все остальные, слышавшие ее, были в восторге, и Дженни Линд первой из иностранных артисток была дана датскими студентами серенада. Певица уже переехала из отеля в семью Бурнонвиля, где ее приняли как дорогую подругу или родственницу, и вот однажды вечером вся семья была на вечере у главного инструктора королевского театра Нильсена, жившего на Фредериксбергском бульваре, — тут-то студенты и устроили факельное шествие, а затем дали певице серенаду. Одну из песен для нее написал Ф. А. Гет, а другую я. Певица отблагодарила студентов, спев в свою очередь несколько шведских песен, а потом я увидал, как она забилась в темный уголок, чтобы выплакать свою радость. «Да, да! — твердила она. — Я буду трудиться, буду работать над собой! Я выучусь петь еще лучше к тому времени, когда опять вернусь в Копенгаген!»

На сцене Дженни Линд была ослепительной артисткой, звездой первой величины, а дома робкой, скромной молодой девушкой, с детски благочестивой душой. Ее появление на сцене королевского театра составило эпоху в истории нашей оперы, мне же она открыла святое в искусстве, я увидел в ней одну из его служительниц-весталок. Скоро она вернулась в Стокгольм, и Фредерика Бремер писала мне оттуда о ней:

«О Дженни Линд, как об артистке, мы одного мнения: она стоит на такой высоте, какой только вообще может достигнуть в наше время артистка. Но вы все-таки еще не вполне знаете ее, поговорите-ка с ней об ее искусстве, и вы оцените ее ум, увидите, как все лицо ее преобразится от священного восторга, поймете ее духовное развитие. Наконец, поговорите с ней о Боге и о религии, и вы увидите в ее невинных глазах слезы. Она великая артистка, но еще выше стоит как человек!»

Год спустя я был в Берлине. Однажды ко мне зашел композитор Мейербер, и мы разговорились о Дженни Линд. Он слышал, как она пела шведские песни и был просто поражен. «Но, как она играет? Как передает речитативы?» — спросил он меня. Я высказал ему свой полный восторг, привел несколько подробностей передачи ею партии Алисы, и он сказал, что, может быть, ему удастся залучить ее сюда, в Берлин, но что пока идут только переговоры. Известно, что приглашение Дженни Линд в Берлин состоялось, она покорила берлинцев, и с этого-то времени и началась ее европейская известность.

Осенью 1845 года Дженни Линд снова была в Копенгагене, и на этот раз восторг публики достиг невероятных размеров — ореол славы ведь помогает публике яснее разглядеть талант. Люди положительно располагались перед театром на бивуаки, чтобы добиться билета на спектакль с участием Дженни Линд, то же повторялось впоследствии и в различных европейских и американских городах. Дженни Линд произвела на этот раз еще сильнейшее впечатление даже на тех, кто уже и раньше был от нее в восторге; публика имела возможность услышать ее в нескольких в высшей степени разнообразных партиях. Исполнение ею «Нормы» было поистине классическим! Каждой своей позой она просилась в модели скульптору, можно было предположить, что она обдумала малейшую подробность, изучила перед зеркалом каждый жест, а между тем все это было результатом одного вдохновения и потому всегда поражало новизной и жизненной правдой. Я видел и слышал в роли Нормы знаменитых Малибран, Гризи и Шредер-Девриен, но как ни гениально было исполнение каждой из них, Дженни Линд произвела на меня еще более полное, чарующее впечатление. Она вела эту роль правдивее, захватывала своим пением и игрою сильнее, чем они все. Норма не беснующаяся итальянка, но оскорбленная женщина, и женщина с редким сердцем, готовая пожертвовать собою ради невинной соперницы. Она решается на убийство детей вероломного возлюбленного лишь под влиянием минутной вспышки, а стоит ей взглянуть на невинных малюток, и она обезоружена. «Норма, святая жрица!» — поет хор, и эту-то жрицу и олицетворяла собою Дженни Линд, когда пела: «*casta diva!*» У нас в Копенгагене Дженни Линд исполняла все свои партии на шведском языке, а все остальные участвующие пели по-датски, и оба языка отлично гармонировали один с другим, ничто не нарушало цельности впечатления даже в «*Дочери полка*»,

где много диалогов; в устах Дженни Линд шведский язык звучал как-то особенно характерно, как-то особенно шел к ней. А игра ее! Впрочем, самое слово «игра» здесь неуместно — это была сама жизнь, сама правда, до сих пор еще невиданная на сцене. Дженни Линд изобразила нам настоящее дитя природы, выросшее в солдатском лагере, и в то же время в каждом ее движении проглядывали врожденные грация и благородство. «Дочь полка» и «Сомнамбула» были коронными партиями Дженни Линд, ни одна певица не могла бы в них соперничать с ней. Слушая ее, глядя на нее, хотелось и смеяться, и плакать от умиления, казалось, что сидишь в церкви, становишься лучше и добрее! Чувствовалось, что Бог не только в природе, но и в искусстве, а там, где видишь, чувствуешь присутствие Бога, там та же церковь. Мендельсон, говоря со мною о Дженни Линд, выразился так: «Такие личности, как она, рождаются веками!» Таково же и мое убеждение. Видя ее на сцене, чувствуешь, что священный напиток искусства подносится тебе в чистом сосуде. «Вот была бы исполнительница для моей Вальборги!» — воскликнул Эленшлегер, весь сияя от восторга, и посвятил ей прекрасное, глубоко прочувствованное стихотворение. Торвальдсен с первого же раза признал в ней гениальную артистку, и когда я познакомил его с нею в театре, он низко поклонился ей и поцеловал ее руку. Она вся вспыхнула и хотела в свою очередь поцеловать его руку, а я просто перепугался, зная публику, — в ней ведь всегда преобладает критическое настроение.

Да, никто не мог затмить Дженни Линд как артистку, кроме — ее же самой, какой она являлась в частной жизни. Она очаровывала своим умом и детской радостью, с какой отдавалась скромной домашней жизни. Она была так счастлива возможностью хоть на время не принадлежать публике! Ее заветной мечтой была тихая семейная жизнь, а между тем она всей душой любила искусство, сознавала свое призвание и была готова служить ему. Ее благородную, благочестивую натуру не могло испортить поклонение, всего один раз при мне высказала она, что сознает свой талант и радуется ему. Это было во время ее последнего пребывания в Копенгагене. Она почти ежедневно выступала на сцене, каждый час был у нее занят, но вот она услышала о Союзе призрения беспризорных детей, о его деятельности, преуспейнии и недостатке материальных средств и сказала нам: «Да разве у меня не найдется свободного вечера! Ну и дадим спектакль в пользу этих детей. Только уж цены мы назначим двойные!» Вообще же она строго следила за тем, чтобы этого никогда не было при ее гастролях. Спектакль состоялся: был дан акт из «Волшебного стрелка» и из «Лючии»; особенно увлекла всех Дженни Линд в партии Лючии. Сам Вальтер Скотт навряд ли мог бы представить себе более прекрасный и правдивый образ несчастной Лючии. Сбор от спектакля достиг очень крупной суммы, и когда я назвал ее Дженни Линд, прибавив при этом, что теперь бедные дети обеспечены года на

два, она, вся сияя от счастья и со слезами на глазах, воскликнула: «Как это чудесно, что я могу так петь!»

Я привязался к ней всем сердцем, как нежный, любящий брат, и был счастлив, что мне пришлось узнать такую идеальную душу. Во все время ее пребывания в Копенгагене я виделся с нею ежедневно. Она жила в семействе Бурнонвиля, и я проводил у них большую часть свободного времени. Перед отъездом Дженни Линд дала в отеле «Рояль» прощальный обед для всех, кто, как она выразилась, оказал ей услуги, и, кажется, все приглашенные, за исключением меня, получили от нее что-нибудь на память. Бурнонвилю она подала серебряный кубок с надписью: «Балетмейстеру Бурнонвилю, бывшему мне отцом в Дании, моем втором отечестве». Бурнонвиль в ответной речи сказал, что теперь все датчане захотят быть его детьми, чтобы сделаться братьями Дженни Линд! «Ну, это уж будет слишком много! — ответила она, смеясь. — Я лучше выберу себе из них в братья кого-нибудь одного! Хотите вы, Андерсен, быть моим братом?» И она подошла ко мне, чокнулась со мною бокалом шампанского, и все гости выпили за здоровье «брата». Когда она уехала из Копенгагена, голубь-письмоносец частенько летал между нами. Я так полюбил ее! Мне довелось увидеться с нею опять, как это будет видно из последующего. Увиделись мы в Германии и в Англии, и об этих встречах можно было бы написать целую поэму сердца — разумеется, моего, и я смело могу сказать, что благодаря Дженни Линд я впервые познал святость искусства и проникся сознанием долга, повелевающего забывать себя самого ради высоких целей искусства! Никакие книги, никакие люди долгое время не оказывали на меня, как на поэта, лучшего, более облагораживающего влияния, нежели она, неудивительно поэтому, что я так долго и обстоятельно останавливаюсь на воспоминаниях о ней.

Я счастливым опытом познал на себе, что чем яснее становятся для человека задачи искусства и жизни, тем ярче освещает солнышко и всю его душу. И какое благодатное время сменило для меня прежние мрачные дни! В душу мою снизошли мир и спокойствие, но такое спокойствие отлично гармонирует с разнообразной, полной сменяющихся впечатлений жизнью туриста. Было время, когда мне тяжело жилось на родине, так пребывание за границей являлось для меня как бы передышкой, вот я и привык видеть в чужой стране — обетованную страну мира, полюбил ее; к тому же я легко привязывался к людям, которые в свою очередь платили мне сердечным участием, так вполне естественно, что я чувствовал себя за границей отлично, ездил туда охотно. «Кто путешествует — живет!»

Летом 1844 года я опять отправился в Северную Германию. Во время первого моего посещения ее в 1831 году Гете еще был жив, и мне страстно хотелось видеть его. От Гарца до Веймара уж близехонько, но

я не запасся тогда рекомендательным письмом к великому поэту, из произведений моих еще не было переведено на немецкий язык ни строчки, да вдобавок я слышал от многих, что Гете персона очень важная — так захотел ли бы еще он принять меня? Я усомнился в этом и решился отложить свое посещение Веймара до тех пор, пока мне удастся создать такое произведение, которое сделает мое имя известным и в Германии. Мне и удалось это благодаря *«Импровизатору»*, но тогда Гете уже не было в живых. Возвращаясь на родину из путешествия по Турции, я познакомился у Мендельсона с невесткой Гете, которая, по ее словам, и приехала в Лейпциг по железной дороге из Дрездена именно ради меня. Эта умная, почтенная женщина отнеслась ко мне с сердечной приветливостью и рассказала, что сын ее Вальтер давно уже любит меня и что он еще мальчиком переделал моего *«Импровизатора»* в драму, которую и играли в доме Гете. Затем она добавила, что увлечение молодого человека доходило до того, что он даже собирался поехать в Копенгаген — знакомиться со мной. Какой-то путешественник-датчанин, которого он встретил в Саксонской Швейцарии, дал ему письмо ко мне, но обо мне отзывался не особенно-то тепло и был просто поражен тем значением, которое придавал мне, как писателю, молодой Гете.

Итак, у меня уже были друзья в Веймаре! И меня непреодолимо влекло в этот город, где жили Гете, Шиллер, Виланд и Гердер, откуда разливалось по всему миру столько света. Я прибыл туда 21 июня, как раз в день рождения великого герцога. Все говорило о празднике, и прибывший в театр, где давалась новая опера, наследный великий герцог был встречен шумными овациями. И ни думал, ни гадал я тогда, как крепко привяжусь я всем сердцем ко всему прекрасному, что видел сейчас перед собой, сколько будущих моих друзей сидит тут вокруг меня, как дорог и мил станет мне этот город! Да, он стал для меня в Германии второй родиной! Меня познакомили с достойным другом Гете и прекраснейшим человеком старым канцлером Мюллером, и он принял меня у себя с самым сердечным радушием. В первое же свое посещение я случайно встретился у него с камергером Больё де Марконэ, которого я знал еще в Ольденбурге. Он только недавно получил назначение в Веймар и жил здесь холостяком. Вот он и предложил мне, вместо того чтобы жить в отеле, переехать на все время моего пребывания в Веймаре к нему. Я принял приглашение и, несколько часов спустя, уже устроился у него как нельзя лучше. Есть люди, с которыми сойтись и которых полюбить очень не долго, к таким принадлежал и мой хозяин, и я за эти дни приобрел в нем, хочу надеяться навсегда, верного друга. Он ввел меня во все лучшие семейства города, канцлер Мюллер также взял меня под свое покровительство, и вот я из одинокого, всем чужого приезжего (госпожа Гете и ее сыновья уехали в Вену), превратился в желанного гостя лучших семейств города.

Милостивый и сердечный прием великого герцога и его супруги совершенно очаровал меня. После того как я был им представлен, они пригласили меня на обед к себе, а вскоре затем я получил приглашение и от наследного великого герцога с супругой. Они проживали тогда в охотничьем замке Эттерсбург, лежащем на холме близ леса. Я поехал туда с канцлером Мюллером и биографом Гете Эккерманом. Недалеко от замка нашу карету остановил какой-то молодой человек с ясным, открытым лицом и прекрасными кроткими глазами и спросил: «А что же, Андерсен с вами?» Заметив его радость при виде меня, я пожал ему руку, а он сказал: «Прекрасно сделали, что приехали! Я скоро увижусь с вами там!» «Кто этот молодой человек?» — спросил я, когда мы тронулись дальше. «Да наследный великий герцог!» — ответил канцлер Мюллер. Итак, представление мое уже состоялось. В замке мы опять встретились. Все здесь дышало какой-то удивительной уютностью и миром, я видел вокруг себя все приветливые, радостные лица, все были так оживлены. Молодую герцогскую чету, видимо, соединяло глубокое, искреннее чувство. Для того чтобы хорошо чувствовать себя во время продолжительного пребывания при дворе, надо иметь возможность забыть звезды на груди ради скрывающихся за ними сердец, и одним из благороднейших, лучших сердец обладал здесь сам Карл-Александр Саксен-Веймарский. И много раз — и в счастливые, радостные, и в тяжелые, полные серьезных событий годы — имел я случай укрепиться в этом убеждении. Во время пребывания своего в Веймаре я еще не раз посетил прекрасный Эттерсбург, и однажды наследный великий герцог показал мне в парке, откуда видны горы Гарца, старое дерево, на стволе которого вырезали свои имена Гете, Шиллер и Виланд. Да и сам Юпитер пожелал отметить его, расщепив своей молниеносною стрелою одну из ветвей. Госпожа фон Грос, женщина с большим умом и известная под псевдонимом Амалии Винтер писательница, а также милейший канцлер Мюллер умели так живо воскресить перед нами своими рассказами время Гете и пояснить нам текст «*Фауста*» самыми яркими комментариями. К кружку нашему принадлежал еще добрейший, детски чистый душой Эккерман, и вечер за вечером пролетал для меня, как чудный сон. Часто кто-нибудь из нас читал вслух, и я также отважился прочесть по-немецки свою сказку «*Стойкий оловянный солдатик*». Канцлер Мюллер водил меня в герцогский склеп, где похоронен рядом со своей супругой Карл-Август. Вблизи их гробниц покоятся и великие, бессмертные друзья их, которых они сумели оценить при жизни; увядшие лавровые венки лежали на простых темных гробницах, единственное украшение которых бессмертные имена: *Гете и Шиллер*. Как при жизни герцог и поэты шли рука об руку, так и после смерти останки их покоятся под одним сводом. Такое место не изгладится из памяти, очутившись в нем, невольно шепчешь про себя молитву!



Оставить Веймар было для меня почти то же, что оставить родину, и когда я, выезжая из ворот города, обернулся, чтобы бросить на него последний взор, сердце мое сжалось от грусти — для меня как бы кончилась прекрасная глава моей жизни. И мне казалось, что дальнейшее путешествие уже не будет иметь для меня никакой прелести. Как часто с тех пор летал от меня туда голубь-письмоносец, а еще чаще — мои мысли. В Веймаре, городе поэтов, душу мою озарило яркое солнышко.

В Лейпциге, куда я прибыл затем, меня ожидал прекрасный, истинно поэтический вечер у Роберта Шумана. Гениальный композитор год тому назад положил на музыку четыре моих стихотворения, переведенные Шамиссо, и сделал мне честь, посвятив их мне. Романсы эти и были спеты в упомянутый вечер госпожой Фреге, восхищавшей своим задушевым пением столько людей. Аккомпанировала ей Клара Шуман, а слушателями были только сам композитор да поэт. Прекрасная музыка и оживленная беседа за ужином заставили вечер пролететь чересчур скоро. В одном письме Роберт Шуман также вспоминает об этом прекрасном вечере: «...Ein Zusammentreffen, wie das an dem Abend, wo Sie bei uns waren, — Dichter, Sängerin, Spielerin und Componist zusammen, wird es sobald wieder kommen? Kennen Sie *«Das Schifflein»* von Uhland —

...Wann treffen wir
An einem Ort uns wieder?

Jener Abend wird mir unvergesslich sein?»¹

Где тебя хорошо принимают, там охотно и остаешься, и я чувствовал себя во все время этого маленького путешествия по Германии несказанно счастливым. Я убедился, что я был там не чужой. В моих произведениях ценили главным образом сердце, естественность и правдивость; ведь как бы ни была прекрасна и достойна похвалы самая форма произведения, как бы ни поражали своей глубиной высказанные в нем идеи, главную роль играет все-таки пронизывающее его искреннее чувство. Оно из всех свойств человеческой природы наименее подвергается влиянию времени и наиболее доступно пониманию каждого.

Домой я направился через Берлин, где я не был уже несколько лет, но самого дорогого из моих тамошних друзей, Шамиссо, уже не было в живых. Я увиделся с его детьми, оставшимися теперь круглыми сиротами. Лишь глядя на окружающую меня молодежь, я сознаю, что сам все старею, в душе же я этого совсем не замечаю. Сыновья Шамиссо, которых я видел в последний раз еще мальчиками, игравшими в садике, были теперь уже офицерами, носили сабли и каски, и я почувствовал в

¹ Когда же повторится такая встреча, как в тот вечер, когда сошлись вместе вы — поэт, певица, аккомпаниаторша и композитор? Знаете ли вы *«Кораблик»* Уланда: «...Когда ж мы снова увидимся на этом месте?» Этого вечера я никогда не забуду.

это мгновение, как быстро летят годы, как все меняется и сколько дорогих сердцу людей уносит с собой время.

Из Штеттина я в бурную погоду переправился в Копенгаген, с радостью увидел опять всех своих дорогих друзей и, несколько дней спустя, снова уехал из Копенгагена — провести несколько прекрасных летних дней в милом Глорупе у графа Мольтке-Витфельда. Здесь я получил письмо от министра Ранцау Брейтенбурга, находившегося вместе с королем Христианом VIII и королевой Каролиной-Амалией на купаниях на Фёре. Оказалось, что Ранцау сообщил королю о моей поездке в Германию и об оказанном мне Веймарским двором милостивом приеме, и король с королевой, всегда относившиеся ко мне очень благосклонно, также пожелали пригласить меня провести в их обществе несколько дней. Милостивое приглашение свое они и передавали мне через графа Ранцау.

И вот, как раз через двадцать пять лет со дня первого прибытия моего в Копенгаген бедным беспомощным мальчуганом, мне предстояло быть в гостях у своих короля и королевы, к которым я всегда был искренно привязан и которых мне представлялся теперь случай узнать поближе и полюбить еще искреннее. Вся обстановка этого моего пребывания на острове Фёре, люди и самая природа неизгладимо запечатлелись в моей памяти. Я почувствовал себя здесь как бы достигшим той высоты, с которой я еще яснее мог видеть пройденный мною за эти двадцать пять лет жизненный путь, сознавать все радости, выпавшие мне на долю, и понимать, как все, даже горькое, вело к моему же благу. Да, действительность часто превосходит самую прекраснейшую мечту!

С Фионии я переправился в Фленсбург, и затем началась медленная поездка через степь, где быстро проносятся одни облака. Вечный хруст песка, однообразный свист степной птицы в вереске — все нагоняло сон. Но еще медленнее, еще труднее, даже опаснее стала наша поездка, когда степь кончилась, и размытая дождями дорога обратилась в месиво, здесь положительно можно было сломать себе шею. Одну милю тащились несколько часов, наконец кое-как достиг я Дагебюля, откуда видно было Немецкое море с островками вдоль всего берега, представлявшего, собственно, искусственную насыпь, укрепленную со стороны моря плотиной. Я приехал как раз во время прилива, ветер был попутный, и всего через какой-нибудь час я уже был на Фёре, который после трудного пути показался мне просто волшебной страной. Городок Вюк, самый большой на всем острове, весь построен по голландскому образцу — дома все одноэтажные, с соломенными кровлями щипцом. Вообще все здесь имеет довольно жалкий вид, но масса приезжих иностранцев и присутствие королевского двора придавало городку, особенно главной его улице, необычайно оживленный и праздничный вид. Почти все дома были заняты приезжими гостями, изо всех окон выглядывали знакомые лица, развевались датские флаги, играла музыка, словом — я как будто попал в самый

разгар какого-нибудь празднества. Матросы с парохода понесли мой багаж в курзал. Неподалеку от пристани и вблизи одноэтажного домика, где помещалась королевская чета, увидели мы дощатый дом с раскрытыми настежь окнами; при нашем приближении в окнах появились головы дам, кричавших мне: «Андерсен! Добро пожаловать! Добро пожаловать!» Матросы сняли шапки и низко поклонились; до сих пор я был для них неизвестным приезжим, о звании и положении которого они могли судить лишь по догадкам, теперь же я превратился для них в важную персону, — приветствовавшие меня дамы были принцессы Августенборгские и их мать герцогиня. Едва я уселся в курзале за табльдот и уже привлек к себе, как вновь прибывший, всеобщее любопытство, как явился королевский посланец звать меня к обеду в королевское семейство. Обед у них уже начался, но король и королева, узнав о моем прибытии, велели сейчас же пригласить меня к себе. «Вот теперь-то я сделаюсь интересным!» — сказал мне мой земляк, сосед по столу. Согласно распоряжению короля, мне было немедленно отведено помещение, завтракать же, обедать и вечера проводить я должен был в обществе их величеств. Я провел на Фёре чудные, светлые дни, каких уже не видал никогда потом. Так приятно открывать благородных и прекрасных людей там, где вообще привык видеть лишь короны да пурпурные мантии. Немногие люди могут быть в своей домашней жизни приветливее и проще царственной четы, которую я имел здесь случай узнать поближе. Дай им Бог всего хорошего за ту ласку, которой они согрели тогда мою душу!

По вечерам я обыкновенно читал какие-нибудь сказки. Любимыми сказками короля были «Соловей» и «Свинопас», и их часто приходилось перечитывать. Мои талант импровизации также скоро обнаружился вот по какому поводу. Однажды вечером кто-то из придворных кавалеров сказал в шутку одной из молодых принцесс Августенборгских какое-то двустилие. Я стоял рядом и, шутя, заметил: «Вы неверно сказали свои стихи! Я их знаю лучше! Вам следовало сказать...» И я произнес экспромт. Поднялся смех, шутки; шум долетел до короля, игравшего в карты в соседней комнате, и он спросил в чем дело. Я повторил ему свой экспромт, сказанный от имени другого лица, и тут все принялись пытаться сочинять экспромты, а я должен был помогать им.

Участвовал я также в разных прогулках и экскурсиях королевской четы. Между прочим, мы посетили самые большие из островков, этих зеленых рун моря, которыми он сообщает нам о затонувшей земле. Бурные волны превратили плоскую равнину в островки, часто размывают и эти и погребают людей и города. Год за годом исчезают один за другим эти клочки землицы, и лет через пятьдесят здесь, пожалуй, будет сплошная равнина морская.

Посетили мы и остров Оланд. Пароход, доставивший нас, остановился далеко от него, и надо было переправляться на лодках, а их имелось всего

несколько. Я скромно держался в стороне, так что едва попал в последнюю и прибыл на остров тогда, когда король уже возвращался обратно. «Вы только теперь приезжаете?» — приветливо сказал он мне. — Но не спешите, а хорошенько осмотрите все, пусть лодка подождет! Побывайте на старом кладбище и загляните там в один домик — хозяйка такая красавица!» Все мужское население острова находилось в плавании, и нас принимали одни женщины да девушки. Единственный находившийся здесь мужчина оказался только что вставшим после болезни. Перед церковью были устроены триумфальные ворота из цветов. Их пришлось привозить с Фёра, и поэтому сами ворота вышли такими маленькими и низенькими, что их надо было обходить кругом. Но все же было видно доброе желание! Единственный розовый куст, имевшийся на островке, срезали и положили на грязное местечко, по которому пришлось проходить королеве, и это внимание глубоко ее тронуло. Девушки здесь были очень красивы, одежда их полувосточная — здешнее население считает себя отпрыском греческого. Женщины ходят с полузакрытыми лицами, а на голове под покрывалом носят красные греческие фески, обвитые косами.

Я побывал на кладбище, видел красавицу, о которой говорил король, и вернулся на пароход к самому обеду. После обеда, когда судно наше лавировало между архипелагом островков, освещенных заходящим солнышком, палубу парохода живо превратили в бальную залу, и начались танцы. Плясали и стар, и млад, лакеи разносили прохладительное, а матросы, стоя на колесных ящиках, измеряли глубину и мерно и однозвучно выкрикивали футы. Взошла полная круглая луна, Амронские дюны возвышались словно снежная цепь Альпийских гор...

Графу Ранцау было известно, какое значение имеет для меня 6 сентября, — это был именно день моего первого прибытия в Копенгаген двадцать пять лет тому назад. Сидя в этот день за королевским столом и мысленно воскрешая в памяти все пережитое мною за этот период времени, я едва-едва сдерживал слезы. В такие минуты душа преисполняется благодарности Творцу, и мы льнем к Нему всем сердцем. Я ведь так глубоко сознавал все свое ничтожество, сознавал, что всем, всем был обязан Ему одному!

После стола король и королева поздравили меня не только милостиво — это слишком слабое выражение, — но с необыкновенным сердечным участием. Король поздравил меня со всем, чего я достиг в эти двадцать пять лет, и стал расспрашивать меня о моих первых шагах в столице. Я рассказал ему несколько наиболее характерных эпизодов, а он, продолжая разговор, спросил, между прочим, получаю ли я какое-нибудь годовое пособие. Я сказал, что получаю 200 специй. «Немного!» — заметил он. «Да мне немного и надо!» — ответил я. — Ведь и произведения мои дают мне кое-что!»

Расспросив меня с участием еще о разных обстоятельствах моей жизни и деятельности, король сказал: «Надо чтобы вам теперь жилось полу-

чше! — и закончил наш разговор следующими словами. — Если я могу когда-нибудь в чем-либо быть вам полезным, обращайтесь ко мне!» И вечером, во время придворного концерта, король возобновил со мною тот же разговор. Я был глубоко тронут.

Впоследствии некоторые из лиц, слышавших, что говорил мне в этот день король, упрекали меня в неумении пользоваться благоприятным моментом. «Король ведь чуть не в рот вам положил, что вы должны попросить его о прибавке пособия! Он сам же сказал, что вы получаете слишком мало и что надо вам теперь устроиться лучше!» «Что вы! — ответил я им. — Как же я мог в такую минуту, когда был просто гостем их величеств, когда они оба выказали мне столько сердечной доброты, как же я мог ловить их на добром слове, воспользоваться им! Я, может быть, вел себя и «неумно», но иначе я не могу! Если король находит, что я заслуживаю большего, то он может сам устроить все!»

6 сентября превратилось для меня в настоящий праздник, кроме моего короля, дали мне доказательство своего расположения и проживавшие на Фёре приезжие из Германии. За обедом в курзале, в то время как я обедал в королевском семействе, немецкие гости провозгласили тост за датского поэта, которого они знали у себя на родине по его произведениям, а теперь узнали лично. Один из моих земляков встал и поблагодарил за тост от моего имени. Столько знаков внимания легко могут испортить человека, сделать его тщеславным, скажут мне, пожалуй; но нет! — все подобное, напротив, делает человека лучше, добрее, проясняет его мысли и возбуждает желание, стремление сделаться достойным такого отношения.

На прощальной аудиенции королева подарила мне на память о днях, проведенных мною на Фёре, дорогое кольцо, а король снова выразил мне свое милостивое, сердечное участие. Я всем сердцем полюбил их обоих.

Герцогиня Августенбургская, с которой я здесь ежедневно виделся и беседовал, тоже самым милостивым, сердечным образом пригласила меня заехать по пути на несколько дней в Августенбургский замок. Теперь король и королева повторили это приглашение, и я с Фёра отправился на Альс, поистине красивейший из островов Северного моря, настоящий цветочный сад. Тучные поля и пастбища окружены там кустами орешника и шиповника, возле крестьянских домиков разведены фруктовые сады, всюду леса, холмы... То видишь перед собою открытое море с лесистыми холмами Ангеленса, то узкий, похожий на реку Бельт. От замка к самому фиорду спускается прекрасный сад. Я нашел здесь самый радушный прием и прекрасную семейную жизнь. Разговор велся всегда по-датски, и у меня и мысли не было о грядущих мрачных временах. Я провел здесь две недели, наслаждаясь роскошной природой, разными прогулками и экскурсиями, и начал здесь писать свой роман «Две баронессы». Настал день рождения герцогини, за обедом герцог встал и произнес речь о значении, которое имеет в настоящее время датская литература, о ее

свежести и здоровом направлении в сравнении с новейшей германской, и затем провозгласил тост за присутствующего здесь представителя датской литературы — меня. Я видел тогда в Августенборге только веселые, приветливые лица, милую, счастливую семейную жизнь, от всего веяло чисто датским духом — казалось, что над этим прекрасным местечком парил ангел мира. Было это осенью 1844 года. Как скоро все изменилось!

XII

Весною 1844 года я написал фантастическую комедию *«Цветок счастья»*, в которой хотел провести идею, что счастье не в славе, не в королевском блеске, а во взаимной любви. Характеры и действие в пьесе чисто датские; в ней изображена идиллически счастливая жизнь, а на этом светлом фоне, словно тени, проносятся два мрачных образа — несчастного поэта Эвальда и воспетого в народных песнях злополучного принца Буриса. Я хотел ради восстановления истины и к чести нашего времени показать, насколько в сравнении с ним мрачно и тягостно давно прошедшее, которое многие поэты так любят превозносить.

Я предназначил свою пьесу для королевского театра. Цензором-критиком пьес был тогда Гейберг, без сомнения принесший театру много пользы, но не благоволивший ко мне. Еще в сатире его *«Душа после смерти»* мои пьесы *«Мавританка»* и *«Мулат»* послужили ему орудиями пытки для грешников; затем мне досталось от него несколько щелчков в его *«Датском атласе»* и в *«Листках для интеллигенции»*, а мою переделку в драму моей поэмы *«Агнета и водяной»* он назвал произведением, перенесенным на сцену непосредственно из книжной лавки, и заявил, что Гаде напрасно потратил на нее свою задушевную музыку. Кроме того, он упомянул еще о моем «обычном недостатке оригинальности», об «отсутствии разумной связи в изображении характеров» и «крайней неясности идей».

Смею думать, что такое строгое отношение к моим трудам немало зависело от немилости, в которой я вообще находился у этого писателя-критика. Я догадывался, что им руководит недоброжелательство ко мне, и это-то и было мне больнее всего. Меня не столько огорчило известие, что и новая моя пьеса не была одобрена им, сколько сознание, что я ровно ничем не заслужил такого недоброжелательного ко мне отношения с стороны писателя, которого я всегда так высоко ценил. И вот я, желая наконец выяснить наши отношения, написал Гейбергу откровенное и, кажется, сердечное письмо, в котором просил его пояснить мне причины неодобрения им *«Цветка счастья»*, а также его нелюбви ко мне.

Получив мое письмо, Гейберг тотчас же сделал мне визит, но не застал меня дома, и я на другой же день отправился к нему сам. Он

принял меня в высшей степени приветливо. Как самое свидание, так и беседа вышли очень оригинальными, но результатом их было все-таки объяснение и лучшее взаимное понимание. Он ясно изложил мне свои причины неодобрения *«Цветка счастья»*, причины вполне основательные, с его точки зрения. У меня же была своя, и мы, конечно, не могли прийти к согласию. Затем он объяснил, что не питает ко мне никакой неприязни, и отдает моему таланту должное. Тогда я указал на его нападки на меня в *«Листках для интеллигенции»*, где он отрицает во мне всякую способность к оригинальному творчеству, а между тем она, по-моему, достаточно ясно проглядывает в моих романах. «Впрочем, вы ни одного из них не читали! — прибавил я. — Вы сами сказали мне это». «Да, это правда! — ответил он. — Я еще не читал их, но теперь прочту!» «Потом вы насмехались и над моим *«Базаром поэта»*, выставляя на вид, что я восторгаюсь Дарданеллами! — продолжал я. — Я же восторгался вовсе не Дарданеллами, а Босфором, но вы, должно быть, этого не заметили, а может быть, не читали и этой книги — вы ведь не читаете больших, толстых книг, как сами раз сказали!» «Вот! Так это вы про Босфор! — сказал он с своей обычной усмешкой. — Ну, а я это позабыл, и публика тоже, да и все дело было не в этом, а в том, чтобы немножко отщелкать вас!» Признание это звучало в его устах так естественно, так характеризовало его, что я невольно улыбнулся, а как поглядел в его умные глаза и вспомнил, сколько вообще он написал прекрасного, так и вовсе не мог рассердиться на него. Беседа наша становилась все оживленнее и непринужденнее; он высказал мне много лестного, заявил, что высоко ценит мои сказки, и просил меня почаще навещать его. С этого раза я стал лучше понимать эту поэтическую натуру и, думаю, что и он стал понимать мою. Мы сильно расходимся с ним характерами, но оба идем каждый своей дорогой к одной цели.

В последние годы, вообще очень благоприятные для меня, я успел заслужить одобрение и этого талантливого писателя. Но вернемся к *«Цветку счастья»*. Пьеса все-таки была принята, но шла всего семь раз, а затем мирно опочила в архиве, по крайней мере на время правления тогдашней дирекции.

Я часто задавал себе вопрос: в чем причина столь строгого и придирчивого отношения к моим драматическим произведениям — в литературных их недостатках или в том, что автор их я. И вот я решил послать в дирекцию одно свое произведение анонимно и подождать результатов. Но умею ли я молчать? Все говорили, что нет, и это мнение послужило мне в пользу. Гостя в Нью-Йорке, я написал романтическую драму *«Грезы короля»*¹ — один Коллин был посвящен в тайну моего авторства. Гейберг, который как раз в это время очень строго относился ко мне в

¹ См. т. III, стр. 453.

своих «Листках», сильно заинтересовался этой анонимной пьесой и, насколько я помню, лично поставил ее на сцене королевского театра. Впрочем, я должен прибавить, что он впоследствии поместил в тех же «Листках» очень похвальную рецензию об этой драме, кажется, уже подозревая, что автором ее был я, в чем почти все сомневались.

Другая подобная же попытка доставила мне еще больше удовольствия. Как забавлялся я, выслушивая разные мнения о ней и догадки! В то же самое время, когда я так добивался постановки моего «Цветка счастья», я написал и отослал в дирекцию, опять-таки анонимно, комедию «Первенец»¹. Ее поставили, и она шла с замечательным ансамблем. Г-жа Гейберг играла роль Христины с таким оживлением, с таким огоньком, что воодушевляла всех, и пьеска, как известно, имела огромный успех. В тайну мою опять был посвящен Коллин, да еще Эрстед, которому я читал «Первенца» еще у себя дома. И он от души радовался потом тому, пожалуй, даже чрезмерному успеху, который имела эта вещица. Кроме же двух названных лиц, никто не подозревал настоящего автора. После первого представления пьесы, когда я только что пришел из театра домой, ко мне завернул один из наших молодых талантливых критиков. Он тоже был в театре и принялся восторгаться моей маленькой комедией. Я был очень взволнован и, боясь выдать себя, поспешил сказать: «А я знаю автора!» «Кто же это?» — спросил он. «Вы! — сказал я. — Вы так взволнованы, и многое из того, что вы сейчас говорили, выдает вас с головой. Не ходите сегодня ни к кому больше! Если вы будете продолжать говорить так — вас сразу узнают!» Гость мой совсем смутился, покраснел и, положив руку на сердце, принялся разуверять меня. «Ну, ну, хорошо! Я что знаю, то знаю!» — ответил я, смеясь, и затем извинился перед ним, что должен сейчас выйти из дома. Я положительно не мог больше сдерживаться и был вынужден сыграть такую комедию; собеседник мой ничего и не заподозрил. Вскоре же как-то зашел я к директору театра Адлеру узнать о судьбе «Цветка счастья». «Да, — сказал он. — Это очень поэтическая вещь, но от нее немного будет нам проку! Вот, если бы вы дали нам такую вещицу, как «Первенец»! Это прелесть что такое, но, конечно, совершенно не в характере вашего дарования! Вы лирик, и у вас совсем нет этого юмора!» «К сожалению!» — ответил я и тоже похвалил «Первенца». И долго эта пьеска пользовалась все тем же успехом, но автор ее оставался неизвестным. Думали на Гострупа, и это было не в ущерб мне, некоторые же указывали и на меня, но этому уж совсем не хотели верить. Я сам был свидетелем, как доставалось тем, кто указывал на меня, главным образом упирали при этом на то, что «Андерсен не мог бы смолчать, раз пьеса имеет такой успех!» «Никак не мог бы!» — подтверждал я и внутренне давал себе слово молчать до тех пор, пока пьеска не потеряет с годами интереса новизны. И я

¹ См. т. III, стр. 395.

сдержал свое слово — автора узнали, лишь когда я включил «Первенца», так же, как и «Грезы короля», в собрание своих сочинений, изданное в 1854 году. А между тем многие характеры действующих лиц в «О. Т.» и в «Только скрипаче» могли бы навести людей на след, что я-то и есть автор «Первенца». Да и в сказках моих, кажется, можно найти кое-какой юмор, но вот подите же — его находили только в «Первенце». Все это очень забавляло Эрстеда, который первый высказал, что во мне много юмора и обратил мое внимание на развитие этой стороны моего таланта. Он замечал проявления юмора и во многих ранних моих произведениях, и в моих поступках вроде следующих. Собираясь издать в 1830 году в первый раз собрание своих стихотворений, из которых многие были уже напечатаны раньше, я хотел предпослать ему какой-нибудь эпиграф. Сколько я ни рылся в памяти, ничего, однако, не находилось, и я взял да и сочинил его сам: «Vergessene Gedichte sind neue! (Забытые стихотворения — новы.) Jean Paul». И впоследствии я немало забавлялся, видя, как цитировали это изречение Жана Поля другие литераторы, люди начитанные. Я-то знал, откуда они взяли его! Знал это и Эрстед.

Одно время мне приходилось очень горько от жестокой и пристрастной критики, меня часто доводили до того, что я готов был отчаяться в себе, но иногда на меня находили и минуты юмористического настроения, заставлявшего меня воспрянуть из подавленного и угнетенного состояния. В такие минуты я отлично сознавал свои собственные слабости и недостатки, но также и весь комизм, а часто даже и глупость выходок моих ретивых менторов. Вот я раз и написал сам критику на Г. Х. Андерсена, очень жестокую и придиричивую, в заключение я строго требовал, чтобы А. побольше учился и не забыл, скольким он обязан своим воспитателям. Вообще я не только упомянул в ней о всех обыкновенно выставляемых на вид недостатках моих произведений, но еще и прибавил от себя несколько таких, которые, как я знал, могли бы найти в моих трудах, если бы хотели насолить мне. С этой критикой я явился к Эрстеду в такой день, когда у него были гости. Я сказал, что принес с собой снятую мной копию с свирепой критики на меня и прочел ее. Все подивились моей охоте переписывать такую вещь и согласились, что критика чересчур уж резка. «Резка-то резка! — заметил Эрстед. — Но... сдается мне, тут есть кое-что как будто бы и основательное, показывающее верный взгляд на вас!» «Еще бы! — сказал я. — Коли я сам написал все это!» Всеобщее изумление, смех и шутки. Большинство присутствовавших были очень поражены тем, что я мог написать подобную статью. «Да он настоящий юморист!» — сказал Эрстед, и мне самому в первый раз стало ясно, что я действительно не лишен юмора. С годами у всякого человека, как бы вообще много он ни странствовал по свету, возрастает потребность иметь такое постоянное убежище, уютное гнездо, в котором нуждается даже перелетная птица. И я свил себе такие гнезда в домах Эрстеда, Вульфа, г-жи Лэссё, главным же

образом в доме Коллина, бывшем для меня поистине роднее родного. Принятый в доме, как сын, я почти вырос вместе с родными детьми Коллина, стал как бы членом семьи. Более тесной взаимной связи я не наблюдал ни в какой другой семье, и вдруг из этой цепи выпало одно звено, и в час скорбной утраты я еще яснее сознал, как крепко я был привязан к семейству, считавшему меня в числе своих членов. Если бы мне пришлось указать на образец хозяйки и матери семейства, всецело забывавшей самое себя ради мужа и детей, то я указал бы на супругу Коллина, сестру известного ботаника Горнеманна и вдову философа Биркнера.

В последние годы она лишилась слуха, а вскоре затем почти лишилась и зрения. Ей сделали операцию, которая удалась, и к зиме она уже опять, к великой своей радости, могла читать книги. С каким нетерпением ждала она также вновь увидеть весеннюю красу природы, и дождалась. Но вот однажды я провел у них воскресенье и, уходя вечером домой, оставил ее веселую и здоровую, а ночью слуга принес мне записку Коллина: «Жене моей очень плохо; все дети собрались возле нее». Я понял и поспешил к ним. Она тихо спала спокойным, безболезненным сном, казалось даже — без сновидений. Это был тот сон, в котором тихо, кротко приближается к добрым душам смерть. Три дня лежала она все в той же как будто тихой дремоте, затем лицо ее стало покрываться смертельной бледностью, — она умерла.

Закрyla очи ты, чтоб в мыслях вновь
Все пережить — и счастье, и любовь,
И сном забылась тихо, без страданья. —
О, смерть! Не тень ты, — светлое сиянье!

Никогда не думал я, чтобы можно было покинуть этот мир так легко, так блаженно-безболезненно. Душу мою озарила такая вера в Бога и в вечность, что минута эта стала для меня одною из важнейших во всей моей жизни. Это было в первый раз, что я взрослым присутствовал при отходе в вечность близкого мне человека. Вокруг умиравшей собрались все ее дети и внуки; в комнате царила благоговейная тишина. Ее душа была полна любви, и она ушла к источнику вечной любви, к Богу!

В начале этого же года роман мой *«Импровизатор»* был, как я уже упоминал, переведен на английский язык. За ним последовали переводы других моих романов под общим заглавием *«The life in Denmark»* (Жизнь в Дании). Из Англии же мои романы перешли и в Америку. На немецкий и шведский языки они были переведены еще раньше, а теперь появились и на голландском, и на русском. Сбылось то, о чем я и не смел мечтать. Произведения мои читались чуть ли не во всей Европе; положительно они возникли под счастливой звездой, — иначе я себе и объяснить этого не мог. Они распространялись по белу свету и везде находили себе друзей и

куда более снисходительных критиков, нежели на родине, где они были написаны и где их читали в оригинале. И как возвышает душу, но в то же время и пугает человека представление о том, что мысли его летают по свету и западают в души других людей! Да, как-то даже страшно так принадлежать свету! Все, что есть в человеке хорошего, доброго, принесет в таких случаях благословенные плоды, но заблуждения, зло тоже ведь пустят свои ростки. Так невольно скажешь: «Господи! Не дай мне никогда написать слова, в котором бы я не мог дать Тебе отчета!» Смешанное чувство радости и страха наполняет мою душу всякий раз, как мой гений-покровитель перенесет мои произведения в чужую страну.

Путешествие всегда было для меня тем подкрепляющим, освежающим душу купанием, тем жизненным напитком Медеи, от которого вновь возрождаешься и молодеешь.

Я люблю путешествовать совсем не ради того, чтобы искать материал для творчества, как это высказал один рецензент в статье о «*Базаре поэта*» и как потом повторяли за ним другие. Я черпаю идеи и образы в собственной душе, и даже жизни не хватит, чтобы исчерпать этот богатый источник. Но для того, чтобы переносить все это богатство на бумагу, нужны известная свежесть, бодрость духа, а ими-то я и запасаясь во время путешествий. Моя разумная бережливость в расходовании своих литературных заработков уже несколько раз доставляла мне возможность проехаться по Европе, и теперь благодаря ей я опять мог предпринять поездку, доставившую мне много радости. На этот раз я хотел снова посетить Италию, чтобы познакомиться с югом в теплое время года, оттуда же я намеревался проехать в Испанию, а на обратном пути захватить и Францию.

В последних числах октября 1845 года я выехал из Копенгагена. Прежде бывало, отправляясь в путешествие, я всегда думал: «Господи, что-то Ты пошлешь мне в эту поездку?» Теперь же я думал: «Господи, что-то случится с моими друзьями за долгое время моего отсутствия?», — и мне стало страшно: ведь сколько раз в один только год может выехать за город погребальная колесница! И чьи-то имена будут блеснуть на крышках гробов!.. Мы говорим обыкновенно, когда внезапно почувствуем холодную дрожь в теле: «Верно, смерть прошла по моей могиле!» Но куда сильнее дрожь пробегает по телу, когда мысль твоя пройдет по могилам твоих лучших друзей!

Как ни влекло меня в Италию, я все-таки провел несколько дней у графа Мольтке в Глорупе; меня удержала красота природы несмотря на позднюю осеннюю пору полная какой-то поэтической прелести. Листва уже опала, но яркая зелень травы и щебетанье птишек в солнечные дни заставляли думать, что на дворе ранняя весна, а не поздняя осень. Такие же минуты, должно быть, выдаются и у пожилого человека в осеннюю пору его жизни, когда сердце его еще грезит весной.

В своем родном городе, в старом Одессе, я остановился всего на один день. Я чувствую себя там более чужим, нежели даже в любом из больших городов Германии. Ребенком я рос один, значит, у меня не оставалось здесь никаких друзей детства; затем, большинство знакомых мне семейств вымерло, выросли новые поколения, и на улицах встречались все незнакомые лица, да и самые улицы изменились. Бедных могил моих родителей уже не сыскать более: на тех местах нахоронили новых покойников. Все изменилось!

Я отправился в связанную с моими детскими воспоминаниями усадьбу семейства Иверсен. Самая семья их разбрелась по свету; из окон глядели на меня чужие, незнакомые лица. А чего-чего только ни бродило в моей юной голове, когда я гостил здесь! Одна из молодых моих приятельниц, тихая, скромная Генриетта Ганк, которая так внимательно, с сияющим взором прислушивалась к моим первым стихотворениям, когда я приезжал сюда еще гимназистом, а потом студентом, теперь жила еще тише, еще скромнее далеко отсюда, в шумном Копенгагене. Она уже успела выпустить в свет свои романы *«Тетя Анна»* и *«Дочь писательницы»*, и оба они были переведены на немецкий язык. Немецкий издатель их полагал, что несколько добрых слов с моей стороны могли бы содействовать их успеху, и вот я, чужестранец, может быть, не по заслугам хорошо принятый в Германии, ввел туда произведения молодой, скромной девушки. Вернувшись, год спустя, из этого путешествия на родину, я узнал, что она умерла в июле (1846 г.). Родители лишились в ней милой, любящей дочери, свет — глубоко чувствующей поэтической натуры, а я — верной подруги юности, которая с такой любовью, с истинно сестринским участием следила за всеми и веселыми, и грустными перипетиями моей жизни.

В Гамбурге к старым друзьям прибавился теперь еще один новый, художник Шпектер, с которым я познакомился проездом через Гамбург в последнюю свою поездку в Париж. Вся его личность дышит той же свежестью и смелой простотой, которой так поражают все его работы и которая возводит их в степень маленьких шедевров. Он тогда еще не был женат и жил с отцом и сестрами. От этой семьи веяло какой-то особенной патриархальностью: милый, сердечный старик отец и талантливые сестры всей душой любили сына и брата. Шпектер был, видимо, растроган моими сказками, и они-то и заставили его полюбить меня. Его живая, жизнерадостная натура сказывалась во всем; однажды вечером он провожал меня в театр, в распоряжении у нас оставалась какая-нибудь четверть часа, как вдруг, проходя мимо одного богатого дома, он заявил мне: «Надо сначала зайти сюда, дорогой друг. Здесь живет одно семейство, мои друзья и — ваши друзья, благодаря вашим сказкам. Дети будут так счастливы!» «Но ведь представление сейчас начнется!» — сказал я. «Ну, каких-нибудь две минуты! — возразил он и потащил меня в дом, громко назвал мое имя, и нас окружила толпа детей. — А теперь

расскажите же им сказочку! Одну!» Я рассказал и поспешил уйти, чтобы не опоздать в театр. «Вот странный визит!» — сказал я. «Восхитительный! — ликовал он. — Дети только и бредят Андерсеном и его сказками, и вдруг он сам стоит среди них, рассказывает им сказку и — исчезает! Вот так сказка для ребятишек. Они ее вовек не забудут!»

Я несколько раз читал свои сказки в немецком переводе в доме Ф. Эйзендехера и у Больё. Мягкое произношение мое в связи с чисто датским характером моего чтения, вероятно, еще ярче оттеняло наивность этих сказок — насколько по крайней мере постарался сохранять ее немецкий переводчик, — и меня всегда слушали с особенным интересом. Читал я свои сказки, как уже говорил раньше, и при веймарском дворе, и затем в домах многих моих немецких друзей. Оказывалось, что иностранный акцент при чтении сказок нисколько не мешал, а, напротив, как-то шел к детскому тону их и придавал им особенно характерный колорит.

Не могу не рассказать здесь об очень тронувшем меня поступке маленького сына поэта Мозена. Мальчик всегда с большим вниманием слушал мое чтение; накануне моего отъезда я зашел к ним проститься, и мать ребенка, велев ему протянуть мне руку, прибавила: «Неизвестно еще, когда ты его увидишь опять!» Мальчик вдруг расплакался. Вечером же я увиделся с Мозеном в театре, и он сказал мне: «У моего Эрика два оловянных солдатика, и он попросил меня дать вам одного из них в товарищи на дорогу». Я взял солдатика, и он поехал со мною. В сказке «Старый дом» я и вспомнил солдатика маленького Эрика.

Я долго откладывал свой отъезд, но наконец пришлось решиться уехать: Рождество было недалеко, а я в этом году хотел провести его в Берлине.

Во время последнего моего пребывания в Берлине, я в качестве автора «Импровизатора» был приглашен в «Итальянский кружок», состоявший лишь из лиц, побывавших в Италии. В этом-то кружке я в первый раз и увидел Рауха, напомнившего мне своей сильной, мужественной фигурой и серебристыми волосами Торвальдсена. Меня почему-то не познакомили с ним, а отрекомендоваться ему сам я как-то постеснялся. Не удалось мне заговорить с ним и в его ателье, которое я посетил, как все иностранцы. Мы познакомились только позже, во время пребывания его у нас в Копенгагене, и в этот свой приезд в Берлин я сразу же отправился к нему. Он горячо обнял меня и начал осыпать похвалами, он успел за это время познакомиться с большинством моих сочинений и особенно восхищался моими сказками. Такие похвалы, хотя бы и чрезмерные, со стороны гениального человека могут осветить в душе много мрачных уголков! Раух таким образом первый приветствовал меня по моем прибытии в Берлин, и от него я узнал какой обширный круг друзей ожидает меня здесь. Скоро я убедился в этом и на деле. Я встретил здесь наилучший прием со стороны лиц, столь же славных своими высокими нравственными

качествами, сколько и заслугами науке и искусству, например, Александра Гумбольдта, князя Радзивилла, Савиньи и других.

Еще в первое же свое посещение Берлина я отыскал братьев Гримм, но знакомство наше не далеко зашло. Я не заручился тогда никаким рекомендательным письмом: мне сказали, да я и сам полагал, что если я кому-либо известен в Берлине, так это именно братьям Гримм. На вопрос отворившей мне служанки — кого из братьев я желаю видеть, я ответил: «Того, который больше написал». Я ведь не имел понятия о том, который из братьев принимал наибольшее участие в собирании и издании народных сказок. «Яков учение!» — сказала служанка. «Ну, так и ведите меня к нему!» И вот я увидел перед собой умное, характерное лицо Якова Гримма. «Я являюсь к вам без всякого рекомендательного письма, надеюсь, что имя мое вам небезызвестно!» — начал я. «Кто вы?» — спросил он. Я назвал себя, и Гримм с некоторым смущением ответил: «Я что-то не слыхал вашего имени. Что вы написали?» Теперь я в свою очередь смутился и упомянул о своих сказках. «Я их не знаю!» — сказал он. — Но прошу вас назвать мне какое-нибудь другое из ваших произведений, авось я его знаю!» Я назвал «Импровизатора» и еще несколько других моих сочинений, но Гримм все только покачивал головой. Мне стало совсем не по себе. «Что вы должны подумать обо мне!» — начал я снова. — Пришел к вам ни с того ни с сего и перечисляю вам свои сочинения!.. Но вы все-таки знаете меня! Есть сборник сказок всех народов, изданный Мольбеком и посвященный вам, в нем помещена и одна из моих сказок». А Гримм самым добродушным тоном и все с тем же смущенным видом сказал и на это: «Ну, я и этой книги не читал! Но я очень рад видеть вас у себя. Позвольте мне познакомить вас с моим братом Вильгельмом». «Нет, очень благодарен!» — сказал я, желая одного — поскорее убраться прочь. Мне так не повезло у одного из братьев, что я уж не желал испытать того же у другого. Я пожал руку Якову Гримму и поспешил удалиться. Несколько недель спустя, когда я уже был в Копенгагене и как раз упаковывал свой чемодан, собираясь ехать в провинцию, ко мне в комнату вошел одетый по-дорожному Яков Гримм. Он только что прибыл в Копенгаген и по дороге в гостиницу завернул ко мне, чтобы поскорее сказать мне: «Теперь я вас знаю!» И он сердечно пожал мне руку, ласково глядя на меня своими умными глазами. В ту же минуту в комнату вошел носильщик, явившийся за моими вещами, и встреча наша с Яковом Гриммом в Копенгагене вышла такой же короткой, как и берлинская. Но все-таки с этих пор мы уже знали друг друга, и встретились теперь в Берлине как старые знакомые.

Яков Гримм был одной из тех симпатичных личностей, которые невольно привлекают к себе. На этот раз я познакомился и с его братом и имел случай оценить также и его. Однажды вечером я читал у графини Бис-

марк-Болен одну из своих сказок. Среди слушателей особенно поразило меня своим вниманием и дельными и оригинальными замечаниями одно лицо; это и был Вильгельм Гримм.

«Вот зашли бы вы ко мне, когда были здесь в последний раз, я вас, наверное, узнал бы!» — сказал он. С этих пор я встречался с этими милыми талантливymi братьями почти ежедневно. Я часто читал в их присутствии мои сказки, и внимание, которое оказывали этим моим произведениям знаменитые собиратели *«Немецких народных сказок»*, было мне особенно дорого. Первое мое неудачное посещение Гримма так огорчило меня, что я во все тогдашнее свое пребывание в Берлине всякий раз, как кто-нибудь особенно распространялся при мне о сочувствии ко мне берлинцев и о моей известности среди них, покачивал головой и говорил: «Гримм меня, однако, не знал!» Теперь же я достиг и этого!

Тик был болен и не принимал никого, как мне объявили, но, получив мою карточку, он тотчас же написал мне письмо и дал в честь меня обед для небольшого кружка избранных лиц. Кроме меня были только брат Тика, скульптор, историк Раумер и вдова и дочь Стеффенса. Это было в последний раз, что мы собрались так все вместе. Быстро пронеслось несколько чудных, незабываемых часов. Я никогда не забуду задушевного красноречия Тика, глубокого, правдивого взгляда его умных глаз, блеск которых не только не потухал с годами, но все более и более разгорался. *«Эльфы»* Тика — одна из прекраснейших сказок новейшей литературы, и даже не напиши Тик ничего, кроме нее, она одна обессмертила бы его имя. Как сказочник, я глубоко преклоняюсь перед этим истинным художником, который много лет тому назад первый из всех немецких поэтов сердечно прижал меня к груди и как бы благословил меня идти по одному с ним пути.

Пришлось затем перебивать у всех старых друзей; число же новых с каждым днем возрастало, приглашения так и сыпались на меня, надо было обладать просто геркулесовой силой и выносливостью, чтобы выдерживать такое широкое гостеприимство! Около трех недель провел я в Берлине, и чем дальше, тем время, казалось, летело все быстрее; но наконец сил моих больше не хватило, я утомился и духовно, и физически и не предвидел иной возможности отдохнуть спокойно, как только снова попав в вагон железной дороги, который помчит меня из страны в страну.

И все же среди всей этой сутолоки гостеприимства и чрезмерного внимания, которыми окружали меня со всех сторон, для меня выдался один вечер, который, дав мне почувствовать все мое одиночество, отозвался в моей душе особенно горько. Это было в сочельник, как раз в тот вечер, которого я всегда ждал с какой-то детской радостью, который не могу себе представить без елки, без окружающей меня толпы радостных ребятишек и взрослых, снова становящихся детьми!.. И вот этот-то вечер я и провел у себя в номере один-одинешенек, думая о рождественском веселье у нас на родине, а все мои добрые берлинские друзья

полагали, как сами потом рассказывали мне, что я провожу его там, где мне всего приятнее и куда я давным-давно уже был приглашен.

Дженни Линд находилась тогда в Берлине; Мейербер таки добился своего. Она пользовалась здесь огромным успехом, все прославляли ее и не только как артистку, но и как женщину. Каждый выход ее сопровождался взрывами восторга, публика просто осаждала театр в те вечера, когда она пела. Во всех городах, куда бы я ни приехал, повсюду мне говорили только о ней, но мне и не нужно было этих напоминаний — мысли мои и без того были заняты ей, и я давно уже лелеял в душе мечту провести сочельник в ее обществе. Я вполне свыкся с мыслью, что если мне в этот вечер случится быть в Берлине, то я непременно встречу Рождество вместе с нею. Убеждение это стало у меня просто *idée fixe*, так что я из-за этого и отклонил все приглашения моих берлинских друзей. Но Дженни Линд не пригласила меня, и я просидел сочельник один-одинешенек. Я чувствовал себя таким заброшенным и невольно открыл окно, чтобы взглянуть на звездное небо, — вот моя елка. И мною овладело тихое, умиленное настроение... Другие, пожалуй, назовут его сентиментальным, — пусть! Им известно название, а мне — настроение. На другое утро меня, однако, уже разобрала досада, чисто детская досада за потерянный сочельник, и я не мог не рассказать Дженни Линд, как печально я провел его. «А я думала, что вы проводите его в кругу принцев и принцесс!» — сказала она, когда я рассказал ей, как я отклонил все приглашения, чтобы провести сочельник с нею, как я издавна радовался этой мысли и даже ради этого только и приехал в Берлин к Рождеству. «Дитя! — сказала она с улыбкой, ласково провела рукой по моему лбу, рассмеялась и прибавила. — Мне этого и в голову не приходило! К тому же меня давно уже пригласили в одно семейство. Но теперь мы еще раз справим сочельник! Дитя получит свою елку! Мы зажжем ее у меня под Новый год!» И она действительно зажгла для меня в этот вечер нарядную елочку. Дженни Линд, компаньонка ее да я составляли все общество. И вот мы, трое детей Севера, встретили в Берлине Новый год, любуясь на огоньки елки, зажженной ради меня одного. Мы веселились словно дети, играющие в гости: было заготовлено полное угощение, как для целого общества, нам подавали чай, мороженое и, наконец, ужин. Дженни Линд спела большую арию и несколько шведских песен, словом — для меня был дан настоящий музыкальный вечер, и все подарки с елки достались одному мне. В городе узнали о нашем скромном торжестве, и в одной газете даже появилась заметка, в которой изображались двое детей Севера — Дженни Линд и Андерсен — под елкой.

Дженни Линд познакомила меня с г-жой Бирх-Пфейффер. «Она выучила меня по-немецки! — сказала она мне перед тем. — Она мне все равно что мать! Вы должны познакомиться с ней!» Мы вышли на улицу и взяли первого попавшегося извозчика. «Всемирно известная Дженни Линд едет в таком экипаже — как это можно!» — сказали, пожалуй,

и некоторые берлинцы, как говорили копенгагенцы, увидев ее однажды едущей со своей старой подругой на извозчике. «Неприлично для Дженни Линд ездить на извозчике. Это ни на что не похоже!» Какие, однако, бывают у людей странные понятия о приличии! Истинно великий человек никогда не смотрит на такие мелочи! Раз в Нюсё, когда я собирался отправиться в город в дилижансе, Торвальдсен захотел составить мне компанию, и все тоже завопили: «Это немыслимо! Торвальдсен в дилижансе!» «Да, ведь, Андерсен же ездит!» — сказал он простодушно. Пришлось мне объяснить ему, что это совсем другое дело, а что если поедет в дилижансе он, Торвальдсен, все непременно скандализируются этим. То же было, когда копенгагенцы увидели Дженни Линд на извозчике; но это все-таки не помешало ей воспользоваться таким же экипажем и здесь в Берлине, когда мы отправились к г-же Бирх-Пфейффер. Я знал ее, как прекрасную артистку и талантливую драматическую писательницу, знал также, как жестоко относилась к ней критика, и невольно подумал, что это-то именно и оставило на ее лице бросившуюся мне в глаза горькую улыбку. «Я еще не читала ваших сочинений, — сказала она, — но знаю, как благосклонно относится к нам критика! Я этим не могу похвастаться!» «Он мне все равно, что добрый, любящий брат!» — сказала Дженни Линд и вложила мою руку в ее. В следующее свое посещение я застал г-жу Бирх-Пфейффер за чтением *«Импровизатора»*, и почувствовал, что теперь у меня одним другом больше.

Сейчас же по приезде в Берлин я был удостоен приглашения на обед во дворце. Сидеть мне пришлось рядом с Гумбольдтом, которого я знал лучше других и искренно любил не только как великого ученого, но и как милейшего, простого в обращении человека, оказывавшего мне бесконечное внимание. Король принял меня очень любезно и сказал, что во время своего пребывания в Копенгагене спрашивал обо мне, но ему ответили, что я за границей. Затем он сказал, что прочел мой роман *«Только скрипач»* с большим интересом и с тех пор всякий раз, как увидит аиста, невольно вспоминает про бедного Христиана. Описание смерти аиста также глубоко растрогало его. Королева тоже беседовала со мной очень приветливо. Вскоре после того меня пригласили в Потсдам провести в обществе короля и королевы вечер. Кроме их величеств, дежурных дам и кавалеров, Гумбольдта и меня, никого не было. Когда я занял свое место за маленьким столиком, вокруг которого собралось все небольшое общество, королева заметила, что я сижу как раз на том же месте, на котором сидел Эленшлегер, когда читал им свою трагедию *«Дина»*. Я прочел четыре сказки: *«Ель»*, *«Безобразный утенок»*, *«Парочка»* и *«Свинопас»*. Король был чрезвычайно оживлен, так и сыпал остроумными замечаниями. Разговор перешел на Данию и ее лесную природу, которую король находил удивительно красивой. Вспоминал он также о прекрасном исполнении в датском королевском театре комедии

Гольберга «Медник-политик». Сидя в этом уютном салоне, в дружеском кружке, встречая одни добрые, ласковые взгляды, я чувствовал, как здесь меня любят, — даже больше, чем я заслуживал!.. Вернувшись поздно вечером к себе, я долго не мог заснуть — впечатления этого вечера слишком волновали меня. Все вокруг приобретало какой-то сказочный колорит, башенные куранты играли всю ночь, и красивая музыка удивительно гармонировала с моим настроением... Да, в минуты счастья чувствуешь себя как-то добрее, умиляешься душою.

Накануне моего отъезда из Берлина я получил еще одно доказательство милостивого расположения ко мне короля прусского. Мне был пожалован орден Красного орла, 3-й степени. Такой знак отличия порадовал бы всякого, и я откровенно признаюсь, что был чрезвычайно обрадован. Я видел в этом явный знак благорасположения ко мне благородного, просвещенного монарха, и сердце мое исполнилось благодарности к нему. Это был первый полученный мною орден, и получил я его как раз в день рождения моего благодетеля Коллина, 6 января, так что день этот стал для меня с тех пор двойным праздником. Я был бесконечно рад и от души желал, чтобы Господь послал много радостей монарху, так обрадовавшему меня.

Последний вечер я провел в дружеском кружке, состоявшем по большей части из молодежи. Пили за мое здоровье и декламировали стихотворение: «*Der Märchenkönig*» (Король сказок). Я вернулся домой лишь поздней ночью, ранним утром уже сидел в вагоне, готовясь отправиться в Веймар, где мне снова предстояло свидеться с Дженни Линд.

В «*Das Märchen meines Lebens*»¹, написанной во время этой поездки под свежим впечатлением пережитого, я высказал по поводу этого отъезда следующее: «Я привел здесь примеры некоторых из оказанных мне в Берлине бесчисленных знаков доброго расположения ко мне. Для меня было просто потребностью, как, мне думается, и для всякого, получившего от большого числа лиц крупную сумму для известной цели, — отдать отчет в доверенном мне богатстве, высказать волновавшие меня при этом чувства».

Через сутки я уже опять находился в Веймаре у наследного великого герцога. У меня нет слов, чтобы высказать, с каким бесконечным радушием и приветливостью я был принят в герцогском доме, но сердце мое переполнено чувством благодарности. Как во время празднества, так и в уютном семейном кругу герцог относился ко мне с неизменной сердечностью, и дни проходили для меня словно сплошное воскресенье.

¹ «Сказка моей жизни». Автобиография Андерсена появилась впервые на немецком языке. Андерсен написал ее по просьбе своего немецкого издателя и лишь девять лет спустя издал ее на датском языке в значительно дополненном виде. — Примеч. перев.

Никогда также не забуду я тихих вечеров, проведенных в дружеской беседе с Больё. Часто присоединялись к нам и умный, даровитый Шелль, и Шобер, и почтенная юношески свежая г-жа Швиндлер, верная подруга юных лет Жана Поля. Она отнеслась ко мне при первом же знакомстве с истинно материнским участием и чрезвычайно обрадовала меня своим замечанием, что я напоминаю ей этого великого писателя. Она рассказала мне о нем столько нового и интересного для меня. Жан Поль, или по настоящей его фамилии — Фридрих Рихтер, до такой степени был беден в молодости, что ему не на что даже было купить бумаги, и он, готовясь писать свое первое сочинение, должен был заработать себе деньги на покупку ее перепиской копий с единственного печатного экземпляра газеты, которую выписывали в складчину крестьяне. Поэт Глейм первый обратил внимание на Жана Поля и написал г-же Швиндлер об этом талантливом молодом человеке, которому он дал на его нужды 500 талеров. Г-жа Швиндлер подарила мне одно из писем к ней Жана Поля и написала при этом: «Nach der Richtung, welche die Tages-Literatur meistens jetzt in Deutschland genommen hat, erwartete ich kaum auf meinem Lebenswege noch einer so schönen geistigen Verwandtschaft zu begegnen als die ist, welche H. Andersen unbestritten mit Jean Paul hat»¹.

У милого даровитого Флориена я познакомился с Бертольдом Ауэрбахом. Его «*Dorfgeschichten*» (Деревенские рассказы) привели меня в восторг; я не знаю в новейшей литературе более поэтического, более здорового по духу и радующего сердце произведения. Такое же впечатление производил и сам Ауэрбах. Открытая, прямая натура и здравый ум его невольно напоминали собою «eine Dorfgeschichte». В глазах его так и светится ум и честная, благородная душа. Мы живо подружились, и он со своей обычной простотой и задушевностью предложил мне быть с ним на «ты». «Но, — прибавил он с улыбкой, — я ведь еврей!» Я рассмеялся: как будто принадлежность к одному из старейших, интереснейших народов могла что-нибудь изменить в этом случае!

Мое пребывание в Веймаре все затягивалось, я так привязался к моим новым друзьям, что едва мог расстаться с ними. Наконец, по окончании празднеств, сопряженных с днем рождения великого герцога, я уехал, мне во что бы то ни стало хотелось попасть в Рим до Пасхи. Ранним утром я еще раз увиделся с наследным герцогом и простился с ним. Не желая переступать границ, положенных между нами его высоким рождением и положением в свете, я все же считаю себя вправе сказать о нем то, что и последний бедняк может сказать о князе: он дорог мне,

¹ Ввиду господствующего ныне в немецкой литературе направления, я почти и не ожидала встретить на своем пути писателя, который бы находился в таком прекрасном духовном родстве с Жаном Полем, в каком, бесспорно, находится с ним г. Андерсен.

я люблю его, как одного из ближайших моих друзей. Господь благослови его на все хорошее, к чему он стремится! За княжеской звездой его скрывается истинно доброе сердце!

Голштинец профессор Михельсон собрал у себя однажды вечером большое общество, состоявшее все из друзей моей музыки, и подняв бокал за мое здоровье, высказал в прекрасной прочувствованной речи, какое значение имеет современная датская литература благодаря своей свежести и естественной простоте. Из гостей особенно заинтересовал меня знаменитый богослов профессор Газе, автор *«Жизни Христа»* и *«Истории церкви»*. Вечером накануне я читал при нем некоторые из моих сказок, и он обнаружил ко мне живейшую симпатию. Сердечное свое расположение ко мне и моим сказкам он выразил, написав мне в альбом следующее:

«Изречение Шеллинга — не того, что живет теперь в Берлине, но живущего бессмертным героем в царстве духа — *«Природа есть видимый дух»* — невольно пришло мне на ум вчера вечером. Я слушал ваши сказки, и мне снова стали ясны и этот дух, и эта невидимая природа. Насколько сказки эти, с одной стороны, обнаруживают глубокое проникновение в тайны природы, понимание языка птиц и чувств ели или маргаритки, так что мы с детьми нашими, несмотря на то, что все это существует точно само по себе, участвуем в их горе и радости, настолько, с другой стороны, все является только отражением духа, и во всем чувствуется биение вечно волнующегося человеческого сердца. От души желаю, чтобы источник этот, бьющий из дарованного вам Богом сердца поэта, еще долго бил на радость людям и чтобы сказки ваши превратились в представлении германских народов в народные сказки».

Газе и талантливому импровизатору профессору Вольфу из Иены я был обязан еще тем, что немецкие переводы моих произведений стали приносить мне некоторую материальную пользу. Они были очень поражены, узнав, что я до сих пор не получаю ни малейшего гонорара за все многочисленные переводы моих трудов, довольствуясь тем, что они вообще находят себе переводчиков и читателей и чувствуя себя еще обязанным издателям, если они посылают мне по несколько экземпляров. Газе и Вольф заявили, что нужно же, наконец, устроить так, чтобы я мог извлечь из того успеха, которым пользуются в Германии мои произведения, хотя некоторую материальную пользу, и оба приложили в этом отношении все свои старания. Прибыв в Лейпциг, я получил там одно письменное предложение из Берлина и затем личные — от лейпцигского издателя Брокгауза, от Гертеля и, наконец, от моего земляка Лорка. Все они желали приобрести право на переводы и издание всех уже появившихся моих произведений и предлагали за это уплатить мне раз навсегда несколько сот талеров. Я принял предложение своего земляка, и мы оба остались очень довольны нашим соглашением. Итак, город книжной торговли поднес мне подарок в виде

гонорара. Затем меня ожидали здесь и другие радости: я вновь свиделся с семейством Брокгауза, провел несколько счастливых часов у гениального Мендельсона и чуть не ежедневно слушал его игру. Его выразительные глаза, казалось, глядели вам прямо в душу. Немного встретишь людей, носящих на себе такой отпечаток истинного гения, как именно Мендельсон. Милая, приветливая супруга его и прелестные дети делали его уютный дом еще привлекательнее; редко где я чувствовал себя так хорошо. Мендельсон любил подтрунивать над той большой ролью, какую играет в моих произведениях аист. Самому ему аист, впрочем, полюбился еще с пор, как он прочел «Только скрипач»; он радовался, встречая старого знакомого в моих сказках, и часто в шутку говаривал мне: «Ну, расскажите же нам сказку про аиста! Напишите мне песенку про аиста!» И как лукаво улыбались при этом его умные глаза. В них светилось в такие минуты, что-то детски шаловливое! На обратном пути я свиделся с ним еще раз и затем уже — никогда больше. Супруга его скоро последовала за ним, а прелестные дети, живые копии с рафаэлевских ангелочков, рассеялись по свету.

В Дрездене один из приятнейших вечеров провел я в королевской семье, принявшей меня удивительно радушно и приветливо. И здесь, по-видимому, процветала самая счастливая семейная жизнь. Я не чувствовал ни малейшего стеснения, налагаемого придворным этикетом, встречал одни лишь ласковые, сердечные взгляды.

В Вене я увиделся с Листом. Он пригласил меня на один из своих концертов, на которые вообще крайне трудно было заручиться билетами. Я во второй раз услышал его фантазии на темы из «Роберта», увидел, как он, словно какой-то дух бури, играл струнами. Эрнст тоже находился в Вене, но его концерт был назначен уже после моего предполагаемого отъезда; между тем я еще ни разу не слышал его, и неизвестно было, свидимся ли мы еще когда-нибудь, вот он, когда я зашел к нему, и дал мне концерт. Скрипка в его руках плакала и стонала, раскрывая нам тайны человеческого сердца!.. Несколько лет спустя, в первые годы войны, мы снова встретились в Копенгагене и стали друзьями. Главным образом привлекла его ко мне «*Das Märchen meines Lebens*» и «*Bilderbuch ohne Bilder*» (Картинки-невидимки). «По настоящему следовало бы называть их «*Bilder ohne Buch*» — писал он мне в одном письме. — Наслаждаясь ими, совершенно забываешь, что читаешь книгу!»

Большинство блестящих звезд австрийского литературного небосклона только успели во время моего пребывания в Вене промелькнуть у меня перед глазами, как шпили церковных башен, пролетающему по железной дороге путешественнику. Я могу только сказать, что видел их, и чтобы продолжить сравнение со звездами, прибавлю, что в кружке «Конкордия» глазам моим представился целый Млечный путь. Здесь было много и молодых талантов, и лиц уже с именами и значением.



Еще перед отъездом моим из Дрездена, королева саксонская спросила меня — есть ли у меня рекомендательное письмо хоть к кому-нибудь в Вене? Я ответил — нет, и королева была настолько добра, что дала мне собственноручное письмо к сестре своей, эрцгерцогине австрийской Софии. Последняя и пригласила меня к себе через графа Чехени. Принят я был в высшей степени приветливо. У эрцгерцогини находилась в этот вечер и вдовствующая императрица, также обошедшаяся со мной очень милостиво. Один из присутствующих здесь принцев вступил со мною в дружескую беседу — это был старший сын эрцгерцогини, ныне царствующий император. После чая я прочел несколько своих сказок: «*Парочку*», «*Безобразного утенка*» и «*Красные башмачки*». Да, не думал я, когда писал их, что мне когда-нибудь придется читать их здесь! Вообще я могу сказать, что находил сердечный, радушный прием повсюду — начиная с императорского дворца и кончая хижинкой бедного крестьянина!

Но вот, наконец, передо мною вновь развернулась роскошная картина природы Италии. Весна прикоснулась устами к плодовым деревьям, и они все расцвели от ее поцелуя, каждая былинка была налита солнечным светом, вязы стояли, словно кариатиды, поддерживая густые зеленые виноградные лозы. А над этой пышной зеленью растительного царства возвышались волнообразные громады голубых гор со снежными вершинами.

31 марта 1846 года мне предстояло в третий раз увидеть вечный город, и я был полон радости и благодарности Творцу, даровавшему мне так много в сравнении с тысячами других людей! В минуты бесконечной радости, так же как и в минуты глубочайшей скорби, душа невольно льнет к Богу! И первое чувство, охватившее мою душу, когда я въехал в Рим, было благоговейное умиление. Другого выражения и подобрать не могу. Волновавшие же меня чувства во время моего пребывания в этом дорогом моему сердцу городе я высказал тогда в письме к одному из моих друзей:

«Я так сжился с этими руинами, с этими точно окаменевшими улицами, с вечно цветущими розами и вечно звучащими колоколами, а между тем Рим уже не тот Рим, каким он был тринадцать лет назад, когда я был здесь в первый раз. С тех пор все приобрело какой-то отпечаток современности — даже руины. Трава и кустарник повыдернуты, все вычищено, народная жизнь как-то отошла на задний план. Не слышно больше на улицах звуков тамбурина, не видно молодых девушек, отплясывающих сальтарелло. Цивилизация промчалась, как бы по невидимой железной дороге, даже через Кампанию; крестьянин уже лишился прежней своей наивной веры. На Пасху я видел, как во время папского благословения оставались стоять на ногах толпы народа, прежде благоговейно повергавшегося на землю. Теперь весь народ как будто состоял не из римлян-католиков, а из иноверцев-чужеземцев, разум победил веру. Меня

это взволновало так, что я сам был готов преклонить колена перед невидимою святыней. Лет через десять, когда железные дороги еще более сблизят города между собою — Рим изменится еще более. Но все, что свершается — к лучшему, и не любить этот город нельзя. Рим — что книжка со сказками: беспрестанно открываешь новые чудеса, живешь и в мире фантазии и в действительности».

В первый свой приезд в Италию я еще не обращал особенного внимания на скульптуру; в Париже роскошная живопись отвлекла меня от нее, и только во Флоренции статуя Венеры Медицейской открыла мне глаза: с них, употребляя выражение Торвальдсена, «как будто стоял снег». В этот же раз я во время беспрестанных своих странствований по залам Ватикана научился любить скульптуру еще больше живописи. Впрочем, в каких же других городах это искусство и открывается вам в таких грандиозных образах, как в Риме да еще в Неаполе! Здесь всецело уходишь в него, учишься у него любить природу, эти прекрасные формы дышат ведь жизнью!

Среди шедевров скульптуры, виденных мною на выставке в Риме и в мастерских молодых художников, находилось также несколько произведений моего земляка, скульптора Иерихау, которые обратили на себя мое особенное внимание. В последнее мое пребывание в Риме Иерихау тоже был здесь, но еще находился тогда в самом бедственном положении: никто знать его не хотел, да он и сам-то себя еще не знал. Теперь же он был на восходе своей славы. Я видел у него в мастерской группу «Геркулес и Геба» и его последнюю работу «Охотник за пантерами», которую как раз в это время заказал ему в мраморе какой-то русский князь. Я очень радовался за молодого скульптора, видя в нем нового распространителя славы Дании за границей. Я знал его еще мальчиком; мы оба были уроженцами Фионии; в Копенгагене же мы встречались в доме г-жи Лэссё. В то время никто, даже сам он, не знал еще, что таилось в нем. Он полушутя, полусерьезно говорил нам, что не знает на что решиться — отправиться ли в Америку и зажить там с гуро́нами, или ехать в Рим и сделаться художником. Скоро он, однако, бросил кисти и взялся за глину. Последней его скульптурной работой в Копенгагене был мой бюст. Он думал что-нибудь выручить за него и поручил мне переслать ему деньги в Рим, но дело не выгорело: никто, конечно, не нуждался тогда в творении Иерихау, да еще в бюсте Андерсена.

Теперь, как сказано, он шел в гору и был вполне счастлив. Он только что женился на немецкой художнице Елизавете Бауман, смелые задушевные картины которой восхищали всех.

День моего рождения — 2 апреля — был отпразднован прекрасно. Г-жа Гете находилась в это время в Риме и случайно жила как раз в том самом доме, где я заставил родиться и провести годы первого детства моего «Импровизатора», и вот она прислала мне чудный истинно римский букет, живую цветочную мозаику, с записочкой: «Из сада Импровизатора».

От вечного волнения, неустанной беготни по городу, боязни потерять даром хоть один час, не успеть осмотреть все, я под конец совсем изнемог, а тут еще этот вечный удушливый сирокко! Рим решительно становился мне вреден, и я сейчас же после Пасхи, полюбовавшись иллюминацией собора Св. Петра, отправился в Неаполь. Со мною вместе поехал и австрийский путешественник граф Пор, с которым я познакомился еще на пути в Рим, и мы поселились с ним в С. Лючия. Перед нами расстилалось море, пламенел Везувий. Вечера стояли чудные, ночи лунные. Небо как будто поднималось выше, звезды казались еще недостижимее. Какие световые эффекты! На севере месяц струит на землю серебряные лучи, здесь — золотые. Подвижный фонарь маяка то вспыхивает ярким светом, то как будто совсем погасает. Огни, зажженные на носу рыбачьих лодок, бросают на водную поверхность длинные обелискообразные световые полосы, иногда же на них падает тень лодки и заволакивает их точно темным облаком, под которым водная глубь становится светлее, так что, кажется, можно видеть самое дно, рыб и водные растения. На улицах перед разными лавочками тоже блещут тысячи огоньков. Проходит процессия детей с зажженными восковыми свечами; кто-то из малышей упал, лежит и барахтается на земле со свечкой в руках. А над всей этой картиной возвышается огненный гигант Везувий!..

Солнце между тем с каждым днем палило все сильнее, сирокко совсем высушил воздух. Я, как северянин, полагал, однако, что мне не мешает набраться тепла про запас, и, не имея еще понятия о силе здешних солнечных лучей, бегал себе по городу даже в такое время дня, когда неаполитанцы благоразумно сидят дома или прокрадываются по улицам, прижимаясь чуть не к самым стенам домов, чтобы держаться в их узенькой тени. И вот однажды, переходя по Ларго ди Кастелло, я почувствовал, что дыхание у меня спирается... Солнце брызнуло мне в глаза, разлилось по всему телу, и я упал без чувств. Когда я пришел в себя, оказалось, что меня перенесли в кафе и прикладывали мне к голове лед. Я был словно весь разбит и с тех пор решался высовывать нос из дому лишь по вечерам. Долго я не в силах был выносить ни малейшего напряжения и позволял себе только сидеть на широкой прохладной террасе приморской виллы прусского посланника барона Брокгаузена, да иногда прокатиться в экипаже на Камальдони. Из Неаполя я посетил также Капри и Искию, туда приехала на купания моя соотечественница танцовщица Фьельстед и скоро так поправила здесь здоровье, что часто по вечерам танцевала под тенью апельсиновых деревьев сальтарелло вместе с другими молоденькими девушками. И молодежь была от нее в таком восторге, что дала ей серенаду. Иския, впрочем, никогда особенно не восхищала меня, как других путешественников. Жара и здесь стояла невыносимая, и мне посоветовали поехать отдохнуть в Сорренто, город Торквато Тассо. Я нашел вместе с одним знакомым английским семейством помещение в Кальмелло близ Сорренто. Маленький

садик наш был расположен на самом берегу моря, которое с шумом катило свои волны в пещеры, находившиеся под садом. Днем я из-за жары должен был сидеть дома, в комнатах, и я усердно работал над «*Das Märchen meines Lebens*». Лист за листом отсылал я ее в письмах в Данию одному из друзей моих, который редактировал ее и затем пересылал моему издателю в Лейпциг. И во всех этих странствиях не пропало ни единого листка.

По возвращении в Неаполь, мне пришлось поселиться в отеле в самом центре города, вблизи улицы Толедо. Я жилал здесь прежде, но в зимнюю пору года, а теперь мне пришлось познакомиться с летним зноем Неаполя. Это было нечто поистине ужасающее, чего я никогда и не представлял себе! Солнце лило свои раскаленные лучи в узенькую улицу, в самые окна и двери дома. Приходилось запираяться наглухо и отказываться таким образом от малейшего дуновения ветерка. Каждый уголок, каждое местечко на улице, находившиеся в тени, кишмя кишели громко и весело болтавшим рабочим людом; то и дело грохотали экипажи; уличные разносчики донимали своим криком; шум и гам людской походил на шум морского прибоя; колокола звонили, не переставая!.. А тут еще сосед мой, Бог весть кто, с утра до вечера играл гаммы! Просто с ума можно было сойти! Сирокко так и палил. Я совсем изнемогал. В С. Лючии, в старом моем жилище, все было занято, и волей-неволей приходилось оставаться, куда раз попал. Морские купания не приносили ни малейшего освежения, казалось, скорее даже расслабляли, чем подкрепляли. И что же вышло из всего этого? — Сказка! Я придумал здесь сказку «Тень», но до того тут разленился, раскис, что не мог написать ее, и она была написана лишь дома, на севере. Солнце давило меня, просто, как кошмар, высасывало из меня все жизненные соки, точно вампир. Я опять искал спасения в окрестностях, но и там было не лучше: воздух хоть и был чуть свежее, все же давил и жег меня словно отравленный плащ Геркулеса. А я-то еще считал себя истинным сыном солнца за свою любовь к югу! Теперь пришлось сознаться, что в жилах моих немало северного снега, который так и таял под лучами солнца, и я все больше и больше ослабевал. Большинству туристов приходилось так же плохо, да и сами неаполитанцы говорили, что такого знойного лета не запомнят. Большая часть иностранцев разъехалась, я тоже хотел было уехать, но денежный перевод мой что-то запоздал. Каждый день ходил я справляться о нем и все напрасно. До сих пор еще ни разу во время моих путешествий не случалось, чтобы письмо, адресованное мне, где-либо затерялось; друг мой, который взялся выслать мне денежный перевод, отличался аккуратностью в делах, но письма все не было и не было, и прошло уже три недели сверх срока. «Никакого письма!» — повторял мне могущественный Ротшильд и однажды, потеряв терпение, вспыхив, выдвинул ящик, предназначенный для писем. «Нет здесь никакого письма!» — повторил он и с силой толкнул ящик обратно. В ту же минуту на пол упало письмо. Сургуч на нем растаял от жары, и оно приклеилось

где-то позади ящика. Письмо и оказалось моим денежным переводом, провалявшимся здесь уже месяц. Провалялось бы оно, может быть, и дольше, если б ящик не встряхнули так сердито. Итак, я мог наконец уехать.

Я взял место на пароходе «*Кастор*», отходившем в Марсель. Судно было переполнено туристами, вся палуба была уставлена дорожными экипажами. Под одним-то из них я и велел устроить себе постель — в каюте уже нечем было дышать. Многие последовали моему примеру, и скоро обе стороны палубы превратились в сплошные спальни. На пароходе находился со своей супругой один из первых аристократов Англии, маркиз Дуглас, женатый на принцессе Баденской. Мы разговорились; он слышал, что я датчанин, но имени моего не знал. Разговор коснулся Италии и произведений, в которых она описывается. Я назвал «*Коринну*» г-жи Сталь, а он прервал меня возгласом: «Земляк ваш описал Италию еще лучше!» «Мы, датчане, этого не находим!» — ответил я, он же принялся горячо хвалить и «*Импровизатора*», и его автора. «Жаль только, — сказал опять я, — что Андерсен пробыл в Италии так недолго, когда писал эту книгу». «Он пробыл там несколько лет!» — ответил маркиз Дуглас. «О, нет! — возразил я. — Всего девять месяцев! Я это наверное знаю!» «Хотелось бы мне с ним познакомиться!» — сказал он. «Ничего нет легче! — ответил я. — Он тут на пароходе!» И я назвал себя.

В Марселе судьба послала мне приятнейшую встречу с одним из моих северных друзей, Оле Буллем. Он только что вернулся из Америки, где его принимали восторженно. Мы жили в Марселе в одном отеле и встретились за табльдотом, очень обрадовались и принялись рассказывать друг другу обо всем, что видели и пережили. Он сообщил мне, чего я еще не знал тогда, о чем даже и не мечтал, что у меня в Америке много друзей, которые с большим интересом расспрашивали его обо мне. Оказывалось, что английские переводы моих произведений были там перепечатаны в дешевых изданиях и получили самое широкое распространение. Итак, имя мое перелетело за океан! Каким маленьким почувствовал я себя при одной этой мысли и в то же время как я был рад, счастлив! За что мне одному из многих тысяч выпало на долю так много счастья? Я испытывал в эту минуту такое же чувство, какое должен испытывать бедный крестьянский парень, когда на него вдруг накидывают королевскую мантию. Тем не менее я был счастлив, искренно счастлив. Может быть, эта радость и есть тщеславие, или, может быть, оно в том, что я высказываю ее?

В тот же вечер, уже лежа в постели, я услышал на улице музыку. Это давали серенаду Оле Буллю. На следующий день он уехал в Алжир, а я за Пиренеи.

Путь мой лежал через Прованс. Роз я что-то не видал здесь в особенном изобилии, зато много цветущих гранатовых деревьев; в общем же, местность своей свежей зеленью и волнистыми холмами несколько

напоминала Данию. В путеводителе говорится, что женщины Арля отличаются красотой и происходят от римлянок. Путеводитель прав — здесь даже беднейшие поселянки поражают своей красотой, у всех благородная осанка, чудные формы, полные огня и выразительности глаза. Все туристы, соседи мои по дилижансу, были поражены и восхищены, и девушки отлично это понимали. Они не убегали с быстротой газелей, но напоминали их легкостью и грацией движений и черными глубокими глазами. Да, человек все же прекраснейшее Божие творение!

В Ниме я первым делом посетил великолепный римский амфитеатр, напоминавший своим величественным видом величавые древности Италии. Насчет памятников древности южной Франции я почти ровно ничего не знал и поэтому был крайне поражен ими. Так, например, один «четырехугольный дом в Ниме» поспорит красотой с храмом Тезея в Афинах, даже Рим не имеет столь хорошо сохранившегося памятника старины.

В Ниме есть один булочник Ребуль, который пишет прекрасные стихи. Кто не знает его по его стихам, наверное, знает о нем из описания путешествия Ламартина на восток. Я отыскал домик и вошел в пекарню. Какой-то человек с засученными рукавами сажал хлеб в печку. Это и был сам Ребуль. У него благородно очерченное лицо, выражающее силу характера. Он любезно поздоровался со мною, я сказал ему свое имя, и он вежливо ответил, что знает его из одного посвященного мне в «*Revue de Paris*» стихотворения поэта Мартина. Затем он попросил меня, если время мое позволит, навестить его в обеденную пору, — тогда он примет меня лучше. Я явился в указанный час и был принят в маленькой, но почти изящной комнате, убранной картинами, статуями и книгами, среди которых, кроме произведений французской литературы, находились и переводы греческих классиков. Две картины были, как он сказал, подарены ему, они служили иллюстрациями к известному его стихотворению «*Умиращее дитя*». Ребуль знал из книги Мармье «*Chansons du Nord*», что я написал стихотворение на ту же тему, и я пояснил, что написал его еще школьником. Если утром я видел Ребуля настоящим булочником, то теперь он оказался настоящим поэтом. Он с большим оживлением толковал о родной литературе и выражал желание побывать на Севере, интересовавшем его своей природой и духовной жизнью. Я расстался с Ребулем, проникнутый глубоким уважением к этому человеку, который, обладая недюжинным поэтическим дарованием, не дал вскружить себе голову похвалами и остался при своем честном ремесле, предпочел быть замечательным булочником в Ниме, нежели одним из сотен малоизвестных поэтов в Париже.

В Вернэ, среди свежей горной природы на границе новой, еще не знакомой мне страны, закончил я «*Das Märchen meines Lebens*», или «*The true story of my life*», как назвали ее англичане. Закончил я ее так: «Прежде чем я оставляю Пиренеи, эта написанная мною большая

глава из моей жизни полетит в Германию, я сам последую за нею, и — начнется новая глава. Что она несет с собою? Что будет со мною? Может быть, меня еще ожидает самая кипучая по деятельности эпоха моей жизни? Ничего я не знаю, но благодарно и спокойно гляжу вперед. Вся моя жизнь со всеми ее радостями и горестями вела к благу. Жизнь можно сравнить с морским плаванием, имеющим определенную цель. Я стою у руля, я сам избрал себе путь и делаю свое дело, но ветры и море во власти Господней и, если и не все сбывается по моим желаниям, то я все-таки верю, что это к лучшему для меня, а такая вера может сделать счастливым! К сочельнику, когда у нас «запорхают белые пчелки», я буду, Бог даст, в Дании, свижусь с дорогими друзьями, вернувшись из путешествия с роскошным букетом новых, свежих впечатлений, обновленный и телом, и духом. Тогда-то польются на бумагу новые мои мечты! Пусть Господь примет их под Свою руку! И он сделает это! Я родился под счастливою звездою, и она ярко горит на небосклоне моей жизни. Тысячи людей заслуживали бы этого больше, чем я; я сам не знаю, чем я заслужил столько счастья не в пример другим! Звезда моя горит... А если она начнет меркнуть — может быть, пока еще я пишу эти строки, — я скажу: она горела, я вкусил от полной чаши счастья, и если даже звезда моя померкнет совсем — и это к лучшему! Благодарю и Бога, и людей; сердце мое полно любви к Нему и к ним!»

Вернэ. Июль 1846 г.

XIII

Прошло девять лет, богатых историческими событиями, принесших с собою много серьезных испытаний Дании, много горестей, но также и радостей мне! Я достиг за эти годы полного признания меня на моей родине, стал старше и в то же время остался по-прежнему молод душою, ее осенил мир, и я яснее стал понимать окружающее. Начнем же перелистывать эти новые главы моей жизни!

Подкрепившись горным воздухом в Вернэ, я нашел, что достаточно запасся силами и мог уже вернуться на родину. На обратном пути я захватил Швейцарию. Оказалось, что в этот год и в Швейцарии изнывали от жары, снегу на вершинах Монблана и Юнгфрау было гораздо меньше обыкновенного, и повсюду виднелись черные обнаженные скалы. Но по вечерам воздух здесь все-таки становился свеж и прохладен. Я поспешил в Вевэ; здесь у озера, вблизи покрытых снегом гор Савойи дышалось так легко, так славно! Точно красные звездочки выделялись на темном фоне гор огни, которые разводили ночью пастухи и угольщики по ту сторону озера. Посетил я опять и Шиньон, побывал в Фрейбурге, Берне, Интерлакене, поднимался на Гриндельвальд и к Лаутербруннену,

проехал через Базель и затем через Францию в Страсбург. От Страсбурга я отправился на пароходе по Рейну. Воздух над рекою был тяжелый и жаркий, тащились мы целый день и под конец пароход был совсем переполнен, главным образом турнерами, которые пели и ликовали. Общее настроение было против Дании и всего датского.

Христиан VIII тогда уже опубликовал свое открытое письмо. Я узнал об этом лишь теперь. В герцогстве Баденском датчанина-путешественника ожидало мало приятного; но меня никто не знал, и я не вступал в сношения ни с кем, просидел весь путь по Рейну один, больной и страждущий.

Наконец, миновав Франкфурт, я очутился в милом Веймаре и здесь у Больё отдохнул и душой, и телом. Такие прекрасные дни провел я опять в Эттерсбурге у наследного великого герцога! В Иене я проработал несколько времени вместе с профессором Вольфом над приведением в порядок немецких переводов некоторых из моих лирических стихотворений. Вскоре оказалось, что здоровье мое было порядком расстроено. Я, всегда так любивший юг, должен был теперь сознаться, что я все-таки истый сын севера, дитя снега и холодных ветров. Медленно продвигался я обратно на родину. В Гамбурге я получил от короля Христиана VIII орден Данеброга, который, как мне сказали, хотели пожаловать мне еще до моего отъезда из Дании, вот я и должен был получить его теперь, раньше, чем опять вернуться на родину. В Киле я столкнулся с семейством ландграфа, в том числе и с принцем Христианом, впоследствии принцем датским, и его супругой. Высоких путешественников ожидало королевское судно, на котором предоставили комфортабельное и уютное местечко и мне. Погода, однако, выдалась ужасная, и только через двое суток бурного плавания я высадился в Копенгагене.

Во время моего отсутствия на сцене королевского театра поставили оперу Гартмана «*Liden Kirsten*» («Кирстиночка»), текст для которой написал я. Опера имела большой успех. Музыку оценили по достоинству, находили ее очень колоритной, чисто датской и в высшей степени оригинальной и задушевной, а текст мой был одобрен даже Гейбергом. Известие об этом, полученное мною за границей, очень обрадовало меня. Я уже заранее предвосхищал удовольствие послушать и посмотреть ее сам, и случилось как раз, что она шла в самый день моего приезда в Копенгаген. «Ну вот, теперь тебя ждет удовольствие! — сказал мне Гартман. — Все очень довольны и музыкой, и текстом!» Я явился в театр, меня заметили — я видел это — и, когда опера окончилась, слышались аплодисменты, смешанные с довольно сильным шиканьем. «Этого еще ни разу не было! — сказал Гартман. — Ничего не понимаю!» «А я так понимаю! — ответил я. — Ты-то не огорчайся, тебя это не касается. Это земляки мои увидели, что я вернулся, ну вот и встретили меня!»

Здоровье мое по-прежнему хромало, лето, проведенное мною на юге, не прошло мне даром, и только освежающий зимний холод немножко

подкрепил меня. Я был в нервном состоянии, очень слаб физически и в то же время сильно возбужден душевно. В это-то время я и окончил своего «Агасфера». Влияние на меня Эрстеда, которому я в последние годы читал все, что писал вновь, все больше и больше возрастало. Он всем сердцем любил все прекрасное и доброе, а пытливый ум его стремился отыскать в них и истину. И он ясно и определенно высказывал, что душа всякого поэтического произведения — в истине. Однажды я принес показать ему сделанный мной перевод поэмы Байрона «Мрак». Я был от нее в восторге и очень изумился, когда Эрстед назвал поэму ложной. Выслушав его объяснения, я, однако, не мог не согласиться с ним. «Поэт, конечно, может представить себе, — сказал Эрстед, — что солнце исчезнет с неба, но он должен знать, что результаты этого будут совсем иные, нежели подобный мрак, подобный холод! Все это лишь пустые фантазии!» С тех пор и я усвоил себе те воззрения, которые рекомендует современным поэтам Эрстед в своем творении «Дух в природе». По его мнению, поэт, желающий явиться выразителем высших идей и стремлений своего века, должен усвоить себе результаты современной науки, а не пользоваться поэтическим арсеналом давно минувшего времени. Напротив, если он рисует это прошедшее, то, конечно, обязан пользоваться для изображения характеров идеями и понятиями того времени. Эта верная мысль Эрстеда не была, однако, к моему удивлению, понята даже Мюнстером¹. Эрстед часто читал мне отрывки из упомянутого произведения, проникнутого необыкновенной глубиной мысли и истиной. После чтения мы обыкновенно беседовали о прочитанном, и он со своей бесконечной добротой и скромностью выслушивал даже мои возражения. Я, впрочем, мог сделать лишь одно, касавшееся той формы диалога, в которую Эрстед облек свой труд. Я находил ее устаревшей, напоминавшей «Робинзона» Кампе, и говорил, что раз здесь нет места обрисовке характеров, то и остается лишь одно перечисление персонажей, а между тем все было бы понятно и без этого. «Вы, может быть, правы, — сказал он мне со свойственной ему кротостью, — но я уже давно привык к этой форме и сразу изменить ее нельзя. Приму, однако, ваше замечание к сведению и постараюсь воспользоваться им, когда напишу что-нибудь вновь».

В Эрстеде был неисчерпаемый источник знаний, опыта, остроумия и в то же время какой-то милой наивности, детской невинности. Это была поистине редкая натура, отмеченная печатью высшего гения. И ко всему этому надо еще прибавить его глубокую религиозность. Впрочем, он все-таки рассматривал величие Божие сквозь телескоп науки, величие, которое простые христианские души видят и с закрытыми глазами. Мы часто беседовали с ним о великих истинах религии, пе-

¹ Знаменитый в свое время проповедник-епископ. — Примеч. перев.

речли вместе первую книгу Моисея, и этот детски религиозный и в то же время зрелый по уму муж развивал передо мною свои взгляды на мифические и легендарные начала в сказании о сотворении мира. Я всегда выходил от милого, чудесного моего собеседника, просветлев, и обогатившись и умственно, и душевно. У него же, как я уже не раз упоминал, черпал я утешение и ободрение в минуты уныния и сомнения. Однажды, когда я сильно расстроенный несправедливым и жестоким отношением ко мне критики, ушел от него не успокоенным, добрейший Эрстед несмотря на свои годы и позднюю пору отыскал меня в моей квартирке, чтобы еще раз постараться успокоить и ободрить меня. Это так растрогало меня, что я забыл все свое горе, всю свою досаду и заплакал слезами радостной благодарности за такую бесконечную доброту. Она-то и обновляла во мне бодрость и давала силу продолжать писать и работать.

В Германии между тем имя мое, благодаря появившимся там моим «*Gesammelte Werke*» и многочисленным изданиям переводов отдельных моих произведений, становилось все более и более известным. Особенным успехом пользовались там «Сказки» и «Картинки-невидимки»; первые породили даже много подражаний. Мне часто присылали оттуда разные книги и стихотворения; из них особенно обрадовал меня «*Herzlicher Gruss deutscher Kinder dem lieben Kinderfreunde in Dänemark H. C. Andersen*». (Сердечный привет от немецких детей дорогому другу детей в Копенгагене Г. Х. Андерсену.)

Скоро к этим солнечным лучам из-за границы стали присоединяться и лучи родного солнышка, пригревавшие меня все сильнее и сильнее. Мысли мои были свежи, сердце молодо воспоминаниями и ощущениями. В великой окружности жизни человеческой радиусы горя пересекаются радиусами радости, но многие из первых не доступны глазам света. В человеческой душе есть такие тайники, куда не позволяешь заглянуть никому даже из близких людей; у поэта часто из этих тайников раздаются звуки, и не знаешь хорошенько — поэзия это или действительность? В сказке моей жизни также иногда звучат такие мелодии; они выливались у меня совсем бессознательно, лишь поэтическое настроение могло облечь в слова то, что волновало душу и во сне и наяву...

I

Спокойно спи!
Я схоронил тебя в своей груди,
О роза нежная моих воспоминаний!
Мир о тебе не знает, ты — моя,
И о тебе одной пою и плачу я. —
Как ночь тиха! Но светлых грез и упований
Пора прошла...

Хор

Послушай нашу песню, ты, старый холостяк:
 «Ложись-ка спать скорее, надвинь-ка свой колпак!
 И сам себе присниться во сне ты можешь смело —
 Собой ведь только занят, так то ли будет дело!»

Одинокий

Ведь я в самом себе, в душе своей
 Сокровище бесценное скрываю!
 Но знает ли о нем кто из людей,
 Известно ль им, как втайне я страдаю?
 Как слезы, точно градины ложатся
 Тяжелые, свинцовые на грудь...
 — «Собой ты только занят! Пора тебе уснуть!»

В течении этого года в Англии появились в переводах еще многие из моих произведений, как-то: «Базар поэта», «Сказки» и «Картинки-невидимки» и имели такой же успех, как раньше «Импровизатор». Я получал из Англии много писем от неизвестных друзей, которых приобрели мне мои труды. Издатель их Ричард Бентлэй прислал роскошное издание моих сочинений королю Христиану VIII, который остался этим очень доволен, и только, как я уже упоминал раньше, очень удивлялся совершенно противоположному отношению к моей литературной деятельности у нас в Дании. Сочувствие его ко мне еще увеличилось, когда он познакомился с «*Das Märchen meines Lebens*». «Вот когда только я узнал вас, как следует! — с сердечной приветливостью сказал он мне на аудиенции, когда я явился поднести ему мою последнюю книгу. — Я так редко вас вижу! — продолжал он. — Надо бы нам видеться почаще!» «Это зависит от Вашего Величества!» — ответил я. «Да, да, вы правы!» — сказал он и затем высказал свое удовольствие по поводу моего успеха в Германии и Англии, тепло говорил об истории моей жизни и, прощаясь со мною, спросил: «Вы где обедаете завтра?» «В ресторане!» — ответил я. «Приходите лучше к нам! Пообедайте со мной и женой; обедаем мы в четыре часа!»

Принц прусский подарил мне прекрасный альбом, и в нем набралось теперь уже много интересных автографов. Я показал его королю с королевой, и когда получил его обратно, увидел в нем многозначительные строчки, написанные самим Христианом VIII: «Лучше завоевать себе почетное положение собственным талантом, нежели благодаря милостям и дарам.

Пусть эти строчки напоминают Вам Вашего

доброжелательного

Христиана R.»

Строки эти были помечены «2 апреля»; король знал, что это был день моего рождения. Королева тоже написала несколько лестных, драгоценных для меня слов. Никакие дары с их стороны не могли бы обрадовать меня больше.

Однажды король спросил меня, не подумываю ли я когда-нибудь посетить и Англию. Я ответил, что как раз собираюсь туда наступающим летом. «Ну, так деньги можете получить у меня!» — сказал он. Я поблагодарил и сказал: «Да мне теперь не нужно денег! Я получил от немецкого издателя моих произведений 800 риксдалеров, вот они и пойдут на поездку!» «Но ведь вы теперь явитесь в Англии представителем датской литературы! — возразил король с улыбкой. — Так надо же вам там устроиться получше!» «Я так и сделаю! А когда деньги все выйдут, вернусь домой!» «В случае надобности пишите прямо ко мне!» — сказал король. «Теперь мне ничего не надо, Ваше Величество! — ответил я. — В другой раз мне, может быть, случится нуждаться в такой милости, а теперь не могу просить ни о чем! Нельзя же вечно надоедать. Да и не люблю я говорить о деньгах! А вот если бы я смел писать вам так, не прося ни о чем... не как к королю — тогда это будет формальным письмом, — а просто как к человеку, которого я люблю!» Король разрешил мне это и, по-видимому, остался доволен тем, как я отнесся к проявленной им благосклонности.

В середине мая месяца 1847 года я выехал из Копенгагена сухим путем. Была чудная весенняя пора; я видел аиста, летевшего на распущенных крыльях... Троицу я отпраздновал в милом старом Глорупе, а в Оденсе присутствовал на празднике стрелков, который в дни моего детства был для меня праздником из праздников. Новое поколение ребятишек несло простреленную мишень; у всех в руках были зеленые ветви, — ни дать ни взять Бирнамский лес, который двигался к замку Макбета. То же ликование, то же многолюдие, как и в пору моего детства, но смотрел я на все это уже совсем иначе! Сильно взволновал меня вид одного бедного слабоумного парня. Черты лица его были благородны, глаза полны огня, но во всей фигуре было что-то жалкое, растерянное. Мальчишки дразнили его и глумились над ним. Я унесся мыслями в прошлое, вспомнил себя самого в детстве и своего слабоумного дедушку... Что если бы я остался в Оденсе, был отдан в учение, и годы, и обстановка не иссушили бы богатой фантазии, которая так и кипела во мне тогда, если бы я не слился, наконец, с окружающей жизнью — как бы смотрели здесь на меня теперь? Не знаю, но вид этого несчастного, загнанного слабоумного заставил мое сердце болезненно сжаться, и я вновь почувствовал всю неизмеримую Божию милость ко мне.

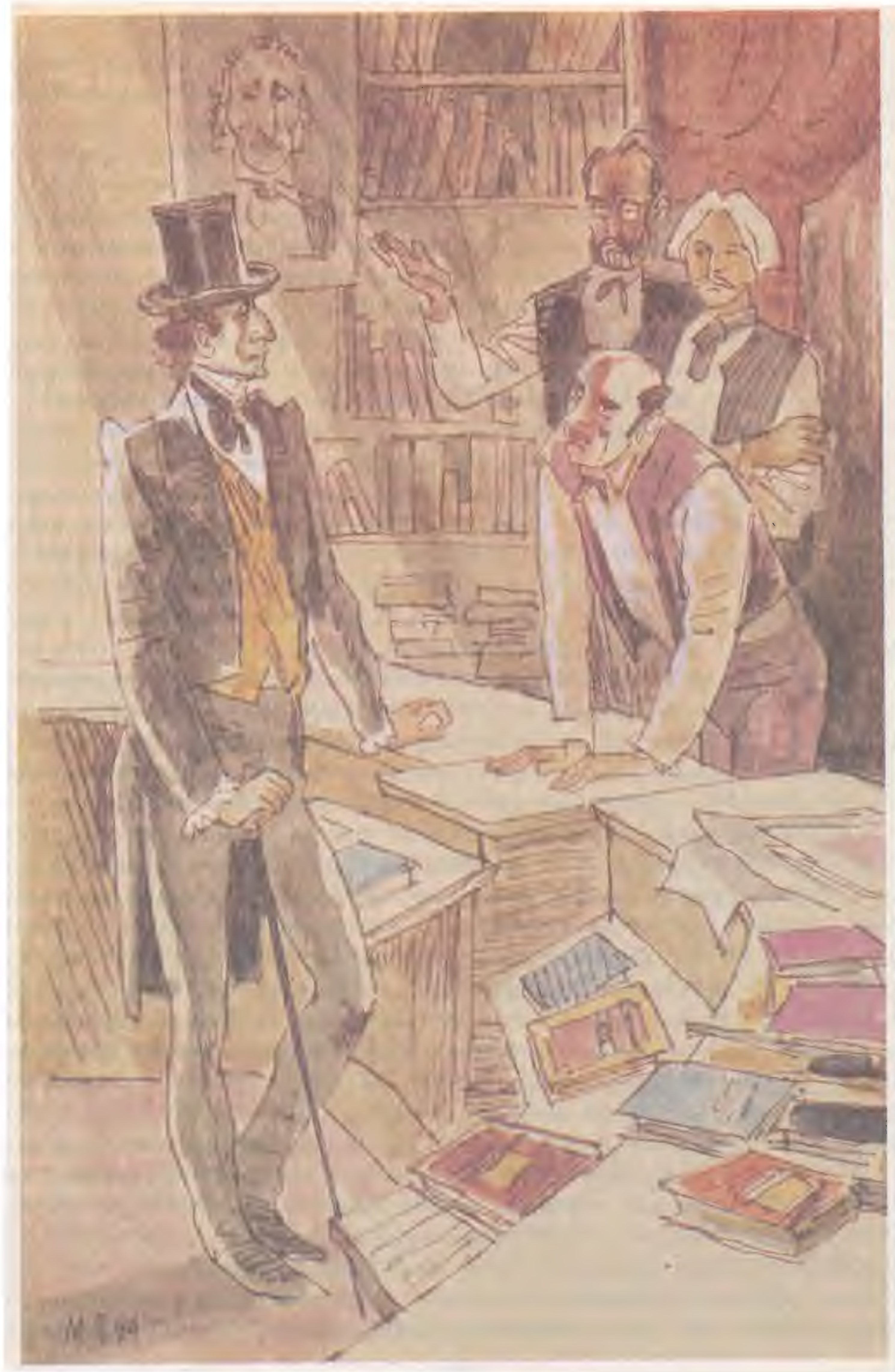
Путь мой лежал через Гамбург в Голландию. Из Утрехта я в один час доехал по железной дороге до Амстердама,

«А там живут чуть-чуть что не в воде!
Каналы всюду!»

Но, положим, дело оказалось не совсем-то так; ничего похожего на Венецию, этот город бобров, с его мертвыми дворцами. Первый же прохожий, к которому я обратился с расспросами о дороге, отвечал так понятно, что я невольно подумал — однако, совсем не трудно понять голландский язык! Но... оказалось, что прохожий говорил по-датски! Это был француз-парикмахер, который долгое время жил в Дании и сразу узнал меня. Вот он и ответил на мой французский вопрос, как умел, по-датски.

Первый мой визит в Амстердаме был в книжный магазин. Я спросил сборник голландских и фламандских стихотворений, но человек, с которым я говорил, сначала удивленно вытаращился на меня, потом быстро пробормотал какое-то извинение и скрылся. Я не мог понять, что бы это значило и хотел уже уйти, как из соседней комнаты появились еще два человека. Они тоже уставились на меня, а затем один из них спросил — не я ли датский писатель Андерсен? — и показал мне мой портрет, висевший тут же на стене. Оказалось, что голландские газеты уже оповестили о моем скором приезде в Голландию, где меня знали по моим романам, переведенным несколько лет тому назад на голландский язык датчанином Нюгором, и по недавно появившимся «*Das Märchen meines Lebens*» и «Сказкам».

Из Амстердама я отправился по железной дороге в Гарлем, а оттуда в Лейден и Гаагу. На четвертый день моего пребывания в Гааге, в воскресенье, я хотел было отправиться во французскую оперу, но здешние друзья мои попросили меня подарить этот вечер им. «Да тут, кажется, бал сегодня! — сказал я, когда мы пришли в *hôtel de l'Europe*, где должен был собраться наш кружок. — Что тут за торжество? — спросил я затем. — Все разубрано по-праздничному!» Спутник мой улыбнулся и сказал: «Это в честь вас!» Я вошел в большой зал и изумился при виде собравшегося там многочисленного общества. «Это все ваши голландские друзья, — сказали мне, — которые рады случаю провести этот вечер с вами!» Что же оказалось? Во время моего краткого пребывания в Гааге, ван дер Флит и другие мои здешние знакомцы успели известить о моем приезде, согласно бывшему у них условию, некоторых из провинциальных друзей моей музыки, и те все съехались теперь сюда, — многие, как, например, автор «*Opuscles de jeunesse*», ван Кнеппельгоут, издалека — желая повидаться со мною. Общество состояло из художников, литераторов и артистов. Большой стол был роскошно убран цветами, за ужином то и дело провозглашались тосты и говорились речи. Особенно тронул меня тост ван дер Флита за «отца Коллина в Копенгагене, благородного человека, усыновившего Андер-



сена!» «Два короля, — продолжал он затем, обратившись ко мне, — пожаловали вас орденами; когда настанет день, и их положат вам на гроб, то ниспошли вам Бог за ваши благочестивые сказки прекраснейший орден — корону бессмертия!»

Один из ораторов говорил о связи, существующей между Голландией и Данией как в языке, так и в истории, а один из художников, нарисовавший прекрасные картины к моим «*Картинкам-невидимкам*», провозгласил тост за меня, как за художника-живописца. Кнеппельгоут же поднял бокал и на французском языке провозгласил тост за свободу формы и фантазии. Затем присутствовавшие пели песни, декламировали юмористические стихотворения, а знаменитый трагик Гаги Пэтер, ввиду моего незнакомства с голландским драматическим искусством, изобразил сцену в тюрьме из «*Тассо*» Шравенверта. Я не понимал ни слова, но меня поразила искренность артиста и его несравненная мимика: артист по временам и бледнел, и краснел. Все собрание восторженно аплодировало ему. Из пропетых песен меня особенно растрогала национальная песнь «*Wien Neêrlands bloed!*» Воспоминание об этом вечернем торжестве является для меня одним из самых дорогих. Нигде еще не встречал я таких чествований, как здесь и в Швеции. Богу-сердцеведцу известно, с какою смиренною душою я принимал их. И какая благодать в слезах, проливаемых от радости и благодарности.

Перед отъездом моим из Гааги хозяйка принесла мне целую кучу газет с описаниями данного в честь меня праздника. На вокзал меня провожали некоторые из моих новых голландских друзей, с которыми я особенно сошелся здесь, и я расстался с ними с большим сожалением: кто мог сказать — доведется ли нам встретиться еще раз!

Роттердам, куда я приехал из Гааги, показался мне гораздо оживленнее и национальнее самого Амстердама. Каналы были переполнены и большими, и малыми кораблями — все, казалось, было посвящено здесь одной торговле. Один из старейших голландских пароходов, по скороходности настоящая улитка между пароходами, «*Батавиец*», готовился к отплытию в Лондон на следующий же день, я и взял на нем место. Наступил отлив, и прошло битых восемь часов, пока нам удалось выбраться в Немецкое море. Низменная Голландия мало-помалу как будто утонула в серо-желтых водах, и, когда солнце зашло, я отправился в каюту. Выйдя рано утром опять на палубу, я уже увидел перед собою берега Англии. У входа в устье Темзы кишели тысячи рыбачьих лодочек, точно огромная стая цыплят, разбросанные клочки бумаги, рынок или лагерь из палаток. Да, Темза явственно говорит, что Англия — царица морей: отсюда вылетают ее слуги, целые флотилии бесчисленных кораблей; ежеминутно мчатся, словно курьеры, пароходы за пароходами, эти скороходы с тяжелой дымчатою вуалью и огненным пером на шляпах. Проплывали мимо нас, гордо выпячивая грудь, словно лебеди, и парусные

корабли, шныряли и грациозные яхты золотой лондонской молодежи, суда шли за судами, и чем дальше мы подвигались по Темзе, тем больше возрастало их число. Я вздумал было сосчитать встречные пароходы, но скоро устал. Около Грэвзэнда мне представилось, что теперь нам предстоит плыть между берегами из горящих торфяных болот, но оказалось, что этот густой дым подымался из пароходных и фабричных труб. Над местностью разразилась в это время сильнейшая гроза, голубые молнии так и сверкали на черном, как смоль, фоне туч, по берегу промчался железнодорожный поезд, развевая синий дымок, и вдруг, точно залп из сотни орудий, раздался новый громовой раскат. «Знают, что вы на пароходе, вот и салютуют вам!» — сказал мне в шутку мой спутник, молодой англичанин. «Да! — подумал я про себя. — Бог-то знает это!»

Мы высадились около таможни. Я взял кеб и ехал, ехал без конца по огромному городу, повсюду царили страшная суматоха и давка, экипажи всевозможных видов тянулись бесконечными рядами... Лондон — город из городов! Я почувствовал это сразу и день за днем убеждался в этом все больше и больше. Это Париж, взятый чуть не вдесятеро, это Неаполь по кипящей уличной жизни, но без его шума. Все куда-то спешат, но как-то тихо, бесшумно. Омнибусы, ломовые телеги, кебы, дрожки и господские экипажи гремят, стучат, тащатся, катятся, летят мимо вас, точно на другом конце города случилось какое-то событие, на котором они непременно должны присутствовать. И вечно, вечно волнуется это море! И тогда, когда все эти шныряющие мимо вас люди успокоятся в своих могилах, тут будет царить такая же давка, такое же движение омнибусов, кебов, тележек, людей обвешанных и спереди, и сзади вывесками. Вывески и афиши — афиши, возвещающие о поднятии воздушных шаров, о музеях с готтентотами, о панорамах, о концертах Дженни Линд — так и пестрят здесь всюду, и на людях, и на экипажах. Наконец я доехал до «Hotel de Sablonière», рекомендованного мне Эрстедом. В отведенную мне комнату заглядывали солнечные лучи и падали прямо на постель, точно желая сразу показать мне, что и в Лондоне бывает солнце, хотя и несколько красно-желтого оттенка, как будто светит сквозь стекло пивной бутылки. Но после заката воздух стал необычайно прозрачен, и звезды лили свое сияние в освещенные газом улицы, в которых по-прежнему слышалось то же жужжание вечно волнующейся толпы. Совсем истомленный, завалился я вечером спать, не встретив здесь за весь день ни одного знакомого лица. Я явился в Лондон без всяких рекомендательных писем. Одно из высокопоставленных лиц на родине, к которому я обращался с просьбой о письме, обещало прислать мне его, но так и не прислало. «Вам и не понадобится здесь рекомендательных писем! — сказал мне датский посланник в Лондоне граф Ревентлау, когда я явился к нему на другое утро. — Вас здесь и без того знают, вы зарекомендовали себя сами своими сочинениями. Как раз сегодня

вечером у лорда Пальмерстона соберется избранный кружок лиц; я напишу его жене, и вы увидите, что сейчас же получите приглашение». Действительно, несколько часов спустя, я получил его и вечером поехал к лорду Пальмерстону вместе с графом. На этом вечере я увидел всю высшую знать Англии. Дамы были в роскошных туалетах, все в кружевах, в брильянтах, в цветах... И лорд, и леди Пальмерстон приняли меня очень радушно. Гостившие здесь наследный великий герцог Веймарский и его супруга увидали меня и, сердечно поздоровавшись со мною, представили меня, если не ошибаюсь, герцогине Суффольк, которая очень хвалила моего «Импровизатора», «лучшую книгу об Италии», как она выразилась. После того меня тотчас же окружили разные высокопоставленные английские леди. Все они знали датского поэта, знали «Парочку», «Безобразного утенка» и прочее, и наговорили мне множество любезностей. Я совсем не чувствовал себя здесь чужим. Герцог Кембриджский беседовал со мною о короле Христиане VIII; прусский посланник Бунзен, некогда оказавший датчанам в Риме множество услуг, и его супруга также встретили меня очень сердечно. Многие давали мне свои карточки и почти все любезно приглашали к себе. «Вы сегодня вечером одним скачком очутились в высшем свете, другим на это нужны целые годы! — сказал мне граф Ревентлау. — Только отбросьте излишнюю скромность, тут надо уметь постоять за себя, коли хочешь внушить к себе уважение». И со свойственным ему юмором он продолжал: «Завтра мы пересмотрим карточки и выберем из них какие получше!» Он то и дело подходил ко мне и давал мне разные советы вроде: «Довольно вам беседовать с такой-то особой; вон другая — она будет вам полезнее. У этой вы найдете прекрасный стол, у той — избранное общество; ей даже прямо таки подадут прошения, чтобы добиться чести быть приглашенными!» Я наконец до того изнемог от жары, до того устал и от балансирования по скользкому паркету, и от балансирования в разговорах на разных плохо знакомых мне языках, что спасся наконец в коридор и там вздохнул на минутку, опираясь на перила лестницы. И с этого вечера так и пошло: вечер за вечером в течение целых трех недель. Я приехал как раз в самый разгар летнего сезона. Каждый день я бывал приглашен и на обед, и на вечер, а затем еще и на бал до самого утра, под конец же пришлось принимать приглашения и на завтраки. Мочи моей больше не было. С утра до вечера вертеться в каком-то праздничном круговороте, где вокруг тебя все жужжит и гудит, и это изо дня в день, три недели подряд!.. Немудрено, что у меня сохранились в памяти только отдельные моменты. Почти везде я встречал все одних и тех же главных лиц, менялись лишь костюмы их, представлявшие различные сочетания золота, атласа, кружев и цветов. В украшении комнат преобладали розы, ими были убраны целые окна, столы, лестницы и ниши, они красовались и в вазах, и в стаканах, и в чашках, но это было заметно лишь при более

внимательном осмотре, а так они казались сплошным благоухающим ковром. Отель, в котором я остановился по рекомендации Эрстеда, был, по мнению графа Ревентлау, недостаточно фешенебельным — а тут ведь все были помешаны на фешенебельности, — и он серьезно посоветовал мне не заикаться о Лейчестерсквере. Сказать в знатном обществе в Лондоне: «я живу в Лейчестерсквере» было бы по его словам то же, что сказать в Копенгагене: «я живу в Per Madesens Gang»¹. Я должен был говорить всем, что живу у него. И все же я жил поблизости Пиккадилли, у большой площади, на которой среди зелени красовался перед моими окнами памятник графу Лейчестеру. Лет шесть-восемь тому назад жить здесь считалось еще фешенебельным, теперь же нет. Тем не менее меня посетили тут и «Ritter» Бунзен, и граф Ревентлау, и некоторые из других посланников, но это уж было нарушением правил фешенебельности. В Англии все связано этикетом, даже сама королева в своем собственном доме.

В стране свободы можно задохнуться от этикета, но это как-то забывается ради многого другого истинно прекрасного. Здесь чувствуешь, что видишь перед собою нацию, быть может, самую религиозную из всех современных. Здесь уважают обычаи и общественную мораль, и нельзя останавливаться над отдельными уродствами, неразлучными с большими городами. Лондон город вежливости, и полиция его служит в этом отношении примером: стоит обратиться к полисмену, и он даст вам все указания, даже проводит вас; зайдешь справиться о чем-нибудь в любой магазин, и тут тебе любезно дадут все нужные сведения. Что же касается «вечно серого неба Лондона и угольного дыма», то жалобы на них очень преувеличены, эти рассказы могут еще, пожалуй, относиться к некоторым из старых густонаселенных кварталов Лондона, в остальных же простора и света не меньше, чем в Париже. Я видел в Лондоне много солнечных дней и звездных ночей. Трудно, впрочем, приезжему иностранцу составить себе вполне обстоятельное и верное представление о данной стране или городе, пробыв в них очень короткое время. Лучше всего сознаешь это, читая описания собственной родины, составленные туристами-иностранцами. Турист описывает все со слов отдельных лиц и смотрит на дело со своей собственной точки зрения, сам же видит все только сквозь дрожащие очки дорожной жизни, срисовывает виды и лица, как бы из окна железнодорожного поезда, а иногда даже и при еще менее благоприятных для наблюдения условиях. Для меня Лондон город из городов, не исключая даже Рима. Рим — это всемирный барельеф, изображающий ночь, в которой веселье карнавала — мимолетный шумно радостный сон, а сам Пий IX лишь великая мысль, мелькающая в сновидении; Лондон

¹ Один из самых мизерных переулков в Копенгагене, ныне уничтоженный. — Примеч. перев.

же — всемирный барельеф, изображающий день, с его вечной деятельностью, с его быстрым, как молния, ткацким челноком жизни. Темой дня во время моего пребывания была Дженни Линд. Желая избавиться от докучливых посещений, а также желая пользоваться лучшим воздухом, она наняла себе домик в старом Бромтоне, — вот все, что я мог узнать в своем отеле, где тотчас же навел справки о ней. Не зная ее точного адреса, я поспешил в здание итальянской оперы, где она тогда пела, и тут опять пришел мне на помощь полисмен — он любезно повел меня к кассиру театральной кассы, но ни от него, ни от разных швейцаров я не мог добиться нужных сведений. Тогда я черкнул Дженни Линд несколько слов на своей визитной карточке, прося ее немедленно сообщить мне свой адрес, и на другое же утро получил радостное, сердечное письмо, адресованное «братцу». Я отыскал местонахождение Бромптона на плане города и сел в омнибус. Кондуктор подробно объяснил мне, до какого места я мог ехать с ним, где мне следовало свернуть и в какой дом обратиться, чтобы найти шведского соловья, как он учтиво называл певицу. Несколько дней спустя, мне случилось попасть опять в тот же самый омнибус, я не узнал кондуктора, но он тотчас же узнал меня и спросил: нашел ли я тогда соловушку Дженни Линд? Жила она, как оказалось, чуть ли не на окраине города, но в прелестном домике, огороженном с улицы низенькой живой изгородью. Перед ней почти всегда толпилась масса народа, в надежде увидеть Дженни Линд хоть мельком. На этот раз зевакам повезло: когда я позвонил, и Дженни Линд увидела меня из окна, она выбежала ко мне навстречу и горячо пожала мне обе руки, точно брату родному, совершенно забывая о глазевшей на нас толпе. Мы поспешили войти в дом, где все было убрано очень богато, но в высшей степени мило и уютно. За домиком шел небольшой сад с густолиственными деревьями и большой лужайкой; на ней играла маленькая длинношерстая собачка, увидя хозяйку, она вскочила к ней на колени, и Дженни Линд принялась гладить и целовать ее. На столе в гостиной лежали книги в роскошных переплетах; она показала мне мою «True story of my life» (Правдивая история моей жизни), посвященную ей переводчицей Мери Ховит. Тут же лежал большой лист с карикатурой на Дженни Линд: директор итальянской оперы Лумлей сыплет соловью с девичьим лицом на хвостик соверены, чтобы заставить его петь. Мы принялись говорить о родине, о семействах Бурнонвиля и Коллина, и когда я рассказал ей о вечере, данном в честь меня в Гааге, и о тосте за старика Коллина, она захлопала в ладоши и радостно воскликнула: «Вот славно!» Она тут же пообещала присылать мне билет в театр каждый раз, как она будет петь, но не позволила мне и думать о плате: билет стоил дорого до смешного. «Дайте мне спеть для вас в театре, а вы потом дома прочтете мне за это сказочку!» К сожалению, из-за множества приглашений я мог воспользоваться присылавшимися мне би-

летами только два раза. Первый раз я слышал Дженни Линд в «Сомнамбуле» в ее коронной партии. Ее окружал какой-то ореол девственности и душевной чистоты, и она как будто освещала самую сцену. В момент, когда она в последнем действии ходит во сне, берет с груди розу, высоко поднимает ее в воздух и бессознательно роняет, она проявляла такую удивительную, завораживающую грацию и красоту, что нельзя было смотреть на нее без слез. Зато в театре просто стон стоял, более сильного воодушевления, бурного восторга я не видал даже у неаполитанцев! Ее осыпали целым дождем цветов; все имело какой-то праздничный вид. Известно ведь, какая изящная публика наполняет дорогие места в большой опере в Лондоне. Все мужчины во фраках, в белых галстуках, а дамы в бальных платьях, с букетами в руках. На представлении присутствовали королева и принц Альберт, а также наследный герцог веймарский с супругой.

Итальянские слова в устах Дженни Линд звучали для меня как-то непривычно, чуждо, но мне говорили, что итальянское произношение ее, так же, как и немецкое, правильнее, чем даже у многих природных итальянок и немок. Душа же ее сказывалась одинаково и в итальянских ариях — она пела их с таким же выражением, как и песенки на своем прекрасном родном языке. В другой раз шла опера Верди «*I Masnadieri*», и тут я в первый раз увидел знаменитую танцовщицу Тальони. Она выступила в «*pas des déesses*». Я весь трепетал от ожидания, как и всегда, когда мне предстоит увидеть что-нибудь прекрасное или великое. Но вот она появилась... пожилая, крепко сложенная, довольно красивая женщина. В большой зале она была бы очень эффектной дамой, но в роли молодой богини — «*fuius Troes!*» — подумал я и уже с полнейшим равнодушием созерцал танцы этой грациозной пожилой барыни. Нет, здесь нужна была юность, и ее-то олицетворяла Черрито. Это было дивно прекрасное явление, полет ласточки, грация Психеи в танцах — не то что Тальони, *fuius Troes!* В «Норме» же, где Дженни Линд больше всего восхищала меня, она меньше всего нравилась англичанам, они с легкой руки Гризи и ее последовательниц привыкли видеть в Норме страстную Медею. Автор «Оберона» и многих других либретто, Планше, был ожесточенным антагонистом Дженни Линд, но его слабое фырканье тонуло в общем энтузиазме. А как счастлива была Дженни Линд в своем уютном домике под густыми, тенистыми деревьями! Раз я пришел к ней днем совершенно изнеможенный, измученный непрерывными приглашениями, этим чрезмерным радушием. «Ага! Вот теперь и вы испытаете, каково приходится, когда за тобою ухаживают все! — сказала она. — Вас просто затаскают! А что за пустота, бесконечная пустота звучит во всех этих любезных фразах, которые приходится выслушивать!» Домой я возвращался в ее карете, и народ теснился к окнам, воображая, что это едет сама певица, но находил только чужого, незнакомого гос-

подина. Барон Гамбро, мой соотечественник, пригласил артистку и меня отобедать у него на даче, но ее нельзя было уговорить принять это приглашение, несмотря на то, что хозяин предлагал ей самой составить список гостей и, наконец, даже обещал, что нас за обедом будет всего трое. Дженни Линд не пожелала изменить своего образа жизни, но позволила мне пригласить доброго старика к ней, и они сразу сошлись, завели даже разговор о деньгах и, кстати, посмеялись над моим неумением превращать свой талант в золото. После того прошли годы, прежде чем я снова свиделся с Дженни Линд; она с триумфом оставила Англию и отправилась в Америку.

Граф Ревентлау повел меня однажды к леди Морган. О ее желании познакомиться со мною он сообщил мне еще за несколько дней перед тем, но прибавил, что она, зная меня пока лишь по имени, желает предварительно наскоро познакомиться с моим *«Импровизатором»*, сказками и прочим.

Леди Морган занимала дом, состоявший весь из маленьких пестрых комнат, убранных в стиле рококо. Вообще все в доме носило французский отпечаток, особенно сама почтенная хозяйка; она была пожилая, но очень бойкая, любезная женщина, говорила по-французски, казалась настоящей француженкой и была страшно намазана. Она цитировала в разговоре мои произведения, что все-таки было с ее стороны знаком большого внимания, хотя она и познакомилась с ними только на днях да и то наскоро. На стене висел собственноручный рисунок Торвальдсена, эскиз барельефа *«День и Ночь»*, который он подарил ей в Риме. Она объявила мне, что желает дать в честь меня вечер и пригласить всех выдающихся писателей Лондона, чтобы я мог познакомиться с Диккенсом, Бульвером и другими. Затем она немедленно же повезла меня к дочери писательницы г-жи Аустен, леди Дуф Гордон, которая перевела мою сказку *«Русалочка»*. У нее мы должны были встретить множество знаменитостей, что и случилось. Но еще больший кружок избранных лиц нашел я в доме другой писательницы, леди Блессингтон, к которой ввел меня мой друг Иердан, издатель *«Literary Gazette»*. Жила она на окраине города в своем доме *«Gore house»*. Это была полная, цветущая, элегантно одетая дама, с сияющими перстнями на пальцах. Приняла она меня очень сердечно, точно старого знакомого, пожала мне руку, заговорила со мною о *«Базаре поэта»* и сказала, что в этой книжке разбросано столько поэтических перлов, сколько не найдешь во многих других книгах, взятых вместе. Мы спустились в сад и продолжали нашу беседу и там. Леди Блессингтон была первой англичанкой, которую я понимал; она, впрочем, и старалась изо всех сил, говорила медленно, да еще крепко держала меня при этом за руку, беспрестанно заглядывала мне в глаза и все спрашивала, понимаю ли я ее. Зять ее, граф д'Орсей, первый лондонский щеголь и законодатель мод, повел нас в свое ателье, где показал мне почти оконченный бюст

леди Блессингтон из глины. Тут же висел портрет Дженни Линд, изображающий ее в роли Нормы и писанный графом на память. Он показался мне человеком очень талантливым и в высшей степени вежливым и любезным. Затем леди Блессингтон повела меня по всем комнатам, и чуть не в каждой я увидел по бюсту и по портрету Наполеона. Две прелестные молодые девушки, кажется, ее дочери, поднесли мне чудный букет из роз. И Иердан, и я получили приглашение отобедать у леди Блессингтон. На обед этот она хотела пригласить также Диккенса и Бульвера. Явившись к ней в назначенный день, мы нашли весь дом разубранным по-праздничному; слуги в шелковых чулках, в напудренных париках, стояли по лестнице и в коридорах; сама хозяйка была в блестящем туалете, но лицо ее сияло той же милой, приветливой улыбкой. Она сказала мне, что Бульвера не будет, — он теперь с головой ушел в выборы и уехал собирать голоса. Она вообще, как видно, не особенно жаловала этого писателя как человека, говорила, что он отталкивает своим тщеславием, да к тому же еще глух, так что беседовать с ним очень трудно! Не знаю, может быть, она относилась к нему пристрастно. Зато очень тепло отзывалась она, как, впрочем, и все, о Чарльзе Диккенсе. Он обещал быть на обеде, и мне таким образом предстояло познакомиться с ним. Я как раз сидел и делал надпись на книжке «*True story of my life*», как в салон вошел Диккенс, очень моложавый, красивый, с умным, приятным лицом и густыми прекрасными волосами. Мы пожали друг другу руки, пристально взглянули один другому в глаза, заговорили и скоро подружились. Разговаривая, мы вышли на веранду; я был радостно взволнован знакомством с моим любимейшим из современных писателей Англии, и слезы то и дело навертывались мне на глаза. Диккенс, видимо, понял мое настроение. Из сказок моих он упомянул о «*Русалочке*», знал также и «*Базар поэта*». За обедом мы сидели почти рядом, нас разделяла только молоденькая дочка леди Блессингтон. Диккенс выпил бокал за мое здоровье, то же сделал и нынешний герцог Веллингтон, тогда — маркиз Дуэро. На стене, против главного конца стола, висел портрет Наполеона во весь рост, ярко освещенный массой ламп.

В числе гостей был поэт Мильнес, почт-директор всей Англии, много писателей, журналистов и аристократов, но для меня важнее всех был Диккенс. Из дам-писательниц, с которыми я здесь познакомился, назову кватершу Мери Ховит, которая перевела моего «*Импровизатора*» и таким образом первая познакомила со мною английскую публику. Муж ее, Чарльз Ховит, также известный писатель и издатель «*Howitts Journal*». В одном из номеров этого журнала, вышедшем как раз за неделю до моего приезда в Лондон, было помещено что-то вроде панегирика мне и мой портрет. Номер этот красовался на окнах многих книжных магазинов; я обратил на него внимание в первый же день по приезде и зашел в маленькую лавочку, чтобы приобрести его. «А похоже это на Андерсена?» — спросил я поч-

тенную продавщицу. «Поразительно! — ответила она. — Вы сразу узнаете его по этому портрету!» Она-то, однако, не узнала меня, хоть мы и беседовали об этом сходстве довольно долго. «*True story of my life*» в переводе Мери Ховит была посвящена Дженни Линд. Впоследствии книгу эту перепечатали в Бостоне. Вскоре по моем приезде Мери Ховит посетила меня вместе со своей дочерью и пригласила меня к себе в Клаптон. Я отправился туда в омнибусе, набитом сверху донизу, ехать пришлось мили две, и мне казалось, что дороге конца не будет. Обстановка у Ховит была прекрасная — картины, статуи, при доме был премиленький садик. Приняли меня очень радушно. Всего через несколько домов от них жил Фрейлиграт, немецкий поэт, с которым я познакомился в Ст. Гоаре на Рейне, тогда еще он пел свои задумчивые, образные и поэтические песни. Король прусский назначил ему потом ежегодную пенсию, но Гервег стал смеяться над Фрейлигратом, называя его поэтом-пенсионером, и он отказался от пенсии и стал воспевать в своих песнях свободу. Затем он уехал в Швейцарию, а оттуда в Англию, поступил здесь на службу в какую-то контору и содержал на этот заработок себя и всю свою семью. Раз как-то мы и столкнулись здесь на улице, он меня узнал, я его — нет, так как он сбрил свою густую черную бороду. «Что же, не хотите узнать меня? — спросил он меня, смеясь. — Я — Фрейлиграт!» Я отвел его из толпы в сторонку, к какой-то двери, а он шутливо заметил мне: «Не хотите и говорить со мною на людях, вы — друг королей!» В его маленьком домике было так уютно, на стене висел мой портрет. Рисовавший его художник Гартман как раз в эту минуту зашел навестить Фрейлиграта, и мы втроем провели время очень приятно, беседуя о Рейне и о поэзии. Но я чувствовал себя крайне утомленным лондонской жизнью вообще и поездкою сюда в особенности, и поэтому поторопился опять сесть в омнибус, чтобы пуститься в обратный путь. Но еще не успели мы порядком отъехать от Клаптона, как я весь ослаб и почувствовал себя чуть ли не так же дурно, как в Неаполе. Я готов был лишиться чувств, а омнибус все больше и больше переполнялся публикой, становилось все жарче, лошади то и дело останавливались, и к нам вваливались новые пассажиры, а перед открытыми настежь окнами болтались запыленные ноги пассажиров империала. Несколько раз я собирался сказать кондуктору: «Проводите меня в какой-нибудь дом, я не могу больше!» Пот лил с меня градом. Ужас, что такое! Под конец в глазах у меня помутилось, все вокруг завертелось... Наконец добрались до города. Я вылез, взял кеб и тут только вздохнул полегче. Такого томительного путешествия, как это — из Клаптона до Лондона, я еще не испытывал.

Я видел лондонский «high life», видел и лондонскую «нищету»; вот два полюса в моих воспоминаниях. Бедность я видел в образе изголодавшейся молодой девушки в изношенном донельзя платье, прижавшейся в углу омнибуса. Видел я и нищету, безмолвную нищету, — говорить ей было здесь запрещено. Я вспоминаю лондонских нищих, мужчин и женщин с прищипи-

ленным к груди лоскутком бумаги, вопиющим: «Я умираю с голоду! Сжальтесь!» Говорить они не смеют, просить милостыню не разрешено, и они скользят по улицам, как тени, останавливаются перед вами и вперяют в вас страдальческие глаза. Останавливаются они и перед кофейнями и кондитерскими, выбирают кого-нибудь из посетителей и не сводят с него взора — какого взора! Женщины указывают на своих больных детей и на лоскут бумаги на своей груди — на нем написано: «Я не ела два дня!» Я видел их так много, а мне сказали, что в нашем квартале их еще мало; в более же роскошные кварталы их и вовсе не пускают. Они — парии! Но Лондон — город по преимуществу промышленный, и в нем и нищенство обращается в промысел. Все дело в умении обратить на себя внимание; для этого избираются самые различные способы, и я видел один, вполне достигавший своей цели. Посреди уличной канавки — на мостовой или на панели эта группа загородила бы проход, — так в канавке стоял чисто одетый человек с пятью детьми мал-мала меньше, одетыми в траур, с длинным крепом на шляпах; все, как сказано, были одеты очень чисто и стояли в канаве; каждый держал в руках пачку спичек для продажи — просить милостыню ведь не дозволялось. Другое более почетное и прибыльное занятие, это — метение улиц, и почти на каждом углу есть свой метельщик, который то и дело подметает известный участок мостовой или переход через улицу, и кто хочет дает ему за это пенни. В некоторых кварталах такие метельщики набирают, как мне передавали, за неделю порядочную сумму. Я видел в числе занимавшихся этим благородным ремеслом одного негра в тюрбане. Итак, я видел лондонскую жизнь, наблюдал ее и в богатых салонах «high life», и в уличной толпе, и в театре, и, наконец, в церквях. Церкви, впрочем, надо осматривать в Италии, а не в Англии. Вступив в первый раз под своды Вестминстерского аббатства, я очутился как раз в «the poets corner» (уголок поэтов). Первый памятник, на который упал мой взгляд, был Шекспиру. Я как-то позабыл в данную минуту, что прах его покоится не здесь, мною овладело благоговейное чувство, и я невольно припал головой к холодному мрамору. Рядом с памятником Шекспиру находится памятник или гробница Томсона, налево — Соутэя, а под широкими плитами пола лежат Гаррик, Шеридан и Сэмуэл Джонсон. Как известно, духовенство не разрешило поставить здесь памятника Байрону. «Я напрасно искал его там! — сказал я однажды одному из английских епископов и, не показывая, что знаю причину, прибавил: — Как это могло случиться, что величайшему из поэтов Англии не поставили там монумента, да еще изваянного Торвальдсеном?» «Он нашел себе превосходное место в ином месте!» — ответил он мне уклончиво. Среди остальных надгробных памятников великим мира сего находился один, изображавший человека, поразительно похожего на меня, и я всегда невольно останавливался перед этим бюстом. Положительно, это было мое лицо! Ни один скульптор, ни один живописец не мог бы дать изображения, более похожего на меня. И

раз целая толпа иностранцев, случайно столкнувшихся здесь со мною, остановилась, как вкопанная, в изумлении вглядываясь в меня. Как же это в самом деле, высокородный господин, изображенный здесь в мраморе, вдруг ходит тут живой, воплотившись во мне?

Мне давно хотелось познакомиться с Шотландией, и земляк мой Гамбро, который в это время собирался отправиться с семейством на купания на западный берег Шотландии, пригласил меня сопровождать их...

Поездка по Шотландии обходится довольно дорого, но зато и деньги здесь даром не тратишь — все устроено превосходно, повсюду, даже в маленьких деревенских гостиницах, обстановка вполне комфортабельная...

После весьма интересной поездки, во время которой я постоянно встречался с друзьями моей музыки, мы высадились в Баллохе, а оттуда отправились по железной дороге в Дембартон, настоящий шотландский город, расположенный на реке Клайд. Ночью разразилась страшная буря, все время слышалось как будто рокотание волн, дом дрожал, ставни хлопали, какой-то больной кот мяукал всю ночь, — глаз не удалось сомкнуть! Утром все стихло, и наступила просто могильная тишина. Было воскресенье, а этому дню придается в Шотландии большое значение — все отдыхают, даже железнодорожные поезда не ходят, только поезд из Лондона в Эдинбург безостановочно продолжает свой путь к великому неудовольствию строго религиозных шотландцев. Все магазины закрыты, жители сидят по домам и читают Библию, или — напиваются допьяна, как мне говорили.

Сидеть в чужом городе целый день дома, ничего не видя, совершенно не в моем вкусе, и я предложил обществу отправиться погулять, но мне возразили: «Как это можно! Все обидятся на нас!» Под вечер мы, однако, вышли прогуляться за город, но повсюду царила тишина, изо всех окон смотрели на нас с таким изумлением, что мы живо вернулись обратно. Молодой француз, с которым я встретился здесь, рассказывал мне, что недавно он с двумя англичанами ходил в воскресенье удить рыбу, их увидал какой-то старик и жестоко разбранил за «безбожное поведение»: «Как это можно забавляться в воскресенье! Если не хотите сидеть дома и читать Библию, так не следует по крайней мере оскорблять религиозное чувство других людей!» Такое общее отношение к воскресному дню не может быть вполне искренним. Я готов уважать всякое проявление неподдельного чувства, но нахожу, что там, где оно имеет за собой только силу привычки, оно может подавать лишь повод к лицемерию.

В Дембартоне я простился с Гамбро и его семейством и отправился пароходом в Глазго. Перед отъездом туда я, однако, долго не мог решиться — вернуться ли мне в Лондон и оттуда домой, или же двинуться дальше по Шотландии, на север, до Loch Laggan, где в данное время находились королева Виктория и принц Альберт, у которых, как мне было сообщено, ожидал меня милостивый прием.

Под конец моего пребывания в Лондоне, когда я успел окончательно уходить себя непрерывным участием в чересчур утомительной светской жизни, я как раз получил весьма милостивое приглашение от двора Ее Величества пожаловать на остров Уайт. Но я был до того измучен, что не видел никакой возможности предпринять такую поездку да еще представиться высоким особам. Я посоветовался с нашим посланником графом Ревентлау; он видел, как я был измучен, как плохо чувствовал себя, и сказал, что лучше прямо объяснить все это в письме. При этом я мог также прибавить, что намереваюсь отправиться в Шотландию для отдыха и в виду того, что Ее Величество сама отправляется туда, просить разрешения представиться ей там, когда поправится мое здоровье. Один из приближенных королевы прислал мне ответ, в котором говорилось, что королева с супругом очень благоволят ко мне и охотно примут меня в Loch Laggan.

Но пребывание в Шотландии не дало мне ожидаемого отдыха, прошло уже три недели с моего отъезда из Лондона, а я все еще страдал тем же упадком сил. К тому же я узнал от сведущих лиц, что в упомянутой местности с трудом можно отыскать мало-мальски сносную гостиницу, что мне непременно нужно явиться туда в сопровождении слуги, словом, войти в большие расходы, нежели это позволяли мои средства. Писать королю Христиану VIII и просить о милостиво обещанной мне субсидии было мне уж совсем не по душе, тем более что я лично отказался воспользоваться этой милостью. Вот так комиссия! Наконец, я решил опять написать письмо, в котором объяснил положение моего здоровья, заставляющее меня поскорее вернуться на родину, и сейчас же стал готовиться к отъезду, причем пришлось отказаться от массы приглашений шотландской знати, с которой я встречался в Лондоне. Не мог я также и посетить зятя Вальтера Скотта, Локгарта, так мило принявшего меня в Лондоне. Дочь его, любимица деда, так много рассказывала мне о нем, показывала мне разное оружие и другие вещи, которые остались у них на память о великом поэте, у них же видел я превосходный портрет Вальтера Скотта, на котором он изображен с любимой его собакой Майдой, и на прощание miss Локгарт подарила мне автограф деда, величаемого когда-то «великим незнакомцем». Итак, пришлось, как сказано, отказаться и от поездки в Аббатсфорд, и в Loch Laggan, и я в грустном настроении проехал Глазго и вернулся в Эдинбург.

Не могу не упомянуть здесь о приключении, очень незначительном самом по себе, но послужившем для меня лично новым указанием на мою счастливую звезду, сказывающуюся даже в мелочах. Во время моего последнего пребывания в Неаполе я купил себе простую пальмовую тросточку, с которой и не расставался во время нескольких уже поездок, взял я ее с собой и в это путешествие. Когда я с семейством Гамбро проезжал по степи между Loch Cathrina и Loch Lomond, один из сыновей Гамбро все играл с этой тросточкой и, увидя Бен Ломонд, высоко поднял ее и

закричал: «Ну, пальма! Видишь высочайшую гору в Шотландии? Видишь вон там огромное озеро?» и т. д. А я пообещал, что трость, когда снова очутится со мною в Неаполе, расскажет тамошним своим товаркам о стране туманов, где обитают духи Оссиана, о стране, где красный цветок репейника в чести — красуется в ее гербе. Пароход прибыл раньше, чем мы его ожидали, и нас заторопили. Хватился я потом своей трости — оказалось, что ее оставили в гостинице. Я попросил своего земляка Пуггора взять трость на обратном пути и отвезти в Данию, а сам отправился дальше в Эдинбург. Утром, когда я прибыл на вокзал, чтобы сесть на лондонский поезд, примчался и поезд из внутренней Шотландии. Из вагона вышел кондуктор, прямо подошел ко мне, точно зная меня, и, вручив мне мою трость, сказал, улыбаясь: «Она преблагополучно проехала одна!» К ней был привязан билетик с надписью: «Датскому поэту Гансу Христиану Андерсену». Вот действительно образцовый порядок! Тросточку передавали из рук в руки, она проехала на пароходе, затем в омнибусе, потом опять на пароходе и наконец на поезде, и благополучно миновала все мытарства только благодаря своей рекомендательной записочке. Вручили ее мне как раз в ту минуту, когда раздался свисток к отходу нашего поезда. За мной еще остался рассказ о приключениях тросточки; только бы он удался мне так же хорошо, как ей ее поездка!

Путь мой лежал на юг через Ньюкасл и Йорк. В вагоне я встретился с английским писателем Гуком и его женой, они узнали меня по портрету и рассказали мне, что во всех шотландских городах появились заметки, сообщающие о моем посещении королевы. А я и не был у нее вовсе! Но газеты все-таки знали об этом! Я сам видел потом одну, в которой говорилось, что я читал перед Ее Величеством некоторые из моих сказок. Все сплошь — выдумка! Купил я также на пути номер «Понча». И там упоминали обо мне, да еще ставили мне в укор, что я, приезжий поэт из иностранцев, удостоился со стороны королевы Англии приглашения, чести, которой еще не было оказано ни одному из английских поэтов! Как это замечание, так и различные другие отзывы о посещении, вовсе не состоявшемся, крайне меня раздосадовали. Один из спутников моих, впрочем, утешал меня тем, что в «Понч» попадают только люди популярные. «Многие из англичан с удовольствием бы заплатили немало фунтов стерлингов, чтобы только попасть в него». Я предпочел бы, однако, обойтись без этой чести. Вся эта история меня еще пуще расстроила, и я приехал в Лондон уже совсем больным. Граф Ревентлау обещал мне лично разъяснить это дело королеве и принцу Альберту.

Я пробыл в Лондоне еще несколько дней; мне ведь почти еще ничего не удалось видеть здесь, кроме «high life» и некоторых из замечательнейших людей страны. Картинные галереи, музеи и т. п. были мне еще совсем не знакомы, я не удосужился даже побывать в знаменитом туннеле, и вот я решил проехаться по нему. Мне посоветовали отправиться на

одном из маленьких пароходов, снующих по Темзе в пределах столицы, но в назначенное утро я почувствовал себя так плохо, что отказался от поездки и, пожалуй, этим спас себе жизнь. Как раз в тот же день и час, когда я должен был сесть на какой-нибудь из этих маленьких пароходов, один из них — «Criquet» — взорвался, причем погибли до ста человек. Весть об этом несчастье мигом облетела весь Лондон и, хотя совсем не известно было — сел ли бы я как раз на этот пароход, одна возможность этого так сильно на меня подействовала, что мною овладело глубоко серьезное настроение, и я возблагодарил Бога за то болезненное состояние, которое помешало мне отправиться в путь.

Весь высший свет уже покинул Лондон, опера закрылась, и большинство из моих здешних знакомых разъехались на купания или отправились на континент. Я соскучился по Дании, по оставленным мною там дорогим друзьям и собрался домой, но еще до отъезда туда, я принял приглашение моего английского издателя Бентлэя провести несколько дней у него в «Seven Oaks». Дни эти прошли как сплошной праздник, я скоро почувствовал себя, как дома, среди этой прекрасной, чисто староанглийской семейной жизни, окруженный всем тем комфортом и удобствами, какие только в состоянии были доставить мне богатые и радушные хозяева.

Как ни тяжело отразилось на моем здоровье изнурительное пребывание в Лондоне и Шотландии, это нисколько не помешало мне смотреть на проведенное мною там время, как на лучшие дни моей жизни. Я, как писатель, удостоился здесь таких почестей, что как ни чувствовал себя утомленным физически, все-таки не мог без глубокой грусти расстаться с многочисленными здешними моими друзьями, которые доставили мне столько радостей. Бог ведь, когда еще суждено нам было свидеться вновь! К числу этих друзей принадлежал и Диккенс. Он, после нашей встречи у леди Блессингтон, отыскал меня, но не застал дома, и мы так больше и не встретились на этот раз в Лондоне. Но я получил здесь от него несколько писем и все его сочинения в прекрасном иллюстрированном издании. На каждом томе было написано: «Hans Christian Andersen from his friend and admirer Charles Dickens» (Гансу Христиану Андерсену от его друга и почитателя Чарльза Диккенса.) Мне передавали, что он с женой и детьми находится на морских купаниях, где-то близ канала, но где именно никто не мог сказать. Я намеревался отправиться домой через Рамсгет и через Остенде и в надежде, что письмо на имя Диккенса во всяком случае дойдет до него, написал ему, что в такой-то день и час приеду в Рамсгет и остановлюсь в таком-то отеле — так не пришлет ли он туда своего адреса: если окажется, что он живет недалеко оттуда, я посету его. Приехав в отель «Royal Oaks», я нашел там письмо от Диккенса. Он жил приблизительно в одной датской миле от города, в Бродстере, и в письме говорилось, что он и жена его ожидают меня к обеду. Я взял экипаж и поехал в маленький городок,

расположенный на самом берегу моря. Семья Диккенса занимала весь небольшой, но очень хорошенький и уютный домик. Приняли меня как нельзя радушнее. Мне так понравилась их домашняя обстановка, что я долго не обращал внимания на прекрасный вид, открывавшийся из окон столовой, где мы сидели. Окна выходили на канал и на море. Был как раз отлив. Вода быстро сбегала и обнажала песчаную отмель; на маяке заблестел огонь. Беседа шла о Дании и датской литературе, о Германии и немецком языке, которому Диккенс собирался учиться. Какой-то итальянец-шарманщик, случайно проходивший мимо, остановился под окном и играл нам, пока мы обедали. Диккенс заговорил с ним по-итальянски, и тот, услышав родной язык, весь просиял от счастья. После обеда в столовую явились дети. «У нас их полон дом!» — сказал Диккенс; явилось их не меньше пяти, шестого не было дома. Дети поцеловались со мною, а самый младший сперва поцеловал свою ладонь, а потом протянул ручонку мне. К кофе пришла гостья, молодая дама, моя почитательница, как сказал мне Диккенс. Ей заранее обещали пригласить ее, когда я буду у них. Вечер пролетел незаметно, Мистрис Диккенс, казавшаяся ровесницей своего мужа, была полная дама с удивительно добрым лицом, сразу внушавшим к себе доверие. Она была в восторге от Дженни Линд и ей очень хотелось получить автограф певицы. Но как его добыть! У меня было с собой письмецо от Дженни Линд, в котором она поздравляла меня с приездом в Лондон и сообщала мне свой адрес, я и подарил его госпоже Диккенс. Расстались мы поздним вечером. Диккенс обещал писать мне в Данию.

Но нам суждено было увидеться еще раз до моего отъезда из Англии. Прибыв на другое утро на пароходную пристань, я был поражен, увидев здесь Диккенса. «Мне хотелось еще раз пожелать вам доброго пути!» — сказал он, проводил меня на пароход и оставался там, пока не подали сигнал к отплытию. Мы крепко пожали друг другу руки, он так ласково смотрел на меня своими умными, добрыми глазами, и, когда пароход отошел, я увидел, что он стоит на самом краю маяка, такой смелый, молодежавый, красивый, и машет мне шляпой! Итак, последнее «прости» с гостеприимных берегов Англии послал мне Диккенс.

Я вышел на берег в Остенде, и первые лица, попавшиеся мне навстречу, были король с королевой. Первый мой поклон на континент относился к ним, и они приветливо ответили мне на него. В тот же день я приехал по железной дороге в Гент. Здесь, когда я дожидался утром на вокзале кельнского поезда, ко мне начали подходить и знакомиться со мною разные пассажиры, прибывшие к тому же поезду. Все узнали меня по портрету. В числе их было и одно английское семейство. Одна из дам, оказавшаяся писательницей, подошла ко мне и сказала, что несколько раз видела меня в Лондоне в обществе, но не могла познакомиться со мною, — я всегда бывал окружен толпою! Она обращалась к графу Ревентлау с просьбой

представить ее мне, но он ответил: «Вы видите, — разве я могу?» Я рассмеялся — немудрено, что оно так случилось, я ведь был в то время в такой моде у англичан! Зато теперь я весь был к ее услугам. Она произвела на меня впечатление очень простой, естественной и милой особы. В разговоре она называла меня счастливецом, ссылаясь на мою «славу». «А что в ней! — сказал я и прибавил: — Да и надолго ли ее хватит! Но, конечно, меня очень порадовал такой прием. Одно только боязно, что не удержишься на такой высоте!» В Германии, куда уже проникли известия о приеме, оказанном мне в Англии, меня также ожидали всевозможные знаки внимания. В Гамбурге я встретил некоторых своих соотечественников и соотечественниц. «Господи! Андерсен! И вы здесь! — услышал я приветствия. — Вот бы видели вы, как прошелся насчет вашего пребывания в Англии «Корсар»! Вас там изобразили в лавровом венке и с мешками денег! Умора!»

Я вернулся в Копенгаген. Просидев дома несколько часов, я подошел к окну и стал глядеть на улицу. Мимо проходили двое прилично одетых господ. Они увидели меня, остановились, засмеялись, и один, указывая на окно, сказал так громко, что я расслышал каждое слово: «Взгляни-ка, вон он, наш знаменитый заграничный орангутанг!» Это было грубо, жестоко! Удар был нанесен в самое сердце! Этого не забудешь!

Но нашлись у меня, конечно, и добрые друзья, которые искренно радовались тому, что я, а в моем лице и весь датский народ, удостоился таких почестей в гостеприимных Голландии и Англии. Один из наших уже молодых писателей приветливо протянул мне руку и чистосердечно сказал: «Я еще не читал, как следует, ваших произведений, но теперь прочту. О вас говорили много нехорошего, ставили вас очень низко, но в вас есть что-то такое, должно быть, куда большее, нежели находят в вас земляки. Вас бы не чествовали так в Англии, будь вы заурядным человеком! Я откровенно признаюсь вам, что совершенно переменяю о вас мнение!»

Совсем другое услышал я от одного из моих ближайших друзей, повторившего мне то же самое и в письме. Он послал в одну из крупных газетных редакций несколько лондонских газет с описаниями лестного приема, оказанного мне в Лондоне; в них также с похвалами отзывались об «*True story of my life*». Но редактор не захотел воспользоваться этими известиями, заявив: «Люди подумают, что Андерсена там морочили!» Сам он не верил, что я мог удостоиться таких почестей всерьез, и знал, что так же отнесется к подобному известию и масса моих земляков.

В одной газете появилась затем заметка, в которой говорилось, что средства на поездку были отпущены мне из казны, чем, дескать, и можно объяснить мои ежегодные путешествия. Я рассказал об этом королю Христиану VIII. «Вы поступили, как немногие поступили бы на вашем месте! — сказал он мне на это. — Вы сами отказались от предложенной вам субсидии! К вам несправедливы здесь! Не знают вас!»



Первый же выпуск сказок, вышедший после моего возвращения из этой поездки, я послал в Англию, и он вышел там к Рождеству как «мой рождественский привет английским моим друзьям». Книжка была посвящена Чарльзу Диккенсу, и в посвящении говорилось:

«Я опять сижу в своей маленькой комнатке на родине, но мысли мои ежедневно несутся в милую Англию, где несколько месяцев тому назад друзья сумели превратить для меня действительность в чудную сказку! Я занят большим трудом, но эти пять маленьких историй создались у меня как-то между делом, проглянули на свет Божий, как неожиданно проглядывают иногда в лесу цветочки. И эти первые цветочки, распустившиеся в моем садике, мне хочется отослать в Англию как рождественский подарок. Вот я и присылаю их Вам, мой дорогой благородный друг, Чарльз Диккенс! Я полюбил Вас, еще читая Ваши творения, и полюбил еще сильнее, познакомившись с Вами лично. Вы последний пожали мне руку на берегу Англии, Вы последний крикнули мне оттуда «прости», так как же мне теперь, вернувшись в Данию, не послать Вам первого приветствия! Примите же это искреннее приветствие сердечно любящего вас

Ганса Христиана Андерсена.

Копенгаген, 6 декабря 1847 года».

Маленькая книжка была принята в Англии очень сочувственно и вызвала самые лестные похвалы, но больше всего обрадовало меня, осветило мне душу, как солнечным лучом, письмо Диккенса. Письмо это, в котором высказалось его доброе сердце и его любовь ко мне — одно из лучших моих сокровищ. Я уже показывал многие из других моих сокровищ, так почему же не показать и этого? Диккенс не истолкует этого в дурную сторону.

«Тысячу раз благодарю вас, дорогой Андерсен, за Вашу дружескую и дорогую для меня память обо мне. Я горжусь ей, это такая честь для меня, и я не могу высказать, как высоко я ценю подобный знак сердечного расположения ко мне со стороны человека, обладающего таким поэтическим гением, как Вы.

Ваша книжка придала нашему рождественскому празднику особую прелесть. Все мы от нее в восторге. Мальчик, старик и оловянный солдатик пользуются особенным моим расположением. Я перечел эту сказку несколько раз и все с тем же бесконечным удовольствием. Несколько дней тому назад я был в Эдинбурге, где я видел нескольких из Ваших друзей, которые много говорили о Вас. Приезжайте опять в Англию скорее! Но прежде всего не переставайте писать, — ни одна из Ваших мыслей не должна пропасть для нас. Мы слишком дорожим ими за их правду, простоту и красоту, чтобы позволить Вам оставить их при себе.

Мы давно уже перебрались с морского берега, где я простился с Вами, в собственное гнездышко. Жена моя просит передать вам ее сер-

дечный привет, то же и ее сестра, то же и все наши дети. И так как у всех у нас одно желание, то и примите всю сумму в сердечном привете Вашего преданного друга и почитателя

Чарльза Диккенса.

Г. Х. Андерсену».

К этому же Рождеству вышел на датском и немецком языках мой «Агасфер». Еще несколько лет тому назад, когда я носился с идеей этого труда, у меня произошел по поводу его такой разговор с Эленшлегером. «Что такое? — сказал он мне. — Говорят, вы пишете мировую драму, историческую драму всех времен? Не понимаю!» Я развил ему свою идею. «В какой же форме удастся вам сладить с этой идеей?» — спросил он. «В смешанной лирическо-эпическо-драматической; стихи будут чередоваться с прозой!» «Это невозможно! — с горячностью воскликнул великий поэт. — Я тоже имею понятие о творчестве! Существуют известные формы, известные границы, и их надо уважать! Зеленъ сама по себе, а жженный уголь сам по себе! Да вот, что вы ответите мне на это». «Ответить-то я могу! — сказал я весело, шаловливый бесенок так и нашептывал мне шуточный ответ. — Ответить-то я могу, да боюсь, что вы рассердитесь на мой ответ!» «Ей Богу нет!» — сказал он. «Ну, так и быть! Я хочу только доказать, что у меня в самом деле есть, что ответить. Буду держаться ваших же слов. Зеленъ сама по себе, жженный уголь сам по себе. Вы это говорите аллегорически — жженный уголь сам по себе! Но вы могли бы идти и дальше, сказать то же и про серу, и про селитру, но вот является человек, смешивает все три вещества вместе и — выдуман порошок!» «Андерсен! Как это можно! Выдумать порошок!.. Вы хороший человек, но и впрямь, как все говорят, чересчур тщеславны!» «Да разве это не в духе ремесла?» — подсказал мне опять лукавый бесенок. «Ремесла! Ремесла!» — озадаченно повторял милый, дорогой поэт, совершенно не понявший меня на этот раз.

По выходе «Агасфера» в свет, Эленшлегер прочел его и согласно моему желанию узнать, не переменил ли он своего прежнего мнения, написал мне милое и откровенное письмо, в котором чистосердечно признавался, что «Агасфер» ему не нравится. Его слова навсегда, я думаю, сохранят интерес для потомства, и так как, кроме того, многие, пожалуй, разделяли тогда его мнение об «Агасфере», то я и не хочу скрыть его отзыва. Вот он.

«Дорогой Андерсен!

Я всегда признавал и ценил Ваш талант наивно, оригинально и остроумно рассказывать сказки, а также описывать окружающую Вас природу и людей, как мы это видим в Ваших романах и путевых очерках. Радовался я проявлениям Вашего таланта и в области драматической поэзии, когда Вы создали, например, «Мулата», хотя сюжет

и драматические положения этой пьесы и не принадлежат Вам; принадлежащие собственно Вам красоты чисто лирического характера. Но уже несколько лет тому назад, когда Вы читали мне отрывки из «Агасфера», я откровенно высказал Вам, что ни замысел, ни форма мне не по душе. И вот вы все-таки были неприятно поражены, когда я в последнюю нашу беседу повторил Вам то же самое, хотя прочел тогда еще не все произведение. Теперь я внимательно прочел его все до конца и все-таки не могу переменить своего мнения. Поэма эта производит неприятное, сбивчивое впечатление, — простите за откровенность! Вы желали, чтобы я высказал Вам свое мнение, и я принужден высказать его Вам откровенно, не желая прикрываться вежливыми фразами. Насколько я понимаю сущность драматического творчества, на «Агасфере» нельзя построить драму; недаром от этого отказался Гете. Эта сказочная, причудливая легенда еще годится, пожалуй, для юмористического произведения, для сказки. «Агасфер» башмачник и должен бы был остаться башмачником, но он был слишком высокомерен, не хотел верить в то, чего не понимал. Превращение же его в отвлеченное понятие философской поэзии не поможет делу; из него никогда не может выйти героя истинно поэтического творения, а драмы — и подавно. Для драмы прежде всего требуется сжатое, законченное и легко обозреваемое действие, выражающееся в развитии различных характеров. А этого-то и нет в Вашем произведении. Ваш «Агасфер» проходит через всю драму как пассивный зритель. Да и другие лица так же пассивны; все произведение состоит из лирических афоризмов, отрывков, местами рассказа, без особенной связи.

Претензии автора, по-моему, не оправдываются самым выполнением задачи. Претендует он ни более, ни менее, как нарисовать весь ход всемирной истории от времен Христа до наших дней. Кто основательно изучал историю, с ее огромными аренами и великими характерами, не может увлекаться чтением этих лирических афоризмов, вложенных иногда даже в уста домовым, ласточкам, соловьям, морским девам и проч. Разумеется, в Вашем произведении попадаются время от времени и прекрасные лирические или эпические места, таковы, например, описания гладиаторов, гуннов, дикарей, но этого еще мало. Я пока касался лишь формы и замысла Вашей поэмы. Что же касается проявленного в ней творческого вдохновения, то ему недостает глубины и блеска, характеризующих истинно великое произведение. В целом оно похоже на сновидение. Свойственная автору особая любовь к сказочному элементу проглядывает и здесь: все картины похожи на какие-то сказочные, фантастические мечты. Гений истории не выступает здесь со своими великими контрастами; мысль не проступает достаточно ярко; картины не довольно новы и оригинальны. Ничто не трогает сердца. Напротив, Варравва возмущает своим возвеличием после совершенного им преступления.

Итак, вот Вам мое мнение! Может быть, я ошибаюсь, но я честно высказываю его, не желая поступиться им из вежливости или лести!

Простите же, если я невольно огорчил Вас и будьте уверены, что вообще я уважаю и признаю Ваш истинный и самобытный поэтический гений!

Ваш преданный

А. Эленшлегер.

28 декабря 1847 г.»

В этом письме много правды и верных взглядов, но все же я смотрю на «Агасфера» иначе, нежели смотрел на него наш великий поэт. Я не называл своего произведения «драмой», в нем нет и не может быть ни драматического развития характеров, ни драматического действия. «Агасфер» — поэма, в которой в разнообразных формах проводится идея: человечество отталкивает божественное, но все же идет вперед к совершенству. Я хотел выразить эту идею кратко, ясно, полно, и думал достичь этого именно смешанной формой. Горные вершины исторических событий служили мне обстановкой. Это произведение нельзя сопоставлять с драматическими произведениями Скриба или с эпосом Мильтона. Отрывочность произведения — своего рода мозаика, которая образует цельную картину. О каждом строении можно сказать: оно все из отдельных кирпичей, и каждый кирпич можно взять сам по себе, но так ведь не приходится смотреть на них; мы рассматриваем все в связи, в той совокупности, которую они составляют.

В последние годы, впрочем, стали раздаваться голоса, более согласующиеся с теми надеждами, которые я возлагал и все еще возлагаю на это произведение, как бы то ни было, оно отмечает известный шаг вперед в моей авторской деятельности.

Первым и почти единственным лицом, сразу высказавшимся в пользу «Агасфера», был историк Людвиг Мюллер. Он смотрел на моего «Агасфера» и на мои «Сказки» как на произведения, обуславливавшие мое значение в датской литературе.

За границей мне было дано такое же удовлетворение. В «*Bildersaal der Weltliteratur*», где помещаются избранные отрывки из лирической и драматической поэзии всех времен и народов, начиная с индийских поэм, еврейских псалмов и арабских народных сказаний до песен трубадуров и произведений современных поэтов, в отделе «Скандинавия», кроме сцен из «Гакона Ярла» Эленшлегера, «Дочери короля Рене» Герца, «Тиверия» Гауха, были помещены и сцены из моего «Агасфера».

У нас на родине, как раз, когда я кончал эту главу, то есть восемь лет спустя после появления «Агасфера», в «Датском ежемесячнике» появилась подробная и сочувственная рецензия на «Собрание сочинений», в которой было обращено особое внимание и на «Агасфера», доказывавшего, по мнению критика, что я, как поэт, сделал шаг вперед.

Наступил 1848 год, знаменательный год, год потрясающих событий, когда бушующие волны времени залили кровью и наше отечество.

Уже в начале января король Христиан VIII серьезно заболел. В последний раз я виделся с ним вечером, когда был приглашен во дворец к вечернему чаю. В пригласительной записке меня просили также захватить с собою что-нибудь для чтения. Кроме самого короля, я нашел в комнате только королеву да дежурных даму и кавалера. Король ласково приветствовал меня, но вставать уже не мог и весь вечер лежал на диване. Я прочел вслух несколько глав из незаконченного еще тогда романа *«Две баронессы»* и две-три сказки. Король был очень оживлен, смеялся и весело разговаривал. Когда я уходил, он дружески кивнул мне со своего ложа головой, а последние слова его были: «Мы скоро увидимся!» Но этому уже не суждено было сбыться. Он сильно занемог. Я был очень встревожен, приходил в ужас от мысли лишиться его и ежедневно ходил в Амалиенбургский дворец справляться о здоровье короля. Скоро стало известно, что болезнь его смертельна. Огорченный и расстроенный пришел я с этим известием к Эленшлегеру, который, странное дело, и не знал даже, что король опасно болен. Видя, как я огорчен, он сам заплакал. Он ведь сердечно был привязан к королю. На следующее утро я встретил Эленшлегера на дворцовой лестнице. Он выходил из передней весь бледный, опираясь на Христиани, и, не говоря ни слова, пожал мне мимоходом руку. Глаза его были полны слез. Я узнал, что уже не было никакой надежды на выздоровление короля. 20 января я несколько раз подходил к дворцу, стоял на снегу посреди площади и смотрел на окна покоев, где умирал мой король. В 10 с четвертью вечера он опочил. На следующее утро народ толпился перед дворцом, где лежало тело Христиана VIII. Я пошел домой и дал волю слезам, искренно оплакивая горячо любимого короля.

В этом грустном настроении у меня вылилось на бумагу несколько строк, в которых говорилось о нем: «умевшем ценить все достойное!» Эти строки и приводили потом в укор мне — под достойным я подразумевал, конечно, себя!

Весь Копенгаген был в волнении, наступили новые времена, новые порядки. 28 января была провозглашена конституция.

В то время революция широкой волной прокатилась по государствам Европы. Луи-Филипп с семьей покинул Францию; мощные волны возмущения достигли и городов Германии. У нас же знали о всех этих движениях лишь из газет. Только наше государство представляло еще очаг мира! Только у нас еще можно было дышать свободно, интересоваться искусствами, театром, думать о прекрасном.

Но миру не суждено было продлиться. Волны добрались-таки и до нас. В Голштинии вспыхнул мятеж. Слух об этом поразил Данию, как

громом, все взволновалось. Началось вооружение и на суше, и на море. Всякий спешил помочь отечеству по мере сил своих. Один из наших почтенных государственных деятелей зашел раз ко мне и сказал, что я бы хорошо сделал, если бы выяснил положение Дании в статье и послал ее в редакцию какого-нибудь органа английской прессы, которая меня знала и ценила. Я сейчас же написал Иердану, редактору «Literary Gazette», письмо, в котором обрисовал положение и общественное настроение Дании, и оно тотчас же было напечатано.

«Копенгаген, 13 апреля 1848 г.

Дорогой друг!

Всего несколько недель, как я не писал Вам, но за это время совершилось столько событий, как будто прошли целые годы. Я никогда не занимался политикой: у поэта — своя миссия. Но теперь, когда все страны пришли в волнение, когда самая почва дрожит под ногами, приходится заговорить и поэту. Вы знаете, что делается теперь у нас в Дании — у нас война! Войну эту ведет весь датский народ — и знатные, и простолюдины одинаково воодушевлены сознанием правоты своего дела и добровольно становятся в ряды войска. Вот об этом-то подъеме народного духа, об энтузиазме, охватившем всю Данию, я и хочу Вам рассказать кое-что.

Много лет уже предводители разных партий в Шлезвиг-Голштинии выставляли нас в немецких газетах в самом фальшивом свете перед честным немецким народом. Затем принц Нор овладел Ренсборгом под тем предлогом, что будто бы действует в интересах самого короля Дании, лишенного свободы. Это вконец возмутило датский народ, и он поднялся, как один человек. Все мелочи ежедневной жизни исчезают за проявлениями великих, благородных черт характера отдельных личностей. Все в движении, но порядок и единство сохраняются. Пожертвования на военные надобности стекаются со всех сторон, от всех классов общества, даже бедные подмастерья и служанки вносят свою лепту. Прослышали о недостатке лошадей для армии, и в несколько дней их понавели из всех городов и деревень столько, что военный министр принужден был объявить, что надобность в них миновала. Все женщины заняты щипанием корпии, школьники старших классов набивают патроны, все, способные носить оружие, упражняются в обращении с ним. Молодые графы и бароны наравне с простолюдинами становятся в ряды солдат, и проявления такой всеобщей любви к отечеству и готовности защищать его не могут, конечно, не воодушевлять и не подкреплять мужество солдат.

В числе других добровольцев явился также сын наместника Норвегии, молодой человек, принадлежащий к одной из знатнейших фамилий Севера. Он жил у нас в Дании этой зимой и, увлеченный симпатией к нашему правому делу, пожелал принять участие в войне, но в качестве иностранца не мог быть принят. Тогда он сейчас же купил себе в Дании усадьбу

и уже в качестве датского гражданина надел солдатскую куртку и вступил рядовым в один из выступивших на поле действий батальонов, решившись жить на солдатский паек, чтобы во всем делить жребий сотоварищей. И так поступает масса датчан из всех сословий: и помещики, и студенты, и богатые, и бедные — все идут на войну, да еще с песнями, с ликованием, словно на пир! Король наш сам находится в главной квартире действующей армии. Лейб-гвардия короля отправилась за ним. Часть ее составляли голштинцы; им было предложено выйти из ее состава, чтобы не сражаться против своих соотечественников, но все они до единого просили, как милости, позволения остаться на своем посту и идти на войну наравне со всеми, что им и разрешили.

До сих пор Господь, видимо, на нашей стороне, надеемся, так будет и впредь. Войска наши победным маршем идут вперед: остров Альс взят, города Фленсбург и Шлезвиг — тоже. Мы стоим уже у голштинской границы, взято больше тысячи пленных; большинство из них приведены сюда, в Копенгаген. Все они глубоко возмущены поведением принца Нора, который несмотря на свое обещание не щадить наравне с ними своего живота оставил их при первом же сражении, когда датчане ворвались в Фленсбург.

В наше время в государствах свирепствует буря перемен, но над ними стоит Единый неизменный Бог, и Он справедлив! Он за Данию, которая добивается лишь восстановления своих поправленных прав. И они будут, должны быть восстановлены; сила народов и государств в правде.

«Нациям их права, всему доброму и полезному — преуспевание!» — вот что должно быть лозунгом Европы; он поможет мне с верою глядеть в будущее. Немцы — честный, любящий истину народ, они поймут наконец настоящее положение дел, и злоба их превратится в уважение и дружбу. Дай Бог, чтобы это время пришло поскорее! Пусть народы скорее узрят светлый лик Божий!

Ганс Христиан Андерсен».

Это письмо было одним из немногих посланных из Дании, которые были перепечатаны в нескольких иностранных газетах.

Мало кто в продолжении всей этой постигшей нас войны мог болеть душою больше меня. Я в это время чувствовал сильнее, чем когда-либо, как крепко я привязан к своему отечеству; я бы охотно сам стал в ряды войска и с радостью пожертвовал своей жизнью ради победы и мира, но в то же время мне так живо вспоминалось все хорошее, чем я был обязан Германии, то признание, которого удостоился там мой талант, тех отдельных лиц, которых я так любил, которым был так благодарен, и — я страдал несказанно! И когда кто-нибудь в горькую минуту, в порыве нервного озлобления, еще попрекал меня именно этими моими отношениями к Германии, я прямо приходил в отчаяние. Примеров приводить

не стану, лучше предать все горькое с того времени забвению, чтобы не растравлять раны обоих родственных народов. В ту горькую пору Эрстед опять явился моим утешителем, пророчившим мне светлое будущее, которое и настало.

Датчан поддерживала взаимная любовь, готовность стоять друг за друга. Большинство из моих молодых друзей поступили в добровольцы, между ними были Вальдемар Древсен и барон Генрик Стампе. Эрстед также был глубоко взволнован текущими событиями и поместил в одной из газет три свои стихотворения: «Война», «Победа» и «Мир».

В прежнее время надеть красную куртку солдата считалось последним делом — теперь же она вдруг вошла в честь и славу, под руку с солдатами в красных куртках расхаживали барыни в шелку и бархате. Одним из первых аристократов, которого я увидел в солдатском наряде, был Левенскьольд, сын наместника Норвегии, а затем — граф Адам Кнут, который только еще недавно был подтвержден. Бедный юноша лишился на войне ноги, Левенскьольд был убит, художник Лундбю тоже.

Воодушевление молодежи трогало меня до слез и, услышав однажды насмешливый рассказ о том, как эти молодые аристократы, щеголявшие прежде в лайковых перчатках, окапывались и рыли траншеи красными, покрытыми волдырями руками, я воскликнул: «Я бы поцеловал у них эти руки!» Почти ежедневно выступали в поход новые толпы молодежи; раз я проводил одного друга и, вернувшись домой, написал песню: «Не в силах я медлить... Бежит мой покой». Песня эта скоро была на устах у всех, найдя себе отзвук во всех сердцах.

«Пасхальный колокол зазвонил» — наступил несчастный для нас день Пасхи, когда неприятель разбил нас; во всей стране воцарилась скорбь, но мужество наше не было сломлено, мы напрягли все свои силы, сплотились еще теснее и в великом, и в малом,

Пруссак вступили в Ютландию, наши войска стянулись к Альсу. В середине мая я поехал на Фионию и нашел Глоруп переполненным народом. Главная квартира была в Оденсе; в Глорупе стояли сорок солдат и несколько офицеров. Старый граф обращался с солдатами из добровольцев, как с офицерами, и они ежедневно обедали за его столом.

Пруссак ворвались в Ютландию, они требовали четыре миллиона контрибуции; скоро прошли слухи о новой битве. Вся надежда была на Швецию, которая обещала прийти нам на помощь. Шведы должны были высадиться в Нюборге, где им готовили торжественную встречу. В Глоруп прибыли на постой шестнадцать шведских офицеров с денщиками, затем двадцать музыкантов и унтер-офицеров. Среди шведов находились четверо, которых должен был выставить сам герцог Августенборгский, или вернее — его поместье в Швеции, против самого же герцога.

Шведов встретили восторженно. Характерную и прекрасную горячность выказала ключница в Глорупе, старая девица Ибсен. Немало ей было хлопот с находившейся в Глорупе на постое массой людей. «Надо поместить их на ночь на гумне!» — сказали ей. «Что ж, они будут валяться на гумне на соломе! — сказала она. — Нет, надо им устроить постели! Они пришли спасать нас, да не дать им постелей!» И она велела рубить и пилить, и скоро из разных досок и дверей были наскоро сколочены кровати, которые расставили в десяти-двенадцати комнатах. Нашлись и перины, и подушки, правда, грубые, но зато на всех постелях в ее «казармах», как называла их добрая старушка, белели чистые простыни.

Народы на севере понимают, ценят и любят друг друга; дай Бог, чтобы этот дух единства и любви соединил и все страны!

Большую часть лета я провел в Глорупе, приезжал туда и весною и осенью, и был таким образом свидетелем как прибытия, так и отъезда шведов. Сам я не был на поле военных действий, а оставался в Глорупе; сюда постоянно приезжали оттуда люди, сюда же стекалось много людей, желавших повидаться с родственниками, и просто любопытных. Сколько наслушался я здесь трогательных и прекрасных рассказов! Говорили, например, о какой-то старушке, которая вышла со своими внучатами навстречу нашим солдатам, усыпая им путь песком и цветами и крича вместе с малышами: «Бог да благословит датчан!» Говорили также о замечательной игре природы: в саду одного крестьянина в Шлезвиге расцвел красный мак с белыми крестами, точно знамя Данеброга! Один из моих друзей побывал на Дюппеле — все дома носили следы страшной бомбардировки, и все же на одном из них красовался символ мира: гнездо аиста со всей его семьей. Пальба, огонь и дым не смогли отогнать родителей от птенцов, еще не умевших летать.

Оставил я Глоруп поздней осенью. С наступлением зимы военные действия приостановились, и наступившее наружное спокойствие дало мыслям возможность хоть на время возвратиться к обычным занятиям. В течение лета я окончил в Глорупе свой роман «Две баронессы», и описания природы в нем немало выиграли в свежести и правдивости благодаря лету, проведенному на лоне природы.

Книга вышла в свет, и успех ее был довольно большой, если принять во внимание время и обстоятельства, при которых она вышла. Гейберг написал мне любезное письмо и дал в честь меня обед для кружка близких друзей и знакомых. За столом он очень мило провозгласил тост за меня, как автора этого романа, чтение которого освежает читателя, как прогулка по лесу весною. Это было в первый раз в течение многих лет, что Гейберг высказался обо мне, как о писателе, так сердечно. Меня

это очень порадовало, а такие радостные минуты заставляют забывать все старое, горестное, оставляя в памяти лишь одно новое, хорошее.

18 декабря хотели отпраздновать столетний юбилей датского королевского театра. Гейберг и Коллин по обоюдному соглашению поручили написать пролог для торжества мне. Я представил дирекции план пролога, и он был одобрен благодаря современности главной его идеи. Я хорошо знал тогдашнее настроение публики, знал, что мысли всех летят теперь вслед за армией. Пришлось и мне последовать за ними и перенести место действия задуманного мною пролога туда, а затем уже постараться снова вернуть зрителей к сцене датского театра. Я был глубоко убежден, что сила наша не в мече, а в духовном развитии, и я написал «Данневирке искусства»¹. В день торжества пролог сделал свое дело и имел большой успех, но затем дирекция стала давать его в виде приманки вечер за вечером в течение целой недели, чего, конечно, не следовало бы; настроение публики было уже не то.

В январе была поставлена опера Глезера «Свадьба на озере Комо», для которой я написал либретто. Опера имела блестящий успех и сразу выдвинула композитора, к которому у нас до того времени относились крайне равнодушно и несправедливо. Теперь пресса воздала ему должное, немало похвал выпало и на долю балетмейстера Бурнонвиля, аранжировавшего танцы в опере, только обо мне не обмолвились и словом. Зато Глезер горячо благодарил меня за мое содействие успеху его оперы.

В апреле всех, как громом, поразила весть, что в великий четверг военный фрегат «Христиан Восьмой» взорвался со всей командой. Стон стоял над всей страной — это было поистине всенародное горе. Я был потрясен так, как будто бы сам находился на обломках погибавшего судна. Из всей команды спасся только один человек, но и это уже показалось всем какой-то победой, свалившимся с неба богатством. На улице встретился со мной мой друг капитан-лейтенант Хр. Вульф. Глаза его сияли. «Знаешь, кого я привез с собой? — начал он. — Лейтенанта Ульриха! Он не взорвался вместе с командой, он спасся, и вот я привез его!» Я совсем не знал лейтенанта Ульриха, но невольно заплакал от радости. «Где ж он? Мне надо видеть его!» — «Он отправился к морскому министру, а оттуда к матери, которая считает его погибшим».

Я зашел в первый попавшийся магазин, достал адресный календарь и узнал, где живет мать Ульриха, но когда я дошел до ее квартиры, меня взяло сомнение: знает ли она или нет? И отворившей мне двери горничной я прежде всего задал вопрос: «Печаль или радость у вас в доме?» Лицо девушки засияло. «Ах, какая радость! Молодой барин точно с неба упал к нам!» И я без дальнейших церемоний прошел в залу, где

¹ Данневирке — название древнего, построенного еще королевой Тирою, вала, защищавшего границы Дании от неприятельских вторжений с юга. — Примеч. перев.

находилась вся семья, одетая в траур — они только облеклись в него утром, как вдруг мнимо погибший сын явился перед ними целым и невредимым! Я со слезами бросился к нему на шею, я не мог совладать со своим чувством, и все сразу почувствовали и поняли, что я являюсь тут не чужим.

Военные события сильно меня расстроили, я страдал и душевно, и физически. В это время как раз гостила в Копенгагене Фредерика Бремер, и ее рассказы о ее прекрасном отечестве возбудили во мне непреодолимое желание переменить обстановку и проехаться или в Далекарлию, или в Гапаранду. Фредерика Бремер поддержала во мне это желание и снабдила бесконечным количеством писем к своим друзьям, рассеянным по всей Швеции. А в друзьях-то больше всего и нуждаешься, путешествуя по этой стране, — здесь не везде-то найдешь гостиницы, приходится прибегать к гостеприимству священников или хозяев усадеб.

В самый день Вознесения я переправился в Гельсингборг. Стояла чудная весна, от молодых березок разливался аромат свежей зелени. Солнышко так славно грело; все путешествие обратилось в какую-то поэму, отзвуки ее и найдутся в картинах и набросках, собранных впоследствии в моей книге «По Швеции».

Одной из первых моих встреч в Стокгольме была встреча с Линдбладом, композитором, автором чудных мелодий, с которыми познакомила Европу Дженни Линд. Линдблад и похож на нее, как может походить брат на сестру — тот же оттенок грусти, у него, впрочем, несколько более резкий. Он просил меня написать для него оперное либретто, и мне очень хотелось исполнить его просьбу. Еще бы! Сила его музыкального гения окрылила бы мои стихи!

Издатель, магистр Багге ввел меня в Стокгольмское литературное общество, давшее в честь меня и немецкого гостя, доктора Лео, обед. Президент провозгласил тост «за двух почетных гостей: господина Андерсена из Копенгагена, автора *«Импровизатора»* и *«Сказок»*, и за доктора Лео, редактора *«Северного телеграфа»*. Затем поднял бокал за мое здоровье магистр Багге и в прекрасной, прочувствованной речи провозгласил тост за меня и за мое отечество, и попросил меня передать моим землякам сердечный привет шведского народа.

Я ответил на это строфою из моей песни:

Зунд сверкал, как меч стальной,
Наши страны разделяя;
Чьей-то брошена рукой
Ветка роз, благоухая,
Мостом стала в добрый час!
Место нам то назовите,

Розы где выросли? — Парнас! —
Кто же бросил их, скажите,
К нам сюда из высших сфер?
— Эленшлегер и Тегнер! —

и прибавил: «Много и других скальдов появилось на датском и шведском берегах, и благодаря им-то народы и стали понимать друг друга лучше, почувствовали в себе биение родственных сердец. Биение шведского сердца отозвалось в последнее время в наших сердцах особенно явственно. В эту минуту я чувствую это особенно сильно!» Тут слезы выступили у меня на глазах, а кругом загремело «ура!»

Бесков представил меня королю Оскару, который принял меня так сердечно, что мне показалось, будто мы с ним старые знакомые, а между тем я видел его в первый раз. Я поблагодарил короля за пожалованный мне недавно орден Северной звезды. Он долго беседовал со мной и, между прочим, высказал чувства особой симпатии к датскому народу и нашему королю. Разговор зашел и о войне. Я сказал, что в самом характере нашего народа лежит сознание права, которого он и держится крепко, забывая даже о своей малочисленности. В беседе этой я имел случай узнать и оценить благородную душу короля. Под конец он спросил меня, скоро ли я вернусь обратно в Стокгольм из Упсалы, куда я собирался, — он желал тогда пригласить меня во дворец к обеду. «И королева, супруга моя, — сказал он, — знакома с вашими произведениями и будет рада познакомиться с вами лично!»

По возвращении из Упсалы я и был приглашен к королевскому столу. Королева, очень напоминая свою мать, герцогиню Лейхтенбергскую, которую я видел в Риме, приняла меня просто и сердечно и сказала, что давно знает меня по моим произведениям и по «*Das Märchen meines Lebens*». За столом я сидел рядом с Бесковым, прямо против королевы. После обеда я прочел вслух сказки: «Лен», «Безобразный утенок», «Мать» и «Воротничок». Во время чтения сказки «Мать» я заметил на глазах благородной королевской четы слезы. И как тепло, сердечно выразили они потом мне свою признательность, какие они оба были простые, милые! Прощаясь, королева протянула мне руку, которую я поцеловал. И она, и король оказали мне честь, пригласив меня вновь посетить их и прочесть им еще что-нибудь. В следующий раз меня и Бескова пригласили в покои королевы за час до обеда. Здесь мы нашли королеву, принцессу Евгению, кронпринца, принцев Густава и Карла, а скоро явился и король. «Поэзия оторвала меня от дел!» — сказал он. Я прочел «Ель», «Штопальную иглу», «Девочку со спичками» и по общему желанию «Лен». Король слушал с большим вниманием. «Глубокая поэзия, которою дышат эти маленькие поэмы», как он выразился — очень нравилась ему, и он прибавил, что читал эти сказки еще во время своей поездки в Норвегию. Все три принца крепко пожали мне руку, а

король пригласил меня присутствовать на празднестве в день его рождения 4 июля. Бескову было поручено быть моим чичероне.

Вскоре я узнал, что в Стокгольме затевается публичное чествование меня, и мне стало не по себе. Я ведь знал, какое неудовольствие возбудит такое чествование у нас на родине, сколько даст пищи злым пересудам. И при одной мысли, что мне придется быть героем праздника, меня била лихорадка; я, как преступник — суда, боялся этого торжественного вечера с заздравными тостами и длинными речами.

Вечер, однако, настал. В торжестве принимали участие и многие дамы, в том числе известная, талантливая г-жа Карлен, не столь известная, но очень талантливая романистка Вильгельмина (псевдоним) и артистка г-жа Страндберг. Г-жа Карлен пригласила меня прогуляться с ней под руку по саду, но нам нельзя было удалиться в ту часть сада, куда мне хотелось — туда, где не теснились зрители, а надо было именно показаться публике, которая «тоже желала видеть г-на Андерсена». Все это свидетельствовало о расположении ко мне, но меня порядком мучило; мысленно я уже видел весь этот праздник в карикатуре на страницах «Корсара». Ведь даже Эленшлегер, перед которым все-таки привыкли преклоняться, попал в карикатуру после своей поездки в Швецию! В аллее нас встретила толпа детей с бесконечной гирляндой цветов в руках; они сыпали передо мной цветы и теснились вокруг меня, а в толпе вокруг все снимали передо мной шляпы. А что я думал в это время? — «В Копенгагене опять поднимут меня за это на смех, опять обрушатся на меня!» Я был совсем расстроен, но приходилось казаться веселым, чтобы не обидеть этих милых, добрых людей, и я старался придать всему шутливый оттенок, поцеловал кого-то из ребятшек, поболтал с другими. За ужином поэт, пастор Меллин, провозгласил тост за мое здоровье, сказав предварительно несколько слов о моей литературной деятельности, затем было произнесено несколько приветственных стихотворений романистки Вильгельмины, а затем прекрасные стихи г-жи Карлен. В ответной речи я сказал, что принимаю все эти знаки сердечного расположения как своего рода задаток, и с помощью Божьей постараюсь заработать его трудом, в котором выскажу свою любовь к Швеции. Я и постарался выполнить свое обещание. Актер-драматург Июлин прочел на местном наречии «Далекарлийскую историю», певцы королевского театра Страндберг, Валлин и Гюнтер спели несколько шведских песен, потом заиграл оркестр и первое же, что я услышал, была наша датская мелодия на мою песню «*Есть чудная страна!*» В одиннадцать часов вечера я отправился домой, радуясь выказанному мне расположению, а также возможности отдохнуть от стольких тревожений.

Скоро я был на пути в Далекарлию. Письмо Фредерики Бремер доставило мне в Упсале знакомство с поэтом Фалькранцем, братом знаменитого пейзажиста, встретился я здесь и со своим другом, поэтом Бетгером, женатым на дочери Тегнера, Дизе. Уютное гнездышко этих

двух счастливых было залито солнышком поэзии и счастливой семейной жизни.

Номер, который я занимал в отеле, примыкал к большой зале, там как раз пировали студенты. Узнав, что я их сосед, они прислали ко мне депутацию с приглашением пожаловать к ним — послушать их пение и принять участие в их веселье. Я сейчас же принялся искать между ними лицо, с которым бы я мог сойтись. Один бледный высокий студент очень мне понравился, и я, как узнал потом, не ошибся в выборе. Он пел так хорошо, с таким выражением. Это был талантливый композитор и поэт Веннерберг, автор сборника чудных мелодий и дуэтов «*Глюнтарне*». В другой раз я слышал, как он пел с Берониусом свои чудные песни, принесшие ему славу «современного Бельмана». Было это у начальника области, в доме которого я встретил вообще самое избранное общество Упсалы. В этом же доме познакомился я с Аттербомом, певцом «*Blottorna*», певшим нам об «Острове блаженства». Правду сказал Мармье, что между поэтами существуют какие-то масонские знаки, по которым они сразу узнают и понимают друг друга; я почувствовал это, знакомясь с милым стариком-поэтом Аттербомом.

Путешествующему по Швеции необходимо иметь свой экипаж, и мне пришлось бы обзавестись им, если бы начальник области любезно не предложил мне на все время поездки своего. Профессор Шредер позаботился снабдить меня мелкой медной монетой и кнутом, а Фалькранц написал мне маршрут, и вот началась оригинальная поездка, несколько напоминающая поездки по тем местностям Америки, где еще не проведено железных дорог. Этот способ передвижения, резко отличавшийся от того, к какому я привык, как будто перенес меня в эпоху за сто лет до нашего времени. Проколесив по разным городам и местечкам Швеции, я опять через Упсалу вернулся в Стокгольм, где нашел точно родной дом в доме г-жи Бремер. В этом уютном, богатом доме жилось так хорошо, и я познакомился здесь со всеми членами семьи, принадлежавшей к числу лучших в Швеции. Тут же имел я случай лишний раз убедиться в том, насколько неосновательны были ходившие и в Дании, и за границей слухи о жизни и положении этой писательницы. Когда она только что вступила на литературное поприще, говорили, что она живет гувернанткой в каком-то знатном семействе, а на самом деле она жила вполне самостоятельно в собственном имении Аоста.

В чужом городе меня влечет обыкновенно не только к выдающимся живым людям, но и к дорогим могилам славных усопших. Мне всегда хочется принести на эти могилы или взять с них на память цветок. В Упсале я побывал на могиле Гейера; на ней еще не было воздвигнуто памятника. Могила Тернероса вся заросла сорной травой. В Стокгольме же я разыскал могилы Никандера и Стагнелиуса и съездил в Сольну, где покоятся на маленьком кладбище Берцелиус, Хореус, Ингельман и Крусель, на большом — Валлин. Постоянным же моим убежищем в

Стокгольме был и остается, впрочем, дом Бескова, которого еще король Карл Иоган возвел в баронское достоинство. Он был из числа тех милых людей, которые как будто озаряют все окружающее ровным кротким светом. Что это была за редкая сердечная натура и какой талантливый человек! О последнем свидетельствуют и рисунки его, и музыкальность. Самый голос его, несмотря на его преклонный возраст, звучал в пении так мягко и свежо. Литературное же его значение достаточно известно — трагедии его в переводах Эленшлегера стали известны и в Германии.

Последний день моего пребывания в Стокгольме совпал с днем рождения короля Оскара. Я присутствовал на торжестве во дворце и по окончании его королевская чета и все принцы простились со мной в высшей степени сердечно. Я был растроган, как при разлуке с близкими, дорогими людьми.

В «Воспоминаниях» Эленшлегера говорится о графе Сальца, автор рисует его очень интересной личностью, но, заинтересовав читателя, не дает о нем более обстоятельных сведений. Вот что говорит Эленшлегер: «Меня посетил однажды один знакомый епископа Мюнтера. Это был высокий, видный швед; войдя, он назвал мне свое имя, но я не расслышал, переспросить мне было неловко, и я надеялся, что еще услышу его в разговоре или же сам догадаюсь, кто он. Он сказал мне, что явился посоветоваться со мной насчет сюжета для водевиля, который собирается писать. Сюжет оказался довольно милым, и я постарался запомнить: «Итак, это писатель водевилей!» Затем гость мой завел разговор о Мюнтере как о старом своем друге. «Надо вам знать, — сказал он, — что я занимался богословскими науками и перевел откровение Иоанна». «Автор водевилей и богослов!» — держал я в уме. «Мюнтер тоже масон! — продолжал он. — Он мой ученик, я ведь начальник ложи!» «Автор водевилей, богослов и начальник масонской ложи!» — продолжал я свои соображения. Затем, он заговорил о короле Карле Иогане, очень хвалил его и прибавил: «Я хорошо знаю его! Мы с ним распили не один стаканчик!» «Автор водевилей, богослов, начальник масонской ложи и близкий друг Карла Иогана!» — перебирал я в уме, а он продолжал: «Здесь, в Дании, не принято надевать свои ордена, но завтра я пойду в церковь и надену все свои!» «Отчего же нет!» — ответил я, а он продолжал: «У меня все они есть!» Тогда я к автору водевилей, богослову, начальнику масонской ложи и близкому другу Карла Иогана прибавил еще «кавалера ордена Серафима». В конце концов незнакомец свел разговор на своего сына, которого он воспитывал в традициях рода, насчитывающего в числе своих предков первых завоевателей Иерусалима. Тогда-то все мне стало ясно. Гость мой был никто иной как граф фон Сальца! Так оно и было».

В приемной короля Оскара Бесков и представил меня этому самому графу Сальца. Он сейчас же с истинно шведским гостеприимством пригасил

меня завернуть на обратном пути к нему в имение Мем, если он будет там в то время, когда пароход остановится на этой пристани. Или же я мог посетить его в имении Сэбю, близ Линкепинга, которое лежит на дальнейшем моем пути, недалеко от канала. Я принял это приглашение за обыкновенную любезность, которой редко приходит на ум воспользоваться. Но, когда я плыл обратно на родину, перед выходом нашим из Роксена на пароход поднялся композитор Иосефсон, гостивший в имении у графа Сальца, и объявил мне, что граф, узнав, с каким пароходом я поеду, поручил ему перехватить меня по дороге и отвезти в экипаже в Сэбю. Это уже говорило о такой радушии, что я наскоро собрал свои пожитки и отправился в проливной дождь в Сэбю, где в замке итальянской архитектуры проживал граф со своей милой, умной дочерью, вдовою барона Фок.

«Между нами духовное родство! — сказал мне радушно встретивший меня старик-хозяин. — Я почувствовал с первого взгляда на вас, что мы не чужие друг другу!» Скоро я всей душой привязался к этому оригинальному, милому и умному старику. Он рассказывал мне о своем знакомстве с разными королями и князьями, о переписке, в которой он находился с Гете и Юнгом Штилингом. Предки графа были, по его рассказам, норвежскими крестьянами-рыбаками, они прибыли в Венецию, спасли христианских пленников, и Карл Великий сделал их князьями Сальца. Рыбачья слободка, лежавшая на месте нынешнего Петербурга, принадлежала прадеду графа, и мне рассказывали, будто бы граф сказал однажды русскому императору, бывшему в Стокгольме: «Столица Вашего Величества лежит, собственно, на земле моих предков!» А император на это шутливо ответил: «Ну, так придите и возьмите ее!»

Время моего пребывания в Сэбю как раз пришлось на рождение графа, которое и было отпраздновано очень торжественно, чисто помещичьи.

Случайно в этот же день была получена почта — письма и газеты. «Новости из Дании! Победа при Фредериции!» — услышал я торжественный возглас. Это были первые печатные сведения об этой битве, все живо интересовались ей; я схватил лист с именами убитых и раненых.

На радостях граф Сальца приказал откупорить шампанское, а дочь его наскоро соорудила знамя Данеброга, и его торжественно водрузили над столом. До обеда старик много рассказывал о былой вражде между шведами и датчанами; он даже берег три датских пули, из которых одна ранила его отца, другая его деда, а третья убила прадеда; теперь же он поднял в честь дружественной нации полный бокал шампанского и так тепло говорил о нравах и обычаях датчан, что у меня на глазах выступили слезы.

В семье жила старая гувернантка, немка, кажется, из Брауншвейга, она уже давно сжилась со Швецией и, слыша теперь в речи графа упреки по адресу Германии, расплакалась и детски-наивно стала изви-

няться передо мною: «Я ничего тут не могу поделать!» Я, поблагодарив графа и выпив за его здоровье, тотчас же протянул руку доброй немке и сказал: «Наступят лучшие дни, когда немцы и датчане снова протянут друг другу руки, как мы теперь, и выпьют кубок мира!» И мы чокнулись.

Хорошо было в Сэбю: прекрасная живописная природа, лес, скалы и озеро. С грустью покинул я этот гостеприимный приют и оригинального старика-хозяина.

Всюду в Швеции господствовало увлечение Данией и всем датским и я, как датчанин, то и дело убеждался в этом.

В Мотале я решил провести несколько дней; всю местность, по которой я ехал сюда, можно назвать садом Гетеборгского канала: здесь чудесное сочетание чисто шведской природы с датской — роскошные буковые леса, озера, скалы и водопады. Тут получил я сердечное, свежее, милое письмо от Диккенса, который только что прочел мой новый роман «Две баронессы». Этот день был для меня настоящим праздником, на столе у меня красовались принесенные мне кем-то чудные розы.

Отсюда я съездил в древнюю Вадстену; роскошный замок ее стал теперь ригою, величественный монастырь — домом умалишенных. Перед отъездом из Моталы я ночевал в маленькой гостинице близ моста. Выехать я должен был рано поутру и поэтому спать улегся с вечера пораньше, сейчас же заснул, но скоро проснулся. Меня разбудило прекрасное хоровое пение. Я встал, приотворил дверь номера и спросил служанку, кому это из высоких особ дают серенаду? «Да это вам!» — сказала она. «Мне?» — удивился я и не сразу сообразил, в чем дело. Но вот раздалась моя песня «*Есть чудная страна!*» Ясно было, что серенаду дают мне, то есть не поэту, а датчанину Андерсену. Любовь шведов к датчанам вообще распустилась тут цветком для меня лично. Фабричные рабочие прослышали, что я вернулся из Вадстены, а утром уже оставляю Моталу, и добрые люди пришли выразить мне свою симпатию и участие. Я вышел к ним и пожал руку ближайшим, я был глубоко тронут и благодарен им, но, разумеется, уж больше не заснул в ту ночь.

И в каждом местечке, каждый день ожидал меня новый праздник. Симпатии к датчанам проявлялись с такой сердечностью и увлечением, о каких земляки мои и понятия не имели.

Через несколько дней я был в Дании. Моя наиболее, по-моему, разработанная книга «*По Швеции*» является, так сказать, духовным результатом этой поездки, и, смею думать, что в ней-то более ярко, чем в каком-либо другом из моих произведений, выступают характерные особенности моей музыки: описания природы, сказочный элемент, юмор и лиризм — насколько последний может вылиться в прозе. Первая рецензия

на эту книгу появилась в шведской газете «*Bore*»: «В этой книге не встречаешься с обыкновенными впечатлениями и размышлениями туристов, вся она в целом — поэма в прозе, распадающаяся на несколько отдельных картин, составляющих, однако, одно целое. И эта поэма написана тем же наивным, детски чистосердечным языком, проникнута тем же открытым взглядом на природу и народную жизнь, которыми отличаются и все стихотворения и рассказы Андерсена и за которые мы, шведы, так любим его. Картины обыденной жизни прекрасно и непринужденно переплетены с историческими воспоминаниями и фантазиями, а все вместе составляет истинно поэтическую путешествие-сказку, светлую летнюю картину Севера».

И у нас на родине, где в последние годы критика не только стала говорить обо мне более приличным тоном, но и оказывать моим произведениям больше внимания и сочувствия, также отозвались об упомянутой книге с похвалами. Особенно выделяли все историю «Сон» и «Поэтическую Калифорнию».

Новый год 1850-й принес мне с собой великое горе — великим горем было это и для Дании и ее искусства. Вот что писал я в письме в Веймар: «Эленшлегер умер 20 января, как раз в день кончины короля Христиана VIII и почти в тот же час. Два раза в этот вечер прошел я мимо Амалиенбургского дворца, направляясь к Эленшлегеру; я знал от докторов, что он уже при смерти, и, проходя мимо дворца, невольно думал: «Два года тому назад я ходил здесь в смертельной тревоге за моего дорогого короля, теперь испытываю такую же тревогу за другого короля — короля поэтов. Он умер без страдания, окруженный своими детьми. Перед смертью он просил прочесть ему вслух сцену из его трагедии «Сократ», ту именно, в которой мудрец говорит о бессмертии и вечной жизни. Он был вполне спокоен, молился лишь о том, чтобы предсмертная борьба не была слишком мучительна, опустил голову на подушку и уснул вечным сном. Я видел его в гробу — разлитие желчи придавало его лицу вид бронзовой статуи. Вообще же он не был похож на мертвого: лоб его был все так же прекрасен, выражение лица — благородно величаво. 26 января его схоронили. Хоронил его народ в полном значении этого слова: чиновники, студенты, матросы, солдаты, словом — представители всех сословий поочередно несли гроб весь долгий путь до Фредериксбергского кладбища. В Фредериксбергском дворце он родился, близ него и желал быть похороненным. Торжественная заупокойная служба состоялась в соборе Богоматери. Были пропеты два надгробных песнопения, написанные по просьбе литературного комитета Грунтвергом и мною. Речь говорил епископ Мюнстер. Королевский театр почтил память великого поэта торжественным представлением его трагедии «Гакон Ярл» и той сцены из трагедии «Сократ», которую читали ему перед смертью.

В последние годы Эленшлегер, к величайшей моей радости, относился ко мне особенно тепло и сердечно. Раз, когда я зашел к нему сильно расстроенный издевательством надо мною одной газеты, он подарил мне орден Северной звезды (орден этот и был мне пожалован королем шведским в день погребения Христиана VIII) и сказал: «Я носил его, а теперь прошу вас принять его от меня на память! Вы истинный поэт — я вам это говорю! Так пусть другие болтают себе, что хотят!»

14 ноября 1849 года торжественно отпраздновали его 70-летнюю годовщину, и вот как скоро после этого пришлось справлять по нему поминки! Известно, что почивший поэт выражал перед смертью желание, чтобы на торжественном спектакле в память его была поставлена именно его трагедия «Сократ». Как уже сказано, дали лишь одну сцену из нее. Я, собственно, не понимаю, как мог великий поэт заботиться в такую минуту о подобных мелочах; я бы предпочел, чтобы он сказал перед смертью, как «умирающий поэт» Ламартина: «Что за дело лебедю, уносящемуся к солнцу, до слабой тени, которую набросили на волны его крылья!»

В день торжественного представления театр был переполнен сверху донизу. Ложи первого яруса были обиты траурным крепом, кресло Эленшлегера было тоже окутано флером и увенчано лавровым венком.

«Как это Гейберг мило придумал! — обратилась ко мне одна дама. — Сам Эленшлегер был бы тронут таким вниманием». Я невольно ответил: «Да его бы обрадовало, что хоть сегодня-то ему оставили место!» Как только Гейберг стал директором театра, он сразу уменьшил число бесплатных мест для поэтов, композиторов, бывших директоров театра и разных чиновников, оставив для них одни крайние кресла. Так как сюда кроме того впускали еще почти всех артистов, певцов и балетных солистов, то при большом наплыве бесплатных мест хватало для какой-нибудь трети имевших право на них. Эленшлегер при жизни каждый вечер бывал в театре, но, если случалось ему немножко запоздать и если никто из занявших места заблаговременно не уступал великому поэту своего, то приходилось ему и постоять. Часто мы оказывались соседями, и он в таких случаях обращался ко мне с шутливо-жалобным вопросом: «Куда ж мне теперь деваться?» Сегодня вечером ему все-таки оставили место! Это было как раз то кресло, которое он выбрал себе при прежней дирекции. Гейберга можно извинить тем, что риксдаг (народное собрание) настаивал на сокращении числа бесплатных мест, но для Эленшлегера, величайшего нашего драматического писателя, все-таки можно было бы, кажется, сделать исключение. Итак, к настроению моему в этот торжественный вечер примешалось чувство горечи, ну да это случилось со мною под сводами нашего национального театра не впервые!

От этого театра перейду к другому, тому самому, о котором один из наших писателей так презрительно выразился: «какое-нибудь казино!» Копенгагенцы обогатились в последние годы народным театром: он возник как-то сам собой, мало кто думал о нем, особенно же о том, что у него есть будущее. Многие подумывали об устройстве такого театра, говорили, писали, но дальше этого дело не шло и не пошло бы, не будь у нас одного молодого талантливоего деятеля, не имевшего за душой ни гроша, но одаренного удивительной способностью доставать деньги, если нужно было осуществить какую-нибудь идею. Он сумел устроить для копенгагенцев «Тиволи», которое по плану и устройству может потягаться с любым увеселительным садом других европейских городов. Он же устроил и театр «Казино», где публика за небольшую плату могла слушать музыку и смотреть драматические представления и где можно было также устраивать общедоступные концерты и маскарады. Человек этот был Георг Карстенсен. Впоследствии талант его и деловитость были оценены и в Америке, где он вместе с Х. Гильдмейстером построил нью-йоркский Хрустальный дворец. Карстенсен был человек редкой доброты, что и было, по-моему, главным его недостатком. Над ним насмехались, глумились, называя его увеселительных дел мастером, а между тем его деятельность была все-таки очень почтенна, доставила людям много и пользы, и удовольствия.

Вначале на самое здание «Казино» меньше всего смотрели как на театр, и только во время управления делами энергичным и предприимчивым антрепренером Ланге театр этот мало-помалу стал завоевывать симпатии публики, и дела его окрепли. Одно время акции «Казино» стояли так низко, что их, по рассказам, можно было приобрести за стакан пунша; скоро, однако, они сильно поднялись.

Репертуар «Казино» был очень ограниченный; ни один из мало-мальски известных датских драматургов не имел ни малейшего желания писать для подобной сцены. Ланге обратился ко мне, и моя первая же попытка удалась сверх всяких ожиданий. В «Тысяче и одной ночи» я читал сказку «*Geschichte des Prinzen Zeyn Alasmon und des Königs der Geister*», затем я познакомился с обработкой того же сюжета Раймунда «*Der Diamant des Geisterkönigs*» и написал фантастическую пьесу «Дороже жемчуга и злата». Пьеса эта разом подняла дела «Казино»; весь Копенгаген — с высших и до низших классов общества — перебывал на представлениях ее. Зал «Казино» вмещает 2500 человек, и в течение целого ряда представлений все места бывали заняты. Таким образом пьеса доставила мне много радости, гонорар же, который мне причитался за нее, составлял всего сто риксдалеров. Надо помнить, что в то время частные театры в Дании и вовсе ничего не платили авторам, а сто далеров все-таки лучше, чем ничего. Впоследствии мне, впрочем, дали еще прибавку в сто далеров, так как пьеса продолжала давать полные сборы. Примеру моему скоро последовали и другие писатели; Гоструп, Оверскоу, Эрик Бёг, Рекке и

Хивиц дали талантливые вещи. Труппа «Казино» также с годами все совершенствовалась, требования публики повышались, и дирекция шла им навстречу. Тем не менее многие продолжали пренебрегать «Казино». «Какое-то «Казино!» — частенько слышалось в разговоре, но такое отношение к театру со стороны лиц, к тому же ни разу даже не бывших в нем, нельзя, по-моему, назвать справедливым.

Вскоре я написал для «Казино» и новую пьесу, в том же фантастическом духе, *«Оле-Закрой глазки»*. Я уже пытался изобразить сказочного северного бога снов в одной из своих сказок, теперь же мне захотелось сделать из него живое лицо и его устами высказать ту истину, что здоровье, хорошее расположение духа и душевный мир — выше богатства. Ланге отнесся к моему труду с большим вниманием и любовью и приложил все старания, чтобы поставить эту пьесу, требовавшую большой сцены, на маленькой, тесной сцене «Казино». Приятно поразило меня также и отношение к делу самой труппы. Все актеры и актрисы интересовались пьесой, относились с уважением к автору, словом, ничем не напоминали тех полновластных вершителей судеб пьес, которых я привык видеть в «настоящем театре».

После того пьеса шла много раз и пользовалась у публики большим успехом; доказательства этого я получал даже от «простолюдинов», как принято называть людей победнее. Приведу в пример один из случаев, доставивший мне куда больше радости, чем могла бы доставить любая хвалебная рецензия или отзыв умника-философа.

Выходя из театра, я увидел в дверях бедного ремесленника, на глазах его блестели слезы, и когда я поравнялся с ним, он схватил мою руку, крепко пожал ее и сказал: «Спасибо, господин писатель Андерсен! Вот-то славная комедия!» Приведу и еще один случай. Я был в гостях в одном знакомом мне бюрократическом семействе, и хозяйка дома рассказала мне, что она была очень удивлена в это утро необыкновенно радостным, сияющим выражением лица своего конюха. «У Ганса радость какая-нибудь, что он так и сияет сегодня?» — спросила она потом свою горничную, и та объяснила, что один из подаренных вчера господами прислуге билетов отдали конюху Гансу. И вот этот деревенский парень, который вечно ходил полусонным, вдруг «точно переродился со вчерашнего!» рассказывала девушка. «Он вернулся вчера из театра такой веселый, так был доволен всем, что видел и слышал! — «Я всегда думал, что одним богачам да барам счастье, а теперь вижу, что и нашему брату тоже хорошо! Это я узнал вчера там, в комедии! Точно проповедь послушал, да еще и видел все. То-то хорошо!» — сказал он». И ничье мнение так не порадовало меня и не польстило мне больше этого бесхитростного суждения простого, необразованного парня!

Пьеса продолжала делать сборы, но вот я прослышал, что один из наших писателей, который в последнее время был самым деятельным

поставщиком пьес для «Казино», написал в сотрудничестве с одним молодым литератором пародию на мою пьесу. Пародию собирались ставить на провинциальных сценах или по крайней мере в театре марионеток Бухариса. Известие это сильно огорчило меня; я знал этого писателя, всегда признавал его талант, а он мог так умышленно закрывать глаза на все поэтические достоинства *«Оле-Закрой глазки»* и собирался даже лично осмеять меня! Мне вообще уже не привыкать было ко всяким оскорблениям у себя на родине, тем не менее я находился в угнетенном состоянии духа, но вот, еще прежде чем я успел прочесть самую пародию, получил я в Глорупе письмо от Эрстеда, свидетельствовавшее и о его отношении ко мне, как к поэту, и о нашей взаимной дружбе. Письмо это я и привожу здесь как своего рода документ, тем более что оно представляет интерес и само по себе благодаря личности своего автора.

«Копенгаген, 18 июля 1850 года.

Дорогой друг!

Вы должны отогнать от себя то уныние, о котором сообщаете Матильде, если уже не сделали этого, прежде чем получили настоящее письмо. Вы обогатили литературу столькими превосходными произведениями, что никто, я думаю, кроме Вас самого, не может упрекнуть Вас в том, что Вы дали еще слишком мало. Да и самые противники Ваши уже не отваживаются теперь высказывать подобного мнения. Но пусть даже на Вас и нападают — Вы должны утешаться тем, что подобным нападкам подвергались все более или менее выдающиеся люди. Я часто наблюдал, как английские журналисты глумились над самыми замечательными деятелями своего отечества. Я помню еще, например, что великого государственного человека Питта обзывали болваном. Поп в прошлое столетие, Байрон в наше, тоже имели основания жаловаться на жестокие нападки. А лучше ли было с Гете и Шиллером в Германии? Эленшлегер и Баггесен, как они ни разнятся между собою во всем остальном, имели, однако, то общее, что оба одинаково страдали в свое время от ожесточенных нападков. Если же поискать примеров вне среды поэтов, то я укажу Вам на моего брата и на Мюнстера.

Старайтесь обращать на нападки как можно меньше внимания. Слава Ваша, как писателя, слишком укрепилась за Вами и здесь, и за границей, чтобы Вы могли опасаться за нее.

Надеюсь, что Вы, как и прежде, не станете вступать с Вашими противниками в полемику. Посоветовал бы я Вам не давать им даже и косвенных щелчков в каком-нибудь новом произведении. Зато Вы, по моему, хорошо бы сделали, если бы написали статью об эстетических началах сказочных фантастических произведений. Этим Вы могли бы рассеять многие заблуждения публики. Для разбора лучше всего было бы воспользоваться чужими произведениями, но, разумеется, незачем было бы и вовсе исключать своих собственных. Только отнюдь не впадайте в

полемику! Наконец, я должен Вам сказать, что меньше всего посоветую Вам братья за упомянутую работу, если она может отвлечь Вас от истинных задач Вашего творчества. Напротив! Всегда Ваш

Г. Х. Эрстед».

В это же лето окончил я мою, как уже говорил выше, наиболее обработанную вещь «*По Швеции*», и это было последнее произведение, которое я читал Эрстеду. Оно ему очень понравилось, особенно много беседовали мы с ним по поводу двух статей: «*Вера и знание*» и «*Поэтическая Калифорния*», которые были навеяны его полными ума и убедительности рассуждениями, а также его гениальным произведением «*Дух в природе*». «Вас так часто упрекают в недостатке познаний! — сказал он мне однажды со своей обычной мягкой усмешкой. — А вы в конце концов, может быть, сделаете для науки больше всех других поэтов!» Нечто подобное же сказано и в «Послесловии» переводчика к английскому изданию «*По Швеции*». Надеюсь, что меня поймут, как следует. Я не желаю сказать этим, что я сделал что-нибудь для науки в строго научном смысле; нет, я, как поэт, только почерпнул сюжеты из ее малоразработанных рудников. Примером может послужить сказка «*Капля воды*», на которую указывает в своей книге «*Дух в природе*» и Эрстед.

Он понимал меня и радовался той любви, с какой я относился ко всем открытиям и мощным изобретениям новейшего времени, двигающим его вперед. «И все же вы согрешили перед наукой. Забыли, чем ей обязаны! — сказал он мне раз в шутку. — Вы ни словом не упомянули о ней в Вашем прекрасном стихотворении «*Дания — родина моя!*»¹. Я и попробовал сам исправить Вашу ошибку!» И он показал мне строфу, которую он предлагал вставить между третьей и четвертой строфами моего стихотворения.

А имена, что на скрижалях вековых
Науки Дании сыны поначертали!..
Они нам говорят о светлой звездной дали,
О тайных силах и небесных, и земных!..
Любуюсь Зунда светлой полосой,
Что окаймляет берег наш волнистый,
И пылью орошает серебристой...
Люблю, люблю тебя, мой край родной!

Когда же я прочел ему «*Веру и знание*» и «*Поэтическую Калифорнию*», он дружески пожал мне руку и сказал, что теперь я вполне загладил свою вину.

В Глорупе же в это самое лето получил я от него вторую часть книги «*Дух в природе*» с приложением такой записки: «Боюсь, что эта часть не произведет на Вас такого хорошего впечатления, как первая.

¹ См. т. III, стр. 534.

Эта новая книга является ведь только пояснением первой. Смею, однако, думать, что и она не совсем лишена новизны, а также, что написана она в прежнем же духе и тоне!»

Книга в высшей степени заинтересовала меня, и я высказал Эрстеду свою признательность за нее в длинном письме. Вот отрывок из него: «Вы полагаете, что эта книга не произведет на меня такого впечатления, как первая, а я так не могу даже отделить их одну от другой; обе они составляют как бы один богатый источник. Больше же всего радует меня то, что я нахожу в ней все как будто свои же собственные мысли, которые, однако, не были для меня до сих пор так ясны. Я нашел тут всю свою веру, все свои убеждения, высказанные так ясно, толково! Отказываюсь понимать епископа Мюнстера! Казалось бы, он-то уж мог понять то, что для меня ясно, как день! Я читал *«Естественные науки по отношению к некоторым важным религиозным вопросам»*, не только про себя, но читал эту статью многим и вслух; меня так и тянет перечитывать ее, и я хотел бы поделиться ей со всем светом. Я ценю слепую веру благочестивых людей, но сам предпочитаю верить, зная. Величие Господа Бога ничуть не умалится, если мы будем смотреть на Него, руководствуясь разумом, который Он сам же дал нам! Я не хочу идти к Богу с завязанными глазами, хочу видеть и знать, и если даже это и не доведет меня до иной цели, нежели слепо верующего человека его вера, то все же я обогащусь умственно! Я радовался, читая Вашу книгу, между прочим, и за самого себя: она так понятна мне, как будто является результатом моего собственного мышления. Читая ее, я не раз готов был сказать: «Да, и я бы сказал вот это самое!» Истины, заключающиеся в этой книге, перешли в мою плоть и кровь. А я все-таки прочел еще только половину ее. Меня оторвали от нее вести с поля сражения, и затем я уже мог думать только о них. Но я не могу не поторопиться написать Вам и высказать Вам свою сердечную признательность.

Вот уже неделя, как я не могу ничем заняться, так я расстроен. Я даже забываю о победах наших храбрых солдат из-за мысли о погибших молодых людях. Скольких из убитых я знал лично! Полковник Лэссё был ведь моим другом, я знал его еще кадетом и всегда предчувствовал, что из него выйдет нечто выдающееся. У него был такой светлый ум, такая твердая воля и ко всему этому присоединялось еще редкое образование. Я так любил его! Как часто увлекал он меня, хоть и был моложе меня, своими смелыми, зрелыми мыслями, как мило умел вышучивать болезненные проявления моей фантазии! Чего-чего не переговорили мы с ним по пути от дома его матери до города, мы говорили и о злобе дня, и о мире, и о будущем... А теперь — его нет больше! Бедная мать его подавлена горем, не знаю, как она и перенесет его. Лэссё пал в тот же день, как и Шлеппегрель, и Тренка, в маленьком местечке близ Идстета. Рассказывают, что первые ряды вступившего в местечко отряда датчан были приняты жителями с хлебом-солью — это успокоило всех

остальных, но чуть только они очутились в центре города, все ворота и двери вдруг раскрылись, оттуда хлынули толпы инсургентов и вооруженных жителей — мужчин и женщин, и большая часть отряда была положена на месте. Выносливость наших солдат изумительна; увязая в болоте, шли они вперед под неприятельским огнем, перепрыгивали с кочки на кочку и, хотя картечь так и косила их, все-таки выбили неприятеля с твердой позиции. Ах, если бы только эта битва была последней! Но — увы! — неизвестно еще, что будет дальше! Быть может, все эти дорогие жизни загублены даром. Бог да защитит правое дело и ниспошлет нам мир! В редкой семье нет горя, мы переживаем тяжелые, мрачные дни. Меня тянет на поле сражения, мне хочется своими глазами увидеть богатую событиями военную жизнь, но я отгоняю от себя это желание. Я знаю, что вид всех бедствий войны произведет на меня чересчур потрясающее впечатление. Да и если бы еще я мог сделать что-нибудь, хотя бы ободрить, подкрепить страдальцев, то я и этого не могу!

Мой сердечный привет Вам

Ваш сыновне преданный
Г. Х. Андерсен».

Вслед за битвой и победой был заключен мир. Я принял эту весть с несказанной радостью.

Возвращавшимся солдатам была устроена торжественная встреча. Воспоминание о ней до сих пор еще освещает мою душу и не погаснет никогда. Я написал для шведских и норвежских добровольцев песню, которой они и встретили у железных ворот в Фредериксбергской аллее наших датчан. Над западными воротами красовалась приветственная надпись: «Сдержал свое ты слово, наш храбрый ополченец!» Навстречу армии вышли и все цеха со своими знаменами, которые мы с давних пор привыкли видеть только на сцене. Многие из простолюдинов были до слез тронуты, убедившись в том, какое значение придается людям их сословия, — и у них ведь было свое знамя. Гремела музыка, были пущены фонтаны, что случалось обыкновенно лишь в день рождения короля. На всех домах развевались датские, шведские и норвежские флаги. Повсюду красовались разные приветственные надписи вроде: «Победа — Мир — Единение». Все имело праздничный вид, все чувствовали себя воистину датчанами. Когда показались первые ряды солдат, слезы так и потекли у меня по щекам.

Ратуша была превращена в зал Победы, украшенный флагами и гирляндами. Стол для офицеров был накрыт под тремя увешанными золотыми плодами великолепными пальмами. Простые рядовые сидели за длинными столами. Угощали их студенты и другие молодые люди. Музыка, пение, речи, общее ликование; букеты и венки сыпались дождем. Мне доставляло несказанное удовольствие смотреть на этот праздник и беседовать с brave ребятами, даже и не ведавшими, что они герои.



Я спросил одного солдата из Шлезвига, довольны ли они, что опять попали в казармы, хорошо ли им там? «Расчудесно! — ответил он. — Первую ночь так мы заснуть даже не могли, так хорошо было! Лежим себе на матрасах, под одеялами! А там-то три месяца платья не скидали! Пуще же всего донимал нас в бараках дым от сырых дров! А тут живи в свое удовольствие! Учтивый народ здесь в Копенгагене!» Фленсбург он тоже похвалил: «Настоящий датский город! В жаркие дни жители приносили нам оттуда и вина, и воды! Просто благодать!»

А какие они были скромные наши солдатушки, особенно пехотинцы! Они сами называли первых храбрецов из товарищей; венок, случайно брошенный в толпу солдат, они по общему приговору надели на достойнейшего. В ратуше угощались тысяча шестьсот человек и пехотинцев, и гусар. Речь следовала за речью, и один из офицеров сказал какому-то рядовому: «Тебе тоже следует сказать речь — ты ведь хорошо говоришь!» — «Нет, где уж нам! Не подходит!» — «Отчего же. Напротив, то-то и хорошо, если и рядовой скажет слово!» — «Да, так уж тут надо гусара!» — ответил скромный солдатик.

Речи, дышащие увлечением и вдохновением, лились рекой, и принимали их с таким же увлечением. Случалось и то, что у оратора больше было на душе, чем на языке. Вот что, например, мог я уловить из речи одного почтенного члена риксдага: «Вы из Ютландии и я из Ютландии, и мы намаялись, и вы намаялись. А теперь вот все мы тут! Кто из такого города, кто из такого, а я вот из такого!»

Директор «Казино» Ланге раздавал солдатам на каждое представление огромное число бесплатных билетов, и мне доставляло истинное наслаждение услужить бравым ребятам, указывать им места, разговаривать с ними, объяснять им непонятное. Много оригинальных замечаний наслушался я при таких случаях. Большинство солдат сроду не бывали в театре, понятия не имело о нем. Вестибюль и коридор были разубраны зеленью и флагами. Во время одного из антрактов я встретил здесь двух солдат. «Ну, все ли видели?» — спрашиваю я их. «Как же! Уж так-то хорошо тут!» — «Ну, а представление там глядели?» «Разве еще что есть?» — изумились они. Они себе все расхаживали по коридорам, любуясь газовыми рожками, флагами и движением народа вверх и вниз по лестницам!

В дни этих торжеств пришлось мне принимать участие и еще в одном торжестве, частном, носившем чисто семейный характер. Два года тому назад Коллин вышел в отставку в чине тайного советника, а в этом, 1851 году 18 февраля мы и отпраздновали его юбилей.

С этими же днями торжеств, когда всюду раздавались песни и веселая пальба, связано у меня воспоминание о двух тяжелых утратах: я в одну неделю схоронил Эмму Гартман и Эрстеда!

Эмма Гартман была в полном смысле слова редкой женщиной: богато одаренная натура, жизнерадостная, остроумная, простая и прямая, с де-

тски ясной душой и мирозерцанием, не затемненным никаким облачком. Все в ней было в гармонии. Вот кто мог заставить звучать во мне все струны ума и сердца! Немудрено, что я льнул к ней, как растение к солнцу. Нельзя высказать, передать словами, какой неистощимый источник радости, веселости и искренности представляла ее душа. Глубокой истиной звучали слова, сказанные над ее гробом пастором и поэтом Бойе: «Сердце ее было храмом Божиим, переполненным любовью, и она щедро делилась ей не только с близкими ей лицами, но и с многими посторонними, включая сюда бедных, немощных и скорбящих, каких только знала!» Истиной звучали и слова, сказанные у могилы: «Ясные, радостные мысли и чувства жили в ее душе, и она охотно выпускала их на волю, как крылатых птичек, наполнявших дом пением и веселым щебетанием! И в доме ее воцарялась в такие минуты весна!» Да, да! Эти птички щебетали и наполняли радостью сердца всех окружающих. В ее устах, казалось, облагораживались самые слова. Она могла говорить обо всем, как ребенок, и о чем бы она ни говорила, слышно было, что слова ее идут от чистого сердца. Она любила пошутить, так и сыпала остротами, но приходила в комический ужас при одной мысли, что подобные шутки могут сделаться достоянием читателей или, что еще хуже — строгих слушателей, раздаваясь со сцены. Она могла угощать такими шутками с утра до вечера, а я взял да вложил подобные в уста Царя духов и Греты в *«Дороже жемчуга и злата»*. Она, впрочем, ходила смотреть эту пьесу, также, как и *«Оле-Закрой глазки»*, но совсем по особой причине. Однажды в жестокую вьюгу вернулись из школы, находившейся далеко, в Христиановой гавани, только два старших ее сына, младший же, совсем еще ребенок, как-то отстал от них, и мать была вне себя от страха. Как раз в эту минуту пришел я и, узнав в чем дело, сказал, что сейчас же пойду и разыщу пропавшего. Она знала, что я был не совсем здоров да и вообще не охотник бегать в такую даль, и мое желание помочь ей в беде (как будто я мог поступить иначе!) так ее тронуло, что она, как сама рассказывала мне потом, ходя в волнении взад и вперед по комнате, сказала себе: «Это просто бесподобно с его стороны! Надо мне пойти на его *«Дороже жемчуга и злата»*! А если он приведет мне моего мальчика, так и быть — пойду и на *«Оле-Закрой глазки!»* Да, да, уж пообещала, так пойду, хоть это и ужасно!» И она пошла на представления, много смеялась, а потом рассказывала о виденном куда забавнее, чем были сами пьесы. У нее было также большое музыкальное дарование, и много ее прекрасных композиций вышло в свет, но без ее имени. Никто также лучше нее не понимал и не ценил самого Гартмана, она предвидела его будущую славу и значение, которое он будет иметь за границей, и во время разговора об этом лицо ее, вообще такое веселое, подвижное, вдруг принимало серьезное, почти торжественное выражение. В одну из последних наших бесед, я помню, мы говорили о книге Эрстеда

«Дух в природе» и о бессмертии. «Подумаешь, представишь себе это — голова кружится; это почти не по силам нам людям! — говорила она. — Но я все-таки верю в бессмертие, надо верить в него!» И глаза ее загорелись, но в ту же минуту на губах заиграла улыбка и она принялась трунить над негодным человечеством, воображающим соединиться с Господом Богом!..

Но вот настало печальное утро! Гартман обнял меня и со слезами сказал: «Она умерла!»

И в самый час кончины матери внезапно захворал ее младший ребенок, дочка Мария. В сказке «Старый дом» я нарисовал ее — это она-то, когда ей было два года, принималась плясать, как только бывало заслышит музыку или пение. В самый час кончины матери, склонилась, как подкошенная, и ее маленькая дочка, как будто мать попросила Бога: «Дай мне с собою одного ребенка, самого младшего, который не может обойтись без меня!» И Бог внял ее мольбе. Девочка умерла в тот же вечер, когда вынесли в церковь гроб ее матери, и через несколько дней рядом с большой могилой появилась маленькая. Один из венков, украшавших могилу матери, еще свежий и зеленый, казалось, тянулся к жданной гостье.

В гробу маленькая девочка смотрелась взрослой девушкой; никогда не видел я более живого изображения ангела! У меня навсегда запечатлелся в памяти один ответ ее, звучавший почти слишком не по-земному невинно. Ей было тогда всего три года, раз вечером ее позвали купаться, и я в шутку спросил ее: «А мне можно с тобой?» — «Нет! — ответила она. — Теперь я маленькая, вот когда вырасту, тогда можно!»

Смерть не лишает человеческое лицо красоты, напротив, иногда даже возвышает ее, некрасиво лишь разложение тела. И никого не видел я в гробу красивее, благороднее Эммы Гартман: по лицу ее было разлито выражение какого-то неземного спокойствия, как будто душа ее стояла в эту минуту перед престолом Всевышнего. От рассыпанных вокруг нее цветов разливался чудный аромат. «Никогда в жизни не уязвила она ни одного человека, никогда не умаляла она в своих суждениях ничего достойного похвалы, никогда не позволяла клевете коснуться уважаемого имени. Она не взвешивала боязливо своих слов, не опасалась, что их могут перетолковать в дурном смысле люди, не отличающиеся ее откровенностью и чистосердечием!» И эти слова, сказанные у ее могилы, дышали истиной.

Через четыре дня я лишился и Эрстеда. Перенести еще и этот удар было мне почти не под силу. В этих двух умерших я терял бесконечно много. Эмма Гартман своей задушевной веселостью, жизнерадостностью, бодростью духа ободряла и подкрепляла мой дух, я искал ее общества, как цветок лучей солнца! А Эрстеда я знал почти с первых же моих шагов в Копенгагене, любил в течение стольких лет как одного из людей, принимавших самое близкое участие во всех моих горестях и радостях.

В последнее время я то и дело переходил от Гартмана к Эрстеду, от Эрстеда к Гартману. Но у меня и в мыслях не было, что я так скоро лишусь того, кто был моей постоянной поддержкой, моим утешением в моей тяжелой борьбе с обстоятельствами и духовными невзгодами. Эрстед был еще так молод душою, так радостно-оживленно беседовал о предстоящем летнем отдыхе в отведенном ему городом помещении в Фредериксбергском саду. Год тому назад, осенью, праздновали его юбилей, и город отвел ему и его семье в пожизненное владение дом, в котором жил последние годы Эленшлегер. «Мы переедем туда, как только на деревьях появятся почки, и выглянет солнышко!» — говорил он, но уже в первых числах марта слег в постель; мужество и бодрость духа, однако, не покидали его. Жена Гартмана умерла 6 марта. Сильно огорченный пришел я в этот день к Эрстеду и тут узнал, что и его смерть близка! У него было воспаление легких. «Он умрет!» — твердил я про себя, а сам-то он думал, что ему лучше. «В воскресенье я встану!» — сказал он. В воскресенье он предстал перед лицом Всевышнего!

Придя к нему в этот день, я застал его уже в агонии. Жена и дети окружали его постель; я присел в соседней комнате и дал волю слезам. В доме царила торжественная, святая тишина!

Похороны состоялись 18 марта. Я страдал и душевно, и физически и едва-едва протащился короткий путь от университета до церкви, на что понадобилось, впрочем, два часа, так медленно тянулось шествие. Речь говорил пастор Трюде, а не Мюнстер. «Его не просили!» — оправдывали его некоторые. Как будто надо просить друга сказать слово над усопшим другом! Слезы так и душили меня, но я не мог плакать, и сердце мое готово было разорваться...

XVI

Страна отдыхала от войны под сенью мира; настала весна, и во мне проснулось чувство перелетной птицы. Меня манило отдохнуть душой на лоне природы, и я понесся к зеленым лесам, к дорогим друзьям в Христинелунд. Молодым моим хозяевам очень хотелось залучить к себе на крышу аиста, и они положили туда колесо, как основание для гнезда, но аист не являлся! «Подождите моего приезда! — писал я им. — Тогда и аист прилетит!» И в самом деле, утром в тот же самый день, когда согласно моему письму ждали меня, прилетела на крышу и чета аистов. Когда я въезжал во двор, работа по устройству гнезда была уже в полном разгаре. И тут же увидел я, как аист взлетел в воздух, а это по народным приметам означало, что я и сам скоро расправлю крылья. Полет мой в это лето не был, однако, особенно дальним. Дальше башен Праги я не залетал. Глава о моих заграничных полетах ограничилась в

этом году всего несколькими страницами, но на первой же странице виньеткой служил летящий аист и гнездо его, свитое на крыше, защищенное свежераспустившимся буковым лесом.

Христинелунду же сама весна дала виньетку — цветущую яблоньку, выросшую в поле у канавы. Это было олицетворение самой весны! При виде ее у меня зародилась в голове идея сказки *«Есть же разница!»* Большинство моих сказок создано подобным же образом. Каждый, кто будет смотреть на жизнь и природу глазами поэта, увидит, откроет подобные же проявления красоты, которые можно иначе назвать «поэтической игрою случая». Приведу здесь несколько примеров. В самый день смерти короля Христиана VIII дикий лебедь налетел на шпиль Роскильдского собора и разбил себе грудь, и Эленшлегер воспользовался этим случаем для своего стихотворения, посвященного памяти короля. Когда же на могиле самого Эленшлегера хотели заменить старые венки свежими, оказалось, что в одном из увядших венков свила себе гнездышко певчая птичка. Как-то на Рождество я гостил в Брегентведе, погода стояла мягкая, я вышел утром с сад — на широких плитах пьедестала обелиска лежал тонкий слой снега, и я как-то бессознательно начертил палкой на снегу:

Бессмертие — тот же снежок,
Что завтра растает, дружок!

Я ушел; сделалась оттепель, потом опять хватил мороз, и когда я, спустя некоторое время, опять подошел к обелиску, то увидел, что снег весь стоял, кроме небольшого клочка, где и осталось одно слово «бессмертие»! Такая игра случая меня сильно поразила, и я невольно подумал: «Господи Боже мой! Я никогда и не сомневался в нем!»

Последний раз я посетил Германию еще до войны. Поля битвы я еще не видел — посетить его из одного любопытства, явиться праздным зрителем там, где другие действовали, — было противно моему чувству. Теперь мир был заключен, и я опять мог мирно встретиться со своими друзьями в Германии, но я не мог еще забыть недавних кровавых событий и первым делом решил посетить те места, где боролись и страдали наши войска.

Почти повсюду уже виднелись возводимые на месте сгоревших строений и домов новые; земля же кругом хранила еще следы недавней бомбардировки, весь дерн был точно сдернут, сбит градом пуль. Серьезное, грустное чувство овладело мною: я вспомнил полковника Лэссё, подумал о многих, положивших здесь живот свой. Самая почва, по которой мы ехали, была для меня священна.

В Лейпциге и Дрездене я свиделся с прежними друзьями, они ничуть не переменились, и встреча наша была самая сердечная, радостная. Так отрадно было сознавать, что тяжелая, кровавая эпоха войны осталась позади. Почти все отдавали должное силе и единодушию датчан, некоторые даже говорили: «Датчане были правы!» Были, разумеется, и люди,

державшиеся противоположного мнения, но эти не высказывались. Словом, мне положительно не на что было пожаловаться — я видел вокруг себя одни дружеские лица, встречал одно доброе расположение к себе и к своему народу. И даже «поэтическая игра случая» не преминула отдать честь датскому имени! Расскажу этот маленький эпизод.

Семь лет тому назад я гостил в прекрасном Максене, в нескольких милях от Дрездена в радушном семействе фон Серре. Накануне моего отъезда оттуда, гуляя вечером с хозяйкой неподалеку от усадьбы, я нашел на дороге вырванную с корнем маленькую лиственницу, такую маленькую, что она уместилась бы у меня в кармане. Я поднял ее, она была переломлена. «Бедное деревцо! — сказал я. — Зачем же ему погибать!» И я стал искать местечко в скалистой почве, куда бы посадить деревцо. «Говорят, у меня легкая рука! — продолжал я. — Может быть, и примется!» На самом краю обрыва нашелся в расщелине камня клочок рыхлой земли, я ткнул туда деревцо, потом ушел оттуда и забыл об этом эпизоде.

«Ваше деревцо отлично растет в Максене!» — рассказывал мне, несколько лет спустя, в Копенгагене художник Даль, только что приехавший из Дрездена. Теперь, прибыв опять в Максен, я услышал о «деревце датского поэта», как его называли, целую историю. Оно принялось, пустило корни, новые ветви и сильно выросло, — за ним тщательно ухаживали. Г-жа Серре велела даже обложить его землей, потом взорвали часть камня и в последние годы проложили мимо деревца тропинку, а перед самым деревцом поставили дощечку с надписью: «Деревцо датского поэта». И оно не пострадало даже во время войны с датчанами; по общему мнению, оно должно было погибнуть само собою: возле росла большая, пышная береза, простиравшая свои ветви над маленьким деревцом, которое и должно было благодаря этому рано или поздно зачахнуть. Но вот еще во время войны случилась гроза, молния ударила прямо в березу, разбила ее и сбросила со скалы, а «деревцо датского поэта» осталось целым и невредимым. Я сам видел его в это свое посещение Максена, видел рядом и пенёк погибшей березы.

В Веймар я на этот раз не поехал, я знал, что там теперь нет никого из моих друзей, и отложил свою поездку туда, равно как и вообще всякую дальнейшую — до будущего года.

Осенью 1851 года мне было пожаловано на родине звание профессора, а с наступлением весны я поспешил закрепить нить путешествия в том же месте, где оборвал ее в последний раз — в милом Веймаре. Здешние друзья мои встретили меня с обычной задушевностью и радушием. Такой же прием ждал меня опять и в герцогском семействе.

В это же посещение я имел приятный случай возобновить знакомство с Листом, который, как известно, был приглашен сюда капельмейстером театра. Он главным образом задался задачей проводить в репертуар такие

выдающиеся музыкальные произведения, которым иначе трудно было бы вообще пробраться на сцены немецких театров. Так, например, в Веймаре была поставлена опера Берлиоза «*Бенvenuto Челлини*», имевшая для веймарцев особый интерес благодаря главному герою, которого изобразил и Гете. Особенно же увлекался Лист музыкой Вагнера, которого и пропагандировал, не щадя сил, и постановкой его опер на сцене веймарского театра, и журнальными статьями. Он даже издал на французском языке целое сочинение о двух операх Вагнера «*Тангейзер*» и «*Лоэнгрин*». Лист называл Вагнера первым из современных композиторов, с чем я, руководствуясь непосредственным чувством, не могу согласиться. Мне кажется, что вся его музыка — продукт одного ума, я восхищаюсь в «*Тангейзере*» бесподобными речитативами, особенно в рассказе героя о его пилигримстве в Рим, я признаю грандиозность его музыкальных картин, но мне недостает в них цветка музыкального искусства — мелодии! Вагнер сам писал либретто для своих опер и как поэт-либреттист занимает очень высокое место, в его операх большое разнообразие сцен и положений. Самая же музыка его хлынула на меня в первый раз, как я слышал ее, словно какое-то море звуков, и я совершенно изнемог под его волнами и физически, и душевно. Поздно вечером по окончании оперы «*Лоэнгрин*» Лист — весь огонь и вдохновение — вошел ко мне в ложу, где я сидел усталый и подавленный, и спросил: «Ну что скажете теперь!» Я ответил: «Я чуть жив!» «*Лоэнгрин*» показался мне могучим, шумящим деревом без цветов и плодов. Надеюсь, меня поймут, как следует: мое суждение о музыке имеет ведь очень мало значения; я только требую от музыки, равно как и от поэзии, трех вещей: ума, фантазии и чувства, а это последнее сказывается в мелодии! Я вижу в Вагнере выдающегося современного композитора, великого своим умом и волей, мощного сокрушителя старой рутины, но мне кажется, что ему недостает той искры божественного огня, который вдохновлял Моцарта и Бетховена. Многие знатоки музыки держатся насчет Вагнера мнения Листа, и публика кое-где примыкает к ним. В Лейпциге Вагнер имеет теперь успех, но не то было раньше. Несколько лет тому назад я присутствовал на концерте в «*Gewandthaus*», после других музыкальных номеров, награжденных аплодисментами, была исполнена и увертюра к «*Тангейзеру*». Я слышал ее в первый раз, так же как и самое имя Вагнера, меня поразила грандиозность рисуемых композитором музыкальных картин и я принялся горячо аплодировать, но меня не поддержал почти никто. На меня смотрели, начали даже шикать, но я остался верен своему впечатлению и продолжал хлопать и кричать «браво!», хотя от внутреннего смущения весь покраснел даже. Теперь, напротив, все аплодировали «*Тангейзеру*» Вагнера. Я рассказал об этом случае Листу, и он, и все его музыкальные сторонники наградили меня громким «браво!» за то, что я последовал тогда влечению моего непосредственного чувства.

Из Веймара я отправился в Нюрнберг. Вдоль полотна железной дороги протянута телеграфная проволока! Я истинный датчанин, и сердце мое радостно забилося от гордости за свое отечество. Я услышал, как один отец, ехавший со мною в вагоне, сказал сыну, указывая на телеграфную проволоку: «Это открытие датчанина Эрстеда!» Я был счастлив, что принадлежу к одному с ним народу!

В сказке «Под ивой» я описал Нюрнберг, этот чудный старинный город, а поездка моя через Швейцарию и Альпы послужила фоном для нее. В Мюнхене я не был с 1840 года. Я сравнил этот город в «Базаре поэта» с розовым кустом, ежегодно пускавшим новые побеги, причем каждая новая ветвь являлась новой улицей, каждый лепесток дворцом, церковью или памятником — пока наконец не стал целым деревом, в полном расцвете пышной красоты! Один из прекраснейших цветов — «Базилика», другой — Бавария. Так же выразился я, отвечая на вопрос царствовавшего тогда короля Людвига: какое впечатление произвел на меня Мюнхен? «Дания лишилась великого художника, а я друга!» — сказал он, наводя разговор на Торвальдсена.

Мюнхен для меня интереснейший из германских городов, расцветом своим он главным образом обязан королю Людвигу. Здешний театр также находится в цветущем состоянии. Во главе его стоит энергичнейший и преданнейший своему делу человек, поэт Дингельштедт. Он ежегодно посещает все главнейшие театры Германии и высматривает новые выдающиеся таланты, бывает в Париже и изучает репертуары современных театров и требования публики. Скоро репертуар Мюнхенского королевского театра станет поистине образцовым. Дингельштедт обращает также особенное внимание на постановку, которая всегда строго соответствует действительности, не то что у нас в Дании! У нас в опере «Дочь полка», действие которой происходит в Тироле, видишь декорации с пальмами и кактусами; в «Норме» одно действие происходит в греческом жилище Сократа, а другое в пальмовой хижине Робинзона; на передней декорации зачастую изображен солнечный день, а на заднем плане видно с балкона звездное небо! То есть ни смысла, ни желания осмыслить дело! Да и кому охота входить в такие мелочи, если о них не спрашивает ни одна газета! Репертуар мюнхенского театра очень разнообразен, во всем видна горячность, любовь к делу, стремление ознакомиться с выдающимися новинками даже иностранного репертуара. Дингельштедт состоит в постоянных сношениях со всеми мало-мальски выдающимися писателями. Я тоже получил от него в Копенгагене весьма лестное письмо, в котором он просил меня ознакомить его с положением датского главным образом национального репертуара и сообщал, что ныне царствующий король Макс знаком с моими произведениями и очень интересуется мною. Прибыв на этот раз в Мюнхен, я и посетил первым делом Дингельштедта. Он немедленно отвел в мое распоряжение на все время моего пребывания в

городе одну из лучших лож в королевском театре, а также сообщил о моем приезде королю Максу, и я на другой же день получил от короля приглашение к обеду в загородный дворец Старнберг. За мной приехал тайный советник фон Дённигес; экипаж помчался с быстротою поезда, и мы еще до назначенного часа прибыли в маленький замок, живописно расположенный на берегу озера, окаймленного Альпами. Король Макс, еще молодой человек, принял меня в высшей степени приветливо и сказал, между прочим, что особенное впечатление произвели на него из моих произведений *«Импровизатор»*, *«Базар поэта»*, *«Русалочка»* и *«Райский сад»*. Говорил он и о других датских писателях, о произведениях Эленшлегера и Эрстеда и с большой похвалой отзывался о душевной свежести, характеризующей искусство и науку моей родины. От фон Дённигеса, путешествовавшего по северу, он знал также о красоте Зунда и наших буковых лесов, и о сокровищах нашего музея северных древностей.

За обедом король почтил меня тостом за мою музу, а после обеда пригласил меня прокатиться в лодке. Погода была серая и ветреная. У берега дожидалась нас большая крытая лодка, разодетые гребцы отдали королю честь веслами, и скоро мы стрелой полетели по глади озера. Во время катания я прочел вслух сказку *«Безобразный утенок»*, потом завязалась оживленная беседа о поэзии и природе, и мы незаметно достигли острова, где по приказанию короля строилась прекрасная вилла. Свита держалась поодаль, а меня король пригласил занять место на скамье рядом с ним.

Он заговорил о моих произведениях, о всем дарованном мне Богом, о судьбе человеческой и в заключение высказал мысль, что единственное утешение человека — в близости к Творцу. Неподалеку от нас рос куст бузины весь в цвету, и он навел нас на разговор о датской дриаде, живущей в бузине, и о моей сказке *«Бузинная матушка»*. Я рассказал о своей драматической обработке того же мифа и, когда мы проходили мимо дерева, попросил позволения сорвать на память веточку. Король сам сломал одну и подал мне, я храню ее в числе других дорогих воспоминаний, она рассказывает мне о том вечере.

«Ах, если бы выглянуло солнце! — сказал король. — Вы бы посмотрели, как хороши тогда горы!» «Мне всегда везет! — воскликнул я. — Наверное, проглянет!» И в ту же минуту солнце действительно выглянуло из облаков, и Альпы озарились чудным розовым сиянием. На обратном пути я прочел в лодке сказки *«Мать»*, *«Лен»* и *«Штопальная игла»*.

Вечер был чудный, поверхность озера сияла, как зеркальная, на горизонте синели горы, а снежные вершины их алели пламенем — чисто, как в сказке!

Около полуночи я был в Мюнхене. В *«Allgemeine Zeitung»* появилось очень милое описание этого посещения под заглавием «Король Макс и датский поэт».

На железнодорожной станции между Фрейбургом и Гейдельбергом пришлось мне быть свидетелем потрясающей сцены. Толпа переселенцев в Америку, и молодых и старых, садилась в вагоны, а остающиеся на месте родные с отчаянием прощались с ними, рыдали и вопили. Одна старуха так вцепилась в двери вагона, что ее еле оторвали. Поезд тронулся, а она грянулась оземь. Скоро мы умчались от этих воплей, сливавшихся с громким «ура». Для отъезжающего смена впечатлений смягчает горе, а тем, кто остается, все окружающее только напоминает об уехавших и растравляет сердечные раны.

В конце июля я опять уже был в Копенгагене. Вскоре я удостоился приглашения от вдовствующей королевы Каролины-Амалии погостить у нее в Соргенфри, и за время моего пребывания там еще лучше оценил сердечную доброту и благородство испытанной горем королевы.

Я написал для «Казино» фантастическую пьесу *«Бузинная матушка»*, и Ланге, и актеры возлагали на нее большие надежды. Действительно, она имела большой успех, но все же дело не обошлось и без шиканья. Я, впрочем, уже привык к такому явлению, которым сопровождалось теперь представление каждой новой пьесы. Гейберг же и Ингеман прислали мне по поводу упомянутой пьесы сердечные и лестные письма, очень тепло отозвался о ней также пастор Бойе; *«Бузинная матушка»* и была, кажется, единственной виденной им на сцене «Казино» пьесой. Но газетная критика не замедлила охладить интерес публики к моей новой пьесе, и я окончательно пришел к тому убеждению, что большинство моих земляков не особенно чутко к фантастическому элементу, недолюбливает заноситься высоко, предпочитая держаться земли и питаться простыми драматическими блюдами, состряпанными по книжке. Ланге, однако, продолжал ставить пьесу, и мало-помалу с ней освоились, стали лучше понимать идею, и под конец она стала вызывать единодушные одобрения. На одном из представлений случилось мне сидеть позади какого-то старого, почтенного провинциала. Во время первого же действия пьесы сосед мой повернулся ко мне и сказал: «Да тут чертовщина какая-то! Ничего не разберешь!» «Да, оно трудновато! — ответил я. — Но потом пойдет понятнее! Тут будет и цирюльня, где стригут и бреют, и влюбленная парочка!» «Ага! Вот оно что!» — успокоился он. Под конец пьеса, видно, очень понравилась ему, или, может быть, он узнал, что я автор, только он обратился ко мне уже с таким уверением: «Славная пьеса и — очень понятная! Это только начало трудновато, пока разберешься в нем».

В королевском же театре была поставлена в феврале 1863 года моя пьеса *«Водяной дух»*. Композитор Глезер написал к ней музыку, богатую мелодиями чисто норвежского характера, и пьеса имела успех.

На Троице я оставил Копенгаген и отправился пожить на лоне лесной природы в Сорё у Ингемана. Сюда влекло меня мое сердце каждое лето еще с того времени, когда я жил школьником в Слагельсэ. И ничто здесь, включая и расположение ко мне моих хозяев, не изменилось с той поры! Дикий лебедь, как далеко ни залетает, постоянно возвращается к старому, излюбленному местечку на лесном озере.

Ингеман известен как самый популярный в народе датский поэт, его романы, на которые критики яростно набрасывались, не стареют с годами и постоянно читаются. Они находят себе читателей всюду и среди низших, и среди высших классов северных народов. Датский крестьянин научился из них любить свое отечество и уважать его историю. Все романы Ингемана проникнуты глубоким, серьезным чувством, даже наименее популярные из них; назову для примера *«Немую девушку»*. Читая его, тоже как будто прислушиваешься к шелесту могучего дерева поэзии, шелестящего нам о тех же событиях, которые мы сами пережили и о которых наши внуки услышат из уст стариков. Кроме того, Ингеман обладал юмором и вечно юным сердцем истинного поэта! Большое счастье познакомиться с таким человеком и еще большее — обрести в нем верного, испытанного друга!

Начало весны в этот год было дивно прекрасно — меня встретили в Сорё зеленый лес и пение соловьев, но скоро роскошь природы потеряла для меня всякую прелесть. Настали скорбные, мрачные дни — в Копенгагене разразилась холерная эпидемия. Меня уже не было тогда в Зеландии, но я получал вести об ужасах эпидемии и о ее жертвах. Одной из первых жертв был пастор Бойе, я был в несказанном горе: в последние годы мы так сблизились, я так полюбил его.

Но самым горестным, несчастнейшим днем был для меня в эту тяжелую пору день, который я именно предполагал провести в радости и веселье. Я гостил в Глорупе, и граф Мольтке-Витфельд собирался праздновать свою серебряную свадьбу. Из посторонних на этот праздник был приглашен один я — еще за год до того. На торжество собрались что-то до тысячи шестисот окрестных крестьян, начались танцы, веселье... Гремела музыка, развевались флаги, взлетали ракеты, а я в самый разгар праздника получил известие о смерти еще двух друзей. И на этот раз ангел смерти посетил тот дом, что был для меня роднее родного, дом Коллина! «Все мы, — говорилось в письме, — переехали в другое место, но Бог знает, что будет с нами завтра!» И мне показалось, будто я скоро лишусь всех, к кому было привязано мое сердце... Я горько плакал у себя в комнате, а кругом весело гремела музыка, слышался топот танцующих, крики «ура!», треск ракет... Сил не было вынести все это! Ежедневно получались новые скорбные вести; холера свирепствовала и в Свендборге, и мой доктор, и все друзья мои советовали мне оставаться в провинции. В Зеландии у меня немало было друзей, радушно предлагавших мне свое гостеприимство.

Большую часть лета я провел в Силькеборге у Михаила Дреусена. Но несмотря на самое сердечное гостеприимство, которым я там пользовался, несмотря на всю прелесть окружавшей меня природы, я находился в самом угнетенном состоянии. Больше всего мучила меня неизвестность относительно судьбы дорогих мне лиц. И как только эпидемия несколько стихла, я поспешил опять вернуться к своим друзьям в Копенгаген.

Весной, еще до начала эпидемии, умер мой датский издатель Рейцель. Деловые отношения между нами перешли с годами в тесную дружбу. Незадолго до смерти он решил предпринять дешевое издание собрания моих сочинений. В Германии такое собрание вышло уже лет семь тому назад; к нему-то и была приложена «*Das Märchen meines Lebens*». Несмотря на то, что она представляла в сущности лишь набросок «Сказки моей жизни», она возбудила за границей большой интерес, и в «*Magasin für die Literatur des Auslandes*» появился о ней весьма сочувственный отзыв, в котором очерк мой ставился на ряду с «*Wahrheit und Dichtung*» Гете, «Исповедью» Руссо и «Жизнью» Юнга Штилинга. В Англии и Америке «*Das Märchen meines Lebens*» была принята так же сочувственно. Теперь же мне выпало на долю счастье издать собрание моих сочинений и на родном языке, притом в такие годы, когда я еще сохранил свежесть и бодрость духа. Для меня это было тем важнее, что я мог сам привести все в порядок и выбросить кое-какие засохшие ветви; биография же моя могла дать всем моим трудам надлежащее освещение. При этом я не захотел удовольствоваться перепечаткой очерка, изготовленного мной для немецкого издания, а написал мою биографию заново, под свежим впечатлением пережитого. Я надеялся, что краткие характеристики множества выдающихся личностей, с которыми мне приходилось сталкиваться, и описание впечатлений, вынесенных мною из жизни и окружающей меня обстановки, могут представить для потомства некоторый исторический интерес, равно как простое безыскусственное повествование о вынесенных мною испытаниях может послужить источником утешения и ободрения для молодых, еще борющихся сил.

Осенью 1853 года я приступил к работе. В октябре этого же года как раз минуло 25 лет с того времени, как я сдал университетский экзамен. В последние годы вошло в обычай праздновать такие — если можно так выразиться — серебряные студенческие свадьбы. Интереснее всего в этом торжестве показалась мне встреча со многими старыми товарищами, с которыми давным-давно не приходилось встречаться. Некоторые растолстели до неузнаваемости, другие состарились и поседели, но глаза у всех горели в эту минуту прежним юношеским блеском. Эта встреча была для меня букетом всего торжества. В числе тостов был провозглашен профессором Клаусеном общий тост за Паллудана-Мюллера и меня, «за двух поэтов одного выпуска, которые успели занять прочные и почетные места в датской литературе».

Несколько дней спустя, мне доставили следующий печатный циркуляр: «Среди студентов 1828 года, бывших на торжестве 22 октября, возникла мысль достойно увековечить память об этом дне. После некоторого обсуждения решили, вспомнив «четырех великих и двенадцать маленьких поэтов того года¹, основать капитал имени «Андерсена — Паллудана-Мюллера», из которого впоследствии, когда он благодаря ежегодным взносам достигнет известных размеров, будет выдаваться стипендия нуждающемуся датскому поэту, не находящемуся на службе».

Что из всего этого выйдет, покажет будущее, мне же дорого уже самое внимание, которое оказали мне этим мои однокашники.

В начале следующего года я отправился за границу, намереваясь провести весну в Вене, Триесте и Венеции.

В дорогом Максене цвели вишни; Кенигштейн, Лилиенштейн и все эти горы в миниатюре так и манили к себе; казалось, что со времени моего последнего пребывания здесь прошла лишь одна долгая зимняя ночь, во время которой меня, однако, мучил кошмар — холера. На крыльях пара пронеслись мы через горы, долины, вот уже и башни Св. Стефана! В Вене мне предстояло снова после многих лет встретиться с Дженни Линд-Гольдшмит. Муж ее, которого я видел здесь впервые, отнесся ко мне в высшей степени сердечно, а их славный крепыш-сыночек любопытно таращил на меня свои большие глаза. Я опять услышал ее пение. Та же душа, тот же дивный каскад звуков! Песенка Таубера «Ich muss nun einmal singen, ich weiss nicht warum» просто создана для ее уст, из которых льются такие ликующие трели, каких не услышишь ни от соловья, ни от дрозда. Для этого нужна еще вдохновенная детская душа; так может петь одна Дженни Гольдшмит! С особенной силой проявляется ее талант в драматическом пении, но отныне мы будем слышать ее только в концертном зале: она покинула сцену. Это просто грех! Это с ее стороны измена своей миссии, возложенной на нее Богом.

Со смешанным чувством печали и радости понесся я в Иллирию, в страну, где разыгрываются многие из бессмертных драматических сцен Шекспира, где его Виола находит свое счастье.

Тут при солнечном закате мне неожиданно представилось необычайно красивое зрелище: с вершины высокой скалы открывался вид на расстилавшееся внизу, озаренное красным светом Адриатическое море. Триест же при этом освещении казался еще мрачнее; газовые рожки уличных фонарей только что зажглись, и улицы мерцали огненными контурами. Созерцающему это зрелище сверху кажется, что он сидит в гондоле медленно спускающегося воздушного шара: сияющее море, мерцающие улицы — все это, мелькающее в течение нескольких минут, неизгладимо врезывается в память.

¹ См. стр. 67 этого же тома.

Из Триеста пароход в какие-нибудь шесть часов доставляет вас в Венецию.

«Печальные обломки корабля, носящиеся по волнам» — вот впечатление, вынесенное мною из первого посещения Венеции в 1833 году. Теперь я прибыл сюда во второй раз; качка на Адриатическом море совсем измучила меня; попав же в Венецию, я как будто не высадился на берег, а только с маленького судна пересел на большое. Единственно, что примирило меня с Венецией — железная дорога, соединяющая молчаливый, мертвый город с живым материком.

Венеция при лунном свете — бесспорно красивое зрелище, какой-то причудливый сон! Гондолы скользят между высокими палаццо, отражающимися в воде, беззвучно словно челноки Харона. Днем же здесь некрасиво: вода в каналах мутная, засоренная кочерыжками, листьями салата и всякой всячиной, из трещин домов выглядывают водяные крысы, солнце так и печет...

С радостью унесся я на крыльях пара от этой сырой могилы. На материке, точно развешанные гирлянды по поводу какого-нибудь торжества, всюду красовались виноградные лозы. Темный кипарис указывал своим перстом на синее небо; путь наш лежал в Верону. На ступеньках амфитеатра сидели на солнцепеке несколько сот зрителей, занявших не Бог весть какое пространство этого исполинского амфитеатра. Они смотрели на представление, разыгрываемое на наскоро сооруженных здесь подмостках. Размалеванные кулисы при ярком солнечном свете так и резали глаз, оркестр играл какую-то польку, все носило отпечаток пародии, чего-то бесконечно современно жалкого, разыгрываемого среди этих остатков исчезнувшей римской древности.

Во время моего первого пребывания в Венеции я был укушен скорпионом в руку, теперь в соседнем городе Вероне я опять подвергся нападению этого насекомого, укусившего меня в шею и в щеку. Укушенные места вспухли, горели, я очень страдал, и вот в таком-то положении пришлось мне увидеть озеро Гарда, романтический уголок Рива с его плодородной виноградной долиной! Боль и лихорадка гнали меня вперед. Ехали мы ночью, при ярком свете луны, и такой романтически живописной дорогой, какой я ни разу еще не видывал прежде. Даже Сальватор Роза не мог изобразить нам на холсте ничего подобного. Вспоминаю о ней, как о дивном сне полной страданий ночи.

Через Триент, Бреннер и Инсбрук добрались мы наконец до Мюнхена. Тут я нашел и друзей, и заботливый уход. Лейб-медик короля, старик Гитль, не знал, как и заботиться обо мне, и, промучившись порядком две недели, я, наконец, настолько поправился, что мог воспользоваться приглашением короля Макса приехать к нему в замок Гогеншвангау, где он и супруга его проводили лето.

Можно было бы написать сказку об эльфе альпийской розы, который, пролетая по расписным залам Гогеншвангау, видит там прелести, превосходящие даже красоту его цветка. «Гогеншвангау — прекраснейшая альпийская роза, и пусть он навсегда останется цветком счастья!» — вот что я написал здесь в одном альбоме. Я провел здесь несколько прекрасных, счастливых дней. Король Макс принял меня просто как дорогого гостя. Благородный, высокоинтеллигентный король выказал мне столько милостивого участия, что я чувствовал себя как нельзя лучше. Он сам представил меня королеве, урожденной принцессе Прусской, редкой красавице и необычайно женственной. В первый же день, после обеда, король пригласил меня сесть с ним в маленькую открытую коляску, и мы совершили прелестную прогулку в самый австрийский Тироль. На этот раз я был избавлен от докучливых визировок паспорта, остановок не было, напротив, все встречные экипажи останавливались и давали нам проехать. Прогулка наша по этим удивительно красивым, живописным местам продолжалась несколько часов, и король все время с самым сердечным участием беседовал со мною о «*Das Märchen meines Lebens*», которую он недавно прочел. Я в свою очередь сказал королю, что жизнь моя в самом деле часто кажется мне богатой самыми удивительными, разнообразными приключениями сказкой. То я сидел бедным, одиноким сиротой, то был желанным гостем в богатейших домах, то надо мною глумились, то меня чествовали, да и настоящая минута, когда я, сидя рядом с королем, ношусь по освещенным солнцем Альпам, является сказочной главой в истории моей жизни!

Затем разговор перешел на новейшую скандинавскую литературу, и я обратил внимание короля на то, как поэты — Мунх в «Саломоне де Ко» и Гаух в «Роберте Фултоне» и «Тихо Браге» выдвинули этих передовых людей своих эпох. Все речи короля дышали глубоким умом, чувством и истинным благочестием, и эта беседа останется для меня незабвенной.

Вечером я читал милой королевской чете сказки «Под ивой» и «Истинная правда». Вместе с фон Дённигесом я восходил на одну из ближайших гор, откуда открывался вид на окружающую величественную природу. Время пронеслось чересчур быстро! С чувством умиления и благодарности простился я с милой королевской четой и Гогеншвангау, где — как мне сказали при прощании — я всегда буду желанным гостем. Я увез с собой огромный букет из альпийских роз и незабудок.

Из Мюнхена я отправился домой через Веймар. Карл-Александр только что вступил на престол, и я поехал к нему в замок «*Wilhelmsthal*», находившийся близ Эйзенаха. Здесь я провел в обществе дорогого князя, среди прекрасной природы, в самом сердце тюрингенского леса несколько бесконечно счастливых дней.

Скоро затем я опять был на родине и усердно занялся изданием собрания моих сочинений. Кроме того, была у меня еще и другая работа.

Летом я видел в венском Бург-театре народную комедию Мозенталя «*Der Sonnwendhof*», она мне очень понравилась, и я указал на нее Гейбергу, но он выказал полное равнодушие; тогда я обратился к Ланге, этот сразу заинтересовался и попросил меня переделать ее для «Казино». Через Дингельштедта я получил от автора и пьесу, и разрешение на переделку ее. Она была поставлена под заглавием «*Деревенские истории*» и имела большой и продолжительный успех.

«Сказки» мои, с прекрасными иллюстрациями В. Педерсена, составили нечто вполне законченное целое, все же вновь написанные я издал под общим заглавием «Историй»¹. Несколько выпусков их, появившихся в английском переводе под заглавием «*A poet's day dreams*» (Сны поэта наяву) были встречены в «*The Athenaeum*» (1853 г.) чрезвычайно теплым отзывом, заканчивавшимся так: «По оригинальности, юмору и искренности чувства рассказы А. являются единственными в своем роде. Кто желает убедиться в этом, пусть прочтет «*Пропащую*», «*Сердечное горе*», «*Под ивою*» и «*Истинную правду*». И если они кому покажутся «пустячками», пусть тот сам попытается создать что-нибудь до такой степени совершенное, изящное и грациозное. Конечно, сюжет их в большинстве случаев очень не значителен и обыкновенен, но это не мешает этим «пустячкам» являться истинно художественными произведениями, и как таковые они заслуживают искреннего приветствия со стороны каждого, кому дорого истинное искусство».

Как раз на этих днях, когда мне исполнится пятьдесят лет и когда вышло в свет собрание моих сочинений, в «Датском ежемесячнике» появилась статья о них г-на Гримура Томсена. Глубина мысли и искренность чувства, проявленные этим писателем в его книге о Байроне, характеризуют и эту статью. Видно, Господу Богу так было угодно, чтобы теперь, когда я кончаю эту, пока последнюю, главу из «Сказки моей жизни», сбылись сказанные мне в дни тяжелых испытаний утешительные слова Эрстеда! Родина тоже преподнесла мне богатый букет признания и поощрения!

Г-н Гримур Томсен затрагивает в своей статье как раз те струны, которые лучше всего гармонируют с основным смыслом моих сказок, этого главного рода моего творчества. И вряд ли можно объяснить только случайностью то совпадение, что автор, выясняя сущность и значение этих произведений, берет примеры все из «Историй», то есть из последних моих произведений. «А. держит в своих рассказах веселый суд над кажущимся и действительным, над внешней оболочкой и внутренним ядром. В них заметно двойное течение: ироническое верхнее, которое играет в лапту с высшим и низшим, и глубокое, серьезное нижнее, которое справедливо и правдиво ставит все на свое место. Вот истинно христианский юмор!» Здесь ясно выражено именно то, что я всегда стремился высказать.

¹ См. примечания автора к полному собранию сказок и рассказов т. II, стр. 478.

Сказка моей жизни развернулась теперь передо мною — богатая, прекрасная, утешительная! Даже зло вело к благу, горе к радости, и в целом она является полной глубоких мыслей поэмой, какой я никогда не был в силах создать сам. Да, правда, что я родился под счастливой звездой! Сколько лучших, благороднейших людей моего времени ласкали меня и открывали мне свою душу! Моя вера в людей редко была обманута! Даже тяжелые, горестные дни имели в себе зародыши блага! И все перенесенные мною, как мне казалось, несправедливости, каждая протягивавшаяся мне — часто нежелательно суровая — рука помощи в конце концов все-таки вела к благу!

По мере того как мы приближаемся к Богу, все печальное и горестное испаряется; остается лишь одно прекрасное; оно словно радуга сияет на темном небосклоне. Пусть же люди, прочтя сказку моей жизни, отнесутся ко мне снисходительно, как и я отношусь к другим, — да так, наверное, и будет!

Такие признания имеют в глазах всех добрых и благомыслящих людей нечто напоминающее таинство исповеди. Спокойно отдаю я себя на суд людей. Вот сказка моей жизни! Рассказал я ее здесь откровенно и чистосердечно, как бы в кружке близких друзей.

Г. Х. АНДЕРСЕН

Копенгаген, 2 апреля 1855 года.





ПРИБАВЛЕНИЕ К «СКАЗКЕ МОЕЙ ЖИЗНИ»¹

1855—1857 годы

В датское издание собрания моих сочинений вошла и «Сказка моей жизни», заканчивающаяся днем моего рождения, 2 апреля 1855 года. С тех пор прошло четырнадцать лет, богатых событиями, радостями и горестями. Все, что имею сказать о них, я рассказал в предисловии к новому изданию собрания моих сочинений на английском языке, вышедшему в Нью-Йорке. Сидя у себя дома в Копенгагене, я рассказал о последних годах моей жизни друзьям своим, живущим по ту сторону океана, рассказал как бы в родном кружке близких, дорогих лиц. Пусть теперь и здесь примут мой рассказ так же благосклонно, как там, пусть судят о нем так же снисходительно и согласятся, что не тщеславие руководит мною, когда я называю себя «баловнем счастья», но искреннее и смиренное удивление — за что Господь осыпал столькими милостями именно меня?!

Куда легче, однако, писать о днях юности, нежели рассказывать о недавних событиях зрелых лет жизни. К старости большинство людей становится дальнзоркими, лучше видит предметы вдаль; то же самое происходит и с духовным взором людей, с памятью. Не совсем-то легко также сохранить в памяти все картины в том именно порядке, в каком они следовали в действительности, но и в этом отношении мне посчастливилось. По смерти Ингемана, вдова его вернула мне все мои письма к нему, писанные в течение долгого периода времени, начиная еще с той

¹ Прибавление это издано в 1877 году, то есть два года спустя после смерти Андерсена, Ионасом Коллином, сыном друга Андерсена Эдварда Коллина и внуком «отца и благодетеля» Андерсена Ионаса Коллина. В предисловии издатель объясняет, что прибавление к «Сказке моей жизни» взято из рукописи, подаренной автором за несколько лет до своей смерти отцу издателя Э. Коллину. Андерсен намеревался несколько разработать и дополнить ее, но болезнь, унесшая его в могилу, настолько надломилась его силы, что он не мог предпринять задуманной работы. — Примечания издателя приводятся нами под буквами И. К. — Примеч. перев.

поры, когда я сидел на школьной скамье. Благодаря этим-то письмам, а также кое-каким отдельным записям, я и могу теперь составить связное повествование о последних годах моей жизни, начиная со 2 апреля 1855 года, дня, которым заканчивается «Сказка моей жизни».

Начну с Ингемана и его жены, «старичков с Лесного озера», как он написал на присланном мне фотографическом снимке с его дома в Сорё.

Ни разу не мог я проехать мимо этого дома, чтобы не заехать к милым старичкам и не погостить у них. И весной 1855 года первый мой полет был к ним, в тот дом, где и я, и всякий, кто бывал здесь, как будто становился лучше, добрее. Престарелую чету соединяло глубокое, нежное чувство. Супружеское счастье их воскрешало перед вами идиллическую чету — Филемона и Бавкиду. Тихо, мирно текла их семейная жизнь. Ингеман, кажется, никогда не созывал гостей, люди приходили к нему сами, и часто собиралось целое общество, но это не производило в домашнем хозяйстве никакой суматохи, никакой суеты: стол накрывался под шумок беседы словно сам собою или услужливыми эльфами-невидимками. Душою беседы бывал обыкновенно сам Ингеман. Особенно любил он рассказывать разные истории о привидениях, и рассказывал всегда с самой лукавой миной, сразу выдававшей их моментальное возникновение. Часто он без всякого злого умысла вплетал в эти истории и действительных лиц. Пустой же болтовни о злобе дня и сплетен он сильно недолюбливал, злых, безжалостных критиков тоже крепко не жаловал. Они-таки и насолили ему по поводу двух из его романов, пользовавшихся особенным успехом в публике. Оба мы знали критику по опыту, и раз как-то, когда у нас зашел разговор о ней, Ингеман рассказал мне презабавную историю, полную утешительной морали для нас обоих.

У садовника академического сада, славного старика Ниссена была особая вежливая поговорка: «Так, так! Спасибо вам!» Но, отвечая так на все замечания и возражения, он своего мнения, однако, не менял и делал все по-своему. «Знаете, — рассказывал Ингеман, — откуда он взял эту поговорку? О, это целая история! Еще в самом начале своей службы Ниссену приходилось выслушивать массу вздорных замечаний. Один говорил, что надо делать так, другой, что — вот так, а он принимал все эти речи к сердцу и портил себе кровь. Вдруг раз и встречается он в саду серенького человечка в красной шапочке, и тот его спрашивает — кто он? «Я Ниссен!» — отвечает садовник. «Ниссен? — переспрашивает человечек. — Да, ты зовешь себя так, но настоящий-то «ниссен»¹ я! Я домовый, состоящий при академии! Но что ты ходишь, нос повеся?» — «Да вот, что я ни делаю, все неладно! Один поет мне одно, другой —

¹ «Ниссен» — дух, играющий в датской мифологии роль нашего домового. — Примеч. перев.

другое, никак не угодишь на людей! Вот это-то меня и мучит!» «Постой, я тебе помогу! — сказал домовый. — Но ты должен за это служить мне неделю! Живу я за озером, там у меня есть сад, так вот и походи за ним. Только смотри, там много разных диковинных зверей в клетках: обезьян, попугаев и какаду. Крик они подымут убийственный, но не укусят». «Ладно!» — сказал Ниссен, пошел за домовым и целую неделю ухаживал за его садом. Звери кричали все время на разные голоса. Неделя пришла к концу, и домовый спросил садовника: как же это он такой веселый и довольный, разве эти крикуны не досаждали ему? «Ну, их-то крик я в одно ухо впускаю, а в другое выпускаю. Они все бранят меня, хулят все, что я ни сделаю, а я себе усмехнусь, кивну им да скажу: «Так, так! Спасибо вам!» — а потом делаю свое дело по-своему. Стоит обращать внимание на таких крикунов!» — «Так вот так же поступай и в своем саду, — делай свое дело!» И садовник последовал совету домового, снова стал весел и всем теперь говорит: «Так, так! Спасибо вам!» Не принять ли эту поговорку к сведению и нам?» — закончил Ингеман с лукавой усмешкой.

И таких историйк у него был неистощимый запас. Вообще же он был человек мягкий, снисходительный. Все в этом обиталище истинной поэзии дышало любовью к отечеству, ко всему доброму и прекрасному, и я всегда чувствовал себя здесь «желанным, дорогим гостем».

Быстро летели часы в обществе милых старичков у Лесного озера. Я от души наслаждался этой идиллической жизнью, но потом опять ощутил зуд в крыльях и улетел. В поместьях Баснэсе и Гольштейнборге меня всегда ожидало самое широкое гостеприимство, оттуда же я направился в Максен, где пышно росло мое деревцо. Следующее письмо мое к Ингеману дополнит картину этого путешествия и пребывания моего в Максене,

«Максен, 12 июля 1855 г.

Милейший Ингеман!

Вы помните из *«Сказки моей жизни»* мое деревцо в Максене, поместье ф. Серре. Поместье находится у границ Саксонской Швейцарии. Местоположение очень красивое. Деревцо мое растет прекрасно у самого обрыва. Со скамеечки, поставленной под деревом, я с высоты птичьего полета смотрю на лежащее внизу большое селение и луга, где лежит в стогах сено. Вдали видны голубые горы Богемии, а кругом меня все вишневые и каштановые деревья. Овцы ходят с колокольчиками на шеях, звон их переносит меня в Альпы. В усадьбе Серре старинный роскошный дом со сводчатыми коридорами и величественной башней. Г-жа Серре относится ко мне с необыкновенной сердечностью и вниманием. В этот гостеприимный дом постоянно наезжают разные знаменитости, известности и другие добрые люди; тут точно открытая для всех гостиница. Я здесь пользуюсь полной свободой, которую не везде можно сохранить,

если хочешь быть приятным гостем. Вот почему я и чувствую себя здесь особенно хорошо. Я в эту поездку больше, чем когда-либо, испытал, насколько я нуждаюсь, если не в семейной жизни, то все же в обществе людей, к которым привязан; поэтому-то меня все меньше и тянет в Италию. На родину я тоже вряд ли вернусь к зиме. Через неделю я отправлюсь в Мюнхен, а оттуда в Швейцарию, и уже заранее радуюсь возможности пожить среди альпийской природы. Дал бы только мне Бог здоровья и бодрости душевной, в чем я так нуждался во все время переезда сюда».

В Мюнхене меня уже ждало письмо от Ингемана, который сообщал мне, какое удовольствие доставила ему и другим моим друзьям только что вышедшая *«Сказка моей жизни»*. Оканчивалось письмо так: «Теперь Вы, конечно, уже простились с Вашим пышным деревцом в Максене и тамошними друзьями, но Вы ведь всюду, куда только залетала Ваша сказочная птичка, найдете свежее зеленое деревцо, которое даст Вам приют под своей сенью, и добрых друзей поблизости от него. Вы хотите сманить и меня пуститься на розыски таких деревьев и таких друзей, хотите, чтобы и я доверился плащу Фауста, или, вернее, чудовищу, на спине которого Данте и Виргилий пролетали через ад, но я для этого слишком стар и неповоротлив. К тому же теперь мимо нас, мимо нашего озера, с шумом и свистом пробегает сам мир, а если гора подходит к нам, то нам незачем, как Магомету, подходить к ней. Теперь следовало бы приделывать колеса к домам поэтов, чтобы им можно было укатить туда, где нет железных дорог. Всякому, впрочем, свое. Ваш же дом на хвосте дракона-паровоза».

Я, однако, застрял в Мюнхене на довольно продолжительное время. Никогда я не забуду приятных часов, проведенных мною у художника Каульбаха. У профессора Либиха слышал я чтение Гейбелем его собственной трагедии *«Брунгильда»*. Среди кружка избранных слушателей находилась и замечательная немецкая артистка г-жа Зебах, которая должна была исполнять роль героини в этой пьесе. Я видел ее в нескольких ролях, и ее игра доставила мне величайшее удовольствие. Мне хотелось указать выдающейся артистке на безобразную привычку публики вызывать по окончании трагедии убитую героиню. Видеть ее сейчас же улыбающейся и раскланивающейся — что может быть противнее? Следовало бы какой-нибудь талантливой артистке положить этому обычаю конец, не выходить, как бы восторженно ее ни вызывали. Я и сказал это г-же Зебах. Она согласилась со мною, и я попросил ее подать пример.

В следующий вечер шла драма *«Коварство и любовь»*, г-жа Зебах играла Луизу. Вот она приняла яд, и ее стали вызывать. Она не вышла. Я радовался. Вызовы все усиливались, она все крепилась, наконец крики и шум превратились в настоящую бурю, и она показалась. Так я ничего и не добился.

Путешествие для меня наслаждение, даже необходимость, и бережливость моя, и скромный образ жизни на родине не раз давали мне возможность удовлетворить это влечение. Но куда приятнее было бы — думалось мне, иметь побольше средств, чтобы можно было прихватить с собою друга! Впрочем, удалось мне раз-другой и это, несмотря на всю скромность моих средств. Я часто получал от коронованных особ подарки — драгоценные булавки и перстни, и вот эти-то драгоценности — да простят мне мои высокие друзья и порадуются со мною! — я отправлял к ювелиру, получал за них денежки и мог сказать какому-нибудь молодому другу, еще не видавшему мира Божьего: «Полетим вместе на месяц, на два, на сколько хватит деньжонок!» И светлые, сияющие радостью глаза моих юных спутников доставляли мне куда больше удовольствия, чем блеск дорогих камней в перстнях и булавках. На этот раз со мною ехал от Мюнхена Эдгар Коллин, и его живой интерес ко всему, его юношеская веселость и внимание ко мне скрасили мне всю поездку.

В Цюрихе проживал тогда в изгнании Вагнер. Я уже был знаком с его музыкой, о чем говорил раньше. Знал я его и, как человека, из горячих сочувственных рассказов о нем Листа. Я отправился к нему, и был принят очень радушно. Из произведений датских композиторов он знал лишь произведения Гаде и много говорил о музыкальном даровании последнего. Затем он упомянул о композициях для флейты Кулау, но об операх его не знал, Гартмана же знал только по имени. Я и постарался дать ему самые обстоятельные сведения о датском оперном и вообще музыкальном репертуаре. Вагнер слушал с большим вниманием. «Право, вы как будто рассказали мне целую сказку о музыке, приподняли передо мною занавес, скрывавший от меня мир музыки по ту сторону Эльбы!» — сказал он мне. Затем я рассказал ему и о шведском композиторе Бельмане, который, как и Вагнер, сам писал текст для своих музыкальных произведений, но как композитор являлся совершенной противоположностью Вагнеру. Вообще Вагнер произвел на меня впечатление гениальной натуры, какою он и был на самом деле.

На обратном пути домой я через Кассель проехал в Веймар, где, как и всегда, нашел тот же радушный прием при дворе. В театре как раз собирались ставить оперу Гартмана «*Liden Kirsten*» под названием «*Kleine Karin*». Опера была поставлена, и удостоилась самых лестных похвал знатоков музыки.

Осенью я опять вернулся в Копенгаген. Закончу эту главу отрывком из письма, посланного мною в последний вечер этого года другу моему Ингеману: «На дворе не зима, но осенняя слякоть, дождь и ветер. Улицы, верно, воображают себя на берегах Нила — увязают в такой же жидкой, жирной грязи. Мне поэтому сидится дома, и если это настроение продержится, я, может быть, кое-что и сделаю. Хотелось бы мне теперь, когда я кончил «Сказку моей жизни», начать новую жизнь чем-нибудь крупным,

что бы действительно стоило назвать «произведением». Дай Бог, чтобы я долго еще сохранял подобно Вам свежесть сил и любовь к труду!»

1856 г.

Ответ от Ингемана я получил на второй же день Нового года. «Как это мило с Вашей стороны протянуть руку своим друзьям в Сорё как раз в вечер под Новый год, так что Ваше дружеское пожатие дошло до нас в самый день Нового года. Вы верный, любящий друг, и мы ценим это».

Год этот не был для меня, однако, таким светлым и радостным, как мне того желал Ингеман.

Выдаются такие дни, в которые на вас как будто обрушиваются все беды разом, выдаются такие же и годы. Для меня таким был 1856 год. Каждая капля-день его была, казалось, полна крошечных, но злых инфузорий-неудач, обид и огорчений. Не стану разглядывать их под микроскопом, они и под ним окажутся только чем-то вроде мелких песчинок или насекомых; но известно ведь, попадет такая штучка в глаз и — мучит и жжет пока не вынешь ее, а тогда скажешь только: «Этакая безделица!»

Все мои мысли и желания были направлены на одно — создать что-нибудь действительно выдающееся. Я вовсе не был тем «благочестивым, мечтательным ребенком», каким называл меня Сибберн. Я пережил не один приступ борьбы с религиозными сомнениями; вера и знание часто сталкивались в тайниках моего сердца. Я и написал роман на эту тему, затрагивавший также эпоху недавно минувшей войны, «*Быть или не быть*». Приготовляясь писать его, я потратил много, слишком много и сил, и времени на приобретение разных сведений, перечел массу книг о материализме и посещал лекции о материализме профессора Эшрихта.

Летом я опять предпринял поездку в Максен, а осенью вернулся в Копенгаген и снова засел за «*Быть или не быть*», от которого ожидал себе много радости. Впоследствии, однако, выяснилось, что все, что являлось в этом романе результатом моих усидчивых научных занятий, имело гораздо меньше успеха, нежели все поэтическое, являвшееся непосредственным результатом дарованного мне Богом поэтического таланта.

1857 г.

Вдовствующая королева Каролина-Амалия была одной из первых, кому я прочел свой новый роман. Она, как и покойный царственный супруг ее, всегда относилась ко мне особенно милостиво. Я опять был приглашен провести несколько дней в прекрасном Соргенфри, приехал туда как раз

в начале весны, и деревья распустились уже при мне. Каждый вечер я прочитывал королеве вслух по несколько глав из моего романа, затрагивавшего тяжелые, но в то же время и возвышающие душу знаменательные события последней войны. Часто королева казалась глубоко растроганной, а когда дослушала роман до конца, выразила мне свое искреннее одобрение и признательность. Королева принадлежит к числу тех благородных, светлых личностей, которые невольно заставляют тебя забывать их высокий сан из-за их прекрасных личных качеств. Однажды вечером мы предприняли прогулку в экипажах вдоль берега. Я ехал во втором экипаже с двумя придворными дамами. Когда экипаж королевы поравнялся с местечком, где играла куча ребятишек, те узнали ее, выстроились в ряд и прокричали ей «ура!» Немного погодя подъехали и мы. «Это Андерсен!» — закричали малыши и тоже проводили меня дружным «ура!» По возвращении в замок, королева, улыбаясь, сказала мне: »Мы с вами, кажется, одинаково знакомы детям. Я слышала «ура!»

Прогуливаясь по улицам Копенгагена, я часто вижу в окнах приветливо кивающие мне детские головки. А раз я увидел на противоположной стороне улицы богато одетую даму с тремя мальчиками. Самый маленький вдруг вырвался от матери, перебежал через улицу ко мне и подал мне руку. Мать позвала его назад и сказала ему, как рассказывали мне после: «Как ты смеешь заговаривать с чужим господином!» А мальчик ответил: «Да это вовсе не чужой! Это Андерсен! Его все мальчики знают!»

Этой весной минуло ровно десять лет с тех пор, как я был в Англии. В этот промежуток времени Диккенс частенько радовал меня своими письмами, и теперь я решился принять его радушное приглашение.

Как я был счастлив! Это пребывание в гостях у Диккенса навсегда останется самым светлым событием в моей жизни. Через Голландию я проехал во Францию и из Кале переправился в Дувр. В Лондон я прибыл с утренним поездом и сейчас же поспешил на Северный вокзал, чтобы отправиться на станцию Хайгем. Высадившись здесь, я не нашел ни одного экипажа и потащился в Гадсхиль к Диккенсу пешком, сопровождаемый железнодорожным носильщиком с моим багажом. Диккенс встретил меня с сердечной радостью. На вид он стал чуть постарше, но это зависело отчасти от бороды, которую он отпустил себе. Глаза же блестели по-прежнему, на губах играла та же улыбка, голос был так же звучен и задушевен — стал даже, если возможно, еще задушевнее. Диккенс находился в самой лучшей своей поре — ему шел сорок пятый год, он был так моложав, так жив, так красноречив и полон юмора, согретого искренним чувством. Я не могу вернее охарактеризовать Диккенса, чем сделал это в одном из первых своих писем о нем на родину: «Возьмите из творений Диккенса все лучшее, создайте себе из этого образ человека, вот вам и Чарльз Диккенс!» И каким он показался мне в первые минуты нашей встречи, таким же остался он в моих глазах и до конца.



За несколько дней до моего приезда умер один из друзей Диккенса, драматург Дуглас Джеррольд, и, чтобы собрать в пользу вдовы несколько тысяч фунтов стерлингов, Диккенс, Бульвер, Теккерея и актер Макреди решили организовать серию публичных чтений и спектаклей.хлопоты по устройству того и другого часто заставляли Диккенса ездить в Лондон и проводить там по несколько дней. Я иногда сопровождал его и оставался с ним в его прекрасно устроенном зимнем доме. Вместе с Диккенсом и его семьей присутствовал я также на празднестве в честь Генделя в Хрустальном дворце. Удалось мне здесь впервые — также как и Диккенсу — увидеть и несравненную трагическую актрису Ристори в итальянской трагедии «Камма» и в роли леди Макбет. Особенно поразила она нас в последней роли. В ее исполнении была такая потрясающая психологическая правда — оно наводило ужас, но в то же время и не переступало границ изящного. Театральный директор Кин, сын знаменитого актера, ставил пьесы Шекспира с небывалой роскошью, я видел первое представление «Бури», которая была обставлена изумительно, даже до излишества роскошно. Смелое творение поэта каменело в этой обстановке, живые слова глухли, и духовная жажда зрителей не была насыщена, божественный нектар поэзии забывался ради драгоценного золотого сосуда, в котором его подносили. Творение Шекспира, художественно разыгранное хотя бы среди трех голых стен, могло бы доставить мне куда больше наслаждения, чем это представление, когда самое творение, оттесненное роскошной обстановкой, отступало на задний план.

Из спектаклей, данных в пользу вдовы Джеррольда, особенно светлое воспоминание оставило во мне представление романтической драмы Уилки Коллинза «*The frozen deer*», главные роли в которой исполняли сам автор и Диккенс.

В доме Диккенса часто давались драматические представления для кружка добрых друзей. Королева давно желала видеть такой спектакль, и, по ее воле, он и был устроен в маленьком театре «*The gallery of illustration*». Присутствовал, кроме королевы, принца Альберта, королевских детей, принца прусского и короля бельгийского, только небольшой кружок ближайших родственников участников спектакля. Из дома Диккенса были только его жена, теща да я.

Диккенс исполнил свою роль в драме с захватывающей правдой, обнаружив огромный драматический талант. Маленький фарс «*Two o'clock in the morning*» был необыкновенно увлекательно разыгран Диккенсом и издателем «Понча» Марком Лемоном, который впоследствии с большим успехом выступал в роли Фальстафа.

На даче у Диккенса познакомился я также с богатейшей женщиной Англии мисс Бурдет Кутс, о которой все отзывались как о благороднейшей личности, делавшей много добра. Она пригласила меня пого-

стить у нее в Лондоне. Я принял приглашение и провел в этом исполненном роскоши доме несколько дней, но лучше всего показалась мне в нем все-таки сама милая, в высшей степени женственная и любезная хозяйка его¹.

Как ни разнообразна и богата впечатлениями была для меня жизнь в Лондоне, я все-таки всегда с большой радостью возвращался в уютное летнее помещение Диккенса. Как славно чувствовал я себя в кругу семьи Диккенса! Я провел там счастливейшие часы в жизни, но выдавались среди них и неприятные, тяжелые минуты, вызванные известиями с родины. Особенно памятна мне теперь одна, приведшая меня в самое дурное настроение, критика на *«Быть или не быть»*. Но даже и эта неприятность явилась для меня источником радости, доставив мне случай лишний раз убедиться в сердечном расположении ко мне Диккенса. Узнав от членов своей семьи, что я расстроен, он пустил целый фейерверк острот и шуток, но так как это не совсем еще осветило мрачные углы моей души, то он заговорил со мною серьезно и своими задушевными, сердечными речами снова поднял мой дух, возбуждив во мне горячее желание сделаться достойным такого горячего признания моего дарования. Глядя в ласковые, сияющие глаза друга, я почувствовал, что должен благодарить «строгую критику», доставившего мне одну из лучших, прекраснейших минут в жизни.

Слишком скоро пролетели эти счастливые дни! Настал час разлуки. Прежде чем вернуться в Данию мне предстояло еще присутствовать на торжестве в честь величайших поэтов Германии: меня пригласили в Веймар на открытие памятников Гете, Шиллеру и Виланду.

Ранним утром Диккенс велел заложить лошадь в маленькую колясочку, сам сел за кучера и повез меня в Майдстон, откуда я по железной дороге должен был отправиться в Фалькстон. Еще раньше начертил он мне подробную карту и маршрут. Во время пути он вел оживленный, задушевный разговор, но я не мог вымолвить почти ни слова, удрученный мыслью о предстоящей разлуке. На вокзале мы обнялись, и я взглянул — может быть, в последний раз — в его полные жизни и чувства глаза! Я восхищался в нем писателем и любил человека! Еще одно рукопожатие и — он уехал, а меня умчал поезд. «Конец, конец!.. И всем историям бывает конец!»

¹ Из устных рассказов Андерсена об этом посещении припоминаю один факт, довольно ярко характеризующий как самого Андерсена, так и его гостеприимную хозяйку и ее прислугу. Андерсен привык спать на постели с очень высоким изголовьем. Постель в доме мисс Кутс оказалась постланной не по его вкусу; Андерсен желал, чтобы ее перестлали и, главное, прибавили подушек, но горничная и лакей мисс Кутс смотрели так неприступно, что Андерсен не решился попросить об этом их, а пошел к самой хозяйке. Объяснение Андерсена очень рассмешило ее, и она с помощью Андерсена собственноручно исправила его постель. — И. К.

Из Максена я послал Диккенсу письмо:

«Дорогой, бесценный друг!

Наконец-то, я могу написать Вам! Долго я собирался, слишком даже долго, но все это время Вы были у меня в памяти каждый час! Вы и Ваша семья составляете теперь как бы частицу моей души. И как же может быть иначе: годы любил я Вас, восхищался Вами, читая Ваши произведения, теперь же знаю Вас самого. Никто из Ваших друзей не может быть привязан к Вам искреннее, чем я. Последнее посещение Англии и пребывание у Вас навсегда останутся в моей памяти самым светлым пунктом моей жизни. Оттого-то я и пробыл у вас так долго, оттого так и тяжело мне было проститься с Вами. Я был так удручен во все время пути, что почти не мог даже отвечать Вам, я чуть не плакал. Вспоминая теперь о нашем прощании, я живо представляю себе, как тяжело Вам было, несколько дней спустя, проститься на целых семь лет с Вашим сыном Вальтером. Не могу выразить Вам, если бы даже писал теперь по-датски, как счастлив я был, гостя у вас в доме, и как я признателен Вам. Вы ежеминутно давали мне доказательства своего расположения ко мне и как друг, и как радушный хозяин. И будьте уверены, что я умею ценить это. Ваша жена также приняла меня очень сердечно, а ведь я был для нее совсем чужим. Я отлично понимаю, что для семьи ровно ничего не может быть приятного в том, что в ней вдруг ни с того, ни с сего поселится на несколько недель посторонний человек, да еще вдобавок так дурно говорящий по-английски, как я. Но как мало давали мне это почувствовать! Благодарю за это Вас всех! Бэби сказал мне в первый день по моем приезде: «I will put you out of the window!» (Я выкину вас за окно), но потом он говорил, что хочет «put» меня «in of the room!» (в комнату), и я отношу его слова ко всей семье... Я пишу это письмо рано утром. Право, я как будто сам приношу его Вам, вновь стою у вас в комнате в Гадсхиле и, как в первый день по приезде, люблюсь в окно цветущими розами и зелеными полями, вдыхаю запах кустов диких роз, доносящийся с лужайки, где играют в крокет Ваши сыновья... О сколько-то времени, сколько еще событий отделяют меня от той минуты, когда я увижу все это вновь в действительности, — если только она наступит когда-нибудь! Но, что бы ни случилось, мое сердце навсегда сохранит к Вам ту же любовь и благодарность, мой дорогой, великий друг. Поскорее порадуйте меня письмом, напишите, если прочли «*Быть или не быть*», что Вы о нем думаете. Забудьте великодушно мои недостатки, которые я, быть может, обнаружил во время нашей совместной жизни; мне бы так хотелось, чтобы Вы сохранили добрую память о любящем Вас, как друга, как брата, и неизменно преданном

Г. Х. Андерсене».

Скоро я получил от Диккенса сердечное письмо с поклонами от всей семьи и даже от старого могильного памятника¹ и собаки-пастуха. Потом письма стали приходить все реже, а в последние годы и совсем прекратились. «Конец, конец! И всем историям бывает конец!»

Но опять к событиям моей жизни.

В Веймаре все сияло праздничным блеском, изо всех уголков Германии стекались на торжество делегаты и простые зрители. Первые германские артисты были приглашены участвовать в парадном спектакле. Были даны сцены из второй части «Фауста» и пролог, написанный для данного случая Дингельштедтом. При дворе же было дано еще несколько праздников, на которых присутствовали и князья, и представители искусств. Открытие памятников Гете, Шиллеру и Виланду состоялось при прекрасной солнечной погоде. По снятии с них покрывала, я был свидетелем следующей поэтической игры случая: белая бабочка долго порхала между статуями Шиллера и Гете, как бы не решаясь, на чью голову спуститься как символ бессмертия. Наконец она взвилась кверху и потонула в лучах солнца. Я рассказал этот случай великому герцогу, одному близкому родственнику Гете и сыну Шиллера. Последнего я спросил однажды — правда ли, что я, как говорят многие в Веймаре, напоминаю его отца? Он ответил, что это правда, но что напоминаю я его главным образом фигурой, походкой и манерами. «Лицом мой отец, — сказал он, — мало походил на Вас; у него были большие голубые глаза и рыжие волосы». Последнего я никогда не слыхал раньше.

Обратный путь домой я предпринял через Гамбург. Там была холера. Я прибыл в Киль и здесь узнал, что эпидемия опять появилась и в Дании, и особенно сильна в Корсёре, куда я как раз должен был прибыть на пароходе. Погода выдалась хорошая, переезд поэтому был очень короток, так что мы прибыли в Корсер задолго до отхода поезда, и я все-таки несколько часов провел на вокзале, где было большое скопление отъезжающих из местных зрителей.

В Копенгагене доктор мой встретил меня вопросом — зачем меня принесло сюда, где было уже несколько случаев смерти от холеры, и я опять уехал в провинцию, сначала в Сорё к Ингеману, а оттуда в гостеприимный Баснэс. В ближайшем городке Скьэльскере, однако, тоже была холера, я этого не знал, но все-таки мне было что-то не по себе. Когда я опять обрел душевное равновесие, я увлекся идеей новой фантастической пьесы «Блуждающий огонек». Ингеману идея эта очень нравилась, но дальше легкого наброска дело все-таки не пошло, и, лишь много лет спустя, эта идея вылилась у меня в совершенно иной форме — в сказке «Блуждающие огоньки в городе!»

¹ Старая полуразрушившаяся колонна, которую Диккенс в шутку звал «Андерсеновским памятником». — И. К.

Директор королевского театра поручил мне написать пролог для торжественного спектакля. Сказать его должен был наш первый трагик. В последние годы этот прекрасный артист стал, однако, слаб памятью и часто путал свои реплики. Я боялся, что то же случится и на этот раз: так и вышло. Артист произнес пролог своим чудным, звучным голосом, но с такими пропусками, что в моих глазах от парадного знамени моего пролога остались одни лохмотья! Критика, говоря о празднестве, похвалила прекрасную читку любимого артиста, но прибавила, что «в сказанном было очень мало связи». Разумеется, вина за это падала уж не на любимого актера, а на поэта! На другой день я напечатал пролог, чтобы люди прочли его и увидели в чем дело, но, конечно, это явилось уже «post festum». Случай этот давно был бы забыт мною, если бы следующее письмо Ингемана не служило как бы поэтической виньеткой к нему, воскрешающей забытое:

«Сорё. 2-й день Рождества 1857 г.

Счастливого Рождества и такого же Нового года! И в новом году уж не давать над собой власти хандре, не позволять своему хорошему расположению духа покрываться паутиной! Взгляните на Млечный путь, вспомните великую, богатую сказку жизни Вселенной, проследите ее через все фазисы существования до последнего дня, и давайте возблагодарим Бога за бесконечное великолепие, которое Он уготовил нам и по эту, и по ту сторону жизни, и сдуем радостным вздохом все паутинки мелких планет! Поэзия, слава Богу, лучший воздушный корабль, нежели все те пестрые воздушные шары, на которых акробаты-виртуозы ежедневно то поднимаются, то опускаются, согласно непостоянному и часто призрачному ауре рорупарис. Если Вам теперь удастся поймать Ваш «Блуждающий огонек», то пусть он освободит Вас от этого паука-демона, который опутывает нас всевозможными паутинками мелочей житейских! Я попытался сделать это в своем романе «Четыре рубина», но идея не вылилась у меня достаточно ярко. Стареешь, и самые идеи становятся какими-то худосочными, не облекаются в плоть и в кровь, без которых все-таки нельзя обойтись на этом свете. Порадуйте же нас поскорее известием, что Вы снова смело и радостно воспарили к небесам поэзии.

Ваш сердечно преданный
Ингеман».

1858 г.

В последние годы мне так часто говорили, что я вынужден был наконец поверить — будто сказки мои в моем собственном чтении получают особенно яркий колорит. И чем многочисленнее бывает кружок слушателей, тем чтение больше удается мне, и все же я всякий раз приступаю

к нему с невероятным страхом. В первое время я даже проводил всегда бессонную ночь в ожидании чтения, а в самый вечер его меня просто била лихорадка. И страх возбуждала во мне не какая-нибудь отдельная личность из слушателей, хотя бы и очень значительная сама по себе; нет, меня пугала толпа, масса. Она как будто окутывала меня туманом, сковывала по рукам, по ногам. А между тем она всегда награждала меня шумными знаками одобрения.

В последние годы у нас в Копенгагене основался Рабочий союз, прототип ныне существующего. Во главе лиц, ратовавших за устройство в этом кружке публичных чтений и лекций общепользующего содержания, стояли профессор Горнеман и редактор Билле. Они-то и обратились ко мне с просьбой прочесть в кружке несколько моих сказок.

То было тревожное, тяжелое время. Желавших послушать чтение было гораздо больше, нежели мог вместить зал кружка, и они теснились к окнам, требуя, чтобы их отворили. Такое обстоятельство еще больше взволновало меня, и без того робкого по природе. Но как только я взошел на кафедру, весь страх мой прошел. Я предпослал чтению несколько вступительных слов:

«В числе прочих чтений, которые предполагается устраивать в кружке, признано нужным уделить место и чтению поэтических произведений, открывающих перед нашими глазами и сердцами мир красоты, истины и добра.

В английском флоте по всем снастям, и большим и малым, проходит красная нить, указывающая на принадлежность флота короне; по всем событиям и проявлениям человеческой жизни тоже проходит невидимая нить, указывающая, что мы принадлежим Богу.

Найти эту нить и в малом, и в великом, в нашей собственной жизни и во всем окружающем нас — и помогает нам поэзия самыми разнообразными путями. Гольберг достигает цели своими комедиями, рисуя нам людей своего времени со всеми их недостатками и смешными сторонами, и комедии эти учат нас многому. В старину той же цели достигали главным образом сказками. В самой Библии мудрые истины часто облечены в форму так называемых парабол и притч. Теперь мы все знаем, что суть последних не в словах, но во внутреннем смысле, в той невидимой нити, которая проходит также и в них. Мы знаем, что эхо, которое раздается, как нам чудится, из стены, из леса, из холмов, не исходит на самом деле из стены, из леса или из холмов, но является отзвуком нашего собственного голоса. Вот так же и в сказках надо искать отражения нас самих, стараться извлечь из них ту пользу и удовольствие, какие только можем. Поэзия идет об руку с наукой — тоже открывает нам мир красоты, истины и добра. Вот почему мы и прочтем теперь несколько сказок».

И я начал читать. Слушали меня с большим вниманием, время от времени слышались отдельные наивные, полные искреннего чувства вос-

клицания. Я был очень рад и доволен, что согласился читать. Впоследствии я читал еще несколько раз, и моему примеру последовали и другие писатели.

В 1860 году Рабочий союз расширил свою деятельность. Я продолжал читать там по зимам, и всякий раз меня встречали те же знаки сердечного участия и внимания. Многие датские писатели и поэты, а также наиболее выдающиеся артисты стали читать для рабочих поэтические и драматические произведения. На одном из торжественных обедов, которыми ежегодно отмечался день основания союза, был провозглашен прочувствованный тост за украшение датской сцены, теперь уже умершего артиста Михаэля Виэ. Было сказано, между прочим, что он первый «прорубил лед» и принес Рабочему союзу дары поэзии, показав этим пример другим. Действительно, по преобразовании кружка в 1860 году Виэ первый выступил в кружке как чтец и читал, если не ошибаюсь, какую-то поэму Эленшлегера. Но еще в 1858 году, когда союз только что основался, «прорубил лед» я, и этой чести я не желаю уступить никому.

Первые свои сказки я еще студентом читал в Союзе студентов. С тех пор прошли годы. Теперь, в 1858 году, я читал их опять, и на этот раз мне было оказано столько искреннего, лестного внимания, что весь мой страх — читать перед таким большим собранием, если и не исчез совершенно, то и не помешал мне все-таки проникнуться отрядным сознанием, что я читаю для молодых, отзывчивых сердец, для здоровых, неиспорченных натур. И это сознание превращало для меня такие вечера в счастливые мгновения.

В последние годы к каждому Рождеству или же в начале весны обыкновенно выходил новый выпуск моих сказок. На желтой обложке книжек красовалась виньетка: летящий аист с весною на спине. Последний вышедший выпуск заключал одну из самых крупных по объему сказок «Дочь болотного царя». Вот что писал мне о ней Ингеман:

«Сорё, 10 апреля 1858 г.

Дорогой друг!

Счастливый Вы человек! Начнете рыться в уличной канаве — найдете жемчужину! А теперь вот нашли драгоценный камень в тине! Что это за благодетельный гений фантазии, который подносит нам к носу розу там, где пахнет хуже всего на свете, и показывает нам принцессу в тине! О том, что она красива, я уже слышал от других. Очень буду рад увидеть ее после генерального мытья и шестикратного полоскания, которым Вы подвергли ее¹. Я очень люблю ее старших сестер, доверяю эстетическому чутью и вкусу полоскавшего ее, и уверен, что ни к ней, ни к полцарству, которое она приносит с собой, не прильнет ни клочка

¹ Андерсен, как известно, шесть раз переделывал эту сказку. — Примеч. перев.

грязи из царства ее папаши. А в нашем собственном государстве тоже порядочно тины. Дай Бог, чтобы Ваша принцесса могла показать нам, сколько доброго и прекрасного может выйти из такого государства! Всего хорошего Вам в наступившем для Вас новом году жизни! Может быть, это и не последовательно с моей стороны, но я со всем своим уважением к самому факту рождения человека, обуславливающему жизнь и полагающему начало всему, ради чего стоит жить, все-таки не особенно дорожу днем рождения. Впрочем, 2 апреля мы все помним ради прилетевшего в этот день на спине аиста мирного героя, — такова ведь и виньетка на Ваших сказках и историях. И орден Данеброга Вы получили чуть ли не в этот же день. Это отличие порадовало нас и нисколько не удивило. Сердечное поздравление от нас обоих. Живите же мирной жизнью честного человека и поэта, пусть фантазия Ваша распустит свои пестрые крылышки и или носит Вас с цветка на цветок, или потащит Вас в колеснице по тине и затем снова поднимет ввысь — к солнцу и свету!

Ваш сердечно преданный

Ингеман».

В июне я опять предпринял поездку, посетил Максен и Бруннен. Радости путешествия на этот раз скоро окончились. На родине меня ожидала весть, которая потрясла меня до глубины души, повергла в глубокое горе, просыпающееся во мне с болезненной остротой всякий раз, как я получаю приглашение от своих американских друзей побывать у них по ту сторону океана. В начале *«Сказки моей жизни»* я рассказывал о семействе адмирала Вульфа и о старшей его дочери, Генриетте, принимавшей такое сердечное участие во всем, что ни касалось меня. По смерти родителей она жила вместе со своим младшим братом Христианом, морским офицером, более нежного и заботливого брата я не знавал. Путешествие было для нее наслаждением и в то же время необходимостью ради укрепления ее слабого здоровья. Особенно же любила она море. Брат сопровождал ее уже в нескольких путешествиях: они побывали и в Италии, и на Вест-Индских островах, и в Америке. В предпоследнюю ее поездку они попали на корабль, где были больные желтой лихорадкой. Вскоре брат заразился, и ей, слабой девушке, пришлось ходить за ним, она сидела у его постели, отирала ему пот со лба и потом тем же платком отирала свои слезы, но не заразилась. Она спаслась, а брат сделался жертвой болезни. Убитая горем девушка нашла гостеприимный приют в одном знакомом семействе близ Нью-Йорка, а через год снова вернулась в Данию, и мы затем виделись почти ежедневно. Печаль по брату сильно угнетала девушку, мысли ее постоянно возвращались к тому месту, где покоился прах его, и ей захотелось посетить его могилу еще раз. В сентябре 1858 года она и отплыла из Гамбурга на пароходе *«Австрия»*. Последнее письмо от нее было получено ее сестрой из Англии. В нем

говорилось, что на корабле очень много пассажиров, но что ей никто не пришелся особенно по душе, и по прибытии в Англию ею даже овладела такая неохота продолжать путешествие, что она чуть не вернулась обратно, да устыдилась такой слабости и осталась на пароходе. Несколько времени спустя, мы прочли в газетах о пожаре, уничтожившем в открытом море пароход «Австрия».

Все родные и друзья Генриетты Вульф были в страшном беспокойстве; скоро появились описания катастрофы очевидцами. Спаслись немногие, и кто именно? Спаслась ли она, слабая, хрупкая девушка? Или лежит на дне морском? Ничего достоверного не было известно. Мысли мои и днем, и ночью были полны этим несчастьем. Я просто не мог думать ни о чем ином и сколько раз перед сном молил Бога: «Если есть малейшая связь между духовным и нашим миром, то не откажи мне в вести, в знаке оттуда хотя бы во сне, из которого бы я узнал о ее судьбе!» Но как ни заняты были подругой юности мои мысли днем, во сне я ни разу не видел ничего такого, что могло бы хоть мало-мальски относиться к ней. Постоянное волнение и думы об одном и том же наконец так расстроили меня, что мне однажды стало чудиться на улице, будто бы все дома превращаются в чудовищные волны, перекатывающиеся одна через другую. Я так испугался за свой рассудок, что собрал всю силу воли, чтобы, наконец, перестать думать все об одном и том же. Я понял, что на этом можно помешаться. И едкое горе мало-помалу перешло в тихую грусть.

1859 г.

В этом году возобновили мелодичную оперу Гартмана «*Liden Kirsten*» («Кирстиночка»), которую так надолго несправедливо сняли с репертуара. Она опять имела большой успех, удостоилось похвал даже и мое либретто. В рецензии, появившейся в газете «Отечество» оно было названо истинно поэтическим произведением, «un rêve de l'ideal au milieu des tristes réalités de la vie». Вот как теперь отзывались о моем труде!

Весной вышел новый выпуск «Сказок и историй». Среди них была история «Ветер рассказывает о Вальдемаре До и его дочерях». Лес только что убрался свежей зеленью, погода стояла чудесная, теплая, и король Фредерик VII, перебравшийся в чудный старинный Фредериксбургский дворец, пригласил меня туда, желая послушать мое новое произведение в моем чтении. Принят я был с обычной сердечной простотой и провел в чудном замке, создании Христиана IV, два прекрасных дня. Я вдоволь налюбовался роскошью старинного убранства, ходил по всем залам и обедал с королем за одним столом, который в эту чудную погоду накрывался в саду. После обеда была предпринята прогулка в лодке по

озеру, вокруг замка. Король находил, что рассказ ветра надо слушать на вольном воздухе, на полном раздолье. Я ехал в одной лодке с королем и его супругой, графиней Даннер, за нами следовала еще пара лодок с другими гостями. Лодки бесшумно скользили по блестящей глади озера, в которой отражались огненные вечерние облака. И я читал королю историю о скоротечности земного счастья... «У-у! Проносись, проносись!» Когда я кончил, на мгновение воцарилось молчание; мной самим овладело какое-то грустное настроение... Как же живо вспомнились мне эти минуты, проведенные в лодке, когда и озеро, и небо, и замок пылали, как во огне — при печальном известии: «Фредериксборг горит!»

Летом я уехал в Ютландию, в самую живописную провинцию Дании. Под впечатлением этой поездки создались «На дюнах» и путевые очерки «Скаген».

В Лемвиге остановились мы на постоялом дворе. Немного погодя, вижу на крыше подняли Данеброг, а затем такой же подняли и на соседней крыше. «Праздник что ли готовится?» — спрашиваю я, а мне отвечают, что это в честь меня. Пошли прогуляться по городу; все кланяются, приветливо улыбаются мне, на многих домах развеваются флаги. Я верить не хотел, что это относится ко мне, но, явившись на другое утро на пароход, убедился, что у меня есть друзья и в Лемвиге. Вижу в толпе маленького закутанного мальчугана и говорю: «Бедняжка! Подняли тебя в такую рань, чтобы ехать!» «Он не едет! — отвечает мать. — Он не давал мне покоя, пока я не пообещала, что он пойдет на пароход провожать Андерсена! Он знает все его сказки!» Я поцеловал мальчика и сказал: «Ну, иди теперь домой и ложись в постельку, дружок! Всего хорошего!» Случай этот привел меня в детски радостное настроение, согрел мое сердце, так что мне-то не пришлось так зябнуть в это холодное, туманное утро, как милому мальчугану!

К полудню достигли мы Ольборга. И здесь меня встречали приветливыми улыбками, поклонами и сердечными рукопожатиями. Здесь же встретился я с братом Г. Х. Эрстеда, А. С. Эрстедом, звездой нашей юриспруденции и одним из самых выдающихся государственных деятелей наших. Пообедав вместе, мы сидели и сумерничали, как вдруг слуга сообщил, что на дворе отеля собралась масса народу и сейчас сюда явится депутация. Оказалось, что Ольборгское общество хорового пения хотело почтить меня серенадой. Я был смущен тем, что чествование относится ко мне, а не к Эрстеду, и не мог решиться показаться у открытого окна, у которого несколько лет тому назад слушал такую же серенаду он. Это была первая серенада, которой я удостоился на родине. Первая же была дана мне шведскими студентами в Лунде в 1840 году.

Из Ольборга поехал я в Скаген, самый северный пункт Дании. Древний Бёрглумский монастырь, резиденция епископа, хозяйничавшего не-

когда в окрестностях больше самого короля в своих владениях, был теперь простой помещичьей усадьбой. Хозяин ее, Ротбель, любезно предложил мне погостить у него, чтобы познакомиться с окрестностями и, может статься, — быть свидетелем бури на западном море. В истории *«Епископ Бёрглумский и его родичи»* я и нарисовал этот замок.

«В Бёрглуме нечисто!» — говорили мне в Ольборге и прибавляли, что в одной комнате показываются умершие монахи и даже сам епископ. Я не смею отрицать возможности известной связи между миром духовным и нашим, но и не слишком верю в нее. Наша жизнь, внешний мир и наш внутренний — все это ряд чудес, но мы так привыкли к ним, что зовем все эти явления естественными. Все в мире подчинено великим, разумным законам, обусловливаемым Божиими всемогуществом, мудростью и милостью, и в отступления от них я не верю.

После первой же ночи, проведенной в Бёрглумском замке, я спросил хозяев, в какой именно комнате спал епископ и показываются теперь привидения. Меня спросили — разве мне было страшно, и затем сообщили, что я ночевал как раз в этой самой комнате. Тогда я первым делом исследовал всю комнату от пола до потолка, затем вышел на двор, осмотрел все окружающее и даже вскарабкался по стене до окон своей комнаты, чтобы убедиться — нет ли тут где какого-нибудь приспособления для ночных сцен с привидениями. Я еще в ранней юности своей слышал о подобных потехах. Но здесь я не открыл ничего подозрительного и проспал несколько ночей подряд вполне спокойно.

Но однажды я лег с вечера раньше обыкновенного и проснулся вскоре после полуночи, почувствовав какую-то необычайную дрожь в теле. Мне стало не по себе, припомнились рассказы о привидениях, но затем я сказал самому себе, что подобный страх — малодушие: с чего это станут беспокоить меня умершие монахи? И разве не напрасно просил я Бога, мучаясь неизвестностью относительно участи Генриетты Вульф, чтобы Он послал мне, если это возможно, хоть какой-нибудь видимый или слышимый знак, по которому бы я узнал — находится ли она в царстве мертвых. Эти мысли успокоили меня, но в ту же минуту я увидел в самом дальнем и темном углу комнаты какую-то туманную фигуру вроде человеческой. Я глядел на нее, не отрываясь, холодная дрожь пробежала у меня по спине. Сил не было оставаться в таком положении, и я, оставшись верным двойственности своей натуры — страх всегда соединяется во мне с непреодолимым стремлением знать и понимать причину его, — прыгнул с постели и подбежал к туманному образу. Оказалось, что на блестящую полированную дверь падал отблеск лунного света, отражавшегося в зеркале, и это-то двойное отражение образовало «привидение»!



Впоследствии мне пришлось еще несколько раз сталкиваться с подобными «сверхъестественными явлениями». Так, год спустя после этого, гостил я в другом старинном поместье и, проходя среди белого дня по одной из огромных зал, услышал вдруг громкий звон обеденного колокола. Звон донесся из противоположного крыла здания, как мне было известно — необитаемого. Я и спросил хозяйку дома, что это за колокол звонит там. Она серьезно посмотрела на меня и сказала: «Так и Вы слышали! Да еще среди белого дня!» И она рассказала, что звон этот слышится часто, особенно по вечерам, когда все улягутся на покой; в это время звон раздается настолько громко, что его слышат даже люди, помещающиеся в подвальном этаже. «Надо это расследовать!» — сказал я. Мы направились в залу, в которой я слышал звук таинственного колокола, и встретили там хозяина дома с сельским пастором. Я рассказал им в чем дело и прибавил, подходя к окну: «Разумеется, тут нет ничего сверхъестественного!» В то же мгновение колокол зазвонил еще сильнее, чем в первый раз. Дрожь пробежала у меня по спине, и я, уже значительно понизив голос, проговорил: «Я не смею, конечно, отрицать... но все же как-то не верится!» Не успели мы уйти из залы, как звон повторился еще раз, и в ту же минуту взор мой случайно упал на огромную люстру, висевшую под потолком, и я увидел, что бесчисленные стеклянные подвески ее все колеблются. Я взял стул вскочил на него, и голова моя очутилась на уровне люстры. «Шагайте по полу быстрее и тверже!» — попросил я присутствовавших; они так и сделали, и мы опять слышали громкий звон как будто доносившийся откуда-то издали. Итак, таинственный колокол был открыт.

Одна пожилая вдова священника, узнавшая об этой истории, пеняла мне потом: «Ах, это было так интересно с этим колоколом! И вы могли свести все это на ничто! А еще поэт!»

Но вернемся опять к Бёрглуму, где все почти рассказывали о привидениях. Мне так ни разу и не удалось увидеть ни одного. В Ольборге случилось мне разговаривать об этом с одним высокородным господином, лично видевшим привидения умерших монахов. Я позволил себе утверждать, что появление подобных привидений сводится к простому обману зрения, но он пресерьезно ответил: «Это вас, может быть, зрение обманывает, оттого Вы и не видите ничего подобного!»

В Фредериксхауне, откуда я должен был предпринять самую поездку на Скаген, я также нашел добрых друзей, которые приютили меня у себя и приложили все старания, чтобы сделать и мое пребывание в городе, и самую поездку возможно приятными. Главной заботой было достать мне опытного, надежного возницу, так как ехать приходилось по береговой полосе, у самой воды. Наконец нашли такого, это был славный, добродушный крестьянин, отлично знавший, где твердый грунт, где подвижный песок. Ему предварительно показали мой портрет и сказали: «Это большой писатель!» Он ухмыльнулся и сказал: «Ну,

значит, большой враль!» Он во всю дорогу и не желал вступать со мною ни в какие разговоры, а только посмеивался в ответ на все. Вез он, однако, хорошо и оказался очень гостеприимным хозяином, не выпустил меня из своего дома, пока не угостил и вареным, и жареным, и вином, и медом.

После двухдневного пребывания в этом северном пункте, среди величавой, дикой природы, я опять повернул на юг, домой. Один из моих молодых ютландских друзей и свояченица пастора поехали провожать меня. Волны били далеко на берег, и ехать возле самой воды было нельзя, пришлось тащиться по глубоким пескам. Я рассказывал своим спутникам о чужих странах, в которых побывал, об Италии, Греции, Швеции и Швейцарии. Старый возница наш слушал, слушал, да и сказал с оттенком некоторого изумления: «И охота же такому старому человеку этак путаться по белу свету!» Я тоже с некоторым изумлением спросил: «Да разве я, по-вашему, так стар?» «Совсем дедушка!» — ответил он. «Сколько же мне лет, по-вашему?» «Ну, так — за восемьдесят!» «За восемьдесят! — воскликнул я. — Должно быть, это поездка так уходила меня! Разве я смотрюсь плохо?» «Страсть просто!» — сказал он. Потом я заговорил о новом прекрасном Скагенском маяке. «Да, вот бы король посмотрел его!» — заметил возница, а я и сказал, что сообщу о нем королю, когда буду иметь с ним разговор. Возница подмигнул моей спутнице: «Он будет разговаривать с королем!» «Да, я уже разговаривал с ним и даже обедал!» — сказал я. Старик постучал себя пальцем по лбу, покачал головой и лукаво улыбнулся в сторону моей спутницы: «Он обедал с королем!» Старик полагал, что я немножко «того».

В Асмильдском монастыре близ Виборга меня опять ожидали праздничные дни, устроенные для меня друзьями, но лучше всего были неожиданные проводы. Дело было рано утром, я уже отъехал от города с милю, как вдруг увидел на дороге молодую даму, с которой встречался в Асмильдском монастыре, а с нею еще других. Возница мой придержал лошадей, и глазам моим предстали шесть молодых прелестных девушек с букетами в руках, которые они и подали мне с детски-сердечной приветливостью. Они встали рано утром и прошли целую милю пешком, чтобы проститься со мной подальше от города. Я был так поражен и растроган, что не сумел даже поблагодарить их, как бы следовало. Застигнутый врасплох я не нашелся сказать ничего другого, кроме: «Дорогие мои! Идти ради меня в такую даль! Господь вас благослови! Благодарю! Благодарю! — и затем крикнул кучеру: — Пошел, пошел!» Я был смущен, и хотел скрыть это; не так, конечно, надо было выразить свою радость и благодарность, я сам признавал, что проявил свое смущение очень неловко.

Плодом этой поездки явилась вышедшая к Рождеству история «На дюнах». Рождество мне предстояло провести в милом, уютном Баснэсе,

но сначала я по пути заехал по обыкновению к Ингеману. Выехал я рано утром 17 декабря и уже на вокзале узнал печальную новость: Фредериксбургский дворец горит! Воспоминания о последнем моем посещении дворца, о котором я уже рассказывал, так и нахлынули на меня.

Гостя у Ингемана, получил я письмо от короля Макса Баварского. Он писал, что решил сделать меня кавалером ордена Максимилиана еще когда я читал ему свои сказки, катаясь с ним в лодке по озеру; что затруднения, препятствовавшие ему исполнить свое намерение, теперь устранены, и он посылает мне знаки этого высокого ордена, учрежденного им самим. На ордене этом изображается Пегас, если он дается представителю искусства, и сова Минервы, если награда дается представителю науки. Я знал, что в Мюнхене были пожалованы этим орденом поэт Гейбель, художник Каульбах и химик Либих. Первыми же удостоившимися его вне пределов Баварии были, как мне передавали, француз Араго и датчанин Андерсен. Я был очень обрадован этим знаком отличия, дарованным мне царственным покровителем искусств. Ингеман и его супруга приняли в моей радости самое искреннее участие. Не успел я еще покинуть их, как получил новую награду, большое отличие, которым почтила меня моя собственная родина. Ингеман уже не раз шутливо ворчал по поводу того, что она заставляет себя ждать так долго, и вот она явилась!

Вскоре по возвращении из Ютландии я встретил однажды за городом епископа Монрада, тогдашнего министра народного просвещения. Мы были знакомы давно, еще студентами жили в одном доме, и он часто навещал меня тогда. Позже, когда он был уже священником на острове Фальстер, я на пути из прекрасной усадьбы Корселиц был задержан там бурей и провел несколько приятных дней в его семействе. С тех же пор мы не видались. Теперь он остановил меня и сказал, что ежегодная субсидия в 600 риксдалеров, которую я получаю от казны, слишком мала, и что впредь я буду получать 1000, как поэты Герц, Хр. Винтер и Паллудан-Мюллер. Я был приятно поражен и в то же время смущен, пожал его руку и сказал: «Благодарю! Это мне теперь кстати. Я старею, а гонорары у нас, вы сами знаете, очень не велики... Благодарю, сердечно благодарю! Только не примите этого в дурную сторону, если я скажу вам теперь: я никогда не напомню Вам о ваших словах! Я не могу!» Мы простились, и я долго ничего не слыхал об обещанной мне прибавке. Теперь же, гостя у Ингемана, я увидел в газетах сообщение, что фолькетинг ассигновал мне ежегодную прибавку в 400 риксдалеров. Милейший Ингеман провозгласил за меня по этому случаю остроумный и сердечный тост, а другие друзья мои прислали мне письменные поздравления. Я еще раз глубоко почувствовал, что недаром называли меня «баловнем счастья», и мне даже страшно стало, не в первый, впрочем, раз: такое счастье не может быть постоянным, на смену ему придут и, может быть, скоро дни горя и испытаний.

6 января я опять уже находился в Копенгагене. Это был день рождения «отца» Коллина, день, чтимый не одним мною, но и многими, кому он помог выбиться на дорогу.

Всю же весну и лето я опять провел в разъездах. Меня увлекала мечта еще раз побывать в Риме и провести зиму в Италии. Отправился я через Германию. В Мюнхене ждали меня добрые друзья мои. Опять провел я несколько незабвенных, чудных часов у художника Каульбаха. В его доме дышалось так легко, всякий чувствовал себя так уютно, и у него собирались многие из мюнхенских светил науки и искусств, как-то Либих, Зибольдт, Гейбель, Кобель.

Король Макс и его супруга приняли меня по обыкновению очень милостиво, и мне вообще не легко было расстаться с городом искусств и дорогими моими друзьями.

Из Мюнхена я через Линдау перебрался в Швейцарию, в городок часовщиков Locle, где я в 1833 году написал свою поэму «Агнета и водяной». В то время путешествие по этой местности было сопряжено с большими затруднениями, сколько часов приходилось тащиться в дилижансе, теперь же поезд живо доставил меня, куда следовало. В Locle жил мой земляк и друг Юлий Юргенсен, часовых дел мастер, изделия его ежегодно сбывались в огромном количестве в Америку. Старший сын Юргенсена был, как и младший брат его, деятельным помощником отца, но обладал также порядочным литературным талантом. Некоторые французские переводы моих сочинений признавались неудачными, и мой молодой друг желал попытаться дать лучшие. Он и принялся за работу под моим наблюдением, и я при этом имел случай убедиться, к своему изумлению, насколько датский язык богаче французского выражениями для передачи различных оттенков чувств и настроения. Последний часто дает лишь одно выражение там, где у нас их на выбор несколько. Французский язык я назову пластическим, приближающимся к искусству ваяния, где все строго определено, ясно и закруглено, а наш язык отличается богатством красок, разнообразием оттенков. И я радовался его богатству. А как он к тому же мягок и звучен, если на нем говорят, как следует!

Переводы Юргенсена вышли в 1861 году под общим заглавием «*Fantasies danoises*».

В Женеве получил я известие о смерти Гейберга, которое сильно поразило меня своей неожиданностью. Да, все выдающиеся люди, представители науки и искусств, которых я знал, с которыми жил, мало-помалу вымирали, сходили со сцены один за другим!.. Я оставался в Женеве довольно долго, за половину сентября; с гор Юры уже дул холодный, зимний ветер и крутил пожелтевшую, опавшую листву. Известия, приходявшие из Италии не особенно-то заставляли стремиться туда. Я сомневался, что найду сносное зим-

нее помещение в Риме, а в Испании была холера, и я решил вернуться на зиму в Данию.

Вместе с своим молодым другом художником Амбергером прибыл я через Базель в Штутгардт. Его встретил здесь на вокзале знакомый его, известный издатель Гофман, который, познакомившись со мною, тотчас же любезно пригласил погостить к себе и меня. Директор театра предоставил мне место в своей ложе. «Да, вам-то хорошо путешествовать! — говорили мне мои копенгагенские друзья и знакомые, когда я рассказывал им потом о гостеприимстве, которое находил повсюду. — Для вас всюду открыты гостеприимные приюты — и в горах Юры, и в Штутгардте, и в Мюнхене, и в Максене, словом всюду!» «Ваш дом на хвосте дракона-паровоза!» — писал мне однажды Ингеман, и оно почти что так и было. Сочельник пришлось мне провести не в Риме, как я было думал, но в Баснэсе, и очень хорошо, весело. Тут я и написал две сказки: «Навозный жук» и «Синегур».

1861 г.

Как только настал апрель, меня опять потянуло вдаль. Натура перелетной птицы сказывалась во мне с появлением первых теплых лучей солнца. Я непременно хотел еще раз побывать в Риме, продолжить путешествие, начатое в прошлом году. На этот раз со мною ехал мой юный друг Ионас Коллин, сын Эдварда Коллина.

Прибыв в Рим, мы заняли две комнаты в старом «Cafe greco» и потом принялись бродить по столь мне знакомому, почти родному великому городу. Я хотел вновь увидеть и показать Коллину все знакомые мне красоты. Перемен оказалось не особенно много с тех пор, как я был тут в последний раз. Посещая все развалины, церкви, музеи и сады, мы не забывали и здешних друзей моих. В числе первых посетили мы нашего земляка Кюхлера, ныне брата Пьетро, в монастыре, находящемся у развалин дворца Цезарей. Он встретил нас ласково, обнял и расцеловал меня, и я вновь услышал из его уст сердечное «ты». Он повел нас в свое ателье, большую комнату, откуда открывался чудный вид: апельсиновые деревья, кусты роз, Колизей и вдали Кампанья и живописные горы. Я наслаждался и встречей с другом, и чудным видом. «Здесь дивно хорошо!» — воскликнул я. «Да, вот тут бы тебе и остаться жить в мире и в Боге!» — сказал он с мягкой, но полной серьезного значения улыбкой. Но я с живостью возразил: «День-другой я еще мог бы остаться здесь, но потом меня опять потянуло бы на волю, я хочу жить в мире Божьем, слиться с ним!»

В Риме находился в это время норвежский поэт Бьёрнстjerne Бьёрнсон, с которым мне и предстояло познакомиться. Я нескоро собрался прочесть произведения этого одаренного поэта. Многие копенгагенские мои

знакомые говорили мне, что они не придутся мне по вкусу. «Лучше все-таки проверить это самому!» — подумал я и прочел рассказ Бьёрнсона «Веселый малый». Я сразу перенесся в горы, на лоно свежей норвежской природы, в душистый березовый лес!.. Я был в восторге и сейчас же напал на всех, кто уверял меня, будто бы Бьёрнсон не в моем вкусе. И досталось же им от меня! Я прямо сказал им, что не только удивляюсь, но чувствую себя положительно оскорбленным их предположением, будто я не в состоянии понять и оценить истинного поэта! Затем мне говорили, что я и Бьёрнсон такие контрасты во всем, что если познакомимся — сейчас же станем противниками. Незадолго до отъезда из Копенгагена меня попросили взять с собой книги, которые пересылала Бьёрнсону жена его. Я охотно взялся доставить их, сделал визит г-же Бьёрнсон и, высказав ей, как высоко я ценю ее мужа как поэта, попросил ее написать ему, что я прошу его быть со мною при встрече поласковее, так как я хочу полюбить его, хочу, чтобы мы подружились. И он, с первой же нашей встречи в Риме и до сих пор, всегда был со мною «ласков», как я того просил и желал.

Скандинавы порешили устроить празднество в честь нашего консула Браво в одном из отдаленных от центра уголков Рима. Местечко это я описал в своей «Психее». На празднестве чествовали также и меня, гостя, приехавшего к сокровищам Рима с далекого севера в четвертый раз. Мне спели прекрасную песню Бьёрнстьерне Бьёрнсона:

Хоть небо наше не лазурно,
Хоть море северное бурно,
И чудных пальм наш лес лишен —
Нам сказки, саги шепчет он,
На небе солнце ночи блещет,
На берег море гулко плещет,
И рокот волн
Созвучий полн,
Как песни наших саг старинных!

И сколько нам повествований
О крае чудных тех сказаний,
О зимнем сне полей, лугов,
О чарах северных лесов,
О чувствах птиц, зверей, растений
Сумел причудливый твой гений
Так рассказать —
Вот словно мать
В кругу детей — сердце невинных!

И в воздух Рима раскаленный
Ты запах влажный, благовонный
Душистых буков и берез
И Зунда вод соленых внес,
К нам из того явившись края,
Где, будто землю обнимая,

К ней ближе льнет
Небесный свод
С луной, царицей ночи ясной!

Тебе хотелось убедиться
Могла ль еще в нас сохраниться
Здесь, средь антиков и камей,
Любовь к поэзии твоей.
Твоя бесхитростная лира
И средь столицы древней мира
Звенит, поет
И нас зовет
К добру и истине прекрасной!

На этот раз я оставался в Риме только месяц. Одним из самых приятных новых знакомств было для меня здесь знакомство с американским скульптором Стори. Раз у него собрались его друзья и знакомые, американцы и англичане с целой кучей детишек. Они окружили меня и по общему требованию я с непозволительной смелостью прочел им «Безобразного утенка» по-английски! Я выражался на этом языке с грехом пополам, но по окончании чтения дети все-таки поднесли мне венок.

Солнце стало уже печь так сильно, что все начали разъезжаться из Рима в окрестности, а я с Коллином направился на родину¹. Мы

¹ Считаю уместным прибавить здесь, что главной причиной отъезда Андерсена была не жара, а страх. Дело в том, что в первый же день по нашем прибытии в Рим нас посетил Бьёрнстьерн Бьёрнсон и рассказал А., что римский нищий Беппо страшно зол на него за то, что А. выставил его в «Импровизаторе» дурным человеком, благодаря чему он и лишился немало байоко. Бьёрнсон, не знавший тогда А., поступил неосторожно, прибавив при этом, что Беппо собирается отомстить за себя. Такое сообщение нагнало на А. невыразимый страх. Он признался мне, что боится быть убитым — Беппо уже, наверное, подговорил кого-нибудь — и не будет иметь ни минуты покоя, пока не уедет из Рима. На этот раз мне удалось его успокоить, но ночью страх снова охватил его, и он с тех пор не знал покоя. Впоследствии он редко говорил об этом страхе, принудившем его сократить свое пребывание в Риме. В этот месяц А. успел все-таки написать две сказки. Первая из них была «Психея». Мы были раз в театре Алиберт, и по окончании спектакля (шла, если не ошибаюсь, двухактная пьеса «Свадьба офицера») А. сказал мне, что у него во время представления сложилась в уме новая сказка, которую он расскажет мне дома. Это было 5 мая, но написал он ее окончательно только 17-го. Вторая сказка, «Улитка и розовый куст», возникла вот как. Однажды А. увидел, что я читаю одно из сочинений Сёрена Киркегора, и это несколько раздражило его; он недолго любил К. с тех пор, как тот написал критику на его «Только скрипача», и восстал против моего восхищения этим писателем. В разговоре А. отозвался об одном нашем общем друге так, что я вспылал; слово за слово, и мы поссорились. Я позволил себе (мне шел тогда 21-й год) сказать много такого, чего не следовало бы и что вдобавок А. еще дурно истолковал себе. Ссора наша кончилась тем, что А. заплакал и ушел в свою комнату. Спустя несколько часов, он вошел ко мне веселый и спокойный и сказал: «Хочешь послушать сказку?» И он прочел мне «Улитку и розовый куст», которую написал за этот промежуток времени. Я помню, что сказал ему в ответ на его вопрос, как мне нравится сказка: «Прелесть что такое! Вы — розовый куст, это ясно, и незачем нам спорить о том, кто улитка». — И.К.

посетили Пизу и провели неделю во Флоренции. В Ливорно мы сели на пароход, отходивший в Геную. Поднялся бурный ветер, сделалась сильная качка, и почти все пассажиры слегли. Я чувствовал себя так плохо, что, приехав в Геную, принужден был отказаться от мысли немедленно же отправиться в Турин, куда мы и приехали только два дня спустя. В конце недели мы были в Милане, потом пробыли несколько дней на Лаго Маджиоре и затем перебрались в Швейцарию. Дольше всего оставались мы в Монтрё. Здесь сложилась у меня сказка «*Дева льдов*».

В Лозанне мы получили скорбную весть о том, что старик Коллин при смерти. Нам писали, что Господь, верно, отзовет его к себе прежде, чем мы получим это письмо и поэтому просили нас не спешить с возвращением домой. И вот мы медленно и грустно продолжали подвигаться к северу.

В Корсёре я расстался со своим юным спутником. Он отправился прямо в Копенгаген, а я в Баснэс и затем в Сорё к Ингеману. Здесь получил я подробные сведения о кончине дорогого моего «отца» Коллина. В последние дни он лежал в тихом забытии, никого не узнавая. Он не узнал бы и меня, писали мне в утешение. Я сейчас же отправился в Копенгаген к опечаленному семейству Коллина, и прибыл за несколько дней до погребения. Вот что писал я Ингеману: «Я нашел всю семью Коллина в старом доме. Все были спокойны, но глубоко опечалены. Мой старый друг лежал в гробу, словно спящий, кроткое лицо его дышало таким миром. Я очень страдал в день погребения, но все-таки чувствовал себя бодрее, чем ожидал. Остаток дня я провел один в самом тяжелом, грустном настроении. Я живо чувствовал потерю старика, которого привык ежедневно видеть, с которым привык ежедневно беседовать. Дом теперь вдруг как-то опустел. Вообще как-то странно и жутко видеть, как мало-помалу редуют ряды моих друзей. Теперь я и сам-то в первых рядах готовых выбыть...»

Время приближалось к Рождеству. Я и во время поездки и по возвращении на родину много работал, и к Рождеству вышел новый выпуск сказок, заключающий «*Деву льдов*», «*Мотылька*», «*Психею*» и «*Улитку и розовый куст*». Посвятил я этот выпуск Бьёрнстьерне Бьёрнсону.

1862 г.

Год этот вообще начался для меня радостно. Вышедшие к Рождеству сказки имели большой успех и выдержали несколько изданий.

Король Фредерик VII предпочитал знакомиться с моими сказками в моем чтении и несколько раз приглашал меня к себе во дворец. В феврале месяце я и читал в его присутствии в маленьком кружке четыре свои

последние сказки. Особенно понравилась королю «Дева льдов». Он сам, когда был еще принцем, долго жил в Швейцарии.

Несколько дней спустя, я получил от короля собственноручное письмо:
«Добрый мой Андерсен!

Мне доставляет большое удовольствие поблагодарить Вас за радость, которую Вы недавно доставили мне чтением Ваших прелестных сказок, и могу только прибавить к этому, что поздравляю свою страну и ее короля с таким поэтом, как Вы.

Ваш благосклонный
Фредерик R.

Христиансбург, 13 февраля 1862 г.»

Письмо это бесконечно обрадовало меня, и я храню его в числе самых дорогих для меня сувениров. Вместе с этим письмом получил я от короля золотую табакерку с вензелем Его Величества.

От Бьёрнстjerne Бьёрнсона я тоже получил письмо из Рима. Он благодарил за посвящение и восхищался «Девой льдов». Вот что он писал:

«Начало «Девы льдов» это — ликующие звуки песни, раздающейся в воздухе, смех, игра зелени и голубого неба, пестрота швейцарских домиков. Вы нарисовали тут такого молодца, что я бы хотел себе такого брата. А вся обстановка — и Бабетта, и мельник, и кошки, и та, что преследовала его в горах, заглядывала ему в глаза! Я был восхищен до того, что у меня ежеминутно вырывались возгласы одобрения, и я даже принужден был не раз приостанавливаться. Но милый, добрый друг! Как это у Вас хватило духа разбить перед нами эту чудную картину вдребезги! Мысль, что двое людей должны быть разлучены в момент наивысшего счастья, положенная Вами в основу развязки, поразительна, ниспослана Вам свыше; она налетает на нас, как вихрь, взбудораживающий ровную поверхность воды, и заставляет нас прозреть, что в душе этих людей жило нечто, подготовившее гибель их счастья. Все это так, но как Вы могли поступить так с *этой парочкой!*»

Оканчивалось письмо следующими словами: «Милый, милый Андерсен! Как я люблю Вас! Я был убежден, что Вы и не совсем понимаете, и не совсем долюбливаете меня, хотя и желаете этого по своей сердечной доброте. Теперь же вижу, что приятно ошибся, и это еще увеличивает мою любовь к Вам».

Это письмо очень обрадовало меня своей сердечностью и искренностью!

Упомяну здесь еще о письме от одного незнакомого мне студента из провинции, поразившем меня своей поэтичностью и непосредственной простотой. В письмо была вложена сухая былинка клевера о четырех лепестках. Студент писал, что читал мои сказки еще ребенком и несказанно наслаждался ими. Мать рассказала ему, что Андерсен испытал много горя в своей жизни, и мальчик очень опечалился. Вскоре после того он нашел в поле четырехлистную былинку клевера, и так как он много раз слышал, что

такая былинка приносит счастье, то и попросил мать отослать ее Андерсену — «на счастье». Мать, однако, спрятала клевер в свой молитвенник. «С тех пор прошло много лет, — писал молодой человек. — Я уже студент, мать моя умерла в прошлом году, и я нашел в ее молитвеннике четырехлистник. На днях я прочел Вашу новую сказку «Дева льдов», прочел с той же детской радостью, с какой читал Ваши сказки ребенком. Теперь счастье сопутствует Вам, и Вам не нужно четырехлистника, но я все-таки посылаю его Вам и рассказываю эту историю». Вот приблизительное содержание письма, которое затерялось. Я не помню теперь даже имени молодого человека и не мог поблагодарить его, но, может быть, он теперь, спустя столько лет, прочтет здесь мое спасибо.

Я с головой ушел в свои литературные занятия, как вдруг в конце февраля читаю в вечерней газете: «Бернгард Северин Ингеман скончался». Весть эта поразила меня, как громом.

В первых числах марта, когда поля еще лежали под снегом, но воздух был уже чудно прозрачен и солнышко светило ярко, я отправился в Сорё на погребение Ингемана. Я опять стоял в том доме, где провел столько счастливых часов моей жизни, начиная еще со школьных лет и кончая днями зрелого возраста. Г-жа Ингеман была погружена в тихую, благоговейную скорбь, а старая преданная служанка их София, встретив меня, залилась слезами и принялась рассказывать о блаженной кончине хозяина, о его ласковых словах, кротких речах...

Из здания академии гроб перенесли в церковь в сопровождении густой толпы народа, тут были деputationи от всех классов общества. За гробом шло и много крестьян. Он ведь открыл для них историческую сокровищницу Дании и рассказывал о деяниях ее героев так, что трогал все сердца. В то время как гроб опускали в могилу, птички, пригретые солнышком, провожали его громким щебетанием. Печальная церемония похорон была изображена на картине, для которой я написал следующий текст:

Бернгард Северин Ингеман

«У его колыбели стояли: гений-покровитель Дании и гений поэзии. Они заглянули в кроткие голубые глаза ребенка, заглянули и в его сердце; оно не должно было стареть с годами, детская душа его не должна была меняться — вот из кого выйдет редкий садовник в саду датской поэзии! — и гении благословили его на этот труд своим поцелуем.

Куда, бывало, ни взглянет он — туда падали солнечные лучи, сухая ветка, к которой он прикасался, пускала свежие отпрыски и цветы. Он пел, как птицы небесные, из глубины радостной и невинной души.

Он брал зерна с полей народных верований, из поросшей мхом почвы давно минувших времен, держал их у своего сердца, прикладывал к своему лбу, сеял их, и они пускали ростки, вырастали в низеньких крестьянских хижинах, раскидывали, точно папоротники, свои свежие, пышные листья под самым потолком. Каждый листок был для крестьянина страницей из истории

его родины, и эти листья шелестели в долгие зимние вечера над кружком внимательных слушателей. Они слушали о датской старине, о датской душе, и датские сердца их переполнялись радостью и любовью к родине.

Он сеял эти зерна между валами церковного органа, и из него выросло поющее дерево серафимов, ветви его пели псалом: «Мир в сердце, радость в Боге!»

Сажал он волшебную луковицу и в жесткую почву обыденной жизни, и из луковицы вырастал чудный пестрый цветок, поражающий своей первобытной красотой.

Все посеянное им взойдет, оно пустило корни в сердцах народных. Речь его обогатила задушевный датский язык, любовь его к отечеству влагает силу в меч, его чистая мысль освежает, как морской ветерок.

Дело было в последнее Рождество. То, что мы расскажем сейчас, не сказка. Он сам рассказывал этот сон своему другу. Он видел, что земная жизнь его окончилась, душа сбросила с себя земную оболочку-тело, и он хотел было подняться ввысь, но кто-то удержал его за руку. Его удержала рука его верной подруги жизни, вся мокрая от слез... Но в ту же минуту он почувствовал, что подруга его следует за ним. Тут он проснулся.

Теперь он проснулся для новой жизни, а она осталась одна в том доме, где всякий, кто переступал за его порог, становился лучше, добрее. Она сидит одна, полная скорби и печали, но она знает, что для него время, которое отделяет его от встречи с нею, то же, что минута для нас. Ее уста, а с ней и все датчане, шепчут слова любви и благодарности.

Земная оболочка его, добыча тлена, схоронена под звон церковного колокола, под пение псалмов и рыдания любивших его, а бессмертная душа его вознеслась к Богу. Посеянное же им будет расти нам на радость и утешение».

В мае опять началась для меня весна и жизнь на лоне природы. Я раз сказал в шутку своему юному другу Ионасу Коллину: «Если я выиграю большой куш в лотерею, мы поедем вместе в Испанию и даже махнем в Африку!» Я, однако, не выиграл в лотерею, да и никогда не выиграю большого куша, но маленькие суммы все-таки время от времени перепадали мне, хотя и из других источников. Датский мой издатель Рейцель однажды объявил мне, что первое издание иллюстрированного собрания моих сказок разошлось, и что он хочет выпустить второе. За первое я получил всего 300 риксдалеров, теперь он предлагал мне 3000¹. Эта сумма свалилась на меня неожиданно,

¹ Во избежание недоразумения, считаю нужным разъяснить, что если Андерсен в 1849 году получил за первое иллюстрированное издание сказок только 300 риксдалеров, то это объяснялось большими затратами издателя на иллюстрации. За 2-е издание Андерсен получил больше: 1200 р., а за 3-е, в которое вошли также истории, должен был получить и еще больше. — И. К.

вроде лотерейного выигрыша, и вот мы с Коллином и поехали. Целью нашей поездки была Испания, и 6 сентября, в тот же самый день, когда я в первый раз вошел в Копенгаген, впервые узрел Италию, суждено мне было и въехать в Испанию. Я не устраивал этого нарочно, обстоятельства так сложились, что 6 сентября стало одним из знаменательнейших дней моей жизни. Впечатления, вынесенные из этой поездки, собраны мною под общим заглавием *«По Испании»*.

1863 г.

На обратном пути через Францию мы остановились в Париже. Здесь в это время был Бьёрнстjerne Бьёрнсон, и по его инициативе кружок скадиनावов устроил в честь меня праздник в Пале-рояле. Стол был убран цветами, а в глубине зала красовалась большая картина, на которой был изображен Г. Х. Андерсен, окруженный своими сказками. В вышине парил *«Ангел»*, а в отдалении проносилась вереница *«Диких лебедей»*, виднелись здесь и *«Лизок с вершок»*, и *«Мотылек»*, и *«Соседи»*, и *«Русалочка»*, и *«Стойкий оловянный солдатик»*, и даже мышки, рассказывавшие о *«Супе из колбасной палочки»*.

Бьёрнсон произнес горячую речь и в своем увлечении сравнил меня «по чисто народному остроумию и сатире» с Баггесеном, Весселем и Гейбергом.

Я ответил, что мне чудится теперь, будто я умер, и вот над моим гробом говорят теперь все, что только можно сказать лучшего, превозносят меня не по заслугам. Я, однако, еще не умер и надеюсь, что передо мною еще долгое будущее, вот я и уповаю, что, может быть, мне удастся хоть несколько оправдать только что сказанное обо мне.

Речи и тосты сменило пение, затем было прочитано *«Послание Андерсену»* поэта Н. Л. Мюллера, а потом я прочел несколько своих сказок. Вообще праздник прошел весело и оживленно. Это был один из тех светлых вечеров моей жизни, которые в последнее время стали выдаваться нередко.

В конце марта мы выехали из Парижа и направились домой в Данию. 2 апреля, день моего рождения, я провел уже в Копенгагене, а с наступлением весенней погоды опять полетел к друзьям своим в Христи-нелунд, в Баснэс и Глоруп. Гостя в этих поместьях, я и разработал свои путевые заметки, составившие книгу *«По Испании»*.

Осенью же я написал для королевского театра комедию *«Он не рожден»*¹, а для «Казино» комедию *«На Длинном мосту»*. Обе доставили

¹ В подлиннике: *«Han er ikke født»*. В заглавии этом игра слов: «født» обозначает и «рожден» и «чистокровный» — в смысле аристократического происхождения. — Примеч. перев.

мне много радости, но скоро светлым, солнечным дням настал конец; наступали тяжелые дни и не для меня одного. На Данию надвигались грозные тучи.

Король Фредерик VII находился в Шлезвиге, вдруг пронеслись тревожные слухи о его здоровье. 15 ноября я был у министра народного просвещения Монрада, он был заметно расстроен. Погода стояла серая, пасмурная, сырой, тяжелый воздух просто давил меня, и мне чудилось, что кто-то умер, кого-то все оплакивают... Немного погодя, я направился в одно знакомое семейство, жившее в одном доме с министром Фенгером, и на лестнице столкнулся с директором телеграфов, который лично привез министру какую-то телеграмму. Жуткое предчувствие охватило меня, я остался на лестнице, дождался возвращения директора и спросил его — нельзя ли узнать содержание телеграммы. Он ответил только: «Надо готовиться ко всему худшему!» Я пошел к самому министру и узнал, что король скончался. Я залился слезами. Когда я вышел потом на улицу, на всех углах и панелях уже скопился народ, — печальная весть облетела город.

На следующее утро погода опять была серая, угрюмая, под стать общему настроению. Я отправился к Христиансбургскому дворцу. Вся площадь была заполнена народом. Президент совета Галь вышел на балкон и провозгласил: «Король Фредерик VII скончался! Да здравствует король Христиан IX!» Загремело «ура!», и король несколько раз показывался народу. От скромной и счастливой семейной жизни он был призван к правлению государством и перенес вместе с ним тяжелые испытания. Весь мир знает о последней несчастной войне Дании. Датский солдат не знает усталости, храбр, прост и честен. С пением, с криками «ура!» шли войска на защиту оплота Дании против вторжения немцев, вала Даневирке.

Я еще не терял надежды, что Бог спасет Данию, но по временам в сердце мое закрадывался страх. Никогда не чувствовал я глубже, насколько я привязан к родине. Я не забыл скольких знаков искренней любви, уважения и дружбы удостоился я в Германии, не забыл своих дорогих немецких друзей, но теперь между нами был положен обнаженный меч. Я не забываю добра и друзей, но родина моя — мать мне, и она мне всего дороже!

1864 г.

В новогоднее утро был трескучий мороз, и я невольно вспомнил о наших солдатах на форпостах и в холодных бараках и подумал: «Теперь мороз соорудил мост для врага, и на берега наши хлынут неприятельские полчища! Что-то будет!» Меня не поддерживала непоколебимая уверенность боль-

шинства окружающих в неприступности Даневирке. Я ведь знал, что благодаря железным дорогам Германия могла затопить нашу страну полчищами своих солдат, как море в бурю затопляет волнами берег. Я и спросил раз одного из своих воодушевленных земляков: «А если возьмут Даневирке, как тогда быть нашим войскам в Дюббёле и Альсе? Они ведь окажутся отрезанными?» «Как может датчанин задавать подобный вопрос!» — воскликнул он. — Как можно допускать самую мысль, что Даневирке будет взят!» Так велика была вера датчан в Бога, нашу опору и защиту.

Почти ежедневно отбывали на театр военных действий все новые и новые полки наших солдат, все молодежь, отправлявшаяся на войну весело, смело, как на пир. Я неделями и месяцами не чувствовал себя в состоянии заниматься чем бы то ни было, все мои мысли были там. 1 февраля была получена телеграмма, извещавшая о переходе немцев через Эйдер и о начале военных действий. В конце недели пронеслись зловещие слухи об оставлении нашими войсками Даневирке без боя и об отступлении их к северу. Мне казалось, что все это только страшный сон, я глубоко скорбел, и не я один, всех охватило то же чувство глубокой скорби. 17 февраля неприятель перешел через Kóngeaa (Королевская река), но Дюббёль и Альс оставались еще за нами.

Предшествовавшая война все-таки подняла наш дух; тогда выдавались светлые минуты побед, теперь же мы стояли лицом к лицу с грозной силой одни, покинутые всеми, и могли утешать себя лишь тем, что, если «Бог унижает, Он же и возвышает!»

В походных лазаретах лежали рядом и датчане, и немцы. Из Фленсборга ежедневно являлись сострадательные дамы, обходили раненых и приносили им разные прохладительные напитки и фрукты. Какая-то немецкая патриотка протянула было прохладительное одному датскому солдату, но, услышав, что он благодарит ее по-датски, отдернула свое приношение и повернулась к другому больному, спрашивая его, какой он национальности. «Пруссак! — ответил он, но оттолкнул ее руку, со словами: — Не надо мне от тебя ничего, раз ты не дала ему! Теперь мы с ним товарищи! Здесь не поле брани!»

2 апреля беззащитный город Сёндерборг был выжжен неприятелем дотла, и скоро вражьи полчища наводнили всю Ютландию.

Я все еще не терял надежды и веры в Божью милость к нам и пел в то время как горсть наших храбрецов отбивалась от врага за полуразрушенными шканцами:

Горсть храбрецов, надеясь на Бога,
Не даст померкнуть славе Данеброга!

Но что поделает в наше время горсть храбрецов против вдесятеро сильнейшего врага! Я готовился ко всему худшему, предчувствовал, что отечество мое подвергнется жесточайшему расчленению и истечет кровью,

так что родной язык мой будет раздаваться лишь, как эхо, с берегов Норвегии. Все мои друзья и знакомые были так же убиты, подавлены горем, как и я. И все мы одинаково горели любовью к родине.

«Альс взят!» Конец! Конец! Никто не помог нам, и худшее уже совершилось. Я даже на минуту отшатнулся от Бога и чувствовал себя вконец несчастным. Настали дни, когда мне казалось, что мне ни до кого и до меня никому нет дела. Я не мог уже облегчать свою душу, открывая ее перед кем-нибудь: к чему? В эти-то тягостные дни и пришла мне на помощь милая, славная жена Эдварда Коллина. Она сумела смягчить мое едкое горе своим ласковым, участливым отношением и все уговаривала меня развлечься каким-нибудь новым трудом. Другая давняя и верная моя подруга, г-жа Нергор, пригласила меня к себе в свое уютное уединенное поместье Сёллерёд, расположенное на берегу тихого блестящего озера.

В честь моего прибытия был устроен настоящий праздник. Сад весь осветили разноцветными фонариками, а за мной ухаживали, как за дорогим больным, и я ожил. Г-жа Нергор тоже уговаривала меня взяться за работу, а дорогой мой друг гениальный композитор Гартман попросил меня написать либретто для его пятиактной оперы «Саул», и я исполнил его просьбу.

Затем я провел некоторое время в Мариенлюсте на морских купаниях. Я предполагал, если мир будет заключен благоприятный, проехать потом в Норвегию, где я еще не был и где мой родной язык звучит, как колокол в горах, тогда как у нас он похож на мягкий шелест наших буковых лесов, — полюбоваться там бурливыми горными речками, тихими глубокими озерами и посетить Мунха и Бьёрнсона. Оба они утешали меня в то мрачное, тягостное время милыми, сердечными письмами. Но мир был заключен крайне тягостный для Дании, и я не поехал в Норвегию. Конец этого года, самого тяжелого, горького во всей моей жизни, я провел в Баснэсе.

1865 г.

Утром в день Нового года погода была с легким морозцем, но ясная, солнечная. Все обитатели усадьбы отправились в церковь, а мне больше хотелось побыть одному. Душа моя была настроена торжественно-празднично, и я бродил по саду, где тоже царствовала святая тишина... Я смотрел в будущее без страха, но и без всяких надежд. Это было единственное в моей жизни новогоднее утро, когда я не твердил про себя с детской верой желания, которое мне хотелось видеть исполненным в наступающем году. Минувший год все еще давил меня, как кошмар.

К обеду мы все были приглашены в соседнее имение Эспе, но я попросил позволения остаться дома, и в уединении мысли мои внезапно пробудились к деятельности, так что в голове у меня сложилась целая драма «Испанские гости». Когда вернулись обратно все домашние, я

уж мог рассказать им эту романтическую драму в трех действиях сцену за сценой. Я отдался творческой деятельности, и на душе у меня стало легче.

Пьеса эта была поставлена на сцене королевского театра. Первое представление дало полный сбор, но настроение публики уже с самого начал приняло тяжелый, мрачный характер, так что мне самому стало казаться, будто я присутствую на каком-то похоронном торжестве. После падения занавеса аплодисменты смешались с шиканьем. При последующих же представлениях пьеса уже вызывала всегда единодушное одобрение. Публика ведь зачастую напоминает сырые дрова, что никак не могут разгореться. А может быть, причина не полного успеха пьесы крылась и в ней самой. Трудно вообще судить о деле, если лично заинтересован в нем, но опыт уже показал мне, что особенно строго судили большинство моих драматических произведений именно на первом представлении.

В продолжении года с лишком я не написал ни одной сказки, так я был удручен душевно. Теперь же, отдохнув на лоне природы в милом Баснэсе, среди свежего леса, у открытого моря, я написал *«Блуждающие огоньки в городе»*, а несколько недель спустя, во время пребывания в роскошном Фрийсенборге — *«Золотой мальчик»* и *«В детской»*. Летние скитания я закончил у друзей своих в Христинелунде и там я написал *«Буря перемещает вывески»*. Чернила еще не успели высохнуть на бумаге, как я уже читал написанное своим друзьям и только успел кончить — поднялся страшный ураган, пыль взвилась столбом, и с деревьев посыпались листья. Природа как будто вздумала сыграть фантазию на тему моей новой сказки. Два дня спустя, выезжая из Христинелунда, я видел на дороге вырванные с корнем деревья. Вот так буря! Такая заставила бы поплясать и вывески! Говорят, что поэты идут впереди своего века, — я во всяком случае опередил бурю.

Скоро я опять был в Копенгагене в своих маленьких комнатках, между своих картин, книг и цветов. Хозяйка моя была чудесная практичная и очень образованная женщина, я прожил у нее восемнадцать лет, и у меня и в мыслях не было переменять квартиру. Но оказалось, что я был ближе к этой перемене, нежели предполагал. Сын хозяйки вырос за это время, сделался студентом, и ей понадобилось для него помещение получше. Она с сожалением объявила мне, что нам придется расстаться, и, как это мне было ни неприятно, приходилось подумать о перемещении. Один из давнишних моих друзей, датский консул в Лиссабоне Георг О'Нейль давно уже звал меня к себе погостить, но в Испании была холера, говорили, что она уже проникла и в Португалию, и я колебался. Наконец я решился ехать, но не сразу на юг, а пока что в Стокгольм, где я уже давно не был, к дорогим друзьям Фредерике Бремер и поэту Бескову.

Когда я прибыл в Стокгольм, оказалось, что и Бесков и Фредерика Бремер на даче, но, узнав о моем приезде, оба сообщили, что немедленно вернутся в город, а я пока решил съездить в Упсалу.

Поехал я не один, а вместе с одним милым семейством, с которым недавно познакомился в Копенгагене. В Упсале я вновь увиделся со всеми своими старыми знакомыми и друзьями, между прочим, провел в высшей степени приятный вечер у композитора Иосефсона, крестника Дженни Линд.

Упсальские студенты устроили в мою честь торжественный обед, который прошел очень оживленно и весело, с речами, тостами и песнями. Я прочел три свои сказки: «Мотылек», «Ель» и «Безобразный утенок». Меня наградили шумными аплодисментами, а затем студенты с пением проводили меня домой. Ярко горели на небе звезды, светил новорожденный месяц, ночь была тихая, чудесная, а в северной части неба вспыхивало северное сияние.

По возвращении в Стокгольм я нашел у себя в номере отеля приглашение пожаловать обедать в загородный королевский дворец Ульриксдаль, лежащий милях в двух от столицы, между лесом и скалами.

Как раз в этот день разразилась гроза, хлестал дождь, а затем поднялась настоящая буря, так что я сейчас же по прибытии должен был спастись в замок, не осмотрев живописных окрестностей. Я оставался с минуту один в большой прекрасной зале, потом ко мне вошел какой-то господин, подал мне руку и сказал: «Добро пожаловать!» Я ответил на пожатие и уже начал что-то говорить, как вдруг догадался, что передо мной был сам король, я не сразу узнал его. Он сам повел меня по всему дворцу и представил королеве, которая напоминала наружностью свою родственницу, герцогиню Веймарскую. Молоденькая, тогда еще не конфирмованная, принцесса Луиза ласково протянула мне руку и поблагодарила за удовольствие, которое я доставил ей своими сказками. Она произвела на меня очень приятное впечатление своей простотой, умом и чисто детской приветливостью. Теперь она сделалась невестой датского кронпринца Фредерика и скоро будет нашей кронпринцессой. Бог пошли милой молодой чете всякого счастья!

И король, и королева, и все окружающие были со мной так ласковы и приветливы. После обеда король повел меня в курительную комнату и подарил мне несколько своих сочинений. Словом, я провел в гостях у царственной четы чудесный светлый день.

Г-жа Бремер приехала в Стокгольм, так как я не мог приехать погостить к ней в имение. «Я всегда останусь верным другом Андерсена!» — сказала она мне, крепко пожимая мне на прощание руку. Это было последнее рукопожатие, которым мы обменялись в жизни. Перед Рождеством я получил печальную весть: Фредерика Бремер скончалась. Она простудилась в церкви, вернулась домой, прилегла и тихо заснула



навек. Еще одна тяжелая утрата! Я свято храню ее письма, как память о ней, как сокровища.

Барон Бесков тоже вернулся в Стокгольм и устроил для меня обед в кружке избранных лиц. Обед прошел очень оживленно. Настроение было самое веселое, сердечно-восторженное.

Но вот настал и день отъезда. Двадцать пять лет прошло с тех пор, как я был в университетском городе Лунде. Там в 1840 году удостоился я первого публичного чествования. Я уже рассказывал об этом в *«Сказке моей жизни»*, рассказывал, как был смущен и взволнован такой честью; с тех пор я и не смел заглянуть в этот город: такие праздники не могут повторяться. Но теперь тому минуло уже четверть века, я знал, что встречу там новое поколение, и, проезжая на обратном пути как раз мимо Лунда, я и решился заехать в этот милый городок на денек. Упсальские друзья дали мне несколько писем к университетским профессорам. Я явился к профессору Лингрену и обедал у него в тесном дружеском кружке. В то время как я сидел там, явилась депутация от студентов с приглашением от них. Они наскоро украсили зал кружка и собирались дать в честь меня такой же полный молодой веселья и юношеской восторженности праздник, как их упсальские товарищи.

В семь часов вечера профессор Лингрен повел меня туда. Все говорило о торжестве — и убранство помещения, и многолюдие. Комнаты были переполнены и молодыми, и пожилыми людьми. После ужина говорились приветственные речи. Я запомнил только общее содержание их: двадцать пять лет тому назад лундские студенты чествовали меня; настроение с тех пор не переменилось, только выросло новое поколение, выросло именно под влиянием моих произведений; последние послужили им духовной пищей, вот они и высказывают мне искреннюю признательность и любовь. Потом пропели несколько песен; молодой поэт Вандель прочел прекрасное стихотворение; а я, чтобы чем-нибудь отблагодарить своих хозяев, прочел три свои сказки: *«Мотылек»*, *«Счастливая семья»* и *«Истинная правда»*. После каждой меня награждали громом аплодисментов, а по окончании чтения начали петь датские и шведские песни. Все это выходило так мило, искренно, неподдельно сердечно, что и этот вечер оставил во мне одно из самых светлых воспоминаний. Огромная толпа студентов проводила меня до отеля с дружным пением. Мы остановились на минуту перед памятником Тегнеру, а затем молодежь вновь двинулась вперед, оглашая пустынные, тихие улицы своим пением. Наконец, у дверей отеля они простились со мной девятикратным «ура!» Я с волнением поблагодарил их и отправился к себе и уничтоженный, и поднятый до небес таким чествованием. Когда я вошел в свой номер, на улице опять раздалось пение. Это была та же самая мелодия, которую я слышал здесь двадцать пять лет тому

назад. Бог пошли каждому из этих милых юношей такую же радость в жизни, какую они доставили мне в тот вечер!

Вернувшись в Копенгаген, я сейчас же перебрался в гостиницу и стал готовиться к путешествию в Португалию.

Самое приятное воспоминание оставило во мне с того времени посещение Фреденсборга. Меня пригласил туда король, и мне были отведены во дворце две комнаты. Приняли меня по обыкновению очень радушно. Королевская семья желала послушать в моем чтении мои последние сказки. Узнать нашу королевскую семью — значит полюбить ее; в Фреденсборге я увидел счастливую семейную жизнь, отношения между членами семьи были самые задушевные, искренние. На чтении присутствовали и все королевские дети: кронпринц Фредерик, принц Георг — нынешний король Греции, принцессы Александра, Дагмара и Тира и прелестный малютка Вальдемар. Ему в этот вечер позволили лечь в постель получасом позже обыкновенного, чтобы и он мог послушать немножко, сказала королева.

На другой день я посетил двух дорогих друзей. За королевским садом в одной из пристроек жил поэт Паллудан-Мюллер. Он владеет датским языком, как Байрон своим родным: в его стихах слова превращаются в музыку. Каждое его произведение говорит о его глубоко чувствующей душе истинного поэта. Поэмы *«Адам Гомо»*, *«Свадьба Дриады»* и *«Смерть Авеля»* вечно будут читаться и перечитываться, и восхищать всех. Как человек Паллудан-Мюллер натура детски наивная, открытая и хорошая, которая сразу привлекает к себе.

Второй мой визит в Фреденсборге был в счастливую семью моего друга и редкого артиста, балетмейстера Бурнонвиля; он поднял в Дании балет до небывалой высоты среди других родов искусства. В Париже видишь более замечательных танцовщиц, более блестящие декорации, вообще более роскошную обстановку, но по богатству, красоте и поэтичности балетного репертуара, созданного Бурнонвилем, Копенгаген занимает первое место. Бурнонвиль истый художник своего дела, поэт в душе, натура восторженная, отзывчивая и добрый товарищ. И весь дом его, казалось, был залит солнцем.

Итак, я видел счастливую семейную жизнь в королевском дворце и в двух меньших по размеру, но таких же светлых домах друзей моих — Паллудана-Мюллера и Бурнонвиля. Последнему я посвятил сказки, которые читал теперь в королевской семье.

Вернувшись в Копенгаген, я продолжал жить на положении путешественника, но все еще не мог решиться уехать. Во всяком случае я хотел уехать немедленно по наступлении Нового года. Рождество и Новый год я провел в Гольштейнборге и Баснэсе. Здесь я получил письмо от Георга О'Нейля, в него были вложены благоухающие фиалки — привет весны, ожидавшей меня в Португалии.

«Беспокойный вы человек! — часто говорили мне на родине. — Вечно вас тянет куда-нибудь! Вы и, живя на родине, мысленно все-таки в чужих краях! И когда только успеваете вы писать столько?» А я именно тогда только и обретаю надлежащий мир и покой душевный, когда кружусь между разными людьми и воспринимаю разнообразные, сменяющиеся впечатления. Несмотря на то, что у меня столько истинных, верных друзей, я все-таки одинокая птица. Я всей душой льну к семейной жизни, и, находя такую на родине или за границей, живо становлюсь как бы членом семьи, отчего никогда и не чувствую удручающей многих путешественников болезненной тоски или сердечного беспокойства. Но Дания все-таки постоянно остается главным очагом, к которому меня тянет обратно, и я всегда ищу себе в Копенгагене жилище с видом на свободное, открытое пространство неба, воды или хоть площади.

В последних числах января я уехал из Копенгагена. Погода стояла зимняя, холодная, но вода была чиста ото льда. Я думал, что запасся всем нужным на дорогу, но один из моих друзей думал другое и явился ко мне утром с целой партией меховых дорожных сапог. Самую большую и лучшую пару из них он и поднес мне на прощание вместо букета. Я привожу этот маленький эпизод как пример, и мог бы привести много подобных, свидетельствовавших о заботливости и внимании моих друзей.

Быстро проехал я через Корсёр и Фионию в бывшие наши герцогства Шлезвиг-Гольштейн. В Гадерслеве я увидел прусских солдат, и это произвело на меня тяжелое впечатление. Поздно вечером вышел я из вагона в Альтоне и тут же на вокзале столкнулся с каким-то пожилым господином и маленькой девочкой. Он пристально посмотрел на меня и сказал ребенку: «Дай господину руку!.. Это — Андерсен, тот самый, что написал такие славные сказки». Старик улыбнулся мне, девочка протянула мне ручку, я потрепал ее по щечке, и этот случай снова привел меня в хорошее расположение духа.

Я прямо проехал в Голландию, прежде всего в Амстердам, где провел пять счастливых недель в гостеприимном доме моего друга Брандта, оттуда в Лейден и затем в Гаагу. В отеле «Oude Doelen», где я уже останавливался в первый раз, меня сейчас же узнали и приняли с сердечным радушием.

Как хорошо, как славно так гулять по белу свету, очутиться в каком-нибудь большом городе, где тебя никто не знает, и в то же время знать наверное, что у тебя здесь есть друзья, не известные, никогда не виденные тобой, но которые — случись с тобой какая-нибудь действительная беда — сейчас же узнают и выручат тебя!

Скоро я совсем обжился в Гааге, познакомился со многими милыми людьми, а затем опять продолжал свой путь к югу.

Через Брюссель добрался я до Парижа. Там в это время находился наш кронпринц Фредерик, остановившийся в отеле «Бристоль» на Вандомской площади. Его любезность и приветливость очаровывали всех, и все отзывались о нем с энтузиазмом. Он принял меня с обычной сердечностью, и я провел в его обществе в ближайшее воскресенье весьма приятный день. Он пригласил меня поехать с ним на скачки. В час дня мы отправились в трех экипажах, запряженных каждый четверкой лошадей с форейторами. У ипподрома кронпринца встретил императорский шталмейстер и провел его в императорскую ложу; мы все последовали за ним. Возле ложи была большая комната с мягкой мебелью и камином, где пылал огонь. Немного погодя, явился сын Мюрата, пожилой господин, с сыном. Кроме них, из императорской фамилии не было никого. Внизу волновалось море человеческих голов, глаза всех были обращены на императорскую ложу; на душе у меня было светло, а в голове бродили серьезные мысли... Я думал об изменчивости человеческой судьбы: я родился в жалком домишке в Оденсе, детство провел в бедности, а теперь!..

Когда мы возвращались обратно, на панелях стояли толпы народа, желавшего видеть датского кронпринца. За обедом он вспомнил, что завтра день моего рождения — 2 апреля — и выпил за мое здоровье бокал вина.

Всякий раз, как я провожу этот день на родине, друзья мои превращают его в настоящий праздник. На этот раз мне предстояло провести его на чужой стороне, и я полагал, что он пройдет совсем иначе — тихо, скучно. Вышло, однако, не так. Ранним утром я получил с родины множество писем от друзей и телеграмму от семейства Коллин. Все дорогие моему сердцу были мысленно со мной, а днем меня посетил кронпринц. Обедая в этот день у нашего консула в большом кружке земляков. Вернувшись вечером в свой номер, я застал у себя одного земляка, постоянно живущего в Париже и принесшего мне от имени моей копенгагенской доброй знакомой, г-жи Мельхиор, чудный букет цветов. Я обрадовался, как ребенок, но сейчас же радость мою, как это вообще часто случалось, смутила мысль: я чересчур счастлив, такое счастье не может быть вечным, придется расплачиваться за него, а как-то я перенесу испытания? Да, просто страшно становится, когда видишь, что счастье так балует тебя!

В Париже я услышал в первый раз Христину Нильсон в опере «Марта». Я был в восторге от ее чудного голоса и драматического таланта и посетил ее — мы были не совсем чужды друг другу. Прочитав в копенгагенских газетах о ее первых сценических успехах, о счастье, выпавшем на долю молодой шведки, которая родилась в бедности такой богачкой, я заинтересовался ей и написал в Париж одному из своих друзей, знавшему г-жу Нильсон, чтобы он предупредил ее о моем же-

лании посетить ее, когда буду в Париже. Она ответила ему, что давно знает меня, слышала, как я читал свои сказки в одном норвежском семействе, где я был вместе с Бьёрнстьерне Бьёрнсоном. Она была представлена мне, как молодая девушка, готовящаяся к сценической карьере, и я еще подарил ей тогда какую-то вырезанную мной из бумаги фигурку¹. Тут и я припомнил, что, действительно, в Париже, в одном знакомом норвежском семействе я разговаривал с молодой девушкой, которая, как мне сказали, готовилась поступить на сцену, но с тех пор я успел забыть и самый этот случай, и даже лицо молодой девушки. Теперь я вновь увиделся с ней; она, видимо, была рада мне и подарила мне свой портрет с любезной надписью на французском языке.

У меня было рекомендательное письмо к знаменитому композитору Россини, которого я до сих пор никогда не видал. Он любезно сказал мне, что я мог бы обойтись и без рекомендательного письма, так как мое имя хорошо известно ему. Мы говорили о датской музыке. Россини знал Гаде, но лишь по имени, и лично знавал Сиббони. Во время нашей беседы явился новый гость, какой-то итальянский «*principe*», и Россини отрекомендовал ему меня «*poeta tedesco*». «*Danese!*» — поправил я его, но он взглянул на меня и сказал: «Ну да, Дания ведь принадлежит Германии!» Тогда гость вмешался и объяснил, что эти две страны только что воевали одна против другой! Россини добродушно улыбнулся и попросил меня извинить ему его незнание географии.

В Париже ждала меня еще радость: мне был прислан сюда из Вены от мексиканского императора Максимильяна орден «*Notre Dame de Guadeloupe*» при очень лестном письме, в котором говорилось, что орден этот пожалован мне за литературные заслуги. Меня очень обрадовала такая память обо мне этого богато одаренного и столь несчастного впоследствии императора. Я вспомнил, как много лет тому назад читал свои сказки его матери, герцогине австрийской Софии, и как ласково и приветливо обошлись со мной тогда принцы — Максимильян и брат его, нынешний император австрийский.

13 апреля я уехал из Парижа в Тур. На всем пути приветствовала меня весна в образе цветущих фруктовых деревьев; в Бордо же, куда я прибыл день спустя, она развернулась передо мною в полном блеске в ботаническом саду. Все деревья и южных и северных пород были в

¹ Андерсен обладал необыкновенным талантом к вырезыванию. С невероятной быстротой вырезывал он самые причудливые фигурки, арабески, цветы, животных и человечков. Особенно хорошо выходили у него лебеди, бабочки и танцовщицы, стоявшие на одной ножке. В связи с этим находился и его талант к рисованию, которого он, к сожалению, не развил. Вернувшись на родину из первой поездки в Рим, он привез с собой множество рисунков, набросков пером. У него не было средств купить разные виды, вот он и срисовывал все, что ему хотелось сохранить, на память. — И. К.

цвету, цветы благоухали, а в прудах резвились сотни золотых рыбок. Я снова свиделся здесь со своими земляками и французскими друзьями. Особенно радушный прием ожидал меня у литератора Георга Амера и артиста-музыканта Эрнста Редана. Я провел у них несколько приятных вечеров: Редан играл композиции Шумана, Амер прочел по-французски некоторые из моих сказок и «*Картинки-невидимки*». При чтении присутствовал один молодой француз, он был так растроган, что прослезился и безгранично поразил меня, бросившись ко мне и поцеловав мою руку.

Из Бордо 25 числа каждого месяца отходит пароход в Лиссабон, и я уже предупредил О'Нейля о своем прибытии 28 апреля. Погода между тем стояла бурная, и я знал, что при таких условиях переезд через Бискайский залив не будет увеселительной прогулкой. Но и сухопутный переезд через беспокойную Испанию тоже мало улыбался мне, тем более что железная дорога от Мадрида до границ Португалии еще не была окончена. Вдруг узнаю, что в Бордо приехала Ристори и будет играть в один из ближайших вечеров «*Медею*» и «*Марию Стюарт*». Я уже говорил выше, как она восхитила меня в Лондоне в роли леди Макбет. Я непременно захотел увидеть ее опять и отложил свой отъезд, отказавшись от морского путешествия. Ристори и в «*Медее*» произвела на меня такое же неизгладимое впечатление!

Прибыв в Лиссабон, я хотел было остановиться в отеле Дюран против конторы О'Нейля, но все номера оказались заняты; день был воскресный, так что никого из семьи О'Нейля не было в городе, и мне несмотря на усталость пришлось нанимать экипаж и немедленно отправляться на дачу О'Нейля, находившуюся в полумиле от города. Встретили меня там восторженно. О'Нейль ждал меня с пароходом и даже ездил встречать меня, когда тот пришел. Датские корабли, стоявшие на Таго, выкинули в честь меня флаги.

Из Лиссабона я решил съездить в Цинтру, прекраснейшую, воспеваемую поэтами часть Португалии, «новый райский сад», как называет ее Байрон. «Здесь царство весны!» — поет о ней португальский поэт Гаррет.

Дорога идет по бесплодной, скудной почве, и вдруг перед вами, словно волшебный сад Армиды, внезапно вырастает Цинтра с ее могучими тенистыми деревьями, журчащими источниками и романтическими скалами. Правду говорят, что тут человек всякой национальности найдет частицу своей родины. Я нашел здесь датскую лесную природу, наш клевер и наши незабудки, и часто наталкивался здесь на местечки, напоминавшие мне то одетую в зелень Англию, то дикий скалистый Броккен, то роскошный, полный цветов Сетубал, то северный Лександ с его березовыми лесами. С большой дороги виден городок и старинный замок, где живет король Фернандо. Замок, бывший монастырь, расположен на горе очень

живописно. Дорога к нему идет сначала меж кустами кактусов, каштанами и платанами, а затем вьется по скалам между берегами и елями. С этой высоты видно далеко-далеко во все стороны, до самых гор по ту сторону Таго, виден и могучий Атлантический океан.

В Цинтре я жил у своего друга Хозе О'Нейля. Здесь же встретил я и еще одного друга, английского посланника Литтона, сына писателя Литтона-Бульвера, и мою соотечественницу виконтессу Роборедо. Я чувствовал себя так хорошо в кругу здешних милых, сердечных друзей и знакомых, что расстаться с ними мне было очень тяжело, особенно с дорогим Хозе О'Нейлем, но время не ждало — через несколько дней из Лиссабона отплывал в Бордо пароход, на котором я решил отправиться. Буря, однако, задержала его, и я пробыл в Лиссабоне несколько лишних дней. Предстоящее плавание по бурному морю не особенно-то радовало меня.

14 августа рано утром пароход «Наварра» пришел. Это было огромное судно, настоящий плавающий отель, такого я еще и не видывал. Георг О'Нейль познакомил меня с капитаном и несколькими офицерами из команды, пожелал мне всего лучшего и крепко пожал мне на прощание руку. Он был так весел, оживлен, шутил и смеялся, а мне было так грустно: кто знает — увидимся ли мы еще?.. Раздался сигнал, отдали якорь, пару дали волю распоряжаться судном, и скоро мы были в открытом море. Пароход качало, волны вздымались все выше и выше. Ветер улегся, но море все не успокаивалось. Я было сел обедать, но сейчас же должен был встать из-за стола и спасаться на свежий воздух. Качка очень мучила меня, а я знал, что она еще усилится в Бискайском заливе.

Настал вечер, зажглись звезды, в воздухе сильно похолодало. Я не смел спуститься вниз в свою каюту и укрылся в столовой, где к полуночи и остался один. Свечи потушили; я внимал реву волн, стуку машины, звону нашего сигнального колокола и отвечавших ему, и думал о могуществе стихий — воды и огня... Мне живо вспомнилась ужасная смерть подруги моей юности Генриетты Вульф, и вдруг в судно ударила такая страшная волна, что оно на минуту как бы приостановилось, машина точно затаила дыхание... Это продолжалось всего одно мгновение, затем машина снова застучала, но мысли мои уже не могли оторваться от картины кораблекрушения. Я так живо, ярко представлял себе, как вода хлынет через потолок, как мы будем погружаться все глубже и глубже, соображал, как долго будет длиться агония... Я уже выстрадал ее, так разгорячено было мое воображение, наконец я не выдержал, вскочил, выбежал на палубу и отдернул парусину, прикрепленную к борту. Что за величественная, дивная картина! Волнующееся море все горело, огромные волны вспыхивали фосфорическим блеском, мы как будто плыли по огненному морю. Это чудное зрелище так

подействовало на меня, что я забыл всякий страх. Опасности нам угрожало не больше и не меньше, чем во всякое время, но теперь я уже не думал о ней, течение мыслей моих приняло другое направление. Разве так важно для меня прожить еще несколько лет. Если смерть придет ко мне в эту ночь — так по крайней мере предстанет предо мною во всем своем грозном, прекрасном величии. И я долго стоял на палубе, наслаждаясь чудной звездной ночью и бурным морем, и вернулся в столовую уже освеженным и успокоенным душевно, вполне отдавшись во власть Божию.

Я заснул, сон подкрепил меня, и утром я уже не страдал больше от качки, привык смотреть на бегущие, бурлящие волны. К вечеру волнение как будто стихло, а на следующий день, когда мы вошли в пугавший меня Бискайский залив, и ветер совсем затих. Морская поверхность походила на разостланный шелковый покров, мы плыли как будто по озеру. Ну как же я не баловень счастья! Ведь такого плавания я и ожидать не смел. Наутро четвертого дня плавания увидели мы маяк перед устьем Жиронды. В Лиссабоне говорили, будто в Бордо холера, но это было под сомнением. Прибывший на корабль лоцман уверил, что в городе все благополучно; первая же весть была таким образом приятная.

По реке мы подвигались медленно и прибыли в Бордо только к семи часам вечера. Здешние друзья мои уговаривали меня побыть здесь еще и махнуть рукой на Париж, где была холера. Мне и самому не хотелось туда, но путь домой через Париж был самый кратчайший, и я поехал в Париж, но остановился там лишь на один день в Grand Hotel, то есть в самой здоровой части города. Я ни к кому не заглянул, не пошел даже в театр, а только отдохнул, и вечером уже мчался по железной дороге через Северную Францию, где, как говорили, тоже во многих городах была холера. В Кельне о ней по крайней мере не говорили, но вряд ли и тут ее не было. В Гамбурге я, наконец, счел себя вне опасности и целых два дня чувствовал себя, как нельзя лучше, ходил по театрам, гулял... Вдруг вечером, накануне своего отъезда, узнаю, что как раз в эти-то дни холера пуще всего и свирепствовала в Гамбурге, выхватывая в день по сотне жертв, тогда как в Париже, откуда я бежал, заболело в день не больше сорока. Я был очень неприятно поражен, сел на диету, расстроил себе желудок и провел беспокойную ночь. Утром я уехал и к вечеру был в своем родном городе Оденсе, а день спустя, в Копенгагене.

Дорожная жизнь для меня окончилась, теперь мне предстояло плотно осесть на родной почве, пить лучи родного солнышка, подвергаться резким ветрам родины, опять барахтаться в разном вздоре, от которого не уйдешь никуда, разве в сказку, но также и жить, наслаждаясь всем великим, добрым и прекрасным, чем одарил Господь мою родину.

Друзья мои, семейство Мельхиор, встретили меня на вокзале и увезли в свою усадьбу Ролигхед. Над дверями красовались гирлянды цветов, флаги и надпись: «Добро пожаловать!» С балкона своей комнаты увидел я вдали Зунд, весь покрытый парусными судами и пароходами... Здесь, в кругу дорогих друзей, окруженный всеми удобствами и вниманием, проводил я свои дни в высшей степени весело и приятно.

В числе выдающихся людей, с которыми я виделся здесь, был и молодой художник Карл Блок; я очень высоко ценил его талант; познакомился я с ним еще в Риме, здесь же сошелся с ним поближе и стал еще больше ценить его и как художника, и как человека. Ему-то я и посвятил новые сказки, вышедшие в конце этого года.

Вскоре по возвращении на родину я опять был приглашен в королевскую семью и принят с обычной приветливостью. В конце этой недели назначен был отъезд нашей милой принцессы Дагмары в Россию, где ей предстояло сделаться Великой княгиней. Последнее свидание и беседа с нею в ее родном доме глубоко взволновали меня.

Когда она уезжала, я стоял в толпе на мостках, перекинутых с корабля, на котором она уезжала со своими родителями. Принцесса увидела меня, подошла ко мне и приветливо протянула мне руку. Тут слезы брызнули у меня из глаз, и я от всего сердца вознес к Богу горячую молитву о молодой принцессе. Теперь она счастлива; ее и там ждала такая же счастливая семейная жизнь, как та, которую она оставила здесь.

Я еще не успел побывать у милой г-жи Ингеман и теперь поспешил к ней. Она была так оживлена, так радовалась, что зрение опять к ней вернулось, а еще более радовалась мысли, что скоро, быть может, прозреет еще лучше — свидится с Ингеманом.

Из Сорё я проехал в Гольштейнбург, а вернувшись в Копенгаген, переехал на новую квартиру. Может быть, кое-кого из моих заокеанских друзей¹ и заинтересует описание моего копенгагенского жилища. Дом находится на Новой Королевской площади; в первом этаже помещается одно из наиболее посещаемых в городе кафе, во втором этаже ресторан, в третьем клуб, в четвертом, где находится моя квартира, живет еще врач, а надо мной фотографический павильон. Таким образом у меня под руками и еда, и питье, и общество, и даже врачебная помощь на всякий случай, а также фотография, если я пожелаю оставить свой портрет потомству. Кажется, недурно устроился! Обе мои комнаты невелики, но очень уютны, залиты солнцем и украшены статуями, картинами, книгами и цветами, о которых заботятся мои верные приятельницы. Каждый вечер у меня на выбор два места — в коро-

¹ Надо иметь в виду, что Андерсен обработал эту часть своей биографии собственно для американских читателей. — И. К.

левском театре и в «Казино». Друзья мои рассеяны повсюду, во всех классах общества, и я всегда нахожу у них радушный и сердечный прием.

1867 г.

В конце января профессор Гёт¹ с огромным успехом читал мои сказки «*Мотылек*» и «*Счастливая семья*» в Студенческом союзе, где до сих пор их читал вслух лишь я сам. Чтение его благодаря вдумчивости, юмору и экспрессии, с какими он передавал эти историйки, произвело большое впечатление. После чтения состоялся товарищеский ужин, и артист провозгласил во время его тост за меня, причем пояснил, что первый его дебют состоялся в Студенческом союзе и в комедии из студенческого быта Г. Х. Андерсена, — вот почему он и сегодня, выступая после стольких лет опять в том же кружке, пожелал прочесть сказки Андерсена, продолжающего оставаться членом союза, все таким же юным, свежим, если только не еще свежее, еще моложе, нежели в годы студенчества!

Профессор Гёт был таким образом первым, если не считать меня самого, чтецом моих сказок в публичном собрании². Затем один из самых выдающихся артистов королевского театра г-н Фистер создавал своим чтением нечто художественное из сказки «*Новое платье короля*». Артист Нильсен, первоклассный исполнитель ролей Гакона Ярла и Макбета, также часто читал некоторые сказки и в частных кружках, и во время своих артистических поездок по Швеции и Норвегии. А наш несравненный Михаэль Виэ с неподражаемой искренностью, юмором и наивностью читал «*Истинную правду*», «*Воротничок*» и «*Иванушку-дурачка*». Назову затем из прекрасно читавших мои сказки артистов: Христиана Шмидта и Манциуса. Наконец, профессор филологии высокоодаренный Расмус Нильсен посвятил разбору и выяснению значения моих сказок «*Синегур*» и «*Уж что муженек сделает, то и ладно*» две публичные лекции.

2 апреля, в день моего рождения, вся комната моя оказалась переполненной цветами, картинами и книгами. У дорогих друзей моих Мельхиоров встретили меня пением и речами. На дворе светило весеннее

¹ Один из выдающихся артистов, впоследствии главный режиссер королевского театра и преподаватель драматического искусства. — Примеч. перев.

² В России такой почин сделал талантливый артист московского Малого театра А. П. Ленский, с огромным успехом читавший зимой 1894 года в «Клубе художников» следующие сказки Андерсена в нашем переводе: «*Что можно придумать*», «*Самое невероятное*», «*Свинья-копилка*», «*И в щепке порою скрывается счастье*» и «*В день кончины*». — Примеч. перев.

солнышко, светило оно и в моем сердце. Я оглянулся назад на прожитые годы, — сколько счастья выпало мне на долю! И мне, как всегда, стало страшно: я не мог не вспомнить старинного сказания о богах, завидующих слишком счастливым смертным и обрушивающих на их головы беды. Но ведь наш Бог — любовь!

В Париже открылась всемирная выставка. Люди стремились туда со всех концов света. На Марсовом поле воздвигся замок Фаты Морганы, песчаное поле превратилось в чудный сад, и меня потянуло туда увидеть современное сказочное зрелище.

11 апреля я уже был в Шлезвиг-Голштинии, а затем быстро проехал Германию и очутился в Париже. Выставка еще не была окончательно устроена, но работы подвигались вперед гигантскими шагами. Все здесь занимало, интересовало, возбуждало меня. Я посещал выставку почти ежедневно и встречался здесь с друзьями и знакомыми из разных стран света. Здесь как будто было условленное место свидания всех наций.

Однажды я встретил тут элегантно одетую даму под руку с мужем негром, и она заговорила со мной на смешанном шведско-английско-немецком наречии. Оказалось, что она шведка родом, но затем жила все за границей. Узнала она меня по портрету. Она познакомила меня со своим мужем, знаменитым трагиком Ирой Ольриджем, который был приглашен в парижский Одеон-театр. Я пожал руку артиста, мы обменялись по-английски несколькими любезностями, и мне было очень приятно встретить друга и в лице одного из даровитейших сынов Африки.

В Париже находился король греческий Георг, и я имел удовольствие вновь свидеться с молодым королем, которого я знал еще с того времени, когда он ребенком слушал, как я читал свои сказки.

К 26 мая, дню серебряной свадьбы датской королевской четы, я хотел быть в Копенгагене и отправился туда через Лосле и Швейцарию, но простудился в дороге и проболел в Лосле, так что приехал в Копенгаген несколькими днями позже. В числе многих лиц, награжденных при этом торжественном случае чинами или орденами, был и я; король возвел меня в звание статского советника.

Королевская семья жила в Фреденсборге. Принцесса Дагмара, супруга наследника русского престола, гостила в это время у своих родителей. Я отправился в Фреденсбург, и, хотя день был неприятный, меня приняли с обычной любезностью. Король пригласил меня остаться обедать, и я имел случай побеседовать с приветливой, любезной принцессой Дагмарой.

Лето стояло жаркое, и оставаться в душном городе было вовсе не заманчиво, я и отправился гостить в Ролигхед к друзьям своим Мельхиорам. Там я написал *«Альбом крестного»* и *«Зеленые крошки»*, но в голове у меня не переставала шевелиться идея — передать в сказке впечатление, произведенное на меня Парижской выставкой, этой сказкой нашего времени, так называемого «века материализма». Но тщетно я

искал исходную точку, ядро сказки, как вдруг во мне пробудилось одно воспоминание, относившееся к моему пребыванию в Париже перед отъездом в Португалию. Я жил в отеле «Лувуа» на площади Лувуаз. Вокруг фонтана был разбит садик, одно из больших деревьев засохло и валялось выдернутое с корнями на земле. Возле стояла телега с большим, только что распустившимся деревом, привезенным для посадки. «Бедное деревцо! Бедняжка дриада! — подумал я. — Ты явилась сюда из чудесного, светлого деревенского воздуха, будешь глотать здесь воздух, пропитанный газовыми испарениями, известковой пылью, и погибнешь!» Завязка была найдена, и идея этой сказки преследовала меня все время пока я гостил в Гольштейнборге, в Баснэсе и Глорупе. Я набросал сказку, но этот набросок не удовлетворял меня; я видел выставку лишь в период ее развития, а настоящее цельное впечатление можно было получить от нее только теперь; но и сделать в одно лето две поездки в Париж тоже не так-то легко, если у тебя нет особых средств. Наконец я все-таки не смог преодолеть своей страсти к путешествию и влечения еще раз увидеть выставку во всей ее красе, опять отправился в Париж, и после того уже написал «Дриаду».

На обратном пути из Парижа я остановился на день отдохнуть в родном Оденсе. На всех домах развевались датские флаги, манеж был разубран: город ожидал вновь сформированные полки солдат. Меня пригласили на торжество. Огромное старинное здание было все разукрашено зеленью и флагами, столы ломились под яствами и напитками, вокруг них суетились в качестве хозяек городские дамы и девицы. Солдаты явились, загремело «ура!», начали раздаваться песни и речи. Как изменилось все к лучшему, как светло, прекрасно наше время в сравнении со стариною, которую я знавал. Я высказал это в речи, в которой отметил также, что много воды утекло с тех пор, как я в последний раз был в этом манеже; тогда я был еще маленьким мальчиком и видел, как солдата наказывали шпицрутенами. Теперь я опять вижу здесь солдат, нашу опору и защиту, но их приветствуют песнями, речами, они сидят под развевающимися знаменами: будь же благословенно наше время! Некоторые из моих здешних друзей заявили мне, что я должен приехать в Оденсе еще раз в нынешнем году, что не следует мне всегда так заглядывать в родной город только проездом, что и он тоже собирается дать в честь меня праздник. К этому было прибавлено, что приглашение от города я получу, вероятно, в ноябре. Я ответил, что всем сердцем благодарен за симпатии ко мне, но просил бы отложить все это до 1869 года. «4 сентября 1869 года исполнится ровно пятьдесят лет с того дня, как я покинул Оденсе и отправился в Копенгаген; 6 сентября я прибыл в столицу, и этот день для меня знаменательнейший день в жизни. Так вот и подождем лучше до этого дня полувекового юбилея!» «До него еще два года! — ответили мне. — Незачем откладывать такие приятные вещи! Увидимся в ноябре!»

Так и вышло. Предсказание старой гадалки, говорившей, что в Оденсе будет зажжена в честь меня иллюминация, сбылось в самой прекрасной форме.

В конце ноября я получил в Копенгагене следующее послание от городского управления Оденсе, помеченное 23 ноября 1867 года.

«Оденсейское городское общественное управление сим имеет честь уведомить Ваше Высокородие, что мы избрали Вас почетным гражданином Вашего родного города и просим Вас пожаловать к нам в Оденсе в пятницу 6 декабря, когда мы желаем поднести Вам изготовленный к сему случаю диплом на звание почетного гражданина». Затем следовали подписи.

Я ответил на это: «Вчера вечером получил лестное послание городского общественного управления и спешу принести за него свою глубокую благодарность. Родной город мой оказывает мне через Вас, милостивые государи, такую честь, о которой я никогда и не мечтал.

В нынешнем году минуло 48 лет с того времени, как я бедным мальчиком оставил свой родной город, и теперь он готовится принять меня, обогатившегося за эти годы счастливыми воспоминаниями, как дорогого сына. Вы поймете мои чувства. Я чувствую себя вознесенным и не тщеславно, но смиренно благодарю за это Бога. Благодарю я Его и за часы тяжелых испытаний, и за многие дни радостей, которые Он послал мне. Примите мою сердечную признательность.

Я радуюсь возможности свидеться с моими благородными друзьями в своем родном городе в назначенный день, 6 декабря, и надеюсь, что свидание это состоится, если только Бог пошлет мне здоровья.

Ваш благодарный и почтительный

Г. Х. Андерсен».

4 декабря я прибыл в Оденсе. Погода стояла холодная, бурная; я сильно простудился и схватил зубную боль. Но вот проглянуло солнышко, и наступила тихая, чудесная погода. Епископ Энгельстофт встретил меня на вокзале и повез меня к себе в епископское подворье, находившееся на берегу реки Оденсе, как и описано у меня в сказке «Колокольная бездна». К обеду были приглашены многие из городских властей, и он прошел очень оживленно и интимно весело.

Наступил и знаменательный день 6 декабря, самый светлый, праздничный день в моей жизни. Всю предшествовавшую ночь напролет я провел без сна, я изнемогал и телом, и духом, у меня болела грудь и ныли зубы, как бы для того, чтобы напомнить мне: ты со всей своей славой лишь дитя суеты, червяк, извивающийся в пыли! И я чувствовал всю истину этого не только всеми фибрами своего тела, но и всей душой. И как я ни желал наслаждаться выпавшим мне на долю огромным счастьем, я не мог, меня просто била лихорадка.



Утром 6 декабря я услышал, что весь город изукрашен и что все учащиеся отпущены с занятий. Я чувствовал себя таким подавленным, ничтожным и недостойным, как будто стоял перед лицом Божиим. Каждая моя слабость, каждый грех — словом, делом и помышлением — так и вырисовывались передо мной огненными буквами, выступали с необычайной силой и яркостью, словно в день Судный! Бог ведает, каким ничтожным казался я сам себе в тот день, когда люди так возвышали, чествовали меня.

Вскоре пришли ко мне полицеймейстер Кох и бургомистр Мурье и пригласили меня пожаловать в ратушу, где хотели поднести мне диплом на звание почетного гражданина. Почти на всех домах развевались национальные флаги; улицы были запружены городским и окрестным населением; меня встречали криками «ура!», а у самой ратуши встретили музыкой. Играли мелодии к моим песням «Замок Вальдемара» и «Дания — моя родина!» Я был совсем подавлен, и никто не станет удивляться тому, что я сказал, не мог не сказать своим спутникам: «Да, каково-то бывает преступнику, которого ведут на казнь! Право, я кажется, чувствую что-то вроде этого!»

Зал ратуши был переполнен разодетыми дамами, чиновными лицами в парадных мундирах, гражданами и крестьянами.

Бургомистр произнес речь, в которой объяснил, по какому случаю они все собрались здесь, затем обратился ко мне с несколькими сердечными, лестными словами, передал мне диплом и пожелал долгой жизни. Слова его были покрыты девятикратным «ура!» всех присутствовавших.

Я ответил приблизительно такой речью: «Великая честь, которую оказывает мне мой родной город, и подавляет, и возносит меня. Мне невольно приходит на ум Аладин в ту минуту, когда он, воздвигнув себе с помощью чудесной лампы роскошный дворец, подходит к окну и говорит: «Вон там ребенком бедным я бродил!» И мне тоже была дарована Богом чудесная лампа — поэзия; свет от нее разливается по всем странам, радуя людей, значение ее признается всеми, все говорят, что она светит из Дании, и сердце мое бьется от радости. Я всегда знал, что имею друзей на родине, и уж тем более в том городе, где стояла моя колыбель. И вот теперь он дает мне такое почетное доказательство своего расположения, оказывает мне такую честь, что я, глубоко взволнованный ей, могу лишь ответить вам сердечным спасибо!»

Я просто готов был упасть под наплывом чувств и впечатлений и только на обратном пути из ратуши к подворью епископа начал различать приветливые лица, кивавшие мне со всех сторон. Я видел всеобщее ликование, развевающиеся флаги, а сам в это время с сокрушением думал: «Что будут говорить обо всем этом в стране? Что

скажут газеты?» Я готов был примириться со всякими пересудами, пусть говорят, что я не стою таких чествований, только бы не обрушивались за это на мой родной город! Вот почему я и был так несказанно рад — я признаюсь в этом! — когда узнал, что все газеты, и крупные, и мелкие, относятся к моему празднику очень сочувственно.

По возвращении из ратуши в дом епископа, я узнал первый отзыв одной из самых влиятельных копенгагенских газет¹, только что полученной с почты: мне посылали сердечный привет, а мой родной город хвалили. Меня это очень обрадовало и успокоило, и я теперь уже мог всей душой отдаться празднику. За мной опять приехали распорядители торжества, и я отправился с ними, чувствуя себя куда спокойнее, увереннее, чем утром. Теперь-то уж я разглядел, как следует, праздничное убранство города. Оркестры все играли мои песни.

В зале ратуши был воздвигнут на пьедестале мой бюст, окруженный медальонами с надписями: «2 апреля 1805 г.» (день моего рождения), «4 сентября 1819 г.» (день моего ухода из Оденсе) и «6 декабря 1867 г.» Народу собралось 250 человек, из всех классов общества. Бургомистр провозгласил тост за меня и затем мне была пропета приветственная песня:

Лебедь вновь в край родной прилетел,
Где в утином гнезде он родился,
Где печальный влачил он удел.
Где смиренью, терпенью учился!

«Безобразным утенком» он слыл,
В камышах от пинков укрывался,
В мире грез — утешенья и сил
Для борьбы с злом и тьмой набирался.

У! как злобно вопил птичий хор!
Ведь ни гуси, ни утки не знали,
Что покинет утиный он двор
И исчезнет в сияющей дали!

Что недаром к чужим берегам
Лебедь гордый полет свой направит,

¹ Вот что говорилось в газете «Dagbladet» от 6 декабря: «Г. Х. Андерсен празднует сегодня редкое радостное торжество: сегодня город Оденсе подносит ему диплом на звание почетного гражданина. Подобная честь у нас очень редко кому выпадает на долю, но г. Оденсе не ошибся, удостоив такого отличия вышедшего из него сына бедного ремесленника, составившего себе имя, которое чтят и далеко за пределами нашей маленькой родины и которое таким образом приносит честь и всей стране, и его родному городу. Многие, наверное, принимают мысленно участие в сегодняшнем торжестве, которое будет занимать такое выдающееся место в «Сказке жизни» Андерсена, и шлют поэту свой привет и спасибо за все, что он дал нам».

Что он славой покроется сам
И родной уголок свой прославит!

Что волшебною песнью своей
Лебедь, помнящий детства невзгоды,
Очарует весь мир, всех людей,
Несмотря на их званье и годы!

Коммерсант Петерсен тоже поднял в честь меня бокал и сказал такую речь: «Почти полвека тому назад покинул наш город бедный мальчик, чтобы начать борьбу с жизнью. Проводы были самые тихие; никто ведь не знал его, никто не обращал на него внимания; только две женщины — его мать и бабушка провожали его недалеко за город, но пожелания и молитвы их провожали его во всю дорогу. Первой целью его стремлений была столица; там он решился начать свою великую борьбу, чтобы достигнуть великой цели. В столице он очутился вначале одиноким, без друзей, без родных, но все же он начал свою борьбу, у него было две могущественных опоры: вера в Провидение и вера в собственные силы. Тяжела была борьба, много пришлось ему изведать лишений, но твердая воля непрестанно двигала его вперед, и, может быть, именно эта борьба и явилась родоначальницей неистощимых богатств его фантазии. Мальчик стал мужем и находится теперь среди нас. Имя его было в эти дни на устах у всех. Борьба его закончилась победой; его чествовали и короли, и князья, и — что еще важнее — чествуют его сограждане». В заключение оратор поблагодарил меня от лица всех сограждан за все, что я подарил своей родине и за то, что я никогда не забывал своего родного города. Конец речи был покрыт восторженным «ура!» Я был очень тронут и ответил приблизительно так: «Мне невольно приходят на ум дни детства и связанные с ним воспоминания. С этим залом связано три воспоминания — в первый раз я явился сюда ребенком смотреть музей восковых фигур, и вид королей, князей и разных знаменитостей произвел на меня сильное впечатление. Во второй раз я смотрел тут на празднество, устроенное по случаю дня рождения короля. Меня провел сюда старичок-музыкант, и я любовался из оркестра на освещенный зал и на танцующих, узнавая среди них знакомые лица. В третий же раз я нахожусь здесь сегодня, когда сам являюсь почетным гостем, которому оказано столько сердечного внимания. Все это кажется мне сказкой; впрочем, я уже успел убедиться, что сама жизнь — прекраснейшая сказка!»

Оркестр заиграл мелодию «Дания — моя родина», и епископ Энгельстофт очень тепло и красноречиво провозгласил тост за Данию. Бургомистр Кох произнес юмористический спич, в котором предлагал выпить за мою «супругу», — она хоть и существовала лишь в моем поэтическом воображении, тем не менее создала для многих рай на всю жизнь. Я поблагодарил за этот тост и, напомнив присутствовавшим о старинном обычае украшать кубки венками, добавил, что желал бы украсить свой венком из цветов, на

лепестках которых красовались бы имена присутствующих здесь милых дам. Затем сказал шутливую речь полковник Вепелль, он говорил о моих детях, которых так любят его солдаты и которые направляют их на путь истины. Инспектор школ Мюллер приветствовал меня от имени 1600 детей, находившихся под его надзором; мой школьный товарищ, советник Петерсен прочел посвященное мне стихотворение, а городской пробст Свитцер заявил, что следует провозгласить тост и за мой родной город, избравший меня своим почетным гражданином. Пришлось мне еще раз ответить речью. Я сравнил в ней свою жизнь с постройкой здания, над которой особенно потрудились два человека — И. Коллин и Г. Х. Эрстед. Теперь здание возведено и остается лишь увенчать его, пусть же этим венком будет мое спасибо городской общине Оденсе, которая — вижу с удовольствием — процветает не только материально, но и духовно, стремясь к добру и красоте. Я бы охотно обратился со своим спасибо отдельно к каждому из присутствующих, доставивших мне сегодня столько радости, но это невозможно, и мне приходится собрать их все в одно великое спасибо и пожелание процветания моему родному городу Оденсе!

После ужина предполагались танцы, но еще до начала их меня усадили в кресло посреди зала, попарно вошли разодетые детишки и принялись плясать вокруг меня, напевая сложенную для этого случая Иоганом Кроном песенку:

Вьется змейкою дорожка;
Покосившийся немножко
Домик низенький стоит...
Там — учитель говорит —
Жил наш Андерсен малюткой.
Оле сказкой, прибауткой
Тешил мальчика не раз
Перед сном в вечерний час.

Домовой его баюкал;
Леший из лесу аукал;
Мальчик видел водяных;
Из ветвей ему густых
Улыбалася Дриада,
А зимой в окно из сада
К ним глядела без чинов
Королева бурь, снегов.

Видел он фантазий фею,
Проводил часы он с нею,
И все сказки, что слышал
От нее — нам рассказал!
Сколько мы часов приятных
В чтение сказок тех занятных
Провели и проведем,
Видя вьвявь и Старый дом,

*Карен, Инге, как живую,
И Русалочку, и злую
Королеву, что детей
Превратила в лебедей!
Видя эльфа, пчел царицу,
Старый дуб и Феникс-птицу,
Кошек, Руди, Деву льдов,
Эльфов, троллей всех сортов!*

*Счастье, знать, само надело
На тебя калоши. Смело
В них шагал ты по дворцам!
Но всего любимей там
Ты, где мы царим всецело!
Ну, живей, друзья, за дело!
Хоть мала рука у нас,
Так пожмем двумя зараз*

*Руку сказочника-друга!
Велика его заслуга:
Он развел волшебный сад,
Где найдет и стар, и млад
Тень и отдых, и прохладу,
Утешенье и отраду!
Другом мы его зовем,
В честь его мы песнь поем!*

Во время ужина была получена на мое имя масса приветственных телеграмм. Оказывалось, что редкое празднество, данное в честь меня, нашло в стране сочувственный отклик, и это, конечно, сделало мою радость еще полнее. Мысль о том, как отнесутся в стране к этому празднику, боязнь осуждений угнетала меня во все время его, набрасывала на весь этот блеск и веселье туманный покров, и я отдавался своей радости лишь урывками. Но вот пришла первая телеграмма. Ее прислал Студенческий союз, и содержание ее рассеяло туман, на душе у меня просветлело. «Студенческий союз шлет Г. Х. Андерсену свой привет по поводу сегодняшнего знаменательного торжества, благодарность за прошлое и лучшие пожелания будущего!» Теперь я знал, что университетская молодежь принимала участие в празднестве и моей радости. Затем последовали телеграммы от частного кружка копенгагенских студентов и от Ремесленно-промышленного общества города Слагельсэ. Там вспомнили, что я провел в этом городе несколько лет школьной жизни и таким образом до некоторой степени принадлежу и ему. Потом были получены приветственные телеграммы от друзей моих из Орхуса, из Стеге и проч. Телеграмма следовала за телеграммой. Одну из них прочел бургомистр. Это был привет от короля. «Я и вся семья моя присоединяемся к сегодняшнему чествованию Вас гражданами Вашего родного города и шлем Вам наши лучшие пожелания. Христи-

ан Р.» Общество отозвалось на это восторженным «ура!»; с моей души было свеяно последнее облачко.

Я был бесконечно счастлив и — в то же время мне пришлось убедиться в невозможности полного счастья здесь, на земле, сознать, что все-таки я лишь жалкий смертный, подверженный всяким земным невзгодам. Меня мучила зубная боль, усилившаяся от жары и душевного волнения до невероятной степени. Тем не менее я прочел вечером для детишек сказку. Затем явились делегации от различных городских корпораций. Все они с факелами и развевающимися знаменами собрались на площади. Я подошел к открытому окну; отблеск от иллюминации и от факелов заставлял гореть все окружающее, площадь была запружена народом, грянула приветственная песнь... Потрясенный душевно, изнемогающий телесно от страшной зубной боли, я не мог наслаждаться этой блаженнейшей минутой в моей жизни. Зубная боль была просто нестерпима; струя холодного ветра, дувшего из окна, сверлила и жгла мои челюсти, и я вместо того чтобы отдаваться упоению этих минут, следил по печатному тексту песни — сколько еще остается петь куплетов! Я дожидаться не мог конца этой пытки, которой подвергала мои зубы холодная струя воздуха. В эти минуты боль и дошла до своего апогея, когда же факелы погасли, унялась и боль. Ах, как я обрадовался! Всюду встречал я приветливые взгляды, все желали сказать мне доброе слово, пожать руку. Усталый вернулся я в дом епископа и скорее отправился на покой, но сон бежал от меня, так я был взволнован, и я заснул лишь к утру.

Утром я поспешил написать благодарственные письма королю, Студенческому союзу и ремесленному обществу в Слагельсэ. Затем пришлось принимать многочисленные визиты. Отмечу посещение старухи, бывшей одно время нахлебницей у моих родителей. Она плакала от радости, говоря о моих успехах, и рассказала, что стояла вчера вечером в толпе на площади и, любуясь всем этим великолепием, вспоминала моих старых родителей и меня самого, каким я был в детстве. «Такое же великолепие было, я помню, когда приезжали сюда король с королевой!» — заметила она. То же говорила она и вчера другим старухам, своим соседкам, и те плакали вместе с нею от радости, что «бедный мальчик мог дойти до того, что его чествуют, как короля!»

Вечером у епископа собралось большое званое общество, человек двести. Я читал сказки, а потом молодежь танцевала.

На следующий день я делал визиты членам городского управления и разыскивал своих старинных знакомых со времен детства. Одна из дочерей пастора и поэта Бункефлода, Сусанна, была еще жива. Зашел я и в ветхий домик, где протекло мое детство, и в школу для бедных, где я обучался ребенком.

Канун моего отъезда совпал с ежегодным праздником в так называемом «приюте Лана», где воспитывались бедные дети. Я находился в

числе приглашенных на празднество. Зал был переполнен призреваемыми детьми и их матерями. Особенно памятен для меня этот праздник благодаря одной сказанной во время его речи. На стене висел портрет Лана, украшенный цветами. «Кто этот Лан?» — спросят, может быть, многие. — Уроженец Оденсе, бедный мальчик, научившийся шить перчатки и занимавшийся продажей их вразнос. Случилось ему попасть и в Гамбург, где скоро на его изделия возник большой спрос. Деятельность его расширилась, он разбогател и выстроил себе дом в Оденсе. Женат он никогда не был, делал много добра и весь свой капитал завещал на устройство в его доме на Нижней улице приюта для бедных детей — мальчиков и девочек. На могиле его на оденсейском кладбище простая каменная плита с надписью: «Здесь покоится Лан; памятник ему стоит на Нижней улице». На стене в школьном зале висел еще один портрет, портрет старушки. Она много лет торговала на улице яблоками и несколько лет тому назад умерла. Ребенком она воспитывалась в приюте Лана и этому-то приюту она и завещала сколоченные ей с великим трудом несколько сот риксдалеров. Вот почему ее портрет и висит рядом с портретом Лана.

Молодой, способный инспектор школ и пастор Мюллер коснулись в своих речах замечательных людей нашей родины, пастор закончил, обращаясь к детям, приблизительно следующими словами: «Вы все знаете, какое торжество праздновали мы на этих днях. Вы видели, как чествовали одного из ваших сограждан, уроженца нашего города, а он сидел на такой же бедной, простой школьной скамье, как и вы. Он теперь здесь, между нами». Я видел, что у многих навернулись на глазах слезы; я раскланялся перед собранием, и ко мне со всех сторон потянулись для пожатия руки матерей. Оставляя собрание, я слышал их пожелания: «Господь порадуй и благослови вас!»

Это был праздник в память Лана, это был праздник и для меня. В сердце мое падали солнечные лучи один за другим, и оно уже почти переполнилось. В такие-то минуты и льнешь к Богу не меньше, чем в самые горькие.

Настал и день отъезда 11 декабря. Железнодорожная станция была окружена толпами народа, дамы явились с букетами цветов. Подошел поезд, он останавливался здесь всего на несколько минут, и бургомистр воспользовался ими для коротенькой прощальной речи. Я пожелал им всего хорошего, раздалось «ура!», затерявшееся в воздухе, так как мы быстро удалялись, но недалеко от города нам попало еще несколько групп людей, проводивших нас теми же дружными восклицаниями.

По мере того как я удалялся от родного города, весь этот праздник все больше и больше казался мне сном. Только теперь, сидя один в вагоне, мог я воскресить перед собою общую картину всех этих почестей, радости и блеска, которые даровал мне Господь. Величайший, высший

момент моей жизни я теперь пережил, и мне оставалось только благоговейно благодарить Господа за пережитое и просить Его: «Не оставь меня, когда настанет время испытаний!»

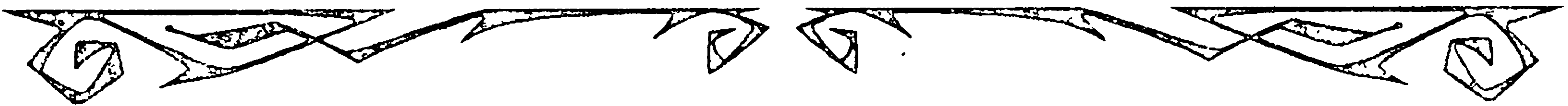
В Ньюборге я пересел на пароход-ледорез, так как лед уже обложил берега. Все пассажиры относились ко мне с сердечным вниманием; это являлось как бы отголоском музыки бальной ночи. Поздно вечером прибыл я в Копенгаген, но как ни утомлен был с дороги, все-таки не скоро улегся, в голове у меня все бродили радостные, кроткие, благодарные мысли. На другое утро мне хотелось поскорее повидаться с моими друзьями, которые все, конечно, принимали участие в моей радости. Но тут у меня опять возобновилась несносная зубная боль. На улице я столкнулся с двумя хорошими «знакомыми», чтобы не сказать «друзьями», двумя из наших писателей, моими ровесниками. Они сейчас же заговорили со мною, но только не о празднике в Оденсе, а о моей зубной боли, и как я ни старался свести разговор на событие, доставившее мне столько радости, они упорно не поддавались. Это огорчило меня, я живо почувствовал, что они недовольны выпавшим мне на долю почетом. Услышал я затем и выражения искренней радости и сочувствия, услышал и такие слова: «Ваше счастье взбаламутило болото!» Некоторые из наших выдающихся писателей, из тех, что редко заглядывали ко мне, тоже порадовали меня изъявлениями их сердечного участия. Так, в числе первых посетил меня поэт Паллудан-Мюллер и высказался очень тепло и мило: «Почести, оказанные Вам, оказаны чисто духовным дарованиям!» И это его особенно радовало. Затем он прибавил: «Никто из крупных поэтов, кроме Вас, не сумел бы держать себя и говорить так хорошо и просто, как Вы!»

В Копенгагене находился в это время и Бьёрнсон с супругой. Со слезами на глазах высказали они мне свою сердечную радость и участие. Бьёрнсон был также очень доволен тем, как я держал себя, и сказал, что прекраснейшей из всех моих сказок является речь, сказанная мною в ратуше — о трех моих посещениях ее. В высшей степени сочувственно высказалась о празднестве и талантливая г-жа Гейберг, применившая к моей матери датскую пословицу, до сих пор мне не известную: «И у бедной женщины может родиться богатое дитя!»

В вечер под Новый год все мысли мои сильнее, чем когда-либо, сплелись в одной благодарственной, благоговейной мысли о том, что даровал мне в жизни Господь. Ни один год не был для меня богаче радостями, чем этот последний. Что-то ждет меня за ним? И я молился: «Боже, дай мне силы с твердостью встретить грядущие испытания! Не оставь меня, Боже!»

(Копенгаген, 29 марта 1869 г.).





ИЗ ПЕРЕПИСКИ АНДЕРСЕНА С ЕГО ДРУЗЬЯМИ И ВЫДАЮЩИМИСЯ СОВРЕМЕННОКАМИ

Источниками помещаемой в нашем издании «Переписки А. с друзьями и выдающимися современниками» послужили: изданные гг. Билле и Бёгом «*Breve til H. C. Andersen*» (Письма к Г. Х. Андерсену), Копенгаген, 1877 г., «*Breve fra H. C. Andersen*» (Письма от Г. Х. Андерсена) 2 т., Копенгаген, 1878 г. и «*H. C. Andersen og det Collinske Hus*» (Г. Х. Андерсен и семья Коллин) изд. Э. Коллина, Копенгаген, 1882 г. Издатели гг. Билле и Бёг говорят в предисловии к своим изданиям, что А. в составленном им незадолго до смерти завещании поручил передать в их распоряжение все оставшиеся после него бумаги. Бумаг этих оказалась масса, так как А. по старой привычке припрятывал все, что имело для него хоть какой-нибудь интерес — не только письма, важные и не важные, но даже вырезки из газет, театральные афиши и т. п. В последние годы жизни он не раз принимался разбираться в своих бумагах, наполнявших несколько ящиков, но пока был здоров не мог посвятить этой разборке много времени, отвлекаемый литературными трудами, когда же силы его стали падать, уже не мог справиться с такой задачей. А. не оставил никакого распоряжения относительно способа пользования его бумагами. Издателям пришлось поэтому руководствоваться исключительно собственными соображениями, и они остановили свой выбор на тех письмах, которые могут послужить к освещению самой личности А. и его духовного развития — и как человека, и как писателя. «Письма эти, — по словам издателей, — воскрешают перед нами богатую духовную связь жизни А. с жизнью его современников, торжество его над невзгодами, победу в тяжелой борьбе и искреннюю признательность ему со стороны множества лиц, в сердцах которых поэзия его находила глубокий отзвук». Как ни желательно было издателям разместить письма к А. в хронологическом порядке, они не сочли это возможным; зато они надеются, что размещение писем по группам, согласно их авторам, поможет яснее проследить превращение «безобразного

утенка в дивного лебедя, чему немало поспособствуют еще письма от самого А., которые размещены в хронологическом порядке. В число последних издателям не пришлось, однако, включить часть переписки А. с семьей Коллин; Э. Коллин пожелал воспользоваться ей для собственного издания, упомянутого выше: «Г. Х. Андерсен и семья Коллин». Мы же, пользуясь всеми тремя названными источниками, имеем возможность дать, хотя и значительно меньшее по объему, но зато более цельное издание переписки А. При выборе писем мы руководствовались желанием дать лишь то, что может представлять интерес для русских читателей, служа как бы дополнением к автобиографии А.

Изд.

ПИСЬМА ОТ АНДЕРСЕНА

Слагельсэ, 1823 г.

Добрейшая г-жа Андерсен!¹

Не рассердитесь, что я позволяю себе писать к Вам! Но — Вы, пожалуй, еще не знаете даже, от кого письмо; от «*der kleine Deklamator*». Теперь я попал на хорошую дорогу, по которой могу направиться к высокой цели всех моих стремлений. К тому же я теперь в таких летах, что могу понять, как много значат для меня серьезные занятия. Конечно, я все еще остаюсь таким же ребенком, как и прежде, но я даже рад этому. Если богатое событиями детство может сделать из человека поэта, то из меня непременно выйдет поэт. Только не маленький! Их и без того довольно; если же я не могу сделаться великим поэтом, то постараюсь сделаться хоть полезным членом общества. Отца у меня нет, мать очень бедная; кроме Бога у меня нет отца, но Он-то лучше всех и позаботится обо мне. Я сообщаю г. советнику Коллину мои отметки как хорошие, так и худые. Он теперь ведь единственный мой покровитель в свете, добровольно заступивший место моего отца, и я всеми силами стараюсь быть ему достойным сыном. Теперь уже скоро полгода, как я нахожусь в училище, но отличные отметки заслужил еще только по Закону Божию и по поведению. Последнее, впрочем, один из самых важных предметов, и — я спокоен.

Я совсем не пишу стихов, хотя меня часто подмывает приняться за это, но я борюсь пока, как герой. Город вообще скучен своей чопорностью. На свои занятия здесь я смотрю как на огромное толстое дерево: за корой его течет дивный сок, который может окрылить мою мысль, вдохновить меня, но прежде чем добраться до него приходится изгрызть

¹ Г-жа Андерсен, артистка датского королевского театра, воспитанная в доме Рабека. См. «Сказка моей жизни».

твердую кору дерева, и больно достается зубам, особенно в первое время. Напишите же мне, добрейшая г-жа Андерсен. Преданный Вам А.

Слагельсэ, 25 марта 1824 г.

Г. ректору Мейслингу.

Надеюсь, что Вы прочтете мое письмо, если я пообещаю впредь не беспокоить Вас подобными. Вы сердитесь на меня, особенно за то, что я будто бы улыбнулся, получив дурную отметку, но клянусь Богом (а я убежден, что Вы еще не заметили во мне склонности к неправде), что я никогда ни в училище, ни по дороге домой ничем не выказывал ничего похожего на самодовольство; подобное поведение совсем не в моем характере. В письмах к г. советнику Коллину я постоянно выражал печаль, так как Вы все недовольны моими успехами в греческом языке, и сами сказали ему, что Вы не находите и следа тех дарований, которые предполагали во мне другие. Он же посоветовал мне не падать духом, так как он вообще доволен другими моими отметками, и просил меня только постараться сколько могу по греческому языку. Всякая грамматика, исключая датской, дается мне с трудом, а если я к тому же еще волнуюсь, кровь приливает мне в голову, и я отвечаю Вам дурно, подавая Вам повод к неудовольствию. Вы предполагаете, что я вместо уроков забавляюсь чтением посторонних книг, но уверяю Вас, что Вы ошибаетесь; я трачу на это только несколько часов редкий раз по воскресеньям, но так как Вы этого не желаете, то я впредь не буду вовсе.

Я чересчур много думал о своих дарованиях, поступая в училище, и это вместе с непривычными занятиями и отсутствием всякого элементарного образования отзывалось на мне настолько, что только доброе отношение ко мне моих наставников могло еще придать мне силы трудиться.

Прошу у вас снисхождения еще на несколько времени; если же я и в следующей четверти не окажу успехов, то даю Вам слово, что сам откажусь от положения, в котором только подаю повод к неудовольствию. Теперь наступают светлые утра, они помогали мне в прошлом году — Вы сами признавали тогда, что я стараюсь, — помогут и теперь. Над дурными же отметками, я, право, никогда не улыбался — могу призвать в свидетели весь класс — и также никогда не позволял себе говорить чего-либо про Вас или про других преподавателей. Надеюсь, что Вы примете при этом во внимание мое поведение за все время, проведенное мною в училище. Итак, окажите мне еще на некоторое время снисхождение, и, Бог даст, дело пойдет лучше, если же нет, я покорно удалюсь, и, если я еще чем-либо обидел Вас, то прошу Вас сказать мне чем и

позволить мне оправдаться; я чувствую себя в этом отношении совсем спокойным. Простите меня на этот раз, и я докажу Вам, что не употреблю Вашей доброты во зло. Благодарный Вам Андерсен.

Гельсингер (1826 г.)

Дорогой господин ректор! Мне непременно надо поговорить с Вами; лично я не смею, вот я и пишу в надежде, что это не усугубит Вашего недовольствия. Я вполне уверен, что Вы желаете мне только добра, иначе Вы бы не взяли меня с собою сюда. Не могу воздать Вам за это, как воздал бы человек с более светлым умом; единственное, что я могу, это заплатить Вам полнейшей откровенностью и искренностью. Вот уже более четырех недель Вы высказываете мне свое недовольствие, и оно день ото дня все возрастает; я не вижу никакого выхода и прихожу в отчаяние.

Прошу Вас не бросайте моего письма, пока не прочтете его, не узнаете всего, что я хочу высказать Вам. Я знаю, что больше всего отталкивает Вас от меня беспорядочность моего характера, но что же мне делать — другим я быть не могу! Вы знаете, что родители мои были очень бедные, рос я одиноко, без сверстников, охота к чтению держала меня в уединении. У отца были кое-какие старые комедии, я перечитывал их пока не заучил почти что наизусть, потом стал сам сочинять и постоянно жил в мире фантазии. Когда умер мой отец, мне было 11 лет; в городе меня уже многие знали, я стал бывать в разных семействах и декламировал там сцены и отрывки из разных поэтических произведений. Меня расхваливали, и в мою ребяческую голову запали первые идеи о моих великих дарованиях. Как только я подтверждался, я сейчас стал докучать матери просьбами отпустить меня в Копенгаген; я надеялся завоевать там счастье как актер. Мир я воображал себе таким, каким он изображается в книгах, и храбро, уповая на Бога, пустился в Копенгаген с 13 риксдалерами в кармане (сумма эта казалась мне громадной!) Явился я в столицу сейчас же после еврейского погрома; знакомых здесь не было у меня ни души. Капитал мой растаял в пути до 11 риксдалеров, а за двухнедельное пребывание в номерах для приезжих — до 6-ти. Но следовать за мною так шаг за шагом Вам наскучит. ...Бесплатно я мог устроиться лишь в театральную школу; у меня не было ничего; я был готов потерять всякое мужество. Я не умел написать правильно ни одного слова, я ведь учился только в школе для бедных в Оденсе и не знал ровно ничего. Гульберг¹ позволил мне каждую неделю приходить к нему, заставлял меня писать, что я хочу, и просматривал мои работы. Через одно семейство я знакомился с другим и т. д.; нужда угне-

¹ Гульберг, см. «Сказка моей жизни».

тала меня, и я писал драму за драмой, ребячески веря всем похвалам и не слушая порицаний, и скоро возомнил о себе ужасно. На правильные занятия у меня уходило только несколько часов в неделю — в школе пения, да у Линдгрена¹, все же остальное время я сочинял и читал, то есть глотал без разбора, что попадалось под руку. Все вечера я проводил в театре, бредил день и ночь сценою — вот Вам картина, как создался мой беспорядочный характер, если только я не был таким уже с детства. Подумайте же, как трудно мне было приучиться к правильным, серьезным занятиям; чем дальше, тем, однако, больше убеждался я в их необходимости, начинал сознавать свои недостатки, чувствовать неизмеримую отцовскую доброту ко мне Господа и проникаться искренним желанием совершенствоваться. Ваше недовольство мною часто огорчало меня, но вслед затем всегда, однако, выдавались дни, когда Вы были более довольны. В октябре минуло 4 года, как я у Вас; с кое-чем в моем характере Вы уже сладили, довели меня до лучшего познания себя самого и жизни. Я чувствовал, что Вы желаете мне добра и что только Вы можете сделать из меня что-нибудь, и охотно последовал за Вами сюда. Но в последнее время Вы постоянно недовольны мною; вот уже 4 недели, как я вечно нахожусь в напряженном, трепетном состоянии; каждое Ваше слово глубоко западает в мою душу, и тогда я не могу не предаваться печали и самым мрачным мыслям. По вечерам же я просто не в состоянии собраться с мыслями, а в часы школьных занятий одна мрачная мысль перегоняет другую. «Что же со мной будет?» — вот о чем только я и могу думать. Вы задаете мне вопрос — кровь сейчас приливает мне в голову и я, из страха ошибиться, отвечаю невпопад, а раз это случилось, мною овладевает отчаяние: «Из меня ничего не выйдет! Пропавший я человек!» и тогда уж я вовсе молчу, как убитый. Вы сказали на днях, что я никогда еще не учился так дурно, как теперь, но Бог свидетель, что это не от недостатка прилежания. Нет, это все мое отчаяние, недостаток бодрости духа и спокойствия. Мне бы следовало бросить учение, которое не дается мне, но за что же мне тогда взяться? У кого я могу найти сочувствие и интерес ко мне, если я оттолкну от себя самое высшее — образование? Мне стыдно будет показаться на глаза людям, которые желали мне добра и ожидали от меня одного хорошего. Совесть не упрекает меня в лени; я делал, что мог, и виною всему только моя бестолковость и беспокойный нрав. Мое заветнейшее желание продолжать учение, оставаться на той дороге, на которую поставили меня Провидение и добрые люди. Окажется это невозможным — я буду бесконечно несчастен. Господи! Что же тогда будет со мной? Я ведь не буду тогда годен ни к чему! Эта мысль убивает меня. Лучше бы мне не родиться на свет! Не бросайте же меня; если Вы имеете еще хоть какую-нибудь надежду на меня, то не теряйте терпения! Только бы дело пошло хоть чуть

¹ Линдгрэн, см. «Сказка моей жизни».

лучше, это бы уже подбодрило меня и, может быть, все бы наладилось. Не презирайте меня за это клянчанье — дело идет ведь о всей моей будущности, о жизни! Дайте мне надежду, если только она есть, а если нет — ну, тогда будь, что будет!.. Много бы еще хотелось мне сказать Вам, да боюсь, что и так уж чересчур расписался. О, не сердитесь на меня, помогите мне словом и делом — Бог Вас благословит за это! Искренно признательный Вам Андерсен.

Гельсингер, 24 октября 1826 г.

(Ионасу Коллину). Дорогой благодетель! Часто давал я себе слово не надоедать Вам в письмах своим нытьем и все-таки продолжаю изливать перед Вами все свои горести. Дела мои очень плохи. Ректор ежедневно высказывает мне свое нерасположение и, когда я по воскресным утрам являюсь к нему со своим латинским сочинением, он пробирает меня за каждую ошибку самым жесточайшим образом. Чего-чего ни наслушался я от Мейслинга в течение последних двух недель! Приведу Вам его слова, и Вы, верно, извините мне мое уныние. В прошлое воскресенье он, рассердившись на ошибки, сказал: «Я прихожу в отчаяние, как подумаю о выпускном экзамене. Вы за такую работу нуль получите! По-вашему одна буква ничего не значит, все равно — поставите ли вы е или и. Такого тупоумия я еще не видал, а вы еще воображаете себя чем-то. Коли вы настоящий поэт, так по боку учение, отдайтесь всецело поэзии. Но вы ни к чему не годны! На застольную песенку вас еще хватит или там на какие-нибудь стишки о луне, о солнце, но ведь это одно мальчишество, баловство. Я тоже умею подбирать рифмы, и не хуже вас, но это одни глупости. Сделаетесь студентом, вам и подавно удержу не будет, совсем свихнетесь и пропадете!»

Слова эти потрясли меня до глубины души; он был прав и видно было из дальнейшего разговора, что он говорил так не только по злобе. «Дасидите же смирно! Вот тоже один из ваших недостатков! Если вы так ведете себя, когда спокойно исправляют ваши ошибки и высказывают вам ваши недостатки, то что же будет с вами на экзаменах? Надо уметь владеть собой!» Потом он был со мной ласков, но на другой день опять пошло по-старому. «Вы лентяй! — говорит он. — Несносный болван! Помешанный! Осел!» и т. д.

Я пробовал пояснить ему мое душевное состояние, смятение, в которое повергает меня его горячность, но он не верит мне. В последнее воскресенье он сказал мне: «Вы мне до смерти надоели. К тому же я ведь знаю, что вы никогда не простите мне того, что я высказывал вам истину». Но в училище мне достается еще пуще! Последние два

дня он ужасно вспыльчив, зовет меня «бесчувственным» и «бессовестным», говорит, что не будь я таким, я вел бы себя лучше или убрался бы, как он того желает; что я помешанный, что меня надо посадить в кунсткамеру и заставить говорить по-гречески — я, наверное, собрал бы вокруг себя многочисленную публику; что он скоро отделается от меня, если я не хочу подвигаться вперед. Но всего не перескажешь! Я не могу достаточно ярко обрисовать Вам свое положение. Вечно меня бранят, никто слова доброго не скажет; за столом я не смею рта раскрыть, ректор едва глядит на меня, и в училище я — какой-то отверженец.

Дорогой благодетель! Ничего из меня не выйдет — я глуп, беспорядочен и легкомыслен. Ректору я надоел, и дела не поправишь. В конце концов я не сдам экзаменов; о частной подготовке нечего и думать, если я не успеваю у Мейслинга. Но не оставляйте меня! Я знаю, Вам мало радости возиться со мною, но я окончательно впаду в отчаяние, если и Вы оттолкнете меня. Теперь уже поздно учиться ремеслу, но есть ведь много других занятий; я честен, а это ведь что-нибудь значит; я буду трудолюбив и внимателен; по-немецки я, мне кажется, довольно хорошо знаю — может быть, можно пристроить меня в какую-нибудь контору или куда Вы пожелаете. Мне все равно, где служить — в Ютландии, в Норвегии, хоть в одной из наших колоний. Только не оставляйте меня совсем — Вы один у меня остались, в ваших руках моя жизнь и смерть. Искренно благодарный Вам *Андерсен*.

Оденсе, 28 июля 1830 г.

(*Эдварду Коллину*). Милый, славный Коллин! Знали бы Вы только, с какой страстной тоскою я каждый почтовый день справляюсь — нет ли письма от Вас? Вы бы поняли, как я люблю Вас. С жадностью поглощаю я каждое Ваше письмо, нужды нет, что они часто отзываются лекарством. Лекарства ведь полезны больным, а если их еще протягивает друг, то принимаешь их с особой признательностью. Будьте также уверены, что сам сознаю свои ошибки и слабости, но нельзя же исправиться от них так вдруг. Впрочем, мне кажется, что я в последние годы все-таки изменился к лучшему, или — как принято выражаться — отполировался немножко. Если бы Вы обращали на меня внимание несколько лет тому назад, Вы бы яснее видели разницу. Спросите г-жу Вульф! Теперь я до некоторой степени уже принадлежу публике, так немудрено, что на меня обращают кое-какое внимание и лечат меня от моих слабостей, составляя себе обо мне понятие по некоторым отдельным бросающимся в глаза чертам моего характера. А таким образом надлежащего понятия себе не составишь! Я не удивляюсь, что мне указывают на мои недо-

статки, у кого их нет! Я не знаю ни единого человека, о котором бы не говорили чего-нибудь дурного. Мои недостатки, по мнению людей, мое авторское самомнение и страсть всюду соваться со своими стихами¹. Но, поверьте, милый К., что — освободись я от этих недостатков, люди сейчас откроют во мне какие-нибудь другие, за которые будут порицать меня так же усердно. Мы уже раз беседовали на эту тему, и Вы тогда согласились со мною, что люди вообще сильно преувеличивают мое «самомнение». Что же до второй слабости, то я признаюсь, что еще повинен в ней, но... нельзя ли приписать ее моему добродушию? Простите что я говорю о своем добродушии, но оно ведь признано всеми, и я не могу не верить этому. Разве не свойственно каждому молодому человеку желать нравиться? Красотой мне не взять, вот я и стараюсь пустить в ход другие качества. Разве это уж такой великий грех, если посмотреть на дело, как следует? Но, конечно, я не могу требовать, чтобы все люди были так прозорливы по отношению ко мне, я ведь тоже не всегда бываю таким относительно других. В том же, что я не из гордости не обращаю внимания на разные отзывы о моих стихах — Вы, конечно, убеждены и убедились бы в этом еще больше, знай Вы, какие противоречивые отзывы приходится мне выслушивать от образованных и даже от так называемых интеллигентных людей. И вздумай я следовать всем советам относительно переделок, в моих произведениях ровно ничего не осталось бы моего собственного, оригинального, осталось бы одно общее, банальное. Но, постойте, придет время, когда вы будете обо мне лучшего мнения, будете лучше понимать меня. А мне бы только знать, что Вы да отец Ваш видите и понимаете все, что есть во мне лучшего. Напишите мне, что он в сущности думает обо мне и сходится ли Вы с ним во мнении. Вы не поверите, как я дорожу его хорошим мнением как о моих умственных, так и о душевных качествах, и не из низменных причин, из желания извлечь из этого выгоду, — настолько-то дурно Вы обо мне, конечно, не думаете. Нет, я смотрю на него как на отца: он столько для меня сделал, он моя единственная твердая опора в суемирской.

¹ Сюда относится следующая заметка из книги Эдварда Коллина. «Замечательнее всего то, что А. в сущности очень хорошо знал, что чтение его, столь любимое в некоторых домах, в других являлось мучением для всех, и все-таки не мог удержаться — не читать. Он пытался также читать своему репетитору Мюллеру, но тот, не долго думая, рассказал ему следующую историю: «Жил-был один русский дворянин, большой любитель писать стихи и рассказы, которые он затем и читал своим друзьям и знакомым. Наконец он так надоел им этим, что они стали избегать его. Раз он опять написал что-то и сидел один, повеся нос. Страсть ему хотелось прочесть это кому-нибудь, да некому было. «Я обрадовался бы хоть самому черту!» — сказал он в отчаянии. Черт немедленно явился и заключил договор, согласно которому обязывался быть его постоянным слушателем. Чтение началось, и черт не выдержал, вскочил... Но Мюллеру не удалось докончить своего рассказа, — А. заткнул уши и закричал: «Перестаньте, я ведь знаю, что это я!»

Будьте уверены, что я сделаю все от меня зависящее, чтобы отнять у людей повод к пересудам. Шаг в этом направлении я уже сделал, хотя и небольшой, но надеюсь, что Вы одобрите его. В понедельник драматическое общество устраивает артистический вечер, и вот ко мне явились оба директора просить меня участвовать — прочесть хоть одно из моих стихотворений. Трудненько мне было устоять: признаться по чести, мне очень хотелось участвовать; опять это мелкое тщеславие! Но Ваше письмо заставило меня решительно отказаться. Право, мне пришлось сильно бороться с собой, тем более что меня всячески уговаривали и даже рассердились на меня за мой отказ. Скажите же мне теперь, довольны ли Вы моим поступком? Гульберг находит, что я вел себя, как следует, но выставленные им причины слишком лестны для меня, чтобы я мог привести их. Ваш и т. д. *Андерсен*.

Копенгаген, 2 ноября 1831 г.

Мой искренне любимый Эдвард! Сегодня день Вашего рождения! Я так много думал об этом, но все-таки не могу порадовать Вас чем-нибудь особенным, как бы мне того хотелось. Написать вам стихи? Но это ведь в сущности глупости, какая Вам радость от них? Нет, я просто скажу Вам, что искренно люблю Вас, может быть, больше чем Вы думаете. Я привязан к Вам всей душой, только бы Вы почувствовали это, подарили меня своим доверием, братским доверием. Не бойтесь, я болтлив, только когда дело касается моих личных дел. Ах, если бы я мог заставить Вас читать в моем сердце, вполне завоевать сегодня Ваше сердце. Сколько раз с тех пор, как Вы живете дома, хотел я сблизиться с Вами, но — сам не знаю почему — я не могу, если не сделаете первого шага Вы. А Вы так и не обмолвились ни словом о том, о чем я так жаждал поговорить с Вами, в чем теперь смею признаться Вам лишь письменно. Или нельзя нам и говорить об этом? Вы написали мне однажды после того, как я был «чересчур уж дружески фамильярен», что люди, которые пожелают быть с Вами на «ты», невольно отталкивают Вас от себя. А Вы знаете, что это было с моей стороны самым искренним сердечным порывом, я так долго лелеял это желание, и, надеюсь, что, хотя я и высказал его, это все-таки не повлияло на Ваши чувства ко мне. Не так ли? Теперь для меня нет ничего в жизни, к чему бы мое сердце особенно льнуло, даже поэзия не так дорога и священна для меня сама по себе, как бы это следовало. Может быть, Вы несколько примирите меня с жизнью. Будьте же мне всегда другом! Поймите, как искренно я люблю Вас! Никто горячее меня не может сегодня молиться за Вас Богу! Ах, если бы я мог высказать Вам все! Бог благослови Вас, милый, дорогой Коллин! — А.

(*Генриетте Вульф*)¹. Дорогая фрекен!² Я дал Вам проглядеть «книжку с картинками» моей жизни, отчего же не дать Вам заглянуть и в книжку моего сердца? Вы ведь одна из немногих действительно любящих меня, и я дорожу этим больше, чем Вы полагаете. Вы, пожалуй, скажете, что письмо это вызвано дурным настроением духа и адресовано к Вам только случайно — по капризу, но это не так. Когда-нибудь в ином мире мы еще потолкуем об этом, и Вы увидите тогда, что ко мне не вполне подходит кличка «господин Его», которую Вы дали мне — впрочем, может быть, в шутку. Неужели Вы думаете, что я не понимаю Вашего положения, тоски по братьям и многого другого? Я все это отлично понимаю, но у Вас все-таки есть родной дом, родители! А я вот сижу в своей каморке один-одинешенек и мучаюсь — пожалуй, больше, чем следовало бы, но мучение все-таки остается мучением! Бывает, что некоторые страницы в дневнике сердца так слипаются, что их может раскрыть один Господь Бог, и как я вообще ни откровенен, найдутся и у меня такие горести, причины которых я не смею, не умею даже назвать... Я и, выйдя из юношеского возраста, продолжал оставаться ребенком. Настоящей же юности я не знавал никогда! И я бесконечно тоскую по ней; мне страстно хочется порвать с хандрой, со всеми привычками и наслаждаться жизнью как разумное существо. Многое мне хочется забыть, чтобы вместо этого научиться другому, лучшему, но судьба все как-то играет со мною в жмурки. Я глубоко убежден в том, что из меня ничего не выйдет, если мне не удастся вырваться отсюда. Оставаться здесь для меня равносильно гибели. Со временем Вы увидите, насколько я был прав. Эленшлегер глубоко прав, утверждая, что я — поэтическая фигура. Такой я, пожалуй, являюсь и в Ваших глазах. Ах, если бы я только мог излить в стихах всю свою душу. Вам, может быть, знакомо сказание об исландском скальде, которого смерть его сына довела до такого отчаяния, что он решился умереть голодной смертью. Но друзья приступили к нему с просьбой сперва воспеть свое горе. Он так и сделал; горе его вылилось в звуках, заставивших друзей его плакать; у него же самого сердце успокоилось: он излил свою душу. Прежде это удавалось и мне... Как ни люблю я Эдварда, я все же чувствую, что никогда не найду в нем того друга, о котором мечтаю. Характер

¹ *Генриетта Вульф*, дочь адмирала Вульфа. См. «Сказка моей жизни», стр. 41, 64, 284. — *Генриетта Ганк*, другая приятельница А. (стр. 60, 174). Письма той и другой к А. не помещены издателями переписки А. в собрании писем, вследствие «чересчур частного характера» их.

² *Froken* — барышня. — *Примеч. перев.*

его отмечен такими резкими линиями и острыми углами, что моя мягкая натура больно ушибается о них. Мне недостает гордости, сказали Вы мне однажды. На такие слова неудобно отвечать лицом к лицу, но здесь я готов сознаться, что Вы были правы. Но уж таким я уродился. А вот дайте-ка только болотному растению развернуться, закалиться в бурях и невзгодах — небось солнце поэзии не преминет облагородить его соки, и Вы увидите, что и оно запасется характером и зазеленеет, даром что растет себе одно-одинешенько! — Г. Х. Андерсен.

Париж, 28 мая 1833 г.

(Эдварду Коллину). Сегодня пришло на мое имя письмо из Дании. С какой радостью схватил я его!.. Но друг мне не пишет, а пишет недруг. Я предвидел, что найдутся люди, которые станут завидовать мне за эту поездку, но такой злобы я все-таки не ожидал. В конверте не оказалось никакого письма, только половинка номера «*Kjöbenhavnsposten*» («Копенгагенская почта»), доставленная мне, вероятно, самим автором, чтобы порадовать меня. В газете напечатан грубейший пасквиль без подписи; его-то мне и прислали, боясь, как видно, чтоб он не ускользнул от моего внимания, и еще не франкированным. Представьте себе, что я испытал, получив этот первый привет с родины! Не могу описать того странного чувства, которое овладело мною при этом — это было чувство какого-то презрения, сменившегося глубочайшею скорбью. Да, вот как обходятся со мною! Людям хочется, видно, по мере сил, отравить мне те минуты, которые должны бы были быть счастливейшими в моей жизни. Они охотно задушили бы во мне все хорошие зачатки, но — нет, этого им не удастся! Правда, я так еще недавно оставил родину, но я уже чувствую, что характер мой крепнет, я знаю, что никто уже не найдет во мне прежнего ребенка, готового подчиниться чужим капризам, способного плакать от резкого слова чужого человека. Эдвард, будьте мне верным другом, я знаю, что некогда вы будете гордиться мною. Я чувствую в себе силы и знаю, что они с Божьей помощью созреют! Не дам же я этим искателям минутной популярности стащить меня в ту же посредственность, в которой им так любо барахтаться. Я так уж создан, что когда у меня хотят отнять всякие достоинства, я особенно живо и проникаюсь сознанием всего того, что мне дано Богом.

Я много работаю, и уже написал первые сцены «*Агнеты*», которыми очень доволен. Не отошлю вам, однако, ничего, пока не будет готово все произведение, оно должно превзойти все, что я писал до сих пор. Хочу взять своих противников приступом или по крайней мере заставить их молчать, а это лучше всего можно сделать своими трудами. Для того чтобы

поездка моя пошла мне впрок, мне непременно нужно пробить за границей еще два года; со временем я верну потраченный капитал с лихвой.

Французы мне нравятся. Самый простой поденщик читает газеты, тут жизнь и движение, тут всякий может смело высказывать свои мысли и не только в частной жизни, но и публично. Свобода эта, разумеется, не свободна от разных болезненных наростов, вроде, например, чересчур легких нравов. Здесь все нараспашку. В окнах магазинов выставлены неприличные картины, разврат считается естественной потребностью, и дамы преспокойно говорят такие вещи, от которых у нас покраснели бы мужчины. То же и на сцене, то же и на улице; но к этим наростам, к этим грибкам на прекрасном дереве свободы скоро присматриваешься и невольно преклоняешься перед всем прекрасным и величественным, что создал этот народ, которого нельзя также не любить за прекрасные душевные качества. — Ваш братски преданный А.

Le Locle, 12 сентября 1833 г.

Дорогой друг! Посылаю Вам мою «Агнету», вполне готовую, но никем еще не виденную, кроме меня. Прошу любить да жаловать это милое дитя, родившееся среди чужих гор, но кровную датчанку в душе. Для меня она северная Афродита, вынырнувшая из волн. Ах, если бы и Вы признали ее такою. В «Литературном ежемесячнике» раз называли меня «поэтом, некогда подававшим надежды»... слова эти отравили мое сердце ядом. Пусть же теперь Агнете отдадут должное, пусть на нее упадут лучи солнца, от которых испарятся те убийственные капли. Ах, Эдвард, я так жажду настоящего, живого признания моего таланта. Будьте отцом моей Агнете, а я совершу полет за Альпы и, вдохновясь там видом кипарисов, пиний и красивых итальянцев, может быть, вызову из волн морских новую Агнету. Прошу Вас также немножко позаняться с милым ребенком грамматикой: он ведь родился на чужбине.

Меня поражает и трогает то сочувствие, которое я встречаю и на родине, и здесь среди гор. Да, жив Господь, и велики его милости к одиноко летающей птичке. Я сам не знаю, что во мне такого хорошего, чем я заслуживаю, что всегда кто-нибудь да ухаживает за моим больным сердцем. Но оно все недовольно, все, как неблаговоспитанное дитя, просит еще и еще! — Братски преданный Вам Андерсен.

Locle, 13 сентября 1833 г.

(Отто Мюллеру). Дорогой друг! Ты ей-Богу славный малый, и я помещу тебя в свой детский мир! Ах, если бы ты был здесь со

мною, я допустил бы тебя в грот, где стоит моя Агнета, не виденная еще никем посторонним, стоит, словно сама северная Афродита, только что вынырнувшая из моря. Да, она жива и так хороша вдобавок! И я бесконечно благодарен за нее Творцу. Удивительные в самом деле бывают люди на свете! Они воображают себе поэта какой-то тщеславной птицей, которая без ума от своих песен. Совсем нет! Чем яснее он сознает, что они хороши, тем больше он смиряется душою, тем крепче льнет к Богу — не у Него ли он и научился этим звукам! Таков вот и я. Между мной и другими поэтами так много общего в остальном, что, вероятно, мы сходимся и в этом. Всю вторую часть Агнеты я написал здесь, и она, наверное, в десять раз лучше всего, что ты знаешь из моих трудов. Я немножко научил ее и грамматике — на это у нас ведь очень смотрят. Только бы они не вздумали разбить ее, чтобы посмотреть, создана ли она по всем правилам математики. Откровенно говоря, мне очень хотелось бы, чтобы она ударила у нас по сердцам — я так нуждаюсь в похвалах, поощрении, любви, — нечего грозить мне пальцем! Сердце поэта — тропическое растение, и оно может расти только под стеклянным колпачком любви, а люди грубо хватают его, точно крапиву! Редко кому приходилось бороться с такими препятствиями, как мне; несправедливая, чересчур суровая критика, если и не потушит горящего во мне пламени, то замучит меня, убьет прежде времени. Я сознаю, что это слабость с моей стороны, но такая слабость прирожденная болезнь поэтов. Она, пожалуй, напоминает болезнь устриц, которые, создав жемчужину, умирают. Но — закроем лучше дверь, отделяющую нас от мрачной бездны смерти! — Твой Андерсен.

Милан, 24 сентября 1833 г.

(*Генриетте Вульф*). Ах, что здесь за воздух! Небо стоит над головой вдвое выше чем у нас, что же будет по ту сторону Апеннин? Я вдыхаю в себя этот дивный воздух полною грудью! ...Из Копенгагена пишут мне о тоске по родине, которою отзывается и «Агнета». Совсем не то! Я еще не испытал ее, да и не желаю испытать. Другое дело, если бы друзья мои могли перенестись сюда ко мне; я же вовсе не горю нетерпением вновь глотать наш туман, мерзнуть или слушать разный вздор! Здесь я могу вдыхать воздух, которого не знавал прежде, есть сочный крупный виноград, слушать дивные голоса, ласкающие слух, пение, хватающее за сердце. Правда, оно тоскует — только не по родине, а от мысли, что придется расставаться с этим раем! — Что в сравнении с ним Франция и Германия! За альпийскими горами — вот где райский сад с мраморными богами, дивными звуками и чистым небом!..

(Эдварду Коллину). Я не собирался писать Вам, пока не приеду в Рим, но сегодня я получил Ваше славное письмо. Вы «с нетерпением ожидаете моего письма», — как же мне не написать! Я в Италии! Вот когда только я выбрался на белый свет! По сию сторону Альп я чувствую себя совсем другим человеком; не могу хорошенько объяснить, что случилось со мною, знаю только, что у меня как-то разом сложилось иное, более ясное воззрение на мир и на окружающую меня жизнь. Поверьте мне, дорогой Эдвард, поездка сильно изменила меня и, надеюсь, к лучшему. Я говорю это потому, что Вы в своем письме выражаете некоторое сомнение по этому поводу... Вы полагаете, что мне не следует знать Вашего настоящего мнения об Агнете, что Вы, мой испытанный, старый друг, не можете говорить со мною начистоту. Ах, Эдвард, не бойтесь! Прошло то время, когда глаза у меня были на мокром месте. Вам не нравится первая часть Агнеты, и во многом Вы, пожалуй, до некоторой степени правы; она все еще слишком лирически субъективна. Действительно, в моих произведениях до сих пор преобладал лирический элемент, но теперь он уже не так заметен, и я думаю, что Агнета является в этом отношении переходным произведением. Вспомните, что труд этот начат мною вскоре же после отъезда с родины, когда во мне еще не могло произойти особенно крупной перемены. А я так надеялся, что Агнета Вам понравится, заранее радовался этому! Впрочем, многие выразятся еще строже Вашего, но, сколько бы в этом труде ни нашли недостатков, он все-таки отмечает поворот к лучшему в моей авторской деятельности. Благотворнее всего подействовали бы на меня похвалы, похвалы без конца, как я это уж не раз говорил, но Вы не можете похвалить меня, — хорошо! Я не стану вешать носа, не расплачусь, а все намотаю себе на ус и буду продолжать идти вперед — куда меня тянет. Будь рукопись еще в руках у меня, я, прочитав в Вашем письме, что Вы находите ее «неудачной», пожалуй, бросил бы ее в огонь: на что, дескать, нам посредственные произведения? Но в таком случае я поступил бы опрометчиво. Если Агнета и не из каррарского мрамора, то во всяком случае и не из булыжника. Не думаю также, что последующие мои произведения будут настолько же субъективны. Если же Вы заметите это, сообщите мне; только не указывайте при этом на одни темные места, а лучше на проступающие кое-где светлые. Затем отвечу Вам и на другое замечание. Вы узнали от вернувшихся земляков, что я трачу все свое время (конечно, в Париже) на писание писем домой; это хоть и не особенно злая, а все же напраслина, которая возмущает меня. Во-первых, им дела нет, на что я трачу свое время; во-вторых, они говорят неправду. Как это Вы, дорогой Эдвард, могли обратить внимание на подобные отзывы. Меня это и удивляет, и огорчает гораздо больше

Вашего неодобрения Агнеты. В то время как земляки мои ровно ничего не делали в Париже, я писал письма друзьям на родину, да и то, только когда уставал бродить по городу, читать или работать. Кроме того, отсылка писем мне тогда ничего не стоила, а пишу-то я в один час столько, сколько другие напишут разве в три.

Вы пишете, что я в лице Гемминга изобразил себя же самого, что многие его тирады Вы уже слышали от меня лично. Но поверьте мне, что если бы Вы знали Шиллера или Байрона так же хорошо, как меня, Вы бы и от них услышали много такого, что говорят герои их поэтических произведений. Вы все нападаете на мою «болезненную чувствительность», а вот именно ей-то — как это ни покажется Вам странным — я, по-моему, и обязан Вашей искренней, верной дружбой. Затрудняюсь выразиться яснее, не затронув одного больного места. Мы с Вами совсем не схожи по характеру, но именно моя чувствительность и мягкость и заставили меня подчиниться Вам. Будь я в то время таким же, как теперь, Ваша манера обращения сразу оттолкнула бы меня от Вас, прежде чем я успел бы узнать Вас получше. Я чистосердечно, как ребенок, сознался Вам, что желал бы быть с Вами на «ты», как с братом, — Вы отказали мне. Я плакал и молчал, и несмотря на то, что отказ Ваш нанес мне рану, которая вечно останется открытой, моя мягкая, полуженственная натура заставила меня сблизиться с Вами. Узнав же Вас поближе, я уже не мог не полюбить Вас и не смотреть на чувство, побудившее Вас отказать мне, как на небольшой недостаток, который вполне искупается другими достоинствами. Поймите меня, как следует, Эдвард, — да, теперь мой черед сказать Вам то, что Вы так часто говорите мне. Мы должны быть вполне откровенны друг с другом, и я открываю Вам всю свою душу. До моего отъезда я еще мог думать о Вас настолько дурно, чтобы объяснять Ваше нежелание быть со мною на «ты» Вашим предположением, что Вас ждет куда более блестящее будущее нежели меня, так что это «ты» станет для Вас стеснительным. Клянусь Вам, что теперь я этого больше не думаю, смотрю на это как на особенное свойство Вашего характера и от души прошу Вас простить мне мои дурные мысли. В последнем письме Вы не передали мне ни одного поклона; но, может быть, это только так, по забывчивости. Простите же, что я вступил с Вами в пререкания, но письмо Ваше было не отзывом, а вызовом. Вот моя рука, Эдвард, мы друзья по-прежнему. И я вполне верю тому, что если Вы иногда и угощаете меня полынью, то лишь ради моего слабого желудка. Братски преданный Вам Андерсен.

Рим, 1 января 1834 г.

(Г-же Сигне Лэссё). Первый привет мой в первый день Нового года шлю я Вам, моей второй матери. Вы, верно, знаете, что родной моей

матери теперь куда лучше прежнего? Коллин написал мне о ее смерти. Я порадовался за нее, но не мог все-таки сразу освоиться с мыслью, что теперь я круглый сирота, что теперь у меня нет никого, кто был бы обязан любить меня. Ей же выпала счастливейшая доля.

На второй день Рождества получил я Ваше драгоценное письмо и перечел его раз пять, чтобы выжать каждую каплю из этого оливкового листа. Вообще мне редко пишут с родины; надеюсь — тем чаще вспоминают обо мне. ...Ежедневно вижусь здесь с Герцем. Другом моим он не может стать никогда: во-первых, мы слишком несхожи характерами, во-вторых, он некогда поднял меня на смех; но и врагом моим он не будет. Величавые красоты Рима заставляют меня забывать мелкие огорчения, перенесенные мною на родине, да и вообще лицом к лицу с человеком я скоро забываю вынесенные от него оскорбления.

Говоря о «прелестной скромности», Вы приводите в пример Торвальдсена, Рафаэля и Наполеона, превозносите их «нравственное совершенство» и говорите, что «предпочитаете знать поэтов лишь на расстоянии, так как их умение играть словами делает их дерзкими и высокомерными». Надеюсь, что Вы говорите это в шутку. Никто не может преклоняться перед Наполеоном глубже, чем я, но с каждым днем я все больше и больше убеждаюсь в том, что он был *гением высокомерия*; причиной его возвышения и падения было именно колоссальное тщеславие, и на Наполеона-то как раз и следует смотреть на расстоянии, как на кратер вулкана. Затем Рафаэль. Я преклоняюсь и перед ним, как перед величайшим художником. Но что же столь преждевременно свело его в могилу? Вы находите, что мое невинное стихотворение «*Август*» дышит огнем, что оно возмущает Вашу скромность, а что бы Вы сказали о Рафаэле, знай Вы его поближе! Ведь вся жизнь его была знойным августовским месяцем, перед ним постоянно витал бог любви, рисуя ему те образы, которые теперь приводят нас в восторг. Вот почему Торвальдсен и заставляет *амура* подносить ему цветок мака, толпу венчать его лаврами, а гения искусства плакать о его недолговечности. А сам Торвальдсен?.. Да, вот его-то Вы действительно видите на расстоянии, а это выгоднее всего для каждого гения...

Неаполь, 18 марта 1834 г.

(Ей же). Завтра я уеду из Неаполя и в этот последний вечер мне хочется побеседовать с Вами, моя вторая мать! Сердце мое так полно всем тем великолепием, которым я упивался здесь и которое завтра покидаю, быть может, навсегда.

Критика, о которой я писал Вам, касается не «*Агнеты*», а моих лирических произведений. Написал ее Мольбек. Теперь я уже могу спокойнее относиться к этому. Он, конечно, сумасшедший, люди по-

вторяют только то, что говорят так называемые авторитеты, и я глупо делаю, что принимаю это к сердцу. «Агнета» когда-нибудь да войдет в честь, я это предсказываю, но писать что-нибудь еще! Нет, нет, ничего я больше не написал здесь; переломили у птицы маховое перо! Вы говорите, что я мог бы найти себе хлебное место, — да, хорошо, если бы так! Но «много собак добивается этой кости»! Да кроме того, тогда я окончательно похоронил бы свое поэтическое дарование. Сам Бог даровал мне духовный дворянский диплом, а люди его разорвали. Но я все-таки поэт. Я не могу отречься от своего дворянства и слиться с общим течением. И не думайте, что я пишу это в мрачную минуту; я так спокоен, так счастлив, как только вообще могу быть, и у меня теперь одно желание: не писать больше ничего нового. Моя радость, моя надежда, мое счастье — все висело на одной нити, и ее перерезал мой лучший друг; операция совершилась, и пациент чувствует себя хорошо. О Боже! Дорогая мать, каким бы я мог быть счастливым человеком! Но прочь воспоминания!.. Вы удивляетесь, что я так восторгаюсь природой Италии, прелестями Неаполя, — Вам это непонятно. Но подумайте, какое блаженство вдыхать этот воздух, представьте, что море здесь куда красивее нашего зимнего неба! Везувий — пламенный Игдразил¹, а Лазурный грот наполнен небесным эфиром. Самый народ здешний — счастливый ребенок, верит еще в дьявола, жизнь его проходит, как игра. Вы бы посмотрели на этих красивых людей, послушали бы их песни вечерней порой, когда острова плывут в розовом тумане, словно облака... О Боже, грустно подумать, что скоро я прощусь со всем этим великолепием.

Вы говорите, что я могу еще влюбиться на родине и пр. и пр. Боже милосердный! Да Вы же знаете, как я некрасив, знаете, что я вечно останусь бедняком, а это такие вещи, на которые обращают внимание все, что бы там ни говорило сердце, и в сущности это весьма разумно...

Мюнхен, 16 мая 1834 г.

(Людвигу Мюллеру). О, если б я сумел высказать то, что у меня на душе — вышло бы нечто хорошее, но я не могу — у меня нет ни охоты, ни мужества. Поэт, по крайней мере такой, каков я, — цветок, который нуждается в нежном, заботливом уходе, в теплых, ласкающих лучах солнышка, а мои ученые воспитатели считают такой уход вредным для меня и будут щипать и поливать бедный цветок, пока он не завянет вконец. — Я, впрочем, глубоко проникнут сознанием неизреченной до-

¹ Игдразил — по сев. мифол. исполинский ясень, олицетворявший вселенную. — Примеч. перев.

броты ко мне Господа Бога, так удивительно направлявшего все к моему благу, и я льну к Нему со всей детской верою моей души. Он даровал мне, одинокому сироте, столько верных друзей, в кругу которых я чувствую себя своим человеком; я и люблю своих друзей всей душою. Путешествие принесло мне большую пользу, оно расширило мой кругозор, все стало для меня теперь как-то яснее, чем прежде. Но вот что грустно: оно познакомило меня с южной природой, о которой я всегда буду тосковать, и показало мне мое собственное ничтожество, мои огромные личные недостатки. Бывают минуты, когда я просто прихожу от этого в отчаяние... И на родине мне теперь, наверное, многое не понравится. Люди там слишком мелочны, и в литературе нашей нет любви к самому искусству. Предчувствую, что меня ожидает там много горьких минут, но тогда, надеюсь, друзья мои меня поддержат. Только бы они не стали читать мне лекций, учить меня по-старому! Я этого не потерплю! Хочу покончить с этой старой замашкой, а то ей и конца не будет!.. Кланяйся от меня матери и милым ее дочерям. Я все-таки рад, что опять вернусь к вам. Постарайтесь же быть со мною поласковее и вы увидите, каким я могу быть душкой... О моих новых интересах ты можешь судить по тому, что я интересуюсь даже старыми, съеденными ржавчиной монетами и многими подобными вещами, по части которых мы прежде не сходились с тобой вкусами. Обещаю тебе также больше не нежничать и не вешать носа. Если же на меня нападет тоска по Италии или я начну замерзать там у вас, возьму да запрусь у себя в каморке в ожидании, что вы придете вывести меня оттуда, но уже не прежним чувствительным, выспренным упрямцем, каким вы меня звали, а вытянутым в струнку и холодным, как все обыкновенные люди... Последнее письмо от Эдварда было помечено 1 февраля. Порядочно времени ушло с тех пор. Видишься ты с ним? Надеюсь, он здоров, весел, счастлив? Хорошо было бы, если бы мне не приходилось так часто пользоваться его услугами! Такие отношения всегда нарушают должное равновесие в дружбе. Очень желал бы чем-нибудь отплатить ему в свою очередь. Думая о той помощи, которую ты, может быть, окажешь мне относительно получения мною Лассенской стипендии, я боюсь, что стану тогда в подобные же отношения и к тебе. Часто я желаю даже, чтобы она не доставалась мне, — все бы меньше зависимости. Я выражаюсь не так, как следует, но ты поймешь меня. По отношению к друзьям моим я испытываю особенную щепетильность и часто сильно страдаю от нее. Можно жить душа в душу только тогда, когда устраняются все житейские различия... Эдвард — мой вернейший друг. Ты тоже. Только бы мы встретились с радостью и сумели бы оценить то, что есть хорошего в каждом из нас! Сильно ли я изменился и в чем? В этом вы сами разберетесь при встрече; я же знаю только то, что вы хотите видеть меня другим, нежели я был прежде...

(*Генриетте Ганк*). ...Поверьте же мне, что родной брат не радовался бы больше чем я, если бы труды Ваши оказались такими, какими я представляю их себе, и встретили бы такую же оценку в публике! Но как мне судить о них? Вы никогда не хотели показать мне ни одной строчки, кроме маленького стихотворения. — Да и кто может советовать нам в таком деле! Тут нами должно руководить наше собственное чувство. Какое блаженство видеть, что мысли наши сообщаются окружающему нас поколению, верить, что они переживут нас, но блаженство это покупается величайшими страданиями. Хватит ли у Вас мужества? Подумайте, если вдруг станут глумиться над Вашими лучшими чувствами, называть глупостью и вздором самые светлые, вдохновенные мысли, и кто же? Люди, стоящие куда ниже Вас самих. Если да, то Вы поэт, звено той великой цепи красоты, которая соединяет землю с небом. Я не знаю Ваших трудов, но, судя по Вашим письмам, я верю, что Вы можете писать на радость и пользу людям. Пусть же они услышат Ваши песни, но не падайте духом, если придется Вам за это пострадать. Люди ведь странные существа. Вспомните, как народ усыпал путь Христа пальмовыми ветвями, а потом кричал: «Распни его!» Поверьте мне, бывают минуты, когда я нахожу, что лучше бы мне никогда не писать ни одной строчки, а жить, как и все добрые, честные люди, довольные своей будничной жизнью, зарабатывать хлеб насущный и мирно дожить до могилы, не ломая себе головы ни над чем. Вам уже говорили: «Обсудите свои стихи и решайтесь!» А я к этому прибавлю: испытайте себя, хватит ли у Вас мужества! Если да, то — с Богом! Никто не может знать, что из этого выйдет. Я все еще наполовину турок и верю в предопределение. Говорят, что мы существа свободные; да, подобно дикому коню на маленьком скалистом островке: вот твои границы и дальше ни шагу!

Надеюсь, что Вы не найдете в этом письме ничего, кроме того, что могла продиктовать мне моя братская любовь к Вам, и связанное с нею невольное опасение за Вас. Не думайте, что я хочу запугать Вас и отклонить Вас от той дороги, на которой так желают видеть Вас все дорогие Вашему сердцу. Нет, я желаю только предупредить Вас, что всякий, кто желает плести для людей венки из роз или хоть из репейника, должен прежде всего взять себе на долю шипы. Маленькая наша Дания — плохая страна для писателей; здесь слишком близко стоишь к людям, личные качества слишком бросаются в глаза и смешиваются с духовными. Оденсе же совсем уж крошечный городок, и там толков не оберешься. Если великий критик Копенгаген оказывается благосклонным, тогда и в Оденсе барометр подымается, если же наоборот — ! Но все это в сущности пустое, только бы Вы сами ясно сознавали истинные достоинства своих трудов и помнили при этом, как легкомысленно будет

судить о Вас толпа профанов. Да подкрепит Вас Бог! Пусть Он руководит Вами и дарует Вам радости! Брат Ваш *Андерсен*.

Вена, 17 июня 1834 г.

(*Генриетте Вульф*). Милая, дорогая сестра!.. Все же Вы мой лучезарный эльф. И в Вене первое дружеское письмо было именно от Вас. Спасибо, от души спасибо, хотя оно и опечалило меня. «Опечалило?» — спросите Вы. Да, к нападкам друзей душа моя чувствительна, как мимоза. Вы упрекаете меня за то, что я читал посторонним лицам отрывки из Ваших писем. Вы, пожалуй, вправе жаловаться, пожалуй, или вернее — навряд. Я ведь и эту откровенность считаю хорошей своей чертой, единственной, еще напоминающей прежнего А., который когда-то все-таки нравился Вам. В радости я всегда следую мгновенному влечению сердца. Получая за границей письмо от Вас, я так радуюсь, что не могу не поделиться этой радостью с первым же подвернувшемся под руку симпатичным лицом; утверждать же, что над Вашими письмами глумились, простите меня, прямо несправедливо. Таким лицам я не доверялся, а всякий отзывчивый и умный человек невольно оценивает Ваши письма, как должно. Это Вас «оскорбило». Знаю, понимаю, кто-то тут Вам насплетничал! Но теперь мы опять друзья, и если прикажете, я буду впредь поступать с Вашими дорогими письмами, как другие разумные люди, а не как дитя природы. А теперь довольно об этом? Затем Вы браните меня за мои «горькие» сетования на некоторых земляков. О Боже, Генриетта, Вы не знаете, как испортили они мне мое непродолжительное счастье в Италии; чувствуя себя возмужавшим, я не мог не оскорбиться тем, что человек моложе меня третирует меня, как мальчишку; меня оскорбил человек, которому я открывал всю свою душу; этот-то человек отчасти и заставляет меня с таким страхом думать о возвращении на родину. Душа моя жаждет любви, любовью можно было бы сделать из меня все, но вот нашлись люди, которые со спокойным сердцем уничтожили во мне всякое желание жить и трудиться. Я теперь не радуюсь ничему больше, ничто меня не привлекает... Поэт умер; его убили в Италии. Если по возвращении его на север в нем еще останется хоть капля жизни, там живо покончат и с нею. Знаю я, с кем имею дело!..

Гамбург, 1 августа 1834 г.

Дорогая сестра Иетта! Право, я человек не совсем обыкновенный, иначе бы я теперь сердился на Вас и не писал Вам ни слова. Несправедливо, крайне несправедливо со стороны моей славной Иетты слушать

пошлых копенгагенских сплетников и не радовать меня больше ни единым словом. Впрочем, меня это не сердит, а печалит, к этому ж мне не привыкать стать. — Я так был уверен, что получу от Вас в Гамбурге письмо. Разъяснение мое по поводу чтения «отрывков» из Ваших писем посторонним лицам вовсе не пустые слова, а сущая правда: причина — моя чрезмерная радость и свойственная всем добрым людям общительность. Вы не признаете этой черты! Я дал Вам мое братское слово, что впредь не покажу никому ни одной строчки из Ваших писем, но Вы не поверили мне, не пишете. Отомщу же я Вам за это! Если я когда-нибудь прослаблю свое имя, то, клянусь, прослаблю вместе и Ваше. Вы утешаете себя мыслью, что бессмертие мое вряд ли продлится дольше недели, — а кто его знает! Все те лица, которые имели на меня влияние, будут жить в моих произведениях, а кто же заслуживает этого больше Вас, моя дорогая, хотя и несколько несправедливая сестрица! — На этом свете Вам не придется журить меня за это великое сообщение, и, следовательно, между нами разыграется маленькая сцена на том, когда туда прибудет какой-нибудь земной житель и похвастается, что читал Ваши письма ко мне. Вы узнаете тогда, как мило, чисто по-дружески Вы вспоминали обо мне, пока Вы были в Дании, а я в Италии, и, наверное, пожалеете о том, что, поменявшись со мной местами, когда я с тяжелым сердцем направлялся на родину, где меня ожидало немало горя, а Вы ехали в Италию, Вы сразу превратились в человека минуты с его обычными свойствами. Прочитав это письмо, Вы, пожалуй, вовсе перестанете писать мне, — хорошо, поступайте, как знаете, я же буду продолжать писать Вам по-прежнему; я люблю Вас, как сестру, привязан к Вам всей душой и буду любить Вас несмотря на то, что Вы уже не относитесь ко мне с прежней добротой. Что ж, сама Иетта тут ни при чем, виноваты окружающие, наш маленький Копенгаген, наша крошечное, милое датское общество, которое, странно сказать, может таки повлиять на Вас. Прежде мне часто случалось впадать с горя в настоящее отчаяние, но теперь пора таких кризисов миновала, я готов на все; моя песенка ведь уже спета, я возвращаюсь в царство холода, где ждет меня моя могила. Я уже дошел до того, что вполне готов — в случае, если уж очень соскучусь там — спуститься в маленькую каморку, от которой у каждого есть свой ключ. Пусть люди затем поболтают с четверть часа о том, почему это я так рано отправился на покой, — мне будет безразлично. — Живите счастливо в той дивной, незабвенной для меня стране, вспоминайте меня добром — с меня и этого довольно за мои письма; я не стану ссориться с Вами, не хочу чем-либо отравить Вам этих коротких счастливых дней; между нами произошло одно недоразумение, естественное последствие влияния наших земляков.

В Вене получил я сильно обрадовавшее меня письмо от Ингемана. Он только что прочел мою «Агнету» и называет ее лучшим моим про-

изведением, показывающим, что я сделал значительный шаг вперед. «Агнета» произвела на него впечатление «северной летней ночи», и чтение ее привело его в такое поэтическое настроение, что он сам начал писать. Он и просил меня не принимать к сердцу жестоких осуждений толпы и предсказывает то же, что давно подсказало мне мое собственное сердце: «Агнете» воздадут должное, когда меня не будет больше на свете». — Да, это «отчаянное марадание, которое друзьям моим не следовало бы допускать в печать, которое служит доказательством полнейшего упадка моего таланта», как угодно было написать в письме ко мне моему *первейшему* другу, в конце концов все же доставит мне радость за пролитые слезы, за бессонные ночи! Бог весть, что скажет *друг*, что скажут друзья, когда мне скоро выпадет счастье, блаженство вступить в их круг; да скоро меня встретят иудиными поцелуями и горчайшей приветственной чашей; что ж, вполне поэтичное положение! В качестве поэта я явлюсь ведь бабочкой, а она всего красивее, когда трепещет на булавке. И расположение духа моего, поверьте, самое превосходное, не умею только хорошенько приготовиться к ожидающим меня великим радостям. Счастливая Иетта! Теперь Вы в прекрасном Сорренто. Там и я, бывало, бродил под апельсиновыми деревьями, стоял под балконом Тассо, устремляя взор через синее море на дымящийся Везувий. Передайте же от меня привет каждой пинии, каждому ветерку и ультрамариновым волнам! Скажите им, что красота их скоро станет грезиться многим на севере, что среди снегов и туманов много добрых сердец возгорятся желанием увидеть их воочию. — Вот когда я познал настоящую тоску по родине! Я, пожалуй, готов согласиться, что лучше быть монахом под сенью апельсиновых деревьев, нежели датским поэтом на лучшей нашей, но грязной улице Эстергаде. О, *mia bella partia*! Здесьние мои земляки, впрочем, хвалят меня за то, что я так радуюсь возвращению на родину; но в этом отношении на языке у меня не то, что на душе или в письмах, которые отправляю отсюда; в них только я являюсь в настоящем свете. Сегодня утром я сбрил свои усы; мне было просто жаль их: они так скрашивали мои зубы; но нельзя же было оставить их — земляки мои нашли бы меня, пожалуй, чересчур интересным. — Ваш преданный брат Андерсен.

Копенгаген, 26 сентября 1834 г.

Дорогая сестра Иетта! Вот я и опять в Новой гавани, куда никогда не заглядывает солнце; но это в порядке вещей. Рабочий мой кабинет окутан холодной северной тенью, а из окна видны паруса и флаги. Корабли приходят и уходят по зеленым волнам канала, волны то и дело кивают мне. При лунном свете они рассказывают что-то грустное про

прошедшее лето, когда их озаряло в Лазурном гроте серное пламя, когда на щеках их горел отблеск Везувия. Теперь все переменялось, да и говорить волны больше не умеют; мне просто жаль бедняжек: они, пожалуй, скоро совсем замерзнут. — Но если мой рабочий кабинет обращен на север, то зато спальня — на юг; ботанический сад расстилается точно ломбардская равнина за альпийским кряжем дворовой стены. В саду растет высокий густолиственный тополь, при луне он кажется совсем черным, и я, глядя на него, вспоминаю черные кипарисы и все то хорошее, о чем грезилось мне на днях. Да, мне в эту зиму так явственно пригрезилось мое прошлогоднее пребывание в Италии, что я сел да и написал роман из итальянской жизни, в который вложил все пережитое, пережитое мною в Италии. Книга эта скоро будет готова, но и теперь уже производит на людей, побывавших в Италии, замечательное впечатление. У них слезы навертываются на глаза и их охватывает тоска по чудной стране. Некоторые из друзей моих, которым я читал кое-какие отрывки из романа, тоже очень довольны описаниями, и все в один голос твердят: «Да, видно, что ты побывал в Италии!» Вашей добрейшей матушке тоже захотелось послушать. Я и стал читать. Она прослушала *первые шесть страниц* — описание детства героя романа, и сейчас сказала: «Точь-в-точь прежний Андерсен; все это так по-детски!» Слова эти звучали упреком, но так как мне не дали разъяснить, что детство *и должно быть детским*, то мы и не дошли ни до возмужалости героя, ни до настоящих событий в романе. Я вывел из этого только то заключение, что не следует мне читать его даже моим друзьям несмотря на то, что все они, исключая Вашей матушки, приходят от него в восторг. Издать же я его все-таки, издам; вас ведь никто не заставит читать его. — Недавно я навестил Ингемана; некоторые не считают его более поэтом с тех пор, как он так расхвалил мою «*Агнету*»; он поздравил меня с окончанием нового романа, и мы выпили с ним по доброму стакану пунша за преуспевание моего детища; он пророчил ему большой успех в Дании и строил такие блестящие воздушные замки, но, конечно, это все вздор! Андерсен ведь всегда останется тем же Андерсеном!

Из Гамбурга я отправил Вам большое послание, которое, надеюсь, дошло до Вас. Несколько дней спустя, я прибыл в Копенгаген. Дорогие Ваши родители уступили мне комнату, пока я отыскал себе помещение. В тот же вечер я посетил семью Коллин, где меня встретили как сына, на глазах старика я заметил даже слезы. Эдварду я сказал, как я был сердит на него, и мы теперь стали лучше понимать друг друга. Я уже не так женственно чувствителен, как прежде, он перестал изображать ментора, мы являемся *равными*, и я искренно люблю своего испытанного друга, а он меня. — Я повсюду встречаю добрых людей; сам значительно сбавил свои требования, и все идет отлично. Расположение духа моего самое прекрасное, каким я давно уже не пользовался, я сознаю свое

положение и живо разбираю, с кем имею дело. Случись, кто-нибудь опять начинает разыгрывать ментора, я сначала прислушиваюсь, не вздор ли он несет, и если да — то и задаю же ему перцу. Я, впрочем, давно уже замечаю, что большинство моих учителей берут больше всего языком; тем не менее я очень вежлив с ними, терпеливо выслушиваю от них немало глупостей и скромно предоставляю им щеголять своими крошечными особами. Меня стали даже хвалить за эту добродетель, за скромность, хотя прежде-то, когда я так много носился с собою, я был куда скромнее, чем теперь, когда держусь в сторонке. Итак, все идет прекрасно, и я чувствую себя в сущности очень хорошо. Никто больше не обращается со мной, как с мальчишкой, — только раз после моего возвращения испытал я нечто подобное. Я чистосердечно расскажу Вам все. Это докажет Вам и мое доверие к Вам, и братскую преданность. Отнеслась ко мне таким образом *Ваша матушка*, вообще такая прекрасная, милая матушка. Она обращается со мной, точно с сыном, но сыном-неучем, которого все еще надо воспитывать, и совершенно забывает, что сын-то подрос, что с ним уже нельзя разговаривать, как с ребенком. — «Полнейшее отсутствие не только основательных познаний, но даже желания учиться чему-либо» — вот что я услышал от нее. Затем она стала уверять меня, что больше всего повредило мне постоянное снисхождение ко мне рецензентов, что грамматические ошибки, встречавшиеся в прежних моих трудах, повторяются и в новых, и т. д. и т. д. Да, да, все это сущая правда, я ничего не прибавляю. Разговор начался в самом дружеском тоне, а под конец мне пришлось наслушаться таких вещей, которых я меньше всего мог ожидать именно теперь. Похвалы и ласки заставляют меня смиряться душой, несправедливое же порицание пробуждает во мне гордость, и тогда я уж не в силах смолчать. Главное же в этом случае то, что эту обиду нанесла мне *Ваша мать*, которой я так много обязан и которую так любил называть своей. — Вечно преданный Вам брат-поэт.

P.S. Не забудьте в письмах на родину присылать мне поклоны.

Копенгаген, 20 октября 1834 г.

(*Эдварду Коллину*). Позвольте мне сегодня обратиться к Вам письменно. У меня есть до Вас дело, приходится, следовательно, докучать Вам, а это очень не вяжется с моими понятиями о дружбе. Вы обещали поговорить с Рейцелем о моем романе. Не думайте, что я особенно тороплюсь выпустить его в свет. Скажу даже — благо это в письме, и я таким образом не рискую услышать никаких восклицаний, — пусть бы он пролежал себе хоть 9 лет, а с ним вместе и все мое творчество, если бы можно жить без денег. Но так как жить без них нельзя, то я

и полагаю, что роману моему не след валяться. Финансов у меня хватит еще на недельку, а затем предстоит новый месяц с платой за квартиру, с дырявыми сапогами и пр.; следовательно, деньги мне нужны не позже как через неделю.

Итак, не поговорите ли Вы с Рейцелем о моем рассказе (я так и хочу назвать его, а не новеллой, не романом) и внушить ему некоторое уважение к нему, сказав, что он является как бы квинтэссенцией моей поездки по Италии. Заглавие его «*Импровизатор*»; он составит две небольшие книжки, их можно переплести вместе, и получится подходящий по величине том. Пусть он будет напечатан в том же формате и тем же шрифтом — около 28 строк на странице, — как романы Ингемана; таким образом книжка выйдет листов в 18 не больше, а прошу я 12 риксдалеров с листа, или за все целиком 100 специй. Половина суммы должна быть выдана мне при сдаче первой части рукописи. Если мне выдадут теперь же 100 риксдалеров, то я не погонюсь за тем, чтобы книга вышла до Нового года. Если Вы можете указать мне на другие источники, в чем, впрочем, сомневаюсь, да и не охотно связываю себя обязательствами, то пусть рассказ полежит; в противном случае прошу поверить мне, что настоящая спешка вызвана вовсе не желанием поскорее увидеть свое произведение в печати. Я всегда еще успею сделаться предметом глумлений, накликать на себя обиды и огорчения. Знаю, что обрушатся и на эту бедную книгу, как на «*Агнету*», но я терпеливо буду носить свой терновый венок, хоть он и не красит, а только давит и колет Вашего друга Андерсена.

P.S. Извините меня, что я в последнее время снова впал в чувствительный тон и проявлял к Вам слишком нежные чувства, Вы ведь не любите этого; но мне как-то нездоровилось; постараюсь при случае проявить побольше холодности.

Копенгаген, ноябрь 1834 г.

(*Генриетте Ганк*). ...Когда же выйдет Ваша книга? Напишите мне о ней хоть что-нибудь. Не заставляйте же меня ждать до лета! Лето... да, это красивое название, только нам приходится довольствоваться одним названием: девять месяцев уходит на зиму, один на весну, один на осень, один же между ними изображает что-то среднее между банной и тепличной погодой. Чудесный у нас климат, нечего сказать! Дождь льет вот уже неделю подряд! — Недурно было бы, по-моему, если бы влюбленные дарили теперь друг друга вместо колец зонтиками. Хоть бы наступили морозы, настоящие морозы и заморозили бы все, — вот это было бы дело! Коли пир так уж на весь мир! Я ежедневно бываю в семье Коллин; зато больше почти нигде. Два раза в неделю сердце влечет меня к г-же Лэссё,

и я знаю, что она охотно видит меня у себя, только у меня-то теперь мало охоты ходить куда бы то ни было, а меня, как на грех, осаждают приглашениями. Только у старика Коллина я чувствую себя, вполне как дома: маленькие внуки его зовут меня дядей, сам старик мне точно родной отец, а дети его сестры и братья. — На днях у Коллина был обед для литераторов. Гостями были Герц, Гейберг да я, или, вернее, как сказал сам Коллин, гостями были только двое первых, так как Андерсен — сын дома. Гейберг был остроумен, Герц глух, но юн душой, я же — забавен. Да, Вы не поверите, каким я стал молодцом. Вам, верно, любопытно узнать, как отзываются обо мне? Вот Вам пара-другая характеристик. Г-жа Лэссё говорит: «Он запасся теперь знанием людей, разыгрывает из себя чисто-сердечного малого, а говорит все-таки только то, что хочет. Не разберу я его хорошенько». Коллин-отец говорит: «Пожалуй, он стал теперь довольно солидным парнем, но старые замашки все еще при нем остались». Г-жа Древсен и Луиза уверяют: «Он стал таким веселым, шаловливым и таким рассеянным. Никак не разберешь его». А Вы, что думаете обо мне? Впрочем, сперва прочтите роман, а потом скажите. Вы видите из этого письма, что у меня осталась старая привычка болтать о себе очень много, но это ведь такая обширная тема...

Дождь, слякоть и туман, 16 марта 1835 г.

(*Генриетте Вульф*). Добрейшая сестра моя Иетта! — Из вышеприведенной надписи Вы увидите, что письмо это написано на нашей дорогой родине и в Копенгагене. Скоро, кажется, минет пять месяцев, что мы не видим ясного неба, я скоро совсем позабуду, как выглядит голубой цвет, о нем несколько напоминает только материя моей шинели. Вдыхайте итальянский воздух полной грудью, набирайтесь там силами, чтобы было чем жить, когда судьба опять вернет Вас сюда на родину. Спасибо за Вашу дорогую, хоть и чересчур уж краткую записку! Вы знаете, что я такой большой и длинный, мне нужно пицци побольше, но, верно, она не заставит себя долго ждать. Поэтому-то и я строчу Вам теперь такое длинное послание, первое в сущности, которое посылаю Вам по возвращении. Отчего это так случилось, я сам не знаю; пожалуй, причина в воздухе, он действует как-то парализующе, и так как весь запас воздуха и огня, который я привез с собой из Италии, пошел на творчество, то и приходится манкировать относительно друзей. А Вы знаете, чем я был занят? Написал роман «*Импровизатор*» в двух частях и 30 листах и небольшую драму в 2-х действиях «*Кирстинушка*»; музыку к ней взялся написать Бредаль¹, затем я написал

¹ Как видно из «Сказки моей жизни», стр. 201, «*Кирстинушка*» была поставлена в 1846 году с музыкой Гартмана. — Примеч. перев.

еще несколько сказок для детей. Эрстед говорит про них, что если «Импровизатор» прославит меня, то сказки обессмертят мое имя, по его мнению, я не писал ничего лучшего. Я не согласен с ним, он не знает Италии, поэтому и пронизывающее весь роман веяние Италии не может будить в нем чарующих воспоминаний...

В день рождения короля в королевском театре шли две пьесы: «Свадьба зрителя замка», драма артиста Гольста, вещь никуда не годная, и прелестная пьеса Гейберга «Эльфы», заимствованная из тиковских «*Die Elfe*». Из всех произведений Гейберга это самое поэтическое. Вам известно, что на парадных спектаклях вообще воздерживаются выражать свое мнение, и это легко сбивает людей с толку. Аристократия наша была за первую пьесу и обзывала вторую балаганщиной, я же тотчас объявил, что первая дрянь, а вторая шедевр, и говорил всем и каждому: «Виновата тут нация, ей недостает фантазии, и сказочный элемент ей не доступен». Такому смелому утверждению только удивлялись, но вот стал высказывать то же самое Эленшлегер, и при том не простым студентам, как я, а занимающим места в придворном паркете¹, и, три дня спустя, по всему городу говорили, что пьеса Гольста никуда не годится, пьеса же Гейберга верх совершенства! Я мог бы указать вам на многих, переменивших таким образом свое мнение, но так как они нам чересчур знакомы, то оставим эту материю. Я обзавелся теперь новым знакомством. В один прекрасный день приходит ко мне с приглашением посыльный от старухи Бюгель, вдовы коммерсанта. Я сказал ему, что тут произошло какое-нибудь недоразумение, и отпустил его. Но он вскоре вернулся с вторичным приглашением, и тогда я принял его. Старуха полюбила меня и оказывает мне всевозможное внимание. Но, конечно, это просто каприз с ее стороны и долго он не продлится. На днях она вдруг прислала мне прелестный французский шлафрок, вышитый розами, и шелковый пояс, потом бутылку итальянского вина, другую, третью!.. Последний же раз, когда посланный пришел приглашать меня на обед, оказалось, что ему было велено просить меня лично составить меню, а раз, когда я отказался за нездоровьем явиться к ней, барыня взяла да прислала мне детских порошков! Все теперь говорят, что я женюсь на ней, и называют ее хорошей партией, но я все-таки не согласен — уж слишком много будет у меня тогда пасынков...

Копенгаген, 26 марта 1835 г.

Дорогой Рейцель! Печатание романа заканчивается. Книга выйдет, следовательно, на будущей неделе. Желаю Вам хорошего сбыта. Я дал

¹ См. прим. стр. 143.

Вам год моей жизни и, пожалуй, самый лучший. Присылаю Вам список 18 подписчиков, собранных некоторыми из моих друзей. Это, конечно, очень немного в сравнении с сотней, на которой Вы настаивали, чтобы назначить мне гонорар в 200 риксдалеров. Я и предвидел, что больше этого пока не наберется, но, если книга пойдет ходко, дело скоро наладится. Мы предполагали выпустить ее в феврале, но Вы уже предупредили меня, что я и в таком случае не мог бы получить остатка гонорара раньше, чем в начале апреля. Теперь книга является как раз к этому сроку, но апрель так недалек, что Вы, вероятно, не сочтете непомерным требованием со стороны нуждающегося писателя просьбу выдать мне остаток гонорара теперь же. 200 р. Вы, пожалуй, не дадите, по крайней мере не раньше, чем окажется, что книга будет иметь ход; будем считать, следовательно, 180 р., но из них я, увы, уже получил 115 р. Остается дополучить пустяки. Прошу Вас выдать мне этот остаток в понедельник — день, когда я свожу свои счета, а если хотите обрадовать меня — Вы можете это, — то заготовьте для меня к четвергу, 2 апреля — время есть — два экземпляра в красивых переплетах для г-жи Коллин и принца Христиана. Надо вам сказать, что 2 апреля — день моего рождения, и мне очень хотелось бы обеспечить себя этой радостью, исполнение которой зависит только от Вас. Поверьте мне, дорогой Рейцель, будь я богат, я бы подарил Вам все свои писания, но свет уж так устроен, что ничего такого сделать нельзя. В другом свете, где все ведь переменится к лучшему, Вы, может быть, будете поэтом, а я издателем; тогда Вам представится случай поступить со мной так, как я бы поступил по отношению к Вам, будь это в моей власти. Всего хорошего! Приду в понедельник и надеюсь, что Вы будете дома. Не забудьте также: 2 апреля! Преданный Вам Андерсен.

Копенгаген, 14 мая 1835 г.

(Ионасу Коллину). ...Тяжело у меня на сердце; мне непременно надо поговорить с Вами, но лично я не решаюсь. Надежда моя когда-нибудь доставить Вам истинную радость, одна из тех многих, от которых я уже отказался. Лучшие мои стремления терпят крушение. После моего возвращения на родину я с каждым днем все более и более чувствую зависимость и горечь своего положения. Там, где я ожидал найти поощрение и любовь, я встречаю только несправедливость и мелочную критику. Я беден, и бедность эта угнетает меня сильнее, чем последнего нищего, отнимая у меня и силы, и мужество. И я уже слишком умудрился жизненным опытом, чтобы позволить себе мечтать о лучших временах впереди. Мне предстоит такое несчастное будущее, что у меня вряд ли даже хватит мужества встретить его. Настанет время, когда мне ничего другого

не останется, как искать плохенького места деревенского учителя или проситься куда-нибудь в колонии. Умри Вы, и у меня не останется никого, кто бы принимал участие во мне, а талант ничто, если обстоятельства ему не благоприятствуют.

В последнее время обстоятельства сложились для меня самым удручающим образом. Меня часто мучат такие лишения, которые со стороны могут казаться пустячными, — о них я, однако, и говорить не буду, но мне прямо грозит нужда. Я старался скрывать это и от себя, и от всех других, но больше не могу. Я Вам должен 100 риксдалеров. Других долгов у меня нет, но уже и то, что я должен все откладывать да откладывать уплату Вам, постоянно мучит меня. Гонорар за мое либретто «Ламмермурская невеста» я получу не раньше сентября; получу я, наверное, 200 р.; Бредаль тоже не берется кончить музыку для «Кирсти-нушки» раньше этого времени. Последнее либретто в 2-х действиях, и мне дадут за него, вероятно, 100 р., но и этих денег приходится ждать. У Рейцеля теперь нет денег, и он не берется пока издавать нового выпуска сказок, который я изготовил. Я сделал все, что мог, но все безуспешно. Летом я предполагаю написать новый роман и одну маленькую пьесу, но это все работа для будущего, а не для текущих месяцев. Между тем у меня нет одежды, я ежемесячно должен тратиться на уплату за квартиру и на кое-какие другие нужды. В конце года у меня, конечно, будут деньги и гораздо больше той суммы, которую я должен Вам. Нельзя ли Вам поэтому достать мне из какого-либо источника еще 100 риксдалеров? Мне опять приходится просить об этом Вас и это просто доводит меня до отчаяния. Я сознаю всю Вашу доброту ко мне, Ваше снисхождение, деликатность, и меня тем больше огорчает необходимость вечно докучать Вам.

[На это письмо К. в тот же вечер написал А. такой ответ: «Не тревожьтесь и спите себе спокойно. Завтра увидимся и столкнемся насчет средств. Ваш К.»].

Люккесгольм, 5 июля 1835 г.

(Эдварду Коллину). Дорогой друг! Будь я теперь в Копенгагене, а Вы в деревне, Вы бы написали мне? Ну, А. так ведь любит писать письма, говорите Вы. Вовсе нет! У меня охота эта давно пропала; я только предполагаю, что Вас может обрадовать письмо от меня, потому и пишу да еще, как видите, длинное письмо. Если бы Вы приехали сюда ко мне хоть на денек, как бы я обрадовался! Люккесгольм самая красивая местность в Фиионии; кормят здесь прекрасно; дают и вина и сливок сколько душе угодно. — Поместье это принадлежало когда-то Каю Люкке. Один из флигелей еще сохранил свой древний стиль: глубокие рвы,

сводчатые потолки и гобелены. Мне отвели самую интересную комнату в одной из больших башен; кровать старинная с красными занавесками, на гобеленах — весь Олимп, а над камином красуется герб Кая Люкке. Кроме того, тут «нечисто»; все люди в доме верят этому, но я еще ничего не замечал, даром что зорко следил, особенно в первую ночь. Если вообще существуют привидения, то, надеюсь, они настолько поумнели на том свете, чтобы не показываться лицам с особенно живым воображением, которое готово покончить с ними при случае. Коридор, ведущий в мою комнату, обвешан старинными портретами разных дворянских особ, порядочно таки подернутыми плесенью. На днях мне вздумалось намочить тряпку и промыть им всем глаза. Вот они вытаращились-то! Одна из барышень, не знавшая об этой операции, случайно взглянула на них и так и ахнула. — Здесь прелестнейший сад с террасами, он прямо примыкает к лесу, большое озеро подходит вплоть к самому дому. Я каждый день катаюсь в лодке и распеваю баркаролу из *«Ламмермурской невесты»*. Владелица поместья, г-жа Линдегор, премилая и гостеприимная хозяйка. Я предполагал остаться здесь только дня два; но прекрасная местность, густые сливки и пр. заполонили мое сердце, и вот я здесь уже десятый день. Расскажите г-же Дреусен, что дамы здесь увлекаются мною, как она Байроном, и страсть как ухаживают за мною. *«Импровизатором»* они все восхищаются, все, что я ни говорю, находят бесподобным, исполняют каждое мое желание, спрашивают, что я хочу к обеду, не хочу ли прокатиться... Да, поверьте, что с Эленшлегером у принца не носятся больше, чем со мною здесь. Это в первый раз, что я сознаю, как приятно быть поэтом.

Не узнали ли чего-нибудь о немецком переводе *«Импровизатора»*? Мне очень хотелось бы узнать, какое впечатление произвел он на немецкую публику. Эта моя лучшая книга, и как раз за нее-то мне хуже всего заплатили. Будь я французом и имей сравнительно такой же круг читателей во Франции, какой имею в Дании, я бы не был нищим, имел бы возможность предпринять новое путешествие, набраться новых впечатлений и обогатиться и умственно, и душевно. Будь у нас истинно любящий искусство принц, готовый покровительствовать искусству — я был бы теперь на пути в Грецию. Теперь я съездил бы куда с большей пользой и куда экономнее. А результатом, с Божьей помощью, было бы произведение еще более совершенное, которое бы прославило меня еще больше. Не считайте меня неблагодарным, дорогой друг, я отлично чувствую, что для меня и то сделано много. Но я не могу не думать о том, как мало в сущности нужно, чтобы доставить мне возможность создать еще более совершенное произведение, но я предвижу, что этому не бывать. С виду я весел, счастлив, а, пожалуй, никогда еще так не горевал, как теперь, по возвращении домой. Что поделаешь! Я чувствую себя здесь чужим, мои мысли в Италии. О, Эдвард, если бы Вы подышали тем воздухом, видели все то великолепие,

и Вы бы затосковали, как я. Вспомните, у меня нет ни родителей, ни родных, ни невесты — и не будет никогда! Я так бесконечно одинок! Только в доме Ваших родителей мне еще иногда грезится родной дом, но как скоро все может перемениться! Вы женитесь и уедете, Луиза выйдет замуж и тоже уедет, кружок будет становиться все меньше и меньше, пройдут года, я состарюсь и, наверное, доживу до глубокой старости — печальная перспектива! Так как же мне не вздыхать по той стране, где я чувствовал себя дома, по югу? Вот она, невеста моя, по которой я тоскую, которая очаровала меня своей красотой. О, если бы я мог продать кому-нибудь богачу годы своей жизни, я бы отдал половину ее, чтобы иметь возможность другую половину прожить в Италии. Когда-то я мог с детской верой просить Бога о разных чудесах и был счастлив надеждой, что молющая меня будет услышана; теперь же я стал таким благоразумным, что не могу и просить Бога об исполнении моей заветной мечты — вновь увидеть чудный юг. Я знаю, что этому не бывать...

Оденсе, 16 июля 1835 г.

Дорогой Эдвард! Что только выпало мне на долю в Люккесгольме! За мною так ухаживали там, что я пробыл там вместо двух дней целых семнадцать. И чего только эти барышни ни придумывали! Пытались даже напугать героя дня. Прятали мне под кровать живого петуха, привязывали к занавескам моей кровати бумажки с майскими жуками, сыпали в постель горох и т. д., но я живо раскрывал все их плутни и по великодушию своему даже не мстил за них. Раз подмывало меня, впрочем, лечь в виде привидения на постель одной из молодых барышень (они раз положили в мою куклу женского пола), но раздумал; пожалуй, это могли истолковать превратно, да и сама старуха, которой я доверил свой план, сомнительно покачала головой. Приехал я в Оденсе, где ожидало меня Ваше письмо, живо проглотил его, и вот послушайте, какое случилось со мной ужаснейшее происшествие, да не забудьте рассказать о нем Вашей сестре и Иетте. Я привез с собой из Парижа пару тоненьких башмаков, они без твердых задков и держатся только краями обшивки. Я надел их, и, чтобы уж щегольнуть во всю, надел также пару шелковых парижских носков, таких тоненьких, что совсем и не чувствуешь их на ногах. Иду я себе по улице. Само собой разумеется, что я предварительно несколько приподнял брюки, — если носки не будут видны, какое же тогда от них удовольствие? Двигаюсь я себе, и обшивка башмаков тоже двигается, а мне только кажется, будто башмаки становятся просторнее. Затем сижу дома за столом и обедаю. Вдруг кто-то говорит: «А что это случилось с башмаками?» Схватываюсь малюсенькой своей ручкой за ногу и ощупываю голую пятку, щупаю выше — все голо. Вот те здравствуй! Оказалось, что тоненькие

шелковые носки съехали у меня во время ходьбы в башмаки, задки башмаков стоптались, и я в таком-то виде разгуливал по улицам. Зато люди могли полюбоваться такими белыми пятками, что у твоей Венеры! В первую минуту я был совсем уничтожен, но затем успокоился, твердо уверенный в том, что люди приняли мои голые пятки за белые шелковые носки. Но, однако, вот происшествие-то! *N'est pas?*¹ Теперь у нас ярмарка; воздух пропах крестьянами, ютландские горшки узрели Вашего поэта, и солнце, наконец, пригрело, как следует. Вы радуетесь моей практичности и благо-разумию! Да, видите ли, я научился им в Вашем обществе. И я теперь могу ворчать, горячиться, говорить грубости, словом, быть совсем не похожим на Андерсена времен его невинности душевной. Теперь я обнаруживаю многосторонность, которая Вас, верно, удивит. Я могу увлекаться зараз и бульоном, и жарким, и черными глазами, и мелодиями Беллини. Я охотнее пью молоко, чем утреннюю зарю, а шампанское журчит теперь для меня приятнее всякого источника. Ваше описание меня, как поэта, когда я хорошо поел, очень хорошо, но не ново. Я ожидал от Вас большего, особенно ввиду того, что Вы ведь тоже иногда занимаетесь нашим ремеслом — и в стихах, и в прозе. Вы говорите, что Вам хочется подразнить меня, — как мы, однако, похожи друг на друга в наших дурных качествах. Ведь то же желание ощущаю и я, и оно-то и делает меня для Вас столь интересным, столь незаменимым.

Вы жалуетесь на вросший ноготь на большом пальце ноги, я — на мозоль на мизинце, — и тут мы сходимся. Вы любите читать хорошие книги, я больше всего люблю читать свои собственные стихи, — опять совпадение. У Вас есть невеста, милое, почти чересчур красивое создание, а у меня есть столь же милая и еще более прекрасная — природа. Она обладает мировым разумом и вечной юностью, она поет мне, целует меня и угощает и маслом, и молоком, и земляникой. До свидания! — *Брат.*

Копенгаген, 19 января 1836 г.

(*Генриетте Ганк*). Наконец-то, я получил немецкий перевод «*Импровизатора*», то есть сам выписал книгу на свой счет; переводчик теперь в Париже, а издатель забыл про меня. Новый роман мой озаглавлен только двумя буквами «*О. Т.*», и название это вовсе не искусственное, деланное, а самое простое в свете². Эта зима прошла для меня так благополучно, как еще ни одна. «*Импровизатор*» доставил

¹ Образчик французских оборотов Андерсена, который стал поговоркой в доме Коллин. — Э. К.

² Начальные буквы имени и фамилии героя Отто Тоструп, а также инициалы Odense Tugthus, то есть одензейский смиренный дом. — *Примеч. перев.*

мне самое лестное внимание со стороны лучших людей, и большая публика стала относиться ко мне куда лучше прежнего. От забот о хлебе насущном я, слава Богу, теперь избавлен, и в последнее время мог даже устроиться вполне комфортабельно. Редакции доставляют мне газеты, Рейцель — новые книги и гравюры, и вот я сижу себе в вышитых туфлях и в шлафроке, печка шипит, самовар поет на столе, а курящаяся монашка так славно пахнет. Вспоминаю бедного мальчика в Одессе, ходившего в деревянных башмаках, и с умиленным сердцем благословляю Создателя. Теперь я в самом зените своей славы, я это вполне сознаю, а потом пойдет на убыль. Но поэт бывает в зените, кажется, лет шесть, и за это время я успею написать шесть хороших книг. А тогда дело мое сделано, и я, наверное, сумею умереть вовремя! Только бы мне удалось побывать еще раз в Италии!..

Копенгаген, 3 февраля 1836 г.

(*Генриетте Вульф*). «А. значительно изменился и не к лучшему! Старый А. был мне куда милее!» Вот, что мне уже не раз пришлось услышать от Вас. Слова эти скользнули, как ртуть, но мне показались и тяжелы, как она. Сегодня вечером я намеревался навестить Вас, мы бы поболтали, рассказали бы друг другу разные историйки; я, как всегда, говорил бы о себе, и под конец Вы протянули бы мне руку со словами: «Узнаю старого А.!» Но я изменил свое намерение, предпочел отдать Вам визит мысленно, написать посланьице. Во-первых, в нем беседа идет глаже, во-вторых, я ведь эгоист — в этом случае Вам приходится, по крайней мере во время чтения письма, заниматься исключительно мною. Я очень редко бываю у своих друзей. Привязанности мои все те же, но во мне пробудилась новая привязанность — к работе. Пора истинного творчества началась для меня с моего возвращения из Италии; для успешной работы мне остается, может быть, еще лет пять-шесть, и ими надо пользоваться. Я устраиваюсь у себя поуютнее, развожу в камине огонь, и тогда меня навещает моя муза. Она рассказывает мне удивительные сказки, показывает забавные типы из обыденной жизни, дворянские и мещанские, и говорит: «Взгляни на них, ты ведь знаешь их! Срисуй их, и они будут жить!» Это, конечно, великое слово, но она так и говорит. Вот почему я и манкирую друзьями. Вы говорили мне недавно про Людвиг Мюллера и его семейство, говорили даже, что так как я совсем перестал бывать у них, то трудно не видеть в этом какой-нибудь особой причины, но что ' та, на которую Вам указали, такая гадкая, что Вы не хотите даже сказать ее и сами отказались верить в нее. Я знаю, что это за «причина», мне нетрудно

разобраться в разных положениях и мнениях. Вот чего вы не хотели сказать мне: «Вы не бываете там больше, так как умер отец, от которого Вы могли ожидать себе протекции». Не так ли? Так рассуждают люди, а мне это очень прискорбно.

Вчера я навестил Вашу лестницу. Матушка не принимала гостей, дверь была заперта, и я так и не увидел ни ее, ни Вас. Понимаю, что она, как больная, неохотно показывается кому бы то ни было. — Скоро опять навещу Вас, авось удастся мне тогда повидаться с бедной матушкой. Она так любила меня, пока я был маленьким и послушным, но, увидите — вырасту красивым. Милая сестра моя кивает головой! — Новый труд, может быть, роман, начинает шевелиться у меня в голове, я еще не выяснил себе хорошенько, что именно готовится, но чувствую, что что-то будет. Мною овладело какое-то беспокойство, полное зарниц, предвестниц готовой разразиться грозы, какая-то приятная духовная лихорадка! Когда туман рассеется и перейдет в облака, я расскажу Вам поподробнее. Но я все болтаю без умолку! Перо так и бежит — бедняжке приходится записывать все, что мне взбредет на ум. Письмо это покажет Вам по крайней мере ход моих мыслей, когда я даю им волю. Ваш всегда преданный брат Г. Х. Андерсен.

Оденсе, 22 июня 1836 г.

(Луизе Коллин). Такой холод, что чернила замерзают, и я едва могу водить пером, но не могу не написать Вам, хоть Вы и не любительница описаний. Пассажиры в дилижансе наговорили мне пропасть комплиментов по поводу моего «Импровизатора». В Оденсе я в первый же день наговорился до хрипоты. Вы бы послушали, как я говорю. Избави Боже! говорите Вы, *n'est pas?* — Между нами будь сказано, я скучаю по Вас всех, особенно, когда вспоминаю, как вы бывало дразнили меня. Здесь со мной так нестерпимо вежливы, никто не зовет меня «ослом», «болваном» и тому подобными эпитетами, получающими особый колорит в устах Вашей сестры. Попросите ее прислать мне «осленка» или «болванчика» в конверте. Говорят, будто я сказал удачную остроту, которую сейчас же передали принцу, у которого теперь гостит Эленшлегер. Дело было так. Советник Гемпель сказал мне: «Теперь в Оденсе гостят два из наших крупных поэтов». Я на это ответил: «Это правда: один великий, а другой длинный». Говорят, что ответ был удачен, но я недаром ведь воспитан в доме Коллин. — От Эдварда я давно не имею известий, но об этом мы не будем говорить, постараюсь по отношению к нему взять свои чувства в руки. Пожмите ему от меня руку. — Старая дева Х. (ей около 60) восторгается мной до того, что почти влюбилась в меня... От

старух-то мне нет отбоя, а вот молоденькие! — Был бы я красив или богат!.. Всего хорошего! Кто теперь напишет мне? Эдвард, что ли? Брат Ваш Г. Х. Андерсен.

Люккесгольм, 26 июня 1836 г.

(*Генриетте Вульф*). ...Последнее письмо я написал Вам из Нестведа, оттуда я поехал в уединенное Сорё, где и попал в царство холода и тишины. Даже лето на севере не может утолить моей тоски. Был я и у Гауха, и у Ингемана, и мы предпринимали вместе прелестные экскурсии. — Младшая дочка Гауха странное дитя, так и бьет всех животных и в лесу, и дома. На днях она схватила палку и убила цыпленка. «Не слушается!» — сказала она. Немного погодя, она побежала за курицей, желая поцеловать ее и попросить у нее прощения...

Сегодня я написал Коллину и в первый раз высказал свое намерение просить о выдаче мне на будущий год стипендии на поездку за границу. Вот-то, верно, удивятся! И, конечно, я не получу ничего. Несчастье для художника родиться в маленькой стране! Родись я во Франции или в Англии, мне не довелось бы кланяться о том, что мог бы дать себе сам. Тогда бы я составил себе имя, был бы независим, и средств бы у меня хватило, чтобы жить где захочу. Я — южанин, посаженный на север, где расцвет мой продлится только месяц-другой, — никому нет охоты ухаживать за таким растеньицем. Раз-другой польют ему на голову водицы — вот и все, и я, конечно, за это благодарен, как и следует быть. Есть ведь так много растений, нуждающихся в уходе — и маргаритки, и зеленая капуста, а капуста — растение незаменимое. В настоящую минуту идет град, что твой горох! Ветер так и свистит, и пищит, и я пишу вместе с ним. Дивная Италия! Я бы согласился быть даже монахом на вершине Капри! Соскучишься, можно ведь спрыгнуть в воду. Байрон был все-таки счастлив, несмотря на все свои мучения. Он мог перелетать с места на место, богатство позволяло ему презирать людей, наслаждаться и петь, как ему хотелось. Я воспел Италию и написал датский роман. Теперь я напишу другой для своего личного удовольствия. И прочесть-то его земляки прочтут, но Бог весть, что скажут о нем! А я еще занят этим, — дурень я! — Когда будет подано прошение, надо всем моим друзьям приналечь хорошенько, чтобы выволить тяжелое разрешение. Попросите тогда Коха, он ведь знаком кое с кем из начальства; попрошу помочь и самого принца, и всем, кто поможет мне, обещаю... нет, это будет сюрприз! Если тот свет еще красивее Италии, то я с удовольствием расстанусь с этим; но вот, та соеиг, «синица в руках лучше журавля в небе». Дорожные сборы для поездки на небо имеют в себе нечто очень неприятное: едешь один, без паспорта и кредитивов, и успеваешь застыть еще до того, как тебя посадят в твое купе. — Addio! Брат.

(Луизе Коллин). ...При «низвержении солнца», как говорится в «Усладительном чтении», я приехал в Нествед, городок, точно сшитый из самых невозможных закоулков других провинциальных городков. Тут я столкнулся со старухой-поэтессой. Она была так озлоблена за свой невольный переезд с квартиры, что накормила домашних муравьев сахаром — небось выживут из квартиры новых жильцов! — Передайте сестре, что я так тоскую по ней, что с удовольствием заплатил бы целый риксдалер за тумак ее белой ручки. Сегодня утром я слышал, как конюх кричал на лошадей: «Экая скотина!» Это прозвучало для меня отголоском с родины, и я испытал то же, что должен испытывать швейцарец, когда услышит на чужбине альпийскую песнь... «Экая скотина!» Сколько дорогих воспоминаний может заключаться в двух таких простых словах! Письмо это Вы получите в день своего рождения; вспомните обо мне и если захотите пожелать мне чего-либо хорошего, так скажите: «Пусть А. в будущем году выпьет за мое здравие 3 августа среди пиний и гор, которые рисуются ему «в прелестнейшем цвете индиго»!» — Часто я вижу перед собой всех дорогих сердцу, словно наяву. Лучше всего я вспоминаю у своих друзей выражение глаз; оно для меня главное, существенное в лице. — Всего хорошего! Братски преданный Вам Андерсен.

Свендборг, 4 августа 1836 г.

(Эдварду Коллину). Дорогой, лучший друг мой!.. Вы получите мое письмо уже женатым человеком. Хоть я и не могу быть на свадьбе, не могу даже прислать за себя песню, я все-таки присутствую на ней мысленно. Я вижу Вас обоих: вы так серьезны и в то же время радостны. От всего сердца молю Бога о вашем счастье. Слезы навертываются у меня на глаза, когда я пишу эти строки. Словно Моисей, стою я на горе и гляжу в обетованную землю брака, в которую — увы! — не войду никогда. Господь многое дал мне в этой жизни, но то, что у меня отнято — может быть, самое лучшее, счастливейшее. Собственным гнездом обзаводишься, лишь когда женишься на верной, милой подруге и увидишь самого себя возрожденным в детях. И Вам теперь предстоит это счастье. Я одинок в жизни; дружба должна заменить мне все, заполнить все пробелы; вот почему, может быть, мои требования дружбы и заходят чересчур далеко. Но дайте мне ее хоть сколько можете — Вас ведь я люблю больше всех. Я предвижу свое будущее со всеми его лишениями — я останусь одиноким, так должно. Разум мой, надеюсь, всегда будет ясно говорить мне это. Но чувства мои сильны, как и Ваши; и я любил так же горячо, как Вы теперь, но любовь моя была лишь мечтой. Мечты этой я, однако, не забуду ни-

когда, хоть мы и не говорим о ней никогда. О таких сердечных ранах нельзя беседовать даже с лучшим другом. Да, я ведь и вылечился, и старые раны дают знать о себе лишь по временам. Лучше, может быть, было бы и промолчать вовсе, но свадьба моего Эдварда близка моему сердцу и пробуждает воспоминания...

Счастливы вы оба! Почувствуйте же, как много Вам дано сравнительно с другом. Но — я лечу на юг, Италия — моя невеста! Прощайте! Бог благослови Вас обоих! *Брат.*

Копенгаген, 11 февраля 1837 г.

(*Ингеману*). В скором времени Вы получите новый выпуск сказок для детей, которые Вам так не нравятся. Гейберг говорит, что это лучшее из всего написанного мною. Самая последняя сказка «*Русалочка*» Вам все-таки понравится. Она лучше чем «*Лизок с вершок*» и только она одна из всех моих произведений, если не считать истории о «*маленькой изуменьи*» в «*Импровизаторе*», глубоко трогала меня самого, когда я писал ее. Вы, пожалуй, улыбаетесь? Не знаю, что бывает с другими поэтами, я же страдаю вместе с созданными мною лицами, веселюсь и хандрю вместе с ними, бываю то добрым, то злым, смотря по тому, какую сцену пишу. Этот новый третий выпуск сказок, по-моему, лучший из всех, и Вам, верно, понравится! И Вашей жене тоже! Я не поставил бессмертия души своей русалочки, как de la Motte Fouqué своей «*Ундины*», в зависимость от любви к ней человека. Право, это нелепо. Все в таком случае зависело бы от случая. Я заставил свою русалочку пойти более естественным и совершенным путем. Ни один поэт, кажется, еще не указывал на этот путь, и я рад, что мог указать его в своей сказке. Вот сами увидите! — Ваш преданный А.

Копенгаген, 1 декабря 1837 г.

(*Генриетте Ганк*). ...Вчера я прочел единственный имевшийся в городе номер «*Revue de Paris*», в котором помещен труд Мармье «*La vie d'un poete*». Как мне было забавно видеть, что я так мило изъясняюсь по-французски. Мне очень польстило также то, что я теперь стал в некотором роде интересной личностью в свете. Мармье говорит сначала о борьбе гения вообще, называет нескольких родственных мне по духу поэтов, описывает нашу первую встречу, мою наружность, мою каморку, и затем заставляет меня рассказывать ему свою юность! Отсюда он переходит к моим произведениям и ставит выше всего стихотворения и «*О. Т.*» Оканчивается статья стихотворным переводом моего стихотворения «*Умиращее дитя*».

Итак, мое имя пошло теперь гулять по свету лет на сто! Не смейтесь над моей детской радостью и не истолкуйте ее превратно! Нет, Ваше последнее письмо уверяет меня в противном! Как мне хотелось бы написать Вам настоящее веселое письмо, но сегодня я не в таком настроении. Одиночество мое все больше и больше угнетает меня! Вы пишете, что я, конечно, не стану таиться от Вас, если сделаюсь женихом. Конечно, нет, но Господи Боже мой, у меня и в помышлении этого нет! В городе же, по свойственной людям манере заниматься людьми сколько-нибудь известными, женят меня то на одной, то на другой особе, но уверяю Вас, что я и не думаю о них или вообще о браке. Настолько-то у меня ума хватит, чтобы не делать неразумного шага. И дай мне Бог всегда рассуждать так здраво! Я едва обеспечил себе сносное существование и на будущее не имею никаких видов. А между тем жене моей понадобится та же обстановка, к какой она привыкла в родительском доме, — так как же мне жениться? Я так и умру одиноким, как мой бедный Христиан в романе. Не думайте, что я преувеличиваю, сгущаю краски здесь на бумаге, нет, я чистосердечно открываю Вам свою душу как сестре. Да, будь я богат, имей я надежду зарабатывать в год тысячу-другую — я бы влюбился! Здесь есть одна девушка, прекрасная, умная, добрая, милая, принадлежащая к одному из интеллигентнейших семейств города. Но у меня нет состояния и я — даже не влюбляюсь. Кроме того, она почти вдвое моложе меня. Слава Богу, что она и не подозревает о том, что я не совсем равнодушен к ней, и обращается со мною, как со старым знакомым. Она питает ко мне доверие и способна сказать мне как-нибудь на днях по секрету: «Андерсен! Поздравьте меня, я невеста!». Но нет, так она не скажет, она слишком стыдлива. Я не знаю более целомудренной девушки. О, каким, однако, можно было бы быть на этом свете счастливецом! — Гаух пишет мне: «Не отгоняйте от себя Вашей тоски, она-то и придает Вашим творениям высший блеск». О Господи! Так значит мне быть бабочкой на булавке, чтобы доставлять людям удовольствие красивым зрелищем! — Поэтическое положение, нечего сказать, быть переведенным на французский и немецкий языки, читать свою биографию в одном из лучших французских журналов, видеть свои портреты на гравюрах и в то же время быть одиноким бедняком, без видов на будущее, Камоэнсом севера! В этом есть нечто трагическое, что радует мою суетную душу. Прощайте, мой дорогой друг и сестра! — Брат.

Копенгаген, 5 января 1838 г.

(Ингеману). ...В «*Revue dix-neuvième siècle*» я прочел вчера рецензию на мой роман «Только скрипач» и совет французам перевести как этот, так и другие два мои романа. Меня это очень обрадовало, особенно в виду того, что расположенный ко мне Мармье не сотрудничает в этом

журнале. А вот курьез: в «*Morgenblatt*» говорится, что я родился в Одессе в — Финляндии! Мои «Сказки для детей» выходят теперь в немецком переводе. Поверьте мне, что я ценю такое внимание. Бывают минуты, когда я глубоко сознаю, что я счастлив даже больше, чем того заслуживаю, что Бог мне нежный, любящий отец; но бывают также и такие минуты, и часто, когда я готов прийти в отчаяние. Я чувствую себя таким одиноким, меня тянет перелетать с места на место, сам не знаю, что со мною делается. Я сознаю, что во мне скрывается клад, который я, однако, не в силах поднять из глубины души и показать свету. Самое лучшее, что я дал, все-таки не то, что живет во мне и волнует меня денно и нощно. Ах, если бы я мог высказать все это! Вы не назовете дурным именем того, что я сейчас скажу Вам, Вам одному. Мне кажется, что ни один поэт еще не высказал того, что, как я иногда чувствую, есть настоящая поэзия. Сравнивая же написанное мною с тем, что я чувствую, я прихожу в отчаяние: «Ты ничего не сделал!» Я мучу сам себя, но таков уж мой характер. Но есть у меня горе и потяжелее, самое тяжелое, которого нельзя и высказать. Я состарился, юность покинула меня!..

На этих днях мы ждем знаменитого скрипача Оле Булля. Он родственник Эрстеда, и я ожидаю случая познакомиться с ним. Дочка Эрстеда, самая хорошенькая, самая симпатичная, которая ребенком сидела у меня на коленях и столько раз целовала меня, прося рассказывать ей сказки, теперь невеста, — ну как же я не старик! Спасибо за все те светлые точки в моей жизни, на которые Вы указываете в своем письме. Судя по нему, я становлюсь почти «баловнем счастья». Поклон Вашей жене и сестре. Скажите Гауху и его семейным, что я часто вспоминаю о них. — Одну радость я все-таки получил на елку: встретился на улице с Мейслингом, и он почувствовал потребность сказать мне, что обходился со мной в школе нехорошо, ошибался во мне, о чем теперь очень сожалеет, что я стою теперь куда выше его и, наконец, попросил меня позабыть его суровость, прибавив: «Теперь вы восторжествовали, а я — пристыжен!» Это тронуло меня! Прощайте! В следующий раз напишу гораздо больше! Напишите и Вы поскорее! Ваш верный и преданный Г. Х. Андерсен.

Копенгаген, 23 февраля 1838 г.

(Фредерику Лэссё). Дорогой друг! Только в разлуке с друзьями и сознаешь хорошенько, насколько они тебе дороги. Так вот вышло и у меня с Вами. Давно уже скучаю я о Вас и собираюсь побеседовать с Вами, но вот только еще собрался. Такой уж у меня странный характер, и это больше всего вредит мне самому — я все буду ждать письма от другого прежде,

чем напишу ему сам. Я беседую с Вами письменно в первый раз, а с пером в руке я совсем другой человек, нежели лицом к лицу. Я не стесняюсь высказываться в письме, и нравится Вам это или нет, не могу не сказать Вам здесь того, чего бы никогда не сказал Вам устно — что я люблю Вас бесконечно, как брата, как друга. Я уважаю Вас за характер и за ум. Вы в этом отношении куда выше меня, и я могу поспорить с Вами разве только фантазией и чувством. Вот бы нам встретиться с Вами за границей и пожить вместе несколько месяцев, тогда — смею думать — мы стали бы настоящими друзьями. Вы часто проявляли по отношению ко мне большую прозорливость; мне немножко досадно признаться в этом; что же касается моего тщеславия, столь вредного для дружбы, то, право, я и тут лучше своей репутации. «Только не пишите больше романов, если не можете написать такого же хорошего, как первые три!» — сказали вы мне однажды, и я с Вами вполне согласен! Имей я средства к жизни, Вы бы видели одни хорошие результаты, теперь же мне часто приходится думать о ветке хлебного дерева и отказываться от ветвей лаврового. Никто, пожалуй, не чувствует лучше, чем я, как далек я от истинного совершенства, никто больше меня не может сознавать с горечью, что лет через пятьдесят люди скажут: «Да, в свое время Андерсен мог еще считаться поэтом, но теперь — что он такое!» Такие мысли не особенно отрадны. А мой идеал поэта настолько же высок, если еще не выше Вашего. В данную минуту у меня нет ни охоты, ни мужества делать что-либо. Я, пожалуй, смог бы написать свою «Дину», но я предвижу, что она явится подражанием Виктору Гюго. Я работаю над сказкой, но уже соскучился от этого жонглирования с золотыми яблочками фантазии. Я поэт, и отдыхать под паром не могу; ну вот и вырастает из меня лирическая травка на жвачку четвероногим критикам. — Ваш преданный друг Г. Х. Андерсен.

Копенгаген, 9 марта 1838 г.

(Ему же). Дорогой, добрый друг! Ваше письмо так обрадовало меня! Оно подтверждает мое убеждение в том, что письменно можно лучше открывать друг другу свое «я», нежели лицом к лицу устно. Для того чтобы я мог всецело отдать кому-нибудь свою дружбу, нужно, чтобы тот обладал чем-нибудь, перед чем я мог бы преклоняться. В Вас я всегда особенно ценил ум; сердца и чувства и у меня не меньше, а фантазии даже побольше. Таким образом, я считаю нас равными друг другу. Впрочем, может быть, это только самомнение с моей стороны. Ах, если бы я обладал Вашими познаниями, Вашей рассудительностью и особенно Вашей юностью! О, если бы можно было бесследно уничтожить половину того, что я написал ради того, чтобы отвести душу и пропитать тело! Как бы я выиграл! Никому не может быть противнее

говорить о деньгах, чем мне; Вы, наверное, никогда и не слышали, чтобы я затрагивал эту тему, она действует на меня болезненно-удручающим образом; но тут я скажу Вам раз навсегда: богиня мук, имя ей нужда, одна виновата в самых крупных моих недостатках. Вы не знаете какую борьбу я вел! Детство мое прошло, а я еще ничему не успел научиться. Вырос я в бедной, невежественной среде; никто не руководил мною, никто не направлял моих душевных сил в должную сторону; они метались из стороны в сторону, как блуждающие огоньки. Когда же я наконец попал на школьную скамью, меня подвергли такой суровой и механической дрессировке, что диво, как я еще не совсем погиб. Каждый шаг моей литературной деятельности я прошел на глазах у всех, публично: она являлась своего рода представлением, во время которого не раз ходила по рукам тарелка — на нее каждый клал свою лепту на прокорм поэту! Я перенес все это, чтобы добиться имени, и добился его не только здесь, но как будто бы и за границей. А я все же беден и беспомощен, как тогда, когда вступил с своей котомкой за плечами в западные ворота Копенгагена, и, пожалуй, еще менее счастлив. Тогда я был богат прекрасными, радужными мечтами, теперь же я богат опытом, знанием жизни, показывающими мне сколько мне не хватает и сколько, почти наверное, мне никогда не добиться! Ах, если бы я мог высказать все, что у меня на душе! Никогда еще не испытывал я в ней такого брожения, как в этот последний год, и, наверное, это и отразилось на моем последнем романе *«Только скрипач»*. Работая над двумя предыдущими, я был, напротив, куда спокойнее! Многие говорят, что *«Импровизатор»* самое зрелое мое произведение; два других романа в таком случае должны быть уж перезрелыми! Но я предпочитаю думать, что *«Импровизатор»* — созревший цветок поэзии, а те два — плоды, только что успевшие сформироваться; вот почему люди и качают головами и говорят: *«Цветок красивее!»* — Теперь под конец письма надо Вас угостить поэзией, так вот Вам на закуску любовные стишки молодого офицера из моей новой сказки *«Калоши счастья»*¹. Это уже старая история, то есть ей минуло около года. Тогда у меня самого скребло на сердце, но никто этого не заметил, даже Вы, мой дорогой друг. Впрочем, это ведь и было несерьезно! Теперь все это пережито и единственное, что я извлек из упомянутого маленького любовного извержения — вот эти стишки. Скоро, верно, я дождусь от Вас письма. Ваш преданный друг *Андерсен*.

¹ См. т. I, стр. 81.

ПИСЬМА ГЕНРИЕТТЕ ГАНК

Копенгаген, 1 апреля 1838 г.

...Что-то мне принесет с собою новый год жизни? Я не радуюсь и не боюсь заранее! Ах, только бы мне удалось создать произведение, которое бы пережило меня! Меня пожирает честолюбие. Да, вот настоящее слово! — Здоровье мое не совсем хорошо. Я в каком-то лихорадочном состоянии, нервы напряжены, а во всем теле слабость. Теперь я предпринимаю ужаснейшее лечение — так называемой русской баней. Друзья мои, которые «знают меня так хорошо» (то есть больше, чем я сам себя), говорят, что моя болезнь одно воображение. Ну, значит, мое воображение — болезнь, и довольно-таки мучительная. — Сегодня погода у нас солнечная, и в Новой гавани, где я живу, большое оживление. На льду работают с полсотни матросов, они пилят лед и отталкивают ледяные глыбы шестами. Оригинальное зрелище. Всю зиму корабли стояли в гавани, словно умершие, всеми забытые, прикованные к столбам железными цепями; при свете луны они казались трупами; теперь их вновь смолят и снастят, мнимоумершие оживают и летят в чужие страны, а я сижу все за тем же окном и гляжу, как они улетают! — Ну, а теперь, стоп машина! У Коллина ждут меня к обеду. Благодарю за все хорошее! — *Брат*. Тороплюсь ужасно!

Копенгаген, 27 апреля 1838 г.

Вы, разумеется, получили мое последнее письмо, спустя несколько часов после того, как сами послали мне свое. Я получил его сегодня после обеда, и вместо того чтобы идти смотреть порхающую «Сильфиду», заставляю порхать по бумаге свое перо. Знаете, что говорят мои галантные друзья? «Андерсен стал бесподобным франтом! Носит сюртук в 60 риксдалеров с атласной подкладкой, шляпу, что твой зонтик, а фигура у него — да, положительно он день ото дня хорошеет!» Иетта Вульф говорит: «Прежде Вы были таким милым чудачком, теперь Вас не отличишь от камер-юнкера Х., от лейтенанта У., такой же изящный аристократ!» Г-жа Древсен говорит: «Наш друг хорошеет на старости лет, но он все такой же вздорный! И это-то un célèbre roète! Знали бы вы его так хорошо, как мы!» Христиан Войт говорит: «Теперь ты заглядываешь ко мне раз в месяц, прежде, когда я один знал то, что теперь знают другие — что ты великий поэт, — ты больше жаловал меня!» Г-жа Кольбьёрнсон говорит: «Вы одеваетесь отлично, манеры у вас теперь изысканные, так, может быть — кто знает! — попадете и ко двору! Вот бы я порадовалась!» Эрстед говорит: «Ну, теперь

Вам не на что жаловаться, ваш талант признан всеми, у вас есть прочное имя!» Г-жа Лэссё с материнской улыбкой говорит: «Держитесь истины! — и шепчет мне на ухо. — Такой успех...» Но я уже довольно, кажется, привел Вам примеров из дружеских суждений обо мне. Теперь сложите их все вместе и сравните с Вашим наброском. Вы сказали мне как-то, что каждый год, когда я приезжаю к Вам, Вы находите во мне нового человека. Каким-то я сделался за этот год? ...Чтобы и Вы не сказали, как Иетта Вульф, что я так ужасно изменился, буду по-прежнему говорить все о себе самом и опишу Вам свой день и неделю. В 8 часов кофе, затем чтение и письмо до 10—12-ти, когда отправляюсь в наш Студенчески союз читать газеты, потом иду купаться, гуляю и делаю визиты до 3-х, а там отдыхаю. От 4-х до 6-ти обед, а остаток дня работаю дома или читаю; вечер — если в театре дадут что-нибудь новенькое — провожу в театре, иначе дома. Обедаю я: в понедельник у г-жи Бюгель, где всегда обедают, точно в большом обществе; во вторник у стариков Коллин, где бывает в тот день и старший сын с женой, почему нас всегда угощают чем-нибудь особенным; в среду у Эрстеда — в этот день у них всегда гости; в четверг опять у г-жи Бюгель; в пятницу у Вульфов: у них в этот день бывает также Вейзе и после обеда всегда импровизирует на фортепьяно. Суббота — мой свободный день, и я обедаю или где-нибудь по особому приглашению, или в ресторане; в воскресенье же — или у г-жи Лэссё, или в нашем Студенческом союзе, если здоровье не позволяет мне отправляться в такую даль. Вот Вам и вся неделя. Все-таки разнообразие! Вот, если бы к этому можно было бы еще каждый год ездить за границу, все было бы хорошо! — *Брат.*

Копенгаген, 21 августа 1838 г.

Вы имеете ко мне доверие; Ваше последнее письмо показало мне это лучше всех прочих. Бедная сестрица Иетта! Как бы мне хотелось утешить Вас, сказать Вам что-нибудь ободряющее! Напрасно Вы отчаиваетесь в своих силах. У Вас есть то, чего лишены миллионы людей. Вы такая богато одаренная натура, что делите скорбь величайших умов. Или Вы думаете, они не проводят бессонных ночей, не сомневаются в своих силах, в мнении света? Пусть только рассказ Ваш выйдет в свет. Справедливая критика не отзовется о нем строже меня, а несправедливая — ну, эта принесет Вам с собою одну бессонную ночь и хорошую порцию сознания собственного достоинства. Каждая книга, как и человек, имеет свою судьбу. Никто не знает, что ждет «Тетю Анну»; будет она иметь успех, это оживит Вас, и Ваш талант пустит свежие зеленые побеги. Но предупреждаю Вас, что если Вы даже создадите шедевр, временами на Вас все-таки будет находить сомнение в Ваших способностях. Не находит ли оно и на меня,

а уж меня ли ни считают тщеславным? Перед Вами я откроюсь чистосердечно, скажу, что скрываю от всех и чувствую тем глубже, чем самоувереннее кажусь. Меня часто мучит сомнение в том, что я действительно создал хоть одну вещь, которая не умрет. Бывают минуты, когда слова Мейслинга: «В тебе нет ни капли разума, ты глупый верхогляд», так и звенят у меня в ушах, и мне нужно собрать все свои силы, припомнить значение всех окружающих, чтобы успокоиться. И до сих пор я отдаю на общественный суд каждое мое новое произведение с таким же чувством, как будто иду на казнь. Я боюсь публики, тогда как мнение какого-нибудь отдельного человека не имеет для меня решающего значения. В настоящую минуту я, по рассказам побывавших в Германии и также по письму Шамиссо, считаюсь там первым среди датских писателей. Такие известия невольно радуют, а я все-таки страдаю, как и Вы, всякий раз, когда готовлюсь выпустить в свет что-нибудь новое. Блаженство наше продолжается лишь пока мы творим, затем начинаются муки. Мы имеем с Прометеем то общее, что как раз божественное-то в нашей природе и заковыдает нас в цепи. Беспокойство и страх, которые Вы теперь испытываете, были в течение многих ночей и моей подушкой; то же испытывали и самые величайшие гении; Виктор Гюго и Скриб тоже страдают; сам важный Гете высказывает свои мучения в стихотворении: «Wer nie sein Brod mit Thränen asz». Ну и представьте себе, что Ваша матушка обманется в своей прекрасной надежде, что рассказа Вашего даже не заметят, или что знаток-критик причислит его к числу самых заурядных вещей — что же в этом такого ужасного? Если в Вас бродит нечто, оно выйдет наружу при другом случае, а если нет, то все же Бог дал Вам так много, что оно созреет, если не для этой, то для другой жизни! Помните, перед нами целая вечность, зачем же спешить тратить то, что есть в нас лучшего? Не отравляйте же сами себе жизни! Впивайте в себя каждый луч солнца! Пусть и это мое письмо бросит в Ваше сердце хоть один такой, милая, дорогая сестрица Иетта! Ваш рассказ выше сотен других, нравится мне больше многих произведений наших великих писателей, но мне хотелось бы чего-то более захватывающего, истинно оригинального, и вот я высказал, что чувствовал. Сообщите же мне о рассказе поподробнее: сколько вы получите за лист, где он печатается и скоро ли выйдет. Я ведь получу экземпляр. Он будет очень дорог мне, если вы напишете на нем, что он от Вас лично. Я подожду пока он побывает в Оденсе. — Братски преданный Вам Г. Х. Андерсен.

Воскресенье, вечером 4 ноября 1838 г.

Сейчас я вернулся с концерта Оле Булля. Я шел туда, не ожидая ничего особенного. Я, правда, знал, что Буль виртуоз, но почти уверен

был, что услышу лишь лучшую передачу все тех же жонглерских фокусов скрипачей. Театр был набит битком несмотря на двойные цены. Начал он с *allegro maestoso*; исполнение было вполне артистическое; гром рукоплесканий, но меня не задело за живое. Вдруг скрипка его начала плакать, как ребенок, слышны был рыдания разбитого сердца... У меня слезы выступили на глазах, и с этой минуты я стал и всегда останусь его поклонником. Он сыграл еще *capriccio fantastico*; я не могу яснее описать Вам его игры, как, сказав, что мне чудились при этом порхающие в воздухе стихи Гейне, этот мир картин, глубоких чувств и резкой иронии. Как ни один скульптор в мире, не исключая и Торвальдсена, не может воссоздать такую богиню красоты, как Венера Медицейская, так ни один виртуоз-скрипач не сможет сыграть так, чтобы сказать вам: «Так вот играл Оле Буль». Иногда по струнам как будто пробежали огненные змеи, иногда смычок задавал на них такую пляску, что мне чудилось, будто я присутствую на крестьянской свадьбе и будто сам сатана стоит за спиной жениха и хохочет, а невеста заливается горькими слезами. О, сколько же должен был Оле Буль выстрадать в жизни, перечувствовать, чтобы играть так! Принимали его восторженно. Он отблагодарил за вызовы, сыграв вариации на «*Наш Христиан стоял у мачты*». Это было очень оригинально, но меня не особенно поразило. О жизни Оле Булля рассказывают много чисто сказочного, но теперь я готов верить всему. Скрипка рассказала мне, каким одиноким и печальным стоял он в Болонье, когда еще свет не знал его, когда он был беден, когда только скрипка его да голые стены его каморки знали, что в нем скрывается; рассказала она мне и о том, как он бросился в Сену и боролся со смертью, прежде чем обессмертил свое имя. После концерта он почувствовал себя дурно и сегодня принужден был лечь в постель. Да, сегодняшнее письмо мое совсем не похоже на письмо — в ушах у меня все еще звучит скрипка Оле Булля. — *Брат.*

Суббота, 24 ноября 1838 г.

Написал я Вам длинное письмо; Брун обещал свезти его Вам, да так и не зашел за ним; оно провалялось четыре дня, и теперь я его забраковал, хоть оно и было вовсе не дурно написано. Пишу теперь новое, разумеется, опять об Оле Булле, славном Оле Булле; он обошелся со мной так мило и играл так, что я плакал. Не верьте газетам! Копенгагенцы бранят его, отрицают в нем гений, но все-таки берут театр приступом, кидаясь на новинку. Это ведь играет на скрипке сам гений, а до генерал-баса и чего там еще ему дела нет, вот за это-то на него и нападают. О, я боролся за него, раздавая удары и направо, и налево, еще прежде, чем сказал с ним хоть слово. Теперь я люблю его, он

таков, каким и должен быть истинный гений. Вам надо слышать его! Надо! Он сказал мне, что будет в семье Гульбранда, познакомьтесь с ним там. Послушайте теперь о нашей встрече. Он подошел ко мне на улице. «Вы ведь Андерсен?» — «А вы Оле Буль. Так мы знаем друг друга». Он жалел, что мы не встретились в Риме — мы бы, наверное, подружились. Я сказал, что время еще не ушло. Он заговорил об «Импровизаторе», сказал, что думал о нем, выступая в театре Сан-Карло. Когда мы расстались, я сейчас же пошел к Рейцелю, взял один экземпляр романа «Только скрипач» в красивом переплете, надписал на книге: «Визитная карточка поэту звуков Булю от Андерсена» и отдал книгу швейцару отеля. Сегодня Буль пригласил меня на репетицию, потом обедать к себе и был так мил со мною! Он рассказал мне о многих трогательных, даже потрясающих событиях из своей жизни. Затем я получил от него билет в первый паркет так же, как и Эленшлегер, и Торвальдсен. Я был польщен! Но я полюбил его и восхищался им еще раньше, чем он выказал мне свою симпатию. Непременно послушайте его игру! Он умирал с голоду на своем чердаке в Болонье, как вдруг случайно ему предложили сыграть в театре: вообразили, что скрипка его какой-то новый, только что изобретенный инструмент; он явился. Яркое освещение на минуту ослепило его, потом он взглянул на свое бедное одеяние и почувствовал, рассказывал он, то же, что Антонио в «Импровизаторе», и изобразил им звуками всю свою жизнь. Его забросали цветами и с музыкой проводили домой — на вышку, где он голодал. Он был готов упасть в обморок от голода в то время, как театр дрожал от рукоплесканий. Послушали бы Вы, как он рассказывал это, Вы бы полюбили его, как я. Если будете говорить с ним, скажите, как я его люблю...

Понедельник, вечером 26 ноября

После обеда я получил Ваше милое письмо! Поверьте, я тоже всегда караулю почтальона; он является в Новую гавань около 3-4 часов, но не часто подымается на вышку к поэту, чаще всего он осчастлиливляет своими визитами богатых коммерсантов, моих соседей. Я перечел Ваше письмо несколько раз — да, Вы мой верный, добрый друг. — Вчера вечером Оле Буль дал свой последний концерт. В театре я узнал, что он еще лежит в постели и что доктор запретил ему играть. Публика была в большом волнении. Наконец, он явился. Он *хотел* играть. Все эти ученые бездарности против него, вот где сказывается наша датская холодность! Он вышел, шатаясь, бледный, как смерть, живые глаза, которые за день перед тем так улыбались мне, как будто совсем потухли. Колени его подгибались... О, я страдал вместе с ним! — Он играл так чудно, как будто этот концерт был его лебединой песнью. Долго он не проживет. Под конец он сыграл

одну из лучших своих вещей «Polacca guerriera», право, скрипка как будто плакала! Тут-то наконец датский лед растаял! Все ликовали! Его стали было вызывать и требовать *bis*, но более деликатная часть публики зашикала. Я пошел к нему за кулисы. Он лежал в полуобмороке, смертельно бледный. Своей холодной, как лед, рукой пожал он мою и улыбнулся мне своей ласковой, сердечной улыбкой. Я пошел домой и написал ему письмо; вот бы посмеялись люди, прочти они его теперь! Сегодня ему лучше. Есть люди настолько низкие, что говорят по поводу вчерашнего: «Неизвестно к кому относилось шиканье — к самому Буллю или к тем, кто желал заставить больного артиста играть еще, чтобы получить побольше музыки за свои денежки». О, над нашей землей носится дух зла, который брызжет ядом на все великое и прекрасное! Раек наш освистал чудную, мелодичную оперу Беллини «Пуритане». О, я совсем из себя вышел! Я хлопал и сиденьем стула и руками, орал во все горло, Торвальдсен и Буль дружески кивали мне и поддерживали меня. Все принцы и принцессы приняли нашу сторону, тоже аплодировали из своей ложи, весь первый ярус, партер и паркет тоже были вне себя. Ух! Еще ни разу не видал я такой горячей оппозиции. Свистали какие-то совсем грубые, неотесанные люди, их сразу можно было заметить. — Мой «Скрипач» вышел теперь в шведском переводе. Вдова Байрона прислала мне поклон, она прочла «*La vie d'un poète*» Мармье. Да, с Божьей помощью я мало-помалу завоевываю себе имя. Этого одного я и жажду, и переживаю в этом отношении муки Тантала. ...В эти вечера я постоянно достаивался в театре поклонов от трех лиц: Эленшлегера, Торвальдсена и Булля, и многие мне завидуют. Я сижу во втором паркете, они в первом; мы можем таким образом вести лишь мимическую беседу. Я еще не дорос до первого паркета, но придет и это! А то мне уже надоело сидеть отделенным железным шестом от того места, где сидят почти все мои знакомые и друзья, тогда как мне приходится сидеть рядом со своим цирюльником, с лакеем, отворяющим мне дверь в королевской приемной, с мундшенками и камердинерами, словом, с людьми, которые говорят об искусстве такие вещи, что уши вянут. — В субботу я переезжаю. Следующее письмо Вы (и тетя) посылайте в *hôtel du Nord*, где я теперь буду жить. Живя в отеле, среди постоянной суматохи, я буду воображать, что я в дороге! Надо же хоть поморочить себя. Буль собирается ехать в Оденсе. Непременно передайте ему поклон от меня и напишите мне о нем! Братски преданный Г. Х. Андерсен.

Декабрь 1838 г.

Вы были больны! О, я знаю эту болезнь! Пережил и я такой приступ, о котором не смею говорить даже с Вами; это было незадолго до моей поездки в Италию. С тех пор я уж и не бывал вполне здоров!

Моя нервная система расшаталась, да иначе и быть не могло. Но мы не будем никогда говорить об этом. Есть такие священные печали, что о них нельзя говорить даже с лучшими друзьями. Печали эти бросили отблеск на все мои стихотворения. — Сегодня я говорил с советником Адлером. Он тоже привез мне поклоны из Германии, рассказал мне, какой у меня там большой круг читателей, но разве это поможет мне здесь, на родине? Самые близкие мои друзья остаются равнодушными, безучастными, едва считают меня достойным развязать ремень от башмаков у Герца или Гейберга. О, вся эта несправедливость ко мне просто распаляет мое тщеславие! Я чувствую в своей душе Бога. Если эти письма будут когда-нибудь напечатаны, чего я не думаю, люди, верно, сочтут меня ужасно тщеславным. Да неужели и тогда не поймут меня? Никто не знает, сколько я выстрадал, как несправедливы ко мне даже самые близкие друзья! Они желают мне добра, но, как и Мейслинг, воспитывают совсем нелепо, к своему же стыду. На том свете и они, как он, наверное, скажут: «Я ошибался и очень сожалею об этом!» Но я слишком много говорю о себе. Да, есть за мной эта слабость! — Вчера вечером во время антракта в театре разыгралась презабавная сцена. Влюбленная парочка в ложе второго яруса так горячо обнималась и целовалась, что в экстазе и не заметила, как начался антракт и люстру спустили. Весь партер принялся аплодировать им, и они в ужасе отскочили друг от друга! — Братски привязанный Г. Х. Андерсен.

Нюсё, 27 августа 1839 г.

(Г-же Лэссё). ...Вы говорите о Ламартине. Да, я рад, что он видел восток, но сержусь на то, что это удалось также такому *непоэтичному* пустозвону, как Пюклеру-Мускау. Я всегда был не расположен к нему; во-первых, он известен не по заслугам, во-вторых, видел Восток, которого недостойн был видеть и дурно описал его. Я, собственно говоря, *завидую* ему — вот настоящее слово. Я бы описал Восток куда лучше! И я всегда — даже смешно признаться — считал оказанное ему содействие своей собственностью. Мне бы надо было ехать на Восток и потом срисовать его, но капризная судьба избрала другого! Не люблю я его! Ух, я готов стреляться с ним!

Вы говорите, что иногда сердитесь на меня за то, что я говорю такие вещи, каких не следовало бы. Я и думаю об этом сейчас, и Вы, верно, находите, что я нераскаянный грешник; но уверяю Вас, что я даже не знаю, что это за вещи. Пускай при первом же случае тот из Ваших сыновей, который никогда не говорит ничего подобного, наступит мне на ногу. Сыновне преданный Г. Х. Андерсен.

(Генриетте Гонк). ...Вы, конечно, уже знаете: «Мулат» шел в понедельник с огромным успехом, какого не имела, на моей памяти, еще ни одна пьеса. Я даже сам испугался. Во время первых действий публика была ужасно сдержана, так что меня даже злость взяла; самые лучшие сцены проходили как бы незамеченными, но во время четвертого действия кровь у зрителей немножко поразогрелась, а во время пятого вся публика пришла в неистовый восторг. Занавес упал, и — взрыв восторгов! Сегодня король поручил передать мне, что я могу представиться ему, он желал видеть меня. Я явился, и он милостиво заявил мне, что очень радуется успеху пьесы и надеется, что отныне меня вообще ждет больше радости и успеха, чем прежде — я ведь уже немало испытал в жизни горя! Возвращаясь от короля, я встретил на улице редактора одной газеты, и он рассказал мне, что в редакции был уже какой-то неизвестный, требовавший, чтобы они напечатали в газете принесенный им перевод французского рассказа «*Les érauves*», откуда я почерпнул сюжет «Мулата». Неизвестный полагал, это обстоятельство значительно умаляет мои авторские заслуги. Редактор не согласился, но я сказал ему — пусть напечатает; я не скрываю, откуда взял материал для своего здания. Завтра «Мулат» идет опять. Ожидается полный сбор. Все газеты хвалят мой труд, и я теперь получил место в придворном паркетe. «А, милости прошу, к нашему шалашу!» — приветствовал меня Торвальдсен. Он рассказал мне затем, что Эленшлегер, который вообще хлопает, как исступленный, не удостоил мою пьесу хлопком. «Зато я хлопал у него над самым ухом!» — сказал Торвальдсен. «В пьесе много прекрасных мест!» — заметил ему Эленшлегер. «Вся пьеса прелесть», — ответил Торвальдсен, продолжая работать руками. Гейберг тоже оставался равнодушным, а Мольбека и вовсе не было в театре, и даже из семейных его никого. Вчера вечером Эдвард Коллин давал по случаю успеха «Мулата» ужин, но я был так измучен и вял, что не говорил ни слова и чуть не спал за столом. Какой-то анонимный молодой писатель прислал мне письмо, в котором просит моего позволения посвятить мне свой новый роман. Ко мне являются с визитами разные графы да генералы, но много и сплетен ходит по городу. Еще сегодня одна барыня сказала мне, что ведь «Мулата»-то освистали. Вот народец! В сущности мне бы надо было радоваться, но видишь вокруг себя столько вздорного недоброжелательства, что поневоле бесишься! Кланяйтесь Вашим родителям. Не смею спрашивать о Вашем отце — верно, все те же мучения? Кланяйтесь сестрам! Скоро выйдет мое либретто «Ворон». Ну, а теперь бумага говорит: довольно! Прощайте! Пишите поскорее и побольше. — Брат.

(Ей же). Я даже и не ожидал, что получу от Вас письмо, но сегодня — мой счастливый день! Да, я вот уже несколько дней обретался в настроении духа африканца, жаждущего крови, или северянина, борющегося с самим собою, не зная — держаться ли ему за жизнь или выпустить эту пташку, словом, я был, выражаясь по-датски, в мерзейшем настроении духа. Оно уже началось, когда я писал Вам последнее письмо, но тогда еще его нельзя было заметить постороннему глазу. Меня все-таки порядком удивило, что Вы нашли это письмо оживленным и интересным. «Но что же такое опять с Вами стряслось?» — спрашиваете Вы. Да все то же, о чем я уже говорил Вам. Я не могу чувствовать себя счастливым среди народа, не способного увлекаться ничем, народа — я подразумеваю преимущественно копенгагенцев, — живущего критиканством и мелочами, а если уж нужно сказать больше, то я попрошу Вас прочесть последнюю критику на меня в «Литературном ежемесячнике». Рецензия относится, конечно, к «Мавританке». Она настолько отзывается личными счетами, что нечего и отвечать на нее, но и молчать, значит, давать каждой капле своей крови превращаться в яд! Две недели я только рву и мечу внутренне. То-то, должно быть, несносным казался я своим близким. Да, теперь я шучу, но ведь нужно обладать необыкновенно пылким нравом, чтобы не замерзнуть в этой холодной стране! Как обходятся со мной эти анонимные негодяи! И у меня, к сожалению, нет настолько тщеславия и самоуверенности, чтобы сохранить душевное равновесие при этой вечной травле. «Как же Вы опять пришли в хорошее расположение духа?» — спросите Вы. Меня спасло мое духовное здоровье; я вызвал в себе мужество пером! Написал два небольших очерка из путешествия по Греции и по Босфору; они мне так удались, что я почувствовал — и смею даже признаться в этом: не так-то уж я ничтожен, как мне жужжат в уши! Ну вот сердце мое и отошло, я возблагодарил Бога, а раз хорошенько вспомнишь о Боге — отчаянию уж нет места. Зло, которое выпадает мне на долю, является, может быть, возмездием за то зло, которое творю я сам. Мне таким образом удастся хоть отчасти искупить свои грехи еще на этом свете! Теперь я опять в хорошем настроении, и Ингеборга Дреусен говорит, что оно очень идет ко мне, и она не постигает, отчего я не держусь этого ампула постоянно! — Вчера опять играли мою безделушку «Невидимка в Спрогё», и публика хохотала до упада и аплодировала словно какому-то шедевру! Я был готов заплакать; ведь это же ужасно! Хоть бы этот «Невидимка» поскорее стал невидим в репертуаре. Такую шутку можно дать ну, самое большее, раз пять, а давать ее из года в год! ...Что же касается портрета Листа, то я скажу Вам, что Листу сильно польстили, у него давно нет того детского выражения, какое у него на портрете. И он вовсе не

красив; портрет напоминает его лишь слегка. Лист очень худ и постоянно носит в глазу монокль; лицо его в высшей степени подвижно, цвет лица темно-желтый, короче — у него совсем другое лицо, нежели на этом портрете, который дает нам «*Портфель*». — Живите весело и хорошо; пишите поскорее! Братски преданный Вам Г. Х. Андерсен.

Копенгаген, 30 марта 1842 г.

(Бурнонвилю¹; после постановки балета «*Неаполь*»). Дорогой, дорогой друг!... Не читайте этого письма, если Вы в эту минуту, как иногда случается с нами, в будничном настроении. Вот первая мысль, с которой я приступаю к этому письму. Я по себе знаю, что похвала какому-нибудь нашему произведению даже со стороны самого заурядного человека может доставить нам несколько минут радости. Заурядным меня назвать все-таки нельзя — я бы притворялся, допуская подобное предположение, — так Вас, верно, не может не порадовать, если я скажу Вам, что я в восторге от Вашего последнего произведения и не могу не высказать Вам этого. Я полюбил Вас, понял Вас! Вы — талант! Ваши «мимические» произведения, не будь они созданы только для Дании, могли бы стать европейскими!

У нас многие ошибаются во мне, предполагая, что я занят только самим собою. Право, это значит чересчур суживать мой кругозор! Я люблю все великолепное и прекрасное! Я радуюсь, когда вижу проявление этого в каждом близком моему сердцу человеке! И я от всего сердца люблю и Ваше дарование. Не показывайте этого письма холодным, рассудительным людям! Они ведь только посмеются! Впрочем, все равно! Каждое слово идет прямо от сердца: Господь благослови тебя и даруй тебе счастье! Ты — истинный поэт, а это маленькое слово имеет в моих глазах огромное значение.

Из моей новой книги Вы увидите, что я ценил Вас и раньше, но только теперь я, как следует, понял, что мы имеем в Вас. Мысленно крепко прижимаю Вас к сердцу! Г. Х. Андерсен.

¹ Бурнонвиль Август (1805—1879) балетмейстер и высокоталантливый автор многих балетов, поставленных на сцене датского королевского театра в Копенгагене. Из 52 балетов Б., которые в общем достигли более 2000 представлений, назовем наиболее характерные: «Вальдемар», «Неаполь», «Бельман», «Кермес в Брюгге», «Свадьба в Гардангере», «Народное сказание», «Далеко от Дании», «Валькирия», «Трюмсквиден». Богатые и разнообразные сюжеты вдохновляли лучших датских композиторов. Б. известен также как писатель, и составленные им воспоминания «*Mit Theaterliv*» и «*Erindringer*» (изд. 1848, 1865 и 1877 — 1878 гг.) представляют большой интерес не для одних театралов. — См. «Сказка моей жизни».

(*Генриетте Вульф*). ...Наконец-то, пришло письмо! И целых три зараз; Ваше было самым длинным! Спасибо за Ваше милое, славное письмо! Да, есть от чего прийти в смущение, получив три письма зараз, — не знаешь, за которое сперва взяться! — Как разнообразно, полно провожу я здесь время, не то, что в первый раз! Со сколькими интересными лицами я познакомился! В сущности просто удивительно, как я, совсем не зная языка, болтаю со всеми, понимаю всех и всех заставляю понимать себя, так что все относятся ко мне очень мило. Зато и вольтижирую же я, и балансирую, и перескакиваю, когда говорю по-французски! Послушали бы Вы сегодняшнюю мою беседу с Альфредом де Виньи, его женой и поэтом Барбиери. Под конец де Виньи спросил, что я написал последнее. Теперь послушайте мои ответы в переводе на датский язык. «Агнета и человек, рожденный морем, нечто вроде морского бога». «Расскажите сюжет!» — попросил де Виньи. Ну, вот я и попался, но вывернулся. «Знаете Вы стихотворение Гете «Рыбак»?» Мне ответили утвердительно. «Так вот и сюжет «Агнеты», только здесь рыбка, а не рыбак. Кроме того, сюжет взят из старинной датской народной песни, она куда старше, чем песня Гете!» Видите, какой я ловкач! Барбиери спросил меня о деятельности Эленшлегера, и я сказал: «Он Гете Севера: нашу историю он переложил в трагедии, мифологию в огромный эпос, создав северную «Илиаду»; он поет песни, как Виктор Гюго, и пишет также забавные комедии». Хорошо бы Вам послушать, как я сказал все это по-французски, но писать я уж не рискую, тогда как говорить, да еще с французами, не стесняюсь! Я думал, что и Бог вещь как трудно проникнуть в парижские салоны, а на деле оказалось, что ничего не может быть проще! Мне по крайней мере это было очень легко — приглашения так и сыпались на меня одно за другим! — Сегодня вечером пришел я к г-же Рейбо, и она повезла меня к г-ну и г-же Ансело, у которых я познакомился с множеством мелких поэтов, известных Богу и французам, а также с Мартинецом делла Роза. Он вступил со мной в длинную беседу о Борго и о графе Уольди. Бог вещь, как я выпутался, но разговор шел вовсе не дурно. Он находил даже, что я выражаюсь особенно хорошо. Ждали Скриба, но он не пришел. Не явилась и Жорж Санд. Досадно! Ко мне все были очень внимательны, и я был — уверяю Вас! — совсем смущен тем местом, которое все отводили мне в ряду датских поэтов. Я приписываю это присутствовавшему там г-ну Рельстабу из Берлина, он-то особенно горячо высказался обо мне, как о поэте. Много также говорили об Эленшлегере. О нем все отзывались с глубоким почтением и почти с благоговением выслушали все то хорошее, что я на плохом французском языке докладывал о нем, как о поэте и о человеке. Передайте ему это. Он, кажется, расположен ко мне, но полагает, ве-

роятно, что я не особенно восторгаюсь им; дело в том, что я не умею, как другие, высказывать мой восторг. Где мне сказать Эленшлегеру, когда он читает что-нибудь особенно прекрасное из своих сочинений: «Это отлично, великолепно!» В таких случаях я безмолвно гляжу на него, желая одного — взять да обнять его. Но этого Вы не говорите ему!..¹

28 апреля 1843 г.

Сегодня я узнал — не от друзей моих, мне еще не писали об этом, а из «Газеты Берлина», что «Агнету» мою ошिका! Я так и думал. В следующий раз ее освищут. Но труд мой не заслужил такого приема — это все-таки поэтическое произведение! Глаза бы мои не видали больше родины, где видят только мои недостатки и не видят ничего, что даровано мне Богом. Если они меня ненавидят и презирают, так и я их! Ведь всякий раз, что меня за границей обдаёт холодным, леденящим ветром, он дует с родины! Они плюют на меня, смешивают меня с грязью! А я все-таки поэт, и такой, каких Бог дал им немного! Пусть же Он больше не даст им ни одного! Кровь моя превратилась в яд! — В молодости я мог еще плакать, теперь не могу, могу только негодовать, ненавидеть, бесноваться, чтобы найти хоть минутное успокоение. Тут, в этом великом чужом для меня городе, известнейшие, благороднейшие умы Европы встречают меня ласкою, обращаются со мною, как с равным, а на родине какие-то мальчишки плюют на лучшее мое детище. — Если мне даже придется отвечать за каждое сказанное мною слово, я все-таки скажу: «Датчане могут быть злыми, холодными до безобразия! Они точно созданы для обитаемых ими сырых, заплесневевших островов, откуда послали в изгнание Тихо Браге, где заточили в темницу Элеонору Ульфельд, заставили быть шутом Амвросия Стуба, и где еще многим придется претерпевать всякие злополучия, пока самое имя народа не превратится в сагу!» Но я выражаюсь, пожалуй, уж чересчур энергично для освищенного поэта. То-то обрадовались бы копенгагенцы, если бы это письмо появилось в печати! — Глаза бы мои больше не видели этого города! Пусть там никогда больше не родится поэта, как я! Они меня ненавидят, и я плачу им тем же! Молитесь за меня, молитесь, чтобы я поскорее умер, не увидел бы больше этих мест, где я являюсь чужим, чужим, как нигде, даже на чужбине! — Но довольно об этом, и то уж чересчур много сказано! Я верю, что Вы войдете в мое положение в данную минуту! Но не огорчайтесь особенно! Когда Вы прочтете это письмо, пройдет уже дней восемь-девять, натура у меня гибкая, я успею поус-

¹ Дальше следует описание знакомства с Рашелью, о чем говорится в «Сказке моей жизни». — Примеч. перев.

покоиться, горячая ненависть моя поостынет и лихорадка уже не будет бить меня, как теперь! — А я было думал, что письмо это будет веселым, радостным! Да, мечты, мечты! Мне еще осталось рассказать Вам о Ламартине, но теперь все как-то отзывается для меня пародией. Здесь обращаются со мною, как с человеком, богато одаренным Богом, у себя же на родине я нуль — еще меньше, надо мною глумятся школьники! — Я просто болен сегодня, совсем болен! Родина моя прислала мне сюда лихорадку из своих сырых, холодных лесов; датчане таращатся на них и воображают, что любят их; но я не верю в любовь на севере, там одна злоба да притворство. У меня самого это в крови, и лишь по этому признаку я узнаю, откуда я родом. Всего хорошего! Уезжайте подальше, в Лиссабон! Увидимся у Бога! — *Брат.*

P.S. Напишите мне поскорее в Гамбург *poste restanse*. Я буду там 26 мая. — Разорвите это больное письмо! — Милая Иетта Вульф! Вчера вечером, когда я писал его, я страдал, страдал ужасно! Пусть письмо это не попадет на глаза никому постороннему! Вполне доверяюсь Вам!.. Непременно дайте прочесть его г-же Лэссё; она так редко получает от меня письма.

Нюсё, 20 ноября 1843 г.

Дорогой Ингеман! Как это мило с Вашей стороны, что Вы сейчас же написали мне, да еще заговорили языком моих сказок; это показывает, что Вам нравятся эти крылатые вещицы! — Передайте тысячу спасибо Вашей дорогой жене за ее сочувствие к деткам моей фантазии. Скоро, верно, я пришлю Вам еще букетик их! То, что она говорит от моего имени насчет «*Парочки*», я нахожу чрезвычайно метким. В одном лишь я не согласен с нею — что кубарь ведет мучительную жизнь придворного: носит раззолоченный наряд и ежедневно терпит удары кнутом. Ведь кнут для него высшее наслаждение, своего рода шампанское! Недаром он божится: «Пусть больше не коснется меня кнутик, если я лгу!» — У меня почти готовы еще две сказки: о зеркале черта, кажется, не неудачная, и «*Бузинная матушка*». Мне сдается, и это очень радует меня, что я нашел настоящую свою сферу в сказках! Первые, что я дал, были из тех старинных сказок, которые я слышал ребенком и только пересказал, как умел, по-своему. Но сказки, придуманные мною самим, как, например, «*Русалочка*», «*Аисты*», «*Ромашка*», имели гораздо больше успеха, и это дало мне толчок! Теперь я рассказываю все из собственной головы, схватываюсь за какую-нибудь идею для взрослых и рассказываю ее для детей, помня, что к чтению детей часто прислушиваются и родители, так надо и им дать кое-какую пищу для мысли! Материала у меня для сказок масса, больше, чем для какого-либо другого рода творчества. Мне часто чудится, что каждый забор, каждый

цветочек говорят мне: «Погляди на меня, и у тебя будет моя история!» И вздумается мне поглядеть — вот у меня и новая история! — Ваш верный Г. Х. Андерсен.

Альтенбург, 2 июля 1844 г.

Мой возлюбленный Эдвард, человек, которому я пишу — *Вы!* В сущности это приподнятое отношение противно моему чувству. Но довольно об этом. Вы ведь тоже не прочь щегольнуть оригинальностью. — Теперь я покинул милый мой Веймар, где я был все эти дни так счастлив! Да, дорогой Эдвард, я был так счастлив в городе Шиллера и Гете, я чувствовал там, что и меня Бог одарил кое-чем, что дает мне право быть признанным и на родине. Вы знаете из письма моего к Вашему отцу, как сердечно меня приняли в Веймаре. Первейшие, самые выдающиеся люди, смею сказать, только и делали, что занимались мною во все время моего пребывания там... При дворе, как говорят, я имел большой успех. В загородном дворце был устроен раз в тесном кружке литературный вечер; каждый прочел что-нибудь. Меня заставили прочесть некоторые мои сказки, да еще *рассказать* «Свинопаса», «Соловья» и «Безобразного утенка» — и это по-немецки! По-Вашему, это было уж чересчур смело с моей стороны, но там отнеслись к этому иначе. И насчет моего немецкого языка там говорят совсем другое, чем у нас на родине. Там все принимали меня за немца из северных провинций. Никто и не подумал, что я иностранец. Вы смеетесь? Да ведь в Дании только и делают, что смеются... Но расскажите все это тем из моих друзей, которые способны выслушать это без зависти... И разве это не весело? Я в самом деле знаменит! Поглядели бы Вы, что было на железной дороге! Это я непременно расскажу дома! Там меня узнала одна дама. Пришлось мне наскоро писать в нескольких альбомах, раздавать свои карточки и проч. Одна дама в Брауншвейге сказала мне, не «*ich verehere Sie*», но прямо: «*ich liebe Sie!*» И она была прехорошенькая, только замужняя. Я не знал, что ей ответить, и взял да поцеловал ее руку, а затем пожал руку ее супруга, чтобы и он не оказался пасынком. Ну, сострите же теперь по этому поводу! А не сумеете, попросите Линда... Ваш и т. д. Г. Х. Андерсен.

Эттерсбург, 9 сентября 1847 г.

(Генриетте Вульф). Дорогой друг-сестра! ...Через Бельгию я проехал в Кельн, а оттуда вниз по Рейну через Франкфурт в Веймар. Великий герцог чрезвычайно ласков со мной; мы ежедневно катаемся вместе, и

мне так странно сидеть с ним рядом и видеть, как солдаты делают на караул, бьют в барабаны, и все встречные останавливаются и кланяются. Меня все это очень стесняет; все это ведь относится не ко мне, я не могу отвечать на поклоны, и мне чудится, что я в каком-то чужом мире. — Да, диковинно все это! Я дожился до того, о чем не мечтал даже мальчиком! Звезда моя горит ярко, ее зажег сам Господь! Это путешествие открыло мне глаза на мою миссию. Я чувствую, что арена моей деятельности бесконечно велика! Боже, дай мне силы! Я чувствую, как велика и священна миссия поэта, которому дана возможность говорить тысячам! Только бы я всегда действовал, как должно, создавал бы одно хорошее, достойное! Было время, когда я любил искусство за ореол, который окружает его в глазах света. Теперь я, слава Богу, люблю его за то божественное, что есть в нем! Никто не видит недостатков моих произведений лучше, чем я сам. Впредь я дам лучшие! Мне выпали на долю почести, любовь, и я говорю себе: «Стремись, стремись, пойми, что тебе предстоит сделать!» Вся душа моя полна благодарности и смирения! Вы поймете меня! Поклонитесь нашим общим дорогим друзьям и передайте Вашему брату Христиану, когда он вернется, братский мой привет! Увидите дорогого Эленшлегера, кланяйтесь, кланяйтесь ему от меня! Именно теперь среди всех радостных и, может быть, чрезмерных почестей я и чувствую, как велик он! Сказать же ему эго я не могу; да он и так поймет меня. — Ваш друг и брат Г. Х. Андерсен.

Лондон, 27 июня 1847 г.

(Эдварду Коллину). Дорогой друг! Видите, какое письмо написал я Вашей Иетте, видите также, что напечатано обо мне в листке, где помещен мой портрет; я «one of the most remarkable and interesting men of this day», а Вы все-таки чересчур важны, чтобы быть со мною на «ты»! Фи! Право, тщеславие мое так и подмывает меня еще раз сказать Вам: Эдвард, будем на ты! Но Вы, пожалуй, ответили бы мне, как я заставляю отвечать свою «Тень»!¹ Да, вы догадались, что эта сказка — камень в Ваш огород. Теперь, когда я Александр, Вы будете разыгрывать Диогена! Видите, я, как назвала бы меня сестра Ваша Ингеборга — скромный ослик. Но теперь я повертелся в высшем свете! У! Вчера я дебютировал да еще в самом важном салоне, у лорда Пальмерстона! Под конец у меня голова пошла кругом, но не от гордости, нет, Вы знаете, как я смотрю на все подобное. Но, конечно, меня очень обрадовал и

¹ См. сказку «Тень», т. I: (Тень)... «Видите ли, я не из гордости, а... в виду той свободы и знаний, которыми я располагаю, не говоря уже о моем положении в свете... я оченъ бы желал, чтобы Вы обращались со мною на *вы*».

взволновал такой прием, особенно после того как я столько наслышался о высокомерии английской аристократии. Ваш и т. д. *Г. Х. Андерсен.*

Глоруп, 12 июня 1848 г.

(*Генриетте Вульф*). ...Когда же заключат мир? Сердце мое жаждет мира! Каждый день прислушиваюсь я к пушечной канонаде, каждый вечер с волнением думаю о том, сколько людей закрыло сегодня глаза навеки, кого из дорогих нашему сердцу лишились мы! Конечно, в смерти на поле чести много величественного и прекрасного, но каково страдальцам, остающимся в живых! Увечить так людей — безбожно, бесчеловечно! Война — отвратительное чудовище, питающееся кровью и пылающими городами! Но бывают также минуты, когда я чувствую и все то возвышенное, что идет по его стопам. Как только прочту о какой-нибудь благородной черте характера, о каком-либо сердечном слове или деле, меня сразу охватывает какой-то восторженный трепет, и на глаза у меня выступают слезы. Будь я из другого материала, я бы тоже пошел на войну, но я не гожусь. Вы улыбаетесь! Но уверяю Вас — я бы не побежал от врага, хоть и страшно боялся бы. Помните, бояться не то, что трусить; в первом чувстве человек не волен, второе же зависит от нашей воли! — Ваш брат *Г. Х. Андерсен.*

Копенгаген, 10 ноября 1850 г.

(*Ей же*). Дорогой друг-сестра! Мы не получаем от Вас ни словечка с тех пор, как Выплыли по каналу. Теперь Вы должны уже быть на зеленых, залитых солнцем островах Америки, а мы-то сидим по уши в грязи, слякоти, дожде и ветрах! Бедные наши солдаты! Но они держатся несмотря на непогоду бесподобно! Теперь нам незачем обращаться к старине, ища героев. У нас есть герои и сейчас. Датский ополченец достоин встать рядом со старой гвардией Наполеона! Вы не знаете, как бесподобно вели себя солдаты при Фредерикстаде, целую неделю дни и ночи напролет под огнем! Они затыкали бреши своими ранцами и стяжали нам победу и честь, а потом, когда несчастные жители вышли из города голодные, страждущие, солдаты наши делились с ними своими запасами. — Еще третьего дня я надеялся, что войне конец, но теперь опять что-то неладно. Мы с жадностью ожидаем известий с почты. Россия сильно стоит за нас, Франция и Англия тоже. Впрочем, Вы из газет узнаете столь же свежие новости, как и из этого письма. Довольно поэтому о политике, перейдем к прекрасному. В четверг состоялся дивный праздник в честь Эрстеда. Праздновали его пятидесятилетний профес-

сорский юбилей. Его привезли в «Фазаний домик», где жил Эленшлегер (этот домик отведен теперь Эрстеду пожизненно; горожане меблировали его за свой счет), и там сначала пропели ему прекрасную песню Гейберга, потом Форхгаммер, Мадвиг и многие другие говорили речи. Эрстед так мило благодарил всех и говорил: «Я смиренно радуюсь!» К обеду были приглашены 50 человек только те, кто участвовал в организации праздника. Вечером явились студенты и устроили шествие с факелами. Песня Плоуга, которую они спели, прелесть, как хороша. Эрстед сошел к ним в сад и сказал, что охотно пригласил бы их всех к себе (их было больше 200), да места мало, «но приходите сколько Вас уместится!» И они повалили толпой! Каждого угостили стаканом вина, Эрстед тоже взял стакан и принялся чокаться с каждым отдельно. Милый, славный старик! Добрейшая жена его совсем перепугалась и закричала студентам: «Да нет, муж, право, не может пить со всеми вами!» «Ну, буду пока сил хватит!» — сказал он со своей обычной наивной простотой, и это милое пререкание стариков произвело на всех самое хорошее впечатление. Радости было много. От университета ему поднесли перстень с бриллиантами вокруг головы Минервы, а король возвел его в тайные советники. — Ваш друг и брат Г. Х. Андерсен.

Копенгаген, 12 октября 1850 г.

Дорогая Ионна!¹ Я был сегодня в самом дурном расположении духа, подстать времени года. Я работал над своей книгой «По Швеции», и вот что вылилось у меня: «На дворе играла миленькая, крошечная девочка; она натыкала в землю сухих щепочек и прутиков и поливала их из черепка; это был ведь ее садик, где росли розы и герань, а на самом-то деле это были одни сухие прутики. Мы взрослые тоже часто мысленно создаем себе такой сад с розами любви и геранью дружбы, поливаем их своими слезами и кровью из сердца, а они все-таки и были, и будут сухими прутиками». И вдруг пришло твое письмо, такое милое, сердечное! У меня навернулись слезы, а за дождиком всегда ведь проглядывает солнышко, оно засияло и в моей душе, и, если ты когда-нибудь прочтешь мою книгу, ты увидишь, как ты своим сердечным, милым письмом превратила сухие прутики в цветущие жезлы Аарона. Знали бы люди, как выгодно ухаживать за сердцем поэта, они — да, тогда они, пожалуй, совсем избаловали бы его! Письмо твое принесли мне снизу, и я не знал, от кого оно. Но увидав, что к нему прикреплена свежая роза — the last rose of the summer, — я сразу узнал, что письмо от

¹ Ионна, дочь Ингеборги Коллин (сестры Эдварда Коллина) в замужестве баронесса Стампе.

тебя. Я прочел письмо, оно само было розой, первой от тебя в нынешнее лето, оно так и благоухало сердечной добротой, расположением и неизменной дружбой. Я как будто увидел тебя об руку с Генриком... Вы выглядывали из розы и ласково кивали мне, и я был так рад. Вы сидели так хорошо, уютно рядышком... и мне опять стало грустно: я вспомнил, что я-то сижу один-одинешенек и всегда останусь одиноким...

За последние дни у меня было столько историй *à la* «Первенец»¹. Недавно пришла ко мне какая-то свихнувшаяся дубина в образе поэта. Он сказал мне, что скоро выйдет его новая книга «Мистерии», которую мало кто поймет. «Зато Вы сами ее понимаете!» — сказал я. «Нет!» — ответил он. «Но, Господи помилуй! Если Вы сами ее не понимаете, что же тогда... Но Вы, конечно, только шутите! Оригинальничаете!» — «Так, по-вашему, не бывает разве, что в минуту вдохновения рождаются такие мысли, которых и сам не понимаешь? Каждый читатель может вложить в эти темные места смысл, какой сам хочет». — «Ну, это все равно, что Вы подали бы кому-нибудь чашку кофейной гущи, да сказали: «Ворожите тут, как знаете; гуща все-таки останется гущей!» Старуха Цинн покровительствует этому писателю, и у нее-то я и встретил его. Случилось, что пришел и Гартман с женой. Поэт разыгрывал несчастного *à la* Байрон и очень конфузил г-жу Гартман своей голой шеей с огромным адамовым яблоком, которое все время торчало у нее перед глазами! Он объявил, что больше не читает других поэтов, но изучает геральдику поэзии. Я спросил его, что это за штука, и он ответил, что это — гербы поэтов. Гартман даже изменился в лице и шепнул мне: «Да это помешанный!»...

Да, у меня еще много в запасе историй, но бумаге конец, да и я хотел лишь сказать тебе, как обрадовало меня твое письмо-роза. Кланяйся своему мужу, лесу и озеру и поскорее пришли мне письмо с солнечным светом и семейным счастьем. Твой старый друг Г. Х. Андерсен.

Сорё, 5 июня 1853 г.

(Генриетте Вульф). Дорогая сестрица! Благодарю за письмецо и прекрасный букет, оба отправились со мною сюда, и цветы еще вчера стояли в стакане с водой совсем свежие, так я оберегал их во время пути, тогда как мой собственный нос превратился на солнце в мулата. ...Я прочел здесь новый роман Гауха «Роберт Фултон».

У нас с Ингеманом ежедневно бывают маленькие стычки по поводу современных открытий. Он ставит поэзию неизмеримо выше науки, а я нет. Он соглашается, что наш век — великий век открытий, но что

¹ «Первенец», см. т. III, стр. 395. Ср. «Сказка моей жизни», стр. 178—179.

открытия эти касаются лишь области механики, материального. Я же смотрю на них как на необходимых носителей духовного, как на огромные ветви, на которых со временем распустится цветок поэзии. И, на мой взгляд, то явление, что ныне люди, страны, города сближаются между собою, соединяются посредством пара и электромагнетизма, так грандиозно и великолепно, что одна мысль о нем возвышает мою душу не меньше любого вдохновенного поэтического произведения. — Ваш неизменно преданный Г. Х. Андерсен.

Сорё, 3 июня 1853 г.

(Гауху). ...Бог благослови Вас и дай Вам всего хорошего за все то прекрасное, доброе и правдивое, что Вы высказываете в своих произведениях! Он, впрочем, и доказывает Вам свою милость тем, что поддерживает в Вас ту неувядаемую юность и свежесть духа, которая помогает Вам извлекать из глубины своей души все ее богатства. Вы не истолкуете моих слов в дурную сторону, если я признаюсь Вам в том, что я почувствовал, читая Вашу книгу, вернее — не ее, а Вашу надпись на ней. Прежде Вы всегда писали перед моим именем «поэту», на этот же раз написали «профессору». Может быть, Вы засмеетесь надо мною, но это слово огорчило меня. Я бы желал лучше, чтобы, даря мне что-нибудь в знак дружбы, меня величали тем титулом, который дарован мне самим Богом. Мне бы, пожалуй, не следовало писать так, но я ведь пишу Вам, а перед Вами я не боюсь показаться таким, каков я есть. — Ваш неизменно преданный Г. Х. Андерсен.

Максен, 1855 г.

(Жене Эдварда Коллина). ...У г-жи Серре что-то около полудюжины собак, когда я вошел с нею в дом, они все бросились нам навстречу, и одна из них в припадке восторга укусила меня за ногу. Я перепугался. Крови, однако, не было, осталась только глубокая метка от зубов, собака здорова, и мне заявили, что опасности нет. Но я, конечно, все-таки побаиваюсь и жду, что вот-вот начну кусаться. — В Лейпциге я сломал себе передний зуб — он уже давно угрожал выбытием из строя, — и, кроме того, получил на вокзале свой чемодан с сломанным замком. Вот Вам мои зловключения; теперь о приятном — его тоже было немало. В дороге между Гамбургом и Лерте какая-то молодая дама читала вслух из одной «бесподобной книги». Это были «Картинки-невидимки». Все восторгалось, а когда затем автор был узнан... да, куда как приятно быть знаменитым писателем! Потом я попал в компанию двух важных

барынь, которые, узнав, что я датчанин, спросили меня — жив ли еще Андерсен? Я ответил утвердительно и, как Бурнонвиль в «Празднике в Альбано», сбросил с себя капюшон пилигрима. Вскоре в вагон к нам вошла их приятельница, и они встретили ее возгласом: «Подумай, с нами сидит датский поэт Торвальдсен!»

В Дрездене я посетил птичью выставку; был там и король. Он сейчас узнал меня и заговорил со мною. Публика, вероятно, приняла меня за какого-нибудь иностранного принца. Когда я уходил, лакеи провожали меня низкими, низкими поклонами. И вдруг меня осмеливается укусить собака, да еще сзади!

Тут множество разных писательниц, одна из них, вообще прекрасная писательница, отличается тем, что бросается целовать меня, как только я прочту что-нибудь. Но она такая старая, жирная и горячая. Знай я, когда ожидать нападения, я бы приготовил отпор. Недавно за столом я опять подвергся такому неожиданному жаркому объятию, и другая писательница шепнула мне: «Ну, если Вас часто так награждают, я Вам не завидую!» Но шутки в сторону; сегодня я чувствую себя лучше, одно только — во мне сидит муха. Я проглотил ее вчера и, если она умерла, то я ведь расхаживаю теперь живым памятником мертвой мухе! — Ваш и т. д. Г. Х. Андерсен.

Копенгаген, 6 апреля.

(Г-же Скавениус). ...Благодарю за доставку прекрасного ковра от г-жи Серре и за то, что вы и дети так мило вспоминаете 2 апреля и даже сами пишете мне в этот день. Жаль, что недавний Ваш визит не совпал с этим днем. Теперь моя комнатка — настоящий цветник. В день рождения мне надарили массу цветов; не меньше восьми горшков камелий и роз прислала одна г-жа Нергор; на одной камелии было семь распустившихся цветков и четыре больших бутона. Много получил я и разных вышитых вещей главным образом от неизвестных дам. Но особенно тронуло меня вот что, из чего я увидал, что меня читает и любит народ. Рано утром явился мой портной, земляк мой, тоже из Оденсе, и сказав, что от всего сердца радуется такому успеху и славе своего земляка, поднес мне подарок — белый атласный жилет! Представьте! Немного погодя, явился поздравить меня чисто одетый бедный столяр. Он заявил мне, что до сих пор еще никогда не говорил со мною, но что он с женою и детьми уже несколько лет подряд празднует день моего рождения — пьет шоколад. Особенно понравилась им всем моя комедия «Оле-Закрой глазки». И вот он теперь явился попросить моего разрешения назвать своего новорожденного сына в честь меня Гансом Христианом Андерсеном. Это тронуло меня. В самом деле для этих людей не шутка разодеться в будний день, бросить свое дело и идти к чужому господину. ...Тилэ прислал мне прекрасную картину, нари-

сованную Эрнстом Мейером, г-жа Розенкильде пришла сама с огромным букетом цветов. Да, это был такой праздник для меня. Обедал я у Колинов. — Ваш благодарный и преданный Г. Х. Андерсен.

Баснэс, 1 января 1859 г.

(Г-же Лэссё). ...Сказка моя «Камень мудрецов» Вам не нравится, но Вы, как я вижу, и не поняли ее. Придется дать Вам голый остов ее, авось Вы и перемените о ней мнение к лучшему.

Солнечное дерево — мир; в нем живет человек (дух человеческий), наслаждается всем этим великолепием, но желает также знать, что ждет его по ту сторону могилы. У него есть утешение религии, но он желает дойти до познания посредством чтения своей книги Истины, размышления и науки. Истиной, добром и красотой держится мир; они подвергаются гнету, столь же тяжелому, как тот, что создает алмаз, и, выдержав такой гнет, превращаются для нас в алмаз сознания, что человечество, наделенное таким великолепием, не исчезнет в могиле, но возвысится до еще большего великолепия. Чтобы добиться этого сознания, талантливые люди отправляются по белу свету; сильные умы ищут этого сознания в науке, в самой жизни; но полная уверенность приобретается не умом, а сердцем; его олицетворяет «слепая девушка», держащаяся за невидимую нить, которая приводит в родную обитель. В свете и нельзя найти ни истины, ни добра, ни красоты во всей их полноте, но в окружающих нас людях, в каждом укромном уголке кроются частицы великого алмаза, блески, рассеянные Богом, и, усердно собирая их, мы можем обрести такие богатства, что нельзя будет не согласиться: да, алмаз этот существует. Мы должны обрести веру, и тогда ум человеческий взойдет по небесной радуге за пределы мира, туда, куда солнечное дерево еще не простерло своих ветвей!..

Дрезден, 16 августа 1861 г.

(Эдварду Коллину). ...Если я не еду в Берлин, то причиной Ваши слова в письме к Ионасу. Вы высказали, что всякое внимание ко мне возбудит недоброжелательство копенгагенцев. Я понимаю Вашу дружескую заботливость, но должен прибавить, что я почти с болезненной щепетильностью избегаю всех случаев, когда немецкие государи могли бы оказать мне какое-либо внимание. Я вот уже несколько лет не был в Веймаре, где ко мне всегда относились с бесконечной добротой, лишь переночевал раз в Берлине и промчался через Мюнхен, сломя голову. Грустно подумать, что я, человек, стоящий вне всякой политики, не смею повидаться и побеседовать с людьми, оказывавшими мне, датчанину, столько внимания и

почета. Вы сами знаете, что я долго боролся с желанием навестить даже своих друзей в Максене, между тем как ф. Серре знать не знают никакой политики. Но я, к сожалению, знаю длинные языки наших земляков. Я никогда не забуду, как перед моим отъездом огорошил меня в доме министра Фенгера своим вопросом Альфонс Гаге: у каких *немецких* князей я собираюсь побывать на этот раз! Я был оскорблен: в патриотизме-то я, пожалуй, мало кому уступаю. И если кто из датчан поспособствовал за границей к пробуждению симпатий к датчанам, так это, между прочим, и я. Но довольно об этом!.. — Ваш преданный Г. Х. Андерсен.

Копенгаген, 27 ноября 1865 г.

(*Бьёрнстjerne Бьёрнсону*) Дорогой друг! Спасибо за «Новобрачных»! Я, конечно, был на первом представлении. Пьеса очень интересна, характеры обрисованы превосходно, диалог свеж и полон глубоких мыслей, так что есть с чем уйти домой. Вообще для меня это был очень интересный вечер. Для начала дали первое действие из драмы Эленшлегера «*Найденная и потерянная страна*», которое дается у нас отдельно, само по себе. Это такая поэтичная вещь, поднимающая вас над обыденной жизнью. На публику повеяло со сцены чем-то свежим, истинно поэтическим, так что я и многие другие сразу почувствовали себя подготовленными к созерцанию Вашей дышащей здоровьем и правдой картинке из жизни. Разыграна она была прекрасно, и давно уж не запомню я, чтобы я возвращался из театра домой настолько удовлетворенным духовно, как в этот вечер. Искреннее спасибо Вам, дорогой друг!

Зачем, однако, мы говорим и пишем друг другу «Вы»? Не лучше ли заменить это слово более сердечным «ты». Полагаю, что для этого не обязательно держать в руке полно налитый стакан, дружеское рукопожатие свяжет, право, не хуже, и вот я и посылаю его Вам в этом письме. Привет жене и детям! Жду скорого ответа... — Сердечно преданный Г. Х. Андерсен.

Баснэс, 16 октября 1866 г.

(*Гартману*¹). Дорогой друг! Вы теперь, конечно, уже покинули «Королевские могилы» и перебрались опять в «город живых». Я заключаю это из письма Эдварда Коллина, который пишет: «Теперь пойду к Гартману!» Да, скоро и я приду к Гартману! Теперь я обзавелся домом, стал опять улиткой с домиком, и, подумай, обзавелся также собственной

¹ Гартман И. П. Э. Известный датский композитор. См. «Сказка моей жизни», стр. 150 и 251—254, где А. оплакивает смерть его жены Эммы.

постелью! Теперь я буду всюду таскать ее за собой. Сто риксдалеров пришлось положить на эту постель, зато она послужит мне и смертным одром. Если же она не прослужит мне до тех пор, то и не стоит таких денег! Ах, если бы мне было только двадцать лет! Чернильницу бы на спину, пару рубах да пару носков под мышку, перо за ухо, и — марш по белу свету! А теперь я, по милому выражению жены Эдварда, «пожилой господин». Ну, вот и приходится подумать о постели да о смертном одре. А тебе пора подумать о похоронном марше для меня. За гробом моим пойдут, конечно, школьники, маленькие, а не латинисты, так принорови музыку к детским шажкам! — Я теперь живу на лоне природы и отдаю душу — не черту, а будущим читателям, если только таковые найдутся. Почти половина описания моего путешествия в Португалию уже на бумаге. Может быть, бумага эта пригодилась бы для кое-чего получше, но — у каждого своя судьба!.. — Друг твой Г. Х. Андерсен.

Фрийсенбург, 27 августа 1868 г.

(*Маленькому Вильяму*). Дорогой Вильям! Здравствуй! Поздравляю! Всего сладкого и хорошего в новом году жизни! Письмо мое перелетит к тебе по воздуху через страну, где выдελываются ютландские горшки, в которых будут стряпать тебе обед, через соленую воду, где растут для тебя рыбы, которых ты скушаешь когда-нибудь, через Зеландию, где растут орешки, которые ты будешь щелкать, и яблоки, от которых у тебя заболит животик. Что ж, маленьких бед не миновать, не то все мы объелись бы яблоками! Итак, мое письмецо у тебя! Здравствуй! Поздравляю! Всего сладкого и хорошего! — Твой друг Г. Х. Андерсен.

Июнь 1869 г.

(*Тилэ*). ...Я был еще студентом, когда умерла Камма Рабек¹, и я шел за ее гробом от «домика на холме» до Фредериксбергской церкви. Вот когда нахлынули на меня воспоминания! Вспомнил я и ласковые слова ее, и ум, что светился у нее в глазах. — Вскоре после того как я поступил в университет, вышла, как известно, моя книга «Прогулка на Амагер». Для меня это было огромным событием, и я думал, что и все друзья мои и знакомые должны быть так же заняты им, как я сам. Один из первых экземпляров я отослал г-же Рабек. Она уже лежала тогда в постели и, несколько дней спустя, я узнал от адмирала Вульфа, что она скончалась. Я невольно воскликнул: «А успела ли она прочесть мою «Прогулку»?»

¹ Камма Рабек. См. «Сказка моей жизни».

«Вот человек! — вскричал Вульф. — Нет, это уж чересчур! Нужна ей была очень Ваша прогулка, когда она готовилась предстать перед Богом». И он серьезно покачал головой. Я же хотел выразить этим лишь то, что от души желал бы порадовать ее чем-нибудь перед смертью, ну, а что же могло порадовать ее больше, чем моя новая книга!.. — Г. Х. Андерсен.

Ролигхед, 13 июля 1869 г.

(Георгу Брандесу). Дорогой друг! Только вчера поздно вечером получил я Ваше письмо: Вы адресовали его на старую мою квартиру, а я уже не живу там больше месяца. Я уезжал в Баснэс, а теперь живу пока у коммерсанта Мельхиора. В воскресенье я случайно увидел *«Иллюстрированный вестник»* и прочел там статью о моих сказках. Увидав подпись, я очень обрадовался; я давно уже желал, чтобы Вы высказались о тех или других из моих произведений. Вы знаете, с каким удовольствием я всегда читал Ваши критические статьи, из них всегда можно научиться чему-нибудь. Я, впрочем, уже высказывал Вам все это. Вы с таким умом и искренностью молодости проникли в самую сущность деток моей фантазии, что я, читая вашу статью, исполнился радости, за которую от души желаю Вам такой же радости от Бога. Ваши отзывы о моей манере рассказывать вполне справедливы и метки, и я привел их во вчерашнем своем письме к моему нью-йоркскому издателю и обещал ему выслать номера журнала, о которых идет речь. Вчера вечером я, как сказано, получил Ваше письмо. Сердечное спасибо за него! Но относительно начала его я должен сказать, что принимаю его в шутку, а никак не всерьез. Никто больше меня не пострадал в свое время от жестоких и бессовестных критиков, как их принято называть. Они сделали все возможное, чтобы уничтожить меня. Я молчал и страдал. Гаух раз даже похвалил меня за терпение и молчание. А как несправедлив был ко мне *«Литературный ежемесячник»*! Сколько раз говорил мне мой единственный друг-утешитель Эрстед: «К вам в высшей степени несправедливы, и просто поразительно, как это долго продолжается. Но я уверен, что придет время, когда о вас будут говорить совершенно иначе и когда вы будете также довольны нашей критикой, как теперь заграничной». Это время и пришло! Молодое поколение исправляет ошибки старого, и Вы, мой дорогой друг, принадлежите к числу молодых критиков, которых я особенно ценю и уважаю. Пустую и злую критику я уже отщелкал за ее твяканье, и так я намерен делать и впредь. Долг платежом красен. Из *«Сказки моей жизни»* Вы можете видеть, с какой благодарностью я вспоминаю каждый доброжелательный отзыв, каждое поощрение. Мое сердце не скупое на благодарность.

Мы когда-нибудь еще поговорим о том, что я затронул здесь, теперь же я прежде и больше всего хочу поблагодарить Вас за сердечное и серьезное отношение к моим трудам и надлежащее освещение их. Вы

беретесь за произведения писателя не с тем, чтобы, разбирая их, выдвинуть собственный ум и остроумие, но чтобы порадоваться самому и порадовать других, открывая в произведениях все то хорошее, что есть в них. Попутно Вы обрываете кое-какие засохшие лепестки, которым там не место, но которые все-таки всегда встречаются в творениях человеческих. Радуюсь при мысли, что мне еще предстоит прочесть продолжение статьи. Мы еще поговорим с Вами о некоторых ее частностях. Дай Вам Бог светлое будущее, как он дал Вам светлые богатые дарования! — Ваш друг Г. Х. Андерсен.

Христиания, 18 августа 1871 г.

(Морицу Мельхиору). Дорогой, славный друг! Сейчас только что вернулся с празднества, данного мне в Ботаническом саду, и нашел Вашу телеграмму. Как это похоже на Вас! Всегда тот же верный, добрый друг! И я сейчас же сел писать Вам несмотря на всю свою усталость. Бывший министр внутренних дел — забыл его имя, кажется, г. Бирх — провожал меня домой. «Телеграмма! — вскричал я. — Это, верно, от поэта Мунха, который не был на празднестве». Я вскрыл телеграмму, и мы прочли ее вместе. «Какой же вы счастливец! — воскликнул Бирх. — Какие у вас верные, участливые друзья! Вас это должно очень радовать». И я вторю этому восклицанию всем сердцем. Праздник очень удался и отличался многолюдством, несмотря на то, что не все еще съехались в город. Приглашение исходило от двадцати четырех выдающихся деятелей. За мной пришли в 4 с половиной часа. По дороге к Ботаническому саду нам попадались толпы народа. Помещение профессоров было прекрасно убрано цветами, в саду были расставлены накрытые столы и красовался мой бюст. Собиратель народных преданий Мо говорил речь. Я был очень взволнован. В речи мне ласково напомнили, что я, разъезжая по всей Европе, до сих пор не заглядывал в Норвегию. Я тоже говорил — но что? Бог весть! Знаю одно, что многие были тронуты до слез, и Бьёрнсон сказал мне, что я еще никогда так хорошо не говорил. Затем меня попросили прочесть две сказки: «Снегур» и «Истинная правда». Говорили, что я читал очень хорошо, ясно, так что все поняли. Меня попросили свезти Дании и датчанам дружеский привет, потом сыграли «Данию» и «Есть чудесная страна». Дамы забросали меня при этом цветами. Настроение было самое радостное! Утром я прочел посвященное мне прекрасное стихотворение в «Утреннем листке», в том самом, что против Бьёрнсона. Я, таким образом, слава Богу, не замешан в борьбу партий. Все со мною так ласковы. — Да, здесь горячие сердца, дивная природа; я сказал своим хозяевам, что приеду сюда опять, может быть, на следующий же год, и все хором грянули: «Добро пожаловать!» Даже

странно, право, что Господь даровал мне в жизни столько радости и счастья, тогда как тысячи людей изнывают в горе и заботах. Да, я и впрямь «Петька-счастливец»! Бумаге конец! Господь благослови Вас! — Ваш благодарный и верный друг Г. Х. Андерсен.

Копенгаген, 1873 г.

Дорогая фрекен Рослев! Только что получил Ваше милое, сердечное письмо. Вы верный, добрый друг, и Ваша матушка тоже! Давно уже собирался я написать Вам или ей, высказать Вам мою искреннюю благодарность за то, что Вы, находясь за столько миль отсюда, постоянно спрашивались о моем здоровье. Теперь мне лучше, но выздоровление идет очень медленно. Подумайте, вот уже пятый месяц я сижу в своих маленьких комнатках, да и в них два раза жестоко простудился, так что выздоровление мое еще замедлилось. Не раз я думал уже, что это моя последняя, или вернее — единственная в жизни болезнь, которая сведет меня в могилу. Но даже и болезнь имела свои приятные стороны: сколько внимания и сочувствия выказали мне мои друзья! — Кронпринц навестил меня два раза, и, представьте себе мое смущение, на днях зашел даже сам король! Он был так милостив, проявил столько сердечного участия. С ним был и маленький принц Вальдемар. Г-жа Мельхиор, графиня Гольштейн и г-жа Коллин были ко мне особенно внимательны; за мной ухаживали так, что лучше нельзя; доктор мой Коллин и друг мой профессор Горнеман навещали меня каждый день. Решено, что я должен — как только это будет возможно — отправиться на юг, пожить в Швейцарии и предпринять молочное лечение. Лучше всего ехать в Аппенцель, но там сезон начинается лишь в июне, долго ждать! Бернский доктор Дор дал мне знать через друзей, что я могу начать лечение уже в мае в Глионе, что недалеко от Монтрё на Женевском озере. ...Бог благослови Вас, дорогая фрекен Рослев, за Вашу дружбу к Вашему благодарному и преданному Г. Х. Андерсену.

Гольштейнборг, 13 июня 1874 г.

Дорогая г-жа Мельхиор!¹ ...Завтра, в воскресенье, минет три недели, как я гощу в Гольштейнборге. Я провел здесь целую цветочную эпоху. Когда я приехал, цвела сирень крупными темно-красными кистями, и

¹ Г-жа Мельхиор, жена коммерсанта Морица Мельхиора; друзья А., в вилле которых Ролигхеде А. часто и подолгу гостил в последние годы жизни. Там же он и умер, окруженный попечениями г-жи Мельхиор.

золотой дождь уже выглядывал из своих зеленых чашечек, скоро он распустился во всей своей благоухающей красе; а теперь уже блекнет... Сирень напоминает цветом платья богаделок из Вартоу, лепестки золотого дождя побледнели, ветер усыпает ими аллеи. Их цветущая пора миновала, но на смену им выступает новое поколение. Красный терн стоит, точно выкупанный в чудных розовых вечерних облаках. Через несколько недель, когда и он отцветет, распустятся розы, а не успеешь оглянуться — зацветут и ослепительные, но лишенные аромата астры с георгинами, после же них нас порадуют жимолость и шиповник. Вот Вам и жизнь цветов! Она короче нашей, а они все-таки радуются жизни, воздуху, солнцу, мы же чересчур много думаем о смерти... — Все это пришло мне в голову, когда я собирался писать Вам отсюда мое последнее письмо в этом году — а может быть, и вообще! Но к чему же это разглагольствование? Ах, оно как-то само собой соскочило с пера! Может быть, я воспользуюсь им для вступления к какой-нибудь новой сказке. Моя же новейшая сказка-путешествие начнется завтра; еду в Брегентвед. ...Время пройдет скоро, а там, Бог даст, увидимся в Вашем Ролигхеде. — Благодарю за все Ваши письма! Благодарю за Вашу дружескую память обо мне! — Ваш благодарный и почтительный Г. Х. Андерсен.

Брегентвед, 12 июля 1874 г.

Дорогая, добрейшая г-жа Мельхиор! Погода продолжает стоять хорошая, теплая. Я чувствую себя здесь хорошо, чувствую, что я здесь желанный гость, но Муза моя больше не навещает меня, вот что грустно! Христиан Винтер утверждал однажды, что если поэт доживает до известного возраста — ему конец. Я не хотел верить этому! Но, конечно, я был болен и все еще не совсем поправился. Сказка не стучится ко мне. Я как будто уже наполнил весь круг радиусами-сказками, и больше нет места. Гуляю ли я в саду между розами — да, чего-чего только уже не рассказали мне и они, и даже улитки! Вижу ли широкий лист кувшинки — вспоминаю, что «Лизок с вершок» уже кончила на нем свое плавание. Прислушиваюсь ли к завыванию ветра — знаю, что он уже рассказал мне о *Вальдемаре До* и ничего лучшего не знает. В лесу под старым дубом я вспоминаю, что и он давно рассказал мне свой последний сон. Таким образом, я не получаю больше новых, свежих впечатлений, а это так грустно. Но Муза знает ведь и не одни сказки. Впрочем, драматические произведения мои редко приносят мне радости. К тому же г. Бернер давно уже оставляет мои труды гнить на полках театрального архива. Для романов же, таких, какие следует теперь, по моему, писать — у меня нет необходимых познаний. Вот, я и сижу, опустив руки...

...Спросите г-жу ** не знает ли она каплею против дурного расположения духа? Я бы с удовольствием испытал их действие — как ни хорошо мне здесь, временами я все-таки хохлюсь, как больной цыпленок. — Ваш преданный, благодарный Г. Х. Андерсен.

P. S. Ревматизм не покидает меня, он переехал на дачу в мои колени, локти и руки; я на даче, и он тоже!

Брегенгвед, 12 июля 1874 г.

(Г-ну Билле¹). Дорогой друг! Вы всегда были мне верным другом, давали мне хорошие советы, выясняли мне вопросы и успокаивали мои чересчур восприимчивые нервы, особенно если на меня дул ветер из Америки. Теперь опять дует оттуда! Вчера вечером получаю письмо от мальчика из Америки — вероятно, из Нью-Йорка — с вложением доллара и вырезки из газеты «The Children's Debt» («Долг детей»). Я понял из статьи, что она приглашает американскую молодежь нести свою лепту, чтобы обеспечить мне приятную старость. Не так ли? Идея была бы сама по себе прекрасной, если бы ее пустил в обращение достойный человек и если бы она имела большой результат — к чести американской молодежи и датского поэта. Но в заметке говорится, насколько я понимаю, будто я никогда не получал из Америки за свои произведения ни доллара, будто бы я сам это говорил. Никогда я ничего такого не говорил! Все это, вероятно, из такого же источника, как и появившееся в немецких газетах ложное сообщение о посещении меня одним венгерским писателем, которому я будто бы сказал, что никогда не получал из Германии за свои произведения ни гроша, а что из Америки недавно получил 800 риксдалеров. Мне помнится, что я ясно говорил Вам однажды, дорогой друг, что из Германии я от издателя Лорка получил за собрание моих сочинений 800 риксдалеров, а в последнее время получил небольшую сумму и из Америки. Все это перевернули, и в датских газетах было напечатано — и меня многие даже поздравляли по этому поводу, — что я получил из Америки 8000 риксдалеров. Теперь и это уж перевернули по-другому, и выходит, что я будто бы только и делаю, что ною и жалуясь на гонорары, чего — Вы и другие мои датские друзья знаете — я никогда не делаю. Скажите же мне теперь, как мне поступить. Отослать этот доллар обратно — не деликатно по отношению к доброму ребенку; писать английское письмо — слишком для меня хлопотливо, а между тем, если эта история попадет в наши газеты, один доллар, наверное, превратится в устах людей в 1000 долларов! Порадуйте меня парой слов по этому поводу! Я уж и не знаю, право, — радоваться мне или сер-

¹ Билле, редактор датской газеты «Dagbladet» и известный политический деятель.

даться! Здоровье же мое вообще значительно лучше, я могу гулять по саду почти целый час один, но каждое душевное волнение мне вредно, а это американское послание сильно взволновало меня. Надеюсь вскоре получить от Вас успокоительное письмо. — Ваш преданный Г. Х. Андерсен.

Копенгаген, 6 декабря 1874 г.

...Вы, конечно, уже получили, дорогая г-жа Лунд, просимые Вами мои фотографические карточки. Но, что за идея — сделать мой бюст беззубым, дряхлым стариком! Таким я не действовал, не писал, не читал. Я тогда был еще вполне бодр, и время это не так далеко. Таким и следовало изобразить меня, а не инвалидом! А теперь — спасибо Вам за старое! Всякого счастья и благополучия Вам и Вашему мужу в новом году! — Ваш благодарный и преданный Г. Х. Андерсен.

Копенгаген, 6 июля 1875 г.

(Ионасу Коллину-внуку). Дорогой друг! Завтра ты получишь это мое письмо. Много я выстрадал с тех пор, как мы виделись в последний раз. — Недавно был у меня Карл Блок, попал как раз в один из самых моих тягостных часов и несмотря на то, что я просил его не заводить речи о моем памятнике¹, все-таки свернул на эту тему и довел меня до того, что я взбесился и наговорил много такого, чего — хотя все это и правда — я не сказал бы в спокойном состоянии. Теперь он, конечно, сердит на меня. — Вчера вечером опять был у меня Собю²; я раскипятился и выложил ему начистоту, что ни один из скульпторов не знает меня, все их эскизы показывают, что они совершенно не поняли меня, не схватили ни одной моей характерной черты, что я сроду не читал и не мог читать, если кто-нибудь сидел у меня за спиной или прижимался ко мне, а уж тем меньше, если дети сидели у меня на коленях, на спине или наваливались на меня толпой, что называют меня «поэтом детей» так, здорово живешь, что моей целью всегда было писать для всех возрастов, что поэтому одни дети не могут представлять моих читателей, что наивность — лишь отдельный элемент моих сказок, а суть их в юморе, и

¹ Как известно, А., еще при жизни его, решено было воздвигнуть памятник и проекты последнего были представлены на его обсуждение. — *Примеч. перев.*

² Собю, датский скульптор, по модели которого отлит из бронзы памятник Андерсену, поставленный в Розенборгском саду в Копенгагене.

что моя национальность в том именно и проявлялась, что я писал народным языком и т. д. Мы еще поговорим обо всем этом, дорогой друг. Я очень скучаю по тебе! В четверг 9 июня меня ждут в Брегентведе. Извести меня завтра, когда ты приедешь в город, надо нам поговорить и привести в порядок мои дела. Кланяйся своим родителям и оставайся тем же верным и добрым другом, каким ты был мне во все эти последние годы! — Твой верный и благодарный Г. Х. Андерсен.

Ролигхед, 25 июля 1875 г.

(Ему же). Дорогой друг! Благодарю за письмо, которое я сейчас получил от тебя! Никогда еще не казалось мне, что время так бежит, и все-таки мне трудно сказать, о чем не хочу и думать — что, пожалуй, нельзя мне ехать. Да я и не вижу никаких препятствий. Прошу тебя прийти, время я назначу. Мы увидимся! Да будет воля Божия! — Твой верный, благодарный друг Г. Х. Андерсен¹.



¹ Письмо это было продиктовано Андерсеном г-же Мельхиор, которая сделала следующую приписку: «Дорогой г-н Коллин! Я считаю нужным прибавить к этому пару слов от себя, чтобы сказать, что здоровье Андерсена ничуть не лучше. И врачи, и я находим, что силы его с каждым днем падают. Но надо радоваться, что сам он чувствует себя здоровым и счастливым. Он говорит: «Если бы не кашель с мокротой, слабость и распухшие ноги, я был бы совсем здоров!» Вчера он сказал: «Удивляюсь двум вещам: терпению Г. Х. Андерсена и терпению г-жи Мельхиор!» Я сказала на это, что тому, кому Господь посылает тяжелые испытания, Он посылает и силы нести их. Он в ответе повторил то, что уже говорил раньше: «Только бы мне дано было счастье умереть, пока я еще чувствую себя так хорошо!» Из письма к Вам видно, что и ему приходит в голову мысль о том, что ему, пожалуй, нельзя ехать, но он сейчас же отгоняет ее и просит Вас прийти переговорить. Но ехать ему совершенно не возможно; я убеждена, что эта поездка не состоится. Я взяла для него слугу до августа. — Готовая к услугам Доротея Мельхиор».

ПИСЬМА К АНДЕРСЕНУ

Слагельсэ, 18 февраля 1830 г.

(От *Бастгольма*¹). ...Вашу статью против Гауха я не могу поместить: во-первых, статья не подходит; во-вторых, я не желаю ссориться из-за Вас с Гаухом, помещая в своей газете полемическую статью против него как бы от имени редакции; в-третьих, я слишком люблю Вас, чтобы содействовать к напечатанию возражения, до такой степени неудачно написанного, что оно может послужить только в пользу Вашему противнику. Отвечать на нападки следует только в хорошем расположении духа, когда можешь пустить в ход юмор, сатиру, иначе лучше молчать и издать в ответ шедевр. Но Вы, мой друг, хотите срывать плоды, не поухаживав предварительно за деревом. Последние Ваши вещи, напечатанные в журнале Гансена и в «*Копенгагенской почте*», я прочел с искренним сожалением; если Вы и впредь будете писать стихи во всяком настроении духа, читать их своим мнимым друзьям да печатать все, что пишете, Вы скоро лишитесь своей доброй славы, а раз уважение и доверие читателей утрачены, нескоро завоюешь их вновь. Будь я на Вашем месте, я бы писал стихи только тогда, когда они сами просятся на бумагу, а написав, отложил бы их месяца на два в сторону, прежде чем снова прочесть их, и не показывал бы их никому. — Преданный Вам *Бастгольм*.

Копенгаген, 10 июля 1869 г.

(От *Георга Брандеса*). Дорогой г. Андерсен. — Нет писателя, который был бы до такой степени несправедлив к критике, как Вы, до такой степени поддерживал бы по отношению к ней все низменные предубеждения, окружив ее самой дурной славой.

¹ *Бастгольм Ганс* (1774—1856), священник, известный библиофил и высоконравственный человек. См. «Сказка моей жизни».

Для меня же критика — наука и страсть, и как все другие люди по отношению к их специальностям, так и я по отношению к своей воображаю, что превосходные ее стороны должны быть ясно видны всем и каждому.

С завтрашнего дня начнется печатание в «*Иллюстрированном вестнике*» моих статей о Ваших сказках. Прошу Вас не судить о них прежде, чем Вы прочтете их все, и если убедитесь, что я не отомстил Вам за все то нехорошее, что Вы говорили и писали про критику, то, надеюсь, станете относиться к науке эстетики более доверчиво и не измените тому доброму расположению, которым Вы прежде дарили Вашего глубоко Вас уважающего и сердечно преданного Вам критика Г. Брандеса.

Копенгаген, 19 июля 1869 г.

(От него же). Дорогой г. Андерсен. — Благодарю Вас за Ваше дружеское письмо. Меня чрезвычайно обрадовало, что Вы приняли мою статейку *in bonam partem*. Намерения у меня были самые хорошие, но я вообще так мало привык встречать сочувствие к моим статьям, что и на этот раз не был уверен в том, как Вы отнесетесь к моей статье о Вас.

То, что я сказал по поводу Вашего отношения к критике, было сказано вполне всерьез. Вы чрезвычайно повредили положению критики в нашей и без того малоразвитой стране. Ходячее мнение о критиках, будто их воодушевляет одна зависть, Вы поддерживаете елико возможно. Я не могу согласиться с тем, что Вы в своих сказках различаете дурную критику и хорошую. Критик для Вас «резонер», бесплодный и бесполезный критикан. Но существует ведь критика и исторически-философски-эстетическая, несколько не повинная в том, что любой бумагомаратель хвастается милостью ее музы, хотя он никогда и не развязал ее пояса. Истинного критика-эстетика характеризует его духовная чуткость и гибкость, с которыми он отождествляет себя с самыми различными умами и проникается духом различнейших стран. Он пытается вновь перечувствовать все те душевные волнения, которые лежат в основе произведений данной литературы. Критик — человек, умеющий и сам читать, и указывать другим, как надо читать. Признания этого мне и недостает в Ваших трудах, которые я вообще так высоко ценю. Вы занимаете в литературе такое место, что каждое Ваше слово вызывает тысячекратное эхо. Я хорошо знаю, что Вы сами страдали от пошлой, несправедливой, часто просто мальчишеской критики; я сам — хотя и не смею сравнивать себя с Вами в чем-либо другом — страдал от подобной же, а впредь мне, пожалуй, благодаря независимому направлению моей критики придется бороться с куда большими препятствиями, чем пришлось бороться Вам. Но мне кажется, что личный Ваш горький опыт сделал Вас несправедливым к служителям целой отдельной науки. Вот почему я и не мог писать иначе. Я согласен, что Вы различали суровую и снисходительную критику,

но мне кажется, что подразделение это вообще не верно. Есть только истинная и фальшивая, серьезная и злонамеренная критика, но публика часто — особенно, если ее поддерживает крупный авторитет — смешивает последнюю с первой.

Все же — вот Вам моя рука. Никто меньше меня не способен питать неудовольствие против Вас; Вам ведь я обязан духовным обогащением. Я хотел по мере сил содействовать к тому, чтобы открыть людям глаза на Ваше значение для Дании. Если это мне удастся, я буду вполне доволен. Еще раз благодарю Вас, особенно за Ваши добрые пожелания. Зная свои способности, я знаю и то, что будущее мое не обещает быть ни великим, ни блестящим; хотелось бы мне только, чтобы оно было не совсем бесполезным для нашей литературы, и чтобы я не исчез, не оставив по себе следа. — Ваш преданный Георг Брандес.

ОТ ФРЕДЕРИКИ БРЕМЕР¹

Орста, 3 сентября 1837 г.

Только что собиралась писать Вам, г. Андерсен, чтобы поблагодарить Вас, как Вы даете мне новый повод к благодарности: мне доставили Ваш новый роман «О. Т.». Сердечно благодарю Вас за все! Наше личное знакомство продолжалось всего несколько часов, и все-таки мне сдается, что я знаю Вас хорошо, как близкого друга. Позвольте же мне теперь поговорить об *«Импровизаторе»*, — у меня, что на душе, то и на языке! Мне нравятся в нем прелестные правдивые описания детской натуры, народной жизни и природы. У Вас замечательный дар воспринимать поэзию действительности и изображать ее так, что она живо встает перед глазами читателя и доходит до его сердца. Вы также ясно видите прекрасную правду жизни. Мне нравится и старуха Доминика, и маленькая игуменья, и я не могу не сочувствовать невинной любви между ней и героем романа; нравится мне и сам герой своей редкой душевной чистотой и добротой, но я ни за что бы не влюбилась в него! И я не могу хорошенько простить Аннунциате, что она могла так похудеть из-за него; судьба же ее изображена прекрасно и, главное, правдиво. Герою можно было бы пожелать поменьше слабости и малодушной уступчивости невыносимому деспотизму его благодетелей; но даже в слабости его столь-

¹ Бремер Фредерика, известная шведская писательница (1801—1865). Побывав в Америке в 1849—1851 годы, она по возвращении в Швецию занялась вопросом об уравнивании прав женщин; романы и повести ее проникнуты духом целомудрия, простоты и любви к семейной жизни. В прекрасной повести «Соседи» она дает замечательно живое изображение домашнего быта шведов.

ко истинной доброты, что она как-то обезоруживает желающего порицать его за нее; боишься стереть пыл с крыльев этой бабочки, чтобы не повредить самих крыльев. Этому человеку следовало бы придать крылья — в нем нет ни злобы, ни ненависти — это сущий ангел! ...Поистине тираническая система воспитания героя Франческой и ее мужем взята прямо из жизни, — вот бы прочли это да намотали себе на ус все воспитатели и *soi-disant* благодетели! Описание это меня очень позабавило, и вообще сколько мыслей пробудило во мне чтение этого романа! ...Будьте счастливы, добрейший господин Андерсен, и еще раз спасибо за дружбу и ласку, с которыми Вы относитесь к своей шведской подруге *Фредерике Бремер*.

Стокгольм, 24 января 1838 г.

...Вы хотите, чтобы я высказала Вам, какое впечатление я вынесла из чтения Ваших последних сочинений, — извольте, я готова это сделать и сообщу Вам здесь без всяких претензий мои непосредственные впечатления. Ваш роман «О. Т.» я не выпустила из рук, пока не прочла его до конца. Описания природы и народной жизни в Дании мне чрезвычайно понравились, я нахожу их превосходными; картины из домашней жизни также очень позабавили меня; но по обрисовке характеров главных лиц роман этот, по-моему, уступает «*Импровизатору*». Исключением является предприимчивый камер-юнкер; он служит ярким доказательством особого Вашего взгляда на жизнь и умения схватывать наиболее оригинальные ее явления. Ведь камер-юнкер нашего времени совсем не тот, что был 50 лет тому назад. Большинство романистов не поспевает идти в ногу со временем, а все больше пользуется старыми, избитыми формами. Многие черты из жизни провинциальных бедняков обрисованы очень мило и забавно, но не следует ли остерегаться пользоваться известными анекдотами? Место им в сборниках анекдотов и острот, а не в серьезном романе. О. Т. прекрасная личность, но как он может жить спокойно, зная, что единственная сестра его погибает. Отчего он не старается постоянно следить за ней? Зачем Вы не воспользовались таким прекрасным материалом, который сам просился в роман?

Легко, однако, порицать. Это даже легче всего, и я не позволила бы себе этих замечаний, если бы Вы сам, дорогой г. Андерсен, не напросились на них. И я была бы неискренна по отношению к Вам, если бы не указала Вам на то, чему не могу сочувствовать в Вашем произведении. Я это делаю тем охотнее, что таких мест в нем немного. Все Ваши сочинения производят на меня самое отрадное впечатление, и я не знаю никого, кто бы, познакомившись с ними, не сказал бы о них того же...

...В Ваших лирических произведениях я нашла все те же качества, которые я так ценю в Вашей поэзии. Изумительная легкость слога, масса счастливых и благородных мыслей, тонкая сатира, жало которой лишено яда, — да всех достоинств Ваших лирических произведений и не перечесть! Больше всего радует меня в сборнике Ваших стихотворений открытый и многосторонний взгляд на жизнь; нет такого момента или положения, которое бы не имело для Вас значения, Вы во всем видите красоту, находите материал для творчества. Поэт в самом деле похож на солнце: подобно ему, он может озарить ярким светом малейшую капельку жизни. И таким-то образом из окружающего действительность магического круга поэзии вырастает «Снежная королева»; грозная красота ее придает особую прелесть окружающей ее обстановке и примиряет со смертью в ее заколдованном царстве. Но и над Снежной королевой и ее царством, над миром жизни и над миром смерти властвует вечный Царь; Его премудрости подчинены все царства земные и все события жизни. Никто лучше Вас не уразумел наших житейских условий. Хотелось бы поговорить об этом подробнее, но тогда пришлось бы написать обширную статью. Лучшей иллюстрацией к этой теме может послужить Ваша «Русалочка». Сколько в ней глубокой, чудной поэзии! Но я согласна с Вами, что это сказка не для детей. ...«Дикие лебеди» очаровали меня дивными картинками, но «Лизок с вершок», вот жемчужина! ...Но как бы я ни восторгалась этой сказкой, все же умоляю Вас, дорогой г. Андерсен, давайте нам сказки, принадлежащие Вам лично, а не пересказы чужих. Прелесть изложения, счастливый наивный тон не помогут делу. Истина в природе и в мире детей открыта Вам, так отчего же Вам не черпать свои образы оттуда? Сколько там очаровательной прелести и красоты! Куда больше, чем в произвольно созданном заколдованном мире троллей! И как легко было бы Вам связать прекрасные, привлекательные элементы этого детского мира с нравственно-образовательными! В романах «Импровизатор» и «Только скрипач» Вы дали нам прелестнейшие и глубоко правдивые картины природы и детской жизни. Сознаюсь, что и я, как и многие из моих земляков, ставлю эти сцены куда выше всех детских сказок. Но да здравствует «Лизок с вершок»!..

Орста, 19 октября 1841 г.

...Больно слышать, что Вас так обижают на родине. Но это вредит Вашим неблагородным хулителям гораздо больше, чем Вам самому. Непозволительная выходка Гейберга является таким пятном в его книге¹, что

¹ «Душа после смерти», см. «Сказка моей жизни».

я даже раздумала приобретать ее. А Вам, мой дорогой друг, как раз представляется случай оказаться на той высоте, которая больше всего соответствует Вашему благородному сердцу и характеру. Декарт сказал: «Если мне наносят обиду, я стараюсь настроить свою душу так, чтобы обида не затронула меня». И это прекрасно! Но можно подняться еще выше. И я, со своей стороны, не знаю более освежающего и возвышающего душу чувства, как то, что заставляет нас говорить своему обидчику: «Когда-нибудь я все-таки благословлю и обрадую тебя!» В этом отношении и христианство, и исто благородное язычество вполне согласны, и мы, следуя этому чувству, воистину освобождаем свою душу от всякого гнета...

Орста, 30 января 1848 г.

...Ах, если бы мне удалось высказать, сколько истинного удовольствия доставила мне «Сказка» Вашей жизни¹. Как отраднo видеть, что наш милый сказочник сам пережил прекраснейшую сказку, что его жизнь сама является богатой красками и глубоко правдивой сказкой! Ничто не радует меня больше, чем созерцание вложенной Богом в каждое вполне сложившееся проявление жизни — богатой, разнообразной красоты. Вот в чем можно почерпнуть силы и охоту жить, жизнерадостность! Ведь жизнь со всеми ее недостатками и несовершенствами все-таки представляет столько совершенного, вполне законченного!

Описание Вашего детства и первой молодости доставили мне особенное удовольствие, да и не одной мне, а и всем моим знакомым, которые прочли его. Читая его, видишь, как дух поэта бессознательно перебирает струны, которым предстоит впоследствии звучать в главных тонах «сказки» его жизни как действительной, так и воображаемой. И вся книга носит отпечаток той прекрасной, чисто сказочной жизни, которая так и просится в сердце читателя благодаря проникающему ее духу любви, кротости и всепрощения. Некоторые случаи из Вашей жизни, когда Вы терпели обиды, глубоко опечалили меня; например, получение Вами в Париже письма с пасквилем. Но надо жалеть таких людей. Они сами себя осудили, унизили своим презренным поступком. И Вам, обласканному ангелами и носящему ангела в собственной душе, следует забыть о подобном, позабыть или пожалеть обидчика!

Не думайте, что я не поняла, как следует, Вашего великого эпоса «Азасфер». Я поняла в нем и поэта, и философа, вновь увидела свою личную радостную веру в прогресс человечества, в положительные результаты каждого нормального развития, в Дух, развивающий и направляющий все. Труд этот, без сомнения, отмечает собой важную эпоху в Вашей внутренней жизни и

¹ «Das Märchen meines Lebens». — Примеч. перев.

является одной из пирамид Вашего поэтического царства. Но хотите знать, какие чудеса я охотнее всего отыскиваю в нем, что больше всего оживляет, освежает, трогает, очаровывает меня, то придется мне сказать: Ваши сказки, эти оазисы в житейской пустыне с их свежими бьющими источниками, высокими пальмами и улыбающимися цветами, эти кроткие шаловливые детишки, вводящие нас в самый рай, прежде чем мы успеем оглянуться! — Воздвигать пирамиды могут и другие, философствовать и демонстрировать жизнь — также, но *никто* не может писать сказки, как Вы, никто не может поучать или трогать, очаровывать, как Вы. Вот талант, который Господь Бог даровал Вам одному на радость другим людям...

Стокгольм, 14 декабря 1855 г.

Друг и брат! Давно уже я наслаждаюсь чтением «Сказки моей жизни» и мне хочется поблагодарить Вас за это истинное удовольствие. Благодарю Вас от всей души! Это хорошая книга, и дать она может одно хорошее: она проникнута искренностью и духом любви. Вот мое впечатление: эта книга радует меня, и я не желала бы видеть ее иной, я считаю ее чистым и зрелым плодом Вашей натуры и духа. Бог внушил Вам мысль написать ее именно так, как Вы ее написали. Она является истинным детищем Вашей природы уже по одному тому, что сама жизнь и настроение *поэта* постоянно прорываются в ней в силу какой-то естественной, природной необходимости. Он не может не петь среди всех этих сменяющихся, то печальных, то радостных явлений жизни, и как содержание, так и подъем духа в Ваших песнях сразу выдают своеобразность Вашего дара и великую разницу между истинным *поэтом* и сонмом *рифмоплетов*, в числе которых находилась и я в дни молодости. Хотелось бы только, чтобы Вы побольше раскрыли перед нами таинственную мастерскую, в которой создаются Ваши сказки, поэмы и пр., выяснили нам, как является к Вам вдохновение, чем Вы его поддерживаете, вообще — как зарождаются в Вашей душе эти духовные детки. Ведь эти душевные явления возникают различно у различных натур, и способ их возникновения представляет огромный интерес для наблюдений и сравнений. Не могу также не поблагодарить Вас за то удовольствие, которое доставила мне Ваша книга, познакомив меня поближе с симпатичными личностями Эленшлегера и Эрстеда. — Искренно преданная Вам сестра и друг Фредерика Бремер.

Копенгаген, 24 апреля 1848 г.

(От Бурнонвиля). Дорогой Андерсен! ...Пусть эти строки от искреннего, преданного друга скажут тебе, с какой любовью вспоминают

тебя в тех кружках, где чувства еще не утратили детской свежести и теплоты. Господи Боже мой! Земля — огромная круглая планета изображает собой только сырой остров, населенный неблагоприятными существами. Все животворящее солнце не в состоянии растопить льда сердец. ...Ты сам, милый поэт мой, выбрал свою дорогу и, пробираясь по ущельям через густую поросль терна, нашел такие прекрасные цветы, каких до тебя не находил еще никто; пробираясь сквозь равнодушие, холодность и глумление, ты увидел зато, как твои поэтические изображения вызывали улыбки, слезы, радость и восторг. Кое-кто цеплялся за твои недостатки, а тысячи восхищались твоим гением. Некоторые все продолжали поучать тебя, а ты сам уже учил нас многому, чего мы не знали, пока не явился ты. Ворчунам досадно было смотреть на твои лавры, которые ты стяжал себе за границей, доброжелательному же датчанину, побывавшему в чужих краях, приятно было видеть, как зачитываются твоими романами на чужбине, видеть, как стихи твои (например, «Умирающее дитя») украшают стены крестьянина в чужих краях и даже в Новом свете. Что ж, дорогой А., ведь все это правда. Зачем же тебе жаловаться? Зачем мысль о родине должна отравлять тебе жизнь, которая обещает доставить еще столько высоких наслаждений и тебе самому, и другим. Ты желаешь себе смерти! Разве для того, чтобы воспользоваться тогда тем всеобщим признанием твоего таланта, которого недостает тебе теперь? Но подумай хорошенько! Кто тебе порукой за то, что гений твой в просветленном состоянии не откроет сам многих недостатков в своих земных трудах и не станет мучиться в раю из-за невозможности исправить написанное. — Прости мне за эту шутку, мой друг! Дай Бог тебе долго жить, радоваться и трудиться! Черпай вволю из богатого источника, открытого для тебя Творцом на пользу и усладу всем тем, кто жаждет истинно поэтических наслаждений! Когда же ты успеешь утолить их жажду и свою собственную, тогда и скажи: «Да будет воля Твоя!»...

Я вряд ли ошибусь, предположив, что новый взрыв горького чувства против публики вызван в тебе рецензией «Газеты Берлинга» по поводу последней твоей пьесы¹. Позволь же преданному другу твоей музы и искреннему поклоннику твоего гения приложить исцеляющую руку к свежей ране. Критик признал, что в пьесе есть лирические красоты, трогательные места, вызывающие слезы, сказал, что музыка, игра артистов, сценическая обстановка — все это поддержало твой труд, но, в общем, нашел его недостаточно занимательным, а публика, дескать, *хочет*, чтобы ее занимали. Я ведь уже высказывал тебе свой взгляд на тебя, как на драматурга; правда, «Мулат» раз опровергнул мое мнение, я это сознаю; но все же я пришел к тому заключению, что талант твой похож на человека, который гораздо больше на своем месте в маленьком избранном кружке, нежели в

¹ «Мавританка», см. «Сказка моей жизни».

шумном обществе; картинки твои нужно видеть вблизи и обсуждать их следует в тесном кружке. Твои произведения можно читать и наслаждаться ими, что бы там ни творилось в обыденной жизни. Вот что я хочу сказать: читая твои произведения, сразу приноравливаешься к господствующему в них тону, приучаешься видеть твоими глазами, говорить твоим языком, чувствовать твоим сердцем; совсем не то, когда присутствуешь на представлении твоих драматических произведений. Тут уж не властны ни поэт, ни читатель; все мы тогда в руках драматических артистов и требований сцены; мы уже не можем отложить книгу и вновь взяться за чтение, смотря по настроению. Все должно быть изложено как бы одним духом и в известный час; мы тут, следовательно, имеем дело не с поэтом-лириком, а с таким-то и таким-то писателем, взявшим на себя труд занимать (то есть забавлять) нас драматическим представлением. Не жди пощады от того, кто нашел его скучным. Если скажут по поводу портрета: «тонкая кисть!», про музыкальную композицию: «глубокая вещь!», про роман: «настоящая философия!», про пьесу: «очень мила в чтении!» — прощай, ожидаемое от них воздействие! Этими примерами я хочу только сказать, что если тебе захочется разнообразить свое творчество драматическими произведениями, то, выбрав себе подходящий сюжет, непременно имей при разработке его в виду степень восприимчивости большой публики; не пиши никогда ничего из доброго расположения к какому-нибудь артисту или рассчитывая на доброе расположение публики; из статуи никогда не выйдет картины, и прекраснейшие мысли поэта часто комкаются в суматохе сценического действия; поэт-лирик имеет перед собой широкое поле действий, и над головой его расстилается свод небесный, а поэт-драматург натывается на непреодолимые препятствия в виде потолка, пола, стен и ламп. ...Жена моя и все дети кланяются тебе. Желаю тебе всякого благополучия, здоровья и успеха. — Твой преданный друг *Август Бурнонвиль*.

Стокгольм, 31 января 1862 г.

(От него же). Дорогой Андерсен, почтеннейший друг! — Начну с благодарности за только что присланные «*Истории*». Они взяты все из тех же трех старых источников: природы, человеческого сердца и таланта, которым тебя так щедро наградил Господь. Ты умеешь в одно и то же время и занимать, и забавлять, и трогать, да еще убеждать и подкреплять! Большого ведь нельзя и требовать от поэта, и тебя, пожалуй, порадует сообщение о том, как отзывался мне на днях о твоей авторской деятельности Бесков: «...у А. большое преимущество перед другими поэтами: с каждым поколением вырастает для него новая публика». Он хотел этим намекнуть на детей, но я на это сказал, что ты умеешь возрождать и нас, стариков. Ну вот и довольно с тебя на сегодня «сладкого», хоть ты и заслуживал

бы еще за все то хорошее, чем угощаешь и меня, и мою музу. Не могу не потрепать тебя по щеке за ту искреннюю ласку, которой дышит твое письмо. Спасибо, милый друг, за твое доброе участие, и будь уверен, что и я, и вся моя семья глубоко проникнуты искренней благодарностью и признательностью к тебе... — Твой преданный друг и «Schätzer» *Август Бурнонвиль*.

ОТ БЬЁРНСТЬЕРНЕ БЬЁРНСОНА

Arriccia, casa Mancini, 3 июля 1861 г.

Дорогой Андерсен! — Весьма благодарен Вам за Ваше письмо, которое получил вчера. Ваша дружба радует и подкрепляет меня. И все же не пойму хорошенько откуда она взялась. Я еще понимаю, что я люблю Вас, такую яркую личность, богатую искренностью, любовью, а также — простите меня — милыми слабостями, с которыми постоянно приходится считаться; но Вы-то, Вы-то, как могли полюбить меня, человека, слишком для Вас жесткого, горячего, вдобавок или упрямого, или необузданного и, наконец, не умеющего проявить в Вашем присутствии ни ума, ни сердца — мне ведь постоянно приходится пасовать, часто, впрочем — еще раз простите! — вследствие того, что говорите один Вы. Но я верю Вашему слову и со временем докажу Вам, как Вы меня порадовали.

...Читаю Ваше письмо и не могу не смеяться. Кажется, нет такого места на земле, где бы Вы не страдали или от сквозняка, или от давки. Любопытно знать, не попросите ли Вы — попав со временем в рай — Св. Петра запереть райские врата, чтобы Вас не продуло, если Вы, впрочем, не повернете от ворот назад из-за чрезмерной давки.

Повторю Вам, однако, то, что еще вчера написал одному своему другу: если в Дании нет человека, который подавал бы повод к стольким островам, как Андерсен, то нет, кроме него, в Дании со времен Гольберга и человека, который бы сам сказал их столько...

О многом хотелось бы мне побеседовать, но не знаю еще, сумеете ли Вы разобрать мой почерк, на который все жалуются. Не знаю также, где Вы, и как Вы себя чувствуете; письмо ведь не может читать по лицу адресата прежде, чем заговорит само. Да и плохой я корреспондент, хотя и очень люблю и писать, и получать ответы. Вся суть в том — найдется ли связующее звено, которого хватит не на один только предмет для беседы, так что можно даже разбрасываться, надеясь на прочность связи. Мы с Вами, надеюсь, найдем такую связь, да уже и нашли. Только не надо писать длинных писем, а вот такие вроде этого. Я вполне уверен, что наша весенняя встреча в Риме может со временем дать немало

хороших плодов и не только для нас с Вами. Работая дружно и согласно каждый в своей стране, мы можем достигнуть немалых результатов. У нас на Севере всегда недоставало единодушия между представителями искусств и поэзии; преобладала мелочная зависть, поддерживаемая спертым воздухом. Теперь, слава Богу, отлегло немножко с тех пор, как по всем странам Севера пронесся национальный ветер и свежее веяние свыше, принесшее идею «общего будущего». Мы сходимся с Вами во многом; между прочим, оба мы чужды зависти, оба чувствуем сильную потребность в любви и — я по крайней мере — в союзниках, для того, чтобы провести заветные идеи в жизнь. Мне всегда казалось, что поэты наши слишком охотно успокаиваются на своих лаврах, опасаясь выступать в тех случаях, когда могут образоваться партии и за, и против них. Им не хочется рискнуть этими лаврами «вторично». Я же, нисколько не желая уйти с головой во вздорные ссоры минуты, готов до последнего издыхания бороться там, где я могу принести хоть какую-нибудь пользу, и всякий грош популярности, заработанной мной долгим трудом, готов вновь и вновь ставить на карту во имя идеи.

Кланяйтесь Коллину; он во многих отношениях знает меня лучше, чем Вы. Вы способны в одну минуту схватить и ядро, и оболочку, но затем Вы начинаете искать чего-нибудь новенького. Кланяйтесь ему, и Бог да благословит Вас за Ваше отзывчивое сердце! — *Бьёрнстьерне Бьёрнсон.*

Рим, 10 декабря 1861 г.

Дорогой Андерсен! — Весть о том, что Вы посвятили мне свои последние сказки, прозвучала для меня в настоящую минуту точно рождественский псалом. Говорю — в данную минуту, потому что я находился в особом настроении, о котором, пожалуй, лучше всего скажут стихи, вылившиеся у меня в ту минуту:

Ликуй, когда тебе судьба
Бросает вызов! Чем борьба
Ожесточенней, тяжелее,
Тем и победа ведь славнее!

И если в страхе пред грозой
Друзья трусливые толпой
Покинут честной битвы поле,
Ты не горюй — то Божья воля!

Он видит — ты без костылей
Ходить умеешь, — прочь друзей!
За тем, стоит кто одиноко,
Следит любовней Божье око!

Я, человек дружбы по преимуществу, создание ее, мог высказать подобное, а Вы, друг с летней встречи, вечно порхающий, вечно занятой, окруженный тысячами сменяющихся впечатлений, Вы все-таки вспомнили меня добром в такое время, когда столько старых, испытанных друзей не чувствовали потребности выразить что-либо подобное.

Меня это очень тронуло, жену мою также, и в этот день в Риме было двое людей, которые не могли наговориться о Вас и от всей души желали Вам всевозможных благ и чудеснейших сюрпризов. Я достал Ваши сказки и стал искать, какую мне перечесть вновь, и вдруг нашел, к своему удивлению, одну, которую я еще не читал. Должно быть, судьба! В бытность свою директором театра, пришлось мне однажды пробовать гибкость голоса одного ученика; в таких случаях я обыкновенно пользовался Вашими сказками; на этот раз я выбрал вышеупомянутую сказку, и ученик мой так исковеркал ее, что воспоминание об этом стало как бы оболочкой жабы, в которой скрылась прекрасная душа сказки. Мне как-то жутко было вновь взяться за нее и разрушить чары, и вот до поры до времени сказка осталась в своей оболочке. Вчера принеслась по воздуху весть, полная любви и воспоминаний, пора настала, я подошел, оболочка со сказки спала, я облекся в оперение лебедки и бурно понесся вместе с Вашей чудесной, родной и все-таки уносящей в отдаленнейшую страну стайей аистов. И никогда еще ни одна сказка не уносила меня так далеко, так высоко! Это Ваша лучшая сказка, в ней звучит какая-то особая грусть, из нее смотрит на нас чье-то умное гигантское око, в ней чувствуется присутствие незримого духа и, читая ее, я все время вспоминал то, что мы зовем «лебединой песней», нечто возвышающее нас до небес, так высоко, что больше это уже не может повториться. И в тот день, когда мне скажут (надеюсь, еще не скоро), что Вы перестали раскрывать нам тайны неведомого мира и сами перенеслись к источнику и разгадке загадок, я возьму *«Дочь болотного царя»*, поцелую книгу и прочту сказку медленно, тихо, словно провожая кого-то до могилы под звуки похоронного марша. И, стоя на краю могилы, на террасе вместе с дочерью болотного царя, и осматриваясь кругом, я чувствовал, что на глазах у меня навертываются слезы, и что меня охватывает тоска по вечной родине... Ребенком я не мог представить себе вечности иначе, как чем-то бесконечно мучительным, теперь же меня охватило такое бесконечное предчувствие ее, что в сравнении с ее великолепием все пережитое, все заветнейшие желания стали для меня ничтожнее былинки. И именно благодаря этому эта минута на террасе и явилась одним из лучших мгновений в моей жизни. Нет высшей радости, как минутное предчувствие вечного блаженства!

Будь я с Вами, когда Вы написали эту сказку, я бы испугался, подумав, что после этого Вы уже не в состоянии написать ничего более. Я и не постигаю, какие впечатления могли создать ее! Ваше счастливое

умение находить лучших людей и в них опять-таки все наилучшее, избегая всего остального, должно ведь в конце концов привести Вас к наивысшему, раз верно то, что добро исходит от Бога. Вот почему Вы не должны достигнуть большей высоты и близости к Нему, а также большего уразумения и умения воспроизвести виденное, нежели мы остальные; если же мы иногда отчасти и достигаем этого уразумения, мы скоро затем теряем его в менее чистой обстановке прозаически-тяжелой, несколько злобной и отвлекаемой в сторону блуждающими огоньками жизни...

Сознавая, что я не раз судил о Вас неправильно, особенно когда мне попадалась несимпатичная мне сказка, я тем сильнее и чувствую теперь потребность громко высказать, как я наконец дошел до понимания Вас, руководствуясь одной любовью. Сознавая, с другой стороны, что мне случалось беседовать с Вами и о предметах, не имеющих ничего общего с Вашими добродетелями и заслугами, я уверен, что никто не сочтет меня теперь за льстеца. Привет Вам, дорогой, великий поэт и друг, и да благословит Вас Бог! ...Жена моя кланяется Вам. Спасибо! Всего хорошего! — Ваш благодарный друг *Бьёрнст Бьёрнсон*.

Рим, 16 февраля 1862 г. Piazza Birberini.

Дорогой Андерсен! Позвольте мне пользоваться той же тонкой бумагой, буду писать лишь на одной странице и постараюсь писать возможно разборчивее, а Вы перед тем, как читать, вложите в письмо лист чистой бумаги. Спасибо за Ваше письмо! Ваши письма всегда встречаешь с покойным сердцем: как бы там ни сменялись у Вас настроения, сердце и характер Ваши остаются неизменными, не так, как у большинства людей. Я едва начну читать какое-нибудь Ваше письмо, сейчас вижу перед собой Вашу мгновенную ясную улыбку, а в каждом слове слышу ровное, здоровое биение Вашего сердца. Видно, что впечатления просто обгоняют в Вашей душе друг друга, но искренность чувства, с которым они воспринимаются, не позволяет нам забывать их, и раз они сосредоточиваются на каком-нибудь отдельном лице или деле, мы получаем о них самое ясное, определенное представление и невольно чувствуем, насколько Вы сами в данную минуту были проникнуты занимавшим Вас предметом.

Я очень рад, что принадлежу теперь к той цепи Ваших друзей, которым навсегда отведено место в Вашем сердце и фантазии. Я нарочно прибавляю последнее слово, так как имел случай заметить, что восприятие Вами какого-нибудь образа не обуславливается лишь Вашим желанием ткнуть его на свое место в книге, — нет, Вы сначала рассматриваете его со всех сторон, пока он не даст Вам кое-чего нового, не замеченного Вами прежде или чего-нибудь такого, о чем Вам приятно вспоминать...

Ваши новые рассказы и сказки истинная для меня благодать. Скажу Вам теперь откровенно, что думаю о них. «Улитка и розовый куст» стоит наряду с наилучшим из всего, что Вы написали. Я только желал бы, чтобы она заканчивалась словами: «Вот мои воспоминания; в них — моя жизнь!» Остальное только как-то затушевывает это дивное заключение. — «Мотылек» тоже один из окрыленных Вами шедевров, которым нет, однако, нужды вновь стать коконами, пережить осень и затем снова пробудиться к жизни — они бессмертны, как они есть. «Психея» произвела на меня сильное впечатление, но она не из тех сказок, которые хочется перечитывать. Начало «Девы льдов» это — ликующие звуки песни, раздающейся в воздухе, смех, игра зелени и голубого неба, пестрота швейцарских домиков. Вы нарисовали тут такого молодца, что я бы хотел себе такого брата. А вся обстановка — и Бабетта, и мельник, и кошки, и та, что преследовала его в горах, заглядывала ему в глаза! Я был восхищен до того, что у меня ежеминутно вырывались возгласы одобрения, и я даже принужден был не раз приостанавливаться. Но милый, добрый друг! Как это у Вас хватило духа разбить перед нами эту чудную картину вдребезги! Мысль, что двое людей должны быть разлучены в момент наивысшего счастья, положенная Вами в основу развязки, поразительна, ниспослана Вам свыше; она налетает на нас, как вихрь, взбудораживающий ровную поверхность воды, и заставляет нас прозреть, что в душе этих людей жило нечто, подготовившее гибель их счастья. Все это так, но как Вы могли поступить так с этой парочкой. Может быть, впрочем, я проявляю тут нравственное малодушие; может быть, я заступился бы в подобном случае за всяких людей. Позволю себе, однако, думать, что Вы могли бы описать нам их прежнюю жизнь и так, чтобы смерть представилась нам как бы продолжением их счастья, а не жестоким разрушением. Пример «Дочь болотного царя». Там смерть является ведь истинной благодатью! Допускаю, что в последней сказке героиня сама пожелала себе смерти, хотя и бессознательно; молодые же люди в «Деве льдов» не только не могли питать такого желания, но, напротив, при одной мысли о смерти и их, и особенно их родителей должен был охватывать ужас. Но если Вы справились с одной задачей, то справились бы и с другой так, чтобы мы могли за ужасом смерти видеть Бога, за облаками — ясное небо и вечное блаженство. А теперь мы знай твердим свое: зачем понадобилось автору разлучить этих двух невинных людей? Зачем именно их. Это такие ясные, цельные натуры, что в них, кажется, не нашлось бы щелочки, в которую мог бы протиснуться грех, — так за что же губить их? — Ваши описания швейцарской природы таковы, что я вообще не знаю подобных, принадлежащих перу северянина, теперь я твердо обещал самому себе поехать в Швейцарию. Но вот, мне кажется, что в последней части рассказа (с того пункта, где выступает англичанин) описание обстановки выступает как-то

чересчур самостоятельно, не вызываясь самым ходом действия; но, и то сказать, для нас это описание представляет интерес новизны, для других — воспоминания, и таким образом все-таки хорошо, что Вы дали нам его. — Затем я прочел в календаре Вашу сказку «Серебряная монета» и много смеялся над ней, в ней много юмора, но она, по-моему, несколько растянута.

Теперь я высказал Вам откровенно, что думаю о Ваших сказках, и Вы видите, что имеете во мне и очень внимательного, и очень благодарного читателя. Если я и сделал кое-какие замечания, то лишь в качестве «товарища по оружию»; наслаждение же они вообще доставили мне громадное. Мы часто читали Ваши сказки в нашем кружке, особенно по субботам и на Рождестве. Рихард¹ превосходно читает Ваши сказки, рассказов же он не умеет читать, их приходится читать мне...

Милый, милый Андерсен! Как я люблю Вас! Я был убежден, что Вы и не совсем понимаете, и не совсем долюбливаете меня, хотя и желаете этого по своей сердечной доброте. Теперь же вижу, что приятно ошибся, и это еще увеличивает мою любовь к Вам. Тысячу поклонов всем друзьям, а еще больше Вам самому! Ваш Б.

Париж, 5 марта 1863 г.

Дорогой Андерсен! Прошу Вас быть дома завтра, в пятницу, в 12 часов к Вам придут под моим предводительством некие скандинавы — по важному делу.

Бояться Вам, впрочем, нечего; дело идет не о вызове. Ваш друг Бьёрнст Бьёрнсон.

Париж, 10 марта 1863 г.

Дорогой Андерсен!

Церемониал

1) Завтра вечером Вы изволите наесться досыта, прежде чем идти к нам; у нас Вам не дадут ничего.

2) Изволите сидеть дома и ждать до 8 ч., пока за Вами не явится господин из комитета и экипаж.

3) Больше ничего.

Ваш Бьёрнсон.

¹ Рихард Христиан, весьма симпатичный датский поэт-лирик.

Дорогой Андерсен! Ваше доброе сердце, Ваше честное и искреннее участие, которое Вы принимаете во всем, что теперь занимает нас всех, мне очень дороги, и я сейчас же отвечу Вам на Ваше письмо. Да и диво, если бы это время не сблизило нас еще больше прежнего. Теперь на первый план выступают люди с сердцем. Слабые, мягкие души вооружаются мужеством, становятся великими, а ноющие великие эмаменности — до того мельчают, что, право, трудно не презирать их.

Спасибо за Ваше письмо, спасибо за Ваше стихотворение в «*Dagbladet*». Я не могу читать Ваших патриотических песен без слез. Подобного умения воспринимать в себя горе и надежды целого народа я еще не видывал. В сущности это только простые вопли, невольно вырывающиеся из души у всех, но у Вас они возносятся на крылах гармонии к вечному источнику добра. А раз Вы наделены этим даром, значит, и в самом народе есть жизненная сила, которую не сломить! Раз одному дано найти возвышающие душу выражения для горя и надежды всего народа, то, значит, этот народ и не может ни погибнуть от горя, ни проститься с надеждой!

И вы, датчане, совершаете великие дела, а мы не с вами! Одна мысль об этом заставляет меня сгорать со стыда и в то же время — завидовать вам. До чего ведь не дойдет народ, подвергнутый таким испытаниям! Какими гигантскими шагами должен он идти вперед, перегнав нас остальных! ...Что же, однако, случилось с Вами лично? Отчего письмо Ваше дышит такой грустью? Вы что-то не договариваете в нем, а только намекаете...

Знали бы вы, как норвежцы рвутся помочь вам! Но военный министр запретил им поступать в ваше войско!.. О том, какое движение охватило наш народ, лучше всего можно заключить из того, что большинство добровольцев было из крестьян...

Душевно рад, если это я отчасти причиной, что Вы теперь пишете комедии. Я с удовольствием прочел «*На Длинном мосту*». Тон в ней выдержан прекрасно. Я только ожидал встретить в ней те же характерные черты, которыми изобилуют Ваши сказки; впрочем, пьеса эта лишь переделка. Очень любопытно мне познакомиться с новой Вашей комедией; она, видно, имела большой успех, судя по тому, что о ней отзываются хорошо не одни газеты.

Вам, может быть, известно, что я с осени вступаю в управление делами здешнего театра. Мне надо заниматься еще чем-нибудь кроме литературы. ...Повторяю Вам свое приглашение приехать к нам погостить нынешним летом. Поездка сюда теперь так дешево стоит, а если Вам вздумается еще предпринять небольшие экскурсии, то, я думаю, что Христиания и ее окрестности представят для Вас немало интересного. По-

стараемся повеселить и отблагодарить Вас за все то прекрасное, что Вы дали нам, и подкрепить в Вас желание продолжать трудиться в то время, как солдаты наши пойдут с вашими. Ваше посещение оживит наши беседы и, главное, заставит датчан и норвежцев лучше понимать друг друга!

Скажу, однако, что если наши не пойдут на помощь вашим, то пройдет много лет, прежде чем я решусь вновь посетить Данию. Жена моя говорит то же...

1 июня

Вот уже почти месяц, как это письмо лежит у меня, — вот я каков! Раз я отвел душу в беседе с Вами, до остального мне мало дела. Надо же, однако, дописать письмо и отправить! Чего-чего ни случилось с 9 мая! Датчане успели подраться под Гельголандом и поучить австрийцев морскому делу; три дня спустя заключили перемирие! Затем куча предложений! Но знайте, если война снова разгорится, земляки мои пойдут за вами. Иначе и быть не может, не сомневайтесь ни на минуту!

Прочел я Вашу новую пьесу¹. Меня положительно поражает изящество слога, тонкость психологии и яркость характеристик, достигаемая парой-другой мелких штрихов; самая же завязка несколько жидковата, но вместе с тем и настолько проста, что мало кто обратит на это внимание. Вообще премилая вещь! Если некоторые отдельные лица и мало или вовсе не причастны к самой развязке пьесы, то мы охотно простим Вам это, только бы Вы пообещали дать нам еще и еще что-нибудь! Давайте! Радуйте нас, радуйте себя! И не ломайте себе слишком головы над разными техническими тонкостями, требованиями сцены, давайте нам характеры, давайте волю своему остроумию, и все остальное округлится само собой.

Вчера я принимал участие в основании Скандинавского союза, вернее — противился его основанию изо всех сил. Время не подходящее. Теперь не болтовня нужна. И я от всей души ненавижу немецкую закваску этих вечных «союзов»! У нас она может принести только вред. А ведь сколько есть людей, которые воображают, что *действуют*, раз состоят членами разных «союзов», слушают и произносят разные речи; им все это кажется «делом», а между тем все это ни к чему, и может лишь вредить настоящему делу. ...Теперь все дело в том, чтобы встать всем, как один человек, и спасти Данию. А там, может статься, придет пора и для осуществления идеи, пора союзов... — Ваш Бьёрнстjerne Б.

¹ «*Han er ikke fodt*» («Он не рожден»), см. Прибавление к «Сказке моей жизни».

ОТ АДМИРАЛЫШИ ГЕНРИЕТТЫ ВУЛЬФ

Морской корпус, 15 ноября 1823 г.

Любезный Андерсен! Очень благодарю Вас за два последних письма и за сердечное сожаление, которое Вы выражаете, предполагая, что или мы больны, или я сержусь на Вас. Нет, милый мой! Ваше прилежание и внимание могут Вам ручаться, что друзья Ваши, зная вообще молодых людей, не станут сердиться на Вас. Если у Вас и есть недостатки, то они все объясняются неведением, а в таких недостатках повинны почти все мы, хотя и по-разному, и в таких случаях старшим надо не сердиться на нас, но помочь нам исправиться. Поэтому-то, милый мой, я и хочу побеседовать с Вами поподробнее по поводу одного Вашего недостатка, от которого Вам непременно надо освободиться, так как он очень вредит Вам. — Вы забрали себе в голову, милый мой, что Вы призваны к великой деятельности. Величайшее призвание человека это — сделаться честным и полезным членом общества и государства, все равно какое бы положение в жизни он ни занимал. Вы воображаете, что из Вас выйдет великий поэт. Нет, таким Вам не быть, нечего Вам и думать об этом. Природа наделила Вас здравым умом, но ребенком Вы росли без всякого призора, когда же достигли такого возраста, в котором могли проявить свои природные способности, и люди нашли, что жаль дать погибнуть тому хорошему, что есть в Вас, стали хвалить Вас и кое-что сделали для Вас, Вы составили себе — не скажу слишком большое, но слишком выспренное представление о своих способностях и дарованиях. Добро бы Вы еще мечтали только о своих способностях к учению — в этом отношении Вы действительно обладаете большими способностями, а Ваше прилежание достойно всяких похвал, но Вы мечтаете о своих великих поэтических дарованиях. Между тем Ваши стихи однообразны, идеи и образы беспрестанно повторяются, а если Вы забираетесь в высшие сферы, то — простите матери, я ведь говорю с Вами сейчас как мать — Вы впадаете в выспренность и в ложный пафос. Талант Ваш сказывается только в юмористических рассказах в прозе, и это нахожу не я одна, но многие, с кем я говорила по этому поводу. Вообще, милый Андерсен, пожалуйста, не воображайте себя ни Эленшлегером, ни Вальтером Скоттом, ни Шекспиром, ни Гете, ни Шиллером и никогда не спрашивайте, по стопам которого из них Вам лучше идти. Ни одним из них Вам не быть! Такое чересчур смелое и тщетное стремление легко может совсем погубить те добрые, здоровые зачатки, которые есть в Вас и которые обещают, что из Вас выйдет полезный и дельный человек. Не думайте, милый мой, что я слишком строга к Вам или выражаюсь слишком резко. Я часто беседовала о Вас со многими Вашими друзьями, и все согласны, что Ваше неправильное представление о поэзии крайне вредит

Вам; только никто не хочет сказать Вам этого. Получив же Ваше последнее письмо, я решилась, вменила себе в долг сделать это... Поскорее дайте о себе весточку, любезный А. Все мы шлем Вам сердечный привет и пожелания всего лучшего. — *Генриетта Вульф*.

Морской корпус, 4 сентября 1824 г.

Любезный Андерсен! Из Вашего последнего письма я вижу, что Вы продолжаете быть недовольным. Ваши друзья, по пословице, проповедуют глухому. Ни дружеские ободряющие письма Коллина, ни те, что пишут Вам оба Гюльберга, не имеют на Вас никакого воздействия. Если Вы вообще обязаны уважать свое начальство, так должны также слушаться своего ректора, как бы он там ни чудил. Вам нужно молчать и слушать, находя успокоение в сознании, что Вы не заслуживаете его грубого обращения, которым он больше унижает себя, чем Вас... Правда, что Бог, как Вы говорите, Ваша лучшая опора и надежда — Он опора и надежда и для всех, — но Он сам так устроил, что помогает людям через людей же, и все Ваши горячие уверения, что Вы одиноки, что Вам не на кого опереться, кроме Бога, что Вам не житье на земле, показывают только, что Вы не умеете ценить того, что делают для Вас. К чему такая выпренность, милый мой? Смотрите на дело проще, идите своей дорогой тихо, спокойно, как другие молодые люди. Кончайте училище; Вы, может быть, и не такой уж яркий светоч, каким Вы себя, пожалуй, воображали, но и не безмозглый, глупый человек, каким обзывает Вас ректор, а за ним и Вы сами себя. Вы хороший человек, с хорошими природными способностями, несколько запоздавший начать учение, но тем не менее обещающий выработаться в дельного и полезного гражданина. Министра из Вас не выйдет, первого поэта Дании тоже, но во всяком случае незачем Вам быть и сапожником или портным; разве не существуют сотни сотен других занятий? И я уверена, что Ваша мать радовалась бы на Вас, если бы Вы сами не волновали ее своими чрезмерными жалобами, которых она, пожалуй, даже не может взять в толк. Вы должны заpastись спокойствием и бодростью духа; этим Вы поддержите свое здоровье и тогда скорее выберетесь на дорогу. На свете нет такого человека, который бы так или иначе не нуждался в помощи других людей, поэтому, любезный А., вспомоществование, которое Вы получаете — да еще от отца страны, — никак не может уронить Вашего достоинства. От него мы все можем принять помощь, не краснея; сделаться же достойным милости и счастья, которые он дарует бесконечно многим и кроме Вас, Вы можете только посредством усидчивого труда и прилежания. Не знаю, что Вы подразумеваете под *великой целью*, о которой так часто говорите; оставаться тем же хорошим, беспорочным человеком, каков Вы теперь, и сделаться полезным членом общества, вот что, по-моему, должно быть единственной Вашей целью, а ее Вы с Божьей по-

мощью и достигнете, если сами будете трудиться смирно и спокойно. — Желаю Вам успешно сдать предстоящий экзамен, любезный А., немедленно сообщите нам результат; все мы принимаем в Вас живое участие и шлем Вам привет. — *Генриетта Вульф*.

Морской корпус, 4 января 1827 г.

Любезный Андерсен! Спасибо за Ваше письмо, которое Вы прислали по возвращении. ...Вам теперь, конечно, приходится солоно, как и всем другим ученикам: не очень-то приятно после каникул, полной свободы и житья среди родных и друзей вновь вернуться к чужим людям, среди которых многим живется плохо, как и Вам, в училище, где надо сидеть и долбить сухие грамматические правила живых и мертвых языков. Будь Вы малолетним, я бы, право, без обиняков указала Вам на недостатки, от которых Вам непременно нужно избавиться к тому времени, как Вы опять приедете к нам. Намекать я намекала Вам тысячу раз, но ровно ничего не добилась этим, а между тем Вы теперь уже в таком возрасте, что пора Вам избавиться от них и перестать смешить людей. Да, пора Вам возбуждать к себе не одно участие, но и уважение. Ваша поэзия, а также и проза — однообразное нытье. Будьте человеком сильным и духом, и телом! Не думайте постоянно о себе самом — это вредит и духу и телу, — а прежде всего не говорите так много о себе и не выступайте так часто в качестве певца или декламатора, вообще умерьте свой пыл. Позвольте мне сказать Вам, что Вы плохо читаете по-немецки, а еще хуже по-датски, что Вы и читаете, и декламируете аффектированно, тогда как воображаете, что читаете с чувством и выражением. Приходится быть настолько жестокой, чтобы сказать Вам: все смеются над Вами, а Вы не замечаете! Я не могу больше молчать, не могу не обратить Вашего внимания, любезный А., на необходимость избавиться от этих слабостей. Ваше доброе, благородное сердце не заслуживает, чтобы над ним насмехались. Я часто порывалась сказать Вам все это, пока Вы гостили здесь, но все не могла решиться. Да и Вас, пожалуй, больше сконфузило бы устное увещание, чем письменное. Уж я столько раз и устно, и письменно делала Вам намеки, но Вы были так заняты собой, что не понимали их. Но, как сказано, милый мой, я теперь решила положить этому конец, ради Вас же самого. Согласитесь, что вовсе не приятно говорить другим неприятности и огорчать людей, которых любишь, но я жертвую всеми этими церемониями ради Вашего блага. Ради Бога, проснитесь, любезный А., и не мечтайте о бессмертии, — пока это возбуждает лишь смех. Не мечтайте о лаврах поэта, о вступлении в круг великих людей — Вы еще менее достойны этого, нежели благородный, но далеко не великий Ингеман. Благодарите Бога за то, что Вам доставили возможность учиться, образовать свой ум, научиться пони-

мать прекрасное и великое, и докажите, что мои увещевания подействовали на Вас, прежде всего тем, что примите их спокойно, не мечитесь, не ударяйте себя по лбу и не охайте, и не ахайте из-за того, что не можете достигнуть *великой цели*, к которой стремитесь. Помните слова Ингемана: «Важнее всего быть мастером своего дела, как бы скромно оно ни было»; он глубоко прав. А теперь надеюсь, что я, хоть и насильно, открыла Вам глаза. Надеюсь также, что Вы скоро научитесь различать — руководит ли слушателями Вашими искреннее доброжелательство или желание позабавиться над Вами. Последуйте моим советам, и я надеюсь, что Вы и этот год, и много следующих проведете счастливо. Я не замедлю высказать Вам свое одобрение, как выразила сейчас свое неудовольствие. И помните, что я все-таки высоко ценю и Ваше благородное, чистое сердце, и дарованные Вам от Бога способности, но Вы не должны злоупотреблять ими; помните, что настанет день, когда всем нам придется дать отчет в доверенных нам талантах. — Искренне преданная Вам *Генриетта Вульф*.

Морской корпус, 8 марта 1827 г.

Милый, любезный Андерсен, придите в себя! Почему «все пропало»? Вооружитесь спокойствием, пока г. Коллин не сообщит Вам своего решения. По правде сказать, я начинаю опасаться, что Вы, милый мой, уж чересчур злоупотребляете его терпением. Если бы Вы вместо того, чтобы вечно докучать ему своими — извините — вздорными жалобами, прямо и ясно, с достоинством изложили ему свое положение, он бы не замедлил помочь Вам, а то у Вас столько различных планов и Вы так мечетесь из стороны в сторону, что ему трудно даже сообразить, что Вам собственно нужно. Если Вы раздумали идти по тому пути, на который попали, если у Вас есть в виду другой, то скажите ему откровенно, он, верно, не станет стеснять Вас. Что же до «*Альфсоля*»¹, то будьте спокойны — автор его ведь г. Вальтер, и если и будут рецензии, то Вас они не коснутся... И ради Бога, милый мой, не отравляйте себе самому жизни своими вечными жалобами на себя самого. Неужели Вы не можете поменьше думать о себе самом? Поймите, что таким путем из Вас никогда и не выйдет ничего, кроме *Вас самого*. Вам, верно, кажется, что я чересчур резка, но как же иначе пробудить Вас от Вашего крепкого сна? Я понимаю, что Вас пугают слова Мейслинга, что «*Альфсоль*» сильно повредит Вам, но я Вас сейчас еще больше испугаю, если скажу, что «ни одна душа не обратит на «*Альфсоля*» внимания». Его опасения в сущности льстят Вам, тогда как мои слова Вам неприятны: привлечь на себя внимание куда ведь как приятно! Да, сколько я ни стараюсь усадить Вас на школьную скамейку, где, по-моему, Вам всего полезнее и почетнее сидеть,

¹ См. «Сказка моей жизни», стр. 41—44.

Вы все вырываетесь, Ваши шальные идеи все уносятся куда-то, закусив удила, — не могу не побранить Вас, уж очень Вы меня рассердили. Вы расписываете свое будущее, когда Ваши друзья отступятся от Вас, такими мрачными красками, что, право, можно подумать, будто Вы сами добиваетесь этого. Ведь никто и не думает бросать Вас, запрещать Вам писать, приходить к кому-либо из нас и т. п., на что Вы там жалуетесь. Этим Вы и в самом деле наскучите своим друзьям, но я не могу допустить, чтобы это было Вам приятно. И все это только последствия того, что Вы вечно носитесь с *самим собой* со своим великим «я», воображаете себя будущим гением. Милый мой, должны же Вы понимать, что все эти мечты несбыточны, что Вы на ложной дороге. Ну вдруг бы я вообразила себя императрицей бразильской¹, неужели бы я, увидя всю тщетность моих попыток уверить в этом окружающих, не образумилась бы наконец и не сказала самой себе: «Ты госпожа Вульф, исполняй свой долг и не дурачься!» И неужели я не согласилась бы, что «лучше хорошо выполнять маленькую роль в жизни, нежели плохо большую», только потому, что я сама забрала себе в голову вздор? Прежде всего перестаньте добиваться, чтобы о Вас говорили, не придавайте этому такой цены, а уж тем более не воображайте, что о Вас действительно говорят... Все кланяются Вам, я тоже, и прошу Вас, будьте благоразумнее. — Желающая Вам добра Генриетта Вульф.

ОТ ГАУХА²

Сорё, 25 августа 1835 г.

С особенным удовольствием прочел я Ваше письмо. Меня искренно радует, что мое признание Вашего таланта, которого я не мог не оказать Вам, могло доставить Вам некоторое удовольствие. Теперь я не только ценю Ваш поэтический талант, но и Ваше личное добродушие. Искренно благодарю Вас за присланную поэму «*Агнета и водяной*»; я нашел в ней немало блесков истинно поэтического дарования. Сказки же Ваши я еще не успел прочесть, но, как прочту, постараюсь поскорее сообщить Вам свое

¹ См. «Сказка моей жизни», стр. 57.

² Гаух Иоганнес Карстен, известный датский поэт и критик (1790—1872). Особенным успехом пользуются его прекрасные романы «*Vilhelm Zabern*», «*Guldmageren*» («Алхимик»), «*En polsk Familie*», «*Slosset ved Rhinen*», «*Robert Fulton*» и «*Charles de la Bussière*», драматические произведения «*Søstrene paa Kinnekullen*», «*Tycho Brahes Ungdom*» и «*Eren tabt og vunden*» и лирические стихотворения «*Lyriske Digte*», (1842), которые принадлежат к числу лучших произведений датской литературы. С 1846 г. Гаух занимал кафедру эстетики при Кильском университете, а по смерти Эленшлегера — при Копенгагенском.

мнение о них. Что же касается моего прежнего несправедливого отношения к Вам, могу оправдывать себя лишь тем, что я не знал тогда Вашего прекрасного, прочувствованного стихотворения *«Умиращее дитя»*. Зная его, я бы, конечно, сразу составил себе о Вас совершенно иное мнение. Да, самое грустное для нас, писателей, еще не то, что нас несправедливо критикуют, преследуют и терзают люди без всякого поэтического чутья и рецензенты-садовники, которые охотно бы подстригли сад поэзии по линейке, не понимая, что высший порядок вещей, сама природа заставляет дерево пускать отпрыски вольнее, чем это желательно их ножницам. Как это ни грустно, еще грустнее, что часто нас не понимают даже и те, от которых мы, казалось, вправе были бы ожидать этого. История литературы изобилует примерами, указывающими нам, что многие, куда более выдающиеся умы, чем я, судили о замечательных талантах вкривь и вкось. Для нашего обоюдного утешения нам не мешает порыться в отзывах поэтов о поэтах же, — натолкнемся на поражающие факты, увидим, что нельзя полагаться даже на суд величайших гениев. Как же тогда полагаться на суд заурядных критиков? Вот несколько примеров. Корнель во всю жизнь не понимал и презирал Расина; Лессинг и отчасти Гердер не ценили как следует Гете; Гете — Тика, Эленшлегера, Вальтера Скотта и, за исключением Байрона, почти всех гениев, выступивших после него самого. Шиллер не понимал и презирал Гольберга, а его отвергала и презирала вся новейшая школа. Менцель и Бёрне (а они ведь люди с крупными дарованиями) развенчивали Гете, где только могли. Остроумный Лукиан называл *«Илиаду»* Гомера безжизненной сказкой. О Бульвере, первом романисте Англии после Вальтера Скотта, все лучшие английские журналы много лет подряд отзывались, как о самонадеянном и бездарном шуте. Да если позволено будет после разговора о таких великих людях упомянуть о моей собственной незначительной персоне, то я открою Вам (но это должно остаться между нами, и я говорю это только для того, чтобы показать Вам свое доверие), что беспощадный, хотя и навряд ли несправедливый, приговор Эленшлегера, который он произнес над моим ранним и неудачным поэтическим произведением *«Розаура»*, чуть-чуть не навсегда убил во мне поэта. Семь лет я не писал ни строчки, и только во время долгой и очень опасной болезни моей (которая, как Вы знаете, окончилась тем, что я лишился ноги) муза опять посетила меня и буквально спасла мне жизнь и в духовном, и в физическом смысле. Так вот как я вернулся к поэзии. Но чего бы я ни дал, чтобы вновь вернуть все те поэтические мысли и мечты, которые зарождались во мне в лучшие годы моей юности и которые я всеми силами и часто с невыразимой болью подавлял в себе. В этом случае справедливый суд действовал на меня губительнее, нежели мог бы действовать самый пристрастный. Ведь даже самый справедливый судья может судить лишь о том, что он видит перед собой, а не о том, что может дать то же лицо в будущем и что можно убить в нем одним суровым словом.

К счастью, вообще скорее можно полагаться на похвалу, чем на порицание, раз только первая вполне искренна. Нельзя искренно хвалить поэтическое произведение, если оно не затронуло нашу душу, наше сердце; порицание же чисто мозговой продукт. Но, конечно, я не возвожу всего сказанного в правило, а лишь говорю, что так бывает чаще всего. Кроме того, критики по большей части занимаются в своих рецензиях самими собой и своим отношением к произведению, а не последним. Пора, однако, кончить, не то письмо мое, пожалуй, обратится в статью. Всего хорошего и будьте уверены, что никто больше меня не убежден в Вашем призвании и не будет искреннее меня радоваться Вашим успехам. — С истинным уважением и преданностью Ваш К. Гаух.

24 декабря 1835 г.

...Сердечное спасибо за второй выпуск сказок. Я их прочел с большим удовольствием. Первая сказка («Лизок с вериок») очень поэтична и содержательна, а «Дорожный товарищ», по-моему, еще лучше. Вам пришла поистине счастливая идея заставить отплатить бедняку Ивану за доброе дело — мертвеца. Описание ночного полета мертвеца и принцессы к троллю полно фантастической красоты. Не мешало бы Вам только, по-моему, пообстоятельнее объяснить, каким образом принцесса без всякой вины со своей стороны подпала под власть тролля; это увеличило бы интерес к ней. В сказочке «Нехороший мальчик» Вы удачно разрешили задачу рассказать детям, что-нибудь забавное по их вкусу, хотя настоящий-то смысл ее и может быть понятен лишь взрослым. Вообще я ставлю эти три сказки гораздо выше тех, что появились в первом выпуске. Заранее радуюсь предстоящему мне удовольствию познакомиться с Вашим новым романом; не сомневаюсь, что он хорош и что я найду в нем и фантазию, и чувство, которыми Вы, на мой взгляд, вообще наделены так щедро. Идите же смело по тому пути, на который вступили, старайтесь разрабатывать каждую данную тему так, чтобы она развилась как бы органически естественно, и как истинный художник не стесняйтесь отбрасывать все лишнее; как бы оно ни было красиво само по себе, оно все-таки может только затемнить главную идею. Поступайте так, и я надеюсь, что Вас оценят не только современники, но и будущие поколения... — Сердечно преданный Вам К. Гаух.

Сорё, 4 марта 1836 г.

...Я согласен с Вами, что «аромат» (как Вы счастливо выразились) поэтического произведения играет очень важную роль. Особенно применимо это по отношению к цветам, растущим в саду романтизма. Но и с

цветами поэзии происходит то же, что с обыкновенными: всего ароматнее дети ранней весны; напротив, те, что расцветают осенью, хоть и бывают пышнее и богаче красками, уже лишены аромата, отчего роскошный георгин и уступает скромной фиалке. Сколько есть прекрасных поэтических произведений, которые, однако, не вполне удовлетворяют нас, и, вникнув в дело хорошенько, поймешь, что нам недостает в них именно этого дивного, чудесного аромата. Впрочем, что понимаем мы, поэты! Ведь современные истинные знатоки и критики находят, что аромат — пустяк, что дело в правильности лепестков, а главное, в редкости, причудливости красок. Такой любитель-знаток побежит за тысячу миль ради некрасивого, но редкого тюльпана, и шагу не сделает, чтобы взглянуть на благоухающую розу. За тюльпаны и платят дороже, чем за розы, и голландцы поэзии торгуют ими на славу. ...От души желаю, чтобы Вам (Вы ведь моложе меня) выпала лучшая доля, чем мне, чтобы Вы дали еще много произведений, которые бы не только доставили удовольствие публике, но и милость фортуны Вам. Она ведь, как известно, плохо дружит с Аполлоном, а между тем поэты очень нуждаются в ее милости. Повернет она им спину, и им за улыбки Аполлона приходится расплачиваться горькими лишениями.

Очень рад, что скоро выйдет новый Ваш роман. Желаю, чтобы он появился в более удачный момент, нежели мой. В данное время поэтическое произведение может произвести такое же впечатление, как фейерверк днем. Мало того что произведение отличается внутренними достоинствами, надо еще, чтобы оно появилось в подходящий момент, а тут опять мы во власти г-жи Фортуны. Писатель может лишь дать свой труд, но не воздействовать на настроение читателей, — им всецело располагает она. Число людей, способных и желающих отрешиться от насущных интересов минуты ради чуждого им мира, как бы там он ни был прекрасен, очень не велико. Большинство же, напротив, требует от поэта, чтобы он пел им о том, что интересует их в ежедневной будничной жизни. В эпоху увлечения политикой и поэт должен, следовательно, быть политическим писателем, и, право, я думаю, что в такое время, как наше, не стали бы слушать самого Аполлона, если бы он стал петь не о политике. — Жена шлет вам дружеский привет. Истинный друг Ваш и преданный Вам К. Гаух.

Сорё, 8 января 1837 г.

...Желаю Вам поскорее осуществить свое желание — попасть в Германию! Что же до Ваших предчувствий скорой смерти, то на них мы поставим крест. В Ваши годы не так-то легко умирают, да кроме того, если поэт воистину воодушевлен своей задачей, он не умрет, пока не выполнит ее. Гердер на смертном одре сказал: «Подайте мне великую мысль, и я воскресну!»...

Все, кроме меня, здоровы; я сильно простудился. Жена шлет Вам дружеский привет. Вильям часто о Вас вспоминает, он очень любит Вас. Скорее приезжайте к нам в Сорё! — Глубоко преданный Вам *К. Гаух*.

Сорё, 6 ноября 1837 г.

...Ради Бога не отчаивайтесь! Все-таки Вам дано бесконечно много в сравнении с другими. И не думайте, наконец, что, достигнув хотя бы и высшего земного счастья, Вы будете воистину счастливы. Помните, что Ваша внутренняя тоска навеяна Вашим гением, она-то именно и придает Вашим песням красоту и колорит, так не старайтесь же отделаться от нее. Все мы должны примириться с невозможностью достичь на земле высшего блага, что же касается земных благ, то Вам следует вспомнить, что Провидение вело Вас до сих пор к ним самыми удивительными путями, следовательно, Вы можете спокойно доверяться ему и впредь. Вам нечего и сравнивать свою судьбу с судьбой Вашего скрипача, хоть Вы и испытали подобные же лишения и горькую нужду. Между вами огромная разница: ему так никогда и не удалось показать свету сокровищ своей души, а Вам уже удалось вывести на свет Божий порядочную долю их. Наконец, замечу Вам, что и все истинные поэты могут сказать словами Гете: «*Was ich litt und was ich lebte, sind hier Blumen nur im Strausz*» (Все, что я перестрадал и пережил, является здесь только цветами в букете). Именно страданиями-то и обуславливаются правдивость и оригинальность, отличающие всякое истинно поэтическое произведение. — Ваш преданный друг *К. Гаух*.

Сорё, 24 ноября 1840 г.

Милый, дорогой Андерсен! Как мне жаль, что нам не удалось повидаться перед Вашим отъездом, — Вы уехали в таком печальном настроении. Нам, поэтам, приходится по милости нашей слишком развитой фантазии страдать от всевозможных обид сильнее, чем всем прочим людям: зеркало нашей фантазии часто отражает все эти обиды в увеличенном виде. — Но всеобщее признание Вашего таланта, которое Вы встретите в Германии, скоро залечит и большие, и маленькие раны, нанесенные Вам на родине. Вообще же (позвольте мне, старику, тоже испытавшему в жизни много невзгод, сказать Вам это) Вам надо учиться искать удовлетворения и утешения в себе самом, а не вне. До тех пор, пока Вы будете придавать слишком большое значение мимолетным похвалам капризного света и трубному гласу газет, Вам нечего и думать обрести истинный душевный мир, свойственный истинному поэту. Довольство и награду себе Вы должны черпать в тайниках Вашей собственной души, переполненных сокровищами

поэтического мира. Раз мы сознаем сами, что душа наша оскудела, нас не в состоянии обогатить никакие похвалы в мире, если же мы сознаем, что мы богаты истинными сокровищами души, что нам легко вознестись на крыльях музыки, мы и становимся выше всяких порицаний и насмешек. Вы обладаете слишком крупным талантом, чтобы не суметь стать выше минуты; уйдите с головой в свой труд и не столько заботьтесь стяжать похвалы, сколько заслужить их, а тогда и все остальное придет само собою. Вы ведь не из тех поэтов, что видят в поэзии лишь средство для достижения тех или других посторонних целей; Вы не только добросовестно трудитесь, но живете и дышите своими поэтическими трудами, думаете о них день и ночь, так неужели такой богатый источник блаженства не может с лихвой вознаградить Вас за всякие горькие лишения? Вы родились властелином своей области поэзии, зачем же Вы сами хотите умалить свое достоинство? Стоит ли отчаиваться из-за того, что *nicht alle Jugendträume reiften* (не все мечты молодости сбылись)? Впрочем, это пройдет: душа поэта отличается удивительной гибкостью и упругостью, выпрямляется, как бы ее ни угнетали. — Искренно, всем сердцем преданный Вам К. Гаух.

20 ноября 1843 г.

Милый, дорогой Андерсен! Сердечно благодарю Вас за дорогой подарок; я прочел его с таким удовольствием. Особенно сильное впечатление произвел на меня последний рассказ *«Безобразный утенок»*. По-моему, это одна из наилучших Ваших сказок, и я считаю ее даже классической в своем роде. Она совершенна и сама по себе, и мораль вытекает из нее вполне свободно, естественно. Она дышит глубокой правдой, и страдания бедного лебедя, попавшего в общество ниже себя, обрисованы в немногих, но очень ярких и типичных чертах. История о коте и курице, причислявших себя к лучшей половине мира и презиравших все остальное, что не умеет мурлыкать или нести яйца, повторяется постоянно и повсюду. Слова же «Не беда родиться в утином гнезде, если вылупился из лебединого яйца» — так и просятся стать пословицей, если только это уже не пословица¹. Поздравляю с этим рассказом и Вас, и нас. Давайте нам побольше таких! — *«Ангел»* также прекрасен, *«Парочка»* презабавна, *«Соловей»* нравится мне меньше, но *«Безобразный утенок»* верх всего! — Дружески преданный К. Гаух.

¹ В письме к Ингеману от 28 августа 1845 г. А. говорит: «...Мне хотелось бы написать Гауху по поводу сказок. Он однажды высказал мне в письме свое удовольствие по поводу пословицы: «Не беда родиться в утином гнезде, если вылупился из лебединого яйца». Я, кажется, не успел тогда обратить его внимание на то, что это мои собственные слова, непосредственно вылившиеся из самой сказки, а не пословица. Подобных афоризмов немало найдется в моих сказках, и все они принадлежат мне самому».

...Я обещал написать Вам несколько слов о Вашей последней книге («По Швеции»), которую Вы были так добры прислать мне. Я прочел ее с большим удовольствием и не скрою от Вас, что эта книга нравится мне больше Вашего «Базара», именно потому, что Вы в ней не так разбрасываетесь. Здесь все лучи Вашей фантазии и чувства являются как бы сосредоточенными в одном фокусе, и так как им, кроме того, приходится освещать меньшее пространство, то они сильно и выигрывают в яркости и интенсивности. Эта книга именно такова, какою она, по-моему, и должна быть, она от начала до конца проникнута тем духом, который отличает Швецию, и Вы сумели понять и схватить его со всей свежестью и живостью своей восприимчивости. Меня так радует, что Вы продолжаете сохранять то, что я считаю отличительной чертой истинного поэта — неувядаемую свежесть и юность духа, не поддающуюся времени. Надеюсь, что Вы сохраните эту юность духа и до старости, до того крайнего предела жизни, когда на нас налагает руку смерть и когда наша внешняя земная оболочка уносится волнами Леты. Вообще же поэты нередко дряхлеют и изнашиваются духовно еще прежде, чем кончится их физическое лето. Но Аполлон-то вечно юн, и истинные его избранники и остаются юношески свежими духовно несмотря на отпечаток, налагаемый временем на внешнюю оболочку их духа. Состариться же духовно для поэта то же, что перестать быть поэтом, но Вам этого, по-моему, нечего бояться! — С истинным уважением дружески преданный Вам К. Гаух.

9 июля 1855 г.

...Из «Сказки моей жизни» я успел прочесть лишь кое-какие отрывки и подробную беседу о ней отлагаю, пока не прочту ее всю. Но насколько могу судить теперь же, книга эта не только свидетельствует о Вашем таланте рисовать яркие, выпуклые картинки из жизни, но вся светится детским, милым добродушием и простодушием, свойственным истинно поэтической натуре. Из этой книги я узнал, что Вас сравнивали с Жаном Полем; мне кажется, что Вы особенно напоминаете его Вашей сердечной добротой, а Жан Поль, насколько вообще можно судить о писателе по его сочинениям, был один из лучших людей, когда-либо живших на земле. Эта-то Ваша сердечная доброта и чистота заставила бы меня — узнай я ее при иных условиях — полюбить Вас, если бы Вы даже не написали ни одной строчки, и если бы Ваша известность не пошла дальше стен тесной хижины, в которой Вы увидели свет. — Истинный друг Ваш и сердечно преданный Вам К. Гаух.

...На днях я перечитывал Ваши, как Вы их назвали, *«Истории»*. Чудный летний день как нельзя более соответствовал чтению их и еще усиливал прекрасное впечатление. Особенно захватила меня *«История года»*. Выдался как раз такой чудный летний день, когда резво кружатся на солнце бабочки, в траве жужжат пчелы, в воздухе стоит такая тишина, что не шелохнется ни один листочек, и когда вот так и чувствуется вокруг присутствие таинственных духов, ткущих зеленые летние ковры, окрашивающих цветы и смотрящих на нас своими светлыми, как солнце, очами сквозь листву деревьев; вот я и вздумал перечитать *«Историю года»*. Это чудная вещь и по чувству, и по поэтической полноте, и по фантазии. Эта Ваша сказка — одна из многих моих любимых, доказывающих, что в смелости замысла-то и кроется глубочайшая истина. Так это и должно быть. Чем глубже корень поэтического произведения уходит в почву истины, тем свободнее и смелее подымается его вершина к небу, озаренному солнцем, отблеском вечерней зари или сиянием звезд. В этой сказке Вы аллегорически изобразили весенний блеск, летнюю полноту и осеннюю грусть человеческой жизни. Такими именно и должны быть произведения подобного рода; нечто подобное же дали Вы и в *«Безобразном утенке»* и во многих других сказках, в которых куда больше поэзии, чем во многих знаменитых и длинных поэмах. *«Пропадающая»* и *«Иб и Христиночка»* тоже прелестные рассказы. Особенно дороги мне — всюду, где я ни нахожу их у Вас, а это случается весьма часто — Ваша сердечность, любовь к человечеству и Ваш юмор, которые позволяют Вам заставить звучать речи петуха или курицы такой живой пародией на человеческое скудоумие, встречающееся и в высших, и в низших слоях общества, и в залах богачей, и в темных подвалах бедняков. *«Сказка моей жизни»* читается с большим интересом; несколько дней тому назад я говорил о ней с министром народного просвещения, с Кригером и другими, и все были того мнения, что удивительная сказка жизни, которую Вы дали нам, производит не только поэтическое впечатление, но имеет перед другими поэтическими произведениями еще то преимущество, что является правдивым рассказом о пережитом, отчего ее и читаешь с двойным удовольствием. Не скрою, что я не раз ощущал в душе горечь и печаль, читая о ледяном равнодушии и ядовитой злобе, проявленных нашими земляками. Но, слава Богу, теперь в сочувствии Вам нет недостатка, и если в Вашей жизни и было много пасмурных дней, то зато теперь ее озаряет солнце, и блеск его становится с годами все ярче и ярче — вот это лучше всего!.. Всего хорошего, милый, дорогой друг! Только бы это письмо застало Вас. Навестите же нас, когда вернетесь! — Неизменно преданный Вам К. Гаух.

Милый, дорогой Андерсен! Чувствую потребность хоть несколькими словами поблагодарить Вас за Ваши последние сказки и особенно за историю «*На дюнах*». Это положительно одна из лучших, когда-либо написанных Вами. От души поздравляю Вас с тем, что Вы продолжаете сохранять ту свежесть и юность, которыми так и дышит Ваша поэтическая натура. Я недавно сильно простудился и еще с трудом держу перо в руках, но все-таки не счел возможным долее откладывать написать Вам и поблагодарить Вас. Ваша твердая вера в вечную жизнь за гробом сообщает всем Вашим произведениям тот романтически-поэтический отблеск, отсутствие которого, к сожалению, составляет такой существенный недостаток большинства современных поэтических произведений, какими бы достоинствами они ни отличались в других отношениях. Эти, последние, произведения можно сравнить с ландшафтами, лишенными ясного неба, и не освещенными ни солнцем, ни луной, ни звездами! В Ваших же произведениях все это бесспорно есть, и, кроме того, они еще проникнуты своеобразным детско-наивным мирозерцанием, в изображении которого у Вас в наш век материализма нескоро найдутся соперники. — Всего хорошего! Неизменно преданный *К. Гаух*.

30 декабря 1861 г.

Искреннее спасибо Вам, дорогой друг, за Ваше теплое сочувствие и столь же горячее спасибо Вам за сборник Ваших чудных сказок и рассказов. «*Дева льдов*», по-моему, одна из наилучших Ваших сказок. В ней так и встает перед нами величественно прекрасная и в то же время грозная альпийская природа. Ваша фантазия сильна и богата красками — об этом и говорить нечего, а к этому надо еще прибавить Ваше умение рисовать такие прекрасные, романтические картины, поражающие глубиной замысла. Душевная же чуткость Ваша говорит, что Вам нечего опасаться окаменеть с годами, как это, к сожалению, часто случается даже с истинно талантливыми писателями...

Вы, бесспорно, самый оригинальный из наших писателей. Своими сказками Вы проложили новый путь в области поэзии; предшественников у Вас не было, последователей же найдется и теперь, и впредь немало, но едва ли они не будут только бледными копиями богатого фантазией оригинала. Сказку «*Улитка и розовый куст*» можно было бы также назвать «*Критик и поэт*». Эта сказка, как она ни мала, является мировой картиной, как и многие Ваши сказки, включенные в столь же тесные рамки. И это Ваше умение дать так много в малом и является, без сомнения, одной из тех основных особенностей Вашего таланта, которые приобрели Вам такую большую публику, столько славы и признания даже в отдаленнейших странах. — «*Пси-*

хей» также очень мила и глубока по идее, но на меня произвела все-таки такое болезненное впечатление, что я, желая отделаться от него, должен был перечесть ее в обратном порядке с конца к началу. Дай Вам Бог навсегда сохранить эту свежесть и жизненность таланта, и да благословит Он Вас как поэта и как человека! — Всем сердцем преданный Вам *К. Гаух*.

6 февраля 1830 г.

(От Гульберга). ...И что вам сделали бедные офицеры? Зачем вечно высмеивать их за стягивание талии и проч.? Приезжайте-ка сюда, и я покажу Вам студентов, которые затягиваются не хуже любого офицера. Есть франты и между студентами, и между офицерами, и между приказчиками, одинаково затягивающиеся, противные, гадкие. Нападайте на франтовство, на затягивание, а сословие оставьте в покое. Ваша фантазия слишком богата, чтобы заниматься такими мелочами. Будьте во всем оригинальны, а не копируйте старые таланты, которым иногда приходилось прибегать к такому оружию, чтобы заручиться поддержкой известного класса общества. А Вам разве нужно это? Ну, а если не нужно, дорогой Андерсен, так и оставьте. ...То же скажу и насчет Ваших слишком прозрачных намеков на предмет Вашей любви. Едва ли это справедливо по отношению к молодой девушке! Пожалуй, многие уже шепчутся о том, что Вы во всем, что касается Вашей любви, подражаете Гейне¹...

¹ Андерсен в зрелые годы совершенно изменил свой взгляд на Гейне. Вот, что писал он мне в 1865 г.: «Гейне похож на блестящий фейерверк — блеснет, и опять тебя окружает черная ночь. Он остроумный фразер, безбожный, легкомысленный и все же истинный поэт. Книги его — лесные девы в шелку и тюле, в складках которых кишат паразиты, так, что этих дев нельзя пускать свободно бегать по комнате среди людей в одежде». В другой раз он выразился о Гейне так: «Он, конечно, истинный поэт, но мечется и кружится, как настоящая лесная дева, и слишком часто показывает нам свою полную спину. Он легкомысленный безбожник».

ОТ ЧАРЛЬЗА ДИККЕНСА

Вилла де Мулино, близ Болоньи, 5 июля 1856 г.

Дорогой и уважаемый Ганс! Мне чрезвычайно жаль, что я не могу оказать Вашему другу, г-ну Билле, того внимания, которое бы с удовольствием оказал каждому Вашему другу. Дело в том, что я уехал из Лондона на все лето, желая поработать на свободе, среди чудной природы. Вы знаете, мой дорогой товарищ по оружию, какова рассеянная лондонская жизнь, и какое облегчение уйти от нее! Поэтому Вы не удивитесь, конечно, моему намерению пожить здесь подольше и возвратиться в Лондон не раньше конца октября.

Написать и объяснить все это г-ну Билле я не могу, так как он оставил на моей городской квартире только Ваше письмо, не приложив к нему своей карточки, и я не знаю его адреса. Когда Вы увидите с ним или будете писать ему, передайте ему, пожалуйста, с каким бы удовольствием я постарался сделать его пребывание в Лондоне возможно приятным, будь я только там теперь. Вы слишком скромны, чтобы сказать ему, что я с величайшей радостью пожал бы ему руку, которую так недавно пожимала Ваша, — ну, так я скажу ему это сам, когда он опять приедет в Лондон.

А Вы, мой друг, когда Вы приедете к нам опять? Вот уже девять лет (как Вы пишете) протекли с тех пор, как Вы были у нас. В течение этих девяти лет Вы не лишились своего места в сердцах англичан, а, напротив, стали у нас еще более известным и любимым. Когда Аладин выберется из пещер науки и совершит свое победоносное шествие по земле, чтобы сделать нас всех умнее и добрее (я знаю, что Вы это сделаете), Вам следовало бы навестить нас еще раз. Приезжайте и остановитесь у меня. Мы постарались бы устроить Вас возможно лучше.

Я теперь занят *«Крошкой Доррит»*, и она заполонит меня еще месяцев на девять-десять. Она стала положительно любимицей англичан. Заговорив о родине, я невольно вспомнил, что хотел сказать Вам: Вы теперь стали прекрасно писать по-английски. Последнее Ваше письмо написано так, что и англичанин не написал бы лучше.

Г-жа Диккенс просит меня передать Вам, что сочла бы кровной обидой, если бы Вы заподозрили ее в забывчивости, и что Вы только отдаете ей должное, предполагая, что она вспоминает о Вас. Те из моих детей, которых Вы видели в Бродстэрсе, и особенно обе дочери, ставшие теперь взрослыми девицами, чрезвычайно возмущены Вашим намеком на то, что они будто бы позабыли Ганса Христиана Андерсена. Они говорят, что знай Вы их наполовину так хорошо, как они знают сказки *«Лизок с вершок»* или *«Безобразный утенок»*, Вы бы не сказали этого. Тем не менее они просят передать Вам их сердечный привет и прощение.

Дорогой мой Андерсен, я так радовался, читая Ваше письмо, я уверяю Вас, что люблю и уважаю Вас больше, чем могу выразить это на бумаге, будь она даже так велика, что можно было бы устлать ей всю дорогу отсюда до Копенгагена. — Ваш неизменно преданный друг
Чарльз Диккенс.

Tevistock House, Лондон, 3 апреля 1857 г.

Дорогой мой Ганс Андерсен! Третьего дня я получил Ваше желанное письмо и немедленно отвечаю на него. Надеюсь, что ответ мой сразу заставит Вас решиться навестить нас нынешним летом. Из Лондона мы уедем в начале июня, но Вы найдете нас на моей маленькой даче, всего в двадцати семи милях от города. Она лежит близ железной дороги, в прекрасной местности, в расстоянии полуторачасовой езды от Лондона. Мы отведем Вам светлую комнату с прелестным видом, и Вы будете жить там так же спокойно и уютно, как в самом Копенгагене. Если Вы пожелали бы во время своего пребывания у нас переночевать в Лондоне, то городской дом наш от крыши до погреба во всякое время к Вашим услугам. Служанка наша и друг, которая жила у нас много лет, а теперь вышла замуж, будет смотреть и за домом, и за Вами с большим удовольствием.

Итак, прошу Вас, приезжайте в Англию. Мы все лето будем жить в упомянутом месте, и, если Вы дадите мне знать, когда мы можем ожидать Вас, мы все будем ожидать этого дня с истинной радостью.

Я очень заинтересован тем, что Вы сообщили мне о своем новом романе. Можете быть уверены, что он не найдет более внимательного и серьезного читателя, чем я. С нетерпением ожидаю его появления. Я все еще всецело занят *«Крошкой Доррит»*. Надеюсь окончить ее историю в последних числах этого месяца, и после этого Вы застанете меня летом человеком, вполне свободным, играющим в крокет и во всевозможные английские игры, устраиваемые на вольном воздухе. Обе маленькие девочки, которых Вы видели в Бродстэрсе перед отъездом из Англии, стали теперь взрослыми девушками, а старшему моему сыну уже 20 лет с лишком. Но у нас найдутся дети всех возрастов, и все они любят Вас. Вы очутитесь в доме, битком набитом любящими друзьями и поклонниками Вашими, ростом от трех футов до пяти и девяти вершков. Помните! Нечего Вам и думать о поездке в Швейцарию — Вы должны приехать к нам.

Сердечный привет Вам от всего нашего семейства, и прошу Вас, дорогой Андерсен, верить в мою преданность и дружбу. — Ваш *Чарльз Диккенс.*

Сорё, 20 мая 1826 г.

...Вооружитесь спокойным, свободным мужеством, положитесь на Божью помощь и имейте доверие к дарованиям, которыми Он наделил Вас, и Вы, без сомнения, достигнете того, к чему серьезно стремитесь. Если почувствуете желание побеседовать со мной, что-нибудь сообщить мне, пишите мне, не стесняясь, я заплачу Вам откровенностью за откровенность. Мое дружеское участие, лучшие пожелания и немалые надежды будут сопровождать Вас на всем протяжении Вашего пути. Ваш смелый девиз «aut Caesar aut nihil» кажется мне, однако, порядочно таки языческим. В царстве истины последние станут первыми и младшие старшими. Дело не в том, за кого нас принимают здесь, главное — *esse*, *non videri*², в какой же степени — в руках Божьих. Но если только вообще приносишь хоть какую-нибудь пользу в свете (а это необходимо), то живешь не даром.

Всего хорошего! Всякое доброе известие о Вас порадует меня, а Вы сами всегда, когда только время позволит Вам, будете у нас желанным гостем. — Ингеман.

1828 г.

...Теперь Вы окончили училище и намереваетесь самостоятельно вступить на литературное поприще. Желаю Вам прежде всего поскорее, без особых колебаний и отклонений в сторону, найти ту дорогу, которая соответствует Вашим силам и способностям. Желаю затем, чтобы Вы ясно сознавали, к чему хотите приложить свои силы, и стремились к высокой цели, не гонясь за минутным успехом. Вполне одобряю Вашу склонность прислушиваться к честным отзывам о Ваших трудах и нахожу также вполне естественным, что Вы во избежание односторонности желаете ознакомиться с мнениями различных людей. Но если Вы, однако,

¹ Ингеман Бернард Северин, один из самых популярных датских поэтов-романистов (1789—1862). Его историческая поэма «*Valdemar den Store og hans Moend*» (1824) положила начало целому циклу его исторических романов, получивших огромное распространение по всему свету и ставших народным чтением: «*Valdemar Sejer*» (1826), «*Erik Menveds Barndom*» (1828), «*Kong Erik og de Fredløse*» (1833), «*Prinds Otto af Danmark*» (1835); завершается этот цикл поэмой «*Dronning Margrethe*» (1836). Весьма любимы в Дании также его религиозные песни «*Hoimessepsalmer*», проникнутые любовью и кротостью и доставившие автору прозвище «светлого Бальдура датской поэзии». См. «Сказка моей жизни», стр. 116 — 117.

² быть, а не казаться.

станете обращаться одновременно к массе людей самых противоположных взглядов, то даже самые честные, беспристрастные отзывы только смутят, собьют Вас с толку. Если Вы иногда действительно стоите, как Геркулес, на распутье, то Вам прежде всего нужно разобрать с кем Вы имеете дело, поэтому и желаю Вам побольше прозорливости. Вообще предпочитайте (как и в своей «Прогулке») живого гения фантазии педантке Эльзе¹, смело идите впереди времени, становитесь выше его мелочных интересов и мерьте высоту здешнего мира на аршин вечности! Но не презирайте в своем высоком полете ни единой самой ничтожной души, если только она стремится к совершенству и просветлению; пусть Вам всегда сопутствует любовь! Другими словами — не увлекайтесь легкомысленной игрой с поэзией, которую часто позволяют себе даже очень талантливые поэты. Если Вы действительно чувствуете призвание к поэзии, то и чтите ее в себе! Пусть она будет для Вас святыней, осквернить или бросить которую не заставит Вас ни ложный минутный успех, ни обидная, несправедливая критика. А затем всего хорошего! Храни Вас Бог! — Ваш Б. С. Ингеман.

Сорё, 31 января 1830 г.

...Что же до Ваших сказок, то мне нравятся в них все те места, где Вы просто рассказываете или описываете без всяких притязаний на остроумие или на сатиру. Простой, наивный, сердечный тон рассказа лучше всего соответствует таким сказкам для детей. Напротив, стремление подшучивать над тем, что рассказываешь, совсем не отвечает цели и уничтожает всякую поэтическую иллюзию рассказа. Музеус и Виланд, рассказывая сказки, часто, по-моему, сами вредили впечатлению своим подшучиванием и погоней за остроумием. Надо сначала самому всецело уйти в мир невинной детской фантазии, а потом уже звать туда и других. О Вашей же способности к этому я сужу по некоторым отдельным местам, жаль только, что Вы не везде выдержали этот тон.

Итак, я высказал Вам свое мнение, указал, что мне понравилось и что не понравилось в этом выпуске сказок. Подробнее о них при встрече. Прислушивайтесь к каждому мнению, но идите лишь по той дороге, которую указывают Вам Ваш собственный талант и сердце в светлые минуты вдохновения! Тогда и поэтические зародыши, пробивающиеся в Вашей душе, не заглохнут... — Дружески преданный Ингеман.

¹ «Эльза педантка» — одно из действующих лиц комедии Гольбера «*Barselstuen*», («Поздравления с новорожденным»), говорящая книжным языком.

Дорогой Андерсен! Мое спасибо за присылку нового сборника Ваших стихотворений и за то доверие и дружбу, которую Вы оказываете мне, должно заключаться (я знаю, что Вы именно этого и желаете) в откровенном изложении моего мнения, которое подскажет мне мое расположение к Вам. Как упомянутая книга, так и письмо Ваше отзывается горечью, что меня очень опечалило — я боюсь, что перевес такого настроения повредит Вам и в Вашей литературной деятельности, и в жизни вообще. ...Мне кажется, что Вы чересчур торопитесь дать волю каждому поэтическому порыву, не давая ему созреть; Вы как будто насильно раскрываете почки цветов Вашей души, чтобы заставить их зацвести раньше времени. И не выискивайте, пожалуйста, воображаемых несчастий! Не успеете оглянуться, как они станут действительными. — Дружески преданный Вам Ингеман.

1832 г.

...Всего больше повредила развитию Вашего поэтического дарования, без сомнения, та доверчивая, почти детская готовность, с которой Вы бросились в объятия тысячеязычной и капризной большой публики, в пруд пустого светского общества, не успев еще дать себе самому ясного отчета в своих силах и способностях. Вы не успели еще обрести должной устойчивости, и вот людские толки и насмешки играют Вами теперь, как мячиком. Погоняя кнутом свою фантазию и прищипывая чувство, Вы, как лунатик, все бродите в обществе, в театральном и в газетном мире, и вследствие этого как бы ежедневно выдергиваете из почвы дерево Вашей жизни, чтобы посмотреть — пустило ли оно корни, тогда как ему надо дать спокойно расти и набираться сил, без этого ему не зацвести и не принести плодов. Ваше письмо говорит о таком упадке сил, что я принужден откровенно указать Вам причины Вашего горя и замедления развития Вашего таланта. Примитесь усердно за изучение какого-нибудь предмета, который может дать пищу Вашей фантазии, например, истории, не поддавайтесь вечному зуду творчества, истощающему Ваши духовные силы, махните рукой на пустое светское общество и не берите в руки газет! Поменьше заботьтесь о поэте и лавровом венке, а побольше о самой поэзии, но и не убивайте птицы песни, чтобы повынуть из нее все золотые яйца зараз.

Не знаю, хорошо ли будет Вам *теперь* отправиться путешествовать; по-моему, Вы больше нуждаетесь в самососредоточении, нежели в рассеянии. Но раз представляется случай, пожалуй, нельзя не пользоваться им. — Чуть было не забыл дать Вам еще один добрый совет, знаю, что Вы примете его так же благодушно, как он дается — никогда не

читайте своих стихов в обществе или кому бы то ни было, кроме самых близких друзей, и никогда не пишите в газетах! Бог да благословит Вас, всего хорошего и побольше мужества и твердой воли! Жена кланяется Вам. — Ваш преданный *Ингеман*.

Сорё, 13 февраля 1837 г.

Дорогой Андерсен! Спасибо за мысленные дружеские визиты и за то, что Вы преодолели свое нерасположение и все-таки написали нам! Я тоже неохотно берусь за перо, если меня не побудит к этому какой-нибудь внешний толчок вроде письма или т. п., хотя в темах для беседы с отсутствующими друзьями у меня и никогда не бывает недостатка. В числе милых, дружеских лиц, которые часто навещают нас духовно в нашем уединении, находитесь и Вы. И всякий раз, как я мысленно вызываю в памяти Ваш образ, он как будто проходит перед моими глазами все фазисы своего преобразования из гимназиста в богатого сердцем и фантазией и столь длинного поэта, что на нем можно было бы сделать узел, а то и два, а он все-таки не стал бы от того ни толще, ни короче! Но, дорогой А., разве я такой уж седовласый ветеран, что Вы лично как-то чуждаетесь меня, между тем как мы так близки друг другу по духу? Как Вы являетесь не только подающим надежды юношей, так и я не только заслуженный поэт, развалившийся на лаврах и протягивающий младшему собрату два пальца, когда тот подает ему всю свою честную руку. Надеюсь показать Вам, что я еще не так стар и могу еще писать любовные песни, хотя бы и от лица тысячелетнего героя (подразумеваю здесь Гольгера Данске). При чем года и возраст, когда речь идет о взаимной дружбе и сердечных отношениях поэтов. Замашка считаться старшинством одна из мещанских замашек прозаического мира. — Я заранее и радуюсь Вашему новому роману, все равно напишете ли Вы его по заранее обдуманному плану или нет. Бессознательный план, скрытый в самой идее и развивающийся сам собою, свободно и естественно, без сомнения, лучше всякого искусственного плана, как наиболее соответствующий естественному проявлению самого поэтического гения. Размышление часто набрасывает такой план, который истинное вдохновение с улыбкой перечеркивает накрест; когда гений готовится разрешиться детищем, разум не в состоянии угадать — будет ли это девочка или мальчик, что и безразлично — была бы только живая душа в нем... — А верно ли я прочел, не ошибся ли? Неужели Вы полагаете, что мне не нравятся Ваши сказки? Второй выпуск мне *чрезвычайно* понравился, и я давал его читать моим детям. О том же, что мне не нравится в первом — мы уже говорили. Зато я знаю, что о втором Вы, кроме похвал, ничего от меня не слышали...

Спасибо за Ваше дружеское посещение и за то, что Вы познакомили нас со своим «Скрипачом». Я считаю его истинно поэтическим произведением, которого не умалит никакая «превосходная» критическая статья кого-либо из наших самозванных судей-эстетиков. То же я думаю и об «Импровизаторе», вопреки всем критическим перьям и «ногтям»¹; от них не ушел ведь еще ни один сколько-нибудь выдающийся датский поэт, но ни одного из поэтов они и не стащили с крылатого Пегаса и не выбили из седла. Поэзия неуязвима и, собственно говоря, довольно пошло и неоригинально причислять себя к сонму наших «оскорбленных» поэтов, сердца которых разорваны в клочья ногтями критиков, и ни одному мало-мальски талантливому поэту не следовало бы отныне признаваться, что он «оскорблен». До тех пор, пока представители философии искусств и красоты не остригут себе ногтей, не оденутся и не станут вести себя прилично и с тактом, до тех пор им никого и не уверить, что у них есть вкус к прекрасному; пока критика наша не признает любви и не руководится любовью, ей и приходится мириться с тем, что поэты не видят в ней ничего, кроме предмета для смеха и сатиры. Я, впрочем, не призываю Вас к этому, но повторяю: пока философия искусств не станет сама поэзией, она может лишь расстраивать поэтов и на нее лучше совсем не обращать внимания. От этого принципа я отступил в течение двадцати лет всего лишь раз. Но, промахнувшись и отравившись раз, нужно поскорее принять противоядие и быть осторожнее впредь; это вполне в порядке вещей. Итак, не думайте больше — если только можете — о болтовне критиков, которая так расстроила Вас; я ее не читал да и не намерен читать...

Сорё, 26 ноября 1837 г.

Дорогой Андерсен! Сердечное спасибо за «Скрипача» и за дружеское расположение, заставившее Вас посвятить мне и Гауху эту обоим нам дорогую книгу. ...Пусть же критика говорит себе, что хочет! Наша современная критика похожа на страуса — знай разевает клюв, словно желает проглотить лебедя поэзии, который, едва вылупившись из яйца, уже взлетел к небесам. Пока у философии искусств не вырастут поэтические крылья, ей не догнать птицы поэзии; когда же это наконец случится, они вместе взовьются к небу. Но едва ли это случится в наше время. Я, как и Вы, не ожидаю, чтобы заветные идеи моей поэзии верно отразились в мутном пруде, где квакают лягушки. ...Жизнь каждого поэта — звезда, которая может отразиться в неискаженном виде лишь в колодце глубокомыслия. Но можно ведь обойтись

¹ Намек на привычку делать на полях книги отметки ногтем. — Примеч. перев.

и без этого — надо только уметь различать ее на ее настоящем месте — в небе, а на это способны многие, пусть они и не понимают, что именно видят и любят. Любят и чувствуют поэзию многие, но понимают ее немногие... А теперь Бог да благословит Вас! Бросьте думать о критике и надейтесь на могущественную власть поэзии над сердцами! Сердечный привет от моей Лючии, она также в восторге от «Скрипача» и столько же радуется самому произведению, сколько и за поэта. — Преданный Вам Б. С. Ингеман.

Сорё, 2 января 1838 г.

Дорогой Андерсен! Вам предназначается первое мое послание в нынешнем году. Сердечное спасибо за Вашу дружбу, которой Вы дарите меня столько лет и за которую я, отдавая полную справедливость Вашему таланту, уму и сердцу, плачу Вам взаимностью. Желаю, чтобы это письмо застало Вас в лучшем настроении, нежели продиктовавшее Вам Ваше последнее письмо. Вы мне представляетесь птицеловом, у которого и на обоих плечах, и в обеих руках, и даже на носу сидит по певчей птичке, а он знай вопит о том, что все жареные рябчики пролетают мимо его рта или что их, пожалуй, и вовсе нет в природе. Разве не слетели к Вам с неба все эти певчие птички без особых усилий с Вашей стороны и разве мало радости доставили они и Вам самому, и другим? Так стоит ли жалеть, что не все птицы нашей прозаической жизни были так же предупредительны? К тому же сами Вы перелетная птица, которую вечно тянет на юг, так Вам ли жаловаться на то, что Вам не удалось свить себе прочного гнезда здесь, на севере! Теперь Вы летаете вольной пташкой над всеми зелеными лесами мира и ищете себе зеленой веточки¹, на которой можно свить себе гнездо, ну, и что же? Может статься и найдете и даже скоро — прошение ведь подано, а Бог до сих пор ведь не оставлял Вас. Зачем же Вы так упорно затыкаете уши от пения жаворонка надежды и слушаете лишь вой совы уныния? — И если уж говорить о мещанском благополучии, то и мне ведь повезло в жизни не больше Вашего; я прожил добрую треть человеческой жизни, да еще десять лет был женихом, прежде чем наконец нашел зеленую ветку в Сорё и свил себе здесь гнездо. Да знали бы Вы, каково сидеть, вот как я, 15 лет на одном месте, не видя ничего, кроме этого озера, леса, да мельком получужой мне столицы и двух-трех спектаклей в год, и не стяжать себе других венков, кроме тех, что плетут нам из терна Мольбек с К° — так Вы навряд ли согласились бы променять свое вольное порхание по «интеллигентным кружкам столицы» на мое идиллическое одиночество в этом укромном углу вместе с жалованьем, кафедрой, десятком студентов и постоянным исправлением ученических ра-

¹ Намек на датскую поговорку: «At komme raа en grøn Gren» — «Попасть на зеленую ветку», соответствующую русской: «Как сыр в масле катается». — *Примеч. перев.*

бот! Вы (как и я когда-то) имеете даровой билет в прекрасный, огромный мировой театр; книги Ваши говорят не только по-немецки да по-шведски и норвежски, как большинство моих, но еще и по-французски; Ваше жизне-описание тоже отпечатано по-французски, — черт возьми, да Вы просто ба-ловень счастья!.. Желаю Вам быть им и в новом году. Поскорее уведомьте об успехе Вашего ходатайства! Во всяком случае голову выше, к небесам! — Вспомните шиллеровский «Раздел земли». Будем довольны нашим уделом на Олимпе, если грязная земля отказывает нам в равном наделе с филистерами! — Бог да благословит Вас! Сердечный привет от моей Лючии и от всего семейства Гаух; я передал им Ваш поклон. — Ваш Б. С. Ингеман.

Сорё, 17 января 1838 г.

...Вы все печалитесь, что не можете поднять из глубины своей души того сокровища, которое минутами кажется Вам и дороже, и благодетельнее всех известных Вам сокровищ, добытых другими поэтами. По-моему, эта Ваша печаль ничто иное, как предчувствие вечного и бесконечного, свойственное каждой глубоко чувствующей поэтической натуре. Сокровище же это не есть принадлежность отдельного человека; это именно тот вечный источник, обеспечивающий жизнь вселенной и обещающий создать для нас новую землю и новое небо. Если бы даже этот источник был только земным океаном, то и тогда его не осушил бы ни один поэт, как и сам Тор не осушил рога, опущенного концом в море¹. Каждое даже самое удачное произведение есть лишь капля из этого океана идей, омывающего все миры поэзии...

Сорё, 27 июля 1842 г.

Дорогой Андерсен! Радуюсь тому, что Вы опять чувствуете себя веселым и довольным родиной, хотя уже одной из своих длинных ног и готовы шагнуть в Испанию или в Африку. Но вполне в порядке вещей, что Вы сначала хотите опорожнить все карманы своего дорожного пальто и показать нам, что вывезли из своего греко-турецкого путешествия. Вполне понятно также, что Вы пока живете одной поэзией, ведете жизнь холостяка, желаете ознакомиться с белым светом елико возможно. Желаю Вам исполнения всех желаний и успеха и за границей, и у нас; но, если Вы не хотите, чтобы Вам докучали насмешками и упреками, то Вы должны молчать о своих успехах, как тот генерал, которого произвели в этот чин с условием, чтобы он никому не говорил об этом. Право, по-моему, Вы сами себе причиняете неприятности своими рассказами журналистам о Ваших успехах за границей; Вы этим

¹ Одно из тех испытаний, которым подвергся Тор в Иотунгейме. (Сев. миф.).

только взбалтываете их души, и со дна их подымается осадок зависти. Другое дело сообщить об этом друзьям, которые готовы принимать участие в каждой Вашей радости...

Сорё, 26 января 1847 г.

Дорогой Андерсен! В воскресенье получили Ваше милое письмо и Вашу биографию на немецком языке. Я сейчас же взялся за нее и не выпустил из рук, пока не дочитал до конца. Интересно с начала до конца и местами удивительно трогательно! Всего трогательнее, по-моему, описание Вашего детства и Вашей любви и доверия к вечному Промыслу. Я читал историю Вашей жизни и развития просто как увлекательную сказку, и она лишней раз убедила меня в том, что самые печальные и горестные события нашей жизни часто являются чем-то вроде наносимых земле лезвием плуга и зубьями бороны глубоких ран, из которых потом вырастают цветы и колосья. Оглядываясь назад на такие события, мы с удивлением видим, что не будь этих горестей, в нас никогда не развились бы те качества, в которых мы, может быть, больше всего и нуждались бы в жизни. Главное поэтому — и терпя испытания, и вспоминая о них, любить не только бесконечно милостивого Вседержителя, но и слепых и с виду бессердечных ближних наших, послуживших бессознательным орудием Его воли. В сущности с каждым почти человеком повторяется история Иосифа, и это-то невольно трогает каждое детски чистое сердце...

Сорё, 18 февраля 1847 г.

Дорогой Андерсен! Благодарю за вторую часть сказки Вашей жизни и за дружеское письмо! Вы желаете знать, какое впечатление произвела на нас эта часть. — Мы душевно порадовались тому, что Вы так спокойно и умиротворенно смотрите на оставшиеся позади тревожнения жизни, чувствуете себя теперь счастливым и благодарите Господа, направляющего как судьбы вселенной, так и отдельных лиц. Не скрою, однако, что изложение истории Вашего развития в первой части всего интереснее. Причина, однако, в самом содержании, а не в изложении.

Жена благодарит Вас за книгу и за дружеский привет и просит передать Вам ее поклон. Особенно заинтересовали нас обоих чисто объективные описания и характеристики, как, например, описания Фёра, Вернэ, характеристика Дженни Линд. Рассказы о Ваших отношениях к разным, так именуемым, *высоким* персонам и к знаменитостям также очень интересны для Ваших ближайших друзей, да и Вам самому, конечно, приятно перебирать в памяти такие моменты жизни, но многое из этого относится все-таки к таким вещам, которые часто слышит и затем забывает каждый любимый публикой

поэт или артист, и эта часть Вашего жизнеописания, пожалуй, меньше всего может заинтересовать читателей-иностранцев¹. Скажу прямо — и мы предпочли бы прочесть обо всем этом в частном письме, а не в книге...

Сорё, 27 октября 1857 г.

Дорогой друг! Спешу ответить на Ваше дружеское письмо и, если возможно, прислать Вам лекарство против эпидемической болезни, распространенной у нас больше, чем среди более крупных наций. Я говорю о миазмах *aiga popularis*, вызываемых слабым пищеварением нашей малочисленной читающей публики и связанными с ним прихотливостью, разборчивостью и желанием браковать даже (и это, пожалуй, чаще всего) произведения счастливцев, признанных любимцами публики. В эпоху эпидемии духовной *agia cativa* и связанного с ним расстройства желудка, публика заболевает даже от зрелых плодов. И вот бранят фрукты, вместо того, чтобы бранить свой слабый желудок. Впрочем, плоды-то от этого нисколько не страдают, они могут и без всяких приспособлений или заготовлений впрок сохраниться свежими для более здорового поколения. И природа, их творец, страдает от этого не больше; весь ущерб терпит сам контингент читателей хилого пяти-десятилетия или целого поколения. Но вполне допускаю, что и самой матери-природе скучно да и жалко глядеть, как страдают от эпидемии ее хилые детки! — Лес стоит теперь в прекрасном, наводящем на серьезные мысли осеннем уборе, глядя на него, вспоминаясь о скоротечности жизни и о ее «продолжении» и невольно благодаришь Бога и за то, и за другое! Не желайте себе ни шестидесятитысячного выигрыша, ни счастья быть бесплодным деревом, которое не трясет и не обрывает никакой расшалившийся юноша-прохожий! Ваше сравнение довольно метко и красиво, но не станем же завидовать сухой смоковнице, проклятой Спасителем. Лучше попросим Бога даровать нам внутреннюю силу и свежесть мнимо засохшей виноградной лозы, пока нас не пересадят в иную почву! Сердечный привет от нас обоих! — Ваш Б. С. Ингеман.

Сорё, 24 января 1860 г.

Дорогой друг! Радуюсь оказываемым Вам поощрению и расположению, поддерживающим бодрость Вашего духа. Попытку Вашу читать в Рабочем союзе нельзя не назвать счастливой. Вы открыли поэзии доступ

¹ Эта часть автобиографии Андерсена поэтому значительно и сокращена у нас. — Примеч. перев.

в такую среду, где она может оказать особенно благотворное влияние, и таким образом сами основали себе вольную кафедру, с которой можете читать лекции так часто, как только позволят Ваши силы и расположение духа. Вы знаете, что мужество не изменит Вам, пока Вы в огне, или, вернее, пока огонь в Вас. Робость же Ваша с каждым разом все будет уменьшаться. Скоро Вы благодаря горячности, с какой будете стремиться высказать народу, что лежит у Вас на сердце, совсем позабудете обо всем постороннем и с радостью и полным доверием будете продолжать так счастливо начатое Вами дело. Вы отлично можете читать им то, что все уже читали и знают; я уверен, что почти каждая Ваша сказка постоянно будет слушаться в Вашем чтении с новым интересом и удовольствием. И если Вы теперь получите даже «министерскую пенсию», которая доставит Вам возможность (чего я Вам, однако, не желаю) «сосать лапу в берлоге», Вы все-таки можете сохранить за собой эту профессию, дарованную Вам самим Богом. Пенсию же Вам народное собрание должно назначить, если не желает опозорить и себя, и народ...

ОТ ИОНАСА КОЛЛИНА (ОТЦА)

Копенгаген, 10 июля 1824 г.

Дорогой Андерсен! У меня нет сейчас под руками Вашего последнего письма, и я не могу вспомнить, было ли в нем что-нибудь, на что надо ответить Вам, но ввиду предстоящих экзаменов все-таки считаю нужным написать Вам пару строк, чтобы ободрить Вас, в чем Вы временами так нуждаетесь. Это, впрочем, и хорошо, что Вы не слишком уверены в самом себе и не чересчур рассчитываете на собственные силы; подобная самоуверенность чаще всего сопровождается неуживчивостью, которая отталкивает большинство людей. Но и слишком резкий перевес малодушия не нужен, и вот от него-то я и хочу предостеречь Вас. Продолжайте прилежно пользоваться доставленными Вам средствами к образованию и, главное, продолжайте хорошо вести себя — внутреннее сознание своей чистоты и порядочности подкрепит Вас и поможет перенести неприятности, с которыми Вам придется считаться во время Вашего учения. Никто ведь не требует от Вас колоссальных успехов. Ваше намерение прилежно заняться на каникулах повторением пройденного вполне похвально; но я ничего не буду иметь и против того, чтобы Вы некоторое время отдохнули и погостили у мамы и у друзей своих. А затем, всего хорошего! И пусть в горькие минуты послужит Вам утешением сознание, что немало добрых людей питает к Вам сердечное расположение. — Преданный Вам Коллин.

Дорогой, сердечно любимый и милый Андерсен! Теперь Вы получили от Эдварда письма, а также 83 специи, о которых писали. Кроме того, Вы получили от него одно письмо сейчас же по Вашем отъезде. Таким образом, я, хоть и от души сочувствую Вашим сетованиям на то, что Вы в первое время получали так мало известий из «родного дома», все-таки полагаю, что, узнав в чем дело, Вы перестаете так жестоко обвинять Эдварда, хотя он, конечно, и мог бы написать Вам несколькими почтовыми днями раньше. Дело в том, что его не было здесь целых три недели. Ваши первые письма были посланы ему в Фионию и Ютландию, а там у него было столько дела, что ему было не до писем. Будьте уверены, милый Андерсен, что он Ваш верный друг, крепко любящий Вас, хоть с виду и холоден, и что он докажет Вам свою преданность на деле везде, где только представится случай. А вот я-то имею некоторое право сердиться на Вас. Предполагать, что мы забыли Вас! Нет, А., все мы слишком привязаны к Вам, вспоминаем о Вас, и нам часто недостает Вас. Получив Ваше письмо вчера утром, я не мог за недосугом заняться им тотчас же и пробежал его только мельком. Вечером же, вернее — ночью, так как было уже за полночь, я принялся читать его, не спеша; читая его, я то радовался, то опасался, а прочитав, что Вы думаете оставаться за границей года два, просто огорчился. Сколько воды утечет в два года! Повторяю, письмо Ваше очень порадовало меня, и поэтому Вам нечего задумываться — писать ли мне длинные письма; они всегда явятся для меня желанными, особенно, если я буду видеть из них, что Вы извлекли пользу из Вашего путешествия. Вы, пожалуй, спросите, чего же я опасался? Да ведь Вы же пишете, что «Париж опасный город». Экономических вопросов я на этот раз не буду затрагивать, — Ваш первый страх, вероятно, уже улегся при виде векселя на 83 специи. Печатать же что-нибудь о Париже, пока Вы там, или вообще о заграничной жизни, пока Вы за границей, я Вам не советую: так легко ведь нажить себе врагов. Нечего Вам вообще впутываться в политику — это дело опасное. Я имел случай убедиться в том, что самое невинное слово, на которое в иных кружках и не обращают внимания, в других возбуждает — к вреду сказавшего его — особое внимание. Об «Агнете» Вашей Эдвард уже рассказывал мне и сам очень радовался этому новому Вашему произведению. Я желаю Вам с ним всякого успеха и вполне надеюсь, что оно принесет нам всем много радости, а Вам чести и пользы. ...Всего хорошего! Преданный Вам Коллин.

Копенгаген, 21 декабря 1833 г.

...Радуюсь, что Вы изучаете историю, но если уж изучать что-нибудь, то серьезно. Если даже в библиотеках Рима и не найдется

ничего, кроме Милло, то это все-таки лучше, чем ничего, но сказать, что Вы изучаете историю, в таком случае уже нельзя. Надо прочесть Ливия, Тацита и прочесть по-латыни, познакомиться с Юмом, Фергюсоном, Шлёцером, Гереном, Шпитлером, Иоганом Мюллером и подобными авторами, — тогда Вы запасетесь основательными познаниями по истории. Все, милый Андерсен, надо изучать основательно, между прочим, и языки. Никак не могу одобрить Вашего нерасположения учиться по-итальянски. Если Вы хотите извлечь из Вашего путешествия пользу, то нельзя проводить время только в беготне по городу да в экскурсиях; надо и прилежно подзаниваться дома, да не одним писанием, а, главное, чтением: читать же надо с выбором. Читайте, между прочим, и по-латыни и прозаические, и поэтические произведения древних классиков и при этом вникайте и в каждое слово отдельно, и в общий смысл. ...Полагаясь на Ваше заявление, что теперь Ваш взгляд на вещи значительно созрел, надеюсь, что Вы понимаете теперь, как необходима справедливая и строгая критика, понимаете, что долг Ваш относиться к ней доброжелательно... Всего хорошего, дорогой наш Андерсен! Все наши кланяются Вам. — Ваш Коллин.

Копенгаген, 7 сентября 1860 г.

Дорогой Андерсен! «Письмо от старика или только адрес написан его рукой? Да, письмо!» — вот что — я так и слышу — говорите Вы, получив это письмо.

Я по старой привычке неохотно оставляю какие бы то ни было письма без ответа и так как, кроме того, я увидал из Вашего последнего письма, что несколько строк от меня не будут для Вас нежелательны, то я и решился написать. Но, уже взявшись за перо, я чуть было не отказался от своего решения: я узнал, что Эдвард отсылает Вам длинное письмо, а я для конкуренции или состязания слишком уж стар. Впрочем, он, верно, пишет Вам о важных, серьезных предметах, облекая, быть может, свои рассуждения в забавную форму, а у меня не найдется ни одного такого важного предмета для беседы, так о сравнении наших писем не может быть и речи.

Вы, конечно, не сомневаетесь, что постоянно живете в наших воспоминаниях; письма, которые Вы получаете отсюда, может быть, убеждают Вас в этом еще больше. Мне часто приходит на ум вопрос: зачем Андерсен так много рыщет по белому свету, когда у него столько верных, любящих друзей на родине? Желаю Вам успехов и счастья и на чужбине, и на родине. — Ваш старый друг Коллин.

ОТ ЭДВАРДА КОЛЛИНА

Копенгаген, 8 июня 1833 г.

...Мне кажется, что в данное время общество датчан совсем не подходящее для Вас общество. Приятно, конечно, встретиться на чужбине с земляками, но если желательно воспользоваться пребыванием за границей и главным образом научиться иностранному языку, то следует по возможности избегать общества земляков. Общение с ними и является, конечно, причиной того, что Вы так мало успеваете в языке, и это меня очень огорчает. Читая Ваше письмо, все наши говорили: «Только бы его там не испортили. Напиши ему об этом!» Что же мне, однако, писать? Читать вам нравоучения я не могу; это было бы только смешно и ни к чему не послужило бы. Вот будь у Вас отец, который бы мог написать Вам по этому поводу сердечное письмо — это было бы дело другое. Когда я и Готлиб были за границей после окончания университета, отец написал нам письмо, одно место в нем глубоко тронуло меня: «Дорогие дети, я не стану читать Вам нравоучений, но хочу только сказать Вам, что довольно одного ложного шага, чтобы испортить себе всю жизнь!» Ну, и довольно об этом. А вот это мне нравится, что Вы собираетесь обзавестись волей. Оно и пора, право, ничего если она даже перейдет в упрямство. Я, впрочем, уже заметил в последнее время, еще здесь, что Вы вступаете на верную дорогу... Всего хорошего, дорогой друг! — Ваш Коллин.

12 июня 1833 г.

...По поводу отвратительного пасквиля на Вас, я поместил в «*Копенгагенской почте*» следующее объявление: «Наш соотечественник Г. Х. Андерсен, получивший королевскую субсидию на поездку за границу, находится теперь в Париже, где предполагает пробыть несколько времени. И друзьям, и недругам его будет, конечно, интересно, хотя и по различным причинам, узнать, что сейчас же по прибытии туда он получил нефранкированное письмо или, вернее, конверт с вложенным в него пасквилом, напечатанным в «*Копенгагенской почте*». — Из сдержанного тона объявления Вы можете заключить, что оно составлено не мной, а отцом. Я бы не так взялся за этого негодяя и кончил бы цитатой из Лихтенберга: «Умей я писать палкой, я угостил бы тебя, негодяя, письмом, которое бы прочла твоя спина».

(Приписка Ионаса Коллина). Эдвард спрашивает не припишу ли я парочку слов. Охотно. В Париже, добрый мой Андерсен, не стоит огорчаться нападками литературных врагов.

...Отец сейчас призывал меня к себе и сообщил мне, что получил от Вас грустное, почти отчаянное письмо, вызванное главным образом моим последним письмом к Вам. Милый Андерсен, неужели Вы все еще такой же неженка? Я думал, что Ваш характер несколько окреп после стольких нападений на Ваше добродушие. Сейчас я не припоминаю, что такое я написал Вам в том ужасном письме, но помню, что мне было тогда очень досадно. Сами судите, имел ли я на то основания. Только что я наслушался со всех сторон почти от всех друзей жалоб и сожалений по поводу Вашей «Агнеты», которую все находят копией Ваших прежних произведений, лишенной всякой новизны, и ждал еще самой беспощадной критики в газетах, вдруг получаю от Вас такое самодовольное письмо, в котором Вы называете «Агнету» шедевром и выражаете уверенность, что она по всем божеским и человеческим законам возведет Вас в «мастера литературного цеха»! Мало того, я только что успел поссориться с Рейцелем; я не желаю, чтобы надо мной издевались — получить множество отказов от подписки на книгу, перебраниться из-за Вас со множеством лиц — получаю от Вас письмо, в котором Вы сообщаете мне, на что употребите те по меньшей мере 100 риксдалеров, что выручите за «Агнету»! Как, по-Вашему, легко мне было получить от Вас — в то время как я сидел и высчитывал, как свести концы с концами в расходах по изданию, превышающих 100 риксдалеров, — требование 100 риксдалеров прибыли! Меня точно ударили по лицу! Так была, я думаю, причина поворчать, тем более что удар нанесла рука друга; недругу можно было бы отплатить тем же.

Но, Бог мне прости, я, кажется, опять готов ворчать. Это не входит в мои намерения. Я вообще в хорошем настроении и вполне здоров. Могу сказать Вам, что никогда еще так не любил Вас, как теперь. Кроме того, я еще надеюсь, что Вам все-таки не придется раскаиваться в том, что Вы сами издали «Агнету», — я встретил многих лиц, которые хвалили ее. Г-н Мэстинг очень благодарит Вас за посвящение и просит Вам кланяться. Всего хорошего, дорогой друг, и не истолкуйте себе в дурном смысле того, что я был раз Вашим «сердитым», — теперь я Ваш «искренний» друг Э. Коллин.

Не забудьте моей просьбы записывать все, что Вам приходит на память интересного из Вашего детства и юности. Я тщательно берегу Ваши воспоминания. Никто их не увидит. Продолжая эти воспоминания, Вы окажете услугу и мне, и себе самому. — Ваш Э. Коллин.

Копенгаген, 26 декабря 1843 г.

Дорогой друг! Хочу на этот раз отступить от своего обычая — не писать Вам во время Ваших провинциальных экскурсий; я знаю, что

могу порадовать Вас в этом письме одним маленьким сообщением. Гейберг только что возвратил отцу несколько присланных ему на рассмотрение пьес как никуда негодных, но об одной новой пьесе он отзывался так: «Грезы короля» труд, обещающий по оригинальности и смелости замысла обогатить наш репертуар действительно замечательным произведением. Не правда ли, анонимность уже начинает приобретать интерес. Я вижу мысленно, что в недалеком будущем появится на сцене новая пьеса неизвестного гениального автора «Грезы короля». — Ваш Э. Коллин.

(Без указания числа и года)

Дорогой Андерсен! Я опять берусь за перо, и если Вы не удивитесь этому, так я сам себе удивляюсь; я ведь вообще туго приступаю к писанию длинных писем, но на этот раз приходится поневоле: последнее Ваше письмо, полученное нами вчера, отзывалось унынием. Если бы я хотел вторить Вашим жалобам, я живо бы исписал весь лист, но я этого не могу. Дело вот в чем: Вас любят в Германии, балуют в Веймаре, тамошние важные лица целуют да милуют Вас, а мы друзья Ваши и земляки, вообще не симпатизирующие целованию мужчин между собой, не приходим от этого в умиление, а только радуемся от души самому главному — тому, что Вы имеете успех и приобретаете друзей, скажем, пока, искренних, и что Вы вообще довольны своей поездкой. Если принять теперь, согласно Вашему желанию, такое положение вещей за нормальное, требовать, чтобы оно продолжалось так и впредь до скончания века, и затем сравнить его с утренней беседой за кофе у нас, когда Ингеборга дразнит Вас, Теодор щекочет Вас и зовет Вас «*rauvre romme de terre*», то Вам с Вашим изысканным воображением ничего не стоит состроить целую историю о том, как Вас в Дании презирают и как Вы ее презираете, но и то, и другое неправда. Вы с Данией отлично ладите и ладили бы еще лучше, не будь в Дании театра: *hinc illae lacrimae*! Ах этот проклятый театр! Но разве театр — вся Дания, и разве Вы — только поставщик театральных пьес? Разве в Германии ухаживают за Вами в качестве такового, а не в качестве автора сказок? И разве в Дании не любят Ваших сказок? Может быть, даже еще искреннее, чем в Германии! Но последнее Ваше письмо вызвано только мимолетным дурным настроением, следствием того, что Вы в Дрездене испытали некоторое одиночество после шумной жизни в Веймаре. При веймарском дворе Вас обнимали, чтобы Вы прочли им сказку, а в Дрездене Вы очутились один в отеле. Вот и у нас тоже. Вчера еще рабочие кричали мне «ура!», чтобы я дал им на водку, а сегодня я сижу дома в своем старом бархатном пиджаке и страдаю расстройством желудка. Бывают такие перемены судьбы и приходится с ними примириться.

...Больше всего меня удивляет то, что Вы так мало знаете отца, иначе бы несколько его слов, к тому же совсем безобидных, не могли раздра-

жить Вас до такой степени. Когда дело идет о том, чтобы сообщить Вам что-нибудь интересное для Вас, он всегда первый возьмет в руки перо и всегда находит для этого досуг. Что же касается до его прямоты, то она, казалось бы, должна быть известна прежде всего Вам, и Вы знаете, что нечего судить о нем по тону — точно он не может иногда поворчать, как и мы все! Пишу я это, однако, не в виде упрека, а только ради того, чтобы напомнить Вам о том, в чем Вы и сами не сомневаетесь — что его любовь к Вам сильнее любви немцев, даром что не так изысканна. Унылое настроение Ваше в Дрездене говорит, пожалуй, о чем-то вроде тоски по родине, а мне это совсем не нравится. Вы предполагаете ведь совершить большую поездку, а нельзя же ожидать, чтобы она все время угощала Вас такими же развлечениями, как в начале. Я не знаю ничего мучительнее тоски по родине. — Всего хорошего! Не судите меня по началу этого письма. Вы знаете меня и знаете, какие чувства я питаю к Вам. Ваш Э. Коллин.

Копенгаген, 23 марта 1846 г.

...В последнем своем письме ко мне Вы пишете: «Проберите меня теперь хорошенько, земляки!» Желание это сбылось бы в полной мере, если бы люди знали, что Вы автор пьесы *«Господин Расмуссен»*, которая шла в четверг и провалилась. Вот уж и написано то, что я вообще так неохотно сообщая Вам; но такова уж доля моя, что я должен сообщать Вам о всех неприятностях. Я совещаюсь с Иеттой: излагать ли мне Вам подробно все обстоятельства этого дела или только констатировать факт. Она была за первое, и я послушался ее. Пьеса шла второй после *«Эльфов»*. Начало сошло благополучно, играли вообще прекрасно, но обилие разговоров наскучило публике, действие прошло без хлопка. Меня дрожь взяла, особенно под конец. Занавес опустили, и раздалось ужасное шиканье. Тогда я ушел — сил не было оставаться, да я знал, что спасти пьесу уже нельзя. Об остальном я узнал от других. Пьеса провалилась с треском. Во время последнего действия публика сама стала принимать участие в игре артистов, отвечала им и прочее. После такого приема пьесу, конечно, снимут с репертуара.

Если Вы в данном случае опять заговорите о непризнании земляками Вашего таланта или о личном недоброжелательстве со стороны тех немногих лиц, которые подозревают в Вас автора, то Вы, право, ошибаетесь. Вряд ли Вы можете поверить в этом случае кому-либо больше, чем мне. Вы помните, как мне понравилась эта пьеса в чтении, я находил ее презабавной и шел в четверг в театр вполне уверенным в ее успехе, полагал, что публика будет смеяться до упаду все время, и сам соскучился до неловкости. Со сцены она показалась мне до такой степени плоской, лишенной всяких забавных положений или типов, что, уверяю Вас, я не запомню ничего по-

добного. Я глубоко убежден, что присутствуя на представлении Вы сами, Вы бы испытали то же чувство разочарования в сценических достоинствах пьесы. Я страшно ошибся, и чуть не захворал от досады. Я полагаю, однако, и надеюсь, что Вы примете все это гораздо спокойнее. В конце концов Вы можете ведь смотреть на всю эту историю как на неудавшуюся остроту. Помните, как я иногда бывало сострою, а Вы на это скажете: «Что ж, забавно по-вашему!» или «Совсем не забавно». Вот так я теперь смотрю и на всю эту историю. Больше всего жаль отца; ему предстоит выслушать немало неприятностей за то, что он настаивал на постановке этой пьесы несмотря на то, что все почти были против. А теперь не будем больше говорить об этой пьесе: *requiescat in pace*. Все кланяются. — Ваш старый друг *Эдвард*.

Эллекильде, 22 июня 1875 г.

Дорогой Андерсен! ...Кроме денег, находящихся в Сберегательной кассе, Вы имеете в процентных бумагах 12,200 крон. Не понимаю, дорогой Андерсен, как Вы при таких средствах и вполне независимом положении можете поддаваться заботам материального свойства в такую минуту, когда Вы чувствуете необходимость воспользоваться этими средствами для сохранения своего здоровья. Не стану ссылаться на Мафусаила, но если бы Вам даже предстояло дожить до лет Дракенберга, то есть прожить еще лет пятьдесят, и то, я ручаюсь, что Вам не пришлось бы терпеть недостатка, ездите Вы хоть каждый год за границу. — Ваш старейший и неизменный друг *Э. Коллин*.

(Получив это письмо, Андерсен сказал: «Ну, Слава Богу, будет на что похоронить меня!»)

Стокгольм, 19 марта 1844 г.

(От *Дженни Линд-Гольдшмидт*). Добрый брат мой! ...Я бесконечно благодарна Вам за Ваши дивные рассказы! Они так божественно прекрасны, что приходится, пожалуй, считать их лучшими из всех Вами написанных! Не знаю, какому из них отдать пальму первенства; но, кажется, «*Безобразный утенок*» лучше всех. Боже мой, то за дивный дар — такое умение облечь свои светлые мысли в слова, так наглядно растолковать людям на клочке бумаги, что лучшие, благороднейшие дары часто скрываются под лохмотьями, пока не совершается превращение, показывающее нам настоящий образ, осененный светом Божиим. Спасибо, тысячу спасибо Вам за все те трогательные и поучительные рассказы, которыми Вы обогатили нас! Жду, не дождусь минуты, когда мне удастся сказать моему доброму

брату, как я горжусь его дружбой, и поблагодарить его хоть песенками своими. Брат мой, конечно, лучше всех поймет значение нашей шведской пословицы: «Каждая птичка поет по-своему»! ...Прощайте! Да благословит Вас Бог! — Вот чего желает Вам от души Ваша преданная сестра *Дженни*.

P. S. Прежде всего напишите мне поскорее и не говорите, что я слишком требовательна — что за радость получать и читать Ваши письма!

Флоренция, 23 ноября 1871 г.

(От нее же). Уважаемый друг и дорогой брат! ...Здоровье мое теперь лучше, чем в то время, когда я выступала публично. Нервы мои были совсем расстроены, головные боли чуть не отняли у меня последние силы и на несколько лет совершенно лишили меня памяти. Но теперь мне гораздо лучше; упругость и гибкость моей души помогли мне пройти через эту темную долину. Да, я слишком отдавалась своему искусству, и эта любовь к нему чуть не стоила мне жизни; впрочем, я с радостью умерла бы ради этой моей *первой* и *последней* глубочайшей и чистейшей любви. Ничто не может быть выше искусства, если оно возносит нас к Тому, кто даровал нам его. ...Теперь я пою без всякого напряжения, и голос мой в последнее время звучит еще лучше, чем лет 20 назад. Я таким образом еще так счастлива, что могу радовать своим пением друзей. ...Но пора протянуть Вам руку на прощание. Да сохранит Вас Бог! Вы так порадовали меня Вашим милым письмом, и я Вам бесконечно благодарна за него. Передайте мой привет Бурнонвилю и будьте уверены в моей неизменной преданности. — Ваша верная подруга *Дженни Линд-Гольдшмидт*.

ОТ Г-ЖИ СИГНЕ ЛЭССЁ¹

1830 г.

Андерсен! Так как Вы верите в предопределение, то верьте и в то, что мы с Вами не даром знакомы, даже больше, чем знакомы. Мне это знакомство открыло врата небесной обители поэзии; Вам же оно может оказать лишь одну услугу: Вы можете извлечь пользу из единственного моего преимущества перед Вами — купленной дорогой ценой опытности житейской. Жизнь моя текла тихо, просто, без особенных

¹ Лэссё Сигне, жена коммерсанта И. Ф. Лэссё (1781—1870), одна из тех светлых женских личностей, которые имели на А. самое благотворное и сильное влияние. См. «Сказка моей жизни».

внешних событий, зато внутренние бури часто пригибали мою душу, как тростник. Но каждый раз она снова выпрямлялась, и я чувствовала, что мой взгляд на людей и жизнь еще прояснился. И пусть моя опытность послужит в пользу моим юным друзьям, из них же я никому ни желаю добра больше, чем Вам, Андерсен: Вы одарены всем, Вам недостает лишь опытности.

Не пишите ей или по крайней мере не уговаривайте ее в письмах. Уж если Вы лично ничего не добились, то помогут ли письма? И в Оденсе не пишите ей вовсе; здесь дело другое, здесь она могла вернуть Вам письмо обратно, а посылая письмо туда, Вы не знаете, в чьи руки оно попадет. Что если оно попадет в руки лиц, не расположенных к Вам? Не постараются ли они наложить пятно на всю Вашу жизнь, узнав, что Вы уговариваете невесту другого стать Вашей? Ах, Андерсен! Пусть от нас отнимутся все земные блага, пусть судьба преследует нас жесточайшим образом, только бы мы сами держали себя в руках — это уже счастье, а там, когда время залечит наши раны, мы обретем и душевное спокойствие, большего же разумный человек и не требует. Последуйте моим советам, добрый мой Андерсен! Дружески прошу Вас об этом. Посоветуйтесь с Христианом; право, он скажет Вам то же. Послушайтесь нас! — Пусть это письмо заставит Вас обдумать свое положение, и я останусь Вашей довольной Сигне Лэссё.

1830 г.

...И чего Вы добиваетесь, постоянно и так убедительно твердя ей о своей любви? Я бы плохо знала Вашу пылкую натуру, если бы полагала, что Вы были способны совершенно скрыть свои чувства к этой дорогой Вам девушке. Ее умные глаза видели Вас насквозь, и как бы ни была она верна своему суженому, Ваше поклонение не могло все-таки не льстить ей, не занять ее на некоторое время. Но разлука и время, конечно, скоро заставили бы поблекнуть эти впечатления. Так нет, как можно! И Вы стараетесь своими стихами постоянно напоминать ей о себе. Чего же Вы хотите? Желаете, чтобы она изменила своему жениху, хотите обладать сердцем, разрывающимся от раскаяния и даже презрения к себе? Или только добиваетесь ее сострадания? Но это недостойно ни мужчины, ни человека. Сострадание — небесное чувство, но горе женщине, если она почувствует его к тому, кого не смеет любить! Каждое стихотворение, облегчающее Ваше сердце, наверное, вонзает нож в ее, и вынуть его Вы уже не можете. Когда же Вы своими стихами окончательно облегчите свое сердце и стяжаете себе славу, ее жизнь, может быть, будет отравлена вконец. Понимая и ценя Вас, я уверена в этом; у Вас ведь слишком много самолюбия, чтобы

обожать несимпатизирующую Вам особу; она, наверное, почувствует, насколько Вы во многих отношениях превосходите ее избранника, и разве это не будет ужасно? Ежедневно напоминать ей о том, что она сама виной того, что этот более одаренный человек не стал ее женихом, жестоко, и мой добрый А. не захочет быть повинен в такой жестокости, если только поразмыслит об этом. Если Вы любите ее истинной любовью, то Вы должны желать лишь ее счастья и — молчать; если же у Вас есть хоть малейшее сомнение в истинности Вашего чувства, то стыдиться и — тоже молчать! Замолчу и я. Прошу только принять эти строки так же доброжелательно, как они написаны Вашей преданной Сигне.

1830 г.

...Один почтовый день проходит за другим, а я все ничего не слышу от Вас. Разве я не заслуживаю больше Вашего доверия? Почему же Вы теперь так чуждаетесь меня, тогда как прежде относились ко мне с сыновней любовью. ...Вы своей веселостью, неистощимым остроумием и детским добродушием облегчали и скрашивали мне самые тягостные дни моей жизни. Этого я не забуду никогда! Каждый раз после Вашего ухода я чувствовала себя облегченной и возрожденной к жизни. Теперь, к несчастью, пришли Ваши тягостные дни, — почему же не позволить мне облегчить Вам их, если не умственным превосходством, то хоть искренним материнским участием. На земле и так много горя, зачем же делать свою участь еще горше, чуждаясь и сторонясь от друзей? Заходите к нам иногда после обеда или вечером; не захотите оставаться у нас долго — как хотите, но не чуждайтесь же нас, мне это очень тяжело. — Ваша преданная Сигне.

29 июля 1833 г.

...Меня очень огорчает Ваше сообщение, что Гейне, по-вашему, нехороший человек. По-моему, тоже: у хорошего человека не бывает такой загрязненной фантазии. Но духом он сродни Вам во многом. И он, видимо, старается сблизиться с Вами. Боже, он опасный человек! Дай Бог, чтобы я не опоздала со своим предостережением: он опасный человек! Всего ужаснее, когда богато одаренный человек не отличается ни добрым сердцем, ни чистотой нрава.

Дорогой, дорогой А.! Вспомните учение Христа: если не будете, как дети, не войдете в Царствие небесное. Иначе: надо избегать дурного общества, если хочешь сохранить нравственную чистоту, и, только сохра-

нив ее, можно быть счастливым здесь, на земле, и во веки веков. Если на снег ступили хоть раз, он уже не такой, как только что выпавший. Ради Бога, не поддавайтесь лживому учению: «поэту нужно изведать все». Верьте мне, изречение это придумано человеком с извращенной душой; вот он и других тащит в свою грязную лужу. Сохраните свою детскую чистоту и спасите этим душевную чистоту тысячи людей. У поэта великие обязанности. Каждый дар Господень включает в себе и требование, и ни одна благородная душа не станет пользоваться дарами Божьими, не стараясь отблагодарить за них, чем только может...

21 января 1847 г.

Милый, добрый Андерсен! Не могу не ответить на Ваше милое, несказанно тронувшее меня письмо, хотя мои глаза почти и не позволяют мне писать, а другим читать, что я пишу. Да, милый А., письмо Ваше произвело на меня сильное впечатление, я целый вечер не могла прийти в себя, погруженная в воспоминания о тех наслаждениях, которые Ваш детский гений доставлял мне в течение целого ряда годов. И какую глубокую радость почувствовала я, прочитав Вашу подпись! Я чувствовала, что заслужила ее своей чисто материнской любовью к Вам. Да, я с первого же нашего знакомства полюбила Вас, как своего восьмого и самого одаренного сына. И я, как мать, радовалась каждому Вашему даже незначительному произведению, в котором сказывалась Ваша высокопоэтическая душа. Но вот настал конец моему беспечальному житью — я лишилась мужа, моей любви и поддержки. Тогда я вдруг почувствовала: теперь ты должна быть для своих сыновей всем, и — простите меня, дорогой А.! — Вы отступили для меня на второй план. Мне казалось, что все силы, дарованные мне Богом, я должна посвятить семерым детям, которых я носила под сердцем, у них ведь не было другой опоры и защиты, кроме меня. И вот, видя иногда, что Вы в сознании своего превосходства обходитесь с кем-либо из моих детей несколько жестко, я сама становилась жесткой к Вам, и таким образом сама подала повод к тому, чтобы порвалась связь между мной и душой поэта, доставлявшего мне лучшие наслаждения в жизни. И как часто я грустила о Вас и иногда даже несправедливо мысленно укоряла Вас за то, что Вы считаете дом простой вдовы слишком ничтожным для своих посещений. ...Милый А.! Приходите же к нам опять пообедать с нами и распить вместе кружку пива. Это так порадует и меня, и моих сыновей; они теперь выросли и, верно, не проиграли от этого. Да, у меня семь — нет, восемь славных сыновей! Хвала Господу Богу за них и да сохранит Он их всех! — Ваша неизменно матерински любящая Вас Сигне Лэссё.

...Мой любимец — «Старый дуб»¹. Три столетия красовался он на радость тысячам людей и трижды три столетия, или нет — пока будет жить датский язык станет он жить и служить путеводной звездой для душ людских, как прежде для моряков.

...И от многих уже слышала я радовавший меня отзыв о Вас: «Каким он должен быть добрым!» Разве худо отблагодарил Вас старый дуб. ...Мне как-то странно представить себе Вас в роскошных палатах Бас-нэса, — сама-то я сижу в крошечной комнатке, в 6 аршин в квадрате. И я все спрашиваю себя — может ли у Вас там зародиться в фантазии что-нибудь такое простенькое, что бы я могла полюбить? Нет, надо Вам поскорее опять вернуться в более скромную обстановку. Впрочем, поэты творят и в палатах, и во дворцах: примеры — Соломон, Давид и Байрон. Дух не зависит от внешних условий. ...Всего хорошего, дорогой А.! — Ваша матерински любящая Вас Сигне Лэссё.

Эстрабо, 31 декабря 1832 г.

(От Тегнера²). ...Не знаю, как и благодарить Вас за дружеское письмо и приложенный сборник стихотворений. Первое служит доказательством доверия, которое я искренно ценю, второе же дарования, которое в своем полном развитии несомненно заставит Вашу родину гордиться Вами. Нельзя не радоваться, видя процветание поэзии у соседнего народа, пишущего на языке Севера, — радуешься, точно успехам родных тебе людей. С другой стороны, вызываемое этим сравнение слишком уж невыгодно для нас шведов; нам нельзя и сравниваться с нашими соседями, и если мы и можем указать на что, то разве на кое-какую лирическую поэзию. Великие поэтические дарования всегда являются, без сомнения, дарами свыше. И у нас нет недостатка в людях с крупными задатками, но беда в том, что они чаще всего задатками и остаются; большинство наших поэтов устает уже в самом начале своего поприща. Шведской нации свойственно какое-то беспокойное влечение, заставляющее нас часто начинать, и редко позволяющее кончать. ...Таким образом наша литература далеко не является тем, чем должно, и наши западные соседи, при том же уровне образования и менее значительном народо-

¹ Сказка «Последний сон старого дуба», т. II, стр. 10.

² Тегнер Эсаяс, епископ и знаменитый шведский поэт (1782—1846). Первые поэтические труды, обратившие на него внимание публики, были «Svea» (1811), «Nattvardsbarnen» (1821), «Axel» (1822), особенно же, ставшая национальной, песнь «Carl XII». Главным же прославившим его имя произведением является «Frithiofs Saga», переведенная на все языки, на некоторые даже более 20 раз.

населении, далеко опережают нас не только в пределах самого Севера, но и за границей.

Я сам почти не чувствую себя больше вправе считаться шведским литератором. Тяжелая болезнь, приковывающая меня к постели большую часть года, угнетает не только тело, но и душу, и отнимает у меня всякую охоту жить и работать. — Но как бы я ни чувствовал себя угнетенным душевно, я все еще чутко прислушиваюсь к звукам северной лиры и с братской радостью приветствую Вас — восходящую звезду на нашем северном небосклоне... — Ваш друг и почитатель Эс. Тегнер.

Копенгаген, 8 марта 1834 г.

(От Г. Х. Эрстеда). Многоуважаемый друг! ...Вы желаете, чтобы я высказал Вам свое мнение об «Агнете и водяном», и угрожаете принять молчание за выражение неодобрения. Вижу, Вы все тот же. Вы не можете не потребовать мнения того, кого нельзя удовлетворить, в данном случае. Право, не мне судить об этом Вашем произведении. Мы — если можно так выразиться — держимся в области поэзии различных вероисповеданий. Вы, кажется, того мнения, что поэт может творить что и как угодно, были бы только в его творении жизненность, чувство и фантазия. Я же требую, чтобы представляющийся нам в творениях поэта мир, при всей своей смелости и вдохновенности, управлялся теми же законами, как и реальный, обуславливающими возможность жить в нем. По-моему, в поэтическом творении должна господствовать идея о могуществе добра, что бы там поэт ни изображал, хоть самый ад. Поэт, по-моему, не имеет права ограничиваться одними мировыми диссонансами, вырванными из мировой гармонии, как ни одно музыкальное произведение не должно основываться на диссонансах, разрешение которых предполагается уже вне его. И мне приходится совершенно отрешиться от своих взглядов, ставших моей второй натурой, чтобы беспристрастно оценить произведения, не подчиняющиеся упомянутым мировым законам. Вы в своем новом произведении изображаете существо с вечно недовольным, тоскующим сердцем, стремящееся в какой-то новый, иной мир. В этой тоске, в этом стремлении нет, однако, ничего облагораживающего; это только необузданная жажда внешнего, а не духовного величия. Подобная жажда могла бы выражать стремление к высшему, но у Вас-то ничего такого здесь нет. Напротив, Агнета разрывает все узы дружбы и любви, чтобы удовлетворить своему личному, чувственному влечению. Конечно, поэт вправе рисовать и такие влечения, но тогда в его творении должна просвечивать идея — что это влечение нечто вроде дьявольского наваждения, что это наваждение не непреодолимо и что поддавшийся ему несчастный человек оказывается виновным, а не просто жертвой судьбы.

Вы легко поймете, что подобный основной взгляд должен отозваться и на всем моем суждении о Вашем произведении. Вообще же я с удовольствием замечая, что Вы проявили большое мастерство при обработке в драматическую поэму этого неблагодарного сюжета, соответствующего только былине. Прекрасные стихи и описания чувств и природы не преминули произвести на меня впечатление. А теперь надо кончить. Прибавлю только, что все у нас обстоит по-прежнему благополучно и что вся наша семья сохраняет о Вас самые хорошие воспоминания, как, надеюсь, и Вы о нас. И пусть мои неизменные взгляды на искусство не поколеблют той дружбы, которой Вы так долго дарили меня. Я также навсегда останусь Вашим другом. — Сердечно преданный Вам Г. Х. Эрстед.



ПРИМЕЧАНИЯ

Письма и афоризмы помещенные самим Андерсеном в «Сказке моей жизни» и в Прибавлении к ней.

От него: Диккенсу: 278; Ингеману: 270 — 271; Иердану, ред. «Literary Gazette»: 230 — 231; Оденсейскому городскому управлению: 318; Эрстеду: 248 — 249.

К нему: от королей: Христиана VIII: 204; Фредерика VII: 296; Христиана IX: 324. — От Бастгольма: 46; Бьёрнсона: 296; Гейне: 85; Диккенса: 225 — 226; Ингемана: 280 — 282, 283; Коллина Эдварда: 98 — 99; г-жи Лэссё: 99; Рашели: 156; Шумана: 172; Эленшлегера: 226 — 228; Эрстеда: 246 — 248.

Стихи и экспромты, помещенные в переводе А. В. Ганзен в «Сказке моей жизни» и в Прибавлении к ней. Принадлежащие Андерсену: 65, 69, 71 — 72, 146, 148, 149 — 150, 184, 203 — 204, 236, 255, 301, принадлежащие другим лицам: Бьёрнсону: 293 — 294, 409; Гейне: (в подлиннике) 158; Крону: 323 — 324; Ламартину: (в подлиннике) 153; неизвестному автору: 321; Эрстеду: 248.



«Г. Х. АНДЕРСЕН И СЕМЬЯ КОЛЛИН»

(*H. C. Andersen og det Gollinske Hus,*
изд. Э. Коллином. Копенгаген, 1882 г.)

Обширный труд Коллина, из которого мы приводим только заключительную часть — воспоминания его и характеристику Андерсена, — является в сущности только собранием материалов для биографии А.

Сам К. говорит в предисловии: «Покойный друг мой, Г. Х. Андерсен, часто посещая мой дом, передавал мне кое-какие касающиеся его биографии записки, которые он находил, роясь в своих бумагах. Он видел во мне и коллектора, и друга и знал, что даже такие отрывки, иногда просто клочки бумаги, представляли для меня интерес. Вряд ли он когда-нибудь предполагал иметь во мне своего биографа — он сам был им, но он совершенно верно полагал, что посредством этих частных сведений можно будет составить себе более ясное представление о его личности, чем по его собственному субъективному изображению ее в *«Сказке моей жизни»*».

Побудило же меня к напечатанию этих записок главным образом то обстоятельство, что А. оставил после себя очень много друзей, для которых возможно точные сведения и более яркое освещение его личности всегда будут желательны. Я не выступаю биографом А., тем меньше его панегиристом; я не касаюсь его значения как поэта, оно уже оценено всем светом. Если он и не был великим человеком, то он был знаменитым и бесспорно самым знаменитым из всех датских писателей. А где дело касается жизни людей знаменитых, представляют интерес даже мелкие подробности...

Пользовался я главным образом материалами из собственной коллекции, то есть письмами А. ко мне и другим членам моей семьи, причем мне поневоле и пришлось вообще несколько выдвинуть семью Коллин. Имею, впрочем, основание сомневаться, чтобы имелись какие-либо другие источники, из которых можно было бы почерпнуть существенные сведения о первой юности А.

Предполагаю, что читатели уже знакомы с книгой А. *«Сказка моей жизни»*; помимо сказок, эта книга прославила его больше, чем какое-либо

другое из его произведений, особенно же первая ее часть. Сам А. считает началом новой эпохи его жизни поездку его в Италию в 1833 году. Найдутся, пожалуй, люди, которые скажут, что начало это следует скорее отнести к 1837 году, когда А. словами: «Шел солдат по дороге: раз-два! раз-два!» вступил в царство сказок».

Труд К. делится собственно на три части: первая содержит переписку А. с семьей Коллин, указания времени выхода отдельных сочинений А., рецензии на них и примечания самого К.; вторая часть — собственно воспоминания К., которые и приводятся здесь почти полностью; третья же — биографические сведения обо отце К. — Ионасе Коллине и вообще о семье К.

Несмотря на некоторую отсталость и крайнюю односторонность воззрений К., записки его представляют очень ценный материал для биографии А., особенно в связи с автобиографией и перепиской А. Прекрасными дополнениями к запискам К. служат: письмо его племянницы *Ионны* и «Заметки для характеристики Андерсена» профессора В. Блока.

Приступая к более подробному ознакомлению читателей с личностью А., начну с того, что являлось самым ранним источником его горестей — с недостатка познаний вообще и грамматических в частности. А в этом отношении он мог меньше всего ожидать снисхождения в нашем доме. Отец мой не терпел небрежного отношения к языку. А. знал свою слабость по этой части и признавал справедливость упреков, но с годами становился все менее и менее уступчивым, начинал сердиться и настаивать на своем. С первых же шагов своих на литературном поприще и в течение многих лет он являлся ко мне с своими рукописями и вообще подчинялся моим советам и указаниям, но я все-таки отлично видел, что большинство моих замечаний казались ему просто придирками. Он принимал мои поправки как бы в силу печальной необходимости, и сколько раз бывало глубоко вздохнет он во время нашего совместного чтения! Мне приходилось поэтому действовать с большой осторожностью, чтобы не отбить у него охоту обращаться ко мне за советами. Иногда, кроме орфографических поправок, я отваживался предложить и стилистические. У А. было, например, удивительное пристрастие начинать предложения тем словом, на которое, по его мнению, падало ударение. Затем, облюбовав какое-нибудь образное выражение, он уже злоупотреблял им. Наконец, я должен отметить его нелюбовь к слову «который». Но когда я обращал его внимание на упомянутые слабости, говоря, что подобные выражения и расстановка слов позволительны лишь в редких случаях, и что пристрастие к ним легко может обратиться в дурную привычку злоупотреб-

лять ими, что так не пишет ни один из образцовых датских писателей, он прерывал меня возгласом: «Ну так это моя особенность!» Приходилось, конечно, соглашаться с этим. Еще более вредил моему влиянию в этом отношении успокоивший его отзыв некоторых лиц: «Все эти ошибки и должны быть в его произведениях — это характерные мелочи, свойственные его таланту»¹. Впоследствии же ему льстило то, что первое признание его таланта раздалось из Германии, «где цивилизация старше, и у людей уже отбит вкус к школьной дрессировке и развито обратное стремление к первобытной, естественной свежести, тогда как мы, датчане, все еще благочестиво преклоняемся перед унаследованным от предков ярмом школы и перед отжившей отвлеченной мудростью»². Было бы напрасно скрывать то, о чем свидетельствует вся ранняя литературная деятельность А. — о его недостаточном внимании к формам родного языка, хотя и навряд ли он отвергал то, что сделали для чистоты и благозвучности датского языка современные ему писатели. А., конечно, чувствовал недостаточность своих познаний, но не мог преодолеть своей неохоты продолжать учиться и по окончании гимназии.

Первые труды А. вызвали похвальные, во всяком случае благосклонные отзывы лишь с беглыми замечаниями по поводу грамматических погрешностей; и он сам смотрел на эти замечания как на пустяки в сравнении с общим признанием его таланта. Но по мере быстрого, непрерывного появления в свет его следующих трудов, критика стала предъявлять свои требования настойчивее. А. не мог ни игнорировать эти требования, ни выполнить их и поэтому относился к ним как к незаслуженным обидам, огорчался ими, но по неосторожности своей прикидывался будто презирает их. Он думал, что можно отделаться от них остроумным словом или замечанием. Последних немало в его письмах. Так, например, он писал: «Право, в саду поэзии скоро появится мостовая!» Об «Агнете» он писал: «Только бы ее нашли достаточно грамотной! К несчастью или к счастью, доставая свою Агнету из волн, я имел в виду не педантку Эльзу, а Афродиту!» Но, разумеется, все это мало помогало делу, точно так же, как и его уверения, что все эти упреки вызваны «несварением желудка» у критиков.

В продолжении многих лет его произведения носили следы слишком поспешной работы. Он знал, что они нуждались в пересмотре, но неохотно откладывал их напечатание. Он и признавался в этом сам в письме одному писателю, называя его «счастливцем» за то, что он имеет возможность дать своим трудам полежать, тогда как «мои духовные детки едва родятся, сейчас должны отправляться гулять по белу свету. Я не знаю покоя, пока не увижу их в печати, — вот что печально». Вот за

¹ Ср. «Сказка моей жизни», стр. 144. Слова Эленшлегера. — Примеч. перев.

² Там же, стр. 145.

эту-то скороспелость Мольбек и Гейберг и называли его труды «мараньем».

Основной чертой, преобладавшей в душевном настроении А., была меланхолия. Ею-то я и объясняю все остальные, как то: тщеславие, нетерпеливость, подозрительность, обидчивость и т. п. На эту меланхолию, зачатки которой, разумеется, надо искать в его печальной юности, а в развитии которой он винил отчасти окружающих, он сам смотрел, как на слабость нервов. Может быть, это была просто слишком обостренная восприимчивость и к хорошим, и к дурным впечатлениям и полное отсутствие силы противостоять последним. А может быть, это обуславливалось скрытыми ранними зачатками той болезни, которая впоследствии и привела его к могиле. Сам он часто и небезосновательно указывал также, как на причину, на сильно расстроивший его нервную систему солнечный удар, постигший его в 1846 году в Неаполе.

Уже в юности А. откровенно сознается, что страдает иногда «болезненным настроением фантазии». В письмах, писанных им из гимназии, он говорит: «Я несчастный душевнобольной», «Помните, что я развинчен». В 1833 году он пишет: «...всегда кто-нибудь да ухаживает за моим больным сердцем. Но оно все недовольно, все, как неблаговоспитанное дитя, просит еще и еще!» Позже он пишет: «Из путешествия я вернулся веселым; теперь уж не то; почему? Да спросите об этом Того, кто так натянул во мне все нервные струны». Среди его бумаг я нашел такую записку (приблизительно от 1848 года): «Я много слышал об англичанах, одержимых сплином; это особенное свойство, смахивающее на грусть, часто доводит их до самоубийства; я страдаю чем-то подобным же».

Рядом с этой меланхолией развилась в нем и нервная раздражительность, которая, к сожалению, и была его верным спутником всю жизнь, начиная еще с того времени, когда он только что вошел в наше семейство и стал нашим ежедневным гостем. Насколько я запомнил, не проходило и дня, чтобы он на что-нибудь не обиделся. В таких случаях он обыкновенно внезапно исчезал из комнаты, но скоро возвращался обратно, осушив предварительно слезы. Иногда можно было догадаться о причине, которой могло быть и не так понятное слово, и особенное внимание, оказываемое постороннему человеку, а чаще всего — перерыв его вечного чтения, вызванный, например, тем, что через комнату пробежала служанка, торопившаяся отворить на звонок входную дверь.

Чтобы яснее показать, до каких крайностей доходила его раздражительность и обидчивость, придется слегка коснуться нашей семейной жизни, в которой он принимал постоянное участие. Наш дом был ведь для него «роднес родного», как он часто выражался, когда «летел домой на кончике пера и клочке бумаги». Выйдя из гимназии, он бывал у нас ежедневно; на него смотрели как на члена семьи; ни одно сколько-нибудь значительное событие в нашей семейной жизни не обходилось без его

участия. Но я не могу сказать, чтобы он особенно деятельно участвовал в юношеском веселье младших членов семьи; юным, вернее, юношески веселым он никогда не был. И все мы часто чувствовали, что он сам сознавал это и страдал от этого.

Вспоминая А. в различные возрасты и периоды его жизни, я всего живее представляю его себе таким, каким он был в начале нашего знакомства. Как сейчас, вижу его сидящим за длинным столом во время какого-нибудь семейного торжества и исполняющим обязанность смотрителя за свечами; тогда у нас были в ходу только сальные свечи, и с них поминутно приходилось снимать нагар, что и было возложено на А. — его долговязая фигура позволяла ему делать это, не вставая с места, и он твердой рукой приводил свечи в порядок иногда на невероятных расстояниях. В нашей семейной жизни, особенно в торжественных случаях, большую роль играли застольные песни; пели мы песни Рабека, Эленшлегера, Гейберга, Герца и др., и нашего семейного пиита Бойе (зять моего отца). По стопам же последнего последовали более или менее удачно я и А. Большинство песен А. было приурочено к 6 января, дню рождения моего отца; все они дышат глубокой, истинной любовью, но грешат формой — отделявать и обчищать было не его дело — и тяжелы по настроению. Напротив, в устной беседе А. бывал неподражаемо забавен и остроумен. Я не знавал никого, кто бы умел так, как он, прицепиться к какому-нибудь самому ничтожному факту, предмету, черте характера и обработать их своим остроумием, не придерживаясь при этом особенной точности. Он чуть не каждый день угощал нас каким-нибудь забавным рассказом о чем-нибудь, приключившемся с ним. И, зная его рассказы, вполне поймешь, что адмирал Вульф, выслушав однажды такой рассказ А., схватил себя за голову и воскликнул: «Ну это он врет, черт меня побери, врет! Ведь ни с кем из нас ничего такого не случается!» А. преуморительно изображал эту сцену. Надо было также видеть, как он рассказывал о том, как он раз в Германии явился в аптеку и требовал себе «американского масла»¹; никто не мог понять его, пока он наконец не пояснил дела подходящими к случаю жестами. Тогда все служащие в аптеке воскликнули «Ah! Ricin-Oel!»

В сказках его найдется немало доказательств этой его способности схватывать все комические черточки из обыденной жизни, часто ускользавшие от внимания других. Наш семейный кружок доставлял ему немало материала. Приведу несколько примеров. Маленькая дочка моя раз показала ему «гуська» и спросила — может ли он прыгнуть так высоко, как блоха. В тот же день А. пришел к нам опять и прочел сказку «Прыгуны»².

¹ Касторовое масло принято в Дании называть «американским». — *Примеч. перев.*

² См. т. I, стр. 262.

Однажды он читал моей жене пролог, написанный им для маскарада в «Казино»; она сделала ему массу возражений. Он ушел домой, чтобы переписать пролог и вернулся с новой обработкой его; оказалось, что он ввел новое действующее лицо — г-жу Сёренсен, в уста которой и вложил все возражения моей жены; меня же лично он задел больше всех, изобразив меня важничающей «Тенью». Ну, да этим он только поквитался со мной.

Вернусь к раздражительности его; то пустячное обстоятельство, что я также писал застольные песни, доставило А. много горьких минут и подало повод к многим неприятным сценам.

В то время были в большом ходу каламбуры. Эта забава была совсем не во вкусе А., и, присутствуя при ней, он часто глубоко вздыхал, но это только давало нам лишний повод пройти на его счет; мы были ведь тогда очень молоды. Я, верно, часто также досаждал ему этими каламбурами в своих письмах, я желал дать отпор его сентиментальности. В песнях моих эти каламбуры играли главную роль: писал я песни ведь только ради того, чтобы позабавить за обедом своих семейных, и хорошо знал свою публику. Если правда, что «хорошо принятая песня хорошо спета», то мои песенки заслуживали этой похвалы, хотя мне никогда и в голову не приходило оскорблять датскую литературу излишними притязаниями на увековечивание этих песен. Семейным моим они доставляли несколько веселых минут, что же касается А., то приходится вспомнить здесь поговорку: «Как плохо тому, кто снимет одежду в холодный день, так плохо и тому, кто поет для недовольного сердца».

Юмор и остроумие А. никогда не проявлялись в его песенках. Шутки, имеющие значение только для данной минуты, были не в его духе, он был для них слишком тяжеловесен, не мог расшалиться во всю, к тому же ему не доставало легкости и игривости языка. Солидное остроумие не может конкурировать с мимолетной шуткой, которая вырывается за веселой трапезой и которую приходится схватывать на лету без объяснительных примечаний. Тут нужно уметь удовлетвориться одним звуком слов и рифм — размышление ведет нас уже в другую область. Вспоминаю при этом, что случившийся раз за обедом посторонний, не столь посвященный во все обстоятельства минуты, соображал в чем дело и начинал смеяться над первой строфой лишь тогда, когда мы уже пели вторую.

По странной иронии судьбы, А. как раз в той-то семье, где он чувствовал себя, как дома, и должен был столкнуться с таким стихотворных дел мастером, как я. Меня тешило доставлять своим маленьким талантом столько удовольствия всем моим семейным, особенно же отцу, который несмотря на свои преклонные лета мог вполне сочувствовать этим шалостям; но радость мою часто нарушал в этих случаях А. — он не мог скрыть своей досады, так что шурин мой Линд справедливо замечал: «Эдвард пишет песенки, А. же строит к ним гримасы». И

нередко бывало наш семейный праздник расстраивался благодаря тому, что А. тихонько удалялся из-за стола со слезами на глазах, а сестры мои уходили за ним утешать его, в чем почти всегда и успевали. Не в моем характере было брать роль утешителя на себя, но я раз имел с А. по этому поводу серьезный разговор. Он и признался тогда, что во всем виновато болезненное настроение, которое он иногда не в силах подавить в себе.

Обидчивость же мало-помалу и привела А. к подозрительности, развитию же ее отчасти поспособствовали некоторые обстоятельства его жизни. Надо заметить, что подозрительность его почти всегда была вызвана сообщениями того или другого знакомого, что будто бы тот или другой критик сказал или написал, или собирается написать о нем что-то нехорошее. Добрые друзья вообще не упускали случая «порадовать» его такими сообщениями, и он сам знал, что были «лица, которых забавляло огорчать» его. Впоследствии почти всегда оказывалось, что сообщения были ложны, но даже и тогда он не мог стряхнуть с себя первого впечатления. Он сам сознавал всю тяжесть такого положения и говорил, что эти «дружеские сообщения отравляют его мозг, так что он, и зная даже, что они лживы, не может освободиться от тяжелого впечатления».

Я не стану говорить о многочисленных проявлениях этой беспокойной подозрительности, заставлявшей его, как собаку Диогена в романе Диккенса *«Домби и сын»*, выслеживать из-за угла воображаемого врага. Но я не могу обойти молчанием его слов, вроде следующих: «Случалось даже, что я встречал на улице прилично одетых людей, которые, проходя мимо меня, скалили зубы и отпускали на мой счет злорадные шуточки». Слова эти благодаря переводам *«Сказки моей жизни»* стали известными всему свету и всех убедили в жестокости датчан к начинающим писателям. Я лично того мнения, что все это являлось лишь плодом его болезненно настроенного воображения.

Более мягким проявлением его нервной раздражительности являлось свойственное ему нетерпение, которое, впрочем, также немало испортило ему крови. Он начал свою литературную карьеру, задавшись целью — сделаться знаменитым, с тем, однако, чтобы это исполнилось тотчас же. Опыт скоро показал ему, что это не так-то легко, и он стал искать причину неудачи в окружающих и боролся с ними, а не со своей беспокойной душой. Грустное убеждение А., что в медленности его завоевательного шествия по «пути славы» виновато одно людское недоброжелательство, так укоренилось в нем, что он не мог окончательно освободиться от него даже и в зрелые годы, когда уже достиг всеобщего признания своего таланта. Особенно заметно проявлялось это нетерпение в его отношениях к датскому театру.

И в ежедневной жизни мы то и дело убеждались, как плохо он справлялся со своим нетерпением. Короткая отсрочка, неожиданная задер-

жка, препятствие тотчас же расстраивали его, если даже дело шло о пустяках. Хуже всего было, если лица, с которым он желал поговорить, не оказывалось дома или оно не могло тотчас же быть к его услугам. Припоминаю множество подобных примеров, относящихся к тому времени, когда он бывал нашим ежедневным гостем. Он выражал сильнейшее нетерпение, если оказывалось, что я занят каким-нибудь деловым разговором; правда, он удалялся обождать в комнаты других членов семьи, но скоро возвращался назад, теребил ручку двери, просовывал в комнату голову и удивленно провозглашал: «Ну?!» Впрочем, он и сам подшучивал над этой своей слабостью. Так однажды (1860 г.), не застав моей жены дома, он оставил ей следующую записку: «Г-жа Коллин! Мне очень прискорбно, что Вы избегаете меня; я сейчас же уйду, послезавтра уезжаю и скоро умру! С почтением Г. Х. Андерсен».

Но едва ли так бросалась в глаза всем такая другая слабость А., как его пресловутое тщеславие. Но я всегда относился к этому выражению критически, особенно, если им хотели определить сущность натуры А. Что такое тщеславие? Мольбек называет тщеславием «стремление придавать цену своим собственным качествам, лишенным, однако, истинных внутренних достоинств, или стремление всегда и всюду выдвигать свои действительные или воображаемые совершенства». Я бы желал прибавить к этому от себя: это стремление настолько свойственно людям, что лишь немногие могут противостоять ему. А. не принадлежал к числу этих немногих. Но он нисколько не тщеславился, например, своей наружностью. Подростком ему доводилось выслушивать немало насмешек насчет ее; выросши, сформировавшись и приобретя привычку держаться более свободно, он также не обманывал себя никакими иллюзиями на этот счет. Я не в состоянии нарисовать его портрета в молодые годы: немного также скажет нам и паспорт или свидетельство о здоровье, выданные ему в Оршове: Ein Schriftsteller, französischer Unterthan: Kopenhagen in Danemark wohnhaft, ledigen Standes, braune Haare, graue Augen, länglichen Angesichtes deutsch gekleidet». (Писатель, французский подданный, живущий в Копенгагене; холост, волосы русые, глаза серые, лицо продолговатое, платье немецкое).

Что было у А. действительно красиво — это волосы; он отлично знал это и, желая щегольнуть ими, часто завивал их. Особенным щеголем он никогда не был, но одевался всегда тщательно. Мало что доставляло людям столько удовольствия и пищи для толков и рассказов, как привычка А. смотреться в зеркало: А. не мог пройти мимо зеркала, чтобы не поглядеться. Нам, знавшим его так близко, известно было, что делал он это не в чаянии увидеть красавца, а просто желая соорудить гениальное лицо. Он сам с милой откровенностью признавался, что старается казаться гениальным. Каждая новая фотография А. того времени и говорила об этом его старании «соорудить гениальную физиономию». Поэтому все

ранние портреты не дают истинного представления о нем. Вот если бы фотографу удалось схватить то выражение лица А., которое бывало у него, когда он восхищался чем-нибудь прекрасным, тогда бы все увидели, каким прекрасным становилось тогда и самое лицо его. Открыто выражал он и свою жажду похвал. Вот что, например, писал он: «Я счастлив, только когда меня хвалят все и каждый; всякий же, кто бы он ни был, относящийся ко мне не сочувственно, в состоянии нагнать на меня тоску». Более откровенного признания и требовать нельзя. Вот эта-то жажда похвал много и вредила ему, она давала разной мелюзге повод прохаживаться на его счет. А. не мог удовольствоваться сознанием, что он в качестве поэта-сказочника признан единственным в свете, он желал постоянно слышать похвалы себе или видеть их в печати. Жажда эта вызывалась отчасти его непреодолимой склонностью вечно возиться с собственным «я», которой он и не скрывал. Ведь и всякий писатель радовался бы, видя, что его труды имеют успех и за границей, но радовался, может быть, про себя. А. этого не мог, он рассказывал о своих успехах всем и каждому и требовал, чтобы все радовались вместе с ним. Рассказывают, что он раз перебежал на другую сторону улицы, чтобы сказать знакомому: «Ну, теперь меня читают и в Испании. Прощайте!» И это так на него похоже. Что же руководило им в данном случае? Тщеславие? Я скорее назвал бы это чувство «детской радостью». И почти все анекдоты, ходившие о его тщеславии, основывались в сущности на проявлениях той же радости. А. до конца сохранил чисто детскую способность радоваться и огорчаться из-за пустяков. Его радовал всякий маленький знак внимания — например, тост, провозглашенный за него на каком-нибудь частном обеде; зато если и забывали провозгласить этот тост там, где А. привык к нему, он тотчас же приходил в дурное расположение духа. Все это, конечно, свидетельствовало о том, что он сохранил в себе много детского.

Много и часто было говорено, что А. разъезжает по свету, чтобы создать себе славу. Трудно, однако, доказать справедливость такого положения, а еще труднее объяснить себе — как это он мог создавать себе славу одним своим появлением. Брандес прав, говоря: «Ах, если б слава создавалась поездками!» Прав и В. Блок, насмешливо предлагая другим поэтам испробовать это средство. А. было известно из многих писем от его немецких почитателей, что он знаменит, но он желал убедиться в этом лично на месте, желал лично воспринять похвалы. Сколько на его месте поступали бы также, только более скрытно! Он же и в этом случае, как в других, действовал прямо и открыто, отдавая себя на суд людской. В «Сказке моей жизни» находится, к сожалению, немало выражений, послуживших А. во вред почти неисправимый. Так, например, рассказывая о том, что в Швеции появилась перепечатка его «Прогулки на Амагер», он прибавляет: «Подобное случалось лишь с лучшими про-

изведениями Эленшлегера», обнаруживая этим свое тщеславие. Затем он говорит об устройстве электромагнитного телеграфа и прибавляет: «Я первый обратил внимание копенгагенцев на это открытие». Ему вообще было свойственно желание слыть за человека, являвшегося первым даже в сообщении о новостях.

Все эти мелкие, чисто детские слабости, конечно, легко можно было извинить в домашнем обиходе, но нельзя удивляться и тому, что проявления их в его автобиографии раздражили многих. Можно ли, однако, все сваливать на его тщеславие? Разве можно назвать тщеславием желание А. заставить родину гордиться его славой за границей? Вообще ведь принято считать, что человек, прославивший себя за границей, делает честь своей родине. Между тем А. приходилось на опыте узнать другое, хотя слава его и была действительностью, а не его собственным измышлением. Датская пресса не могла отрицать фактов, но могла замалчивать их, притворяясь не знающей о них. Таким образом, А. был прав, говоря (1845 г.): «Выходит, право, что, кроме датчан, и умных людей в свете нет!»

Часто также выставляли А. каким-то ребенком. Но это было большим заблуждением на его счет, и он первый подсмеивался над ним. Оно, однако, настолько утвердилось в публике, что какой-то комитет, устраивавший какое-то торжество, для которого А. сложил песню, благодарил его именно за его «чисто детскую готовность услужить». Мнение это возникло, вероятно, от того, что его чувствительность в молодые годы смешивали с ребячеством, а затем оно нашло себе подкрепление в необыкновенной способности А. подлаживаться под детское мирозерцание и язык детей. Сомнительно, однако, чтобы он был истинным любителем детей. Я хорошо помню, что он много возился с моими детьми, когда они были маленькими, очень забавлялся их замечаниями (которыми и пользовался при случае), но особенной нежности к детям вообще, которой отличается заправский любитель ребятишек, всегда готовый целовать и миловать их, я в нем не замечал. И сам А. не желал выставять себя любителем детей, об этом свидетельствует история с его памятником, когда он так сердился на то, что его хотели изобразить окруженным детьми.

А. оставался ребенком по отношению к Богу; по отношению же к миру он был юмористом. Кто поглубже вникнет в сущность его характера, заметит в нем это свойство еще с самой ранней юности его. Уже в 1833 году Гейберг сравнивал его с нашим бессмертным поэтом-юмористом Веселем, а П. Л. Мёллер советовал ему употребить свою находчивость и остроумие как оружие против педантизма и тупости. Юмор его проявлялся и в том, что он часто подсмеивался над собственными слабостями. Так он иронизировал над самим собой даже на смертном одре, говоря: «А хотелось бы мне хоть одним глазком взглянуть на мои похороны!»

Особенно ярко проявлялись его остроумие и находчивость в едких ответах. В этом искусстве он рано наострился благодаря постоянной практике. Эта-то остроумная находчивость часто и помогала ему выпутываться из затруднений, в которые он попадал, например, как анонимный автор пьес. Примеры он сам приводит в «Сказке моей жизни», я же могу прибавить еще один. Дело идет о «Первенце». Мне показалось, что жена композитора Гартмана тоже посвящена в тайну авторства А., и я разговорился с ней об этом. Она при встрече с А. и сказала ему, что узнала об его авторстве от меня, но он тотчас же ответил: «Ну значит, он выиграл! Он пари держал, что заставит Вас поверить этому!» Находчивость же А. сказывалась и в его способности говорить и писать экспромты. В то время в обществе, где бывал А., было в моде давать ему ряд слов, из которых он и должен был составить рифмованное стихотворение. А. записывал заданные рифмы и с невероятной быстротой набрасывал стихотворение, иногда даже довольно длинное — строк в 16. Приведу один пример (1829 г.): А. задали тему — любовь к отечеству и следующие рифмы: *Storm* (буря), *Gorm* (Горм, имя одного из древних королей Дании), *Mode* (обычай) и *Klode* (светило, планета). А. в ту же минуту написал следующее четверостишие:

Drag hen i Kampen for dit Land, min Gorm,
Følg ikke Tidens Luner og dens Mode.
Voer tro dit Land i Havblik og i Storm,
Da grønnes alt din Krands paa denne Klode.
(Борись за свою страну, мой Горм,
Не следуй капризу времени и его обычаю,
Будь верен своей стране и в тихую пору, и в бурю,
И твой венок будет вечно зеленеть на этой планете).

Как о курьезе упомяну о записке, найденной мной в бумагах А. Получил он ее во время пребывания своего в Стокгольме от какого-то доброжелательного друга; записка гласила: «Завтра Вас пригласят ко двору; приготовьте экспромт».

А. не был мыслителем, был тем менее глубоким философом. Обыкновенно он никогда и не участвовал в отвлеченных рассуждениях; исключением являются, по его собственному утверждению, беседы его с Эрстедом. Отеческое отношение этого замечательного человека к А. выше всяких похвал; о нем говорят многие примеры, приводимые А. в «Сказке моей жизни». Эрстед, как многие другие, также занимался воспитанием А., но по своей собственной мягкой, любовной системе, которая и была так по душе А. Но едва ли советы Эрстеда имели какой-нибудь практический результат. Я могу несколько судить о педагогических способностях Эрстеда. Этот прекрасный человек потратил даром много

воскресений, занимаясь (из дружбы к моему отцу) со мной и братом моим математикой, когда мы готовились ко второму университетскому экзамену. Я говорю «потратил даром», потому что он преподавал не по общепринятой учебной системе, и только путал нас. Так, если он ошибался относительно степени нашей умственной зрелости, он, верно, так же ошибался и насчет развития А. Можно по крайней мере предположить это, познакомившись с сообщениями А. о его беседах с Эрстедом. Так, А. говорит о своей книге *«По Швеции»*, что обе статьи — *«Вера и наука»* и *«Поэтическая Калифорния»* — возникли у него под впечатлением глубокомысленных бесед с Эрстедом на темы, затронутые последним в его книге *«Дух в природе»*. Эрстеду случилось уронить такую фразу: «Вас так часто упрекают в недостатке познаний, а вы в конце концов, может быть, сделаете для науки больше всех других поэтов», и А. уже воображал себя воистину призванным к «разработке в поэзии нетронутых рудников науки»; зная неустойчивость А. можно только удивляться такому самообольщению. Этим-то общением с Эрстедом я и объясняю себе то, что А., бывшему от природы чисто непосредственным поэтом, развившимся затем в юмориста, пришло в голову написать *«Агасфера»* и главное — роман *«Быть или не быть»*.

Он сам не сознавал ясно в чем истинная сфера его творчества, вот и пробовал себя в разных направлениях.

Совершенно иного характера было влияние на А. Ингемана. Последний видел неясное понимание А. собственных сил и неустойчивость его и всеми силами старался поддержать его, вселить в него бодрость и сознание собственного достоинства, когда он бывал подавлен неудачами своих произведений, вроде, например, *«Агнеты»*. Все порицали эту вещь, говорили, что А. просто без всякой связи нагромоздил образы, всплывавшие в его фантазии; Ингеман, напротив, одобрял *«Агнету»*, негодовал на порицавших ее и писал А.: «Сумейте только стать независимым от всего несущественного в мире поэзии и литературы, и Господь сам направит Вас куда нужно». Обдуманно ли поступал Ингеман, подавая такой совет не совсем еще созревшему таланту? А. мог ведь перевернуть этот совет так: «Пиши, что приходит тебе в голову, не обращая внимания на суд людей, — Господь внушает тебе эти мысли, а Он дурного внушить не может». Вот правило, на основании которого создаются не зараженные умом плоды фантазии. Таким образом, все мы, современники А., несем свою долю ответственности за то, что каждый из нас по-своему старался сбить А. с толку, долго не давая ему напасть на истинную сферу его творчества.

Настоящий труд мой подвергся критике еще раньше, чем появился в печати. На критику эту я сам напросился. Естественно, что я пожелал узнать мнение об этом труде близких к А. лиц, к числу этих лиц, которые, по-моему, могли быть судьями моего труда, принадлежала и

племянница моя Ионна (баронесса Стампе), дочь моей сестры Ингеборги. Подростком она была постоянной слушательницей рассказов А. и, разумеется, вообще преклонялась перед ним. Впоследствии она, как умная и высокообразованная женщина, не могла, вероятно, не сознаться самой себе, что он не совсем-то таков, каким она его представляла себе, но все же не могла и окончательно освободиться от впечатлений детства. По крайней мере она до самой смерти А. оставалась его верным другом и всегда защищала его от всяких нападок. Я должен даже сказать, что она была прямо-таки пристрастна к нему, а мы, остальные, давали ей достаточно поводов проявлять свое пристрастие. Она получила от меня начало этого труда, когда лежала в постели опасно больная. Болезнь не коснулась, однако, ее душевных сил, и она могла продиктовать одной из своих дочерей письмо ко мне, отрывки из которого я привожу здесь.

Март 1878 г.

«Ты прав: я с большим интересом читаю твой труд об Андерсене; я тоже нахожу, что нужно ознакомить общество с личностью А. как человека и дружескими отношениями его к семье Коллин. Начало мне поэтому очень понравилось. Письма А. к Мейслингу, к дедушке, рассказы о личных свойствах А. рисуют его почти диккенсовски трогательно. То же самое скажу о его письмах к тебе, в них так ярко выступают его требовательность, раздражительность, но в то же время и милая задушевность. То же и о письмах к Луизе. Такой взгляд на детство и юношество А. мог дать только ты.

Не так довольна я твоими возражениями против *«Сказки моей жизни»*, мне кажется, что ты не сумел достаточно отрешиться от взгляда на А. его ранних современников, или по крайней мере не чувствовал того, что чувствую по отношению к А. я. По-моему, он действительно был лебедем, которого порою третировали, как безобразного утенка. Он чувствовал, что у него растут крылья, но не мог еще доказать этого или заставить почувствовать это и других. Для него всякая выправка и муштра была только помехой, он чувствовал, что с ним обращаются не так, как должно. Вот он и охал, когда поправляли его слог и мерили его на общий аршин. Мне кажется, что, даже разделяя некогда воззрения тогдашнего датского общества и сохраняя симпатию к ним, нельзя все-таки не видеть, что они были слишком ограничены, узки и педантичны, что форма играла большую роль, нежели следовало. Так немудрено, что таланты, которые не могли следовать за общим течением, скоро выбивались из общей колеи и терпели несправедливые осуждения.

Тогдашнее общество и не могло быть иным, так как не могло быть впереди своего времени; нечего его, значит, и упрекать за это, но нельзя,

по-моему, и не принять этого обстоятельства к сведению, раз мы хотим судить А. По-моему, он принадлежал к четырем великим поэтам¹, а ему едва отводили место и в ряду двенадцати малых; словом, к нему применяли несоответствующий масштаб, от чего он и не мог не страдать. Вот что, я нахожу, и было главной, хотя и невольной ошибкой современного ему общества. Ошибка же самого А. была в том, что он требовал признания себя лебедем прежде, чем стал им, а стал он им, лишь когда начал писать свои сказки. Второй его ошибкой, также невольной, был его произвольно-фантастический взгляд на отношения людей к нему. Ты называешь эту черту обидчивостью, я, зная на своем веку несколько таких людей, уверена, что это был излишек фантазии, заставлявшей А. принимать за действительное то, что ему только казалось. Люди этого сорта так же глубоко страдают от воображаемых обид, как и от действительных, и в могилу сходят вполне убежденные в правильности своего взгляда. Эта ошибка А. доставила много горя и мучений и ему самому, и другим, но я не считаю его ответственным за нее.

Другой причиной того, что недостатки А. так бросались в глаза свету, было его сиротство. Нам, счастливым, окруженным семьями, нельзя не знать, какой поддержкой и защитой служит нам семья. Лишись мы ее, мы бы глубоко почувствовали ее отсутствие. Она знает наши слабости и свойства и снисходит к ним, порой даже не замечает их, — все потому, что и сама подвержена им. Таковы взаимные отношения людей, связанных узами крови; в дружеских же связях не всегда можно рассчитывать на такую снисходительность. Как часто дурные свойства человека — капризное расположение духа, странности, угрюмость, нетерпеливость, проявляясь лишь в четырех стенах, в собственной семье, остаются не известными свету, и такой человек слывет в высшей степени милым и обходительным. У А. не было родных, которые бы понимали его слабости и снисходили к ним, не было семьи, в кругу которой он бы мог излить то, что ему приходилось изливать в кругу простых знакомых и друзей. Даже и в семье Коллин он не мог, конечно, чувствовать себя настоящим членом семьи.

Если человек болен, и не может писать сам, а принужден диктовать другим, как теперь я, то лучше ему молчать. Но твой труд настолько интересует меня, что я решилась прибегнуть к диктовке. Мне кажется, что можно оказать добрую услугу памяти А., если отнестись к нему с тем пониманием, которого ему так недоставало при жизни, а кто же может истолковать сущность его натуры лучше, чем ты, его близкий друг. Ты должен выяснить, что общество, окружавшее А. в его молодые годы, было ограничено, не понимало его, и что его раздражительность проистекала не от одной болезненности его натуры, но поддерживалась обстоятельст-

¹ См. «Сказка моей жизни».

вами. Вот этого-то отзвука симпатии к А. мне и недостает в этом небольшом отрывке твоего труда, и это-то и заставило меня возражать тебе. Не сердись на мои возражения, а главное, не наказывай меня за них — пришли мне продолжение твоего труда. Последнее, что ты прислал, мне очень понравилось. Ты сумел удивительно ярко очертить оригинальные отношения А. к нашей семье и поразительную смесь в его натуре обидчивости с добродушием, а также и отношения членов нашей семьи к нему...»

Ответ мой на это письмо и послужит заключением к высказанному мной воззрению на А.

9 марта 1878 г.

Письмо твое, дорогая Ионна, очень порадовало меня, хотя оно и содержит такие существенные возражения против меня. Я, впрочем, ожидал их: с твоей привязанностью к А. и снисходительностью к его слабостям, ты и не могла писать мне иначе — женщины-то главным образом и не жили его больное сердце, когда он был жив, теперь они будут нежить его память. Я же никогда не был с ним нежен, не могу разнежиться и теперь, вспоминая о нем. Но оградить его память от несправедливых нареканий считаю своим долгом, и если его заденут существенно, молчать не стану. Корень вопроса в тоне моего изложения; мы скоро согласимся с тобой, что мы должны сделать его памяти ту уступку, которой ты придаешь такую важность — признать, что обидчивость и раздражительность А. проистекали не от одной болезненности его натуры, но поддерживались обстоятельствами. Если бы мы на этом и помирились, было бы превосходно, но я отлично чувствую, что такая сухая уступка не удовлетворит тебя. Я вполне понимаю тебя; ты не требуешь апофеоза Андерсену — он с избытком, слишком широко даже, пользовался им при жизни, — но признаешься, что тебе недостает *отзвука симпатии*. В этом ты, пожалуй, и права; сухие доказательства заглушили в моем труде нотку задушевности. Другие, может быть, отнесутся к моей прямолинейности еще строже. Они скажут, что следовало бы ожидать от меня только таких сообщений, которые могли бы послужить лишь к чести моего покойного друга. Если бы я ответил на это, что он сам при жизни так мало умел скрывать свои слабости, что они стали известны всем окружающим, мне возразили бы: ну и пусть бы они оставались известными лишь небольшому кружку; зачем разглашать о них на весь мир? Но ведь в том-то и дело, что кружок этот был вовсе не так мал и не всегда снисходителен; его манера держать себя вызывала много жестких осуждений со стороны лиц, не знавших его истинной натуры и не находивших этой манере другого объяснения, кроме эгоизма, заносчивости, тщеславия и т. д. Так неужели же мне, знавшему А. так близко с самой

его юности и до могилы, и знавшему, что причину нужно искать в физическом или душевном предрасположении (или в обоих вместе), которого он не мог преодолеть, неужели же мне умалчивать об этом смягчающем и извиняющем его странности обстоятельстве.

Я не имел в виду писать критику на А. как на человека или поэта; критика, ты знаешь, никогда не была моим делом. Но если захотят назвать критикой простое констатирование фактов и попытки объяснить их причину, то пусть себе. Я не могу отказаться от того мнения, что выяснить свету болезненность души А., показать, что все свойства его, за которые на него нападали, проистекали именно из этого болезненного предрасположения, значит — оказать памяти А. лучшую услугу. А. сам знал свою болезнь, но не знал средства против нее и часто истинно страдал от этого. Я не описывал припадков этой болезни, но лишь упомянул о них и о том, что он не мог преодолеть их. Совсем же обойти их молчанием нельзя, потому что именно во время этих припадков у него и вырывались те необдуманные слова и выражения, за которые свет так осуждал его. Что же касается общества, окружавшего А. в тот столь важный период его умственного развития, то ты называешь его узкопедантичным, неспособным понять А., так как оно придавало слишком большое значение форме. Не стану здесь поднимать спор о «форме», этом ложно или наполовину ложно применяемом понятии, но спрошу тебя: разве порицания критики вызывались лишь погрешностями А. против формы? Представь себе, что А., *тогдашний* А., не поэт-сказочник, а драматург, выступил на литературное поприще в наше время — как бы отнеслись к нему теперь? Я согласен, что многое можно привести против тогдашнего общества; я сам припоминаю узкобюрократические, бессердечные взгляды и понятия о позволительном и принятом. Но разве теперешнее общество совсем свободно от этих недостатков, разве старый эгоизм не проявляется теперь в новых формах? Эгоизм ведь неизлечимая болезнь всех времен. Что же касается эстетико-литературного развития тогдашнего общества, то я напому тебе, что мы воспитывались на таких писателях, как Баггесен, Эленшлегер и Гейберг. Прибавлю к этому, что, по-моему, мы были более *молоды*, нежели нынешняя молодежь. Это, впрочем, пусть останется между нами, я не желаю ссориться с молодежью; наконец, я спрошу — не рано ли смотреть на умственную жизнь того времени как на нечто, составляющее часть «отжившего свое время Копенгагена»?

А. писал в 1833 году следующее: «Если я умру за границей, пусть Эдвард не забудет напечатать мои воспоминания». Я в то время едва ли бы написал то, что пишу теперь и так, как теперь; отчасти потому, что изменились мои взгляды на способ изложения жизненной истории умершего лица, отчасти потому, что А. в автобиографии указал мне путь, по которому я теперь и следую. Ясно, однако, что он сам желал, чтобы

свет был посвящен в замечательные подробности его жизни, был осведомлен о всех его чувствах и мыслях с самой колыбели и до могилы. Но он был слишком поэтической натурой, чтобы его изображение и понимание обстоятельств своей жизни могли быть строго точными. Он не всегда понимал самого себя и часто ошибался в других. Положим, все мы в сущности повинны в большей или меньшей степени в тех же слабостях, как и он, но он-то был повинен в своих в необыкновенной степени, и кроме того — мы своих не выставляем напоказ.

А. говорил о годах своей юности: «Все хотели исправлять, воспитывать меня!» и это — разумеется, не в буквальном смысле слова — верно. Кто же тут был не прав? А. был прав, думая: «Мне уже 25 лет, а меня все еще хотят воспитывать!» Правы были и другие, находя, что его умственная зрелость мало соответствует его возрасту. Они могли ошибаться в методе воспитательного воздействия на А. (исключением является мой отец, всегда обращавшийся с А. истинно отечески), но применяли свой метод, искренно желая ему добра.

А. был общественной личностью, в самом широком значении этого выражения. Очень многие знали его лично, бесконечно многие знали его по его сочинениям — знали и не знали. А. ведь и помимо своей литературной деятельности являлся личностью необыкновенной. Он и изобразил свою личность в *«Сказке моей жизни»* так ярко и выпукло, дал и свою собственную характеристику, и характеристику окружающего его общества, но все, следуя своему одностороннему (в хорошем смысле этого слова) воззрению. Так вот это-то воззрение и надо проверить: жизнь А. принадлежит истории.

Вернусь к правильно выдвинутому тобой главному пункту: *бедности и сиротству* А. Тут мы сойдемся; я тоже согласен, что именно эти-то обстоятельства так и выдвигали все его недостатки на вид.

Да, у А. были друзья, поклонники, обожатели, но он все-таки был одинок на свете; одна мысль об этом наводит грусть. Богатая содержанием жизнь могла заставить и заставляла его порой забывать об этом, но в минуты уединения он чувствовал свое одиночество тем глубже, чувствовал себя, как бы покинутым всеми. В такие-то минуты у него и вырывались самые горькие из его сетований и упреков.

В раннем детстве А. лишился отца; в юности он имел по крайней мере мать. Он избегал говорить о ней, но я знаю, что ее доля лежала у него камнем на сердце. Ему постоянно приходилось получать от нее письма с упреками, что он так мало заботится о ней, она вечно жаловалась и просила денег, между тем А. имел основания сомневаться в том, что ее нужда была действительно так велика. Вот что, например, писали ему от ее имени: «...многие люди очень добры ко мне, кормят меня вволю». К тому же он сам тогда не мог еще перебиваться без чужой помощи. У меня есть одно ее письмо, писанное ей собственно-

ручно, и я приведу из него отрывок, чтобы дать понятие о его сыновних страданиях.

«Благодарю за деньги что послал Гульбергу они купили мне холста на рубашку но в жизни не носила такой грубой точно грубейший мешок... Перестану о чем просил меня но что дурные люди пишут обо мне так худо я не виновата, столовая открылась и я раз получила кушанье. Жидковато но все-таки зовется горячим»¹.

И как подумаешь, что такое письмо получил тот, кто написал впоследствии историю «Мать» — сердце занает! Когда она умерла, он горевал о ней, как добрый сын; с этих пор он стал уже круглым сиротой.

Бедствовал он в то время больше, чем я подозревал тогда; в этом отношении он был очень щепетилен. Из писем видно, что он всего раз взял займы у моего отца. Я, упрекая его за его чрезмерную литературную плодовитость, отнимавшую у него время, необходимое для учения, не знал, что это отчасти нужда заставляла его писать так много.

Раз мы теперь затронули несчастные обстоятельства его жизни, ты захочешь, вероятно, услышать от меня и о его несчастной любви. Я могу только подтвердить, что он пережил такую любовь, но вдаваться в подробности не стану. Он во всю жизнь ни разу не затронул этого обстоятельства в устной беседе со мной, но совсем умолчать о нем он не мог, и из его писем я мог достаточно убедиться в причине его несчастья. Не мог он умолчать об этом и перед светом (поэты ведь не способны на это). И указания на эту несчастную любовь можно найти уже в начале «Сказки моей жизни»; в сообщениях своих он, впрочем, был очень скромен (не все поэты способны на это). Я уверен, что дамы знали об этой несчастной любви А. куда больше подробностей, чем я, благодаря их бесподобному умению выпытывать; я же отличаюсь счастливым свойством не быть любопытным. В бумагах А. я нашел, однако, письма, афоризмы и узнал даже имена, но дамам от меня по этому поводу ничего не добиться. Из этих бумаг я не вынес убеждения, что сердечные горести его не были особенно глубоки, я лишь убедился, что А. легко воспламенялся, и мне это понравилось.

Твое определение места, которое занимает А. в ряду датских поэтов, вернее, которое отводили ему компетентные люди в начале его литературной деятельности, — принадлежит как будто ему самому. Но даже защищая его в пику обществу, ты отчасти винишь и его самого. Я думаю, что сужу о нем так же снисходительно, как и ты. Бросим беглый взгляд на этот первый период его деятельности.

Детство А. достаточно известно, так же как и его сказочное путешествие в Копенгаген, его первые шаги здесь (самое печальное время

¹ В переводе сохранены только тон и изложение; орфографию же воспроизвести невозможно и приблизительно. — Примеч. перев.

его жизни) и, наконец, крутой переход к школьной жизни, где он впервые познал свой долг научиться чему-нибудь и был принужден на время отказаться от своих фантастических мечтаний. Время студенчества тоже не было свободно от некоторых неприятностей, но все же было хорошим временем для него: благо, отзывалось чем-то вроде юности. Тут началась его невозможно плодовитая литературная деятельность, которая благодаря отсутствию у А. самокритики доставила ему в литературных кружках столько противников, и справедливых, и несправедливых. Но, кроме противников, у него были и друзья, истинные личные его друзья, и эти по отношению к его трудам тоже делились на два лагеря. От матерински-чувствительной г-жи Лэссё А. переходил к холодному Э. Коллину; если его разгорячали там, то охлаждали здесь, и такие переходы он испытывал очень часто — у него ведь был огромный круг знакомств. Но такое неоднородное отношение сбивало А. с толку и очень вредило ему. Он охотнее прислушивался к «бубенчикам похвал» и не мог отделаться от мысли о некоторой пристрастности, несправедливости к нему других лиц. И даже заслуженный успех *«Импровизатора»* не мог вполне истребить в нем эту мысль. Обрати внимание на эту черту, она не покидает его всю жизнь.

Но самый резкий переход испытал он после пребывания в Веймаре, где его чествовали так, что совсем вскружили ему голову. От этих празднеств и беспрерывных похвал он вдруг вернулся в свой старый, трезвый родной дом, где его ожидала совсем не та встреча в немецком вкусе, какую рисовала ему фантазия. Я представляю себе молодую девушку, побывавшую на первом балу, где ее окружали и ухаживали за ней кавалеры и поклонники. Ночью ей снились волшебные сны, а утром ей пришлось вернуться к тихой, трезвой действительности с ее будничными занятиями, и она скоро осваивается с ними. Но А. жаждал вновь и вновь переживать свой «сон наяву», не хотел примириться с обыкновенными будничными условиями жизни на родине. Он требовал открытого признания, что он своей славой «прославил родной дом», но родной дом не ценил этого. Отец писал ему, очевидно, желая подготовить его: «Могу себе представить Ваше настроение под впечатлением такого приема, устроенного Вам за границей, но Вы ведь знаете «нет пророка в своем отечестве». Мы все скучаем о Вас, но я по старому опыту предвижу неприятные сцены, когда Вы начнете хвалить иностранные государства в укор родине; особенной опасностью эти сцены, впрочем, не угрожают».

С этих-то именно пор его недовольство родиной особенно и обостряется; он не мог представить себе, чтобы иное, менее пылкое отношение к нему земляков объяснялось чем-либо иным, кроме умышленной несправедливости. У него вырывались неосторожные слова, он упорно настаивал на том, что делает честь своей родине, постоянно рассказывал о почестях, оказанных ему за границей, и этим раздражал многих.

Теперь перейдем к отношениям А. к нашей семье и постараемся прийти к соглашению по этому пункту. Прежде всего я хочу сделать некоторые примечания к твоему утверждению, что постороннему трудно было почувствовать себя своим в семье Коллин. Правда, семья наша носила свой собственный отпечаток; посторонним особенно должно было бросаться в глаза то, что боязнь света, мнения людского играла у нас очень небольшую роль, не то что в других семьях. А между тем отношение к суду людскому и налаживает основной тон семейной жизни. Итак, наша семья отличалась своеобразным характером, но ведь А. вошел в нее еще далеко не созревшим, сложившимся человеком, а почти ребенком, который не мог отнестись к строю нашей семейной жизни критически, так как другой семьи и не знал. Поэтому первые годы он чувствовал себя среди нас вполне счастливым, радовался, что его считают членом семьи, но при этом не мог не грустить о том, что не был им на самом деле, — об этом ему постоянно напоминали письма его матери. Но недовольное расположение духа, которое почти не покидало его с той поры, как он вступил на литературное поприще, не имело никакой причинной связи с основным тоном, господствовавшим в нашей семье; причина крылась в том, что мы недостаточно восхищались его трудами, и его недовольство нами все росло по мере того как его талант признавали другие. Разумеется, вполне естественно, что он огорчался, не встречая у нас, восхищавшихся Герцем и Гейбергом, того преувеличенного восхищения его музой, какое он встречал в других домах. И, к сожалению, он почти ежедневно находил повод к такому огорчению. Мы часто говорили о каком-нибудь новом его стихотворении: «да, красиво!» или что-нибудь в этом роде, но беда в том, что он уже успел прочесть это стихотворение г-ну А., и тот «был в восторге» от него, или г-же Б., и та «была глубоко взволнована», а мы не испытывали ни восторга, ни волнения — ну, и прощай хорошее расположение духа А.! Надо, однако, вспомнить, что в спокойные минуты А., как ни любил похвалы, все-таки вернее понимал мнения своих истинных друзей, а к льстивым похвалам относился даже с недоверием. В такие, к сожалению, редкие минуты он чувствовал, что преувеличенные похвалы были ему во вред, и говорил: «Люди вбивают мне в голову глупости!» Я сознаюсь наконец, что мы — по крайней мере я — не были достаточно снисходительны к его слабостям, особенно к той из них, что досаждала мне больше всего — к страсти исключительно говорить о себе или о своих трудах. В общих разговорах он редко участвовал, хотя случалось ему иногда и высказывать какое-нибудь мнение очень решительным тоном, но опровергать возражения он уже воздерживался.

Попытаюсь теперь перенести твое внимание с нашей семьи на семью адмирала Вульфа, на которой тоже лежит доля ответственности за общее отношение к А. тогдашних его современников; в этой семье А. бывал

почти так же часто, как и у нас. В адмирале Вульфе была какая-то странная смесь моряка, любителя искусств, придворного, поэта и переводчика Шекспира. Он был добр к А., но добр свысока. А. никогда не мог так сойтись с ним, как с женщинами его семьи и одно время с сыном Христианом. Важнейшую роль по отношению к первоначальному умственному развитию А. играла сама г-жа Вульф. Она зорко следила за ним еще с того времени, когда он сидел на школьной скамье; позже внимание ее было устремлено, может быть, больше на его недостатки, нежели на достоинства; во всяком случае она постоянно обращалась к нему с увещаниями и наставлениями, что раздражало его. Разные, с виду жесткие выражения, которые А. приводит в своих воспоминаниях об этой поре своего развития, принадлежат именно ей, но судить ее по ним было бы несправедливо. Она вращалась в кружке людей с тонко развитым эстетическим вкусом, где ж было А. выдержать в ее глазах сравнение со знаменитостями того времени, а между тем он в минуты увлечения требовал этого, и она негодовала. С младшей дочерью, Идой, А. не был особенно близок, она и не претендовала оказывать на него влияние, но до самой смерти его осталась ему верным другом, и он был ее постоянным гостем. Противовесом же строгому отношению к А. стариков Вульфов было сердечное, задушевное отношение к нему старшей дочери Генриетты, о которой А. так тепло, хотя и в немногих словах, отзывается в «Сказке моей жизни».

История ранней авторской деятельности А. представляет примеры столь разноречивых мнений о его таланте, что, не смея заподозрить его судей в пристрастности, невольно поддаешься желанию доискаться причин столь различного отношения. Чем, например, объяснить такую разницу в отношениях к А. заграничных и датских критиков? Разве духовный склад германского народа так уж отличается от нашего? В Германии прежде, а может быть, еще и во времена Андерсена, была сильно развита сентиментальность; у нас же ярко выступает, пожалуй, даже преувеличенная склонность к юмористическому, и мы посмеиваемся над всем сентиментальным. Наглядным примером может послужить прием романа А. «Только скрипач». В Германии он имел огромный успех — я убедился в этом лично: А. величали и рекомендовали как автора романа «Только скрипач». В Англии, стране далеко не сентиментальной, об этом романе отзывались как об одном из интереснейших произведений современной литературы. А у нас в Дании, как о нем отзывались? Приведу тебе знаменательные слова Сёрена Киркегора:¹ «Погибает в романе под гнетом обстоятельств не гений, а нытик, которого почему-то признают гением, он же только тем и напоминает гения, что тоже вынужден чуточку бороться с превратностями судьбы, да только не побеждает их, а падает

¹ См. «Сказку моей жизни», стр. 113. — Примеч. перев.

под их бременем». Вот голос одного из тех людей, которые ежедневно видели А. в действительной жизни и видели его самого во многих его произведениях. Гаух, напротив, разделяет мнение немецких почитателей А. и говорит, что А. «является в своих произведениях ратоборцем не только за поставленных в неблагоприятные условия талантливых людей, но и за всех униженных и оскорбленных, и горький личный опыт дает ему возможность рисовать нам такие захватывающе правдивые картины, которые не могут не оставить глубокого впечатления в душе каждого отзывчивого человека».

Я раз как-то советовал А. сделать перепись своим поклонникам и противникам (здешним и заграничным) и затем вычесть число последних из числа первых, и при этом заверял его, что он останется доволен результатом. Относительно славы А. как автора сказок не может быть никаких сомнений, сказкам и отчасти романам он и был обязан своей славой в Германии и в Англии; не берусь решать, как далеко вообще распространилась по свету эта слава, но во всяком случае она достигла Америки. К. Рафн писал А. в 1850 году, что ему сообщают из Америки: «Меня со всех сторон осаждают вопросами — не собирается ли А. посетить Америку; в таком случае его путешествие обратилось бы в сплошное «триумфальное шествие». Что же до его лирических произведений, то я не думаю, чтобы они за границей пользовались большим успехом, нежели на родине. На драматические же за границей, по-видимому, и совсем не обращали внимания, по крайней мере заграничная критика. Нельзя сказать, чтобы так же относились к ним на родине А. Но вернемся к его сказкам. Брандес делит авторскую деятельность А. на два периода: в первом А. является «гонимым зверем в датской литературе», во втором — «счастливым поэтом-сказочником». Я ничего не имею против самого подразделения, но не согласен с краткой характеристикой первого периода. Нетрудно, конечно, понять, что взгляд на А. и его авторскую деятельность человека, близко знавшего его с юности и до старости, будет отличаться от взгляда человека, знавшего А. лишь недолгое время и создавшего о нем представление отчасти по «Сказке моей жизни», отчасти по своему собственному гениальному взгляду на его сказки. Статью Брандеса об А. стоит прочесть, стоит и поговорить о ней¹. Главным образом заставили меня заговорить о ней вступительные слова ее: «Таланту необходимо мужество. Нужно мужество, чтобы довериться своему внутреннему влечению, надо быть убежденным, что вдохновенная мысль, зародившаяся в твоём мозгу, здорова, что форма, которая кажется тебе естественной, как бы она ни была нова, имеет право на существование; надо быть готовым заслужить прозвище аффектированного

¹ Статья эта напечатана в сборнике «*Kritiker og Portrætter*» (в немецком переводе «*Moderne Geister*»). — Примеч. перев.

безумца, прежде чем довериться своему инстинкту, куда бы он ни увлекал тебя. Арман Каррель говаривал: «Я пишу не как *пишут*, а как я пишу, и это особый признак таланта».

Слова эти, взятые в общем смысле, дают как бы отпущение большинству писательских грехов — кроме «манерничанья и кривлянья» — и, следовательно, снимают с А., каким он был в ранний период своей литературной деятельности, всякое порицание. А., следовательно, был прав, когда отвечал на упреки в небрежности по части языка: «Это моя особенность». Брандес, разумеется, не то хотел сказать, об этом свидетельствует его замечание, что сказки кое-где грешат ошибками против языка и особенно германизмами. Брандес желает только отстоять до сих пор неизвестный способ изложения, утверждая, что «талант имеет право создавать новые формы, раз ни одна из общепринятых и известных его не удовлетворяет, и раз он нашел ту сферу, в которой эта форма на своем месте. Таковую сферу А. нашел в сказке».

Верное и прекрасное положение, если применить его к смелой претензии А. «писать, как говорят». Невольно приходит мне на память то время, когда А. искал свою «сферу». Ты сама принадлежишь к тому поколению, которое в детстве слушало его устные рассказы, и, конечно, хорошо помнишь их. Несколько слов, чтобы освежить эти воспоминания. Во многих семьях, где А. бывал, были маленькие дети, с которыми он возился. Он рассказывал им разные истории, частью сочиняя их тут же, частью пересказывая старые, известные сказки. Но что бы он ни рассказывал, свое ли, чужое ли, он рассказывал настолько своеобразно и живо, что дети бывали в восхищении. Его самого тешило давать волю своему остроумию, речь его лилась, не иссякая, приправленная свойственными детям выражениями и подходящими жестами. Даже самое сухое, простое положение он умел оживотворить, например, он никогда бывало не скажет: «Дети сели в экипаж и поехали», а: «Ну вот уселись дети в экипаж — прощай, папа, прощай, мама, — кнут щелк, щелк, и покатили. Эх ты, ну!» Слышавшие впоследствии сказки А. в его собственном чтении могут составить себе лишь слабое понятие о своеобразии и живости устной передачи их А. в кругу детей.

В то время ему вряд ли еще приходило в голову, что можно воспользоваться подобной передачей для чего-нибудь другого, кроме развлечения детей. Но огромное удовольствие, которое доставляли эти устные рассказы всем слушателям, невольно навело его на мысль: а нельзя ли, дескать, расширить круг слушателей, прибегнув к печати? Но и в печати рассказы эти должны были сохранить живость устной передачи, никакая иная была бы неуместна. Едва ли А. первоначально предназначал сказки для самостоятельного чтения детей; предполагалось, что взрослые будут читать или рассказывать их детям, придерживаясь, сколько возможно, тона А. Первая попытка и была сделана в 1835 году, когда вышел

первый скромный выпуск сказок, стоивший 24 скиллинга. Цена была общедоступная, и книжка нашла себе хороший сбыт. Мало-помалу из отдельных выпусков выросли два тома сказок и рассказов (с 1835-го по 1842 г.), выдержавшие множество изданий. Ну, а что говорила о них критика? «Литературный ежемесячник» видно смотрел на них как на безделки, даже не относившиеся собственно к датской литературе. Если ты примешь это за доказательство умственной ограниченности тогдашнего времени, то я спорить не стану.

Из понятного опасения быть слишком многословным, я упомянул далеко не о всех проявлениях болезненно-тревожного состояния души А. Для более верного понимания его натуры необходимо, однако, коснуться его мнительности и изменчивости его настроения.

Мнительность А. проявлялась уже и в ранней его юности, но в ней еще не было болезненного оттенка. Причиной ее являлась просто необузданность фантазии А.; он видел опасности там, где никто другой их не видел бы. Разумеется, нет ничего невероятного в том, что он в своих бесчисленных путешествиях по чужим краям иной раз и попадал в опасное положение, но те-то многочисленные опасности, о которых он то и дело сообщал в своих письмах, я уверен, были созданы одной его фантазией. У А. была просто какая-то мания представлять себе всевозможные опасности и затем расписывать их, точно он и в самом деле подвергался им. Особенно много материала для таких описаний давали ему путешествия по железным дорогам и по морю. Не диво еще, что он при сильном ударе волн в борты судна полагал, что оно налетело на мель, но характерно для него то, что он, даже убедившись в ошибке, все-таки описывает нам свои ощущения по поводу «мели». Вот почему также он писал: «Римские катакомбы очень опасны, но я с D. и N. спускался в них; отлично сошло, а вот Мольбек побоялся!» Вот почему он рассказывал, например, что побывал в Танжере в таком месте, где «два года тому назад видели львов». О том, с каких ранних пор развилась в нем эта черта, свидетельствует его письмо, писанное еще в мае 1826 года, когда он предпринял небольшую поездку по Зеландии. «Поездка была не совсем безопасна — дорога шла с горки на горку».

Особенно же проявлялась его мнительность, если дело шло о его здоровье, хотя он несмотря на всю свою нервность обладал прекрасным здоровьем. Я не запомню, чтобы он хоть раз был болен серьезно до последней своей серьезной болезни. Да и эту даже он перенес почти что на ногах. Зато в его письмах часто встречаются жалобы на зубную боль; он действительно много страдал от нее, и вот о ней должны были знать все его друзья, а доктора должны были давать ему советы. Стоило врачам прописать ему какое-нибудь, хотя бы совершенно бесполезное средство, и он успокаивался. Недаром Христиан Вульф пишет ему в одном письме: «Тебе бы только принимать в день на несколько рикс-

далеров лекарств — тогда все отлично». И так оно и продолжалось, почти не проходило дня, чтобы он не сообщал нам какого-нибудь нового «случая» вроде, например, появления у него на руке красного прыщика; и он непременно желал показать его Теодору¹, — не опасное ли что-нибудь? Обыкновенно ему отвечали, что, пожалуй, это чесотка, а может быть, и чирей; такая шутка доставляла ему большое удовольствие. Вернее всего, что он обращал внимание на такие пустяки больше по привычке. Но в сообщении его, например, о собаках г-жи Серре или в письме к Ингеману (1855 г.) о кошке, которая укусила ему палец, все-таки проглядывает известное беспокойство, хоть он при этом и подшучивает над собой.

Жаль, что я при жизни А. не вел записи всем этим «опасностям» и «случаям», если бы я затем показал ее когда-нибудь ему самому, он бы, наверное, от души посмеялся. В нем вообще так сильно было развито чутье ко всему комическому, что оно брало верх даже над его самолюбием, и он, видя себя в комическом положении, сам забавлялся этим (разумеется, только в нашем тесном дружеском кружке). Особенно часто случалось это с ним в беседах с твоей матерью, когда она, например, ловила его на какой-нибудь невинной лжи. Бывало также, что он рассказывал ей о каком-нибудь истинном происшествии, причем и не упоминал о себе, но можно было догадаться, что речь идет о нем, хотя он и рассказывал все таким невинным тоном, как будто он тут ни при чем; в таких случаях мать твоя обыкновенно говорила: «Знаю, знаю, к чему вы это клоните! Меня, семилетнего лисенка, не проведете!» И он ликовал от радости, что его изловили. Самый смех А. был довольно своеобразным — троекратно повторяющееся «ха», видимо, вырывавшееся из глубины души. И как он бывал мил в такие минуты! Все мы не нарадовались, глядя на него.

Вернусь опять к его мнительности. Относительно еды и питья он проявлял особенную осторожность, легко переходившую в мнительность. Вот пример. Долгое время он обыкновенно каждое утро выпивал у нас чашку салепного отвара; однажды девушка, против обыкновения, приготовила отвар на кухне; нельзя было и убедить А. дотронуться до чашки — он боялся, что девушка, пожалуй, ошиблась и вместо мелкого сахара всыпала в отвар мышьяку.

Сильно опасался он также быть погребенным заживо. Но мера предосторожности, которую он принимал против этого, была довольно-таки своеобразна. Он долгое время не ложился вечером в постель, не оставив на ночном столике записки: «Я только обмер!» Говорить же о том, как проявлялась его мнительность во время его последней болезни, я не нахожу нужным.

¹ Брат Э. Коллина, доктор. — Примеч. перев.

Перейду теперь к изменчивости его настроения, которая также была одной из его характерных черт. Пропущу многочисленные доказательства, которые можно почерпнуть из писем А. в период его пребывания в гимназии, и укажу только на некоторые примеры из раннего периода его литературной деятельности. Должен, однако, предварительно сказать, что не следует всегда принимать его слова за истинное выражение его душевного настроения.

Если ему подвертывалось какое-нибудь острое словцо или выражение, характеризующее данное лицо или положение (а за такими словцами он в карман не лез), то он не стеснялся и преувеличить дело. В обыденной жизни, в тесном кружке друзей он так и сыпал такими словцами и афоризмами, много их рассыпано и в его письмах. Одним из самых резких примеров может послужить следующая строфа, которая появилась даже в печати:

В минуту тяжелую друг мой собрал
Житейского яда все капли в бокал
И подал мне: «Пей на здоровье!»¹

Он, впрочем, прекрасно знал, что меня это нисколько не взволнует, он, часто грозил мне, что допечет меня таким-то или таким-то выражением, но дело обыкновенно кончалось тем, что он говорил: «Досадно, право — ничем вас не разозлишь!» Иногда, впрочем, резкие выражения его были вполне искренними. Так, например, он называет своих рецензентов «мокрыми собаками», которых «невольно хочется отхлестать» за то, что они «забираются в комнату и располагаются в самых лучших уголках».

Самым ярким примером изменчивости его настроения может послужить история с «Агнетой».

А. читает ее в Риме Торвальдсену и другим художникам, и всех их поэма глубоко трогает; затем он получает с родины от друзей сообщения, что «они тронуты до слез», и вдруг оттуда же приходит критика Мольбека и Гейберга о двух водевилях А. и мое пресловутое письмо, ну и вот, он «обесчещен», «все его надежды лопнули, как мыльные пузыри», он «осушил кубок яда, поднесенный ему друзьями»...

Вот образчики, по которым можно проследить изменчивость его настроения, — все по поводу той же «Агнеты» (1834 г.).

18 марта (из письма 2-же Лэссё). «Переломили у птицы маховое перо. Сам Бог даровал мне духовный дворянский диплом, а люди его разорвали. Моя радость, моя надежда, мое счастье — все висело на одной нити — и ее перерезал мой лучший друг».

16 мая (Людвигу Мюллеру). «Эдвард мой вернейший друг».

26 мая (мне). «Ваше сердце, может быть, не нуждается в моем, но мое-то в Вашем нуждается».

¹ См. «Сказку моей жизни».

17 июня (Генриетте Вульф). «Меня оскорбил человек, которому я открывал всю свою душу. Поэт умер; его убили в Италии».

11 июля (моему отцу). На свете все-таки много добрых людей, и поэты, утверждающие, что земля юдоль печали, переполненная негодьями, заслуживают хорошей трепки».

11 июля (мне). «Скоро увидимся! Пожалуй, Вы возмужали на вид? Смотрите, встретьте меня ласково, по-братски!»

3 августа он опять «вернулся под отчий кров, к дорогим друзьям», а в октябре... «у Коллина был обед для литераторов. Гостями были Герц, Гейберг да я, или вернее — как сказал сам Коллин — гостями были только двое первых, так как А. — сын дома. Гейберг был остроумен, Герц глух, но юн душой, я же забавен. Да, Вы не поверите, каким я стал молодцом. Коллин-отец говорит: «Пожалуй, он стал теперь довольно солидным парнем, но старые замашки все еще при нем остались». Г-жа Древсен и Луиза уверяют: «Он стал таким веселым, шаловливым».

Итак, убитый поэт довольно скоро и основательно ожил — до новых огорчений. Но от прежних своих требований к друзьям А. и не думал отказываться. Кризис миновал благополучно в отношениях его к одному из его менторов, не то вышло по отношению к другому. В письме к Генриетте Вульф он, констатируя факт примирения со мною, говорит, что терпеливо выслушивает глупости людские, что вежлив и прикидывается скромным («хотя прежде-то, когда я так много носился с собою, я был куда скромнее», — прибавляет он), и очень доволен, разыгрывая всю эту комедию. Но все это одна фантазия, испаряющаяся, как дым, при первом же столкновении с действительностью. Виновницей является тут г-жа Вульф. Она не отказалась от прежней своей манеры обращаться с А. и по-прежнему желает читать ему нравоучения. И вот он пишет своей подруге: «Да, Ваша матушка глубоко оскорбила меня. Мы по-прежнему видимся с нею раз в неделю, разговариваем, но — в сердце моем сидит жгучая заноза, и это воздвигает между нами стену».

А. и г-жа Вульф взаимно раздражали друг друга: она его своим менторским тоном, он ее своими необдуманными выходками и желанием считаться наравне (а то и выше) с наиболее выдающимися из современных писателей. Эти-то необдуманные выходки, вырывавшиеся у А. в минуты раздражения, много повредили ему вообще.

Есть одно обстоятельство в моих отношениях к А., которое я охотно бы обошел молчанием. Маловероятно, чтобы оно ускользнуло от твоего внимания — слишком часто оно затрагивается в письмах А., — и если ты все-таки не завела о нем речи, то я приписываю это твоей деликатности. Мне предстоял выбор: или выкинуть из писем А. все места, где затрагивается это обстоятельство, или умолчать теперь о нем в надежде, что эти места затеряются в общей массе писем, или, наконец, откровенно высказаться по этому поводу. Первого я не хотел — я вообще не выпустил из

писем А. ради меня лично ни одной строки, которая бы могла послужить к освещению его личности; от второго я также отказался — надежда могла не оправдаться, и читатели могли потребовать от меня объяснений. Почему я остановился на третьем, покажет заключение этого письма. Итак, к делу.

Вскоре после своего первого отъезда за границу в 1831 году А. написал мне письмо, в котором предлагал мне быть с ним на «ты». Я вполне откровенно и в самом дружеском тоне ответил на это, что вообще питаю антипатию к «тыканью», если оно не ведет начала с детских лет. Я признался ему, что таким уж я уродился. Не стану скрывать, что главной причиной моего отказа было несоответствие наших натур. Я был молод и жизнерадостен и желал иметь «товарища», но в А., с его тяжеломертвительным характером, я найти такого не мог. Он, со своей стороны, мечтал обрести во мне идеального друга в романтическом вкусе, а я для этой роли совсем не годился.

Как же отнесся А. к моему отказу? Самым милым и приятным для меня образом, о чем свидетельствует его письмо ко мне от 11 июня 1831 года. Но воспоминание об этом нет-нет да и прорвется бывало в его письмах впоследствии.

Теперь объясню почему я остановился на этой ребяческой истории. Между бумагами А. я нашел неоконченное письмо его к моей жене, помеченное 3 октября 1865 года и писанное из Стокгольма. В письме этом, как и одновременно в письме от того же числа ко мне, А. описывает свою радость по поводу сердечного приема, оказанного ему шведами и, приводя следующую пропетую ему песню:

Der kommor han, der kommor kungen,
Var barndoms, våra drömmers kung,
Se diktan, ur hans hjerta sprungen,
Og vid hans sida evig ung.
Hun er hans brud, han har ei annan
Än den af himlen sjelf han fik...¹ —

прибавляет: «Последние строки наводят на меня особенную грусть. Я так глубоко чувствую свое одиночество, сердце мое жаждет иметь родной дом и семью. Да простит мне это моя муза! Она ведь доставила мне почести и кусок хлеба, но сердце жаждет большего. Сегодня Бесков давал большой обед в честь меня». (Здесь он внезапно начинает капризничать.) «16 лет тому назад я тоже был здесь, и этот высокочтимый поэт и заслуженный государственный деятель сказал мне: «Андерсен, будем на «ты». Я был смущен такой честью, но должен был согласиться. Вы знаете, что я в порыве юношеской любви предлагал то же самое

¹ Вот он идет, идет король, король наших детских, юношеских мечтаний. Смотри на шествующую с ним рядом вечно юную музу. Она его невеста, у него нет другой, кроме той, которую даровало ему само небо...

Вашему мужу. Он не захотел, хотя и пил в то времена «ты» с почтенным ***. Никогда я не забуду этого. Ему должно льстить, что я до сих пор еще вспоминаю и пишу об этом. Сегодня вечером воспоминание охватило меня с особенной силой, так как Бесков высказал, какое значение придает такому братанию. Но насколько же ближе стоим друг к другу мы с Эдвардом, а вот не на «ты». Я люблю его по-прежнему, как и в то время, когда видел в нем сына именитого Коллина, а сам был бедняком Андерсеном, которым всякий помыкал. — Зачем же я пишу все это Вам, которую я глубоко уважаю и ценю, которой не хочу сказать ничего неприятного? Когда меня вот так превозносят, чествуют самые почтенные, именитые люди, прошлое встает передо мною как-то особенно ярко. Я чувствую, что я ничто без Творца, но чувствую в то же время, что люди часто не хотят видеть, что на мне почиет рука Божья, и вся кровь бросается мне в голову. ...У Бескова собрался самый избранный кружок».

На этом письмо обрывается. Так вот что писал А., человек уже старый, и писал после 30—40-летней дружбы со мной, на которую эта ребяческая история не бросила ни малейшей тени. Разве это не прямо болезненное проявление? Если ты теперь спросишь, зачем я расшевелил всю эту старую историю, которая в глазах многих выставит меня в неблагоприятном свете, то я отвечу, что эта история ярче всего свидетельствует о самой печальной особенности характера А. — его мании вызывать в себе воспоминания обо всем неприятном, выпавшем ему на долю. Он сам себя терзал этими воспоминаниями; такие вспышки не были чертами его характера, но болезненными отклонениями. В ежедневной жизни, в нашем кругу мы почти и не замечали их в нем, но стоило ему вдали от родины очутиться в одиночестве (особенно после дня, проведенного в чадѹ чествования), и фантазия сейчас начинала рисовать ему сопоставления родины с границей; перед ним всплывали всевозможные самые мелкие случаи из его молодости, говорившие о недоброжелательстве к нему, о непризнании его таланта и проч. Настроение духа становилось настолько тяжелое, что надо было облегчить себя, и он изливал свою душу в письмах, которые посылал домой к тем, у кого надеялся найти сочувствие к своим жалобам. В Веймаре, где его так ласкали высокопоставленные лица, он не может забыть «Литературного ежесемесечника» и жалких газетчиков. Часто он записывал свои излияния на клочках бумаги, которых и нашлось после него немало. Вот, например, что написал он, прочитав одну критику на себя:

В саду улитка черная сидела,
На розу злясь: «Как хвалят все ее!
«Как хороша!» А мне какое дело?
Я вот взяла и плюнула в нее!

Не стану описывать его последней болезни, но не могу не упомянуть о тогдашнем состоянии его духа. Естественно, что упомянутые лихорадочные вспышки проявлялись теперь и чаще, и сильнее. Он чувствовал потребность

изливать свою душу перед другими, даже перед посторонними; и рассказывал о давних обидах с такой горечью, какой в действительности они в нем никогда не вызывали. Даже моему отцу, наиболее любимому им человеку в жизни, он не мог теперь простить какого-нибудь мимолетного недоразумения, случившегося лет 40 тому назад, и рассказывал об этом с жаром, как о какой-то кровной обиде, притом людям совсем посторонним. Было бы при-
скорбно, если бы свидетели подобных вспышек сочли их чем-то иным, кроме проявлений его болезни. Сам я лично мало слышал от него подобного, но вот, например, мне передавали, что А. в старости приходил в сильнейшее волнение, вспоминая и рассказывая о том, как однажды, когда он был у нас, вошел Стеффен, и мой отец не представил его Стеффену.

Но когда эти вспышки проходили. А. сам сознавал свое положение и искренно печалился. Однажды он даже послал за моей женой слугу, прося ее сейчас же прийти к нему. Она пришла, и он встретил ее восклицанием: «Что мне делать! Меня осаждают дурные, злые мысли!»

Пора мне и кончить. Я вполне согласен с тобой, что лучше всего можно выяснить личность А. посредством сообщения выдающихся черт из его жизни и его собственных взглядов на самого себя. Начну поэтому с некоторых, хотя и мелких, но все же не бесполезных для общей характеристики А. черт.

Если спросят, водились ли за ним какие-нибудь таланты, я отвечу: да, и назову некоторые. Но сначала я заговорю о таланте, которого он был совсем лишен — таланта к изучению языков. Он чувствовал этот свой недостаток и сам первый смеялся над ним, хотя, может быть, только в нашем кругу. Из множества анекдотов, ходивших об А. по этому поводу, приведу некоторые. А. как будто намеренно завязывал разговоры, которые всякого другого поставили бы в неловкое положение. Так он рассказывал сам, что, встретив на пароходе во время плавания по Дарданельскому проливу перса, он сказал ему: «Берешит бара!», на что тот ответил: «Yes». Но это-то была только шутка, а вот далеко не шуткой было вращаться между немцами, французами и англичанами, не зная их языка.

В Германию он попал еще в молодости; здесь уже нельзя было удовольствоваться таким разговором, как с персом; здесь А. был принят в семейных кружках, а «da hilft kein Maulspitzen, heir muss gepfiffen werden» (тут мало надуть губы, надо свистнуть). А. очень огорчало, что он никогда не мог настолько выучиться немецкому языку, чтобы писать на нем: между тем у него впоследствии завязалась обширная переписка со многими немцами, приходилось прибегать к посторонней помощи, и это его, конечно, очень стесняло. Говорить же он мало-помалу наострился, но до невозможности неправильно. Французский язык дался ему еще труднее. Замечательная память помогала ему усваивать запасы слов, но связывать их в предложения он не умел; чтобы помочь горю, он все глаголы употреблял в неопределенном наклонении и большинство существительных

причислял к женскому роду. Если память изменяла ему, он заменял ускользнувшее слово каким-нибудь другим подходящим или пантомимой.

Едва ли лучше знал А. и английский язык; по крайней мере он сам рассказывал, что Диккенс однажды сказал ему: «говорите лучше по-датски, я лучше пойму». Еще мне передавали следующий анекдот о нем. Кто-то посоветовал ему во время его пребывания в Лондоне записать на бумажку название своей улицы и, если заблудится, показать записочку полисмену. А. последовал совету, остановился на углу улицы, где жил, и списал надпись «Stick no bills» («Запрещается наклеивать афиши»). Заблудившись, А. показал свою записку полисмену и в результате очутился в полиции, откуда его выручил уже датский консул, поручившись, что он не помешанный.

Возвращаясь к его талантам, начну с того, который развился в нем прежде всех остальных — таланта к шитью. Недаром мать питала несбывшуюся впоследствии надежду увидеть сына портным. Забавно, что любовь к шитью не проходила с годами. А. никогда не пускался в путь без иглы и ниток, он сам пришивал себе пуговицы к панталонам и штопал чулки. Слово «штопать» не совсем, впрочем, точно. А. вырезывал из одного чулка заплатки и накладывал на дырки других чулок. Многие рукописи А. также пестрят такими заплатками и нашивками.

В юности А. готовился к карьере певца. Известно, что учителем его был Сиббони, но голос изменил А., затем он опять вернулся, и еще в мае 1837 года А. писал по поводу устроенного студентами представления, сбор с которого предназначался на сооружение музея Торвальдсена: «У меня маленькая, но все-таки сольная партия, и я должен присутствовать на репетиции». Вообще он всегда очень любил драматическую музыку.

Еще я причисляю к его талантам умение извлекать пользу из всякого материала. С непостижимой быстротой проглядывая целую кучу газет, он всегда умел найти в них не только все, что говорилось о нем самом, но и кое-что подходящее, какой-нибудь материал. Ингеман пишет ему: «Счастливый Вы человек! Начнете рыться в уличной канаве — найдете жемчужину!»¹ О его умении схватывать черты и выражения ближайших окружающих я уже упоминал.

А. был одарен большим вкусом и в молодости часто проявлял его, принимая участие в приготовлениях к разным семейным торжествам. Если он и не был любителем-знатоком цветов, то во всяком случае очень любил их и умел красиво группировать. Из полевых и лесных цветов он составлял, по отзывам знатоков, очень изящные букеты.

Коснусь мимоходом и его таланта к рисованию. Этот талант очень пригодился ему во время первых его путешествий, когда фотографий еще не было, а приобретать рисунки было ему не по карману. Вот А. и

¹ См. Прибавление к «Сказке моей жизни».

привозил с собою массу собственноручных рисунков, которыми очень дорожил, так как они несмотря на все свое несовершенство все-таки помогали ему вспомнить дорогие места и предметы. Коллекция этих рисунков хранится у меня.

Более известен его талант к вырезыванию. Многие, я думаю, еще вспоминают ту удивительную легкость, с какой он при помощи одних ножниц, быстро поворачивая бумажку во все стороны, создавал силуэты людей, зверей, ландшафтов и т. п. Специальностью же его были две фантастические крайности: танцовщица, стоящая на носке одной ножки, и вор на виселице; эти фигуры часто встречались и в его вырезных арабесках.

Еще один талант, малоизвестный, но более всего пригодившийся А. в жизни, это — его практичность. Талант этот развился благодаря строгой пунктуальной расчетливости, которой он должен был придерживаться во время своих первых путешествий, когда обстоятельства принуждали его к самой строгой бережливости. Впоследствии это пригодилось ему и для следующих поездок, и вообще в жизни. Прежде чем отправиться в путешествие, А. обыкновенно набрасывал точный план его, с подробным обозначением мест и продолжительности остановок, а также исчислением всех расходов до мелочей. И план выполнялся обыкновенно пунктуально. При ведении финансового хозяйства на родине, он постоянно имел в виду основную статью его — резервный фонд, о котором так часто забывают.

Закончу теперь определением существенной черты характера А., которая так открыто проявляется в его письмах ко мне и ко всему нашему семейству. Этой черты его характера не могли затемнить в моих глазах никакие увлечения его фантазии, я знал его душу и знаю, что он был добр. Те, кто хорошо знал А., поймут меня без дальнейших объяснений, для других же я поговорю о том, как эта его доброта проявлялась.

Он всегда готов был выслушать всякого, прибегавшего к нему за помощью или утешением, и был неутомим в изыскивании способов помощи. А. был также очень добродушен, правда, тяжелые испытания часто выводили его из себя, по это еще ничего не доказывает. И добродушием его часто злоупотребляли; я знаю, как ему докучали разными просьбами и не только о деньгах¹.

¹ Кто-то прислал ему свою копилку с просьбой позаботиться о том, чтобы «она пополнилась». Особенно же надоедали ему разные авторы. Один писал ему, что желает «посвятить себя поэзии, надеясь пробить себе дорогу и заручиться средствами для другого предприятия», другой сообщал, что вступил на литературное поприще в силу «прирожденного гения, которого добился», а одна дама, пославшая ему пачку своих стихов, рекомендовала самому А. написать книгу, которая бы «перешла в вечность». Содержание ее должно было охватить все, начиная с сотворения мира и Ветхого Завета. На случай, если бы А. почувствовал одного себя не в силах справиться с такой задачей, дама рекомендовала ему взять себе помощников. И с такими-то людьми А. входил в объяснения. — Э. К.

А. был в высшей степени услужлив. Г-жа Лэссё тоже свидетельствует об этом в одном письме: «Готовность услужить людям — вот что еще сохранили Вы от своего добродушия».

Прекрасной чертой в его характере было также чувство справедливости. Я много раз убеждался в том, какие усилия он делал над собой, чтобы побороть в себе чувства личной антипатии к людям и судить о них беспристрастно.

Он искренно любил искусство и все прекрасное, причем выражал свои чувства всегда необыкновенно страстно; если другие радовались, он ликовал.

Родину свою он любил горячо. Я бы не заговорил об этом, если бы иногда не сомневались в этой любви, вследствие многочисленных дружеских связей А. за границей и постоянного стремления туда. Но этому нечего и удивляться: он знал, что его высоко ценили там, и в то же время на родине чувствовал себя просто лишним.

А. был благочестив. И благочестие его никогда не было мертвым. Мысль «огорчить Бога» удерживала его в жизни от многих соблазнов, но он редко говорил об этом. В одном из его писем я нашел следующий отзыв о книге «*Eritis sicut deus*». «Эта книга показывает, как наука, или вернее философия, может заблуждаться и, отрицая лично Бога и отвергая откровение Божие, вносить несчастье в общественную и семейную жизнь».

Его чистые душа и сердце, его ничем не запятнанное нравственное сознание так и сквозят во всех его творениях; он никогда не проявлял поползновения сдобрить свое изложение скабрёзными и двусмысленными намеками.

В дружбе А. был верен, но и тут многие судили о нем ложно. Что же касается до нашего кружка, то он остался нашим другом до конца. Вот одно из последних доказательств этой дружбы: сам опасно больной и разбитый и душевно, и телесно он поехал проститься с твоей матерью, лежавшей при смерти. Этой трогательной последней встречи я не забуду никогда.

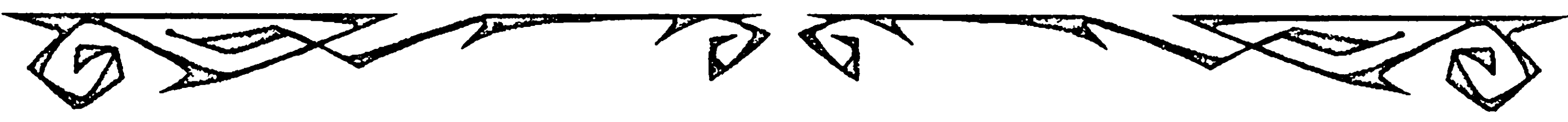
А теперь, надеюсь, что ты понимаешь и А., и мой взгляд на него лучше; надеюсь, также, что теперь и ты, и все другие, находящиеся еще в живых знакомые А., скажут то же, что один из самых молодых, но близких друзей его; он, прочитав мой труд в рукописи, сказал: «Теперь я люблю А. еще больше, чем прежде». — Твой дядя Эдвард.

Свет смотрел на А. как на его «Петьку-счастливуца». Как далеко такое представление от истины. Едва ли проходил для него без огорчения хоть один день; если не было повода для истинного, то фантазия услуживала ему воображаемым. Но если он не был «Петькой-счастливецем»

в жизни, то уж тем меньше в смерти; он не покинул света, как тот, среди грома рукоплесканий, в упоении торжества; последние дни А. текли тихо и мирно, дав ему возможность сосредоточиться в себе, забыть суету мира и встретить смерть вполне спокойно, с полной преданностью воле Божьей.

Мы, знавшие его, с благодарностью и грустью сохраним память о его полной веры душе и согретом горячей любовью сердце.





ЗАМЕТКИ ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ Г. Х. АНДЕРСЕНА

[Статья эта принадлежит проф. Вильяму Блоку и была напечатана в датском еженедельном издании «Noer og Fjern» («Вблизи и вдали») в №363 и 364, в июне 1879 года]

Если сынишке бедного башмачника вздумается сделаться знаменитым человеком, и он, уповая только на дарованные ему Богом способности, не имея ни средств, ни познаний, ни протекции, отправляется по белу свету, чтобы достичь своей цели, нетрудно предсказать ему всякие горести и испытания. Не так-то просто сделаться знаменитым человеком. Многие, кому не удалось достигнуть этой цели, испытывают какое-то странное утешение, мешая достичь ее и другим, подставляя им ножку и прочее. Для борьбы с подобными препятствиями нужно обладать необычайной энергией, твердой волей, непоколебимой верой в свое призвание; тому же, у кого нет этих качеств, борьба не под силу. Детские мечты его утрачивают свой золотистый отблеск, злоба и подозрительность отравляют его душу своим ядом. Но вот диво! Если он, паче чаяния, достигнет своей цели, свет не особенно гонится за тем, чтобы столкнуть его с пьедестала; быть может, главным образом потому, что с ним тогда уже труднее справиться.

Андерсен принадлежал к числу редких и счастливых исключений: ему удалось увидеть, как его юношеские мечты стали действительно-стью. Бедный мальчик, ходивший в деревянных башмаках, умер знаменитым человеком, в чинах и орденах, любимцем коронованных особ и народа. Но прежде чем достигнуть этой высоты, ему, при его чувствительности и раздражительности, пришлось изведать немало горя. Он испил полную чашу унижения и презрения, отведал критических плетей своих земляков, и нельзя не согласиться с ним, когда он говорит, что яблоко бессмертия отзывается для него горечью. Но пришло время, и мытарствам его настал конец. Когда имя его стало известно всему миру, наши доморощенные критики попрятали свои плетки, по-

смеиваясь себе в бороду при мысли, что досталось-таки ему порядком, и — все приняло другой оборот. В последнее десятилетие своей жизни он не мог не видеть, что, в общем, все относятся к нему доброжелательно. Люди, пожалуй, считали за собой старый должок, оставшийся за ними еще со времен его тяжелых дней, когда общее непризнание его таланта, часто переходившее в глумление, заволакивало его жизнь густым туманом, редко прорываемым слабыми солнечными лучами, и вот похвалы стали сыпаться на него настолько же щедро, насколько прежде скупо. Его прославляли, чествовали и ласкали, точно ребенка в день рождения; слабостей его вовсе не хотели видеть больше, боясь допустить появление малейшей тени на светлом фоне его славы. И если редкий раз похвалы эти казались кое-кому чрезмерными, если находили, что и он не без слабостей и что не мешало бы по этому поводу говорить правду, таким лицам оказывали тот энергичный отпор, который вообще люди дают лишь тогда, когда чувствуют задетыми себя лично и изо всех сил стараются замять всякие разговоры или намеки на этот счет.

Изысканное личное внимание, оказываемое А. в эту эпоху его жизни, могло бы послужить прекрасным и неоспоримым доказательством всеобщей любви к нему, если бы только можно было безусловно доверяться его искренности. Но подобное признание родного таланта у нас явление настолько редкое, вызываемое чуть не насильственно и зависящее от стольких различных условий, что уже по одним этим причинам нельзя не относиться к нему с некоторым недоверием.

Мы, датчане — странный народ. Мы не умеем, как следует, наслаждаться чем бы то ни было. Внимание наше прежде всего останавливается на теневых сторонах данного предмета, и мы в сущности довольны, когда находим их. Если их много, наше удовольствие может иногда перейти в восторг, и он придает нам такой подъем духа, заставляет нас говорить таким языком, что, право, за нами нельзя не признать силы пафоса возмущения. Затем в нас есть и еще особенность — вечно беспокоиться, как бы кому не повезло чересчур. Прежде чем решиться безусловно превозносить кого-нибудь, нам очень желательно убедиться — не водится ли за данным лицом каких слабостей; они так примиряют нас с ним, и мы от души желаем ему сохранить их за собою навсегда. Лучше всего, если это лицо уже умерло. Если же нет, мы иногда успокаиваем себя тем, что оно уже старо или что частные обстоятельства бросают на его жизнь известную тень. Нельзя же человеку быть и молодым, и радостным, и здоровым, и довольным всем, да чтобы его еще хвалили все!

Казалось бы, что А.-то уж заслужил благодарность и признательность своих земляков; сказки его — «дворцовый сад в его поэтическом царстве» — будут жить и тогда, когда многое из того, что теперь

пользуется благосклонностью толпы, предастся забвению; имя его будет раздаваться в самых отдаленных странах, где Данию знают разве только как родину А. Но мнение толпы так сбивчиво, а земляки А. видели его уж чересчур близко, слишком хорошо знали все его личные слабости и недостатки, чтобы отдавать должное его поэтическим дарованиям. Вряд ли тот фимиам, который курили А. в последние годы его жизни, шел всегда от чистого сердца. За ним то и дело мелькали улыбки. Невольно чувствовалось, что фимиам этот являлся не столько данью дарованиям А., сколько подарком старику, который — думалось людям, — верно, уж недолго протянет, а перенес-то все-таки много! Едва же он умер, настала реакция, и если иностранец, знакомый со славой А., справился бы у его земляков теперь о том, каков он был как поэт и человек, то навряд ли отзывы оказались бы особенно благосклонными или вполне справедливыми. Многие согласились бы, пожалуй, что А. был истинным поэтом (надо ведь иметь особенную смелость, чтобы отрицать то, что признано всем светом), но осторожно воздержались бы от всяких выражений, которые могли бы подать повод к предположению, что они слепы к его недостаткам. Если, дескать, вообще отозваться о нем как-нибудь, то вернее всего назвать его «недюжинным» писателем. Мы, датчане, особенно любим это слово. Суждения же об А. как о человеке звучали бы значительно увереннее. «Да в сущности он был, пожалуй, хороший человек. В нем было очень много наивного, детского, и это очень шло к нему; затем он очень любил детей, и они его». И после минутной паузы, во время которой лицо говорящего так и выражало бы: «И я люблю детей, но я не наивен и во мне нет ничего детского; я человек с характером, сударь мой!» — речь пошла бы куда увереннее и живее: «Но он был невероятно тщеславен! Он только собой и занимался! Он просто гонялся за славой, и нет никакого сомнения, что главной причиной его славы и является то неустанное рвение, с которым он сам искал ее». В самом деле, большинство земляков А. того мнения, что А. никогда бы не достиг своей великой славы, если бы так много не разъезжал и не говорил о себе самом. Но я очень желал бы, чтобы нашлось человек 20 охотников подражать ему в этом отношении. Можно было бы разрешить им изъездить в 20 раз большее пространство и в 20 раз больше хвалить себя самих, и тем не менее они очень бы приятно удивили нас, если бы по возвращении их на родину оказалось, что они добились хоть двадцатой доли его славы.

Тщеславие А. стало притчей во языцех, и разуверить людей на этот счет очень трудно. Да и бесполезно было бы отрицать, что он чрезмерно любил всякого рода чествования; он был так же снисходителен к лести, как щепетилен относительно порицаний; нужно, однако, прибавить, что его жажда почестей была свободна от всякого самодо-

вольства, и что он не прибегал никогда ради достижения этих почестей к бесчестным или низким средствам. Он был человеком с открытой и строго честной душой нараспашку. Он говорил все, что думал, не помышляя о том, какие из этого могут возникнуть недоразумения и ложные суждения. Он отлично знал свои собственные слабости и не играл в этом отношении в прятки. Он сам чистосердечно говорит: «Без похвал у меня дело не спорится»; но он говорит также: «Похвалы и любовь заставляют меня смиряться душою, несправедливое же порицание пробуждает всю мою гордость». А. был истинно поэтической натурой: то смирялся душою, то вспыхивал от гордости, сознавая свои силы; он преклонялся перед идеалами, которые сам себе ставил как поэт, но всякая мелочная и неразумная критика вызывала в нем гордое презрение, и он сравнивает себя с апельсинным деревом, растущим в болоте: мужик, глядя на плоды, принимает их за кислые яблоки, откусывает, бросает и идет дальше, оставляя их гнить; затем он говорит, что Бог даровал ему духовную дворянскую грамоту, а люди ее разорвали, и он не находит слов, чтобы достаточно сильно выразить свое негодование тому народу и той стране, где его преследуют так жестоко и безжалостно. Величайшая радость для него уехать от туманов, от холодных рассудительных людей в Италию, на его истинную родину, являющуюся заветной целью всех его желаний. Тоски по настоящей родине он не знает вовсе. Напротив, он глубоко скорбит, чувствует себя почти несчастным, когда ему приходится возвращаться в Данию, «в эту страну вечного инея, к этим заплесневевшим островам, к этому неспособному к восторженным увлечениям народу, погруженному по уши в критиканство и мелочность». Как бы обидны ни казались подобные слова каждому искренно любящему свою родину датчанину, нельзя, однако, судить его за них особенно строго. Их нельзя понимать буквально. Слова эти вырвались у человека, которого преследуют, это язык оскорбленного самолюбия, а он всегда несколько отзывается желчью. Едва, однако, земляки его начинают признавать его талант, он сразу опять чувствует себя в Дании, как дома, а под конец, когда его осыпают почестями, чувствует, что Дания его истинная родина, и говорит о ней с горячей благодарностью и любовью, не уступающими чувствам самого лучшего патриота. Надо помнить, что через всю жизнь А. проходит одна преобладающая над всеми другими мысль. Он задался мыслью сделаться великим поэтом. И так как признание его таланта служило ему в минуты сомнения гарантией того, что он действительно достиг своей цели, то и неудивительно, что он искал его повсюду и радовался всякой новой ступеньке, подымавшей его по лестнице славы. Он борется за свою славу, как король за расширение границ своего царства, и его охватывает искренняя радость, смешанная со смиренной благодарностью, при виде того, как страна за страной преклоняется

перед его скипетром. «Мало-помалу имя мое начинает греметь, — пишет он и затем с милой откровенностью, доставившей ему столько горьких минут, прибавляет: — Я только для этого и живу».

А. принадлежал к числу тех людей, которых больше всего выводят из себя разные житейские злополучия. Все земляки его хорошо знают, как легко он раздражался, когда дело шло о его чести как поэта, каким резким, едким языком говорил он, когда задевали его самолюбие. Страсть не имеет ничего общего со сдержанностью, и в минуты раздражения А. не обуздывал своего языка. Немудрено, что его считали чудовищно тщеславным. Знали бы люди, какие добрые, любовные чувства волновали его, когда счастье улыбалось ему, каким ничтожным, полным смирения и благодарности чувствовал он себя тогда, — они, верно, судили бы о нем иначе. Но это знали лишь немногие. Глубокое чувство стыдливо и не выставляет себя напоказ толпе.

Нельзя сказать, чтобы природа была особенно милостива к А. по части внешности: фигура его всегда имела в себе что-то странное, что-то неловкое, неустойчивое, невольно вызывавшее и улыбку, и симпатию. Как бывают мальчики, с детских лет отличающиеся какой-то старческой степенностью, невольно внушающей к ним некоторое уважение, так бывают и взрослые люди, которые никак не могут избавиться от чего-то чисто детского в лице или в фигуре. А. представлял удивительную смесь того и другого сорта людей. Не знаю, каков он был ребенком, но я уверен, что его резко очерченное лицо с маленькими глазами и крупным носом и в детстве не представляло свойственных ребенку мягких и округленных форм, и я вряд ли ошибаюсь, предполагая, что люди, видевшие его в колыбели, так же удивлялись старческому выражению лица ребенка, как впоследствии — ребяческому отпечатку, лежавшему на всей его фигуре взрослого человека. Он был высок, худощав и крайне оригинален в осанке и движениях. Руки и ноги его были несоразмерно длинны и тонки, кисти рук широки и плоски, а ступни ног таких огромных размеров, что ему, вероятно, никогда не случалось опасаться, чтобы кто-нибудь подменил его калоши. Нос его был так называемой римской формы, но тоже несоразмерно велик, и как-то особенно выдавался вперед. Уходя от него, человек скорее и лучше всего запоминал его нос, между тем как светлые и крайне маленькие глаза его, скрытые в своих впадинах за большими веками, не оставляли о себе впечатления. Выражение глаз было ласковое, добродушное, но в них не было той захватывающей игры света и теней, той жизни и выразительности, благодаря которым глаза становятся зеркалом души. Зато очень красивы был его высокий, открытый лоб и необычайно тонко очерченные губы. Он заботился о своем

внешнем виде сколько мог, ежедневно ходил бриться и завивать волосы, стоячие воротнички помогали ему скрыть длинную шею, широкие брюки — тонкие, худые ноги. Одет он всегда был тщательно, почти изысканно, и никогда не забывал оживить петлицу своего темного сюртука пестрой орденской ленточкой. Вообще он не был недоволен своей наружностью. Полуироническая форма, присущая большинству встречающихся в его письмах отзывов о его собственной наружности, хотя и показывает, насколько он в этом отношении был далек от самообольщения, все же оставляет возможность предполагать, что в конце концов он — ничего себе, был доволен собой. Он прекрасно знал, что его нельзя назвать красивым, но видно, что он находил в себе что-то особенное, отличающее его от обыкновенных людей. Довольно характерно также, что всякий раз, как А. открывал в себе сходство с кем-либо, можно было быть уверенным, что лицо это — знаменитость. Так он то поражался своим удивительным сходством с Шиллером, то находил, что статуя Вебера в Дрездене вылитый его портрет, а раз, когда с него писали портрет на родине, высказал предположение, что голова его несомненно напоминает голову Гете. Следует, пожалуй, прибавить, что в таких случаях он всегда оставался при особом мнении.

Нетрудно, конечно, понять, что А. таким, каким его создала природа, не мог особенно увлекать женщин. Этим, однако, не исключается возможность тайной любви к нему разных вздыхательниц. Во всяком случае он получал немало анонимных писем, в которых неизвестные поклонницы изъяснялись ему в нежных чувствах и приглашали его на тайные свидания. Но он никогда не являлся. Боязнь мистификации пересиливала в нем охоту к такого рода приключениям. Кроме того, эти экзальтированные, полупомешанные существа, которые гонятся за знаменитостями, как сельди за светящимся фонарем, нагоняли на него страх. Так он очутился однажды в крайне для него неприятном положении, когда к нему явилась какая-то молодая, красивая девушка и объяснилась ему в любви; ему пришлось выказать немало энергии, чтобы уговорить ее уйти. Узнав впоследствии, что она психически больна, А., бывший вообще очень высокого мнения о женском достоинстве, испытал значительное облегчение. А. хоть и не особенно увлекался женщинами, кое-каких сердечных увлечений все-таки не избежал. Он был влюблен раза три-четыре и довольно серьезно, но, видимо, без особого успеха. Дарования и доброе сердце его снискивали ему привязанность многих прекрасных и выдающихся женщин, но в нем было слишком мало мужественности, чтобы он мог стать предметом их любви. Испытанные А. в его сердечных делах разочарования не могли, конечно, не причинять ему горя и не уязвлять его самолюбия, но все же сердечные раны его вряд ли были особенно глубоки. Его здоровая

натура всегда брала в таких случаях верх над слабостью, а время окончательно залечивало рану.

Из всего этого видно, как малоправдоподобно изображение в одной австрийской новелле «датского сказочника» человеком, носящимся на ди-ком коне по ютландским степям, где он водит знакомство с цыганами, покоряет сердце одной высокородной дамы и в конце концов влюбляется в рыбачку на острове Фёре. Вообще об А. сочиняли небылицы в лицах, и он часто от души забавлялся такими выдумками. Как он смеялся над описанием его детства, сделанным каким-то американцем. Тот изобразил А. ловящим бабочек прелестным ребенком с длинными кудрями и блестящими глазами. В другом же американском рассказе говорилось, что, как только А. показывается на улицах Копенгагена, сейчас его окружает толпа ребятишек, которые и следуют за ним по пятам, теребя его за фалды сюртука и крича: «Гансик, Гансик, расскажи нам сказочку!» Гансик волей-неволей должен присесть где-нибудь под воротами, и его миглом облепляет целая толпа ребятишек и взрослых и с восторгом слушает льющиеся из его уст дивные сказки.

Несмотря на всю нелепость рассказа, он все-таки может послужить доказательством общераспространенного заблуждения на счет тесной личной связи А. с детьми. Он был для них совсем не подходящим товарищем. Один вид этого длинного странного человека с его большим носом пугал их, и, откровенно говоря, я думаю, что вид его скорее был способен заставить их плакать, чем внушить им доверие к себе. Дети вообще страстно любят слушать сказки. Но они хотят сидеть на коленях рассказчика, обвив его шею руками или прильнув к нему и заглядывая ему в глаза, А. же не любил ничего такого. Если уж ему вообще приходилось иметь с детьми дело, то не угодно ли им было держаться на почтительном расстоянии да вести себя тихо и смирно; если они шумели при нем, приближались к нему или дотрагивались до него, он как-то комично обижался на такой недостаток уважения. Он любил душевную чистоту и непосредственность ребенка, но больше отвлеченно. Сам он на всю жизнь сохранил оттенок невинной наивности детского сердца, вот почему он так и умел писать о детях и для детей. На самом же деле он не особенно благоволил к детям, хотя и любил иногда поддержать в людях такое предположение.

Редко случалось поэтому, чтобы он читал свои сказки детям. «Поэт детей» предпочитал взрослую публику, но не ради того, чтобы услышать ее советы — он не нуждался в них. Читал он в сущности неважно. Чтение его не представляло ничего обдуманного или художественного; но вся личность его так соответствовала этой своеобразной ярко-рельефной передаче, что нельзя было сомневаться в тесной связи между творцом и творениями. Чтение его имело в себе таким образом много характерного, и его почти всегда можно было слушать с удовольствием, особенно, если

он читал что-нибудь новое. В таких случаях он всегда мог рассчитывать на внимательную и благодарную публику. Когда он вынимал из кармана рукопись, написанную крупным неровным почерком, перекидывал одну ногу через другую и, согнувшись над рукописью, приступал к чтению, ему не приходилось возвышать своего мягкого и малозвучного голоса, чтобы быть услышанным всеми. Сразу воцарялась могильная тишина. Если А. преимущественно любил читать свои вещи еще до публикации, то это не столько из желания услышать о них отзывы (в частных кружках он, конечно, редко слышал что-либо, кроме похвал), как ради другой, более практической цели. Задумав какую-нибудь вещь, он набрасывал ее так, как она представлялась ему с первого раза; затем он принимался обрабатывать ее, взвешивая каждое слово и переписывая свой труд до тех пор (иногда раз десять), пока ему не удавалось разработать его до мельчайших подробностей. Читая написанное вслух, легче отделаться от прежнего впечатления, но читать вслух самому себе скучно, вот он и заботился о соответствующей публике. Внимание слушателей оказывало на него нужное давление извне, и под его влиянием у него являлись новые выражения и обороты, новые идеи; при следующих чтениях он сравнивал впечатления, производимые различными вариантами текста, словом, устраивал что-то вроде генеральных репетиций, во время которых ничего не подозревающие слушатели являлись для него своего рода сотрудниками.

Вообще принято смотреть на А. как на человека непрактичного и беспомощного в делах обыденной жизни. Весьма возможно, что преобладающий в его поэтическом творчестве наивный элемент и укреплял людей в их нелепом представлении — будто бы поэты, одаренные способностью парить в воображаемом мире поэзии, зато совсем не способны двигаться без помочей в действительном. Но мнение толпы и вообще, и в данном случае, поверхностно и неверно — наивность наивности рознь. Есть наивность души или сердца, однородная с невинностью, свежестью, непорочностью, и есть наивность ума, которая является лишь смягченным выражением для невежества или недостатка знания. Первым свойством А. обладал в высокой степени, вторым ничуть. Заключать по наивности форм и тона его сказок, что он и сам был наивным в отрицательном смысле этого слова, было бы так же нелепо, как предполагать, что актер, умеющий в совершенстве изображать всякие дурные страсти, сам должен быть негодяем. Нельзя случайно напасть на художественную форму, она всегда является сознательной. Язык ребенка наивен, но в нем нет ничего художественного; для этого ребенку недостает самого существенного — ненаивного уразумения своей наивности. А. был в действительности человеком, прекрасно знавшим свет и людей, практическим, умным, экономным и предусмотрительным, тщательно взвешивавшим каждый предстоящий

свой шаг. Нельзя, однако, истолковать это так, что он будто бы являлся человеком мнительным. Напротив, он любил жизнь и предпочитал думать о ней и о людях хорошо; сердце у него, было ведь вполне не испорченное, и я сомневаюсь, чтобы жил когда-либо на свете человек с более честной душой. Мысль о допущенной им по отношению к кому-нибудь несправедливости была для него нестерпима, и никто не имел над ним такой власти, как тот, кого ему случалось против собственной воли обидеть.

С другой стороны, добродушие А. отнюдь не переходило границ и нисколько не мешало ему сердиться, часто даже из-за пустяков. Но, сорвав сердце, он скоро успокаивался. Доброе слово, рукопожатие скоро заставляли его позабыть даже горькую обиду, а при виде слез он и подавно сразу сдавался. Раз за границей я видел в отеле, как одна из горничных с большим успехом воспользовалась этим свойством А. Она постелила ему постель не так, как он указал. Он заметил ей это, она стала оправдываться, слово за слово, и А. вспылil и швырнул в нее подушкой. Девушка вдруг заплакала, и гнев А. моментально стих. Он посмотрел на нее с минуту как-то удивленно и смущенно, подошел к ней, протянул ей руку и извинился. Это не помогло. Беспокойство А. возросло, лицо его приняло комическое выражение раскаяния и беспомощности, он, очевидно, не знал, что делать. Вдруг его осенило. Он отвернулся, схватился за карман жилета и, пошарив в нем, снова протянул разгневанной девушке руку, на этот раз не отвергнутую, и к великому его успокоению слезы девушки сразу высохли.

Вообще манера его обращаться с прислугой была весьма характерна. Он обходился с ней всегда ласково, просто, иногда прямо-таки по-товарищески, охотно вступал с ней в беседу и нередко дарил свои книги, но стоило ему заметить малейшее поползновение к панибратству, он тотчас же превращался в «барина», умевшего внушить к себе уважение. Иногда ему приходилось для этого прибегать к довольно-таки оригинальным средствам. Так однажды, гостя в одном богатом английском доме, где ему приходилось иметь дело с крайне важными слугами, смотревшими на него свысока за его неумение пользоваться предоставленным в его распоряжение бесчисленным количеством полотенец и простынь, он взял да вымочил все это белье в ванне, а потом расшвырял его по комнате, и таким образом вполне восстановил утраченное уважение к себе прислуживавших ему джентльменов.

В обращении А. был вообще — если исключить некоторую, пожалуй, чрезмерную претензию на внимание к себе — очень мил и любезен, то есть, если он был здоров и в хорошем расположении духа. Всякий, кто посещал его, какого бы ни был чина или звания, всегда мог быть уверенным в ласковом приеме. А. был очень словоохотлив, но говорил по большей части о самом себе, о своих личных делах, о состоянии своего

здоровья, о том, что видел во сне и т. д.; и если тема его рассказов сама по себе и не всегда была особенно интересной, то зато способ изложения его был до того жив, забавен и часто остроумен, что всякий слушал его с удовольствием. Он любил устроить себе чистое и уютное гнездышко. Войдя в его комнату, обставленную цветами, увешанную полками с книгами в красивых переплетах, картинами и рисунками, каждый невольно чувствовал, что хозяин должен обладать и вкусом, и умением устраиваться уютно и комфортно.

Провидение наделило А. богатыми способностями, но самым лучшим его даром была без сомнения его богатая, своеобразная, часто причудливая, но всегда пышная, роскошная фантазия, придававшая его поэтическим произведениям особую свежесть и прелесть. Фантазия эта повиновалась ему безусловно, являлась к нему по первому зову и следовала за ним, куда ему было угодно. Но и с фантазией бывает то же, что с людьми: она редко дает что-либо даром. Сколько же должен он был вынести волнений и страхов, когда приходилось ему в свой черед *следовать за ней* по дебрям и урочищам, когда она врывалась к нему без зова и вела его, куда уж ей хотелось! Немного найдется людей, которым приходилось бы страдать от подобных невольных увлечений фантазии столько, сколько А. Я видел его вне себя от волнения и страха из-за того только, что друг и товарищ его опоздал во время поездки на полчаса против условленного срока. И чего-чего только ни перенес он за эти полчаса! Сколько представлялось ему различных способов смерти, пока он не остановился поневоле на самом ужаснейшем из всех. Он уже видел, как привезли домой тело убитого друга, испытал всю тяжесть положения, обязывающего остающегося в живых собраться с мыслями и привести в порядок все дела; он видел даже, как уложили тело в гроб и отправили его, уже написал родным и друзьям на родину, возможно осторожнее подготовив их к страшной вести, он, наконец, уже оставил это ужасное место, бежал от кровавого зрелища, но оно все преследовало его и во сне, и наяву, сил у него не было, он чувствовал, что захворает, пожалуй, умрет и все это из-за... А! Вот он пришел! Тот входит в комнату здоровый и улыбающийся и, минуто спустя, торжественно дает себе слово никогда не запаздывать.

Подобные невольные экскурсии с деспотически своевольной фантазией бесконечно мучили А. Он страдал от них и духовно, и физически. И редко случалось ему быть свободным от них. Всегда что-нибудь да угнетало его: поперхнувшись за столом, он явственно ощущал, что в желудок его попала иголка; ударившись коленом, он рисовал себе продолжительную болезнь; а если случайно открывал какой-нибудь прыщ под глазом, то ничуть не сомневался, что он будет расти, расти, пока не превратится в огромную шишку, которая закроет глаз.

Но если и случалось ему так помучиться, то сколько зато переживал он и счастливых минут! Какое наслаждение может сравниться с тем, что испытывает поэт, когда творит бессмертную поэму? И как он любил это состояние вдохновения! В такие минуты он со смирением и благодарностью сознавал, сколько ему дано и как ничтожна в сравнении с этим его собственная воля. Это сознание, что он принадлежит к числу избранных, является счастливым и благодарным орудием в руках Промысла, и сопутствовало ему во всю жизнь. Он непоколебимо верил в свое призвание. «Быть великим поэтом здесь, на земле, и еще более великим в другом мире» — вот светлая картина, на которой сосредоточивались все его желания, все его заветнейшие стремления. Он должен был неустанно идти вперед, приобретать все больше и больше значения, а то ради чего же он жил? Вперед, вперед — иначе лучше умереть, чтобы унести на другую планету! Он любил жизнь и нашу прекрасную землю, но находил, что лучше умереть, нежели пережить свою славу. Только бы смерть явилась тихо и кротко; ему хотелось умереть без страданий и прекрасно, как умер в театре Торвальдсен, под звуки симфонии Бетховена, как «Петька-счастливец» в минуту высшего торжества, когда жизнь улыбалась ему всего приветливее, когда он сильнее всего чувствовал в себе присутствие жизненных сил.

Случилось не вполне так, как он желал. Последние годы жизни он страдал и от болезни, и от упадка сил; сознавая себя умственно бодрым, он чувствовал, как физические силы его изо дня в день слабеют. «Футляр изношен, — говаривал он, — не годится более!» Но если таким образом и не сбылось его заветное желание «прекрасной смерти», он был все-таки пощажен от той ужасной предсмертной борьбы — агонии, которой он так страшился; умер он тихо, спокойно и безболезненно. Знал бы он это вперед, он бы избежал многих горьких минут, а если бы увидел свои похороны, обогатился бы еще одной великой радостью. Он бы увидел, как собрались у его гроба лучшие люди страны, как явился король, чтобы отдать ему последний долг, увидел бы, как опустили перед ним окутанные черным крепом знамена, в то время как утопающий в цветах гроб его несли на руках земляки. Это зрелище порадовало бы его — он был ведь ребенком и на старости лет — и глаза его наполнились бы слезами радости и благодарности.

Похороны его сильно растрогали меня; я знал и любил его, но по дороге домой я невольно с улыбкой вспомнил одну его речь, одну из тех оригинальных и остроумных речей его, являвших такую удивительную смесь шутливого и серьезного элементов. Он говорил тогда о своих похоронах и просил присутствующих позаботиться о том, чтобы в крышке гроба просверлили дырочку, через которую он мог бы взглянуть на торжество и увидеть, кто из его друзей провожает его до могилы. Он бы не разочаровался в своих ожиданиях. Было довольно и лент, и крестов,

и звезд, было довольно и почестей. и прославления. Но все же он заметил бы отсутствие одного друга и еще такого, который в последние годы его жизни был с ним неразлучен. Его не провожала — *лесть*. Ей нечего делать близ покойника, ее место только в пестром калейдоскопе жизни. Пустое место занял другой друг, державшийся некоторое время в стороне: провожала его — *правда*. Счастлив тот, кто не теряет при свете ее факела!





Библиографические сведения

(По данным, доставленным И. Клаусеном и А. М. Уманским; первым относительно распространения сочинений Андерсена в Дании и за границей, исключая Россию, вторым — в России)

В датской королевской библиотеке в Копенгагене имеется единственное в своем роде собрание произведений Андерсена. Кроме всех изданий сочинений Андерсена в подлиннике, здесь находятся почти все переводы его сочинений и статьи о нем. Список подлинников и переводов, составленный библиотекарем датской королевской библиотеки И. Клаусеном, вмещает 83 номера, и благодаря ему можно получить наглядное представление о степени распространенности сочинений А. как на родине, так и за границей.

Названия сочинений А. в подлиннике и различных изданий их занимают в этом списке едва одну треть, между тем как на долю переводов причитается около 350 названий. Наглядными доказательствами популярности А. служат сборники переводов сказки «Мать»: 1) на 15 языках, изданный в Копенгагене в 1875 году ко дню семидесятилетия А. профессором В. Томсеном и г. Ж. Пио, 2) на 22 языках, изданный в Петербурге в 1894 году П. Г. Ганзеном.

Сочинения А. существуют таким образом (в переводах) на следующих языках и наречиях: исландском, шведском, немецком, нижнегерманском, голландском, английском, французском, испанском, итальянском, русском, малорусском, польском, чешском, словацком, сербском, финском, мадьярском, новогреческом, армянском, татарском, древнееврейском, арабском, бенгальском и, наконец, волапюке.

Сочинения А. достигли такого всемирного распространения, которое вообще выпадает на долю сочинений лишь величайших писателей планеты. Принимая во внимание долголетнюю жизнь А., его литературную деятельность нельзя назвать особенно обширной. Число его произведений достигает 70; из них половина — мелкие вещи (отдельные выпуски сказок и рассказов, оперные либретто, мелкие пьесы и кантаты). Общей известностью и распространением пользуется лишь небольшая часть их.

В первом ряду находятся «Сказки и рассказы» А., затем «Картинки-невидимки», романы «Импровизатор», «О. Т.», «Только скрипач», «Две баронессы» «Быть или не быть», рассказ «Петька-счастливец», «Путевые очерки» и «Сказка моей жизни». Из драматических произведений переведены только «Мулат» (на немецкий яз.), «Первенец», «Грезы короля», «Дороже жемчуга и злата» (на русский) и «Ночь в Роскильде» (на шведский и голландский).

Наибольшее число изданий — 120 — имеется на немецком языке, из них половина приходится на долю сказок. Нигде так не эксплуатировались труды А., как в Германии. Переводы их появлялись во всевозможных изданиях, и роскошных, и дешевых, в изданиях для детей и для народа и проч. Но лишь одно издание было предпринято при участии самого А. Получи А. за все издания его трудов, вышедшие на немецком языке при жизни его, хоть скромный гонорар, он стал бы богачом. После «Сказок» особенно посчастливилось «Картинкам-невидимкам», которые появились в 10 различных переводах и 30 изданиях.

Англия может выставить около 10 различных изданий. «Сказки и рассказы» переведены много раз, а «Картинки-невидимки» недавно снабжены пояснительными примечаниями и введены для чтения в школах. Кроме того, в Англии, как и в Германии, нашли себе обширный круг читателей романы А.

Швеция по числу переводов (около 30) занимает одинаковое место с Голландией, но это не значит еще, чтобы сочинения А. были так мало распространены в этой соседней и родственной Дании стране. Близость шведского и датского языков настолько велика, что большинство образованных шведов предпочитают читать произведения А. в подлиннике.

Во Франции распространены главным образом «Сказки и рассказы» более чем в 20 изданиях. В общем же, сочинения А., как видно, ближе по духу германским, нежели романским народам. Из 20 испанских изданий его сочинений большинство вошло в «Библиотеку для детей». В Италии же имеется всего 2 собрания «Сказок и рассказов» и один перевод романа «Только скрипач».

У славянских народов А. очень популярен. На чешском языке имеется несколько довольно полных изданий сказок; на польском тоже и кроме того роман «Только скрипач». На мадьярский язык переведены только сказки. На финский также и то лишь избранные.

На остальные вышеупомянутые языки переведены только некоторые отдельные сказки. Шведский ориенталист, граф Ландберг, перевел несколько сказок на арабский язык, а в Калькутте изданы (в пятидесятых годах) на бенгальском наречии сказки «Николай и Николка», «Райский сад», «Мать», «Дикие лебеди».

Наконец, в 1887 году появился перевод на волапюк, под заглавием «*Megabuk nen mags. Loverolan*» ра Lederer Siegfried. Leipzig.

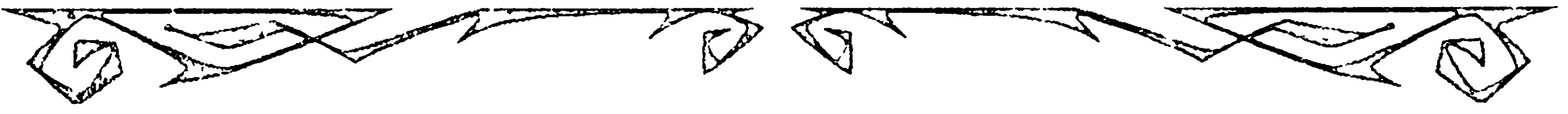
В России А. является одним из самых, если не самым, популярнейших из иностранных писателей. Популярность эта была, однако, до недавнего времени довольно односторонней: А. был известен почти исключительно как «сказочник» и притом сказочник «для детей». В обращении к читателям и в объявлении о подписке на наше издание мы уже достаточно выяснили насколько неверно было такое одностороннее понятие о таланте А. Укреплению этого понятия способствовали многочисленные переводчики и издатели сказок А., предназначавшие их для детей. Все выходявшие до сих пор переводы сказок и рассказов А. были сделаны с немецкого, с французского или с английского языка. Исключением являются отдельные сказки, переведенные Ю. Щербачевым (Русский вестник, 1885 г. и след.).

Впервые русские читатели познакомились с А. по переводу его романа *«Импровизатор»*, помещенному в «Современнике» 1844 года; впоследствии этот перевод был издан и отдельно. Второй перевод *«Импровизатора»* печатался в «Библиотеке для чтения», 1848-й и 1849 гг. Наконец, известно еще одно отдельное издание этого романа, вышедшее в 1887 году в Риге. Кроме *«Импровизатора»*, был переведен только один роман — *«Две баронессы»* (СПб., 1885 г.), некоторые отдельные стихотворения и *«Сказка моей жизни»* (в том виде, как она была написана А. для немецких читателей), напечатанная в журнале *«Пантеон»* (1851 г., №4) в переводе А. Грекова.

Сказки и рассказы А., как уже упомянуто, были переведены много раз и выдержали около 40 изданий собраниями (неполными); отдельных же изданий (для народа) под всевозможными заглавиями существует около 50. Наконец, даже находились издатели настолько смелые, что решились предложить русским детям сказки А. в «пересказах» столь же смелых деятелей русской переводной литературы. Из отдельных сказок особенно посчастливилось сказкам: *«Безобразный утенок»* (7 изд. с 1874 — 1889 гг.), *«Дорожный товарищ»* (3 изд., с 1886 — 1889 гг.), *«Девочка, наступившая на хлеб»*, (3 изд. с 1886 — 1895 гг.), *«Мать»* (3 изд.), *«Пастушка и трубочист»* (отдельно 2 изд., а вместе с *«Безобразным утенком»* — 3 изд.) *«Дикая лебедь»* (2 изд.), *«Калоши счастья»* (2 изд., 1886 — 1888 гг.), *«Пропавшая»* (2 изд., 1889 г. и 1895 г.), *«Стойкий оловянный солдатик»* (2 изд.), *«Штопальная игла»* (2 изд., 1884 г. и 1886 г.).

Лучшая критическая статья об А., принадлежащая Г. Брандесу, помещена в переводе в «Русской мысли» (1888 г., № 3).

На малороссийском языке имеются около 20 сказок, переведенные М. Стариченко (Киев. 1873 — 1874 гг.), сказка *«Мать»* переведена Д. Л. Мордовцевым (*«Мать»* на 22 языках изд. П. Г. Ганзена 1894 г.) и биография А., составленная М. Стариченко (*«Коротка життопись»*, Киев, 1874 г.).



К читателям

Для издания собрания сочинений Андерсена мы пользовались следующими источниками: 1) изданным отдельно полным собранием его сказок и рассказов «*Eventyr og Historier*», сост. V томов, 2) *H. C. Andersens samlede Skrifter* (Собрание соч. Андерсена), сост. XII томов, 3) «*Mit Livs Eventyr*» af H. C. Andersen, *Fortsoettelse* (1855 — 1867), *ungivet af Jonas Collin* (Прибавление к «Сказке моей жизни», изд. И. Коллином), 4) «*Breve fra H. C. Andersen*», *udg. af S. Bille og N. Bøgh* («Письма от Г. Х. Андерсена», изд. С. Билле и Н. Бегом), сост. II тома, 5) «*Breve til H. C. Andersen*» *udg. af S. Bille og N. Bøgh* («Письма к Г. Х. Андерсену», изд. С. Билле и Н. Бегом), I т. 6) «*H. C. Andersen og det Collinske Huus*» af E. Collin («Г. Х. Андерсен и семья Коллин»), I т. и 7) «*Om H. C. Andersen; Bidrag til Belysning af hans Personlighed*» af W. Bloch («Заметки для биографии Андерсена» В. Блока).

Главное место среди сочинений А. занимают сказки и рассказы, составляющие 5 томов; затем идут романы — 4 т., рассказы и путевые очерки — 3 т., драматические произведения — 3 т. и, наконец, «Сказка моей жизни» — 1 т. и «Стихотворения», — также 1 т.

О цели нашего издания мы уже высказались в первом кратком обращении к читателям (см. т. I) и затем более подробно в разосланном объявлении¹ о подписке на издание. Теперь нам остается дать краткий отчет относительно того, как мы воспользовались материалами, а также сказать несколько слов о помещаемых нами воспоминаниях Коллина и

¹ Здесь, между прочим, говорится: «Имя датского писателя Андерсена давно пользуется всемирной известностью. Его гениальные сказки и рассказы покорили сердца читателей всех возрастов и национальностей. Сказки и рассказы известны и у нас в России благодаря многочисленным переводам с немецкого и др. языков. Но в то время как на самой родине автора и в других западноевропейских странах давно уже установился на упомянутые произведения правильный взгляд, у нас в России он усвоен далеко не всеми. Там сказки Андерсена рассматриваются не только как изящные и поэтические или забавные творения богатой фантазии поэта, но и как изящные, имеющие благодаря глубине их содержания общечеловеческое, мировое значение. У нас же большинство читателей продолжает считать Андерсена «писателем для детей», тем

Блока, первые из которых особенно нуждаются в некоторых дополнительных замечаниях.

Согласно цели издания «содействовать установлению среди русской публики более правильного взгляда как на сказки и рассказы Андерсена в частности, так и на всю его литературную деятельность вообще», мы прежде всего позаботились дать новый, возможно близкий к датскому подлиннику перевод капитальнейшего труда Андерсена — полного собрания его сказок и рассказов, с пояснительными примечаниями к ним самого автора, и затем те из его сочинений, которые наиболее содействовали прославлению его имени как на родине, так и за границей. Для обрисовки же самой личности Андерсена и как человека, и как писателя, и для выяснения отношений к нему его современников, мы сочли уместным дать, кроме его автобиографии, извлечения из его переписки и из воспоминаний о нем.

Таким образом половина нашего издания посвящена сказкам и рассказам, другая же разделена между избранными из остальных произведений Андерсена и его автобиографией, перепиской и воспоминаниями о нем. Вообще при выборе трудов Андерсена мы имели в виду дать наиболее известные и характерные из них, по которым лучше всего можно

более что с легкой руки первого издателя андерсоновских сказок и рассказов в русском переводе последние выдержали уже множество изданий, по внешнему своему виду прямо предназначенных для детей. Между тем считать сказки и рассказы исключительно детским чтением — крайне ошибочно: они тем именно и замечательны, что дают пищу уму, сердцу и воображению читателю всех возрастов. Дети, конечно, главным образом увлекутся самой фабулой, взрослые же поймут и оценят глубину содержания, так как большинство с виду незатейливых сказок и рассказов Андерсена, изложенных то игриво-остроумным, то детски наивным тоном и всегда чрезвычайно образным и в то же время необыкновенно простым, близким к разговорной речи языком — являются гениальными сатирами, в которых Андерсен метко и остроумно осмеивает разные человеческие слабости.

Сатиры эти были плодом не одних только наблюдений Андерсена над родной действительностью, но и впечатлений, вынесенных чутким и восприимчивым писателем из его постоянных странствований по белу свету, — отсюда универсальный характер и значение этих сатир. При узконациональной окраске, сказки и рассказы датского писателя никогда не могли бы иметь такого огромного успеха вне пределов родины, каким они пользуются теперь. Они не могли бы иметь его, несмотря даже на замечательный тон изложения и оригинальную образность языка, восхищавшие и продолжающие восхищать как соотечественников Андерсена, так и тех из иностранцев, которые познакомились со сказками и рассказами или в подлиннике, или в близких и точных переводах.

В русских переводах, сделанных, как сказано, не с подлинника, а с других переводов, как тон, так и язык, не могли, конечно, до известной степени не утратиться или не обесцветиться. Особенно много потеряли в этом отношении наиболее известные и характерные сказки, как, например, «Мотылек», «Безобразный утенок», «Аисты», «Штопальная игла», «Воротничок», «Соседи», «Снегур», «Навозный жук» и др., а также те места в других сказках, где автор заставляет говорить животных и неодушевленные предметы.

было бы составить себе представление о разностороннем литературном даровании Андерсена.

Первое место после «Сказок и рассказов» занимают «*Картинки-невидимки*», рассказ «*Петька-счастливцу*», затем романы, драматические произведения, путевые очерки и стихотворения. Из пяти романов Андерсена мы выбрали «*Импровизатора*» как наиболее цельное и характерное из этого рода произведений, к тому же признанное за лучшее его современниками. Менее всех других произведений Андерсена известны за пределами его родины драматические, что отчасти объясняется их национальным и часто даже чисто местным колоритом. Избранные нами как наиболее подходящие и понятные для русских читателей три небольших драматических произведения Андерсена, принадлежащие к трем различным родам драматической поэзии, пользовались в свое время в Дании большим и заслуженным успехом.

Помещенные нами стихотворения взяты из сборника стихотворений Андерсена и из его более крупных лирических и драматических произведений. Переведены они любезно оказавшими нашему труду содействие русскими поэтами, которым мы предложили подстрочные переводы с датских подлинников. Размер в большинстве случаев сохранен. В виде исключения помещены нами также два стихотворных переложения сказок Андерсена: сказка «*На крепостном валу*» и одного из эпизодов сказки

Между тем такое обесцвечивание оригинала, в связи с внешним видом некоторых русских изданий, снабженных иногда до невозможности плохими картинками, и является главной причиной столь распространенного у нас добродушно-пренебрежительного отношения к сказкам и рассказам Андерсена со стороны взрослых читателей.

Цель настоящего издания — содействовать установлению среди русской публики более правильного взгляда как на сказки и рассказы Андерсена в частности, так и на всю его литературную деятельность вообще. Издание это впервые познакомит русских читателей с *полным собранием*¹ сказок, рассказов и повестей в новом, возможно близком и точном переводе с датского подлинника, а также даст читателям возможность проследить развитие таланта «знаменитого сказочника», так как сказки и рассказы будут помещены в том порядке, в котором они появлялись на свет.

Для более же обстоятельного ознакомления русской публики с литературной деятельностью Андерсена в издании будут помещены и другие его произведения, мало или вовсе не известные в России, но в Дании и за границей — например, в Швеции, Германии, Англии — имевшие большой, вполне заслуженный успех и прославившие имя автора еще до появления его знаменитых сказок и рассказов.

Наконец, для полной обрисовки и самой личности Андерсена и всей его литературной деятельности послужат: 1) автобиография его, 2) извлечения из его переписки и 3) воспоминания о нем.

¹ Из 156 сказок и рассказов Андерсена не войдут в настоящее собрание лишь «Азбука», изложенная в стихах, и вследствие несоответствия датского и русского алфавитов не поддающаяся переводу, и «Спроси тетку с Амагера» — небольшой рифмованный рассказ-шутка, неизвестно почему помещенный автором в собрании сказок; вещь эта по своему чисто национальному колориту также не поддается переводу, да и не имеет для русского читателя никакого интереса.

«Тернистый путь слова», принадлежащие русскому поэту из народа Сурикову.

Имея в виду воссоздать для русских читателей образ писателя, столь любимого ими и в сущности столь малоизвестного им, мы поместили в нашем издании и автобиографию Андерсена, и другие упомянутые выше материалы для его характеристики. Среди прославленных представителей европейской литературы вряд ли найдется личность более интересная и симпатичная, нежели личность Андерсена, какой она рисуется нам в «Сказке моей жизни» и в письмах его. Рассказывая первую, он «надеялся, что краткие характеристики множества выдающихся личностей, с которыми ему приходилось сталкиваться, и описание впечатлений, вынесенных им из жизни и окружающей обстановки, могут представить для потомства некоторый исторический интерес, равно как *простое, безыскусственное повествование о вынесенных им испытаниях может послужить источником утешения и ободрения для молодых, еще борющихся сил*¹. Последние подчеркнутые нами слова и выражают, по нашему мнению, главный смысл и значение автобиографии Андерсена. Ярко рисуя нам жестокие нравственные испытания, через которые ему пришлось пройти, чтобы превратиться из «безобразного утенка» в «дивного лебедя», Андерсен дает нам знаменательную картину вечной борьбы «молодых сил», одинаково поучительную и назидательную и для самих участников, и для наблюдателей-критиков.

Лучшим дополнением к автобиографии служит переписка Андерсена с современниками. В письмах он встает перед нами, как живой. Беспримерное чистосердечие Андерсена дает нам возможность видеть всю его душу, а читая письма к нему, продиктованные по большей части теплым, сердечным участием к нему, мы можем проследить за развитием его, как поэта и человека. Особенно важны в этом отношении письма Ингемана, Гауха и Бьёрнсона. Письма первого наглядно рисуют нам, как Андерсена из «долговязого гимназиста» мало-помалу становится другом одного из выдающихся представителей датской литературы, «светлого Бальдура датской поэзии». Из писем Гауха мы видим, как последний из противника Андерсена превратился в искреннего почитателя его таланта. В письмах же Бьёрнсона проглядывает, пожалуй, наиболее тонкое понимание Андерсена как поэта и как человека. В общем, письма этих трех лиц создают столь яркий и живой образ Андерсена, что лучшего вряд ли надо и желать; к тому же они вполне заменяют нам современную Андерсену критику, уже и без того достаточно известную нам из его автобиографии и переписки.

Автобиографию Андерсена мы значительно сократили, из переписки даем лишь извлечения — все это, имея в виду интерес к предмету рус-

¹ «Сказка моей жизни».

ского читателя. Сокращения были предприняты нами с должной осмотрительностью: мы не позволили себе пропустить ничего, что могло бы послужить к освещению личности Андерсена.

А. и П. Ганзен

* * *

Воспоминания Коллина, как уже было сказано в предисловии к ним, представляют скорее собрание материалов для биографии А., нежели характеристику Андерсена.

Коллин, видимо, немало потрудился, собирая и приводя в порядок эти материалы; видна также большая тщательность и точность в установлении различных фактов из жизни и литературной деятельности Андерсена и, если тем не менее труд Коллина производит смешанное и сбивчивое впечатление, то это отчасти объясняется тем, что Коллин взял на себя задачу не по силам. Он сам заявляет, что не берет на себя смелости выступить ни биографом, ни тем более критиком Андерсена, а сам то и дело впадает в тон то того, то другого; в общем труд Коллина обращается в какую-то полемику с самим Андерсеном, направленную главным образом против *«Сказки моей жизни»*. Невольно задаешься вопросом, что же побудило Коллина к такой полемике? В предисловии к своему труду Коллина говорит, что побудило его к изданию этих заметок то обстоятельство, что Андерсен оставил много друзей, для которых возможно точные сведения о нем и более яркое освещение его личности всегда будут желательны. Приходится, однако, с сожалением заметить, что «сведения», даваемые Коллином, несколько анекдотического характера, и освещение личности Андерсена выходит в сравнении с тем, что дают *«Сказки моей жизни»* и переписка Андерсена — довольно-таки тусклым. Тем не менее труд Коллина представляет немалый интерес как отзыв одного из современников и земляков Андерсена, объясняющий нам то часто непонятное упорное нежелание многих из них признать его талант даже тогда, когда он был признан повсюду за границей. Непонимание не только таланта Андерсена, но и самой его личности «ближайшим его другом», да еще настолько сильное, что оно дает знать себя спустя лет десять со смерти Андерсена, когда уже была издана переписка последнего, из которой, казалось, можно было бы наконец узнать его, как следует — объясняет нам частые сетования и жалобы Андерсена, которым Коллин старается дать столько различных толкований, кроме, однако, надлежащего.

Читая записки Коллина, я часто вспоминал слова Эсфири из романа Андерсена *«Быть или не быть»*: «Берегись того, кто виноват перед тобою! Он ради успокоения собственной совести будет стараться отыскать в тебе настоящие недостатки и найти себе оправдание, указывая на них».

Таким «виноватым» по отношению к Андерсену невольно представляется мне Коллин, и я думаю, что только с этой точки зрения и можно уяснить себе такое странное явление, как полемика «ближайшего друга» всемирно известного писателя со своим умершим уже другом. В самом деле, Коллин старается доказать неосновательность многих сетований Андерсена и берет под свою защиту почти всех тех, кого Андерсен так или иначе задел в «Сказке моей жизни», — оправдывая их, он косвенным образом оправдывает и себя. Считаю долгом прибавить, что я знаю Коллина лишь по упомянутому его труду и переписке с Андерсеном; такого знакомства, однако, вполне достаточно для уяснения себе отношений Коллина к Андерсену, о которых здесь идет речь. Еще более способствует такому уяснению мое личное знакомство с Андерсеном¹ в течение шести лет, не говоря уже о знакомстве с его произведениями. Последних не мог, конечно, не знать и Коллин, но так как он почти нигде о них не говорит, то позволительно думать, что он не умел ценить их по достоинству. Коллин был слишком большим поклонником формы, чтобы любить и ценить вольное поэтическое творчество Андерсена. Между тем судить об Андерсене, не имея постоянно в виду его поэтическое творчество и тесной связи между последним и его личностью, значит судить об оболочке, оставляя без внимания самое ядро.

Говори Коллин только о своих личных отношениях к Андерсену — было бы дело другое, — ему, как «ближайшему другу» Андерсена, и книги в руки; но он берет на себя роль судьи между Андерсеном и современным Андерсену обществом, и так как симпатии самого Коллина клонятся в сторону этого фактически виноватого против Андерсена общества, то невольно приходится объяснить такие симпатии сознанием Коллином собственной вины, которое и заставляет его отыскивать в Андерсене недостатки, «ради успокоения собственной совести».

Во избежание недоразумений следует прибавить, что Коллин, при всех своих заблуждениях в чуждой ему области эстетической критики, отличается редкой прямолинейностью, которая и не позволяет ему утаить ничего, даже явно неблагоприятного ему, вроде, например, письма к нему его собственной племянницы Йонны, и заставляет его местами сознаваться, что не всегда был виноват один Андерсен.

Вернусь к защите Коллином всех виноватых перед Андерсеном. Не вдаваясь в подробный разбор этой странной защиты, я лишь укажу на главные ее положения. Прежде всего бросается в глаза энергия, с которой

¹ Я познакомился с Андерсеном в Копенгагене в 1864 г., когда готовился поступить на сцену королевского театра. Дебют мой возбудил в Андерсене такие надежды, что он выразил желание поручить мне одну из главных ролей в своей пьесе «*Han er ikke fodt*» («Он не рожден»), оставшуюся без исполнителя после смерти известного артиста Михаэля Виэ. С этих пор я часто виделся с Андерсеном и у него самого, и в обществе, так что мог составить себе достаточно ясное понятие о его личности, чтобы критически относиться к различным сведениям о нем. — П. Г.

Коллин ведет ее. Читатель, не знакомый со «Сказкой моей жизни», должен подумать, что Андерсен Бог ведь как нападал на людей, а на самом-то деле выходит как раз наоборот. Если кто отличался незлобием и склонностью к примирению, так это именно Андерсен. Доказательство — отношение его к жестокому и бестолковому ректору Мейслингу, к не менее жестоким и бестолковым критикам, к публике и к «друзьям». Коллин же всех их берет под свою защиту, не исключая и Мейслинга, который сам сознался впоследствии в своей вине перед Андерсеном (См. «Сказку моей жизни», и «Письма»). Этой защите Коллин посвящает целые страницы. Затем так же пространно защищает он и главный критический орган «Литературный ежемесячник», несмотря на то, что этот журнал был явно пристрастен к Андерсену; ведь и сам Коллин в письме к Ионне говорит: «Ну, а что говорила о сказках критика? «Литературный ежемесячник», видно, смотрел на них, как на безделки, даже не относившиеся собственно к датской литературе. Если ты примешь это за доказательство умственной ограниченности тогдашнего времени, то я спорить не стану».

Между тем, если этот журнал молчал о сказках Андерсена, какое же значение можно вообще придавать и прежним, и последующим его суждениям о других произведениях Андерсена? И все-таки Коллин в первой части своего труда старается оправдать этот орган и его отношение к Андерсену. Коллин все упирает на то, что Андерсен «часто грешил против грамматики»¹, совершенно упуская из вида другое явление, куда более интересное. Признавая талант Андерсена главным образом как сказочника, Коллин, а с ним и многие другие, вовсе не замечал общей связи между сказками и другими произведениями Андерсена, на которую Андерсен сам указывает в «Сказке моей жизни». Не замечая этой связи, они и не могли понять значения этих подготовительных трудов, в которых истинное творчество Андерсена только еще собиралось с силами и прорывалось местами да урывками, настолько, однако, сильно, что люди чуткие не могут не заметить их.

К. видит одни грамматические погрешности Андерсена (довольно характерно, что он с них и начинает, приступая к характеристике Андерсена). Слов нет, в произведениях Андерсена, даже самых позднейших, можно встретить немало таких погрешностей, но вот чего не замечал Коллин: Андерсен грешил главным образом против правил синтаксиса, и эти погрешно-

¹ Коллин, между прочим, говорит здесь следующее: «Наконец, я должен отметить его нелюбовь к слову *который*» Коллин и это считает слабостью, обнаруживая тем свое непонимание требований живого, разговорного языка, которым и написаны сказки Андерсена. Затем Коллин сам противоречит себе, говоря в одном месте: «... ему недоставало легкости и игривости языка», а несколькими страницами позже свидетельствуя о «невероятной быстроте», с которой Андерсен писал на заданные темы стихотворные экспромты, иногда даже довольно длинные.

сти действительно являлись «особенностями» Андерсена, только не в том смысле, как понимал это Коллин, а особенностями, обуславливавшими тот неподражаемый тон и язык сказок Андерсена, которыми сам же Коллин так восхищается — только после того уже, как прочел статью Брандеса. Смелая претензия Андерсена *«писать, как говорят»*, не позволяла ему писать, как *пишут* — особенно, как пишут некоторые друзья его, прибавлю кстати. Канцелярским слогом писать сказки нельзя, и счастье Андерсена, что у него хватило «упрямства» продолжать писать по-своему, не поддаваясь внушениям своих систематически образованных друзей и критиков. Счастье это и для нас, не то мы лишились бы некоторых из лучших украшений всемирной литературы.

Самое же слабое место в труде Коллина то, где идет речь о воздействии на Андерсена его друзей. Андерсен часто и не без оснований сетует в *«Сказке моей жизни»* на постоянное стремление его друзей «воспитывать» его и тогда, когда пора такого воспитания уже миновала. Причину подобного отношения к себе Андерсен видит в излишней мягкости и добродушии своей натуры. «Да, я был слишком мягок, непростительно добродушен, все знали это, пользовались этим, и некоторые обращались со мною почти жестоко. Сдерживавшие меня повода зависимости или благодарности необдуманно или бессознательно натягивали иногда уж чересчур...» (*«Сказка моей жизни»*).

Подобное объяснение Андерсена не могло, конечно, не задеть самолюбия Коллина как одного из главных его менторов; когда же Андерсен после выхода в свет *«Импровизатора»* окончательно сбросил с себя иго своих неотвязчивых менторов, Коллин вознегодовал и, записав Андерсена в разряд каких-то неучей, так уже и не изменил этого взгляда на него. Резюмируя влияние друзей на Андерсена, он приходит к такому выводу: «Таким образом, все мы, современники Андерсена, несем долю ответственности за то, что каждый из нас по-своему старался сбить Андерсена с толку, долго не давая ему напасть на истинную сферу его творчества». Слова эти были бы вполне справедливыми, если бы Коллин относил их только к тем из современников Андерсена, к кому отнести их надлежало, но он говорит и о таких лицах, как Эрстед и Ингеман. Против такого обобщения нельзя не протестовать. Если кто из современников Андерсена имел на него особенно благотворное влияние, так это именно Эрстед и Ингеман. Коллин впадает здесь в ошибку опять-таки потому, что взялся не за свое дело. Рассуждения Коллина о влиянии на Андерсена Эрстеда вообще очень характерны. Упомянув о том, что отеческое отношение этого замечательного человека к Андерсену выше всяких похвал — о нем говорят многие примеры, приводимые Андерсеном в *«Сказке моей жизни»*, Коллин прибавляет: «Эрстед, как и многие другие, также занимался воспитанием Андерсена, но по своей собственной мягкой, любовной системе, которая и была так по душе Андерсену». Замечательно — Коллин не говорит: которая так соответствовала, так под-

ходила к натуре Андерсена, но которая «была так по душе Андерсену» В такой постановке фразы проглядывает осуждение системы Эрстеда. Сам Коллин далеко не был мягок по крайней мере по отношению к Андерсену¹ и не допускал такого отношения к нему и со стороны других. Это по крайней мере последовательно, но Андерсену-то от этого было не легче. Между тем в подобном отсутствии мягкости, любовности и лежит главная ошибка большинства «менторов» Андерсена, начиная с ректора Мейслинга и кончая самим Эдвардом Коллином. Для них важна была система, а ученик — хоть пропадай! Иначе смотрели Эрстед и Ингеман, и если талант Андерсена не заглох, то благодаря не «системе», а собственной энергии Андерсена, поддерживаемой опять-таки не холодными душами друзей вроде Коллина, а любовным отношением людей с сердцем. О том, как нуждался Андерсен в таком именно отношении к нему, свидетельствуют многие места в *«Сказке моей жизни»* и в письмах Андерсена.

Говоря об отношениях Андерсена к Эрстеду, Коллин вообще взял довольно неподходящий тон. «Эрстеду случилось в беседе с Андерсеном оборонить такую фразу: «Вас так часто упрекают в недостатке познаний, а вы в конце концов, может быть, сделаете для науки больше всех других поэтов», и Андерсен уже вообразил себя воистину призванным к «разработке в поэзии нетронутых рудников науки», зная неустойчивость Андерсена, можно только удивляться такому самообольщению». Читая подобное рассуждение, можно подумать, что Эрстед какая-нибудь мелкая сошка, роняющая громкие фразы, а не всемирно известный ученый, подаривший своему веку одно из величайших открытий и знающий, что и кому говорит. Мнение Коллина, что «едва ли советы Эрстеда имели какой-нибудь практический результат», свидетельствует лишь о том, как мало в сущности вникал Коллин в сочинения своего друга. Правда, Андерсен, как он сам говорит в *«Сказке моей жизни»*, ничего не сделал для науки в строго научном смысле, но нельзя не поставить ему в заслугу того, что все его произведения проникнуты духом горячей любви и уважения к науке. Эта любовь и восторг, с которым Андерсена приветствует всякое новое великое открытие, должны вселять любовь и уважение к науке и в читателей. Подобный же результат, принимая во внимание обширность круга читателей Андерсена, казалось, можно было бы признать даже более чем достаточным.

Вечные упрёки в адрес Андерсена (к которым присоединяет свой голос и Коллин) в нежелании учиться и в недостатке познаний поэтому также несправедливы. Любовь к науке и свойственная Андерсену жажда

¹ Он сам не раз указывает на это в своих записках с каким-то особым самодовольством. «Не в моем характере было брать роль утешителя на себя, но я раз имел с Андерсеном по этому поводу серьезный разговор. — «Я же никогда не был с ним нежен, не могу разнежиться и теперь, вспоминая о нем!» Не так рассуждал и поступал Эрстед, особенно в тех случаях, когда Андерсен нуждался в нравственной, дружеской поддержке. (См. *«Сказку моей жизни»*).

знания заставляли его постоянно учиться, только не по системе Мейслинга и Коллина, а изучая творения образцовых писателей, беседуя с людьми и главным образом у природы (см. «Сказку моей жизни»).

Малоосновательны и упреки в неуважении к критике. Весь вопрос в том — к какой критике. К справедливой критике лиц компетентных Андерсен всегда относился с признательностью, даже если она была неблагоприятна для него, и сам поместил одну такую критику в «Сказке моей жизни», но она принадлежала Эленшлегеру.

При всей своей точности, Коллин все-таки иногда грешит против истины, отрицая, например, упомянутые Андерсеном в «Сказке моей жизни» факты глумления над ним и относя их на счет «его болезненно настроенного воображения».

Отрицая образованность Андерсена, Коллин последовательно отрицает в нем и способность к философскому мышлению. Мне при этом невольно приходят на ум слова Андерсена из его романа «Быть или не быть», которые могут послужить ответом Коллину: «Плоха та поговорка, что утверждает, будто бы люди с сильно развитой фантазией слабоваты по части мышления; впрочем, ее и создали-то, вероятно, люди, одинаково слабоватые и по той, и по другой части».

Много говорит Коллин и о скороспелости первых литературных трудов Андерсена, не придавая, однако, особенного значения «нужде», заставившей Андерсена писать просто ради куска хлеба, и упоминая о ней лишь вскользь: «Бедствовал он в то время больше, чем я подозревал тогда... Я, упрекая его за чрезмерную литературную плодовитость, отнимавшую у него время, необходимое для учения, не знал, что это отчасти нужда заставляла его писать так много». Удивительно не то, что Коллин не знал о настоящем положении Андерсена, но то, что, и узнав о нем, он не счел нужным изменить своему прежнему взгляду, основанному на незнании действительного положения Андерсена Тяжесть этого положения не могла не отразиться и на расположении духа Андерсена; ей-то, по моему, и должно главным образом объяснить ту нервность и изменчивость настроений Андерсена, которые Коллин старается объяснить всем — и нервной раздражительностью, и болезнью (между тем как сам же утверждает, что Андерсен всегда обладал прекрасным здоровьем) и пр., только не тем, чем следует. И лихорадочным вспышкам Андерсена во время последней болезни, о которых говорит Коллин, можно найти другое, более верное объяснение, нежели даваемое Коллином. Много должно было накопиться на душе у Андерсена за долгие годы его мытарств, если и достигнутые им наконец признание и почет не могли окончательно залечить нанесенных ему тогда жестоких ран, так что они вскрывались в минуты духовной и физической слабости. О том же, что Андерсен вообще был совсем не злопамятен, достаточно свидетельствуют и «Сказка моей жизни» и переписка.

Можно было бы привести еще немало возражений против записок Коллина, но, я думаю, довольно пока и этих, тем более что существенные возражения содержатся также в письме Ионны и в заметках В. Блока. Последняя часть статьи Коллина смягчает неприятное впечатление, производимое первой, но если тут и зазвучала наконец «нотка задумчивости», заглушенная в начале «сухими доказательствами», то вызвали ее, пожалуй, главным образом серьезные возражения племянницы Коллина Ионны (см. ее письмо к нему).

В заключение позволю себе указать на некоторые из главных черт характера Андерсена (также непонятые Коллином), которые помогут читателям лучше уяснить себе смысл отношений к Андерсену его «друзей» и их воздействия на него.

Чему был обязан Андерсен тем, что обратил на себя внимание человека, ставшего для него «вторым отцом», Ионаса Коллина, открывшего ему путь к образованию? Советам и расположению друзей? Нет, своему «упрямству» и «самолюбию», как называет эти черты характера Андерсена Эдвард Коллин, или «упрямой, упорной вере в свое призвание», как назову эту черту я. Он не потерял ее даже в такое время, когда ему были сразу нанесены два жестоких удара, которые всякого другого окончательно обескуражили бы (1822 г.). Во-первых — дирекция королевского театра возвратила ему его пьесу с припиской, что «в виду полнейшей безграмотности автора дирекция просит его впредь таковых пьес не присылать», во-вторых — его уволили из хоровой и балетной школ (куда он попал с таким трудом, после стольких мытарств), так как «дальнейшее пребывание его в них было признано бесполезным» (см. *«Сказку моей жизни»*). Он почувствовал себя «снова выброшенным за борт», но вместо того чтобы пасть духом и окончательно отказаться от смелых надежд, решил «во что бы то ни стало написать такую пьесу для театра, которую бы приняли», и написал трагедию *«Альфоль»*. Эта-то пьеса, хоть и не годившаяся для сцены, но «блещущая искорками таланта» (*«Сказка моей жизни»*) и подала дирекции надежду, что «при основательной подготовке в каком-нибудь училище, где бы Андерсену дали возможность пройти полный курс с самого начала, от него со временем и можно было бы, пожалуй, дожидаться произведений, достойных постановки на сцене королевского театра», а одного из членов дирекции, Ионаса Коллина, заставила принять в молодом человеке такое участие, что он дал ему возможность пройти этот курс.

Затем, чему главным образом был обязан Андерсен развитием своего таланта, обогащением своего ума и фантазии и расширением своего умственного кругозора? Приходится ответить: опять-таки тому, что следовал своему природному внутреннему влечению. Его все тянуло за границу, он «чувствовал, что путешествие — лучшая школа для писателя», но чего стоило ему добиться возможности побывать в этой школе (*«Сказка моей жизни»*)! Плодом его первого же продолжительного пребывания за границей явился

роман *«Импровизатор»*, но это обстоятельство нимало не убедило друзей Андерсена в том, что такие поездки могут и впредь приносить ему огромную пользу, и никто из них и не думал помочь ему, когда он рвался за границу, но не мог уехать из-за недостатка средств (см. письмо Андерсена к Коллину). Путем строгой бережливости, чуть ли не лишений, Андерсен скапливает эти средства для удовлетворения своего страстного влечения и ездит за границу, но несмотря на то, что он каждый раз возвращается из своих поездок обогащенным, «с роскошным букетом новых свежих впечатлений, обновленный и телом и духом» (см. *«Сказку моей жизни»*) и щедрой рукой делится приобретенными сокровищами со своими земляками, те все-таки не могут, как должно, понять его страсти к путешествиям. Так, даже лучший друг и покровитель его Ионас Коллин пишет ему уже в 1860 году: «Мне часто приходит на ум вопрос: зачем Андерсен так много рыщет по белу свету, когда у него столько верных, любящих друзей на родине?». Старик, видно, смотрел на поездки А. как на какие-то увеселительные прогулки, а Эдвард Коллин полагал, что Андерсен «желал убедиться в своей славе на месте, лично воспринять похвалы!» О том же — отразились ли и как именно эти поездки на произведениях Андерсена, друг его не говорит ни слова. Между тем я вряд ли ошибаюсь, приписывая «универсальность» характера сатир Андерсена именно его постоянным странствованиям по белу свету, а общий гуманный дух и светлый высоконравственный характер всех его произведений сближению его (во время этих странствований) с лучшими людьми своего времени, принадлежавшими к различным национальностям и сословиям. Значение этих сближений прекрасно обрисовано Б. Бьёрнсоном в его письме к Андерсену: «Ваше счастливое умение находить лучших людей и в них опять-таки все наилучшее, избегая всего остального, должно ведь в конце концов привести Вас к наивысшему, раз верно то, что добро исходит от Бога. Вот почему Вы и должны достигнуть большей высоты и близости к Нему, а также большего уразумения и умения воспроизвести виденное, нежели мы остальные». И таких горячих признаний значения Андерсена как писателя встречается в письмах к нему немало. Чему же он был обязан тем, что наконец дождался их? Своей горячей вере в свое высокое призвание в соединении с идеально высоким понятием о миссии поэта. О последнем говорят многие места в *«Сказке моей жизни»* и в письмах Андерсена, как, например: «Это путешествие отрыло мне глаза на мою миссию. Я чувствую, что арена моей деятельности бесконечно велика! Боже, дай мне силы! Я чувствую, как велика и священна миссия поэта, которому дана возможность говорить тысячам! Только бы я всегда действовал, как должно, создавал бы одно хорошее, достойное!» и «как возвышает, но в то же время и пугает человека представление о том, что мысли его летают по белу свету и западают в душу других людей! Да, как-то даже страшно так принадлежать свету! Все, что есть в человеке хорошего, доброго, принесет в таких случаях благословенные плоды, но заблуждения, зло тоже ведь пустят свои ростки. Так невольно

скажешь: «Господи! Не дай мне никогда написать слова, в котором бы я не мог дать Тебе отчета!» («Сказка моей жизни»).

Заметки В. Блока дают повод лишь к одному замечанию с моей стороны: это вообще одна из лучших статей об Андерсене, которые мне приходилось читать. Отличаясь тонкостью и меткостью многих замечаний, она дает еще ценную для иностранной публики характеристику земляков А., столь необходимую для понимания самой личности Андерсена¹.

Я не согласен с профессором В. Блоком лишь в одном: он разделяет взгляд Эдварда Коллина, не считающего Андерсена истинным другом детей, и тоже находит, что Андерсен не особенно благоволил к детям. Между тем сам Коллин, описывая, как Андерсен нашел свою «сферу» творчества говорит: «Во многих семьях, где Андерсен бывал, были маленькие дети, с которыми он возился. Он рассказывал им разные истории, частью сочиняя их тут же, частью пересказывая старые, известные сказки. Но что бы он ни рассказывал, свое ли, чужое ли, он рассказывал настолько своеобразно и живо, что дети бывали в восхищении». В точности указания Коллина в данном случае сомневаться нельзя, а подобные способность и желание Андерсена «возиться» с детьми и тешить их сказками, для которых он выработал (опять-таки руководимый, по-моему, ничем иным как известной любовью к детям) столь подходящий и восхищавший детей язык, кажется, говорят за себя сами. Правда, с годами Андерсен стал меньше заниматься детьми и даже как будто сторонился их, предпочитая взрослых слушателей, но и этому можно найти другое, гораздо более правдоподобное объяснение, нежели то, что Андерсен будто бы разлюбил детей. Не разлюбил он их, а чем дальше, тем больше убеждался в том, что сказки его удовлетворяют более высоким запросам, могут послужить кое для чего повыше забавы для детей, и невольно должен был как бы отстраниться от последних, чтобы не укреплять за собой неправильно данного ему и справедливо обижавшего его титула «детского писателя». Этим же объясняется и его раздражение по поводу проекта памятника, на котором хотели изобразить его в кругу детей. Андерсен столько выстрадал от непризнания его таланта и непонимания значения его, как писателя, что не мог не вознегодовать на такую попытку укрепить за ним

¹ Здесь будет кстати упомянуть об одной из причин трактуемого В. Блоком непонимания личности и значения Андерсена его земляками даже после его смерти, когда к «Сказке моей жизни» прибавилось еще несколько источников, из которых можно было почерпнуть более подробные и верные сведения о нем. Дело в том, что источники эти прямо не доступны для публики и по объему своему, и по цене. Чтобы не быть голословным укажу на объем и цену послуживших материалами для IV тома этого издания датских подлинников: «Сказка моей жизни» (600 стр.) стоит 3 кроны; «Прибавление» к ней (166 стр.) — 1 кр.; «Письма от А.», I — II т. (563 стр. и 731 стр.) — 16 кр.; «Письма к А.», I т. (689 стр.) — 7 кр. 50 эре; «Андерсен и семья Коллин», I т. (515 стр.) — 8 кр.; итого 3264 стр., стоящие 35 кр. 50 эре, т. е. около 18 рублей (на 2 р. дороже полного собрания соч. Андерсена в подлиннике, сост. XVII томов).

имя «детского писателя» и после его смерти, попытку, говорившую ему все о том же непонимании. Догадайся художник изобразить Андерсена в кругу не одних детей, но и взрослых, он бы верно охарактеризовал Андерсена, и этому не было бы причин сердиться, а у людей не было бы главного повода сложить басню о нелюбви Андерсена к детям. Вообще надо отдать «должное» землякам Андерсена: они не понимали его и мешали ему, когда и в чем только могли. Но все помехи и препятствия только возбуждали его энергию и, таким образом, помогали ему достичь намеченной цели. И в автобиографии, и в письмах Андерсена встречается немало мест, где он говорит об этом гнете, способствовавшем росту его духовных сил, как тот же гнет способствует росту пальмы, как высокое давление создает алмаз. Взгляды Андерсена вообще сразу обнаруживают в нем одного из избранных ратоборцев человечества, борцов во имя истины и любви, а такие борцы, по меткому выражению Сёрена Киркегора, всегда имеют против себя две силы: «глупость» и «зависть» окружающего их общества. Первая упорно преследовала Андерсена, пока он не достиг своей славы, вторая — после того как он стал знаменит. (Весьма характерен в этом отношении рассказ Андерсена в «Прибавлении» к «Сказке моей жизни» о встрече его с двумя литераторами после возвращения его из Оденсе.

Условия, в которых пришлось развиваться Андерсену, характеризуют все вообще маленькие страны вроде Дании. Если условия эти и оказываются в смысле развивающего средства довольно-таки тягостными, то все-таки нельзя не признать за ними определенной силы воздействия. Этим-то, пожалуй, и объясняется, что такая сравнительно маленькая страна, как Дания, насчитывает среди своих сынов так много выдающихся людей. В России, однако, известны пока лишь немногие из них, да и то больше по имени; объясняется это обстоятельство общим незнакомством с Данией, с датским языком и с датскими источниками. Заменяющие же их немецкие, не всегда, к сожалению, оказываются столь достоверными, как это вообще предполагают. Я лично имел несколько случаев убедиться в том, что немцы, особенно энциклопедисты, прямо замалчивают выдающихся датских деятелей или, если уж нельзя умолчать о них совсем, ограничиваются тем, что дают самые краткие, ничего не говорящие сведения о них.

Пополнение по мере сил упомянутого пробела в русской литературе и является моей главной целью. «Собрание сочинений Андерсена» первая попытка обстоятельно ознакомить русскую публику с лучшими представителями датской литературы, и сочувствие, оказанное ей русским обществом, позволяет мне надеяться, что и последующие мои труды в этом направлении не окажутся излишними.

П. Ганзен

24 апреля 1895 г.



СОДЕРЖАНИЕ

СКАЗКА МОЕЙ ЖИЗНИ	5
ПРИБАВЛЕНИЕ К «СКАЗКЕ МОЕЙ ЖИЗНИ»	268
ИЗ ПЕРЕПИСКИ АНДЕРСЕНА С ЕГО ДРУЗЬЯМИ И ВЫДАЮЩИ- МИСЯ СОВРЕМЕННОКАМИ	328
ПИСЬМА К АНДЕРСЕНУ	399
«Г. Х. АНДЕРСЕН И СЕМЬЯ КОЛЛИН»	456
ЗАМЕТКИ ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ Г. Х. АНДЕРСЕНА	490
<i>Библиографические сведения</i>	502
<i>К читателям</i>	505

Ганс -Христиан
АНДЕРСЕН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

ТОМ 4

Редактор

С. Кондратов

Художественный редактор

И. Сайко

Технический редактор

Г. Шитова

Корректоры

В. Антонова, М. Александрова,

В. Рейбекель

ЛР № 030129 от 02.10.91 г. Подписано в печать 9.03.95. Формат 70 X 100 1/16. Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 42,25. Уч.-изд. л. 36,87. Тираж 15 000 экз. Заказ 813

Издательский центр «ТЕРРА». 109280, Москва, Автозаводская, 10, а/я 73.

Оригинал-макет и диапозитивы подготовлены ТОО «Макет». 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Первомайская, 21.

Отпечатано с готовых диапозитивов на Можайском полиграфкомбинате Комитета Российской Федерации по печати. 143200, Можайск, ул. Мира, 93.

